А. Ягнубов

СОВЕСТЬ

Scan Kreyder - 19.11.2014
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

АДЫЛ
ЯКУБОВ

СОВЕСТЬ

РОМАНЫ

Перевод с узбекского

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1982

С(Узб.)2
Я49

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

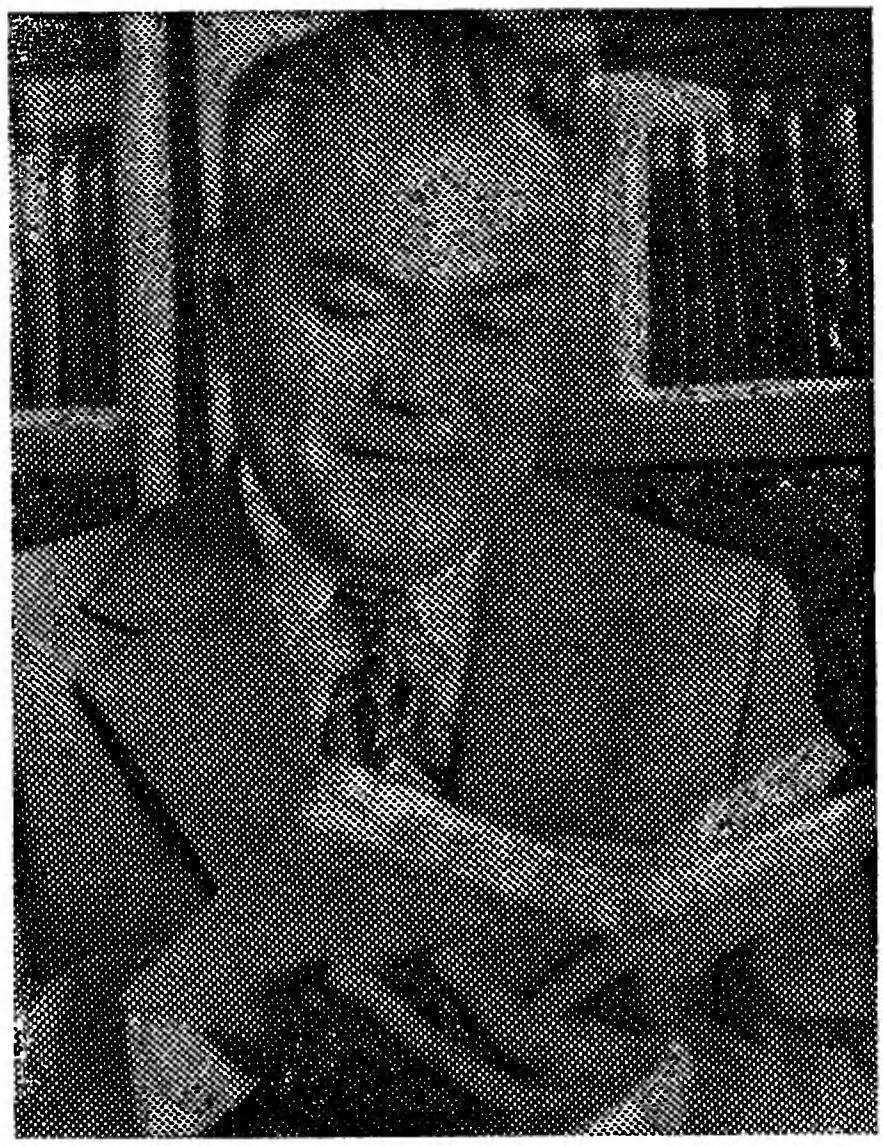
Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета:

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калещук, Алим Кешоков,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Андрей Лупан, Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Петр Серебряков, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Иван Шамякин,
Игорь Штокман, Камиль Яшен

Художник Ильдар УРМАНЧЕ

Я $\frac{4702570200-004}{074(02)-82}$ 574—82 подписное.



СОКРОВИЩА УЛУГБЕКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Было за полночь, и в обсерватории стояла гулкая тишина.

Али Кушчи́, как обычно, еще с вечера занял свое место для наблюдений за перемещениями светил. Но на сей раз он не провел ночь в любимой напряженно-спокойной работе: какое-то недомогание томило его. Мавляна[1] отложил в сторону астрономические приборы, привстал в кресле, и с этим его движением совпал неясный шум на верхнем ярусе обсерватории. Послышались чьи-то шаги.

Они не были похожи на мягкую, размеренно чинную поступь талибов, студентов медресе, юношей, чающих изучить науки о звездах, а скорее напоминали бесцеремонный шаг воинов — нукеров. Али Кушчи, подняв голову, остановил взгляд на маленькой, чуть более окна, двери, что пробита была наверху, у спуска к секстанту.

Дверца распахнулась, резкий стук нарушил тишину, и в помещение, залитое чернильной мглой, вступили два нукера с горящими факелами в руках. Хриплый голос повелительно произнес:

---

[1] Мавляна́ — титул ученых и богословов в мусульманских учебных заведениях (медресе).

— Мавляна Али Кушчи! Великий султан Мирза Улугбек Гураган высочайше соизволил приказать, чтобы вы поспешили к нему в Голубой дворец!

Али Кушчи, приставив ладонь ребром к надбровью, силился разглядеть бородатые лица нукеров, но без успеха: слишком высоко над головами они держали факелы.

— Повремените немного,— попросил Али Кушчи.— Мне нужно сложить приборы.

— Простите, мавляна, но приказ велит поспешать. Кони ждут у ворот.

И нукеры, простучав подковками сапог по мраморным плитам, удалились. Отблеск их факелов на мгновение осветил позолоту стен, тут же исчез, и еще темнее стало в обсерватории. Только крупные белые звезды можно было различить через отверстие в потолке. Свет их проникал сюда, в обсерваторию, и падал на секстант, установленный внизу, на эту открытую для устода[1] Улугбека книгу, читая которую он разгадывал тайны движения далеких небесных светил.

Шагирд[2] Улугбека Али Кушчи привык не торопиться в случаях важных и требующих душевной сосредоточенности; потому и теперь, зажав в кулаке короткую клиновидную бородку, он постоял минуту-другую, глядя на темный лоскут неба над головой.

Нукеры нетерпеливы, хотя и почтительны. Такими нередко бывают посланцы беды. Но что могло случиться в Кок-сарае — Голубом дворце именно сейчас, глубокой ночью?

Позавчера в предрассветную рань повелитель сам пришел в обсерваторию. Он не вычислял, не писал, не диктовал. Сел в любимое кресло, накрытое тигровой шкурой, и долго молча всматривался в темно-синюю бездну, полную крупных белых звезд. Читал судьбу.

Али Кушчи знал, что в нынешнем году, как и в год рождения Тимура-Сахибкирана[3], надо ждать близкого противостояния владыки неба Юпитера и Венеры. Внук Тимура, Улугбек, обеспокоенный треволнениями государственными, связывал с этим противостоянием какие-то свои надежды. Но чего он мог ожидать от судьбы, как видно, не благосклонной к нему?

---

[1] Устод — учитель.

[2] Шагирд — ученик.

[3] Сахибкиран — родившийся под счастливой звездой, при удачном сочетании планет.

Два года назад из далекого Герата пришла скорбная весть: умер отец Улугбека, могучий Шахрух, Шахрух-счастливец, как его называли, владыка, обогнавший в удаче и богатстве многих других наследников Тимура, а тем паче мятежников из некогда покоренных Сахибкираном племен и династий,— пришла эта весть в Самарканд, и вот уже два года не рассеиваются черные тучи зла и неурядиц над Мавераннахром и Хорасаном [1]. Не-

[1] Области в Средней Азии: первая, между Амударьей и Сырдарьей, находилась во владении Улугбека, вторая — на территории нынешнего Афганистана с центром в Герате, там правил Шахрух.

мало было тех, кто рвался к Тимурову престолу; не раз Шахруху приходилось помогать сыну утверждаться вновь и вновь над Самаркандом и всем Мавераннахром или отбиваться от бунтовщиков вассалов, от ферганцев и туркмен, от моголистанцев и кочевых узбеков, и вот, когда наконец выяснилось, что сабля устода острей иных и в государстве, можно было думать, установилось спокойствие, столь необходимое и для торговли, и для занятий астрономией и медициной, и для сочинения стихов и музыки, тогда-то и поднял оружие наследник Улугбека, собственный его сын Абдул-Латиф. С годами Улугбек становился все менее склонным к воинским утехам, но в начале месяца раджаб [1] пришлось ему собрать войско и спешно выступить к Джейхуну [2]. Однако смута и заговор, вспыхнувшие в столице в его отсутствие, заставили повелителя вернуться в Самарканд. Несколько дней как он здесь, а все ходят по городу подлые, сеющие страх слухи, будто конница мятежника Абдул-Латифа преодолела бешеную реку и подошла уже к Кешу [3].

Кто знает, может, так оно и есть, хотя досточтимый устод третьего дня в обсерватории не сказал о том ни слова. Устод Улугбек долго сидел тогда, сидел и молчал, углубленный в свои думы, а потом, устало ступая по мраморной лестнице, поднялся на второй ярус в книгохранилище. Медленно и рассеянно, словно в забытьи, обозревал в тот раз Улугбек бесчисленные книги, уложенные на полках от пола до потолка, множество редких и редчайших рукописей, собранных им здесь за долгие десятилетия управления Самаркандом. Устод, видно, вспомнил, стоя в библиотеке, покойного наставника своего Салахиддина Кази-заде Руми, перелистал его «Математику», после чего, тяжело опустив голову, все так же молча и тихо направился к выходу.

Досточтимый учитель, да смилостивится над ним всевышний, приходил попрощаться с обсерваторией, любимым детищем, созданием своим,— вот что понял тогда Али Кушчи и вот что последние два дня отзывалось в груди щемящей болью, не давая работать. Печальное лицо устода так и стояло с тех пор перед глазами Али Кушчи; несколько раз мавляна порывался пойти в Коксарай, но сделать это без приглашения не хватало духу.

---

[1] Седьмой месяц лунного года мусульманского календаря.
[2] Джейхун (Бешеная) — старое название Амударьи.
[3] Кеш — старое название города Шахрисябза.

Теперь же сам устод повелел явиться ему, Али Кушчи, в Голубой дворец...

Али Кушчи намотал поверх темной бархатной тюбетейки чалму мударрисов, преподавателей медресе, надел парчовый жилет, поверху набросил на плечи белый чекмень из верблюжьей шерсти. Мысленно успокаивая себя, стал подниматься по крутым каменным ступеням...

Небо блестело, словно хорошо протертый темно-синий фарфор, перемигивались звезды, но месяц шагбан[1] уже вступил в свои права. Было холодно, с гор порывисто дул ветер, деревья шумели, будто река на перекатах; старые тутовники и крепкие чинары скрипели, жаловались на приход осени.

Али Кушчи вышел во двор обсерватории.

У ворот стояли, дожидаясь Али Кушчи, воины с лошадьми. Один из них подвел нетерпеливо всхрапывающего коня и взял ученого под руку, чтобы помочь взобраться на скакуна. Но Али Кушчи сам нашел в темноте стремя, удержал норовистого коня, легко вскочил в седло: недаром мавляна носил имя Кушчи, что значит — ловчий-соколятник, и не раз на пышных охотничьих гонах султана мчался он на ретивом за добычей.

Вскоре цокот копыт раздался в ночи; один нукер поехал вперед, другой рядом с Али Кушчи. Так они пересекли речку Сиаб, поднялись на древние холмы Афрасиаба. Слева от них смутно замаячили высокие купола Шахи-Зинда́, средоточия усыпальниц владык. Ночь была без луны, но лазурь куполов отражала свет звезд и разливала вокруг себя голубое мерцание. Откуда-то с кладбища, видимо из усыпальницы святого Кусама ибн Аббаса, догадался мавляна, донеслось до всадников уныло-распевное чтение корана; голос был полон такой печали, что казалось, будто идет он из иного, потустороннего мира.

И в том мире кто-то стенал, и там кто-то жаловался на судьбу.

Все тут чудилось жутковатым, таинственным.

Впрочем, недолго так чудилось... Чем ближе к соборной мечети и к Регистану[2], тем чаще попадались воины у костров — по десятку вокруг каждого костра. Нукер впереди словно расчищал путь перед Али Кушчи. А вы-

---

[1] Месяц, по мусульманскому календарю соответствующий октябрю.

[2] Центральная площадь в Самарканде.

ехав на Регистан, они увидели, что и вся эта огромная площадь полна воинов. Со стороны медресе Мирзы Улугбека — о, истинное украшение славного Самарканда! — ученому послышалось сквозь приглушенный шум человеческих голосов и звяканье оружия мрачное, самозабвенное пение — то дервиши из ханаки [1], что расположились напротив величественного медресе, начали свое раденье:

О аллах, о всемогущий,
О создатель наш аллах!

Пение это будто не бога прославляло, а угрожало кому-то: может, так казалось потому, что над городом нависла опасность.

Али Кушчи и нукеры миновали Регистан и углубились в узкие улочки, образованные длинными рядами лавчонок под навесами. Выехали к Кок-сараю. Высоченные зубчатые стены высились в ночи, как горы. Окруженный рвом, дворец был похож на крепость, но Али Кушчи, глядя на купола за стеной, мрачные и черные, опять вспомнил об огромном кладбище, об усыпальницах владык Тимурова корня.

Во дворце — ни единого огонька. Ни один костер не горел у ворот.

Перед самым дворцом, в темноте, что хоть глаз коли, всадников остановила стража. В каменных фонарях чуть теплился огонь; латы слегка серебрились, и щиты были словно не совсем затененные зеркала; робкий свет порою выхватывал из тьмы наконечники длинных копий.

Прибывшие прошли первый ряд стражи, приблизились к громадным воротам, тут им снова преградили путь охранники с обнаженными кривыми саблями в руках. Нукер показал свернутую трубочкой грамоту, гостей пропустили в дарваза́-хану́, предвратное помещение для караульных. Звон тяжелых цепей и трудный скрип двустворчатых железных дверей — и перед ними проход во дворец, а на пороге знакомый привратник с таким же, как у стражников, фонарем.

Али Кушчи соскочил с коня. Нукер принял поводья. Привратник склонился в поклоне, посветил фонарем, пропустил ученого вперед.

Изнутри огромный двор слабо, но освещался. В мерцании огоньков открывались стены с нишами, ползли

---

[1] Ханака — страннопримный дом.

куда-то вверх высокие башни, в которых таились, как о том знал Али Кушчи, пушки и метательные орудия; налево виднелись приземистые, будто вбитые в землю, строения канцелярии, за ними огорожены были домики гарема, а сам дворец поблескивал золочеными куполами в правой стороне двора. «Угрюмо, как в Шахи-Зинда»,— подумалось снова... И тихо было вокруг, лишь откуда-то из-под земли доносился неясный гул: видно, в подземельях работали оружейники.

Привратник миновал мраморный водоем, окруженный кольцом душистых елей, и подошел к высокому с двумя массивными овальными башнями по бокам порталу главного здания. Стражники, что стояли по обеим сторонам входа, расторопно открыли деревянные резные двери, обитые блестящими медными полосами.

Узкий полутемный коридор вел в просторную, ярко освещенную комнату с мраморной лестницей в левом углу, что соединяла нижний и верхний этажи дворца.

Здесь их встретил сарайбон — дворецкий, неразговорчивый, замкнутый человек. Жестом пригласил ученого следовать за собой.

Зала на втором этаже тоже была пуста. Сарайбон, пройдя к двери напротив, скрылся в следующей зале — там обычно повелитель принимал гостей и устраивал советы. Из-за двери, на миг приоткрывшейся, до Али Кушчи донесся глуховатый голос устода: видно, Улугбек был раздражен и потому необычно резок. Но сарайбон плотно прикрыл дверь за собою, и голос исчез.

Али Кушчи не раз бывал в этой зале.

Тонкие языки пламени множества свечей, подобранных по размеру и толщине одна к одной, ярко вспыхивали и колыхались, отражаясь в золотом ободе люстры. По всем четырем стенам были развешаны ковры ширазской работы, а поверх них охотничьи трофеи и воинские доспехи повелителя... Над аркой небольшого оконца, что напротив входа, чуть выше украшенной каменьями кольчуги, разветвились огромные — не охватишь руками — рога архара. Гордость устода! Он сам повалил этого архара во время осенней охоты в Гиссарских горах, и по его приказу могучие рога украсили изумрудами... А рядом над красным сафьяновым колчаном, полным длинных гибких стрел, распялена по стене тигровая шкура — добыча с берегов Джейхуна, когда повелитель возвращался домой после трудной хорасанской войны.

Тогда Улугбек, устав от тяжелого и совсем не победоносного похода, послал в Самарканд за Али Кушчи особого гонца. Приезд ученика к учителю оказался вдвойне счастливым. Не только беседами насладился устод. Во время охоты случилось так, что выскочил внезапно из густых камышовых зарослей на берегу вот этот тигр и кинулся на Улугбека. Али Кушчи, шедший неподалеку от султана в цепи охотников с луком наготове, первым опомнился и первым успел пустить стрелу. Непостижимое везенье, благосклонность судьбы! Стрела угодила точно в правый глаз зверя, яд подействовал мгновенно, и тигр, подпрыгнув высоко вверх, с ревом пал прямо к ногам устода. Не раз потом при сановниках Улугбек называл Али Кушчи своим спасителем. Кому ведомо зачем — может, для того, чтобы оправдать свою милость к нему, дружбу с ним? Чтобы отвести зависть придворных от неродовитого мавляны?

Али Кушчи грустно усмехнулся. Вспомнилось, как некогда впервые переступил он по милости устода порог Кок-сарая: разволновался тогда столь сильно, что шагу не мог ступить дальше мраморного водоема во дворе. От робости, от священного трепета, как эту робость называют, у него колени дрожали, стоило только подумать, что здесь, в этих раззолоченных палатах, жил, вынашивал свои тайные мирозавоевательные замыслы сам Тимур Гураган, султан Сахибкиран, велевший именовать себя не султаном, а просто военачальником-эмиром. А ныне?.. Нет уже Тимура, потрясателя вселенной. И нет больше страха в душе Али Кушчи... Вот он снова в этом дворце дворцов, в чертогах того, пред кем трепетало полмира, в сердце же мавляны совсем иное чувство — горькая, щемящая боль. Нет, не оттого боль, что хиреет величественный Голубой дворец, что ныне его не украшают военные трофеи. Вовсе нет. Сердце Али Кушчи тревожится за устода, над головой которого, совсем уже седой, поднялись черные тучи междоусобицы.

Отчего ополчилась судьба на Мирзу Улугбека? За что она мстит ему?.. Знает об этом Али Кушчи, знает, хотя боится сказать вслух... Устод сдернул покров тайны с небесных светил, открыл новые звезды, постигнул мудрое устройство вселенной, удивил мир своими познаниями, но не понял того, что давно уже понял он, смиренный мавляна Али Кушчи. Выше многого-многого в жизни поставил устод разум и не понял, однако, сколь суетна

борьба за власть, сколь ничтожен смысл обладания троном, да простятся такие мысли милостивым и всемогущим! Конечно, мысли эти еретические в глазах невежд, в глазах тех, кому не дано вкусить тяжких забот и светлых радостей разума, но мысли эти справедливы и праведны, ибо аллаху угоден вовсе не отказ от дерзости познания, не страх перед неведомым, а, напротив, именно дерзость и преодоление страха. Бесстрашен устод, истинно кладезь познаний, тот, кому, словно пять пальцев собственной руки, ясна история народов, династий, удачливых и неудачливых завоевателей... И при такой-то ясности ума не понять, что власть, подобно ветреной красавице, не остается верной до конца ни одному властелину, сколь бы удачлив, силен или страшен он поначалу ни был?.. Но, может быть, повелитель, да будет милостива к нему судьба, не захотел понять этого? Или, понимая, не нашел в себе сил отринуть соблазны власти, почести и радости трона?.. О, если бы он отдал себя, всего себя, весь свой пытливый ум, все дарования свои Науке, свет которой только и озаряет, только и возвеличивает само имя Человека! Почему так не случилось? Почему?

Двери распахнулись; дребезжащий дискант шейх-ульислама Бурханиддина долетел до ушей мавляны, прервав раздумья.

— Нет бога, кроме аллаха, а султаны, правители наши, его тени на земле. Повиновение законному повелителю — первейший долг подданных!

Слова верховного законника перекрыла разноголосица, но тут же и смолкла, знакомый властный голос произнес глухо, но внятно:

— Довольно споров! Слушайте приказ, повинуйтесь ему... Эмир Султаншах Барлас! Вместе с передовыми отрядами отправляйся в путь немедля!.. Эмир Султан Джандар! С основной частью конницы выезжай следом... Если аллах позволит, встретимся между Самаркандом и Кешем на перевале Даван... За участие в совете благодарю. Меджлис окончен!

Из покоев повелителя первым вышел Мираншах, даруга́ — градоначальник Самарканда. За ним теснились эмиры и вельможи в богатых красных, зеленых, синих халатах, в темных бобровых шапках. Лица у всех придворных хмурые. Мираншах на ходу одернул подпоясанный широким кушаком златотканый халат, чуть задержался, поправил пояс и саблю с золотой рукояткой, гля-

нул исподлобья в угол на Али Кушчи и отвернулся. Еще раз поправил оружие. Полное круглое лицо его скривилось, но, ничего не сказав, Мираншах быстро пересек залу, и слышно стало, как он нарочито загромыхал по мраморной лестнице. Могучий телом, жгуче-черный бородач, любимец и ценитель женщин, эмир Джандар, придерживая кривую саблю, заспешил за Мираншахом.

Подобно этим вельможам ни один из следующих не ответил на вежливый поклон Али Кушчи. Лишь шейх-уль-ислам Бурханиддин протянул в сторону мавляны холено-белую, раскрытую, словно развернутый свиток, ладонь, то ли приветствуя таким странным жестом человека в углу, то ли просто распутывая нитку янтарных четок, которой обвита была рука законника.

Шейх-уль-ислам покинул залу последним.

И снова установилась тишина.

И в этой зале, и в соседней. И во всем огромном ночном дворце.

Может, досточтимый устод забыл, что вызвал Али Кушчи? Ведь столько трудных забот пало на его плечи!..

Но тут тихо приоткрылась резная дверь и показался Улугбек.

2

Вместо златотканого халата, обычно надеваемого для важных заседаний, на Улугбеке был коричневый простой суконный чекмень; голову покрывала темная шапочка, сшитая из трех кусков бархата (ее он любил носить в медресе и в обсерватории); широкие голенища сапог были чуть вывернуты, виднелся беличий мех подкладки. Улугбек стал у порога, нашел глазами Али Кушчи.

Во всем облике Улугбека — в его высокой, начинающей полнеть фигуре, в смуглом, медного отлива, узком лице, в прищуренном взгляде из-под густых белых бровей — была и затаенная сила, притягивающая к себе, и какая-то скрытая, ранее не знаемая Али Кушчи неуверенность.

Приложив руки к груди, ученик приблизился к учителю и почтительно склонил перед ним голову. Но Мирза Улугбек приостановил его поклон, обнял за плечи и повел к высокоспинным, покрытым шелковой тканью креслам, расставленным в правом углу залы.

— Пойдем побеседуем, сын мой...

Улугбек нередко называл своего шагирда сыном. Но сегодня и в голосе наставника, и в том, как мягко приобнял он Али Кушчи, чудилась некая особенная задушевность. Она — спутник скорби, подумал мавляна.

Султан хлопнул в ладоши. Снизу простучали сапоги, и перед ними возник дворецкий.

— Бакаулы [1] не спят?

— Они всегда к вашим услугам...

— Кушаний и вина!

В ожидании яств устод сидел молча, чуть склонив к плечу голову и полузакрыв глаза. Узкое лицо его с выступающими скулами казалось худым и изможденным, на лбу и у губ сгустились морщины, в недвижных пальцах рук, брошенных на колени, чувствовалась усталость.

Али Кушчи хотел сказать что-то утешительное, но не мог найти слов. Улугбек же вдруг произнес тихо, будто самому себе:

— Сегодня во сне... я видел пира [2].

Перед глазами Али Кушчи предстал далекий весенний день.

На мраморном помосте во дворе медресе Улугбека в тени густой листвы чинар были разостланы ковры, ярко цветные в солнечных лучах. Талибы нарядились в лучшие халаты, они в волнении торжественном: сегодня встреча с мавляной Салахиддином Кази-заде Руми, им предстоит послушать великие истины непосредственно из благословенных уст знаменитого мудреца!.. Али Кушчи уже тогда был много наслышан о мавляне, да и читывал трактаты высокочтимого мудреца, и, надо сказать, трактаты сии, посвященные таинствам математическим, были таковы, что истинно стоило преклоняться перед тем, кто их написал, и не считать преувеличением восторженные рассказы об этом «Платоне нашего времени». В воображении рисовались величественная и горделивая фигура старца, ясное чело святого.

На самом деле Али Кушчи увидел тщедушного старика с трогательно легким ореолом волос надо лбом и редкой бородкой клинышком. Белыми, как снег, были и брови старика, и ресницы, и его шапочка конусом, вроде

---

[1] Бакаулы — лица, ведающие дворцовой кухней.

[2] Пир — духовный наставник.

кулоха [1], сшитая из трех кусков ткани. Даже чекмень на нем был белым-белым.

В тот весенний день мавляна Салахиддин Кази-заде Руми поцеловал Али Кушчи, а Мирза Улугбек впервые милостиво пригласил его к себе в Кок-сарай.

О, сколько лет пролетело, сколько воды утекло с того дня, а стоит Али Кушчи закрыть глаза, как возникает перед ним ласковый старик, мудрец, да не исчезнет светлая память о нем! И снова чувствует Али Кушчи кожей лица своего прикосновение губ и щекотание шелковистой белой бородки...

Улугбек покачал головой, усмехнулся краешком губ.

— Во сне... покойный пожурил меня... Сказал, что я забросил науку ради неверной прелести власти, ради блеска трона... Желая владеть престолом, погубил, мол, свой дар!

Али Кушчи весь встрепенулся, не удержал восклицания:

— О, всемогущий!..

Улугбек быстро глянул на него, в глубоко посаженных глазах устода промелькнул вопрос. Чувствуя нарастающую неловкость, Али Кушчи заговорил:

— Пусть устод простит меня, но полчаса назад здесь, в этой зале, то же самое подумал и ваш шагирд...

Улугбек сидел, чуть сгорбясь, не касаясь спинки кресла. Молчал. Постукивал по расписному низкому столику — хантахте алмазом золотого перстня. Белые мохнатые брови султана сошлись к переносице, и между ними пролегла глубокая складка. Взгляд был устремлен в одну точку.

Али Кушчи прервал свое признание: как физическая боль, его пронзило раскаяние: вместо утешения он еще больше ранил устода произнесенными словами.

— Мавляна Али,— заговорил Улугбек, не отрывая глаз от какой-то лишь ему ведомой точки в пространстве.— Раб божий, недостойный милостей всевышнего, я почти сорок лет правлю Мавераннахром... И вот ты думаешь, что труды мои, затраченные на обеспечение спокойствия в стране, на благоустройство государственное, на улучшение хозяйства и приобретения в казну, напрасны и недостойны... Неужели и ты так думаешь?..

---

[1] Кулох — дервишская шапка.

Скорбно-красноречивая, торжественная речь Улугбека нежданно прервалась.

Да как он, Али Кушчи, посмел бередить душевную рану устода в столь трудный для того час? Али Кушчи сказал:

— Заслуги ваши, досточтимый устод и повелитель, и на поприще державном и в научных занятиях столь велики, что никто не может в них усомниться!

Улугбек нетерпеливо взмахнул рукой.

— Не надо, я все понимаю, Али... Но ход событий таков, что... ученые мужи, вы не понимаете меня, Али! Не оттого, что разум таких, как ты, меньше разума шахов и султанов, нет! Всевышний щедр: разум — лучший его дар человеку — отдан поэтам и ученым. Но одарил их он еще и такой чистотой, такой наивностью, что вы не в силах понять ни с чем не сравнимую жизнь тех, кто... обречен... править.

Улугбек словно задохнулся. Потрогал шею под бородой. Снова взмахнул рукой.

— Ты не подумай, будто боюсь я расстаться с престолом. Другого боюсь. Того, что все, накопленное мною за сорок лет — медресе, обсерватория, главное сокровище мое — библиотека, наконец, произведения мои, что писал, не замечая ночей,— все это пойдет прахом, будет пущено на ветер наследниками.— Последнее слово Улугбек произнес со злой горечью.— И еще одного боюсь... забвения боюсь. Того, что грядущие поколения будут гнушаться именем Мирзы Улугбека, внесут его в ряд прочих имен бесславных правителей... Кто будет знать, что Мирза Улугбек стремился разгадать тайны вселенной? Узнают ли про меня правду, мавляна Али?!

С болью и состраданием ответил Али Кушчи:

— Досточтимый учитель! Верю, верю в то, что потомки будут знать правду, будут судить о вас в согласии с нею... И в чьих же суждениях правда, если не в суждениях людей науки, устод? А разве забудут они ваши заслуги? Разве может превратиться в пыль каталог звезд?.. Или не разум людской только и вечен в мире?!

Улугбек грустно улыбнулся.

— Ты уверен в этом?.. Ну, пусть будет так. Благодарю, Али.

В эту минуту послышались шаги, в зале показался дворецкий, а за ним толстяк бакаул — мастер-шашлычник, знакомый Али Кушчи по охотничьим пирам повели-

теля. Шашлычник нес серебряный поднос, на котором стояли ажурные кувшинчики и тонкие, точно из луковичной кожицы, китайские пиалы. Такие же серебряные подносы внесли затем помощники бакаулá, и на каждом подносе шипел горячий шашлык, дразня острым запахом.

Улугбек последил взглядом за тем, как бакаулы расставляли кушанья, как потом, пятясь и кланяясь, выходили из залы. За ними собрался было и дворецкий, но султан остановил его вопросом:

— За мавляной Мухиддином послал гонца?

— Гонцы уже вернулись, повелитель.

— И что же?

— Мавляна Мухиддин, оказывается, тяжко занедужил, повелитель.

— Вот как!.. Ну, ладно, ступай... Я сам разолью вино.

Дворецкий вышел, тоже пятясь, прижав руки к груди.

— Гм... Тяжко занедужил...— повторил Улугбек и насупился.— Ты знал об этом что-нибудь, Али?

— Нет, досточтимый устод.

— Отчего же?

Али Кушчи смутился.

— Возможно, вы слышали, устод, о том, что этой весной я сватал дочь мавляны Мухиддина. За молодого мударриса по имени Каландар Карнаки. Но мавляна, а особенно отец его Ходжа Салахиддин... тот самый, известный в Самарканде ювелир... отказали. С обидными словами меня выпроводили... С тех пор я не бывал в том доме... Об остальном вы знаете, устод.

Улугбек молча следил за игрой золотистого вина в хрустальном бокале... Да, он знал «остальное»...

Вскоре после сватовства, о котором рассказал Али Кушчи, мавляна Мухиддин отдал дочь за сына эмира Ибрагимбека-тархана[1]. На той богатой свадьбе был сам Мирза Улугбек. Но, когда Улугбек повел потом войско против Абдул-Латифа, оставшийся в столице младший сын, Абдул-Азиз, придрался к чему-то и казнил ни за что ни про что эмирского сына, а молодую жену, дочь Мухиддина, взял в свой гарем. К произволу этого Улугбекова сына в городе привыкли, но такой дерзко беззакон-

---

[1] Тархан — высокопоставленный вельможа, освобожденный от всех налогов.

ный поступок вызвал среди вельмож и богачей Самарканда взрыв недовольства, да такого, что султан-отец должен был, оставив войско, с берегов Джейхуна немедля вернуться в город.

В первый же день после возвращения Улугбек пожелал увидеть Хуршиду-бану́ — так звали дочь мавляны Мухиддина.

— Дочь моя,— сказал Улугбек, взволнованный красотой и глубокой печалью пленницы.— Что случилось, то случилось. Я наказал сына за бесчестье, тебе нанесенное. А теперь... твоя воля — хочешь, возвращайся домой, хочешь... останься.

Хуршида-бану выбрала первое, а Улугбек хотел надеяться на второе. Ибо красота всесильна, и, может быть, в преклонные годы человек ценит ее больше, нежели в годы юности.

Эта встреча взволновала Улугбека потому еще, что он узнал о красавице раньше, до ее свадьбы, за год до последующих печальных событий. Как-то мавляна Мухиддин, ученик Улугбека, сказал, что его дочь весьма искусна в каллиграфии. «Если пожелаете, устод, она перепишет вам ваши труды...» Улугбек не очень поверил в эти слова, но все же отдал Мухиддину один из своих трактатов по истории. А спустя месяц — изумился, увидев его переписанным на тонкой шелковистой бумаге почерком, который и в самом деле был преисполнен редкой красоты...

Отчетливо, как бывает во сне, увидел сейчас мысленно Улугбек занавеску из прозрачного розового шелка, за которой, низко опустив голову, стояла пленница Абдул-Азиза, увидел водопад ее волос почти до ковра, руки ее, изящно-длинные пальцы с покрашенными хной ногтями,— руками она закрывала лицо от стыда и горя.

Словно пробуждаясь, Улугбек поднял голову и взглянул на Али Кушчи.

— Аллах свидетель, я не виновен в том зле... Говорили, правда, что я слишком легко наказал Абдул-Азиза, снизошел к его раскаянию, мольбам. Но что я мог сделать? Убить его?.. Как отрезать свой палец? Абдул-Азиз — родной сын, моя кровь.

— Понимаю, учитель...— кивнул Али Кушчи, а сам невольно подумал: «А Абдул-Латиф? Тоже ведь родной сын, а поднял меч на отца... Его тоже простить?»

— А что стало с тем поэтом, с Каландаром Карнаки?

Я слышал, будто он оставил медресе, избрал удел дервиша. Это правда?

— К сожалению, правда, учитель. Каландар — человек редких способностей и смелых решений. После свадьбы дочери мавляны Мухиддина он, охваченный горем и яростью, надел рубище, на голову — кулох. Ныне, говорят, ходит по улицам, нищенствует, участвует в дервишеских радениях... во имя аллаха.

Улугбек сжал губы. Желто-золотистое вино, разлитое в бокалы, оставалось нетронутым; шашлык так и стыл неотведанным. Каждый из собеседников думал о своем. Улугбек глубоко вздохнул:

— О грешные мы, грешные! — И, повернувшись всем телом к Али Кушчи, спросил неожиданно: — Найдутся ли надежные талибы среди твоих?

— Найдутся, устод, конечно, найдутся...

— Хорошо, если найдутся... Тогда перейдем к делу.— Улугбек положил на колено мавляны руку и снова пристально взглянул в лицо ученика.— Ну, ты знаешь, конечно, что небо Мавераннахра снова заволокли тучи междоусобицы. Тучи бунта, правильнее сказать! Старший сын мой Абдул-Латиф, кому я отдал прекрасный Балх, затеял против меня войну. Ему мало Балха, ему нужен Самарканд. Он перешел Джейхун и сейчас уже недалеко от Кеша... Ты слышал об этом, Али?

— Слышал, досточтимый устод! Но... нельзя ли надеяться на примирение? Если вы простите сыну его вину...

Улугбек пристукнул кулаком по колену Али Кушчи.

— Э, если б все решалось прощением... Если бы он попросил прощения, я простил бы его... Ради спокойствия в стране! Ради того, чтобы нам с тобой спокойно следить за звездами... Но ты не знаешь Абдул-Латифа, Али. Не знаешь! — Улугбек вдруг вскочил с места и нервно прошелся по зале.— Я вызвал тебя неспроста, Али. И то, что ночью, тоже неспроста, хотя сарайбону надлежало сделать так, чтобы они... вельможи мои... не видели тебя здесь.— Улугбек снова подошел к собеседнику, сел рядом с ним.— Мои сокровища: обсерваторию, библиотеку, рукописи свои, законченные и незаконченные, чувствую, что не закончу их теперь,— все это передаю в твои руки, доверяю их только тебе, Али, сын мой! Богатства бесценные, богатства разума человеческого...

Улугбек откинулся в кресле, сложил на груди руки.

— Но подумай, Али! Это опасное дело. Ты же знаешь настроение темных невежд, фанатики шейхи не любят меня.

— Знаю, устод, знаю.

— По силам ли будет тебе это бремя?

Лицо Али Кушчи залилось краской. Он поднялся.

— Вы сомневаетесь в своем ученике, досточтимый учитель?

— Нет, Али, нет,— продолжал Улугбек.— Сомневался бы, так не открывал свою душу тебе. Я только не хочу погубить тебя... Эти мнимопочтенные улемы [1], обделенные умом и жалостью маддохи [2], сколько лет уже точат они зубы на людей науки!

— Да, но мы живы по воле аллаха!

— ...И по воле... силы моей и страха их перед силой, Али. Пока их боязнь перевешивает их ярость.

Али Кушчи опустил глаза. Он знал, что такое ярость улемов и шейхов против тех, кто не схож с ними. Вот совсем недавно на кладбище «Мазари шериф» пришло человек двадцать студентов из медресе Улугбека предать земле тело безвременно скончавшегося от тяжелой болезни товарища своего, но, когда они приблизились к кладбищенскому холму, высоко неся гроб на вытянутых руках, в воротах появился шейх Низамиддин Хомуш, окруженный толпой мюридов и дервишей. Он преградил путь талибам, стал потрясать дорогой тростью, изрыгая проклятия и ругательства, совсем не приличествующие шейху:

— Прочь, убирайтесь прочь, нечестивцы, покуда сами целы. Прах нечестивцев не осквернит эту святую землю! Убирайтесь, или мы сейчас размозжим вам головы, богоотступники!

Али Кушчи выполнял обязанности хассакаша [3]; он вынужден был приблизиться к разгневанному донельзя шейху, попробовал вразумить его.

— А-а-а, и ты тут, мавляна! — исступленно закричал Низамиддин.— Вероотступник, нечестивец, поганая собака! Совратитель тех, кого вы приучаете заниматься богомерзкими делами, называя это наукой... Прочь отсю-

---

[1] Улемы — верхушка мусульманского духовенства.

[2] Маддохи — рьяные последователи и восхвалители веры.

[3] Хассакаш — родной или близкий покойному человек, в день похорон шествующий перед погребальной процессией с посохом.

да, а то и тебе несдобровать... Испустишь здесь же свой нечистый дух!.. Во славу аллаха... гоните-ка их!..

— Ну, о чем ты задумался, Али?

Улугбек сидел перед Али Кушчи, сложив на груди руки, глаза его были прищурены. Прогнав видение, от которого похолодело у сердца, Али Кушчи поклонился и сказал:

— Повеление устода — закон для шагирда.

— Не то говоришь, Али. Это не повеление. Просьба. Потому и спрашиваю: не будешь потом раскаиваться?

— Устод...

— Ладно! — Требовательно-пытливое выражение в глазах устода смягчилось.— Следуй за мной,— и Улугбек открыл дверь в салямхану — залу для приемов близких гостей и для тайных советов.

В красном углу ее на возвышении было установлено высокое золотое кресло — трон. Горело в зале почему-то всего лишь несколько свечей; в робком дрожании света на стенных мозаиках, выложенных из лазурита, и на узорах куполовидного потолка причудливо играли тени и отблески, придавая всему окружающему таинственную величавость, а может, так происходило потому, что Али Кушчи никак не мог отделаться от мысли, что именно здесь и, как говорили, в излюбленные предутренние часы сидел в холодных сумерках на золотом троне хромой потрясатель вселенной, сидел наедине со своими, до поры не ведомыми никому, алчными и мстительными замыслами. И казалось, что в этом чертоге еще витал его беспокойный дух и гневался из-за того, что здесь и в такой же час появился человек, низкий саном, столь далекий от государственных забот и не знающий ничего полезного для мирозавоевательных планов.

Улугбек прошел за трон, раздвинул темно-серый шелковый полог, что закрывал стену до самого потолка. Обнажились часть стены и дверца, обитая полосами кованой меди, совсем маленькая, так что в нее с трудом мог протиснуться один человек.

Улугбек извлек откуда-то из-за пояса связку ключей, чуть помедлив, отпер замок. Из овальной ниши они взяли по свече, зажгли. Пригнувшись, султан плечом толкнул дверь. За нею зияла темная пустота.

Не разгибаясь, Улугбек шагнул куда-то вниз, Али Кушчи сделал шаг вслед, задержал дыхание: затхлый воздух был слишком непривычен.

Держа свечу в одной руке, а другой ощупывая стену, стали спускаться в мрачный колодец. Наконец достигли дна. Показалась еще одна дверь. Улугбек отпер ее, и они вошли в узкий прямоугольный подвал. Стены тут были выложены черным камнем, с пола дуло ледяным холодом, потолок нависал над головой тяжелой глыбой. Каменная могила!

По углам подвала стояло четыре стальных сундука. Их приковали цепями к железным кольцам, ввинченным в пол.

И здесь царил все тот же мрачный дух. Казалось, где-то за сундуками, может, вон в том черном углу, куда совсем не дотягивается огонек свечи, затаился хромой властелин и тайно наблюдает за пришельцами, зловеще помалкивая до поры.

В руке Улугбека появился еще один ключ. Султан прочитал короткую молитву, беззвучно шевеля губами, поднес ладони к лицу в знак ее окончания. Потом вложил ключ в замок большого сундука, обернулся к Али Кушчи, показал глазами, чтобы тот помог.

Крышка сундука была до того тяжела, что и вдвоем они приподняли ее не без усилий. А когда с грохотом откинули крышку, полутемная комната озарилась будто костром.

Сундук был доверху наполнен алмазами, рубинами, жемчугами, изумрудами, еще какими-то камнями, коих Али Кушчи ни разу дотоле не видал. Они сверкали, переливались, завораживали, испуская голубые, бирюзовые, пурпурные лучи, радуя глаз нежными переливами волшебно-прекрасной радуги.

— Из Багдада и Каира,— сказал Улугбек нарочито спокойно, скрывая собственное восхищение.— В этом сундуке трофеи деда, эмира Тимура, привезены сюда после победы над султаном Баязетом... Но ты не брезгуй ими. Возьми мешочек, Али.

— Для чего они мне, устод?

— Пусть послужат добру... Тебе не нужно богатство, знаю. Но без богатства, без денег чего мы достигнем? Так уж устроен мир... Пусть же и власть, и богатство служат добру, как я сказал.

С этими словами Улугбек стал разгребать драгоценности внутри сундука.

Под драгоценными камнями оказалось золото! Круглые слитки, словно крохотные пиалы, рядами поднима-

лись со дна сундука, один ряд над другим, кверху донышками. Они источали яркость и, казалось, даже обдавали жаром.

Улугбек вытащил один слиток, распрямившись, взвесил его на ладони, обрадованно сказал:

— Вон какой тяжелый... Все это мое! Наследство деда: он любил меня. Но, видит бог, я тратил наследство деда не для захвата земель, как внушал мне он сам, а благоустраивал города и дороги, возводил медресе и ханаки. Пусть же и впредь эти богатства послужат доброй цели! — повторил Улугбек.

Со дна сундука он достал небольшой, толстой красной кожи мешок и отсчитал в него десять золотых слитков, каждый размером в маленькую пиалу. Потом пригоршней ссыпал туда драгоценные камни. Протянул мешок шагирду.

Мешок был до того тяжел, что Али Кушчи с трудом удержал его в вытянутой руке.

Улугбек медлил закрыть крышку сундука, не в силах оторвать взгляда от сверкающей красоты камней, от жаркого пламени золота. Наконец обернулся к Али Кушчи:

— Пожалуй, ты не знаешь, с чего начать, как пустить это богатство в дело... Его надо превратить в деньги. Слава аллаху, мне удалось по-настоящему обеспечить деньги Мавераннахра. Это не те обесцененные монеты, что раньше мучили и казну и налогоплательщиков... Нужен честный меняла. Обратись к ювелиру Ходже Салахиддину. Передашь ему и сыну его, мавляне Мухиддину, он ведь друг тебе, мой привет и благорасположение мое... И еще раз извинение за поступок Абдул-Азиза...

Улугбек говорил сейчас совсем просто, не стараясь словами поддержать высоту, на которую вознесла его судьба; так просто разговаривал он с Али Кушчи в обсерватории.

— Да, Али... Ты одна гора, на которую я опираюсь в своей беде, надеюсь, Мухиддин будет второй... Как я буду рад, если он позабудет нашу вину перед ним и дочерью. Достойная дочь у него. Передай ему все это.

— Исполню, устод.

Улугбек закрыл сундук.

— Остальное пойдет Абдул-Азизу.— И, словно извиняясь, добавил: — Ты знаешь, он несчастный, немощный

юноша, его гложет какая-то болезнь, не знаю, как его лечить...

Жесток, своенравен и неумен этот Абдул-Азиз, а вот поди пойми отцовское сердце. Мысленно Али Кушчи произнес: «О, досточтимый устод! За что вы любите этого своего отпрыска, за что можно любить его, виновника стольких горестей? Немощный, несчастный, больной? А он, как и старший, мечтает о власти, с охотой бы вышел из-под отцовской державной руки».

Улугбек словно прочитал мысли Али Кушчи, что бывало частенько в их разговорах. Тяжело вздохнул.

— За себя не боюсь, Али. Дарованную творцом жизнь я прожил, плохо ли, хорошо ли, но прожил. Сверх меры, наверное испытал и сладость и тяжесть власти. А вот как у них сложится жизнь, у сыновей, как отнесутся друг к другу без меня, после того, как умру? Думаю, думаю об этом, и сердце обливается кровью. Особенно тревожусь за младшего. Он больной, очень больной.

Али Кушчи отвел глаза.

— Да облегчит всевышний ваше бремя! — тихо пробормотал мавляна...

Наверху Улугбек предупредил Али Кушчи: никто не должен прознать о том, что унес мавляна из Кок-сарая. Посоветовал, как лучше, надежнее завязать в пояс халата драгоценный мешок.

— Какие еще будут приказы вашему слуге, досточтимый устод? — спросил Али Кушчи.

Улугбек устало провел ладонью по лицу.

— Ночь кончается, Али. Обо всем я уже сказал... Главным богатством своим всегда считал не трон, а труды для науки,— горячо, с болью и страстью сказал Улугбек.— Моя самая большая любовь — библиотека, кладезь мудрости. Участь этого сокровища, повторяю, в твоих руках. Кому принадлежит оно? Стране нашей и всему роду людскому, разуму человеческому, выше и долговечней его ничего нет на свете, это ты верно сказал... И помни: если создатель лишит меня, своего смиренного раба, поддержки своей, лишит трона и власти, если невежды восторжествуют в Мавераннахре, тебе сохранить это сокровище для будущего. И мое доброе имя тем самым!.. Может быть, книги придется вывезти осторожно, тайком из города, спрятать где-то в горах... Уже

сейчас поищи мастеров, пусть срочно делают десять... пятнадцать больших сундуков. Ты понял меня, Али?

— Понял, устод!

Улугбек положил руки на плечи шагирда.

— Благодарю тебя, аллах! Пусть не повезло мне с родными сыновьями, зато ты для меня, мавляна, большая награда в жизни.

И Улугбек, как когда-то Салахиддин Кази-заде Руми, поцеловал в лоб Али Кушчи, до слез растроганного и до крайности расстроенного.

Учитель и ученик по-братски крепко обнялись на прощанье.

3

Проводив Али Кушчи, Улугбек вернулся в залу, увешанную охотничьими трофеями и оружием. Из всех других комнат дворца он больше всего любил эту — просторную и тихую, где часто читал, думал над научными загадками и сочинениями мудрецов и поэтов, а порою, устав, просто спал. Ему приносили постель из опочивальни, и он отдыхал в углу, затененном ширмами.

Сейчас в этом углу на маленьком столике так и стояли блюда, подносы, разнообразная еда: шашлыки, приправы, хлебные лепешки, вино — ни к чему из этого не притронулись ни Улугбек, ни Али Кушчи...

Доложили, что прибыл Бобо Хусейн Бахадыр, любимый нукер из Улугбековой охраны; вчера он поскакал гонцом в Кеш.

Высокий и ладный красавец, Хусейн почти вбежал в залу, растрепанный, потный, даже не сняв остроконечного шлема; руки почтительно сложены на груди, но весь облик его яснее ясного говорил, что сейчас не до соблюдения ритуала: широкая грудь Хусейна вздымалась и опускалась, подобно кузнечным мехам, капли пота усеяли чернобровое лицо.

Воин пал ниц. Улугбек поставил на стол пиалу, побледнел.

— Что повалился? Вставай!

Хусейн легко приподнялся на колени.

— Не смею сказать, повелитель... Весть нерадостная...

— Говори же! — приказал султан.

— Неприятель и вправду в Кеше, повелитель. Гра-

доначальник Кеша эмир Камалиддин отдал город без кровопролития.

Улугбек этого и боялся. Но, как всегда, когда подтверждались опасения, пусть и худшие, но подтверждались, у султана пропадала боязнь. Вместо нее появлялся гнев. Улугбек встал с кресла, прошелся по комнате. Глаза сощурены. Желваки ходят под скулами. Беспощаден. Крут. Бобо Хусейн Бахадыр опять пал лицом к полу.

— Вставай, вставай... Через час в поход! Чтобы все было готово, оружие, лошади, запас — все, все, слышишь?.. Правильно думаю? Говори!

— Воля повелителя — закон для подданных...

— Не о том спрашиваю! Правильно ли идти сейчас же, не собрав все силы воедино? Что думаешь, что скажешь?

— Правильно, повелитель. Времени терять нельзя... Только... ваш верный слуга полагает, надо бы поднять городское ополчение...

— Ополчение? Почему?

— Войска ведь немного, повелитель, и... город любит вас, верен вам, повелитель... Я говорю, город... простой люд городской... Военные отряды покорны воле эмиров, предводителей.

Улугбек задумался. Он понял намек Хусейна. Сам из низов, Хусейн и верил только им. Улугбек знал, чего стоит нынешняя преданность иных эмиров.

— Нет, не надо, Хусейн,— султан отрицательно покачал головой,— не надо. Что они смогут, ремесленники и чернь, против обученных воинов?.. Иди отдохни с дороги, Хусейн. Скоро опять в путь, а там...

Когда дверь за гонцом закрылась, Улугбек долил до краев пиалу вином и одним махом осушил ее до дна.

«Проклятье! Вот она, цена надежд!»

Да, он понимал, что войско Абдул-Латифа велико и что не будет Абдул-Латиф задерживаться перед Джейхуном: не тот характер, да и заповедь Тимура отлично известна его потомкам — используй время, когда ты сильней, не медли. Быстрота увеличивает силу! Расчет Улугбека, не вполне, может быть, осознанный, и состоял в надежде на то, что у Кеша сыну придется задержаться, помучиться, чтоб взять город, потерять время, а стало быть, силы и, не исключалось, сторонников. А тут нá тебе: без боя вошел! А ведь Улугбек считал Камалиддина одним из верных себе людей... Раз уж эмир Кама-

лиддин изменил ему, то кому теперь верить, на кого опереться? Что делать с остальными военачальниками?.. И опять пришли на память слова деда, сказанные однажды в Герате, в саду «Баги джахан». Султан Шахрух произнес что-то возвышенное о верности какого-то военачальника Тимуру Гурагану, на что последний ядовито засмеялся и ответствовал: «Эмиры преданы, когда меч в твоей руке намного длиннее и острее, чем у них. Держи их в страхе и не доверяйся им, сын! Преданность из страха иль преданность по разумному выбору — тебе какая в том разница? Из страха преданности достичь — это в твоих силах, а по разумному выбору — не от тебя зависит».

Улугбек не был с этим согласен... Раньше не был, а вот сейчас... Почти сорок лет он судит и рядит в Мавераннахре. Человечным стремился быть и с теми, между прочим, кто предавал его, кто за спиной козни чинил. Надвигалась беда, когда все решала сила, и что же? Где был их разумный выбор, этих эмиров? Чувствовали, что за ним сила, и оставались. Теперь почуяли силу молодого шакала и начинают перебегать к нему...

И что за напасть такая в последнее время — беда за бедой, неудача за неудачей. За что немилость судьбы? За море крови, пролитой дедом? Пусть аллах простит ему, внуку Тимура, такое кощунственное предположение, но ведь сказано пророком, что ничто не остается без возмездия в деяниях человеческих, особенно же кровь невинных. Только за что же его, внука, а не сына, не Шахруха, положим, карает небо?.. А внук так уж безгрешен, так уж человеколюбив был всюду и всегда? А завоевание Хорасана, гератские несправедливости, прорицание дервиша?

Мурашки пробежали по телу Улугбека.

Он вспомнил... Была тогда пятница, светлый, благочестивый день. Богослужению в соборной мечети Герата придавало особый блеск предшествующее событие — победоносное прибытие в город Улугбека, сына Шахруха, с войском. Перед мечетью собрались служители веры, вельможи, предводители крупных отрядов. Ждали Мирзу Улугбека. Он выехал из медресе Шахрухия; блестящая кавалькада миновала странноприимный дом, обитель дервишей, возведенный благословенным родителем Улугбека. И вдруг перед султаном появился, будто из-под земли вырос, заросший густым волосом, покрытый

грязью дервиш, полусумасшедший, видно,— дико вращал глазами, махал руками, словно плавал, и кружился в каком-то ведомом ему одному танце. Всадники впереди рванулись к дервишу, пытаясь или прогнать с дороги, или потоптать конями. Улугбек остановил их, изъявил желание выслушать дервиша. Диванá[1] свят, прогнать его грех, про то все знают. А этот дервиш, безусловно, дивана: гремя малютками-бубенцами, которыми было увешано его рубище, все так же странно приплясывая, он приблизился к султану, с пеной на губах восклицая: «О аллах, о всемогущий, создатель наш аллах!» Но между этими восклицаниями, сквозь кривляния и бормотания он говорил что-то, обращаясь именно к султану, и Улугбек не без труда, но стал разбирать его речь. А говорил дервиш, что воины султана — человеколюбца, справедливого и мудрого — клялись его именем и грабили, а то и убивали людей, ни в чем не повинных; что они опустошили кишлаки вокруг Герата; что они насильники, чуждые сострадания сиротам, богохульники, обкрадывающие мечети и ночлежные дома, и что сам султан тоже насильник, сын отца-насильника и внук деда — трижды насильника, и потому, предрек дервиш, весь род Тимуров будет проклят во веки веков!

Улугбек все понял, но не захотел покарать дервиша. Ибо тогда пришлось бы объяснить свите, за что караешь, недостойно же имени Улугбека карать лишь за то, что тебе загородили дорогу. Мирза Улугбек сделал вид, что не разобрал бормотаний диваны, стегнул коня и поскакал на торжественную встречу. Елей льстивых и лживых вытравил на первых порах из сердца горечь обвинений правдивого, и все-таки Улугбек хотел бы забыть проклятия и пророчества дервиша, хотел бы, но не мог забыть.

Да, тот поход на Хорасан поистине злосчастен. И тем еще, что показал, как отпадают эмиры и вельможи,— они подбивали его совершить этот поход, а когда удача не дала себя поймать, отвернулись от султана, а кое-кто начал рыть ему яму. За спиной, разумеется. В глаза продолжали угодливо кланяться, поддакивать, льстить. Поход на Хорасан был неудачным... Но его пришлось предпринять. Дражайшая родительница Улугбека Гау-

---

[1] Дивана — безумный, юродивый.

харшод-бегим строила такие козни, что все государство покойного Шахруха готово было развалиться из-за распрей наследников, а подействовать на неукротимую и надменную Гаухаршод-бегим, эту гератскую затворницу, как лживо она себя называла, можно было, только напугав ее, а пугать могла только лишь сила, войско, да чтоб побольше, пояростней да побезжалостней, чтобы войско напоминало Тимурово, вызывало трепет.

Улугбек закрыл глаза, совсем ушел в воспоминания. Он силился пробудить в душе хотя бы тонкий лучик теплого чувства к Гаухаршод-бегим. Но в воображении представала надменная женщина, и в старости красивая, с черным льдом глаз, с вечно подвижными пальцами, перебирающими четки. Ханжа, она ходила постоянно в темно-синем траурном платье, накрыв голову темно-синим платком,— в память, мол, о султане Сахибкиране. Своими красивыми ручками она как хотела вертела Шахрухом, да витает дух его в раю по воле аллаха! А после его кончины своенравная правительница забрала всю власть над дворцом, наводнила его жадными к золоту и недалекими умом прихвостнями. Да и не только над дворцом! Герат стал гнездом раздоров... И стоило Улугбеку, до поры до времени остававшемуся в стороне, послать ей предупреждение, Гаухаршод-бегим обозвала его во всеуслышание распутником и начала подговаривать Абдул-Латифа поднять мятеж против родного отца.

Ну, а что же Абдул-Латиф? Он жаждал получить престол. И нашел пути к тому, чтобы обеспечить перевес сил для достижения этого замысла. Он вступил в тайный сговор со столпами веры, с теми, кто косо смотрел на Улугбека-ученого, на Улугбека-просветителя, и прежде всего с шейхом Низамиддином Хомушем из влиятельнейшего ордена «Накшбендия». Фанатичные невежды шейхи отнюдь не забывали себя и ревностно следовали принципу «сила в богатстве». Они скрежетали зубами, но, пока у султана Улугбека была мощь, терпели, выжидая. И вот теперь их час настал...

Улугбек осушил еще одну пиалу вина, но это не пресекло течения безрадостных и, казалось ему, безнадежно леденящих волю мыслей.

Шагирд Али Кушчи сегодня обвинил его в том, что заботы о престоле он ставит выше служения науке... Ну, пусть не обвинил, пусть упрекнул, мягко, извиняя и

извиняясь, пусть намекнул, но на самом-то деле виноват ли он, Улугбек, в этом грехе?.. Неужели не зачтутся ему, правителю, заботы, которые он приложил, чтобы не только самому заниматься наукой, но чтобы за ним пошли и другие той же благородной дорогой, неужели не зачтутся щедрые расходы на сооружение каналов, бань, дорог и в первую очередь медресе? Может, он обманывает себя, считая, что отличается от других владык?.. Но ведь отличается, ведь и вправду готов он уйти от власти и рад был бы стать мударрисом в медресе... По-детски наивен Али Кушчи, если полагает, что, случись такое, сыновья утихомирятся и дадут Улугбеку спокойно заниматься наукой, любимой наукой... Наблюдать планеты, вычислять их пути... А для этого смотри, смотри в оба за земными делами! Вот и выходит: чтоб освободиться от забот, которые несет с собой власть, нужно позаботиться о том, чтобы власть твоя не шаталась... Да и кто ныне поверит в искренность желающего отказаться от власти?.. Если бы поверили!

Как ни мучительны, как ни безысходны были размышления Улугбека, силам человеческим поставлен предел: султан заснул. Уже засыпая, он подумал, что, выполни Абдул-Латиф одно-единственное требование отца, он, отец, отрекся бы от престола в пользу сына. Но, когда ярко-солнечным утром в Кок-сарае собрались военачальники, Улугбек даже сам себе не напомнил про это; в крепкой кольчуге, препоясавшись длинным мечом султана Шахруха, что умел подчинять себе непокорных, султан Улугбек сел на боевого коня. Не разум — сила пусть решает спор!

Влечение куда более могущественное, чем тихая радость науки, призывало его к битве за власть.

И Улугбек покорился этому влечению.

4

У ворот обсерватории Али Кушчи передавал поводья сторожу. Зашел во двор. Прислушался к затихающему стуку копыт: это нукеры поскакали обратно.

— Мавляна, вас дожидается ваша матушка,— сказал старик.

— Где она?

— В келье Книгочия.

Так прозвали Мирама Чалабй — любимого ученика Али Кушчи за то, что он дни и ночи проводил в книгохранилище за чтением.

Мавляна свернул к одноэтажному дому позади обсерватории, где жили талибы.

В келье Мирама Чалаби мерцала одинокая свеча. Хозяина в келье не было. На циновке в углу сидела, обняв колени, мать Али Кушчи — Тиллябибй. Она дремала. Али Кушчи хотел было, не тревожа ее, выйти обратно, но сон материнский чуток: Тиллябиби открыла глаза, проворно поднялась, подбежала к сыну и, взмахнув руками, словно птица крыльями, припала к нему.

— Где ты пропадал, ненаглядный сынок, верблюжонок мой? — Тиллябиби была из степного аула, и потому любимым ласковым словом у нее было «верблюжонок». Али Кушчи осторожно обнял старушку за хрупкие плечи.

— А сами-то вы, матушка? Откуда пришли в такую-то пору... ведь скоро утро...

— Обо мне беспокоиться нечего, да и в другой раз о том можно поговорить, а с тобою что приключилось, верблюжонок?.. Не таись от матери, расскажи.

— О чем, матушка?

— Ну, как же, как же... Кругом только и слышишь новости, одну страшней другой... Будто султана Улугбека уже лишили престола, а всех его приближенных и особенно шагирдов ждут разные суровые кары... А ведь ты...

Тиллябиби скорбно взглянула на сына вмиг повлажневшими глазами. Лицо ее, все в сетке морщин, с седыми прядями из-под платка, было полно безграничной любви и безграничной тревоги за сына. Теплая волна нежности к старой своей матери омыла сердце Али Кушчи. Осторожно обнимая мать, ласково поглаживая ее плечи, он провел Тиллябиби в глубь кельи, посадил на тахту, нарочито-беззаботно рассмеялся.

— Какой это негодяй врет так подло?

— Ты смеешься, верблюжонок?.. Вся махалля[1] только про то и судачит... Ах, ты плохо разбираешься в жизни. Как говорил твой покойный отец на старости лет? «Чем дальше от сильных, тем лучше для низких». Сорок лет он служил верой и правдой повелителю Тимуру,

---

[1] Махалля — небольшой квартал восточного города.

а чего добился? Одни опасности да беды сулит близость к владыке, поверь мне...

— За меня бояться не надо, матушка, право слово, не надо.

— Как не бояться, как не бояться, верблюжонок мой?.. Ну-ка, скажи, что получил ты за службу султану Улугбеку, да сохранит его аллах? Что? Одними книгами только и обзавелся. И не женился-то из-за них, я думаю. Ни очага своего, ни детей...

— Аллах захочет, и все еще будет.

— Когда это будет, ты уж седеешь, верблюжонок... Видно, не доведется мне внуков понянчить, не благоволит аллах к тебе... Ты все с книгами возишься, все с книгами...

Как сумел, он успокоил мать, пригасил, ему показалось, ее тревоги.

Тиллябиби вскоре заснула.

Али Кушчи так и не прилег в эту ночь.

Рассвет был уже близок; от местечка Оби-рахмат доносились предутренние переклички петухов, взвизгиванья и тявканье собак; небо заголубело немного, но звезды еще не погасли.

Мавляна все прохаживался и прохаживался по дворе, наконец зажег свечу и поднялся на верх обсерватории. Его влекли к себе книги, и зрелище их было для растревоженного сознания словно чудодейственное лекарство: в книгохранилище сердечная боль отпустила Али Кушчи.

«Мир чистоты и мудрости,— чуть не вслух прошептал мавляна,— далекий от мира козней и страданий, который нас, увы, окружает». Но тут же и подумалось Али Кушчи, что не совсем он прав: ведь страдания человеческие, страдания тех, кто уже ушел, тоже запечатлены в этих свитках, запечатлены так же, как и радости людей, и светлые заботы разума, открывающего то, что до поры казалось тайной. Без страдания и сострадания нет ни поэзии, нет и самой науки. Только корысть не могла запечатлеть себя в этих созданиях разума и сердца. Ни корысть, ни злоба, ни наглая надменность — низкие страсти, бесчеловечные вожделения.

Две просторные прямоугольные комнаты заняты были множеством высоких — с полу до потолка — полок. Эти полки и сами были воплощенной красотой: так прекрасно выглядит обработанное ореховое дерево, из ко-

торого они были сделаны, а тем паче прекрасна тонкая, изящная резьба на их поверхности. Старинные книги, редчайшие рукописи — поистине собранным здесь сокровищам нет цены!

Али Кушчи расстегнул чекмень, размотал два кушака под чекменем, вытащил тщательно завернутый мешок.

Как сказал устод? Без этого богатства не сохранишь и того, что на полках? Так ли? Многое может этот мешок, многое, это бесспорно. Но заменить книг и золото не сможет.

Ничто не сможет заменить, например, вот этих книг, стоящих на полках с правой стороны: целая библиотека, три ряда доходящих до потолка тяжелых томов в иссиня-черных кожаных переплетах. Это сам Тимур Гураган привез их, отняв у Баязета. Потрясатель вселенной, говорят, мало смыслил в науках, но цену, а лучше сказать, бесценность книг понимал. Эти ряды взывают к миролюбивым мудрецам — взывают своей неизученностью. Устод Улугбек все намеревался вызвать ученых мужей из Каира, Багдада, Дамаска, дабы они перевели эти труды и прокомментировали их. Можно было бы попробовать и самаркандцам... Но научные занятия требуют мира и спокойствия, а ни того, ни другого сейчас здесь нет. Время устода и его шагирдов уходит на иные заботы: не до комментирования.

Рядом с полками, на которых были разложены оберегаемые от пыли рукописи арабского Египта, высятся другие — с редкостными сочинениями из багдадского кладезя наук, академии «Хизонат уль хикмат». Чарующий свет источали их позолоченные цветистые узоры зеленых, красных и синих сафьяновых переплетов. Чуть поодаль в шкафах, стенки которых замысловато изукрашены резными изображениями животных и птиц, сложены книги из Китая и Индии, и каждая завернута в зеленый или желтый шелк.

Шесть лет назад, когда жив был еще Шахрух-счастливец, ревностно поддерживавший сына, в том числе и казною, досточтимый устод Улугбек пригласил — за плату золотом, иначе приглашение было бы с вежливостью отклонено — двух ученых мужей: одного из Индостана, другого из страны фарфора. По воле аллаха индиец вскоре оставил сей бренный мир, не успев довести до конца перевода знаменитого произведения индийских астроно-

мов «Сидхаита». Что же до говорливого безбородого ханьца, то его судьба сложилась удачливее, ибо, на несколько лет став прилежным и сообразительным студентом в медресе Улугбека, он неплохо освоил персидский и тюркский языки, даже стал смешно лопотать на них, усердно занимался и арабским. Затем приступил к переводу на фарсй и тюркй привезенных из Китая книг и успел оставить три тома переводов по древнекитайской астрономии; дальше этих трех томов не пошло, китаец заявил, что соскучился по родине, куда и отбыл с караваном, шедшим на восток, естественно, взяв золотом плату за сделанное.

Ну, а наибольшим почетом пользовались в библиотеке устода книги и рукописи ученых, философов и поэтов Мавераннахра, что видно из того хотя бы, что шкафы, где они собраны, стояли на самом видном месте помещения и были заботливо и с тщанием инкрустированы. Каждая книга, а уж тем паче каждая старинная рукопись покоилась в особо обработанном кожаном переплете и в футляре из кожи голубых и бирюзовых тонов; золотым тиснением увековечены были на них благословенные имена авторов, и даже сейчас, в тусклом мерцании свечи, затейливая буквенная вязь этих имен сияет, подобно звездному свету.

А как ликует глаз твой и сердце твое, о смиренный мавляна Али Кушчи, один из немногих пригубивших мудрости великих, один из редких счастливцев — людей науки, при виде вон той большой верхней полки! Что там?— спросит кто-то. И наизусть, не глядя наверх, ты ответишь: там, прежде всего шесть томов Абу Абдулло аль-Хорезми, причем три из них, судя по всему, и написаны его благословенной рукой; эти сокровища устод выписал из Багдада, из знаменитого «хранилища тайн», библиотеки «Байтул хикмат»... Рядом с Хорезми мудрейший и воистину все постигший Абу Али ибн Сина, двенадцать его томов, и среди них знаменитейшая «Книга исцеления», «Китоб уш шифо», а кроме того, три книги его стихов... Что еще? Шестнадцать томов великого разумом Аль Фараби и мудрейший из мудрых Абу Рейхан Бируни, чьи книги все в красном сафьяне, и лишь одна в бирюзовом, та, что излагает устройство вселенной, «Ал-Канун ал масъуди». А почему в бирюзовом? Да потому, что устод чаще других перечитывал ее и надо было выделить ее цветом, отличить от других... Ну, а дальше —

произведения, что запечатлели глубочайшие познания Ахмада ибн Абдуллы Марвази, и учителя математиков Ахмада ибн Мухаммада Фаргони, и мавляны Абул Вафо ас-Самарканди, земляка нашего, и наставника звездочетов Гиясиддина Джамшида, и Насриддина Туси,— о каждом не будет преувеличением сказать как о мудреце мудрецов, и сие тем больше имеет оснований быть распространенным на благословенного Салахиддина Кази-заде Руми, что он ведь устод моего устода и тем самым, осмелюсь сказать, мой устод.

Да и как же он не твой благословенный учитель, пусть ликует его светлая душа в раю? Он заходил сюда, в эту сокровищницу знаний, и ты видел его! Он останавливался на том самом месте библиотеки, где ты сейчас стоишь, смотрел на ту же самую, ценнейшую из ценнейших полку, а перед тем, как раскрыть книгу, взятую с нее, закрывал глаза, шептал молитву, затем касался переплета устами и только после этого раскрывал книгу — и ты все это видел собственными глазами и слышал, как устод требовал того же, что делал сам, от каждого юноши-талиба, ибо, вступив в храм знаний, человек должен понимать, так говорил наставник, что самое великое, к чему следует питать благоговение, есть разум, а воплощается разум в книге, в слове.

И снова вспомнился Али Кушчи тот весенний день, когда повелитель-устод привел к ним, талибам, великого мудреца Салахиддина Кази-заде Руми. Улугбек был тогда в расцвете сил, полон дерзновенных замыслов. Златотканый блестящий наряд, серебристого цвета чалма, порывистые движения — все шло тогда к нему, молодило, выделяло среди людей. Рядом с ним старичок мудрец выглядел еще более старым и хилым. Но какое обаяние было у этого старца, как быстро покорил он их всех! Досточтимый старец весь в белом и блистательный Улугбек заняли места под ветвями густой чинары. По просьбе повелителя наставник взял толстую книгу, завернутую в парчу, раскрыл ее. Он повел речь о математике, этом великом создании человеческого ума, о небходимости ее для изучения небесных светил. Али Кушчи читал эту книгу раньше, но впечатление от того, как объяснял ее сам Кази-заде Руми, было несравненно большим. О сложнейших вопросах старец говорил так просто, неотразимо логично, что Али Кушчи показалось тогда, будто слышит он не сложнейший трактат, а дивную музыку — она ча-

рует душу, умудряя разум. И не один Али Кушчи, и не только повелитель, не только талибы, даже сановники, что прибыли в медресе вместе с султаном (хотя и то сказать, что́ им наука, зачем им математика, если не для подсчета барышей или убытков?!), даже они были захвачены уроком и слушали Кази-заде Руми в глубоком, почтительном внимании. Правда, когда султан Улугбек, поблагодарив наставника, спросил, всем ли все понятно, не одни только скромные талибы, но и важные сановники, потупив глаза, предпочли отмолчаться, чем вызвали печальную улыбку старца. И тогда Али Кушчи стеснительно приподнялся и, робея и заикаясь, ответствовал, что беседа наставника понятна и принесла наслаждение.

Глаза мавляны Руми блеснули радостью. Мирза Улугбек же устроил Али Кушчи чуть ли не целый экзамен, более всего по геометрии.

Али Кушчи, к радости старца, все более воодушевленно отвечал султану. А султан вдруг подозвал его к себе и спросил уже о том, какого он рода, где учился, что мыслит о дальнейшей судьбе своей. Вот тогда-то мавляна Руми поцеловал Али Кушчи в лоб, коснувшись лица белой шелковистой бородкой...

Растроганный, вошел Али Кушчи в следующую рабочую комнату обсерватории. И здесь было множество книг, старинных, ценнейших. И здесь полки закрывали три стены комнаты, оставляя открытой лишь одну, обращенную на запад, к Мекке. Тут были вывешены астрономические таблицы Улугбека. На плотной шелковистой египетской бумаге, словно россыпь золотых монет, изображения звезд. Можно не смотреть на небо: точной копией его была эта картина! Она притягивала к себе, чаровала.

Внизу под таблицей светились сделанные золотой краской пояснения, указатели, цифры.

В углу помещения измерительные приборы, два мягких кресла с высокими спинками (к таким спинкам привык Улугбек). Устод любил вечерами сиживать здесь, в этой комнате, читать, работать над самым дорогим своим детищем — звездной картой. Али Кушчи был с ним рядом. И труд мавляны есть в чудесной таблице, висящей напротив. И не только в ней! Ведь Али Кушчи тоже собирал книги, манускрипты, помогал устоду находить редкости для библиотеки, уподобляясь искателю жемчуга в далеких странах южных морей... И сколь при-

ятно и дорого, что вон там, на угловой полке рядом с шестью томами исторических сочинений устода стоят и его, Али Кушчи, книги!..

А что ж теперь? Неужели ему угрожает разлука с этим храмом знания, с этой обителью светозарного разума, где он научился жить подлинной жизнью духа, подниматься мыслью в сверкающую, облагораживающую человека сферу, что высоко парит над тяготами и суетами повседневного мира?

Именно здесь он понял: есть счастливые муки — муки познания, и нет выше и чище радостей, чем радости познания же!

Слепые невежды, о которых недавно с гневом и боязнью говорил устод, не раз обвиняли и его, Али Кушчи, в грехах против заповедей шариата, кричали о том, что он пьяница, чревоугодник, развратник. И это о нем, для кого не существует благ суетного мира, не существует, ибо нет у него желания обладать ими. Ведь он, Али Кушчи, и впрямь отказался от счастья иметь семью, детей, ибо думал, что они помешают его научным занятиям. О, бедная матушка правильно все объяснила, хотя, может быть, слишком просто сказала об этом... Ему уже за сорок, уже впереди брезжит конец жизни, мимолетной и бренной, как у всякого человека. Будет ли у него на старости лет теплый очаг? Вряд ли. Вот эта обсерватория и есть его очаг. Без нее что будет он делать, куда денется?

Но Али Кушчи, хоть и называли его ученым-затворником, не относился к числу людей, находящих сладость в бездеятельной печали. Надо было подумать о том, как лучше выполнить наказ устода Улугбека. Пусть не пропадало у Али Кушчи пугающее чувство, будто остался он один на свете с таким немыслимо трудным поручением, да что же делать, надо действовать!

Подняв над головой свечу, Али Кушчи еще раз огляделся. Всюду книги, книги... Нет, для них не хватит десяти — пятнадцати сундуков. Значит? Значит, досточтимый устод имел в виду выбрать из редких редчайшее, из драгоценных драгоценнейшее... Да, а кому заказать сундуки?! И куда же спрятать отобранное?

Начать с обмена золота на деньги. Идти к Ходже Салахиддину, ювелиру — это так только говорится «ювелир», он ведь владелец едва ли не всех ювелирных лавок Самарканда...

Али Кушчи взял несколько золотых «пиалок» и драгоценных камней, мешок запрятал между книгами и вышел во двор. Было еще рано, однако он совершил утреннее омовение, прочел предрассветную молитву — бомдод.

Али Кушчи был готов действовать.

5

Вершины Ургутских гор на горизонте слегка зарозовели, но сквозь редкие облака все еще виднелись на небе звезды. Ветер был прохладен и заставлял поеживаться; деревья вдоль дороги клонились под его порывами, а огромный сад «Баги майдан» встретил путника шумом, сходным с шумом реки.

Обычно месяц шагбан бывал в этих краях теплее; багряно-червонные сады и рощи Самарканда, увядая, дремали под ласкающими лучами осеннего солнца; по большаку мимо обсерватории тянулись на базар арбы с плетеными кузовами, полными дынь и арбузов; молодые джигиты несли на головах корзины, пламеневшие рубинами гранатов, желтевшие крупными грушами, каждая с маленький фарфоровый чайник; садовники гнали ослов, навьюченных ящиками изумрудно-золотистого винограда; бывало, в такие ранние часы, поднимая пыль до голубеющего неба, проходили отары овец, а то и караваны торжественно шагавших верблюдов, и колокольчики их пели о нескончаемости дорог, о притягательной силе благословенного самаркандского базара и вообще об этом украшении вселенной — славном городе Самарканде... Сегодня же на большаке, что бежал мимо обсерватории, мимо садов и дворов, отъединенных друг от друга глиняными заборами и зелеными изгородями, стояла непривычная для любого самаркандца плотная тишина. Будто не только люди, но и все живое чувствовало опасность, нависшую над городом, и потому перестали петь птицы, блеять овцы, мычать коровы. Даже собачьего лая не было слышно, будто и собаки попрятались в укрытиях, затаились в ожидании чего-то таинственно-страшного.

Миновав гробницу святого Кусама ибн Аббаса, Али Кушчи свернул налево. От этого поворота дорога вела к Регистану. Пройдя немного, Али Кушчи услыхал барабанный стук, трубные призывы карнаев,— звуки нача-

ла похода. Они нарастали, и чем ближе подходил мавляна к Регистану, тем яснее становилось ему, что это повелитель собрался на битву. Мысленно пожелал он удачи устоду, закрыв лицо руками, прошептал молитву-просьбу о даровании победы.

По широкой мощеной дороге мавляна двинулся к соборной мечети.

Со стороны страннопримного дома, расположенного напротив входа в Шахи-Зинда, он опять услышал дервишеское пение.

Показалась группа дервишей. Все в рубищах, все в треухах из козьей шкуры, кое-кто с дымящим кадилом в руке. Полузакрыв глаза, покачивая в такт пению лохматыми головами, дервиши брели нестройной толпой, но напев тянули согласно, возвеличивая всевышнего:

О аллах, о всемогущий,
О создатель наш аллах!

Тот, кто бренный мир избрал,
В сердце бога потерял.
В судный день найдет беду —
Он окажется в аду.

О аллах, о всемогущий,
О создатель наш аллах!

Резкий запах гармалы из кадильниц бил в ноздри, уши болели от дервишеских возгласов «ху-ху», «ху-ху», которыми сопровождалось пение. Пританцовывая, группа дервишей прошла мимо Али Кушчи.

Пред вратами смерти ждущей
Равны нищий, воин, шах...
О аллах наш всемогущий,
О создатель наш аллах!

Ожидая смертной сени,
Словно труп живой, хожу.
Э т о т мир подобен тени.
Миром т е м я дорожу.

Человек, ты горстка праха
И о том не забывай,
Помни день и ночь аллаха,
Его имя восславляй!

О аллах, о всемогущий,
О создатель наш аллах!

«Славить аллаха следует добрыми делами и трудом разума, а если и стихами, то уж явно не такими»,— усмехнулся Али Кушчи, и тут взгляд его упал на шедшего последним в группе человека, высокого и плечистого. Дервиш оглянулся, поразив мавляну лихорадочным блеском глаз и огромной густой бородой. У мавляны дрогнуло сердце: Каландар Карнаки, тот самый, о ком сегодня ночью спрашивал устод!..

Каландар Карнаки украдкой кивнул Али Кушчи.

Или так только показалось мавляне?

Угрюмое пение дервишей, их пугающие вскрикивания постепенно отдалялись, замирали, а перед глазами застывшего на месте Али Кушчи все стояло лицо, заросшее густой бородой, все припоминался скорбный взгляд дервиша...

Каландар был родом из дальнего северного города Ясси, вернее, из крепости Карнак неподалеку от города. Лет двадцать назад он вместе с другими воинами приехал к Улугбеку, прося защиты от кипчакского хана Барака, который завладел тогда городами Сигнак и Ясси. В битве Улугбека с Барак-ханом Каландар проявил примерную отвагу и даже был, можно сказать, среди спасителей жизни Улугбека, ибо по воле аллаха повелитель потерпел в той битве жестокое поражение и должен был оставить поле брани.

Каландара ждала после этого дорога воина и военачальника.

Но то ли потому, что в той битве пали его близкие друзья-земляки, то ли потому, что трудно стало верить в благосклонность переменчивого воинского счастья к султану Улугбеку, а тем самым и в освобождение родного города, Каландар Карнаки пошел по другой дороге — науки и знания. Сменив доспехи воина на халат талиба, Каландар стал ревностно учиться в медресе Улугбека под наставническим оком мавляны Али Кушчи и мавляны Мухиддина. К занятиям математическим и астрономическим он оказался весьма способен, равно как и к сложению изящных стихов на языке тюрки. Последнему делу способствовала, видно, и любовь Каландара к дочери своего учителя Мухиддина — к юной красавице Хуршиде-бану.

Мавляна Мухиддин, проявив человечность, согласился было сделать бедного студента-чужестранца своим зятем. Но высокомерный Салахиддин-ювелир нашел, что

молодой поэт — юнец, у которого ни кола ни двора, не пара для его любимой внучки. Сыну эмира он, конечно, не отказал. Это ведь не полунищий поэт!..

Переживая разлуку с любимой, мучась от обиды и бессилия, Каландар стал сторониться людей, а потом и вообще покинул медресе.

С тех пор Али Кушчи не раз встречал Каландара среди дервишей, а его бывший ученик делал вид, что не замечает учителя. Затем Каландар куда-то пропал и вот только сегодня очутился на пути мавляны и впервые ответил, обернувшись, на взгляд учителя взглядом, кивнул ему. И что же значил этот его кивок: просто ли вежливость, свидетельство ли прежнего уважения... а может, угрозу?.. Или, напротив, знак предупреждения об опасности?

Может быть, все это почудилось Али Кушчи? Но нет, слишком выразителен был взгляд Каландара. При удобном случае следовало бы поразмыслить о происшедшем: ведь бывает так, что взглядом скажешь больше, чем словом, хотя Али Кушчи всегда предпочитал ясное слово бессловесному намеку.

Со стороны Кок-сарая все еще продолжал доноситься грохот барабанов и трубный призыв карнаев. Но улицы и дома безмолвствовали.

Обычно в эти часы уже выходили водоносы. Враги уличной пыли, они поливали землю водой из тяжелых кожаных мешков, повешенных на шею; в эти часы делали свое дело подметальщики площадей и улиц. А затем распахивались двери и окна бесчисленных торговых и ремесленных лавок, выстроившихся в два ряда по сторонам улиц, и кузнецы уже разжигали горны, бросали в огонь саксауловые полешки и хворост, стучали огромными молотами, звенели малыми — подковывали первых скакунов; и резчики камня усаживались на корточках и на низких скамейках перед глыбами и плитами, тесали, скоблили, долбили, и под их руками оживали орнаменты, радующие глаз даже тогда, когда узор предназначался для надгробия; и точильщики уже точили первые топоры и ножи, и мастера по костяным дорогим рукоятям для сабель и кинжалов не сидели сложа руки... Начинался трудовой день ковровщиков и ткачей, гончаров и столяров, жестянщиков и оружейников, тех, кто изготовлял сундуки, и тех, кто мастерил зыбки для младенцев — бешики. Стук, грохот, людской

говор! А хлебопеки уже месили тесто, кондитеры приступали к варке халвы, шашлычники готовили жаровни, и вскоре горьковато-обольстительная волна запахов лепешек и шашлыка, вкуснейшей самаркандской самсы и жареного лука, пряностей и сладостей обрушивалась на путника, вызывала у него радужные мечтания, и кто, в самом деле, мог устоять перед соблазнами знаменитой кухни Самарканда, если не брать в расчет тех, у кого не было за душой ни гроша?.. Не раз приходил сюда Али Кушчи проветрить усталую голову, посидеть в спокойном местечке, где ему видно и слышно было все происходящее на этой улице, в этих рядах. Понаблюдать за работой мастеров, поговорить с ними, отведать свежей вкусной пищи — вот и отдых, вот и радость для мавляны. И как же горько думать, что эта уличная жизнь, несмотря на пестроту свою и шумливость, спокойная, словно большая равнинная река, что она тоже сейчас под угрозой, как и жизнь владыки Кок-сарая и его приближенных. Страшно помыслить о том, как Абдул-Латиф, победи он устода, пригнет к земле эти лавки и лавчонки поборами и налогами, если попросту не ограбит всех этих кузнецов и ткачей, резчиков и ювелиров.

Али Кушчи прибавил шагу.

Через узкий переулок он вышел к небольшому майдану, посреди которого росла роскошная шелковица, выстлавшая палыми листьями целый золотистый ковер вокруг себя. По правую руку от дерева стоял богатый особняк, как водится, с массивными двустворчатыми воротами и маленькой калиткой-входом, но с необычной балаханой[1], чьи окна смотрели не внутрь, а наружу. Майдан был замкнут с трех сторон небольшими строениями, сложенными из плоских кирпичей. Это были торговые лавки, на каждой висел здоровенный, с лошадиную голову, замок. Жилой дом и лавки принадлежали знаменитому богачу ювелиру Ходже Салахиддину, то было его царство.

Али Кушчи постучал в ворота тяжелым медным кольцом, предназначенным для того, чтоб пришедший дал таким образом знать о себе. Довольно долго не отвечали. Потом глухо послышалось:

— Торговли сегодня нет и не будет.

---

[1] Балахана — пристройка над воротами.

— Я из медресе... друг мавляны Мухиддина... Передайте ему, что пришел мавляна Али Кушчи.

Первое, что увидел Али Кушчи, когда ему, наконец, открыли, был какой-то смуглолицый великан, вооруженный саблей. «Ого, у ходжи своя стража!»

— Здравствуйте, устод.

Тихонько приоткрылась на веранде одна из дверей, и тоненькая, словно лоза, молодая женщина в темно-синем платье до щиколоток и с голубым шелковым платком на голове предстала перед Али Кушчи. Она остановилась у порога, потупив глаза и прикрыв лицо розовой кисеей.

«Вот так день выдался сегодня,— подумал мавляна.— Сразу с обоими влюбленными повидался за какие-нибудь полчаса».

— Пусть жизнь твоя будет долгой, дочь моя. Дома ли отец, да ниспошлет аллах вам обоим счастье?

— Дома, устод. Добро пожаловать к нам.

Через веранду Али Кушчи прошел в прихожую, а потом налево в знакомую комнату — опочивальню мавляны Мухиддина. Просторная эта комната с необыкновенным, редкой цены золотым светильником в хрустальных подвесках, что мог быть принят и за дворцовый, застлана китайскими коврами. На сложенных в несколько рядов шелковых одеялах — курпачах, на пуховых подушках лежал мавляна Мухиддин. Он не спал и, увидев гостя, столь раннего и неожиданного, хотел было встать с ложа, но Али Кушчи опередил его:

— Ради аллаха, не беспокойтесь обо мне и простите, что тревожу в такую рань да еще занедужившего друга своего,— и, сказав так, заторопился к Мухиддину, присел на колени близ него, пододвинув под ноги себе одно из одеял.

Мухиддин, мужчина немолодой, ему перевалило за сорок, выглядел больным: худой и длинный, он лежал сейчас под дорогой собольей шубой, подогнув ноги в коленях, голову он повязал вышитым шелковым платком, а сверху надел остроконечную тюбетейку.

— Да ниспошлет вам аллах столь желаемое мной исцеление,— Али Кушчи поднял ладони к лицу.— Что сказал лекарь, мавляна?

Мухиддин приподнялся на локтях. Позвал слугу.

Лепешки были горячи и свежи, самса просто таяла во рту, мед, миндаль и кишмиш в тонких фарфоровых вазочках порадовали бы всякого любителя и знатока

сладостей, а беседа дальше взаимных расспросов о самочувствии так и не продвигалась. Али Кушчи все время казалось, будто в комнате, знакомой ему, чего-то не хватает. И вдруг его осенило: не было книг на полках! Их заменили хрупкие китайские блюда, стоящие на ребре, прелестные пиалы в золотых ободках, серебряные подносы, чеканенные по всему полю; изящные медные кувшины и кувшинчики перемигивались в солнечных лучах с разноцветными вазами и тарелками.

Али Кушчи оторвал недоуменный взгляд от полок вдоль стен, перевел его на полулежащего, почти закрывшего глаза свои Мухиддина. Недоброе предчувствие кольнуло Али Кушчи. Он не спросил, что случилось с книгами мавляны Мухиддина, вместо этого сказал:

— Вчера я был в Кок-сарае у устода.

Мавляна Мухиддин шевельнулся, открыл глаза, кашлянул тихонько:

— И к вашему слуге повелитель присылал гонца... Да что я мог сделать, кроме как обратить к повелителю покорнейшую просьбу простить мне мой недуг, столь неуместный, но оттого не менее сильный...— Мухиддин почему-то покраснел, приподнялся с той же живостью, что и в начале встречи, стал настойчиво угощать гостя. О здоровье Улугбека он не спросил.

— Досточтимый устод передал вам свой привет,— сказал Али Кушчи.

— Да будет он в вечном здравии. Прошу, угощайтесь, откушайте этих яств, почтенный мавляна,— Мухиддин придвинул к Али Кушчи кушанья, разломил лепешку.

Не без холодности Али Кушчи продолжил:

— А вместе с приветом досточтимый устод высказал одно особое пожелание...

Пальцы Мухиддина, ломавшие лепешку, остановились.

— Пожелание? Какое пожелание?

— Да будет вам известно, уважаемый мавляна, сегодня утром повелитель пошел войском против сына своего, мятежника. Станем надеяться, что всевышний вновь не оставит милостью нашего устода и повелителя. И все же,— Али Кушчи тяжело вздохнул,— и все же... откуда нам, простым смертным, постичь волю аллаха... Если птица счастья — хумо бросит свою тень не на устода, а на шах-заде, на сына, что будет значить, что удача от-

вернулась от отца... то тогда... тогда на нас с вами, друг мой, повелитель возложил обязательство сберечь, укрыть самые ценные книги и рукописи из его... из нашей обсерватории.

— Укрыть?.. Не понимаю, где укрыть?

— Разумеется, в надежном месте, мавляна.

— Это место... мой дом, мавляна?!

И такой испуг мелькнул на лице Мухиддина, что Али Кушчи с трудом скрыл усмешку.

— Нет, друг мой, ваш дом не подходит для того, о чем мы беседуем. Ведь речь идет не об одной книге, и даже не о десятке книг: пять или шесть верблюдов не поднимут этого клада.

Мавляна Мухиддин затеребил край скатерти, поигрывая перстнями.

— Коль скоро мой дом не подходит для укрытия столь большого числа книг, то чем же может быть полезен ваш покорный слуга? Не понимаю, чего вы, почтенный друг, ждете от меня?

— Что ж тут непонятного, мавляна? — Али Кушчи уже еле сдерживал возмущение.— Устод считает нас с вами своими ближайшими шагирдами, он соблаговолил возложить на нас эту задачу. Разве воля устода не закон для шагирда?.. Я и пришел посоветоваться, как выполнить волю устода.

Огорченный таким поворотом дела, мавляна Мухиддин вымолвил:

— Прошу снисхождения к вашему слуге, мавляна, но задача кажется мне настолько трудной, что без совета благословенного родителя своего не рискую за нее взяться. Если вы позволите...

И Мухиддин, забыв о недуге, торопливо встал с одеял, сунул ноги в узенькие лодочки — кауши, сделанные из блестящей узорчатой кожи.

Мавляна Мухиддин оставил Али Кушчи одного.

Медленно вращая в пальцах расписную пиалу, Али Кушчи вспоминал день, когда Ходжа Салахиддин устроил в своем доме пир, созвав всех ученых мужей Самарканда. Был повод: Мухиддин стал мударрисом в медресе Улугбека. Пир тот, нельзя забыть, удостоили посещением благословенный Салахиддин Кази-заде Руми и сам повелитель-устод. Ювелир выложил перед устодом редкие старинные рукописи, что собирались для мавляны Мухиддина долгие годы, и тем заслужил похвалу Улуг-

бека... В сущности, все богатство этого дома, почет, коим умело пользовался его хозяин ювелир,— все это по милости султана, благоволившего к Мухиддину. Да, Мирза Улугбек высоко оценил знания и способности молодого мавляны: несмотря на молодость, сделал его мударрисом, положив немалое жалованье. Еще больше, может быть, выиграл отец: Ходжа Салахиддин был зачислен в тарханы, и уж ему ли, освобожденному от всех податей и налогов, было не развернуться со своими финансовыми дарованиями! Мирза Улугбек дал ему грамоту, освобождающую даже от налога-тамги, обязательного, казалось бы, для всех торговых людей. Словом, Ходжа Салахиддин милостью Улугбека превратился во влиятельного в Мавераннахре человека, не говоря уж о том, что стал самым большим, пожалуй, скупщиком и менялой денег в Самарканде. «Что же он предпримет теперь, когда на голову устода пала беда?» — подумал Али Кушчи.

Ходжа Салахиддин вошел в комнату неторопливо, приостановился у порога, чтоб внимательно оглядеть гостя. Опирался он на белую трость слоновой кости, но двигался легко и непринужденно, несмотря на свои семьдесят лет. Была в ювелире скрытая, не заметная первому взгляду красота — в одежде безукоризненного вкуса и понимания своего возраста, в худобе лица, почти гладкого, без морщин, в статности, делавшей его, маленького ростом, гораздо выше, во взгляде, острота которого сравнивается обычно с орлиной.

Али Кушчи поднялся и отвесил вошедшему почтительный поклон.

Старик приставил к стене трость, любовно погладив ее рукоятку, инкрустированную жемчугом, неторопливо прошел на почетное место и опустился на курпачу. Али Кушчи и сыну указал, куда сесть — рядом, по обе стороны от себя.

Юноша слуга появился в комнате, неслышно освободил скатерть — дастархан от серебряных подносов с едой, а потом принес золотые — с фруктами и сладостями. Пятясь и кланяясь, слуга покинул комнату, и только тогда Ходжа Салахиддин произнес первое слово, повернув к гостю голову и внимательно взглянув ему в глаза:

— Давно не испытывали радости видеть вас в нашей убогой хижине, уважаемый мавляна. Но лучше поздно, чем никогда. Добро пожаловать!

«Убогая хижина» вызвала у Али Кушчи ироническую усмешку, но он вовремя успел погасить ее.

— Благодарю вас... Я пришел в ваш замечательный дом, почтенный ходжа, с радостным чувством друга и ради исполнения важного долга, о коем мавляна Мухиддин, наверное, успел сообщить вам.

Салахиддин-ювелир кивнул утвердительно. Отхлебнув душистого чаю из пиалы, неторопливо заговорил:

— Прежде чем обсуждать это дело, хотел бы сказать два-три слова, уважаемый мавляна... Знаете ли вы, что Мирза Улугбек лишился престола, а тем самым и возможности распоряжаться в государстве нашем?

Глубоко посаженные глаза старика из-под густых насупленных бровей впились в Али Кушчи.

— Недостойные слухи, почтенный ходжа! Ваш покорный слуга не далее как в эту ночь был во дворце у повелителя. А сегодня на рассвете войско султана Улугбека...

Ювелир нетерпеливо передернул плечами.

— А известно ли вам, что осчастливленный благосклонностью аллаха шах-заде Абдул-Латиф со своей ратью уже стоит на перевале Даван и все военачальники Мирзы Улугбека перешли на сторону сына?

О размерах беды Али Кушчи догадался еще ночью, глядя на своего повелителя. Но откуда так быстро узнал о состоянии дел повелителя Салахиддин-ювелир?

Али Кушчи вопрошающе взглянул на Мухиддина. Мавляна сидел отрешенно, втянув голову в плечи.

— Так вот,— продолжал ювелир,— теперь спрошу я вас, мавляна Али, хорошо ли подумали вы о том, как опасно в объясненных мною условиях житейских предприятие, за которое вы взялись? Да к тому же,— старик протянул пустую пиалу сыну,— пытаетесь вовлечь в него и моего сына.

Али Кушчи готов был возразить, но Ходжа Салахиддин повысил голос:

— Да станет вам известно еще и то, что сокровища знаний, кладезь премудростей и прочее, про что вы так красноречиво говорили и что хотите спрятать, должно быть по вынесенному решению сожжено!

— Какой невежда мог вынести подобное решение?!

— Из сказанного мной следует,— ювелир не снизошел до ответа на вопрос Али Кушчи,— что тот, кто вознамерился бы уберечь книги от гнева праведных людей,

верных исламу, есть нечестивец и заслуживал бы сожжения на костре... возможно, том же самом, где сгорят книги... Ибо решение то — фетва, оно не отменяется, раз вынесли его высшие духовные наставники наши,— старик криво улыбнулся.— Подумали вы об этом, мавляна?

Плохо скрытая угроза была в словах Салахиддина: Али Кушчи непроизвольно пригнулся. Старик, властный, много видевший в жизни, вкусивший немало и радостей и горестей ее, умел влиять на людей так, как было ему нужно. И старик был прав, говоря о рискованности затеянного предприятия. Но было ведь ясно еще и то, что ювелир запугивал Али Кушчи, несомненно, запугивал.

Али Кушчи выпрямился. Разве об опасностях не предупреждал его и устод? Разве сам он не понимал, на что идет, принимая приказ, нет, не приказ, а поручение, просьбу, мольбу Улугбека?.. Что же, поддаться страху и запугиваниям, предать устода, перейти из медресе в мечеть? И шапку мударриса сменить на чалму имама — священнослужителя?

Ходжа Салахиддин по-своему объяснил молчание собеседника.

— Мавляна Али,— голос старика дрогнул, наливаясь ласковостью,— аллах свидетель, вы дороги мне не менее его,— старик протянул руку к Мухиддину и принял вновь наполненную сыном пиалу.— Ваша беда — словно его беда. Как отец, говорю, не играйте... с огнем, будьте осторожны, очень осторожны!

В искренность этих слов трудно было не поверить. И, если б не память о горестном лице устода, Али Кушчи, может быть, и поверил бы ювелиру, ибо великое это дело — опыт житейский на службе человека хитрого и умного, сведущего в сердцах других людей. Но теперь Али Кушчи успокоился и лишь злился на себя да вот на этих двух... вдруг ставших чужими людей, испуганных и жалко-хитрых.

— Благодарю вас за советы... отец мой. Ваш слуга преисполнен уверенности в том, что они даны искренне. Однако,— Али Кушчи проглотил комок, ставший в горле,— однако... не об обычных драгоценностях, не о золоте или камнях веду я речь с вами, а о жемчугах науки, знания, о мыслях тех, кто мудрее мудрых. Сорок лет великий устод Мирза Улугбек собирал свою сокровищницу, и вам ли не знать, сколь многотрудным было это дело. Это сокровище может делать простых смертных

истинными сынами человеческими. Так, надеюсь, произошло со мной, и думаю, что шагирд, который забудет хлеб и благосклонность устода, дарованные им знания, уподобится... слепцу, отец мой. И ваш слуга предпочитает сгореть на костре, разожженном невеждами, чем откажется от исполнения воли повелителя... Слово устода — закон для шагирда, не правда ли, мавляна? — обратился вдруг Али Кушчи к мавляне Мухиддину.

Тот все сидел не шелохнувшись, в прежней согбенности, и остроконечная тюбетейка склонялась все ниже и ниже.

— Мавляна Али,—пришел на помощь сыну старик ювелир,— счастлив человек, обладающий не только знаниями, но и красноречием. Вы сказали прекрасно. Слова ваши блестящи и многомудры... Но мудры они скорее мудростью талиба, только что переступившего порог храма науки, чем истинно ученого мужа, каким вы являетесь. Простите старика, мавляна, но где же присущая ученому осмотрительность и дальновидность в суждениях?

Старик погладил седые брови и, видя, что гость хочет возразить ему, снова повысил голос:

— Кому вы рассказываете о щедрости и заботливости Мирзы Улугбека? И кто спорит о том, как должен вести себя ученик, если он признает кого-то своим учителем?.. И зачем вы взываете к благодарности нашей, если знаете, как поступил с моей любимой внучкой сын султана? Иль вы не знаете этого?! Иль это можно простить?! Благосклонность Мирзы Улугбека!.. Не потому ли она и была оказана, чтобы загладить вину?

Али Кушчи приготовился сказать, что благосклонность была проявлена и до прискорбной истории, но старик вдруг на его глазах расплакался, скрыв свое лицо шелковым благоуханным платком.

— Устод не ведал о планах Абдул-Азиза, он наказал сына... и он просил передать вам еще раз свое сочувствие и извинения.

Салахиддин вытер глаза, взмахнул рукой.

— Что взять с извинения, мавляна? Разбитый сосуд не склеить, вдову не превратить в девственницу!

Али Кушчи вспомнил Каландара, оскорбительный отказ Салахиддина видеть бедного влюбленного мужем своей внучки. О ее ли счастье заботился тогда гордый богач?

— Что было, то было... отец мой,— Али Кушчи уже не сдерживал раздражения.— Но мы говорим о другом — о том, что нечестно оставлять в трудную минуту устода, прикрываясь подлостью другого человека, пусть и его сына!

Ходжа Салахиддин, старый лис, понял, видно, что надо решаться на завершающие слова.

— Мавляна Али! Каждый смертный волен поступать по-своему, аллах же рассудит нас всех. Вы пошли на риск, воля ваша... Из-за сокровища, как вы назвали книги, ваш покорный слуга... и его сын,— кивнул Салахиддин на Мухиддина,— не поставят под удар спокойствие и благополучие своих близких. Это все, мавляна!

— О ходжа! Вы могли бы не опасаться того, что я вовлеку вас с сыном в это опасное дело. Я пришел к вам попросить немного денег... и, конечно, мудрого совета.

— Денег?

— Не пугайтесь, почтенный! Я не имею в виду взять у вас взаймы. Повелитель передал мне кое-какие камни, драгоценности, несколько золотых слитков, дабы обменять их на деньги, которые, надо полагать, мне пригодятся.

Ходжа Салахиддин весь встрепенулся, преобразился.

— Драгоценные камни, говорите? Что за камни? — подался вперед старик.

— Где вашему покорному слуге разбираться в камнях? Я могу только припомнить, что устод сказал о том, что камни остались у него от деда...

— От великого эмира Тимура Гурагана?! — степенный Ходжа Салахиддин даже подскочил на месте, щеки его залил румянец.— Принес ли уважаемый мавляна эти драгоценности с собой или припрятал?

— Разумеется, припрятал.

— Куда? — полушепотом спросил старик.— Ну, я имею в виду, в надежное ли место?

Перед Али Кушчи ожила картина: внутренняя комната в обсерватории, полки, полные книг.

— В надежное, уважаемый ходжа.

— Камни эмира Тимура! Да, мавляна, тут надо быть очень-очень осторожным... О камнях слышал только я, мавляна! Даже он не слышал! — взмах руки в сторону сына.— Только я, договорились?.. Самое надежное место — мой дом. Мы сойдемся в цене, я думаю.

Али Кушчи отвел глаза от разрумянившегося лица

ювелира. «Правильно ли я сделал, сказав о драгоценностях Тимура Гурагана? Но как же иначе поступить? И кто обменяет мне драгоценности на деньги, если не Салахиддин? Его рекомендовал и устод, правда, вряд ли предполагая, что здесь так поступят с его посланцем».

Али Кушчи вдруг почему-то вспомнил о матери, приехавшей к нему сегодня, ее слова об опасности, которые угрожали шагирдам Улугбека.

И черный страх ударил холодом в сердце.

6

Мирза Улугбек ехал впереди своего войска на белом арабском скакуне — прошлогодний подарок правителя Багдада. Рати эмира Джандара и Султаншаха Барласа ушли вперед. Сам Улугбек вел несколько туменов, и, хотя в каждом не было точно десяти тысяч всадников, как полагалось по воинскому уставу, завещанному еще Чингисом, войско было большим, и степь содрогалась; за воинами вслед тащились оружейники, дворцовые слуги, бакаулы в крытых арбах; ржание коней, рев мулов и верблюдов, звон оружия сливались в общий грозный гул, как при землетрясении.

Обычно сановники и военачальники окружали султана. Сегодня они приотстали, будто не желая мешать думам Улугбека.

В одиночку скакал и Абдул-Азиз. То, настегивая аргамака, мчался вперед, то пускал коня в галоп и уходил в сторону невысоких холмов, что тянулись в степи сбоку войска. Он старался казаться беззаботно-спокойным, но лицо, бескровное, бледно-желтое, словно тигровая шкура, наброшенная на его коня, мятущийся взгляд, сама беспорядочность движений — все выдавало волнение, взвинченность молодого шах-заде.

Но ничего этого не замечал отец.

Не обращал внимания Улугбек и на нетерпеливое желание своего скакуна, откормленного, застоявшегося без походов и охот, ринуться вперед, не разбирая дороги, птицей помчаться по степи, порвав удила. Напрягалась по-лебединому прекрасная шея коня, резко и вразброс гремели колокольца на его холке и маленькие серебряные колечки на оторочке седла, но ничего этого не замечал всадник. Он опустил на грудь отяжелевшую голову; рука с привычной твердостью сжимала поводья.

...Третьего дня, в обычную теперь для него бессонницу, Улугбек сидел в библиотеке, листая книги. И натолкнулся на одно сказание...

Однажды прославленный на весь мир падишах Индии выехал на охоту. Была с ним свита, был и сын, единственный наследник. Падишах, посадив любимого черного беркута себе на плечо, помчался вскачь по берегу реки, а за ним князья и воины. Вырвался падишах вперед, один из воинов и начал кричать: «Остановись, повелитель, там в зарослях тигры!» Но падишах не послушал воина и все так же вскачь углублялся в заросли. Вдруг из-под копыт коня прыснули две золотистые лисицы и кинулись бежать перед всадником. А он, отпустив поводья, дал полную волю бегу коня. Лисицы внезапно умножились вдвое, потом обратились в восемь, и некоторые на бегу оглядывались на падишаха и скалили зубы, будто в насмешку. И тогда разгневанный властелин выпустил любимого беркута. Но тот — о неожиданность! — не глянув на лисиц, взмыл вдруг ввысь и низвергся оттуда камнем на самого падишаха! Кинжалом пришлось отбиваться властелину, да тщетно: улучив удобный момент, беркут вырвал ему правый глаз; бросив оружие, падишах прикрыл руками лицо, опасаясь за левый, и тут-то заметил, что это не беркут терзает его, а родной, единственный сын, одетый во все черное. Сын, обратившийся в беркута!..

Вот полных два дня прошло, а не уходит из головы это сказание. Словно нравоучительная притча оно.

Или опять припоминается дурной сон, давний, четверть века прошло, как приснился впервые. Тогда еще кипчак Барак-хан выступил против него, Улугбека...

Приснилось тогда, будто он, молодой в ту пору правитель Мавераннахра, убежал к мавзолею Ходжи Ахмада Ясави, что возвышается в городе Ясси, убежал от нелюбимой жены своей Угабегим. Одетая в яркие китайские шелка, побежала она за ним, звеня тяжелыми индийскими серьгами и багдадскими браслетами. Догнала на верху мавзолея, вцепилась в платье его, бесстыдно предлагая себя ему. Улугбек кинулся вниз, но не упал на землю, а, став птицей, полетел по небу. Но и Угабегим превратилась в стервятника, возобновила погоню. И снова метнулся Улугбек под защиту лазурного купола мавзолея, как вдруг с треском распалось надгробие хаджи и послышалось грозное: «Эй, Мухаммад Тарагай!

(Так и только так называл его дед Тимур, потрясатель вселенной.) Эх, внук мой, престолонаследник Мухаммад Тарагай! Куда же ты? Стой!»

И Улугбек увидел деда: торчмя торчал он из чужой могилы, увенчанный остроконечным шлемом, разъяренный и... черный — от одежды ль, от гнева?

«Султан Мухаммад Тарагай! На то ли я надеялся, сажая тебя четырнадцатилетним юнцом на престол Мавераннахра?! А ну-ка ответь, правитель, зачем я воздвиг мавзолей, столь громадный в этой бесплодной степи? Отвечай!»

Грозно говорил это дед, всегда столь ласковый с ним, любимым внуком. Улугбек ответил:

«Чтобы порадовать светлый дух благословенного святого Ходжи Ахмада Ясави».

«Порадовать дух?! — загремел Тимур.— Не знаешь! Скажу. Чтоб страх навести, понял? На чернь, во первых! А во-вторых, на врагов моих извечных, золотоордынцев и кипчаков... Пусть смотрят на это до небес достающее надгробие, пусть трепещут перед мощью нашей и величием... Ну, а теперь гляди вниз: кипчаки и калмыки топчут эту священную землю,— глаза Тимура метали молнии,— враги овладевают городом!»

И было так на самом деле: увидел Улугбек с мавзолея тучи пыли, языки огня, что облизывали дома и лавки, блеск сабель свирепых степняков.

«Мавераннахр в огне и дыму! — закричал исступленно Тимур.— А ты со своей бесстыдной прелюбодейкой... что делаете вы здесь? Знай же, я возвел тебя на престол, я же низвергну тебя с него!.. Или ты прогонишь врагов, или отдашь престол!»

И Тимур стал вдруг расти, расти, выскочил из могилы и пошел к нему, Улугбеку. Тот в ужасе проснулся, будто вынырнул со дна преисподней, весь мокрый от пота... А самое удивительное, что на рассвете того же дня к нему явились посланцы джигиты из окраинного города Ясси, десять человек, прося помочь им, послать сильное войско против Барак-хана, что уже овладел их городом и соседним Сигнаком.

Неудачлив, ох как неудачлив оказался тот Улугбеков поход... И если бы не Каландар Карнаки, о котором он говорил ночью с Али Кушчи!.. Отважный воин-степняк Каландар спас его тогда от смерти, даже хуже, чем от смерти,— от плена. Что позорнее было бы для Тимурова

потомка?! Каландар и его джигиты пробили тогда, в битве сигнакской, кольцо кипчакских воинов и, схватив его коня за поводья, вывели из окружения...

И давний дурной сон, и недавно прочитанная притча о черном беркуте — все одно к одному. «Неужели не будет удачи и в этом походе? О аллах, не лиши заступничества меня, раба своего!»

Уже в течение недели каждый вечер составляет он гороскоп — зойча, в движении звезд пытается предугадать свою судьбу, но она ускользает, покрывается туманом. То, что раньше казалось ясным, как день, ныне лишается определенного толкования. Или небеса не желают открыть ему тайну грядущего, или собственный его разум ослабел, высох, словно река в зной.

...Улугбек поднял голову, оглянулся по сторонам. Солнца не видно в тучах пыли. На холмах вдали и на близких нивах, где все было скошено подчистую, в садах и рощах, мимо которых шло войско, нигде не души. Точно перед набегом разбойничьей орды, все попряталось — и люди, и овцы, и собаки. Да и есть ли разница для кишлачника-дехканина, облагает ли его поборами войско победоносного Тимура, или справедливца-неудачника Улугбека, или лихая степная ватага...

Сизый туман скрывал вершины гор, гряда которых рассечена перевалом Даван, и дорогу, что вела к нему.

Там, за грядой, родные места Улугбека, земля предков. И дед и внук особо заботились о Кеше, городе, где в мавзолее Ак-Сарай, сооруженном по велению Тимура, покоится прах первых барласов [1], зачинателей династии. А у подножия Давана дед разбил когда-то «Райский сад», «Баги бехишт». Там росли банановые деревья, пересаженные из индийской почвы, финиковые пальмы-египтянки, расточали дивный, истинно райский аромат китайские яблони; рощи душистых елей, росших ближе к горам, скрывали белых архаров, чьи рога нельзя было охватить и при полном размахе рук; в рощах бродили игривые тонконогие олени, газели с невинно-печальными глазами; в прозрачных родниках, в маленьких искусственных озерцах, полных хрустально-чистой воды, резвились золотые рыбки... Дед Тимур часто отдыхал в этом саду после походов: охотился в еловом предгорье, устраивал пиры, что поражали пышностью тех послов, кото-

---

[1] Барласы — племя, из которого родом был Тимур.

рых благоволил приглашать сюда потрясатель вселенной.

Кто там сейчас, у горной гряды? Его ли военачальники или, может быть, уже и туда успели конники Абдул-Латифа? Бобо Хусейн Бахадыр, любимый нукер, до сих пор не принес вестей, а послан ведь был еще ночью!

Кто-то сзади подъехал к Улугбеку, прикосновением к колену вывел султана из задумчивости.

— Прошу простить, повелитель, но пора делать привал. Не то упустим время вечерней молитвы.

Да, верно. Солнце уже садится, сгущаются сумерки, в воздухе похолодало, и, как вчера, задул холодный ветер, заставляя людей поеживаться. Вон и Абдул-Азиз, недавно столь прыткий, сидит на коне угрюмо, кутается в соболью шубу: с самого рождения такой — то весь кипит, не зная, куда себя деть от волнения, то замыкается, становится будто не от мира сего.

— Где сарайбон? — крикнул Улугбек сыну.— Передай, пусть распорядится насчет привала!

Вскоре войсковые барабаны прогремели остановку. По обе стороны от дороги разбили лагерь; воины собирались по десяткам и сотням, рассыпались в степи, там и сям загорелись костры; стали готовить ужин, и поплыл, согревая душу и тело, взбадриваемый осенним ветром запах кизяка, сухой травы, мигом собранного хвороста. Шатер султана — на добрую сотню человек — поставили под прикрытие Разбойничьей горы, на ее склоне, слева от караванной дороги. Ниже выросли палатки слуг. Они кололи саксаул, привезенный с собой, резали овец, бакаулы-повара готовили шампуры и мясо. К шелковому шатру султана в таких походах вечерами созывали всех эмиров и беков; на дастархан выставляли изысканные блюда, в золотых чашах плескалось вино, шипел разливаемый из бурдюков кумыс. Иногда приказывали явиться музыкантам и танцовщицам — тогда пир длился всю ночь. Сейчас же Улугбеку не до пиров. После вечерней молитвы он пожелал, чтоб его скромный ужин разделил с ним один лишь шейх-уль-ислам.

Шейх-уль-ислам Бурханиддин, сорокалетний мужчина без единого седого волоса в бороде, пользовался доброй репутацией среди близких Улугбеку людей. Он не был таким же мудрым и проницательным советчиком — мюршидом, как его отец, покойный шейх-уль-ислам Исамиддин, но, насколько мог и умел, поддерживал сул-

тана, предохраняя от козней и неистовства фанатичных улемов. Должность главного законника государства важна и уважаема, с ней приходилось считаться всем.

Бурханиддин, пройдя по мягкому ковру, брошенному поверх сухой травы, предстал перед Улугбеком.

От свечей, вставленных в переносный походный светильник, в шатре потеплело. Мирза Улугбек и Абдул-Азиз скинули верхнюю одежду.

По знаку султана шейх-уль-ислам занял место рядом. Лицо Улугбека было каменно-непроницаемым, печальным. Поникший сидел Абдул-Азиз.

— Что случилось, повелитель?

Тень удивления прошла по лицу Улугбека: к чему спрашивать, разве неясно, что происходит?

— Ас-салотин зиллолоху фил-арз [1]... Так сказано в коране. По воле всевышнего все уладится, повелитель. Печаль не должна овладевать сердцем владыки!

«И этот думает про то же самое... Про то, что печаль моя от страха за власть, за обладанье престолом. Непонятливые души!»

Улугбек взглянул на Абдул-Азиза и, словно стесняясь его, произнес:

— Печаль не может не владеть сердцем того, кто вынужден сражаться против собственного сына.

Шейх-уль-ислам понимающе качнул головой. Закинул назад конец тяжелой, распустившейся немного чалмы.

— Конечно, конечно, повелитель... Но воля отца — закон для сына. И если последний не поступает согласно сей мудрости, а это мудрость и корана и обычая, то родитель вправе по-своему судить отпрыска, проявившего непокорство.

Разве не знал Улугбек об этом праве? Знал, сам утешал себя этим правом, и все же слова шейх-уль-ислама несколько облегчили тяжесть, от которой страдала душа. А Бурханиддин, догадываясь, что́ сейчас надо говорить, продолжал степенно, рассудительно, будто внушая:

— Престол ваш, повелитель, и ничей, кроме как ваш! Держите же меч, поднятый во имя справедливости, во имя шариата, держите крепко, и да не задрожит ваша победоносная десница... Плохо, что нет вестей от гон-

---

[1] «Султан — тень аллаха на земле» *(арабск.)*.

цов, хоть мы целый день уже в походе. Что в Кеше? Что с нашими передовыми ратями? Есть сведения о них, повелитель?

И как раз в этот момент в шатер ворвался звук бешеной скачки, храп резко остановленного коня, яростные вскрики, видно, напуганных стражников. Кто-то вбежал в шатер; в полусумраке Улугбек не сразу разобрал, кто это был, а узнав, вздрогнул: «Эмир Джандар?!»

То же имя вслух выкликнул шейх-уль-ислам.

Они не ошиблись: на краю ковра, недалеко от входа, пал ниц, нелепо откинув на сторону кривую саблю, эмир Джандар, военачальник Улугбека, предводитель одного из авангардных отрядов. Шлема на нем не было. На бритой голове резали глаз давние сабельные шрамы.

Улугбек позабыл о сдержанности, вскочил с места, закричал яростно:

— Что случилось?! Почему ты в таком виде? Где конница?!

Эмир Джандар оторвал лоб от ковра, выпрямился; смелости посмотреть в глаза султану у него хватило.

— Повелитель, вели казнить, но не могу скрыть жестокую правду: наш авангард попал в западню!

— Какую, где?!

— Хитрый Абдул-Латиф спрятал в засаде не меньше десяти тысяч воинов, они ждали нас уже на перевале. Мы подошли, они словно коршуны напали сверху... и сзади... и проглотили наших... Силы были неравны, повелитель.

— Где Султаншах Барлас?

— О смерти своей знаю, повелитель, об эмире Султаншахе нет!

Улугбек застыл посреди шатра темной каменной глыбой. При неверном свете свечей за спиной черна была его бобровая шапка с жемчугами, черно лицо...

— Что, распластался?! — крикнул он Джандару.— Где шлем боевой, достойный эмир?.. Поправь саблю, вставай и убирайся!.. Полководцы! — тяжко задышал, двинулся, сжав кулаки, к Джандару.— Эмиры с сердцами зайцев!.. Боитесь наследника моего!.. Ладно, я сам поведу на него войско... Убирайся, говорю!

Джандар, пятясь, выбрался из шатра. Подавив слепую ярость — дедово наследство,— Улугбек обернулся к Абдул-Азизу. Тоже заяц! Сидит весь бледный, нахохлился, челюсть дрожит...

— Ступай и ты! — обратился Улугбек к сыну.— Скажи начальнику охраны, пусть соберет сюда всех эмиров. Да живее! — Прошел к своему месту, все еще дрожа от гнева, в глазах, в раздутых ноздрях прямого носа — решимость, озлобленность.

Шейх-уль-ислам осторожно спросил:

— Какое решение принял наш повелитель?

— Будем сражаться!

— Да снизойдет на вас благоволение аллаха!.. А где сражаться? Может, оставить здесь несколько отрядов во главе с достойными доверия эмирами, а главные силы отвести в Самарканд? Стены столицы могучи, а народ предан вам, повелитель...

Губы султана скривились в злой усмешке.

— Достойных доверия? Кто это? Назовите!

— Эмир Султаншах... и эмир Джандар... и...

— Еще?

— Нужно подумать, повелитель... Вам это виднее, чем слуге вашему...

— Э-э, виднее, не виднее... Слова, слова... Сейчас мы их всех увидим, верных эмиров, храбрецов.

Предводители туменов и тысяч один за другим вместе с придворными входили в шатер, занимали заранее известные, по издавна узаконенным правам знатности и порядка места. Первым вошел начальник войска правой руки эмир Идрис-тархан, мохнатобровый, волосатый и, как всегда, угрюмый; сел рядом с Бурханиддином. Толстый Искандер Барлас (живот словно шар), шумно дыша, явился вторым, просеменил по ковру, забился в угол потемнее. Эмир Джандар, теперь уже в шлеме, разукрашенном золотистыми насечками, увенчанном пером — знаком эмирского достоинства, ничем не напоминал того человека, что униженно валялся несколько минут назад на том же ковре, по которому сейчас прошествовал самоуверенно и высокомерно. По кивку Улугбека он сел чуть правее шейх-уль-ислама.

Расселись полукругом. В шатре установилось молчание.

«Вот они, надежда моя и оплот»,— подумал Улугбек, оглядывая эмиров и вельмож красными от бессонницы глазами. В собольих и лисьих шубах, в дорогих парчовых халатах, в шапках бобровых или шлемах остроконечных, отделанных золотом, каменьями, пояса-то, пояса тоже золотые, серебряные, у сабель рукоятки не-

простые — из слоновой кости, с драгоценными вкраплениями. От Улугбека их богатство, их высокое положение. Скольким обязаны они ему! Но, выходит, правы мудрецы, полагающие, что ничто так не подрывает твоей верности, как обязанность оплатить благодеяния, тобой полученные. На кого из сидящих здесь можно и впрямь положиться, на чью искреннюю преданность можно рассчитывать?

Надо было начинать совет.

— Почтенные эмиры и сановники! — Голос Улугбека был сдержанно-спокоен, звучал, как всегда, глуховато.— Скажу сразу о нерадостной новости. Авангард наш попал в засаду на перевале Даван.— Улугбек обвел взглядом сидящих перед ним: кто как воспримет эту весть? Но все сидели с опущенными глазами и не проронили ни звука.— Иные эмиры, вот самое нерадостное для меня, перешли на сторону бунтовщика наследника... Это подло! Но говорю вам: кто испытывает страх перед шахзаде, неверие в силу мою, пусть тоже уходит. Клянусь аллахом, я не попрекну их ни своим хлебом, ни другими милостями...

Ни звука в ответ.

Улугбек иронически усмехнулся и продолжал:

— Да будет вам известно, что войско Абдул-Латифа превышает наше...

Первым не вытерпел эмир Джандар. Будто зашипел от оскорбительных намеков.

— Эмир Джандар? Что-то хотел сказать?

Джандар с несвойственным для себя проворством вскочил на ноги, поклонился.

— Что угодно будет нашему повелителю приказать, то мы и сделаем, воля благодетеля — закон... разве не так? Зачем говорить о перебежчиках... мы не они... разве не так?

— А что скажет эмир Искандер Барлас?

Тот поднялся, сложив руки на круглом животе, затараторил было:

— Прав, прав эмир Джандар... За всех нас сказал... Готовы, мы все.. готовы, как один, выполнить вашу волю, повелитель... ваша воля...

— Моя воля? А ваша, ваша-то? Готовы исполнить — ладно, а где у вас собственные головы?

— В ваших руках, в ваших...— заученные ответы посыпались со всех сторон.

«Пока в моих... а сердца ваши коварные в чьих?» Снова всматривался Улугбек в своих сподвижников, в тех, кто должен быть сподвижниками. Обменялся взглядами с Идрисом-тарханом, с шейх-уль-исламом, другие отводили глаза. «Ждут, от меня решения ждут... Сами ничего не скажут».

Поерзал на месте шейх-уль-ислам Бурханиддин, но тоже промолчал.

— Воля моя такова: дадим бой шах-заде... Здесь дадим!.. Кто еще скажет что-нибудь, кто какой совет даст?

Ни звука.

— Кончим на этом! Готовьте свои отряды... Все свободны.

Эмиры, беки, вельможи только того и ждали — будто талибы по окончании урока, шумно повскакали с мест и, толкая друг друга, заспешили к выходу. Талибы? Лучше сказать, будто овцы, подумал Улугбек, давая знак задержаться шейх-уль-исламу. Остался и Абдул-Азиз.

Медленно прохаживался султан по ковру, не зная, что же теперь сказать, но чувствуя потребность в разговоре.

И снова топот коня за стеной, голоса стражи. Это гонец! Бобо Хусейн!

Шлем чуть сдвинулся от земного поклона, железная кольчуга зазвенела, когда воин пал на колени перед повелителем. Этот верен, этот не подведет, не предаст.

Улугбек дал возможность нукеру отдышаться.

— Ну, рассказывай...

— Повелитель... когда мы встретили бежавших... после битвы на перевале... то среди них увидели того, кто подставил наши передовые отряды под удар из засады.

— Где он?!

— Мы захватили эмира Султаншаха и двух его сыновей. Они хотели сбежать... Несмотря на то что эмир ранен, мы их... Мы не дали им сбежать, повелитель.

Улугбек зло посмотрел на Абдул-Азиза: эмир Султаншах был братом жены Ибрагима-тархана, сына которого беспричинно обезглавил шах-заде.

Абдул-Азиз съежился под гневным взглядом отца.

— Эмира я подвергну казни за измену и за кровь моих воинов... Но конницу не вернуть, вот что страшно, Бобо Хусейн. Что предпринять, как поступить теперь? Как ты думаешь, нукер?

Бобо Хусейн поднялся с колен, посмотрел прямо в глаза повелителю.

— Коли спрашиваете, повелитель, скажу. В открытом месте нам не одолеть шах-заде. Он умный, опасный противник. И хитростью действовать умеет. История с эмиром Султаншахом тому пример,— прозрачно намекнул Бобо Хусейн на то, что имеет в виду, говоря о хитрости наследника.— Надо идти в Самарканд, повелитель. Среди народа Самарканда труднее... хитрить... Если уж сходиться с шах-заде врукопашную, то под стенами города. По милости аллаха, может, и победим... с помощью ополчения, повелитель. А не победим, так не все проиграем: за городскими стенами отсидимся.

Улугбек заметил, как подтверждающе закивал головой шейх-уль-ислам Бурханиддин. Услышал, как вполголоса, запинаясь, сказал Абдул-Азиз:

— Д-дельный сов-вет...

Ну, этот-то, ясное дело, боится брата: попади он к нему в руки, Абдул-Латиф не посмотрит, что брат, быстро устранит соперника. «Какой ужас,— подумалось Улугбеку,— и это мои сыновья!»

Противоречивые чувства боролись в душе султана. Он ведь сказал уже о битве, он дал приказ готовиться к бою. Но не один шейх-уль-ислам, вот и воин, опытный воин Бобо Хусейн советует отступить к столице. Бобо Хусейн уповает на ополчение. Но поднять чернь — значит еще больше поколебать верность эмиров. И все равно неясно, как одолеть Абдул-Латифа. Во всяком случае, рассудок подсказывает, что вдали от столицы сил у него, Улугбека, меньше и, если уж суждено им таять из-за измены, они будут таять здесь быстрее.

— Ладно, будь по-вашему! — Улугбек махнул рукой.— Абдул-Азиз, передай приказ — конницу прикрытия собрать воедино, она остается здесь под началом эмира Джандара. Остальным строиться и двигаться по прежней дороге назад к Самарканду...

Улугбек остался один. Какая эта по счету бессонная ночь? Скорее бы все кончилось! Так или иначе, но кончилось бы!

В шатре было душно, и Улугбек вышел наружу.

На востоке еле-еле начинало светлеть. Бледно-желтая полоска лишь слегка ослабляла свечение звезд, что густо рассыпались по всему небу. Яркие ночью костры

потухли, войско словно растворилось в темноте, только палатки выделялись черными пятнами, да еще там, где пробивался робкий рассвет, можно было разобрать человеку с орлиным зрением движущиеся точки — пасущихся, распряженных на ночь лошадей и верблюдов. Вблизи же ничего не разглядишь. Лишь звуки доносятся ясно: то звякнут стремена какой-то лошади, то простучит колотушка ближнего часового.

Сложив на груди руки, Улугбек долго стоял перед шатром, смотрел на небо.

Звезды!.. Полвека уже влечет его к ним непонятная сила. Сколько часов отдал он наблюдениям за ними, и сколь радостны были эти ночи без сна!

Да, за полвека он стал кое-что понимать в их движении, неостановимом и таинственном. Чуть-чуть приоткрыл завесу этой тайны и думал, что, сделав это, приоткроет и тайны человеческих судеб. Вот уж где ошибся!.. Какие земные тайны мог он раскрыть, если злых вожделений у собственных детей не смог заметить, не смог понять вовремя, а, поняв позже, оказался бессильным противодействовать!

На горизонте, там, где начинался рассвет, ярко вспыхнула любимая Улугбеком Зухра — планета Венера. Выше ее тускловато блестит Муштарий — Юпитер. Если год рождения человека совпадает с противостоянием этих двух звезд, значит, считают астрологи, такого человека никогда уже не покинет хумо — птица счастья. Дед Тимур в самом деле родился близко от года противостояния этих светил. Был ли он счастлив, дед? Наверное, был, хотя все зависит от того, как понимать смысл слова «счастье». Удачлив в битвах за власть, а потом в мирозавоевательных походах, да, удачлив был в этом эмир Тимур Гураган. Наверное, так удачлив будет и его правнук. Во всяком случае, на голову внука птица хумо что-то давно не садится.

Грохот барабанов и рев карнаев разорвал тишину военного лагеря, что досматривал последние предутренние сны. Быстро — как учил Тимур, а прежде него еще Чингис — поднималось по побудке войско. Лагерь зашумел, словно осиное гнездо, разворошенное палкой.

Птица хумо не любит тех, кто идет назад, да еще той самой дорогой, по которой шел сначала вперед. Своенравная птица не любит неудачников.

7

Каландар Карнаки должен был явиться к шейху Низамиддину Хомушу на рассвете, пред утренней молитвой. Каландар точно выполнил приказ, но вот уж и день подходит к концу, и прозвучал призыв на молитву вечернюю, а его все еще не зовут со двора к шейху.

Внутренний двор дома шейха с одной стороны соседствовал с кладбищем «Мазари шериф», с другой примыкал прямо к мечети. Но сегодня шейх даже мечеть не посетил: приемные покои его дома целый день были полны посетителей. То были священнослужители, вельможи, эмиры и беки; сквозь их толпу нередко проходили какие-то гонцы — их звали вне очереди. Без конца отворялись двустворчатые массивные ворота, что вели в первый, внешний двор, отделенный от внутреннего еще одним забором с калиткой.

Во внутренний двор Каландару так и не удалось попасть. Он сидел на помосте у водоема, который был вырыт посредине внешнего двора и украшен по бокам мраморной плиткой, сидел терпеливо, поглаживая холодный камень, неосознанно наблюдая за теми, кто входит к шейху и выходит от него; еще он следил за работой молодых мюридов. Осенний ветер, стихший было к полудню, в предвечерние часы снова задул, как и все последние дни, в прежнюю силу. Ветер покачивал стволы чинар и серебристых тополей, срывал листву с их ветвей, разноцветный ковер лежал на площадке двора, на зеленой глади хауза, на клумбах, только дорожки подметали, тщательно и постоянно, мюриды. Гости шли по гладкой, точно полированной, земле.

Каландар отметил про себя, что до полудня к шейху приходили больше военачальники — надменные, словно раздутые от важности и самомнения; позванивали сабли на поясах, поблескивали из-под златотканых халатов блестящие панцири. А после полудня потянулись вельможи города. Прежде прочих явился со свитой, которой позавидует иной султан, сам даруга, градоначальник столичный, Мираншах; его злое красное лицо было под стать красной парче халата; в глазах Мираншаха Каландар заметил беспокойство и неуверенность. После визита градоначальника по двору проплыли горделиво и вальяжно, будто стая откормленных белых гусей, улемы, все в белых шелковых халатах поверх одеяний из

лисьих шкур, все в белоснежных чалмах. Потом появился верховный судья — казий Ходжа Мискин. Тощий, угловатый, решительный; на поклоны мюридов не ответил даже кивком; выбрасывая далеко перед собой длинный посох, казий направился прямо во внутренний двор.

Что-то долго задержался казий у шейха Низамиддина. Может быть, совсем забыл о Каландаре святейший шейх?..

Первая встреча с шейхом Низамиддином Хомушем произошла у Каландара Карнаки весною этого года. Потеряв Хуршиду-бану, пристав к дервишам, что жили в страннопримном доме неподалеку от Шахи-Зинда, Каландар твердо решил тогда, что путь отрешения от мира сего и есть его путь. Рубище казалось ему одеянием, единственно достойным человека, раба божьего.

Да, еще в медресе в часы странной, нежданно овладевавшей им тоски Каландар завидовал дервишам — их далекости от страстей и вожделений посюстороннего мира, крепкой привязанности их помыслов к миру потустороннему. Дервиши довольствовались лохмотьями, куском хлеба и пиалою простой воды; нищие, у них не было иных забот, кроме как славить аллаха. Не имея ничего, они и не жалели ни о чем.

И ничего не желали для себя — так представлялось Каландару тогда и чуть позже, после того уже, как он сам стал дервишем.

Вскоре, однако, Каландар убедился, что вовсе не все дервиши — ангелы в образе человеческом, вовсе не все. Вечерами, возвратившись в обитель после скитаний по улицам и базарам, дервиши преображались. Из смиренных становились злословящими и драчливыми, любящими властвовать над теми, кто послабее. Из бескорыстных и невожделеющих они превращались в алчных и обуреваемых порочными страстями. Не раз видел Каландар, как дервиши доставали откуда-то из складок лохмотьев зернышки анаши и закуривали этот дурман, трепеща от предвкушения сладострастных видений, вызываемых им.

Из той, первой своей кельи Каландар решил сбежать, а потом — коварен ум, что понаторел в учении,— подумал, что увиденное им, может быть, тоже для него испытание, ниспосланное аллахом, что не надо верить глазам, а следует предаться внутреннему созерцанию истины, которая скрыта бывает под коростой внешне видимого.

И для такого самоочищения, для тариката[1], стал забираться в самую укромную часть помещения, в котором жили, ночевали, молились дервиши.

В день, когда он встретился с шейхом, было так: он молился вдали от всех, в самом укромном углу, под низкими сводами. Внезапно бормотание дервишей в комнате смолкло. Каландар почувствовал настороженную тишину, но глаз не открыл, продолжая медленно раскачиваться, думать о погружении в истину. Тут его кто-то сильно толкнул в бок: «Эй, проснись, очумел, что ли?»

Каландар открыл глаза. Увидел у порога в келью высокого старика, одетого во все белое, с длинной белой бородой. Группа мюридов за его спиной одета была тоже в белое. Косоглазый дервиш по прозвищу Шакал, главарь их группы — это он прервал моление Каландара,— закричал вдруг на него, выпучив глаза и показывая рукой на старика:

— Кому говорят, поднимись, невежа! Наш духовный отец, святейший шейх Низамиддин Хомуш пожаловал к нам, осчастливил приходом нашу убогую обитель!

Каландар поднялся, но низкие своды не давали возможности вполне разогнуться, так он и остался стоять, наполовину согбенный, не отрывая взгляда от шейха. Ему казалось, что и шейх смотрит только на него.

С порога шейх спросил, как его имя, какого он был звания или профессии.

— Нищий я, раб аллаха,— ответил Каландар. «Какая разница, как меня звали и кем я был т а м»,— подумал он.

Шейх внимательно, как бы запоминая, оглядел Каландара с ног до головы и, ничего не сказав, покинул обитель.

На следующий день шейх Низамиддин Хомуш вызвал Каландара к себе в летний дом, построенный близ кишлака Багдад. Сидя у чистого родника на помосте, покрытом персидским ковром, шейх долго беседовал тогда с Каландаром, расспрашивал, откуда Каландар родом, почему решил уйти в дервиши. Решение это одобрил, о ханаке близ Шахи-Зинда отозвался неодобрительно, сказал, что переводит Каландара к дервишам, что обитали при «Мазари шериф», а главное, шейх приоткрыл перед собеседником тайну истинной роли ордена «Накшбендия» в жиз-

---

[1] Т а р и к а т — духовное самосовершенствование.

ни, роли вполне светской, но весьма угодной аллаху, ибо самоочищение хорошо, но более важно очистить сей бренный мир от тех, кто грязнит его, и праведно возмущение Каландара тем, что делают некоторые дервиши, а еще праведнее будет, коли он, Каландар, послужит торжеству божьего дела не только среди дервишеской братии, но и вообще в городе, где развелось столько богохульников и богоотступников. Но об этом особо... сейчас же речь о том, что Каландар понравился благочестивому шейху, так понравился, что шейх не прочь сделать Каландара

оком своим среди людей, и хоть обычно шейх не интересуется согласием тех, кем повелевает, но здесь ему хотелось бы услышать, как относится дервиш к этому предложению, свидетельствующему только и исключительно о доверии и благорасположении.

— Чистыми душами мир очистится, а ведь мы с тобой только о чистоте и печемся, не правда ли, сынок?

Месяца два назад шейх перевел Каландара к дервишам в ханаку при Гур-Эмире: оттуда легче держать под неусыпным наблюдением Кок-сарай.

И снова Каландар ночей не спал от сомнений и раздумий. Очищать мир — о, это надо, надо делать! Ибо грязь, и неверие, и корысть, и мздоимство, и попрание сильным слабого, и несправедливость — вот они, вокруг, повсюду. И, хотя по-прежнему Каландар убеждал себя, что лучший путь исправления жизни — это тарикат, умом и опытом воина он знал, что силе можно противостоять только силой. Но одно дело — открытый бой, другое — доносы. Было в последнем поручении шейха что-то такое, что отвращало Каландара от ревностного исполнения приказа.

Правитель богоотступник? Может быть, но разве султан Улугбек распространял зло? В это не верилось. Вот сын султана, сыновья его... но он сам?.. Каландар вспомнил медресе. Богоотступник? Разум Каландара не соглашался с таким прозвищем Улугбека, сердце не могло забыть ни того, что Улугбек пришел на помощь его родному городу (воля аллаха, что усилия эти оказались тщетны!), ни того, как относился к нему Али Кушчи, любимец султана.

Каландар не выдал шейху ни своих сомнений, ни тем более того, что вовсе без тщания следил за Кок-сараем.

И сейчас, сидя у мраморного хауза во дворе шейха и наблюдая его гостей, Каландар мучительно размышлял о том, зачем позвал его шейх. Может, благочестивый недоволен, что Каландар ни разу не доложил о наблюдениях за Кок-сараем? Если шейх спросит о причинах такого молчания, что ответить?

Наконец калитка, ведущая во внутренний двор, открылась и показались белые гуси — улемы, предводительствуемые главным казием Ходжой Мискином. Мюриды проводили их до самого выхода. Каландар поднялся уже с места, чтоб напомнить о себе, но тут опять раздался стук в ворота. Кто же теперь? Каландар огля-

нулся и вздрогнул: во двор к шейху вступил хороший знакомый Каландара, враг его смертельный, обидчик до могилы — ювелир Ходжа Салахиддин!

Важно прошествовал Салахиддин мимо Каландара, гордый, надутый, что твой эмир, в богатейшей одежде из парчи, подбитой беличьим мехом, в лисьей шапке, украшенной жемчугом. Он и не глянул на нищего дервиша, одетого в лохмотья и старый козлиный треух.

И вот к этому спесивцу ходил устод Али Кушчи сватать Хуршиду-бану, создание, краше и чище которого нет во вселенной. Именно этот самодовольный индюк заявил тогда: «Нищий поэт, видно, заучился до помрачения ума. Чем сватать внучку Салахиддина-ювелира, подумал бы лучше о том, как самому наесться хоть раз досыта». Али Кушчи не пересказал своему ученику этих жестоких слов, Каландар узнал про них от другого человека. А устод всячески старался утешить влюбленного, отвлечь его от разговоров о любви и любимой. А мавляна Мухиддин? Сын ювелира несколько дней не мог прямо взглянуть на Каландара, своего шагирда, избегал его. Лицемер! Коль так унизительно породниться с поэтом, зачем учить его наукам и поэзии? И зачем было открывать у себя дома уроки для дочерей из богатых и родовитых семей, уроки, которые сам же Мухиддин и поручил вести именно ему, Каландару, бедному и незнатному родом?

Уроки, на которых впервые он увидел Хуршиду-бану.

Каландар стиснул зубы.

Где они, те счастливые дни, что провел Каландар в тихой светлой комнате мавляны Мухиддина среди полок с чудесными книгами? Хуршида-бану появлялась на урок в тончайшем шелковом платке на лице, бесшумно и легко проходила на свое место в ту часть комнаты, что предназначена была для высокородных учениц и отгорожена от преподавателя шелковой занавеской. Робкая вначале, Хуршида слушала Каландара постепенно все более увлеченно, потом она вовсе откидывала мешавший ей лицевой платок, и он видел ее разгоряченное лицо, большие, яркие и пугливые, словно у степной лани, глаза, он видел, как прекрасна она, как целомудренна ее красота... Недаром в этой комнате Каландар сочинил первые любовные стихи и улучил-таки минуту, прочитал их Хуршиде-бану. Да и вообще она и только она сделала его поэтом, девушка редкой красоты и редкого ума. Да, да, и ума, потому что она, эта девушка, не знающая ни-

каких горестей в жизни, этот полураскрытый еще бутон, оказалась проницательнее Каландара Карнаки, мужчины, чье сорокалетие не за горами, воина, видевшего столько горестей и страданий, что, казалось, пора бы уж было перестать верить в возможность счастья.

Однажды вечером, вскоре после того, как Каландар объявил девушке, что пошлет сватов, Хуршида прислала ему со служанкой записку: просила встретиться в укромном месте, в саду, под старой орешиной на краю оврага.

Хуршида-бану пришла на свидание точно в назначенный ею час. На девушке были красные сапожки с тонким узором на сафьяновых голенищах, плотный шелковый платок закрывал не только голову, но и плечи; поверх платка она надела бархатный мурсак, облегавший тонкую талию, в руках держала какой-то узел. Девушка вся дрожала, а Каландар, удивленный таким ее нарядом (была вечерняя прохлада, но так тепло одеться? Зачем?), никак не мог начать разговор. Хуршида заговорила сама, волнуясь, торопливо и сбивчиво: надо, мол, бежать немедленно, сейчас же бежать из дома, нечего думать о настоящей свадьбе, не бывать свадьбе, так подсказывает сердце, надо бежать, и она готова бежать с ним куда ему захочется, хоть на край света!.. А Каландар, растерянный и нерешительный, вдруг подумал... о достоинстве учителя, о ране, которую они тем самым нанесут мавляне Мухиддину; старое изречение «обидеть учителя — что обидеть родителя» вертелось у него в голове. Он хотел благоразумия, он верил в благородство людское — о простак, недотепа, кого аллах наградил могучими мускулами, но вялым и ничтожным умом! Он сказал тогда Хуршиде-бану, что надо сначала послать сватов, сделать так, как полагается, а вот если ответ будет неблагоприятный для них, тогда решаться на побег. Девушка молча выслушала его, не перебивая, потом неожиданно вышла из-под ветвей старой орешины и побежала к своему дому. Но, не сделав и нескольких шагов, запуталась в каких-то кустах, упала, а когда Каландар подбежал и захотел помочь ей подняться, вырвалась и, рыдая, так и убежала, ничего не сказав ему. И остался Каландар один с тетрадкой в руках, малюсенькой, обшитой бархатом тетрадкой девушки, оброненной ею в саду при бегстве; вернулся Каландар в медресе, зажег свечу и с тоскою, горечью, злостью на себя прочитал выведенные золотой краской строки:

Как взор зовет глаза твои — того не знаешь ты.
Как ночью я томлюсь: «Приди!» — того не знаешь ты.
Ищу свиданья я сама, гублю себя сама.
Как сохнет сердце без любви — того не знаешь ты.

Так, из-за жадности и жестокости людской, но еще из-за собственной легковерности и нерешительности лишился Каландар самого дорогого в жизни, остался с этой вот тетрадкой да с воспоминаниями, как нищий с пустым хурджуном.

А ныне он и есть нищий, дервиш.

Каландар крепко зажмурился. Он не разомкнул глаз и тогда, когда услышал, как вновь открылась, теперь уже изнутри, калитка внутреннего двора и оттуда в сопровождении мюридов шейха вышел Ходжа Салахиддин. Не только Каландару надломил он крылья, он и внучку свою, которую любит, сделал непоправимо несчастной.

— Э-эй, проснись, раб божий! Отоспишься потом в своей келье... Тебя зовет святой шейх.

Молодой мюрид повел Каландара во внутренний двор. Там посредине тоже был выкопан хауз, облицованный разноцветными фарфоровыми плитками. На резных колонках помоста висели синие и красные фонарики — зажги их вечером, и фонтанчики станут тешить глаз разноцветными радугами. Но сегодня фонари не горели и помост был пуст.

Идя вслед за мюридом, Каландар увидел, что и окна в доме словно слепы: закрыты изнутри чем-то темным.

В прихожей мюрид без слов показал на дверь: ждут, мол, иди!

С тяжелым сердцем открыл ее Каландар.

Вся комната была завешена и устлана темно-красными и бордовыми туркменскими коврами. В углу, утонув в пуховых подушках, положенных на многослойную груду шелковых одеял, возлежал шейх Низамиддин Хомуш. Белоснежная чалма, белая накидка-покрывало поверх черного бархатного халата — святость воплощенная, чистота! Черные четки в руке не двигались, глаза были закрыты, шейх будто дремал, но, лишь только переступил Каландар порог комнаты, только успел отвесить первый поклон, задвигались четки, приоткрылись глаза, пытливые, душу извлекающие наружу.

— Проходи, дервиш. Не стесняйся, сынок, поближе ко мне присядь.

Голос покойный, ласкающий, улыбка — сама мягкость, сама благосклонность.

Не опуская рук, почтительно сложенных на груди, Каландар на носках сделал два шага вперед и опустился перед шейхом на колени: слова приглашения такого почтенного человека не следует понимать буквально — рядом, да, но лучше все-таки коленопреклоненным.

Мюриды пришли с кушаньями, самыми разными и приятными («Как тогда, в кишлаке Багдад»,— напомнил себе Каландар), расстелили дастархан.

Шейх молча подождал окончания этих приготовлений. Когда дверь за мюридами закрылась, сказал:

— Как поживаешь, дервиш? Нет ли какой-нибудь просьбы ко мне?

— Слава аллаху, пирим[1]. Что за просьбы могут быть у отрекшегося от мира раба всевышнего? Не гол, не голоден — чего еще желать, пирим?

— Похвально, похвально, сынок. Аллах на том свете вознаграждает страдающих на этом... Угостись, сынок, ибо яства сии тоже плоды аллаховой щедрости.

Да, уж что так, то так. Ничто не возникает помимо воли аллаха. И нищета одних, и роскошь других.

Шейх молча перебирал четки; Каландар, склонив голову, тем не менее рассматривал комнату. Какие ковры кругом! На окнах за легкими шелковыми занавесями тяжелые бархатные, не пропускающие ни света, ни холода; люстра алмазно подсвечивает нежно расписанный потолок; в нишах стен блестят дорогая посуда, золотые и серебряные подносы.

«Все в руке аллаха, все по его воле, это так. Но зачем именно шейху, главе и наставнику нищих дервишей, пышное богатство, символ суетного мира? Иль не сказал святой Ходжа Ахмад Ясави:

Кто богатством дом набил,
Тот всевышнего забыл.

Тот, кто «все мое» сказал,
Ворону подобен стал.

Он в грязи мирской погряз...
Страшен будет судный час!..»

---

[1] Пирим — обращение: отец мой духовный.

— О чем думаешь, что шепчешь, раб божий?

Каландар вздрогнул от внезапно ставшего властным и пронзительным голоса шейха, торопливо проговорил:

— Творю хвалу аллаху, пирим.— А про себя подумал: «Да простит меня всевышний за ложь». И еще об одном подумал: «Осторожней будь, внимательнее, Каландар!»

— Сынок,— голос шейха снова переливался радужной ласковостью.— Вызвал я тебя с целью возложить на твои крепкие плечи еще одно доброе дело... Коль у тебя нет просьб ко мне, то у меня к тебе есть... Но прежде хочу спросить тебя...

Шейх сделал паузу. Ну, так и есть, сейчас спросит про Кок-сарай. Что ответить, как лучше усыпить его подозрительность, его всеведение?

— Ты отказался от услад суетного мира, что ж, дело, богу угодное. Дервиши — рабы божьи, причем любимые рабы. Но скажи мне правду: не раскаиваешься ли в избранном пути? Не одолевают ли тебя сомнения, истинно твоя ли тропа дервишества?

Сердце упало у Каландара: нет, ничего не скроется от шейха, а тем более сомнения духовные.

— Молчание — знак согласия, дервиш. Не так ли?

Каландар поднял глаза на говорящего. Шейх сидел, чуть подавшись вперед грузноватой фигурой, лицо его притягивало, взгляд завораживал. Что за сила была в этом взгляде, всевидящем, заставляющем быть откровенным!

Каландар отрицательно мотнул головой, глядя в сторону.

— Нет, пирим, душа моя не жалеет о выбранном пути. Сомнения же... Я признавался уже однажды: горько мне оттого, что многие дервиши не страшатся греха — злословят, играют азартно в кости, курят анашу, пирим... вместо того чтобы аллаха славить.

Шейх вздохнул.

— Ты прав, дервиш. Но что поделаешь? В любом стаде и при хорошем пастухе могут завестись паршивые овцы. Ни тебе, ни даже мне не исправить заблуждающихся братьев — на то божья воля. И наказание им уготовано божье! А нам с тобой не с братьями воевать, а с врагами истинной веры. Потому-то и отбрось сомнения свои, молись, готовь себя к богоугодной борьбе. И шах и нищий равны перед аллахом. И кто ближе ему — нищий

ли, даже тот, что предается греху, но в душе предан аллаху, или же шах, кто вроде бы и печется о благоденствии людском, но в душе отвернулся от бога?.. Молчишь? То-то и оно. Понял, какого шаха, правителя какого имею в виду?.. Он вероотступник! Ты знаешь коран. «Ас-салотин зиллолоху фил-арз». Как понимать это изречение? Султан — тень аллаха на земле, но когда? Мирза Улугбек изменил заветам деда своего, Тимура Гурагана,— пусть милостивый творец, сделав его могущественнейшим повелителем в этом царстве, не откажет ему в благорасположении своем и в царстве загробном! Тимур ценил служителей веры истинной, а внук его нас унизил! Он тень аллаха, мы же свет его в суетном здешнем мире!.. Улугбек выбрал путь еретический, окунулся в услады грешные, астрономию свою и музыку поставил выше забот о тех, кто радеет за строгость веры... А чем все кончилось? Создатель отказал ему в заступничестве, ибо аллах справедлив и не прощает такого греха... Войско вероотступника потерпело поражение, и не сегодня, так завтра победоносный наследник Мирза Абдул-Латиф вступит в столицу! — Шейх не смог, да и не захотел, наверное, скрыть торжества: голос его зазвенел.— Ну, а мы, слуги, рабы божьи, как мы поможем свершиться божественному правосудию?

Каландар не поднял головы. Что ответить на вопрос шейха?

Султан Улугбек — вероотступник. Это он слышал не раз. Но даже если так, пусть аллах и накажет его, а может быть, и простит, ибо аллах не только справедлив, но и милосерден... Каландар знал о наступлении Абдул-Латифа, но чтоб сегодня-завтра тот появился в Самарканде? Можно себе представить, что тут начнется, сколько прольется крови, и невинной тоже, как привольно будет чувствовать себя демон мести, безжалостности... И почему святой шейх говорит так, будто ему одному известна воля аллаха, известно, кто вероотступник, а кто истинный мусульманин, будто ему и поручил всевышний судить людей?

— Что ж ты молчишь, дервиш?

— Думаю о сказанном вами, пирим... И в самом деле для создателя равны и нищий, и султан...

— Истинно так! И, даст бог, отныне будут закрыты наконец все еретические медресе, а нечестивцы мударрисы будут изгнаны, и воссияет тогда над Мавераннахром

чистым солнцем вера наша. Аминь! — и шейх закрыл лицо руками, как бы в молитвенном экстазе.

Помолчали.

Каландару казалось, что шейх и сквозь пальцы не отнятых от лица рук следит за ним.

— Сынок,— обратился к Каландару шейх Низамиддин.— Обсерватория Улугбека есть обитель еретическая. Что делает ее такой обителью, спросишь ты. Я отвечу: более всего книги, собранные там, книги еретиков всей земли... Предполагаю, что султан-отступник захочет спасти их от огня праведного, и коли так, то найдется человек, который возьмется за выполнение такого поручения. Имею основания подозревать одного человека, н а ш е д ш е г о с я для этой цели. Нечестивый Али Кушчи — вот этот человек! А средства — много-много золота — они тоже найдут... Уже нашли в сундуках вероотступника и развратника Улугбека!

Шейх собрал в горсть четки, яростно сжал кулак.

— Знаешь ли об этом? Видел, как уносил с собою Али Кушчи золото Кок-сарая?

— О смерти своей ведаю, об этом нет, клянусь аллахом!

Каландар не лукавил: он и в самом деле не был у дворца той ночью, когда к Улугбеку приходил Али Кушчи. Но глаза шейха все сверлили и сверлили дервиша, и теперь взгляд Низамиддина был колючим, недоверчивым, злым.

— За Али Кушчи надо следить. Неустанно! Неотступно! Понял меня?.. И не дай нам бог допустить, чтоб золото благословенного всевышним эмира Тимура уплывало из рук преданных вере и помогло богоотступнику осуществить его планы.— Шейх вытащил из-под подушки сложенный вдвое листок.— Вот гляди! Наш духовный вождь и воитель за веру святой ишан Убайдулла Ходжа Ахрар, провидя злоумышление, твердо наказывает нам не дать ему свершиться. Вскоре святой наставник будет здесь, он выезжает из Шаша [1] к нам, в Самарканд... Ты понял, кому ты служишь, служа мне?

Каландар не страшился врагов, нападавших на него с саблями и копьями в руках. Сейчас же в словах шейха была такая мрачная, леденящая волю собеседника сила, что Каландару стало страшно.

---

[1] Ш а ш — древнее название Ташкента.

— Что могу я сказать, ваш слуга? Наказ ваш священен для меня, пирим.

— Так и дóлжно! Мой наказ — закон для тебя, наказ святого ишана — закон для меня. Этим мы держимся!

«Подглядывать за своим бывшим учителем? Доносить на него?.. Почему именно я должен отплатить неблагодарностью тем, кто приходил мне на помощь?.. Но как ослушаться шейха, если он мстителен, всемогущ и наделен даром знать все о человеческой душе?»

— Держи в тайне то, о чем мы с тобой говорили. Чтоб ни один человек не прознал о наказе моем, пока наш благословенный Мирза Абдул-Латиф не воссядет на законный престол... Понял? Клянись!.. Смотри, ад уготован нарушителю клятвы!

— Клянусь, пирим...

— И да поможет тебе аллах!..— Снова руки шейха закрыли лицо, губы шепчут святые слова, потом шейх взмахивает руками, показывает на дастархан.— Лепешки еще не остыли. Возьми с собою, дервиш.

Каландар положил лепешки за пазуху, пятясь, вышел из комнаты.

Тяжесть и низость поручения, привычка всегда выполнять то, что он обещал сделать, чувство справедливости, присущее Каландару и попранное ныне чужой и властной волей,— все это смешалось в его душе, терзало ее, ныло, будто незаживающая рана. Шейх не отстанет от него, нет, нет! Он с самого первого дня приковал его к себе. «За что я понравился ему?» — горько вопрошал себя Каландар, не ведая про то, что шейху он не только понравился, с первого же дня шейх понял — необходимо следить за ним, что сам наказ шейха о Коксарае был проверкой его, Каландара, верности ордену.

На обратном пути Каландар встретил группу бормочущих дервишей. В одном из них, что брел впереди, узнал Шакала. «И ночью бодрствует»,— подумал он и, сам не зная почему, словно хмельной, потерявший путь к дому, вдруг свернул к кладбищу «Мазари шериф».

Ночь была хóлодной и ветреной. В кромешной тьме жалобно скрипели крепкие чинары, дуплистые тутовники, старые вязы,— казалось, в дуплах и на ветвях деревьев попряталась нечистая сила, демоны и дэвы шептались, хихикали, плакали и стонали. Чуткое ухо Каландара уловило и человеческие голоса вдали: кто-то унылым

распевом читал коран, слышались глухие дервишеские «ху-ху», раденье, опять раденье, и в такой час раденье!

Каландар спотыкался о мраморные плиты, проваливался по колени в какие-то ямы.

«Прости раба своего, о создатель, о всемогущий,— шептал он исступленно.— Отрекаясь от суетного мира, от его скверны, разве я думал, что мне предстоит такое?.. Прости, о создатель, но разве справедливо толкнуть в яму того, кто приютил раба твоего, кто помог мне? По твоим ли заповедям поступает шейх, о аллах? Предан ли он, жестокосердный и высокомерный, тебе или только всуе произносит твое имя?»

Вдруг вспомнилось:

Все вы муфтиями стали,
Ложь за правду выдавали,
Черным белое назвали —
Потому и в ад попали!

Ложь за правду выдавали... Не так ли поступает и шейх? О создатель, надоумь же раба своего — где она, правда, как отыскать ее?!

Извилистая тропа привела Каландара к громадной, уже наполовину сухой чинаре. Смутно белела под ее ветвями гробница; над плитой свесились рога архара с белой тряпицей на концах: украшение в день поминовенья святых.

Каландар Карнаки подошел к гробнице, у изголовья ее преклонил колени. Разгоряченным лбом коснулся холодной каменной плиты.

Здесь покоился заступник всех нищих и обездоленных, святой пир Бахауддин-накшбенди. К нему пришел измученный Каландар, его заступничества, его наставничества возжаждал.

Всю ночь провел здесь дервиш, молился, взывал то к аллаху, то к пиру Бахауддину, просил предостеречь от грядущего неверного шага — уговаривал себя, смертного, себя, смиренного и неразумного...

8

Снова позвякивали колечки на седле Улугбекова коня, ослепительно блестели на солнце попона и позолоченный щиток, прикрывающий грудь белого арабского красавца, ритмично колыхалась нитка бус на его лебеди-

но-прекрасной шее, и снова ничего этого не слышал и не видел повелитель, погруженный в пучину печальных мыслей. Вчера, еще вчера он негодовал и тревожился, теперь же сердце его было охвачено горьким равнодушием; если он и сожалел о чем-либо, то лишь о том, что доводы рассудка одержали верх над желанием дать сражение сразу же, постараться сойтись в сече лицом к лицу с сыном, посмотреть на него так, как умел это делать Улугбек — пронзительно, до самого дна чужой души, а там и пасть под ударом сыновней сабли.

Да, это правда, Мирза Улугбек недолюбливал Абдул-Латифа. С самого детства мальчишеского недолюбливал. Говорил привычно «сын мой», но без теплоты и ласки отцовской. Почему? Трудно ответить, да еще так, чтобы не винить себя.

С самого рождения своего шах-заде жил в далеком Герате у Гаухаршод-бегим. Она пестовала его до годов мужества. По образу и подобию своему. И дождалась благодарности. После смерти деда, Шахруха, Абдул-Латиф сразу же кинулся в борьбу за гератский престол — с наследником Алауд-давля́, двоюродным братом. Бабушка была заключена «любимым воспитанником» под стражу. Когда об этом поступке сына узнал Улугбек, он чуть не задохнулся от негодования и отвращения. Но далек Герат и все-таки отходчиво отцовское сердце... тем более если задета и честь отцовская: Аляуд-давля преуспел в борьбе, захватил и посадил в крепость Абдул-Латифа. Тогда-то и вмешался Улугбек, двинул войско на Хорасан. Поддержал сына. Мало того, после похода отдал ему, подарил, можно сказать, цветущий город Балх... Знал бы дальнейшее — и не подумал дарить. Спас змееныша — выросла змея гремучая!

Мирза Улугбек горько вздохнул, выпрямился в седле. Остановился у обочины. С невысокого холма осмотрел войско, пропуская его мимо себя.

Войско шло и по караванной дороге и вдоль нее, по слегка холмистой степи. «Мне говорят про ополчение, про городских простолюдинов,— подумал Улугбек, возвращаясь от воспоминаний к нынешним заботам.— Вот мои вельможи погнали дехкан на войну, а что толку?»

Воины впереди колонн расчищали дорогу для регулярных отрядов. Мешали же движению согнанные в войско селяне — плохо вооруженные (вместо копий и луков у многих просто дубины да топоры), в старой убогой

одежде вместо доспехов, не умеющие держать строй, поддерживать походный порядок. «Непрытки! Такие-то выйдут против пятидесяти тысяч головорезов Абдул-Латифа? Не самоистребление ли?»

Толкаясь и переругиваясь меж собой, селяне беспорядочно и неторопливо освобождали дорогу. «Отпустить их всех! Пусть по домам направляются!.. На привале скажу эмирам и бекам»,— решил Улугбек и, стегнув плетью по крупу нетерпеливца коня, помчался вперед, снова в авангард войска.

Показался кишлак Димишк — нежно-розоватое пламя садов.

Отсюда до самого Самарканда непрерывно тянулась лента таких садов — розоватых, желтых, багряных, огненно-прекрасных осенних садов. Город близок. Напряги зрение, вглядись в дымку — и кажется, увидишь лазурь и солнечно-золотые блики купола Биби-ханум, Гур-Эмира, медресе Улугбека... Родной, трижды любимый, до слез близкий город! Средоточие труда и красоты, науки и образованности... И его-то отдать в грубые чужие руки? А что будет с обсерваторией и медресе — детищами любимейшими? Какая судьба ждет учеников, если падет он, учитель?

Улугбек дал волю норовистому коню. Удивленные и встревоженные, помчались за султаном приближенные. Так ворвались они в «Баги джахан» — «Сад вселенной» Тимура Гурагана, где завоеватель обязательно проводил ночь по возвращении из очередного похода: в столицу без этого не въезжал!

Широкая аллея вела от ворот сада прямо к дворцу. Листья засыпали и цветник перед дворцом, и закованный в мрамор водоем. Листья медленно кружились в воздухе, бесшумно, подобно легким птицам, опускались на землю. Листья увядания, осенние листья... Только виноград не сдавался на милость осени — был темно-зеленым, на высоких рамах шпалер и коридоров жемчужно светились тяжелые гроздья.

Улугбек скользнул взглядом по высоким стенам, что отъединяли этот рай от остального — обычного — мира, вошел в ворота, отдал поводья выбежавшему откуда-то из глубины сада нукеру. Не дожидаясь свиты, быстро пошел по аллее, потом свернул с нее к холму, где была гранатовая роща и находился родник самой прозрачной и чистой воды.

Совершил омовение. Прочел полуденную молитву. Присел отдохнуть на расстеленном суконном халате.

Воспоминания не отпускали его, никак не отпускали. И припоминалось сегодня чаще всего иного почему-то детство, далекие-далекие дни, когда он был еще совсем мальчуганом.

Как-то Тимур прожил в этих садах недели две подряд. Вот здесь, рядом с родником, был поставлен повелителю голубой шатер — этот цвет любили и дед, и самая милая Улугбеку бабушка из жен повелителя, Сарай-мульк-ханум. Вокруг голубого шатра расположились шатры поменьше: зеленый, розовый, красный, темно-синий. Для молоденьких рабынь-служанок, кротколицых и мягко грациозных в движениях, для поваров-бакаулов. Позади этого шатрового лагеря паслись на лугу белые кобылицы, в некотором отдалении от них играли красиво-дикие, оленеподобные жеребята. Мальчик Мухаммад Тарагай очень любил смотреть на них, но бабушка не пускала его к ним одного.

Сарай-мульк-ханум нельзя было назвать красивой: широкое лицо, к тому же плосковатое, вроде тарелки, нос пуговкой, резко раскосые глаза. Но для маленького Улугбека она все равно была лучше и красивей всех. Ее боялись, подчинялись степенности речи и тому, что с ней считался сам повелитель. А Мухаммад Тарагай совсем не боялся ее. Особенно любил он бабушкины руки, длинные белые-белые пальцы, унизанные золотыми перстнями, бирюзой, но ловкие в любой работе — вплоть до того, чтоб шатер обшить, до чего Сарай-мульк-ханум была охотница, и, когда бабка гладила волосы мальчонки, он млел от полноты детского счастья защищенности и, словно стригунок, жался к боку женщины.

Иногда бабушка надевала фартук, шла доить белую кобылицу, сама делала отменный кумыс, остужала его в ледяной воде родника. Дед Тимур очень любил этот кумыс, приходил в шатер Сарай-мульк-ханум пить его...

За стенами сада послышалась тяжелая поступь пешего войска, перебиваемая топотом кавалерийских отрядов. Мирза Улугбек невесело усмехнулся, подосадовал на себя: там, за стенами, его заботы, а он тут сидит, от всех уединился, в воспоминания детских лет ударился. Был бы сейчас дед здесь, то-то рассердился бы на бездеятельного внука!

У ворот ждали султана Абдул-Азиз и шейх-уль-ислам Бурханиддин.

— Гонец прискакал, повелитель, — сдержанно сказал законник.

— Искандер Барлас послал его, повелитель,— угадав вопрос отца, сказал сын.

— Что за вести привез гонец? И почему так скоро доскакал до нас? — стараясь сохранять спокойствие, спросил Улугбек.

Ему подали свиток. Так и есть, вести были неутешительные. На рассвете войско Абдул-Латифа начало битву, у наследника отряды слонов, лошади пугаются их, да и перевес в силах огромный, отчего, сообщал эмир Искандер, он счел за лучшее отступить по тому же направлению, по которому ушли главные силы повелителя-султана. Значит, что же? Выходит, вот-вот появится арьергард, а за ним Абдул-Латиф? Выходит, не отступают они, не совершают рассчитанный заранее маневр, а просто бегут от преследования?.. Улугбек посмотрел на сына, на шейх-уль-ислама, на свиту. Там были и его племянники Абдулла и Абу Саид Мирза, в кольчугах, златоверхих шлемах, вояки куда там, только в глазах и движениях видна была опаска гонимого зверя... Боятся, и они боятся, и военачальники трусят, считая, видно, что дело уже проиграно. Боятся пока и его, султана, не перебегают к шах-заде, ждут. Чего ждут?

Улугбек нарочно повысил голос почти до крика:

— Скоро появится противник. У него в войске слоны!

— Что прикажет слугам своим повелитель? — Шейх-уль-ислам Бурханиддин попытался сгладить невыгодное для Улугбека впечатление от такого неожиданного взрыва.

— Да будет на все воля аллаха... Готовьтесь к бою! — приказал Улугбек.

Шейх-уль-ислам приблизился, поглаживая бороду, тихо произнес:

— А как же с планом уйти под защиту городских стен, повелитель? Самаркандские стены прочны...

— Но у противника есть не одни слоны, есть и катапульты, и тараны, разве не жалко всем вам города, который будет разрушен? — снова громко сказал султан.

Нервно поправив чалму, шейх-уль-ислам продолжал вежливо перечить:

— Аллах не выдаст Самарканд врагу, но воля ваша,

повелитель... В соборной мечети прозвучит призыв, стар и млад поднимется на защиту столицы, благодетель... прошу извинить мое неразумие, но так мне кажется...

Неразумие. Конечно, неразумие. Нет, не подготовка измены. Шейх-уль-исламу можно верить, он хитер, но не коварен. Но истинно неразумие. Ложная надежда. Разум подсказывает, что здесь, на дороге, шансов на победу меньше, чем под городскими стенами. Но разум подсказывает, что и там шансов победить мало. Ворота города закрыть можно, но есть смысл закрывать их при добрых запасах пищи, оружия в самом городе. А где эти запасы?.. Да и не унизительно ли ему, внуку великого воителя, отступать, все время отступать, все время уступать? Хватит! Он сумеет показать этим трусам, дрожащим за свои золотые халаты, что он внук Тимура: пусть потеряет жизнь, но в бою... Что ж, он отдаст бунтовщику сыну свою жизнь, но тому еще придется потрудиться, чтобы взять ее. Хорошо бы встретиться с Абдул-Латифом лицом к лицу, обменяться словами, как говорил в таких случаях дед Тимур.

Да, дед Тимур... Он учил: тебя преследуют, за тобой мчится вражеская конница? Отлично, отступай! Заманивай! А сам скрытно выводи для боковых ударов конные крылья, налетай, замкни кольцо-капкан, руби безжалостно, а если к противнику приходит подмога, вот тогда двинь из засады свои ударные отряды... Да, дед умел воевать... А он, Улугбек?.. Как же тут развернуть фланговые крылья, здесь, на ровной местности, утопающей в садах? Неискусен звездочет Улугбек в ратном деле, вовсе неискусен. И все же без боя он своего поражения не признает.

— Повелитель...

— Обдумаем план... Там, во дворце... Зайдем туда. Подкрепимся. Выпьем вина.— Голос султана был спокоен, а в душе бушевало угрюмо-лихое отчаяние: «Пусть и перед смертью будет пир, а не скука!»

Но второй гонец не дал свершиться этому намерению — гонец на сей раз от преданного султану Бобо Хусейна. Известие было горше первого. Эмир Искандер так и не смог оторваться от преследователя. Тот действовал по заветам прадеда: левое и правое крыло обошли медлительную конную рать Искандера и Султана Джандара, навязали бой, часть арьергарда рассеяли (и «рассеялся» куда-то Султан Джандар, так что теперь остался

лишь один эмир). Остальные быстро отошли к Димишку. У этого кишлака, сообщал Бобо Хусейн, мы с Искандером Барласом намереваемся дать бой, имея целью выиграть время для продвижения войска самого повелителя к Самарканду.

Судя по всему, Абдул-Латиф был сейчас от Улугбека на расстоянии двух-трех фарсангов[1]. Для конницы расстояние пустяковое. Даже если эмир Искандер и Бобо Хусейн привлекут к своему поределому отряду все силы противника, много времени для того, чтобы с ними расправиться, не потребуется. Какое бы решение Улугбек ни принял, он должен был принять его незамедлительно!

И вновь Улугбек изменил свой приказ. Решил вернуть основную часть войска в столицу, под защиту крепких стен, но отделить еще одну рать, оставить ее на пути шах-заде, обязать начальствующего над нею эмира Идриса помочь тем, кто остался у кишлака Димишк. А сам... сам немедля вернется в Самарканд. Там из-за городских стен вступит в переговоры.

Что Абдул-Латиф не согласится с тем, чтобы отец остался на троне, в этом не было сомнения. Но пусть он даст обещание не трогать обсерваторию, пусть позволит заниматься отцу наукой, только наукой. А чтобы заставить принять сына эти условия, подумал Улугбек, все-таки надо поднять горожан — неужели для того, чтобы воспрепятствовать отцовским занятиям астрономией, поэзией, музыкой, сын прольет кровь своих же, отданных ему Улугбеком подданных?

Надо было спешить, спешить!

Глаза сами собой закрывались — бессонные ночи сказывались. Улугбек посмотрел на Абдул-Азиза:

— Возьми с собой Абдуллу и Абу Саида. Скачите, не жалея коней, в Самарканд. Передайте Мираншаху мой приказ: пусть готовится к обороне, пусть собирает знать в Кок-сарае, придем мы, и сразу же — за совет...

Сказав это, порывисто поднялся с места, одним махом осушил чашу с вином. До дна!

Солнце зашло, но вокруг еще было светло. Снова поднялся ветер, да еще какой! Не ветер — прямо вихрь! Столбом взвилась пыль, мешая дыханию, сухие

---

[1] Фарсанг — мера длины, соответствует 8 км (*перс.*).

листья закружились в воздухе, лезли в глаза, царапали лица.

Улугбек хотел было взбодрить и без того резвого белого скакуна, но подумал, что теперь окружающие могут расценить это неверно, и натянул поводья.

Расстояние между Димишком и Самаркандом небольшое, фарсанга два. После Димишка шло селение Багдад, за ним — Кохира. Кишлаки прямо переходили один в другой, как и сады, виноградники, гранатовые рощи. Сейчас в селениях было пусто, будто на заброшенном кладбище. На узких улочках, зажатых с обеих сторон глиняными дувалами, и на перекрестках ни души.

Подступала темнота. Улугбек помчался вперед.

Недалеко от садов Кохиры услышал он топот лошадиных копыт, возбужденно-громкие голоса посланных вперед нукеров охраны. Что там случилось? Несколько всадников поскакали навстречу Улугбеку, остановились на полпути, выжидая чего-то.

Улугбек потянул саблю из ножен.

— Кто там?

— Простите нас, повелитель... Это мы возвратились... От Самарканда.

Из группы всадников отделился человек с каменным угрюмым лицом; это был сарайбон, он выехал вперед.

— Повелитель!..

— Говори!

— Ворота столицы заперты. Открыть ворота стражники отказываются.

— Ложь! — Улугбеку показалось, что он выкрикнул это слово, хотя произнес его хрипло-невнятно. На миг наступила тягостная тишина. Слышно было только, как шейх-уль-ислам Бурханиддин прошептал: «О создатель!» — да еще прерывистое дыхание Улугбека.

— Где градоначальник, где Мираншах? Он был у ворот?

— Нет, повелитель! Градоначальник отказался подойти к воротам.

— Прочь с дороги! — Улугбек хлестнул камчой белого скакуна, и благородный арабский конь, что не привык к такому обращению, взвился на дыбы. Заржав, он ветром понесся вперед...

«Ворота столицы закрыты! И это передо мной!.. Передо мной закрыты!.. И это мой город, мой Самарканд! Сорок лет я его прославлял, украшая! Сорок лет... Где

еще такие медресе, такие бани? С чем сравнится самаркандская обсерватория, самаркандские библиотеки?! И этот город осмелился не открыть ворот! О всевышний! За какие грехи мне такое унижение?»

Холодный ветер, от которого гудели сады, казалось, хотел остановить Улугбека, с яростью бил ему в грудь, пылью и жухлыми листьями хлестал по лицу.

«Один из самых доверенных, эмир Султаншах, изменил мне, эмир Джандар бежал, а Самарканд... а градоначальник Мираншах — думал опереться на него, как на гору — ворота закрыл!.. Проклятье, подлость, мерзость! Кому же тогда верить? Неужели все сгнило в моем государстве, творец? О Самарканд, любимый и тоже, кажется, неверный, подлый город... Подлые люди!»

Улугбек больно сжал зубы. Снова нещадно хлестнул коня. И белый скакун, остервенело грызя позолоченные удила, заржал дико и протяжно.

Из-под лошадиных копыт летели песок и мелкие камни и били Мирзу Улугбека в спину, били в лицо, но он ничего не чувствовал, кроме обиды, злой и горькой обиды на родной город, обиды, которая делала его не чувствительным к физической боли.

Сады отступили от дороги, она словно расширилась; окрестности чуть-чуть посветлели.

Через некоторое время появились впереди высокие зубчатые стены столицы. В сумерках казалось, что они доходят до самых небес.

Около глубокого крепостного рва, вода в котором высохла еще весной, Улугбека встретила группа нукеров. Среди них Улугбек увидел Абдул-Азиза и племянников. Все трое нервно разъезжали по краю рва то в одну, то в другую стороны.

Чуть помедлив, Улугбек пустил коня через ров. На пригорке перед воротами остановился.

Эти ворота были некогда отлиты по распоряжению Тимура. Сейчас они заперты наглухо! На двух сторожевых башнях маячили чьи-то мрачные фигуры; по мгновенному мельканию каких-то теней чувствовалось, что форты и бойницы тоже скрывают воинов, но никто не высовывался из-за укрытий по грудь или во весь рост.

Гнев и обида охватили Улугбека пламенем, жгучим и таким же высоким, как стены — до самого неба. Но тут, перед самыми воротами, это пламя вдруг ослабло, сникло, угасло. С трудом Улугбек поборол внезап-

ную слабость. Подал знак сарайбону. Дворецкий пришпорил коня, пересек ров, подъехал прямо к воротам. Постучал рукояткой сабли о железную обшивку. Сверху послышался голос:

— Кто там?

— Я! — крикнул Улугбек. Снова забурлила кровь в жилах.— Ваш повелитель Мирза Улугбек Гураган!

— После вечерней молитвы ворота закрыты перед всеми, будь то шах или нищий!

— Открывай, мерзавец!

Улугбек пустил коня на ворота. Горячий скакун взметнулся перед ними, с треском ударил передними копытами о железо, осел на задние ноги, попятился. Всадник едва удержался в седле.

Сверху снова послышалось:

— Простите, повелитель, но градоначальник дал строгий приказ не открывать ворота!

— Кто правитель в нашем государстве? Мои приказы должно выполнять беспрекословно и сразу. Открой ворота или беги за градоначальником, если тебе дорога голова, стражник!

Тут сверху, с башни, раздался голос второго воина:

— Руки коротки у тебя, чтоб снять голову стражнику. Позаботься лучше о своей, Мухаммад Тарагай!..

Кто это? У кого столь знакомый, хриплый и тонкий, змеиный голос? Кто посмел произнести такие слова? Улугбек на миг онемел в замешательстве — у зубца башни возникла фигура Султана Джандара!

И этот изменил! Куда ни пойдешь, всюду коварство и низость!.. Бросил войско, выходит... сбежал в столицу. Но каким путем так быстро сумел сюда добраться?.. Как успевают эти лицемерные негодяи, предатели снюхаться, спеться друг с другом?

Мирза Улугбек выпрямился в стременах.

— Эмир Султан Джандар! Один аллах знает, на чью голову сядет птица счастья. Лишусь я престола — твое счастье. Но если волей судьбы престол останется моим... запомни: я повешу тебя вверх ногами и снизу разожгу костер! — И, не дожидаясь ответа, повернул коня назад...

Потом... Потом ему кто-то что-то говорил, бурно и невнятно; из всего, что он слушал, но не слышал, Улугбек понял, наверное, одно только слово — Шахрухия, крепость Шахрухия, куда надлежало ехать.

Но в мыслях его все смешалось, все закрутилось, будто осенние листья на дороге под порывами вихревого ветра. Безразличие овладело душой Улугбека, и он уже не очень-то негодовал, когда Абдул-Азиз, поехавший на разведку, вернулся, тяжело дыша, бормоча проклятия, и сообщил, что крепость Шахрухия также закрыла свои ворота и что комендант этой крепости, туркменский бек Ибрагим Кулат-оглы, также отпал от Улугбека!

Конец, конец. Скорее пришел бы всему конец!

И Улугбек решил преклонить колени перед собственным сыном и любое, что судьба ниспошлет ему — жизнь или смерть,— принять из рук Абдул-Латифа с покорностью.

9

Али Кушчи пробудился мгновенно, едва только скрипнула — тихо-тихо — входная дверь. В дверном проеме, чуть менее темном, чем чернильный мрак внутри обсерватории, мавляна разглядел чью-то огромную и неподвижную фигуру. Пальцы Али Кушчи скользнули под подушку за кинжалом: если убийца один, еще посмотрим, чья возьмет.

— Кто там?

Пришелец молчал.

— Отвечай, эй, призрак!

— Это я, мавляна...

Али Кушчи привстал, еще раз вгляделся в темноту.

— Каландар Карнаки?

— Ну, хвала вам, мавляна, не забыли бедного талиба.

— Не приближайся, если тебе дорога жизнь!

— Не надо бояться, мавляна... Зажгите свечу.

— Говорю, не двигайся!.. Отвечай!.. Как ты сюда попал? И зачем?

— Зачем? — переспросил дервиш и невесело как-то засмеялся.— Как зачем? За золотом, за чем же еще надо ходить в эту любимую обитель повелителя... Зажигайте свечу!

Али Кушчи сжал рукоятку кинжала.

— Вот оно что,— иронически протянул Каландар Карнаки.— Вы ли тот мужественный Али Кушчи, что убивал тигров? И где ваш прославленный здравый

смысл, где ваша логика, верить которой вы учили нас, учеников?... Вы спали, и, пожелай я убить вас, стал бы я дожидаться вашего пробуждения?

Али Кушчи сделал несколько шагов в темноте вдоль стены, нащупал в нише свечу, зажег ее. Вспыхнули узоры росписи на стенах, золотое тиснение книг на полках. Каландар Карнаки стоял по-прежнему у двери. Тень его, громадная и густая, качнулась в неожиданном поклоне.

— Ассалям алейкум, устод!

«Устод», «учитель». Что это, ирония, ложное смирение или искреннее приветствие прежнего Каландара, ученика?

Али Кушчи со свечой в руке приблизился к дервишу, оглядел его лохмотья; подняв свечу повыше, всмотрелся в лицо; Каландар не шевельнулся, он ответил на взгляд мавляны таким же долгим вопрошающим взглядом. Могучий ростом и сложением, Каландар выглядел неважно: в заросшем лице, в запавших светло-карих глазах усталость и болезненность. Еще бы, сколько тягот выпало Каландару на долю!

У Али Кушчи потеплело на душе.

Каландар пригнулся, взял вдруг обеими руками руку Али Кушчи, опустился на колени перед ним.

«Что это он? Зачем?»

— Спасибо вам, учитель.

Каландар наконец сел, безвольно свесив руки вдоль тела, устремил на Али Кушчи полные горечи и боли глаза.

— Скажите, каким человеком считаете вы, досточтимый, вашего бывшего шагирда, бедного нищего? Кто я, по-вашему?

В самом деле — кто он? Лишился родины — Ясси и Сигнак так ведь и остались за Барак-ханом,— стал воином, потом сменил саблю на перо, а воинские доспехи на скромное платье талиба. Теперь же дервиш, раб аллаха, восхвалитель аллаха, вместо медресе живет где-то в дервишеской обители, водрузил на себя козлиный кулох. Кто он теперь?

— Мой язык нем, дервиш. Вижу одежду, а что в сердце твоем, о том давно уж не ведаю.

Каландар тяжко вздохнул. Воскликнул:

— Я знаю, я!.. Овца, отбившаяся от стада, душа заблудшая... Есть правда в этом мире, учитель?! Венценосный Мирза Улугбек знает ли ее?.. Бесприютным чужа-

ком, бездомным псом я был; пригрели меня, спасибо, низко кланяюсь. Но душа-то все ходила и ходила по чужим улицам, стучалась в разные двери, чтобы найти правду, не нашла ее ни здесь, ни в обители дервишей... У них, у нищих, ее тоже нет, там язык хвалу богу поет, в сердце корысть гнездо себе вьет... Все ложь, все обман. Или неверно я думаю, учитель? Ответьте! За этим я опять сюда пришел — за истиной, коли она есть!..

Неяркий свет свечи дрогнул на лице Каландара, речь его оборвалась.

Трудно было усомниться в искренности его мучений. Али Кушчи молча положил ему руку на плечо.

Каландар глянул на него снизу вверх.

— Скажите, вы никому не обмолвились, что тут прячете сокровища эмира Тимура?

Али Кушчи невольно воскликнул:

— Неужели ювелир?!

Прикусив губу, Каландар усмехнулся:

— Эх, мавляна! Доверие опрометчиво. Опасно за своего принять чужого. Старая лиса Ходжа Салахиддин недолго хранил тайну... Истина, если и есть, в добром деянии она. Надо же и вам и султану Улугбеку отдать добром за добро; только от вас видел я его, а стало быть, видел и истину... Шейх Низамиддин Хомуш знает вашу тайну. Надо перепрятать золото и драгоценности, не то из рук вырвут золото, а с плеч снимут голову!.. Говорю правду, не сомневайтесь. Для того и пришел... Впрочем,— Каландар вновь глухо кашлянул,— не верите, так скажите прямо, гоните меня отсюда, я уйду беспрекословно.

Нет, теперь Али Кушчи не сомневался: привели сюда Каландара добрые чувства. Мавляна посмотрел на книжные полки.

— Ты толкуешь о золоте, о драгоценностях... Но вот эти богатства разве не дороже золота? Что будет с ними, если я покину обсерваторию?

Каландар тоже повел взглядом по рядам книг — многим-многим рядам книг на полках и шкафах. «Предать еретические книжки всех безбожников огню праведному»,— вспомнились ему яростные слова шейха.

— Их тоже нужно спрятать, устод!

— Куда? Ведь их так много, Каландар, как спрячешь?

— В сундуки, в сундуки их и вывезти в другой город. И побыстрее!— Каландар вдруг быстро приподнялся. Почувствовал прилив сил: такое состояние было знакомо ему, воину, перед битвой.

— При Абдул-Латифе не вывезешь,— услышал он слова Али Кушчи.

— Верно! Значит, надо тотчас действовать, потому что шейх сказал, что не сегодня, так завтра в Самарканде будет Мирза Абдул-Латиф.

Каландар даже рассмеялся про себя: ну и сослужит он службу святому хитрецу шейху.

— Есть в обсерватории потайной выход?

Али Кушчи колебался лишь мгновение.

— Есть.

— Заберите свое золото и пойдемте, — сказал Каландар почти повелительно.— Я знаю надежное место, учитель, но надо выйти отсюда незаметно, за мной тоже могут следить.

— Но куда мы пойдем?

— Не спрашивайте пока. Если доверились мне, зачем терять время на разговоры? Забирайте золото, поспешите!

Когда Али Кушчи вытащил из-за книг золото и драгоценности, Каландар весело удивился:

— Тут и спрятали? Ай да мавляна! Трудненько было бы тут отыскать, трудненько...

Потом посерьезнел, быстро сложил золотые «пиалушки» в переметную суму, взял мешок в левую руку.

— Так куда идем? Светите, мавляна!

Темное сомнение шевельнулось в душе Али Кушчи. Или то неприятно подействовал приказной тон Каландара? Но отступать было поздно. Али Кушчи разулся, ощупал за пазухой кинжал в простеньких ножнах, поднял свечу и открыл потайную дверь; об ее существовании знал только он да еще повелитель-устод!

Под зданием обсерватории находился подвал, в середине подвала — колодец, накрытый большим круглым камнем, вроде мельничного жернова. Глубоким колодец не был, саженей пятнадцать, не больше, и внизу на одной из сторон находилось отверстие с небольшое окно. Если влезть в эту дыру, найдешь подземный ход, узкий, извилистый, как змеиный след. Пройдя его, окажешься... где же окажешься?.. Ах, да, вспомнил — у обрыва недалеко от местечка Кухак.

Знать про все это Али Кушчи знал, но в колодец ни разу еще не спускался.

— Бисмилла рахмони рахим! Господи, благослови!

Обвязавшись веревкой у пояса, закрыв рот и нос шелковым платком, Али Кушчи начал спускаться первым. Вода в колодце доходила только до колен, но была ледяной. Али Кушчи торопливо ощупал стены, нашел камень — прикрытие лаза. Неприятная дрожь прошла по телу, когда открылось темное зияние потайного хода, которым, похоже, никто так и не воспользовался ни разу. Преодолев страх и брезгливость, Али Кушчи нырнул в

лаз: затхлый, гнилой воздух затруднял дыхание, кругом свешивалась паутина, то ли сороконожки, то ли скорпионы во множестве ползали по сырым стенам, разбегались от тусклых бликов, бросаемых свечой. Что-то холодное и липкое коснулось шеи Али Кушчи, и мурашки волной прокатились по телу. Каландар, казалось, ничего этого не замечал, двигался за Али Кушчи уверенно и все торопил мавляну.

Наконец темный узкий коридор, кажется, кончился, широкий бугристый камень перегородил путь. Али Кушчи посторонился, принял от Каландара хурджун, а Каландар крепко уперся ногами в основание боковой стенки коридора и плечом навалился на камень, стал ритмично толкать его, расшатывать. Али Кушчи хотел помочь, но и усилий Каландара оказалось достаточно: камень поддался, двинулся и с шумом выпал куда-то наружу.

Ударил свежий воздух. Запахло водой, хотя ручей на дне оврага высох. Они разыскали большой камень, не без труда подтянули его к выходу из потайного хода, кое-как заложили дыру.

Двинулись по руслу высохшего ручья. Теперь впереди Каландар. Али Кушчи все еще был настороже — Каландар вел его не в сторону города, а от города, к Ургуту. Свернули направо, пошли руслом Оби-рахмат. Трудно было идти, больно ступать по гальке, в лицо норовили попасть ветки тала, что рос на берегу. А Каландар все ускорял шаг... Али Кушчи снова и доверял и не доверял ему — уже не о том думал, что Каландара подослали враги повелителя, а о возможном безумии бедного дервиша. Да и насчет чистоты помыслов — почему тот сразу не сказал, куда им идти?.. Впереди черной массой возник какой-то сад, послышался равномерный шум воды в мельничных желобах. Не дойдя до мельницы, они опять свернули в сторону, стали продираться сквозь заросли и вышли к селению.

Каландар повел Али Кушчи по улочке такой узкой, что повстречайся на ней два верблюда, даже не нагруженные, они бы не разошлись.

«Кишлак Ногара-тепе!» — догадался Али Кушчи. Глиняные заборы — дувалы, балкончики-балаханы, до которых легко было достать рукой, дворы за стенами — все хранило угрюмое молчание; ни одна собака не тявкнула; только раз, проходя мимо чьего-то дома, услыша-

ли они, как тяжело вздохнула в хлеву корова да зашуршала сеном овца.

Маленькая площадь, куда они вышли, замыкалась с одной стороны косогором, на котором росло два вяза. Каландар Карнаки оглядел площадь и шепнул:

— Пошли. Бегом!

Они перебежали площадь, стали под вязами. Только здесь можно было заметить крутизну склона, словно срезанного ножом.

— Идите за мной,— услышал Али Кушчи. «Куда?» — хотел было спросить, но тут и сам обнаружил какой-то темный проем, будто вход в землянку. И в самом деле, это был вход куда-то, настоящий вход, с железной дверью, в которую и постучал тихонько Каландар условным троекратным стуком. Они опять отступили в тень вязов, а дверь с осторожным скрипом отворилась. Каландар схватил мавляну за руку и, шепнув: «Пригнитесь!», быстро втащил его в какую-то темную пещеру.

Еще не разогнувшись, Каландар сказал:

— Ассалям алейкум, отец...

— Ва алейкум ассалям,— ответил из глубины пещеры тягучий голос.

«Из одного тайника в другой! Право, не сумасшедшим ли стал этот дервиш?» — подумал Али Кушчи, продвигаясь в полной тьме вслед за Каландаром по коридору, узкому, как и тот подземный ход, в котором они были недавно. Но этот был намного короче. Впереди мелькнул огонек, и вскоре они действительно попали в пещеру, но уже не такую, как при входе, а огромную — конусом уходил ее потолок куда-то вверх, будто купол в мечети.

Загадка за загадкой. И в самом деле, куда он попал?

Шедший впереди Каландар остановился, почти совсем загородив нишу, в которой мерцал светильник.

Пещера была, оказывается, вполне обжитая.

— Я привел мавляну Али Кушчи, о котором вам сказывал, почтенный Тимур-бобо.

— Добро пожаловать в нашу убогую хижину, — донесся тот же тягуче-неторопливый голос из угла пещеры.— Добро пожаловать, сын мой Аляуддин!

«Голос» знал его имя? Еще одна загадка. И называет его сыном?

— Ассалям алейкум, почтенный отец.

— Да благословит тебя аллах, мавляна, проходи сюда, поближе ко мне.

Наконец-то глаза Али Кушчи попривыкли к темноте и смогли разобрать хоть что-то. Ну да, холм скрывал в себе жилище. Огромную пещеру и еще две поменьше; в правой были сложены кузнечные инструменты: молот, клещи, щипцы и наковальня («И жилье, и мастерская»,— отметил Али Кушчи), а в левой пещере можно было разглядеть всевозможную посуду: котлы, кумганы, чайники, узкогорлые медные кувшины и кувшинчики и другую хозяйственную утварь — это была кладовая при жилище.

В большой пещере на высоком помосте сидел на расстеленной шубе, сложив под себя ноги, какой-то старик с бородою до пояса, истинно вызывающей почтение, хотя давно и не ухоженной. Голову старика прикрывала круглая войлочная шапка, в руках он держал длинную тонкую трубочку — чилим, из которой курят анашу. Старик сидел, завернувшись в овчинный полушубок, но с таким величественным видом, будто на нем было по меньшей мере султанское одеяние. Еще более поразило Али Кушчи, что за спиной старика на ровно отесанной стене пещеры висели две скрещенные сабли, а поверх них щит — словно у знатного вельможи! А в нише, рядом с саблями, были книги! Али Кушчи вдруг вспомнил, как однажды во время охоты — ну да, конечно, это было где-то неподалеку отсюда, среди ургутских холмов — они, устод и он, попали в какую-то пещеру: тоже почти скрытый вход, такой же узкий ход-коридор, такой же величины зала и потолок, словно купол, только тот был из мрамора, кажется, во всяком случае, столь гладкий, будто человеческая рука его шлифовала. Очевидно, таких пещер было в этой местности не одна, и человек помог природе, приложил умение и разум, так что получилось пусть не светлое и не вполне удобное, но в общем-то сносное и, главное, безопасное убежище. «Книги надо спрятать здесь,— пришла в голову Али Кушчи неожиданная мысль.— Здесь, в этой пещере!»

— Да не стой ты там, мавляна. Проходи поближе. Вот почетное кресло,— засмеялся старик, показывая на большой чурбак справа от себя.— Видишь, почтенный, полушубок на нем... И запомни, мавляна, на этом троне сиживал тезка мой, эмир Тимур Гураган, и вот из этого кубка,— старик повернулся к нише с книгами, достал

большую медную чашу,— вот из этого кубка вина отведывал, пробовал тут со мной анашу...

Вот оно что! Теперь Али Кушчи понял, к кому попал. На весь Самарканд знаменит был кузнец Тимур Самарканди, Уста Тимур, Мастер Тимур. Когда-то служил он эмиру Тимуру, ходил в его походы, а потом... что-то произошло с мастером потом, не припомнить, но слухи распространялись самые разные.

Впервые увидев старика своими глазами, Али Кушчи сразу отдал должное достоинству, с которым тот держался. Не без почтения присел мавляна на чурбак. А Каландар примостился прямо на земляном полу, у ног старика.

— Да, мавляна Али, сын мой...— медленно протянул Уста Тимур,— да, где вы сидите теперь, некогда сиживал эмир Тимур... бывало, бывало. А после него сидел там еще один властелин, шах из шахов — Шахрух-счастливец.— Старик улыбнулся краями губ, погладил нечесаную бороду.— Сидел, просил меня, упрашивал... слиток золота давал... хотел, чтобы и ему я сделал такой же меч, как родителю, тезке моему... Не ведал, что я клятву дал не делать больше ни мечей, ни сабель...

Да, ходили слухи, будто однажды Мирза Шахрух, прибыв в Самарканд, заказал одному умельцу кузнецу особую саблю, а тот отказался, и шах впал в гнев и приказал мастера того дерзкого вздернуть, да заступился будто за кузнеца Мирза Улугбек.

Внимательно и не без волнения посмотрел Али Кушчи на мастера: лицо Уста Тимура все в морщинах, и следы кузнечной работы остались на них уж, видно, до конца дней, а глаза чистые и зоркие. И сколько еще силы в ручищах, упирающихся в колени, во всей фигуре старика — мощной, но не грузной, широкой, но не рыхлой!

— А почему дали такую клятву, отец?

— Это длинная история, сынок... Был я оружейным мастером у эмира Тимура в войске. Неплохим мастером, про клинки Тимура Самарканди шла добрая слава. Однажды Тимур Гураган приказал мне выковать саблю из стали, чтоб могла она камни рассекать. Сделал. Отменная получилась сабля! В руках потрясателя вселенной и впрямь камни рассекала — будто бы не камни это, а курдюки овечьи... Золотым халатом одарил меня повелитель. Но судьба по-своему оценила мой поступок: как

раз этой саблей эмир Тимур собственноручно отсек голову моему единственному брату.— Старик замолк, рукой закрыл глаза на минуту, потом поднес к лицу и другую руку, соединил их в молитвенном жесте.— На площади, перед самым Кок-сараем... Мой брат был мятежник, мавляна, один из сарбадоров, ну тех, что восстали против Тимура и вообще против богатых и знати... Смелый, как лев. И не любил богатств, полученных грабежом. Вообще богатства, считал, не нужны человеку... Много-много раз говорил мне брат, чтобы я бросил оружейное дело. Служишь, мол, кровожадному владыке, брат мой Тимур, совершаешь грех, муки ждут тебя после судного дня... Так говорил мне убитый эмиром Тимуром брат мой, мавляна... А я? Молод я был тогда, тщеславен, соблазн брал верх, так что продолжал я изготовлять для повелителя сабли, мечи, секиры. А вот когда увидел сам, своими глазами, как саблей, мной изготовленной саблей был убит брат мой... И кровь его текла на землю... его кровь и еще тридцати двух казненных, тридцати двух сарбадоров, тридцати двух молодцов... Я в ту же ночь сжег все дорогие халаты, подарки эмира Тимура. Сжег и ушел в горы... Я тоже дервишем был,— старик наклонился к Каландару, потрепал его по плечу.— Четыре года под дервишеским колпаком бродил по Бадахшану, Балху, еще дальше, в Герате, был. И еще дальше — в Багдаде был, паломником до Мекки дошел, так что я, не шути со мной, тоже ходжа, как и твой шейх, Каландар, а?.. И вот брожу, брожу и думаю, что так и не увижу больше родины, потому что вернись я — с жизнью распроститься придется. Ведь эмир Тимур ничего не забывал и мало что кому прощал, если против него шли. Да, вот хожу и думаю, что кости мои где-нибудь в чужой степи так и останутся добычей стервятников... Аллах помог, сам аллах... Узнал я, что жестокосердый потрясатель пошел в новый поход, на Китай, и в походе том, ничего не свершив, умер... Услышал я про это, подпоясался потуже, крепче сжал посох и — вперед, Уста Тимур, в собственный поход на родину, а сладость родины, скажу вам, дети мои, только вдали от нее узнаешь по-настоящему. Как достиг Джейхуна — упал бездыханно, сын мой!

Старик смахнул слезу. Не веселило, видно, воспоминание, да и вся остальная жизнь не веселила старика. И Каландар сидел хмурый, наверное, вспоминал свой

родной край. Помолчал старик, а потом вдруг перешел совсем к другому:

— Мавляна Али Кушчи! Раб божий Каландар кое-что рассказал мне о твоих заботах и тревогах... Ну, о тайне твоей,— пояснил Уста Тимур, перехватив недоумевающий взгляд ученого и обращаясь к нему совсем по-простому.— Я-то не пил воды в храме науки, но подметать дворы в разных медресе подметал. И не раз в Герате, в Багдаде, в Дамаске мударрисы удостаивали простого кузнеца беседами. Глубокомысленные люди, и были среди них добрые и хорошие, мавляна. Говори, какая помощь нужна, Аляуддин. Что в силах моих, то сделаю.

Али Кушчи был по-настоящему растроган.

— Благодарю вас, отец. Просьба моя... Но сначала хотел спросить вас: известно ли вам, что наследник Мирза Абдул-Латиф, мятежник Абдул-Латиф хочет отобрать престол и напал на Мавераннахр?

— Известно... Скажу так: сын, поднявший меч на отца, заслуживает кары всевышнего. И придет кара, мавляна!

— Да будет так, отец... Ну вот, вы знаете, что Мирза Улугбек не только правитель, но и ученый, создал не одно медресе, собрал множество книг и рукописей, жемчужин знания. Цены этим книгам нет, отец. И сокровища эти в опасности. Спасти сокровища повелитель поручил мне, слуге своему...

— Я про это слышал, мавляна... А про Мирзу Улугбека скажу,— старик закрыл глаза, помолчал, подумал, говорить ли, нет ли,— слабый он правитель, мавляна. Умный человек, ученый, мудрец, наверное все звезды пересчитал, говорят, будто все их тайны узнал... А зачем в последние годы войны затеял? Чего не поделил, с кем? Войны да походы истерзали дехкан, мавляна, эмиры последнюю рубашку готовы содрать с бедняка — для побед государства, для славы его, так говорят. И ремесленникам несладко. Неужели мудрый султан не знает, что творят от его имени эмиры?

Прав Уста, тяжело дехканину, тяжело ремесленнику. Но тяжело от войны нынешней и самому султану. Большая беда пала на его голову. Это хотел объяснить кузнецу Али Кушчи, но Каландар опередил его.

— Отец, что толку спорить, знает или не знает Мирза Улугбек про своих эмиров. Мы же о сокровищах

сейчас беспокоимся.— Каландар бросил взгляд на Али Кушчи.— Жемчужины знания в опасности.

— Истинно так, отец,— подтвердил Али Кушчи.

— Ну, что же,— старик вновь положил руку на плечо Каландара.— Сколько, говорил ты, сундуков нужно?

— Штук двадцать или около того, уста,— предупредительно подсказал мавляна.

— К какому сроку?

— Чем скорее, тем лучше.— Каландар кивнул на хурджун.— Там золото, сколько надо будет, столько и возьмете, отец.

Старик недовольно нахмурился. Золото, золото! Будто из-за золота он берет заказ. Торопится очень этот дервиш.

— Зайди через два дня после захода солнца,— сказал он Каландару.— Поглядим, как и что получится. А это закопай!

— Там золото, драгоценности, отец!

— Вот и закопай, говорю... Ну, хоть там закопай,— старик показал на пещеру-кладовую.— Или где хочешь. И не напоминай мне о нем. Мне что железо, что золото.

Каландар вырыл яму глубиной до колен, положил в нее хурджун, закопал, а сверху завалил разной хозяйственной утварью.

Словно гора с плеч свалилась — такое чувство облегчения испытал Али Кушчи, когда вышел из пещерного жилища Уста Тимура. Они проговорили долго; оказывается, близился рассвет, о чем судить можно было и по бледности звезд на небе — ветер разогнал облака,— и по звукам, что раздавались в кишлаке,— петушиным крикам, собачьему лаю, рыданию ослов,— звукам наступающего утра.

Возвращались Али Кушчи и Каландар тем же путем, что и пришли, и с прежними предосторожностями. Не напрасными, потому что, когда они почти уже дошли до обсерватории, Каландар вдруг резко остановился, повернулся к мавляне и толкнул его в тень чинары.

Кто-то бродил вдоль оврага, бормоча:

— О аллах, о всемогущий...

Каландар, намеренно громко ступая, вышел вперед.

— Эй, Шакал! Что ты тут делаешь, кого вынюхиваешь?

Дервиш что-то невнятно пробормотал в ответ.

— Запомни, Шакал, если ты шакал, то я — тигр. Бу-

дешь за мной следить, вырву твой косой глаз и заставлю тебя же его проглотить. Понял меня?

Каландар подождал, пока дервиш, чуть прихрамывая, отойдет подальше. Вернулся под чинару.

— Осторожность и осторожность, мавляна. Святой шейх ставит соглядатая за соглядатаем следить...

10

Уже два дня в одной из угловых комнат Кок-сарая терзается размышлениями Мирза Улугбек. Выходить отсюда ему запрещено.

Чуть ли не полвека проведя в Кок-сарае, Улугбек и не подозревал о существовании этой комнаты — холодной и сумрачной. Свет падал сюда из узкой щели сверху прямым, нерассеивающимся лучом. Холодное дыхание стен чуть задерживали ковры. Узнику — хотя его так не называли — дана была пара одеял. Кормить кормили хорошо: на столике вон они, шашлык остывший, хлеб, фрукты, в изящной фарфоровой чаше вино. Не те, кто посадил его сюда, повинны в том, что Улугбек голоден, тому причиной подозрительность самого повелителя... бывшего повелителя. Он так и не притронулся к пище, за двое суток пил только воду, сделал пару глотков — и все.

От голода и бессонницы мысли, конечно, путаются. И остается одно — лежать на одеяле посреди комнаты да смотреть на отверстие в потолке.

Чего только не передумал Улугбек, лежа на этом тюремном одеяле. Вся жизнь прошла перед ним — от счастливых лет детства до нынешнего безысходного положения, близкого, видно, к концу, к смерти. Ведь и на убийство может решиться его сын, престололюбивый и жестокосердый.

Вот ему, Улугбеку, уже за пятьдесят, из них почти сорок лет был он первым человеком в государстве, правителем, но спроси-ка его, что такое счастье, в чем оно и какую отраду узнал он, придя в сей бренный мир, спроси, и не ответит мудрец и ученый, султан и поэт Улугбек. Жизнь венценосцев похожа на дворцы, построенные по их повелению: издали переливаются теплыми красками, горят на солнце, ослепляя людей, а внутри — вроде этой комнаты — холод, мрак, сырость. И безлюдье. Или интриги.

Сжирают друг друга люди, будто хищные звери. Гнездо заговоров и склок этот Кок-сарай! Единственное для Улугбека утешение души — наука, единственная радость — иное безлюдье, когда уходил он из Кок-сарая в обсерваторию, сидел там в уединении с астролябией в руках, наблюдал за бездонным небом, полным звезд, за его чарующей красотой.

Всевышний лишил его теперь и этого единственного утешения.

И снова, снова вспоминал Улугбек о деде, эмире Тимуре. Бури проносились после кончины Тимура над Хорасаном и Мавераннахром. Почему? Да потому, что возмездие за пролитый океан крови неизбежно. Неотвратимо. Если не настигает оно того, кто пролил эту кровь — а сам Тимур умер как раз перед исполнением своей цели: завоевать Китай, единственную великую державу Востока, что еще не была вытоптана его конницей,— то потомков карает. Потомки Тимура резали друг друга беспощадно, жестоко, злее хищных зверей. Это ли не кара, не возмездие? Тысячи и тысячи детей остались сиротами, тысячи и тысячи женщин вдовами после походов потрясателя вселенной — и не из-за этого ли резня среди тех, кто наследовал Тимуру, не из-за этого ли разваливается его необъятная держава и новые реки крови льются в яростных братоубийственных войнах?

Совесть Улугбека может быть спокойна. Сорок лет он правил Мавераннахром, завоевательных походов не предпринимал, ну разве что в юности и для того, чтобы не распалось государство, а не для того, чтоб расширилось. И в Хорасан ходил на закате жизни в целях обороны, иначе раскололось бы государство, съели бы Тимуровы родичи друг друга. А без него... что было бы без Улугбека, захвати власть эти бешеные племянники из Герата? Что станет с Мавераннахром и Хорасаном теперь... без него?

Вчера он передал Абдул-Латифу два послания, просил — просил!— позвать на беседу. Он хотел сказать сыну, что сам, сам отречется, по своей воле, в согласии с законом, который такие случаи предусматривал, ведь для народа важно, что власть передана, а не отнята у законного владельца, это должен понимать будущий правитель. А просить — просить!— Улугбек хотел одного: чтобы остаток дней ему позволили провести в занятиях наукой. И еще хотел Улугбек дать сыну отцовский

наказ, как править страной: все-таки сорок лет, опыт! Он хотел предостеречь сына от неверных слуг, доказать, что быть справедливым и человечным не только угодно богу, но и попросту выгодно для правителя.

Оба послания остались без ответа.

Смерти Улугбек не боялся. Все смертны. Все приходит рано или поздно к своему концу, к исчезновению. За душу сына, коль посмеет тот склониться к мысли об убийстве отца, вот за что боялся Улугбек. Каким бы подлым мятежником ни был Абдул-Латиф, он ведь его, Улугбека, отпрыск, сын его! Люди проклянут отцеубийцу, всевышний не прощает такого греха...

Скрипнула дверь. Улугбек открыл глаза.

Страж вошел первым, потом пропустил повара-бакаула. Кормить султана еще кормят. Бакаул на тяжелом серебряном подносе нес миску шурпы, чайник, две румяные лепешки.

Поклонившись, толстяк бакаул поставил поднос на столик, не торопясь собрал остывший шашлык. Медлительность его движений поневоле привлекла внимание, и, когда Улугбек посмотрел на повара, тот странно помахал рукой над лепешкой, словно мух от нее отгонял, подмигнул при этом и, пятясь, отошел назад. Улугбек ничего не понял. Проводил повара взглядом до двери, а тот покачал головой и уже у самой двери приложил палец к губам.

Ушел.

Страж загремел снаружи сапогами, устраиваясь перед дверью поудобнее.

Что хотел сказать старый повар, слуга Улугбека? О чем-нибудь предупреждал? Видно, какая-то новая беда ожидает бывшего властелина.

Вкусный запах свежего хлеба вызывал головокружение. Султан проглотил слюну. Взял лепешку, разломил — будь что будет, отравят так отравят — и застыл от удивления; из разломанной половины лепешки торчала свернутая бумажка.

Незнакомец прежде всего познакомил Улугбека с тем, что происходит в городе. Светопреставление — так назвал он происходящее. Вчера в соборной мечети высшее духовенство объявило Улугбека врагом ислама. Правителем Мавераннахра провозглашен Абдул-Латиф, и теперь будут чеканить монету с его именем. Шах-заде взял под стражу многих благородных, а также некото-

рых эмиров и воинов Мирзы Улугбека. Иные уже казнены.

Автор записки, лицо, видимо, обо всем хорошо осведомленное, сообщал и о намерениях Абдул-Латифа относительно отца: предполагалось отправить его паломником в Мекку для замаливания грехов и последующего возможного возвращения в лоно истинной веры. Паломничество, только иного свойства, чем обычный хадж,— принудительное. Говорят, что в мечети во время проповеди к ногам Абдул-Латифа пал некий «правоверный мусульманин», Саид Аббас, и потребовал у «законного повелителя» отмщения за якобы невинно казненного Улугбеком отца своего. Бездоказательный иск нечестивца никто не решился отклонить, никто, кроме верховного казия Ходжи Мискина, коего протест потонул в яростном реве остальных улемов. Если иску Саида Аббаса будет дан ход, жизнь повелителя, и без того находящаяся под угрозой, повиснет на волоске. Вот почему, писал незнакомец, надо бежать, и, коль скоро Мирза Улугбек будет с этим согласен, пусть даст знать бакаулу. Тот усыпит стражу и — буде аллах позволит — выведет повелителя на волю потайным ходом.

«Западня, истинная западня!» — подумал Улугбек. О потайном ходе знал не только он сам и, как выясняется из записки, бакаул, но и шах-заде. Тот уже, ясное дело, поставил своих воинов около выхода из подземелий. Улугбек пойдет вслед за бакаулом и попадет прямо в их руки!

Улугбек прошелся по комнате. Взгляд его упал на разломанный хлеб. И снова подумалось: «Отрава!» Все, все отравлено — и хлеб, и мясо, и вино в фарфоровой чаше. Чего проще, отравить его, убрать так легко с дороги. «Ну, а разве теперь мне не все равно? Не лучше ль умереть от яда, чем от рук палача по навету какого-то Саида Аббаса? Не лучше ли пасть по навету, но здесь кончить дни свои, чем расстаться с родиной, замаливать, скитаясь на чужбине, грехи, в которые сам не веришь, вызывая к себе ненависть и насмешки фанатиков, и все равно умереть, потому что ни этой ненависти, ни тем более отдаленья от родины не выдержать?!»

Что будет, то и будет! Пусть отрава... И все-таки кто написал эту записку? Ведь дело рискованное, если это не западня. Али Кушчи, мавляна Мухиддин? Ну нет, такие дела не под силу людям науки. На такой риск может ре-

шиться лишь воин. Как Бобо Хусейн... Наверное, он... Так что же, попробовать бежать?.. Нет, он не будет пытаться бежать. Он правитель Мавераннахра. Он может отдать власть, но спасаться бегством?.. Да и куда он может убежать, он, кто сорок лет был на глазах всех и каждого в стране... «Мне ничего не нужно, Абдул-Латиф! — мысленно обратился Улугбек к сыну.— Бери, все бери. Все твое. Только не опозорь в веках ни меня, ни себя позором черным!»

В комнате стало совсем темно. Снопик света, падавший сверху, погас. Сквозь отверстие в потолке, маленькое, величиной с ладонь, проглянули звезды.

— О боже мой,— прошептал Улугбек.

Да что это с ним? Он не угадал этих звезд, он, астроном, что знал каждую, как свой палец... Какое же это созвездие? Кажется, Дубби акбар, или нет? Глаза его потускнели или, чего доброго, он тронулся разумом?

Мысли узника путались.

Улугбек, удрученный, собирался заснуть, но тут раскрылась дверь и в комнату вошли два воина, оба с обнаженными саблями. По серьгам в ушах Улугбек узнал уроженцев Балха. Какой-то незнакомый смуглокожий есаул появился вслед за воинами, отвесил небрежный поклон, слегка склонив голову в темно-зеленой чалме, и молча указал рукой на дверь.

Улугбек сдержал гнев, хотя непочтительность чужестранца была нарочитой. Узник накинул на себя шубу, вышел вслед за воинами.

Кромешная тьма наполнила дворы Кок-сарая; сторожевые башни, гарем, дворцовые постройки — все безмолвствовало. Только в самом крайнем окошке одного из домов гарема чуть пробивался свет.

Перед глазами Улугбека возникло видение — красавица невольница с печальными васильковыми глазами, его последняя радость, последнее прибежище сердца... Любое существо стремится от холода к теплу — так и Улугбек, когда не знал, куда деть себя от тоски, от мучительных раздумий, стремился к этой кроткой девушке с печальными глазами и, завидев застенчивую ее улыбку, горящие смущением щеки, словно сбрасывал груз прожитых лет и тяжесть забот. Он с удовольствием слушал ее слова, радостно убеждался в том, что его тяга к ней отзывается и в ее сердце. Последняя, предзакатная любовь, ниспосланная для того, чтобы утешить его, по-

следнее солнышко, способное согреть его душу, — даст ли всевышний возможность хотя бы еще один раз увидеть это солнышко? Мирза Улугбек заставил себя оторвать взгляд от окна...

Приемная зала была ярко освещена. В креслах с высокими спинками, расставленных вдоль стен, восседали служители веры, все одинаково одетые: поверх суконного золотистого халата покрывала из белого шелка, у всех белоснежные чалмы на головах. Некоторые из улемов, завидя вошедшего Улугбека, по привычке торопливо встали, но под горящим гневным взглядом шейха Низамиддина Хомуша — он сидел в углу палаты — с той же поспешностью попадали в кресла.

Сановников не было. «Марофаа,— догадался Улугбек.— Религиозный суд. Но тогда почему нет шейх-ульислама Бурханиддина и почтенного верховного казия Ходжи Мискина? Неужели и на них осмелился поднять руку Абдул-Латиф?»

Шейх Низамиддин погладил свою белую холеную — каждый волосок блестит — бороду. Приподнял руку, призывая к вниманию.

— Раб аллаха Мухаммад Тарагай! — начал он, намеренно не произнося титула Улугбека.— Улемы Самарканда, служители истинной веры, мы собрались сюда, чтобы сделать объявление о высочайшей воле нашего повелителя Мирзы Абдул-Латифа, а также довести до сведения вашего фетву — решение улемов.

— А где сам наследник? Где мой сын? — перебил Улугбек.

Шейх откинулся назад.

— Наш благодетель и защитник престола счел грехом для себя лицезрение того, кто был властелином-вероотступником.

Улугбек побледнел, но заставил себя иронически улыбнуться. Сложив на груди руки, он почти надменно взглянул на шейха. Султан Улугбек был готов к бою.

— Раб аллаха! — воскликнул Улугбек, тоже намеренно не назвав титула шейха.— Кто из слуг аллаха вероотступник, а кто верует в него всем сердцем, про то не смертному знать, а только ему самому, всевышнему! Решать за аллаха то, что может решить лишь сам созда-

тель,— не тягчайший ли грех против нашей истинной веры?

Сидящие в зале, словно по команде, повернули головы к шейху. Как он отобьет этот выпад? Шейх снова поднял руку и торжествующе потряс четками из темного жемчуга.

— Напротив, напротив! Назвать своими именами добро и зло, назвать вероотступником вероотступника, того, кто сбивает мусульман с праведного пути,— это не только не грех, но богоугодный поступок. Лишь невежда, погрязший в грехах, или хуже того...

— Лишь невежда не знает, что написано в коране,— опять перебил его Улугбек.— Там же сказано: все хорошее и все плохое — все от аллаха! И раз это так, то в чем нарушил я заповеди аллаха?

Гул возмущения промчался вдоль стен, улемы повскакали с мест.

— Проклятие гонителю истинно верующих!

Шейх призвал к спокойствию тем же торжественным жестом руки. Но в красивых, засверкавших глазах его пылал плохо скрытый гнев. Он пригнулся, впился взглядом в султана.

— Самовольное толкование корана — нет тяжелее греха!.. О слепота, о самомнение человеческое! Безбожник спорит о боге вместо того, чтобы просить об отпущении грехов!.. Эй, раб аллаха! Вспомни-ка эту суру из священной книги: все, что содеяно аллахом — и милость, и щедрость, и муки, и страдания,— все, все справедливо, и нет у аллаха долга перед своими рабами!...

— Не мешает вспомнить и другую суру: «Дарю знание рабам своим для того, чтобы...»

— Довольно! Хватит кощунствовать!

— И в самом деле,— шейх развел руками, показывая, что больше сдерживать возмущения собравшихся улемов он не в силах,— и в самом деле... Для того ли пришли мы во дворец, чтобы спорить с вероотступником о канонах веры?

Спазма ярости схватила Улугбека за горло, не дала свободно вздохнуть. С усилием сдержался. Перекрывая шум, громко произнес:

— Чтобы спорить о канонах веры, надо быть просвещенным человеком. На этот же суд, на эту лживую богопротивную сходку собрались не мудрые улемы, а темные души, недалекие умом и...

Зал задрожал от диких воплей: «Осквернитель веры!», «Да будет проклят вероотступник!», «Будь проклят!», «Во веки веков!» В таком шуме нельзя было расслышать тонкого скрипа одной половины двустворчатой двери, что вела во внутренние покои, — она чуть приоткрылась и тут же снова закрылась.

Шейх Низамиддин Хомуш поплевал по сторонам в знак того, что отгоняет злых духов. Властно закричал:

— Раб гордыни! Ты, возгордившись, сбил с пути истинного многих мусульман. Ты научил народ развратной жизни, бражничеству, стихам и пляскам. Ты открыл медресе и заставил учиться — о аллах, только чему?! — и мужчин, и женщин... Неужели этих грехов мало?..

— Но почему это грех, достопочтеннейший шейх? Нет ничего дурного в радостях жизни, если они умеренны. А уж тем более в учении. Ибо сказано: учиться знанию есть долг каждого мусульманина и каждой мусульманки... В коране, как известно, сказано...

— Нет в коране такого утверждения, нет!.. Не знаю!.. Довольно!..

— Нет в коране, есть в хадисах. А там, вы знаете, собраны изречения пророка.— Улугбек уже откровенно смеялся.— Или, о святой шейх, слова пророка перестали быть законом для мусульман?

Шум внезапно смолк. И все улемы вновь повернулись к шейху. Тот резко пристукнул посохом, сжав хризолитовую ручку так, что побелели пальцы, выпрямился и, судорожно дергаясь всем телом, закричал как мог громко:

— Заклинаю... заклинаю прахом деда твоего, великого эмира Тимура, прахом отца твоего, Хакани Саида Мирзы Шахруха — проси всевышнего о прощении тебе грехов, или...

— Вам, вам надо о том просить! — Улугбек сделал шаг вперед.— Мои грехи рассудит аллах, а вот почему вы вместо того, чтоб сидеть у себя в «Мазари шериф» и славить, славить аллаха — вот ваше богоугодное дело... почему вы вместо смиренной молитвы вмешиваетесь в дела, вам не подсудные, в дела государства?.. Это вы, вы живете в блуде и роскоши... Вы алчете власти, вы плетете заговоры, вы желаете встать над законным правителем страны! Султан — тень аллаха на земле! Хоть это изречение корана вам ведомо? Ведомо, но не хотите с ним примириться. Вот он, ваш великий грех!

Твердыми шагами Улугбек направился к двери: он-то видел, как она приоткрывалась, догадался, кто за нею. Вид султана был страшен, бледное как алебастр, лицо, горящие глаза, весь словно стрела, готовая сорваться с тетивы. Улугбек пошел прямо на улемов, что толпились возле двери, и ни один не посмел преградить ему дорогу. С силой толкнул он дверь, правая половинка ее ударилась о стену и снова захлопнулась, и тогда Улугбек рванул ее на себя, прошел в салямхану и притворил дверь за собой.

Абдул-Латиф едва успел отскочить от двери к трону.

Рядом с троном в глубоком ярко-красном бархатном кресле Улугбек увидел ишана Убайдуллу Ходжу Ахрара.

Круглая золотая люстра посылала вниз лучи более десятка свечей, в боковых же нишах свечи не горели, при таком верхнем освещении лицо шах-заде казалось бесцветно-серым — какая-то безжизненная маска. Глубоко запавшие глаза, тонкие пальцы дрожали, выдавая смятение. Ишан Ходжа Ахрар был, напротив, воплощением спокойствия. Белая накидка поверх рыжего одеяния шейхов — джуббы — плавно стелилась по его полной широкой фигуре, спокойно, даже уютно устроившейся в кресле; конец чалмы, свисая на грудь, терялся в завитках черной, без единого седого волоса бороды, размеренно-спокойно двигались короткопалые руки, перебирая четки, губы шевелились — ишан молился, неторопливо, будто один у себя дома.

«И этот ворон успел прилететь. Верховный ишан из Шаша, давний мой «друг»,— подумал Улугбек. Вслух же сказал:

— Простите, святейший, я хотел бы поговорить с сыном.

Ишан не прервал молитвы, не изменил позы. Но какую-то тень его взгляда перехватил Абдул-Латиф. Вздрогнув, шах-заде буркнул:

— В беседе обязательно должен принять участие мой пир, святейший ишан.

— Нет! — резко сказал Улугбек.— Я хочу говорить с тобой наедине, только наедине. Или ты отказываешь отцу в последнем его желании?!

Ишан оперся о подлокотники кресла, молча встал. Неторопливо направился к выходу. Полное лицо его дышало невозмутимостью, толстые пальцы по-прежнему перебирали четки — во всем этом чувствовалась властная

сила, все это внушало: «Будь смелей, независимей, шахзаде!»

Ишан открыл дверь — и словно гул пчелиного улья донесся из приемной залы, дверь закрылась — снова стало тихо.

Улугбек облегченно вздохнул. Подошел к трону, провел рукой по обивке сиденья. Сел в кресло, которое только что занимал ишан. Глаза Абдул-Латифа напряженно следили за отцом, безжизненное лицо-маска оставалось недвижимым. Улугбек вдруг на миг ощутил жалость к сыну, отцовское желание уберечь его от зла нахлынуло на сердце. Надо найти, найти первое слово.

Гордость Тимурова внука не позволяла расслабиться, дать волю жалости.

Тишина угнетала обоих. Комната словно потемнела. Потемнели стены в нежно переливающихся узорах, потемнели ярко освещенные орнаменты на потолке, огненные ковры на полу, канделябры и свечи. Или это ему кажется оттого, что буря утихает в душе?

Абдул-Латиф вдруг подошел к трону, демонстративно уселся на него.

Пусть так. Он больше не хотел владеть этим троном. Но, смотри, как неожиданно изменилось лицо сына! То ли сам трон, это вожделенное сиденье властителя, придал ему силу, то ли что другое перевернуло душу, но взгляд Абдул-Латифа сразу приобрел твердость, в прищуре глаз — жестокость и решимость. Совсем как прадед, эмир Тимур! Правда, в облике деда на троне было больше спокойствия, а этот сидит на краешке и, кажется, разыгрывает спокойствие. Но все-таки не маска уже и нет знаков растерянности.

Улугбек оторвал взгляд от лица сына.

О, как меняется человек, когда садится на трон! Будто ты уже и не смертный, который, придет срок, уйдет. Будто и впрямь тебя уже все любят, а не делают вид, что любят, и будто не было до тебя тысяч и тысяч измен. Да что говорить, самому эмиру Тимуру изменяли!... Вот он сидит, отпрыск Тимура, правнук его, важный, надутый, старается казаться страшным и несокрушимым и не знает, что все это призрак, сон...

Э-э, Мухаммад Тарагай, что это ты так безжалостно судишь о том, кто сидит рядом с тобой, но выше тебя? А тебя самого не лишало ума-разума это золотое сиденье, не опьяняла возможность властвовать над подоб-

ными себе? Никогда, никогда? Не лги самому себе, Мухаммад Тарагай... И не забывай, что сын твой — вон там, на троне! Говорят, только конь снесет удар коня. Дай-ка лучше наставление сыну, слуга божий, не гордись собой, не проклинай его. Надо пожелать ему не плохого, а хорошего, как ты и хотел сделать!

Мирза Улугбек, подавив свою гордость, как только мог душевно сказал Абдул-Латифу:

— Шахзодаи дувонбахт! [1] Ты был наследником моего престола. Призови всевышний меня к себе, ты занял бы мое место на этом троне. Ныне, по милости аллаха, ты занял его при живом еще отце. По милости аллаха и по моей воле...

Шах-заде впился в поручни трона.

— Хвала вам, благодетель! Но все же вернее будет сказать, что трон этот достался мне против вашей воли. По милости аллаха, это верно. И благодаря моей смелости, благодаря моей сабле, отец мой!

«Вот он, беркут!» Улугбек плотно сжал губы. Отцовское желание предохранить сына от бед улетучилось, будто свеча погасла от дуновения резкого ветра. «Склоненную голову меч не сечет, так говорят. И приличия ради можно было бы не топтать моего достоинства. Но этот... стервятник...»

— Ты еще не овладел всем Мавераннахром, а мнишь, что перевернул вселенную. И знай, не в силе сила. На любую большую силу всегда находится другая, еще большая. Рано или поздно, но находится.

Шах-заде стал совсем белым.

— Почему это не овладел всем Мавераннахром? Народ страны весь под моей пятой!

— «Под пятой»,— передразнил сына Улугбек.— Гордец несмышленый! Были повелители посильнее тебя, и они считали, будто эта земля под их пятой. Земля наша все земля, а они где? Мавераннахр стоит на веки вечные, поставленный аллахом.

На тонких губах наследника зазмеилась ехидная улыбка — такая же, что была у старой ненавистницы Улугбека Гаухаршод-бегим. Гератская ухмылка, зловещая и коварная... Впрочем, ни при чем тут гератская ухмылка. Трон, трон портит, развращает, ослепляет лю-

---

[1] Счастливый царевич! *(перс.)*.

дей. Знает ли этот заносчивый венцелюбец, что сказал когда-то мудрый Омар Хайям?

Бессмертных нет! Как много сильных в мире этом
Уже ушло... И мы простимся с белым светом.

— Что шепчете, отец? Благословение покорному сыну?

— Благословение мое тебе не нужно, как видно. А скажу я тебе вот что, сын. Не будет тебе счастья на этом троне... Никому он не приносил счастья, даже эмиру Тимуру. Запомни это хорошенько.

Абдул-Латиф встал, желая кончить тягостную встречу.

— Если в том цель беседы, наставления вашего, то не стану утруждать ни себя, ни вас ее продолжением. Если хотите что-то еще сказать, говорите, а если нет,— голос Абдул-Латифа угрожающе понизился,— если нет...

— Погоди, повелитель... Есть у меня одно-единственное пожелание, которое и осталось мне высказать. Мое последнее пожелание... Ты хочешь изгнать меня из пределов Мавераннахра, да? Так лучше казни! Слышишь, осуди на смерть!

Комок подкатил к горлу. Улугбек замолчал.

Молчал и Абдул-Латиф. Наморщил лоб. Отвернулся от отца. Плечи опустились. Показалось, что он тоже чуть не плачет.

— Сын мой,— мягко обратился к шах-заде Улугбек.— Сын мой, скажи...

Абдул-Латиф молчал.

«Видно, думает, что в одни ножны нельзя спрятать две сабли. Да не хочу я быть саблей, не хочу, глупый. Лучше мне ослепнуть, чем видеть, как сын размышляет о том, чтобы убрать отца со своей дороги, да как получше, понадежнее».

— Сын мой, ты должен понять меня.

— Простите, отец,— заговорил наконец Абдул-Латиф,— но я не могу пойти против фетвы, вынесенной почтенными улемами. Говорят же, фетва улемов — что печать аллаха!

— Разве улемы — пророки, чтобы передавать нам, простым смертным, наказы всевышнего?.. Слово повелителя — закон для подданных, в том числе и улемов. Будешь их бояться — потеряешь трон!.. Пусть он твой,

пусть власть, слава, почести — все тебе. Мне малое нужно — жить на родной земле и заниматься любимым делом в обсерватории своей. Куска хлеба, одного кумгана воды на день мне будет достаточно. Не бойся, я не буду сражаться за то, чтобы снова сесть на этот злоприносящий трон. Я хочу в оставшееся мне время закончить каталог звезд, дописать книги свои...

Шах-заде вдруг круто повернулся, заговорил так яростно, что кончики редких усов ощетинились, губы задрожали:

— Обсерватория, каталог звезд!.. Все ваши мударрисы — безбожники, вероотступники! Мне не раз говорили об этом истинные служители веры, которых вы унижали... За это, за это аллах покарал вас, лишил престола! А вы вместо покаяния — опять про обсерваторию?! — Абдул-Латиф повернул лицо в сторону Мекки.— О, великий аллах! Ты слышишь его слова, ты видишь, сколь закоснел сей раб твой в грехе, поддавшись гордыне, желая раскрыть тайны, которые ты счел недозволенными для разгадки, о, великий аллах, молю тебя, прости раба твоего грешного.

И Абдул-Латиф закрыл глаза, зашептал молитву.

Улугбек, пораженный, смотрел на сына. Он знал, что наследник фанатичен, ему говорили, что в Балхе, где правил Абдул-Латиф, притесняли людей знания, но чтобы его сын до такой степени был темен! И жесток, и лицемерен!

— Шах-заде,— Улугбек опустил глаза, чтобы скрыть боль и гнев,— кого настигнет проклятие или прощение, о том судить не нам, смертным...

— Да, да, всевышний знает, все знает. Невинного не тронет, но, кто поднимет меч против истинной веры — будь он нищий или самый могучий шах! — того аллах покарает так...— Абдул-Латиф сжал кулаки, голос его срывался на крик,— того он... того я... Это исчадие адово, источник ереси, обсерваторию — в пепел! Сожгу дотла!.. И хватит, хватит разговоров. Какой вы мне отец? Где ваша щедрость?.. Я... я ли не выказал храбрости, я ли щадил себя в битве при Тарнобе,— шах-заде не в силах уже сдержаться, выплескивал истинное, не скрытое приличием отношение к отцу, к родне.— Не я ли?.. А слава и добыча кому достались?.. Любимчику вашему Абдул-Азизу!

— Что ты говоришь?

«О аллах! Такой вот сумасшедший на троне Мавераннахра! Несчастная страна!»

— Что ты говоришь?! Ведь Абдул-Азиз родной твой брат!

— Брат? Благодарю вас за такого братца... Благодарю... за такого отца! Кто взял мое золото из замка Ихтиериддина, золото, завещанное мне прадедом? Кто? Благодетель отец!.. А-а-а.. Всему есть предел, терпению моему тоже... Ну, отвечайте, где золото Сахибкирана Тимура, где?

Улугбек отпрянул.

— О каком золоте ты говоришь?

— А-а, будто не знаете? О том золоте, о тех драгоценностях, что эмир Тимур привез из Египта, Дамаска, Багдада! Где золотые индийские статуэтки? Передали? Своему любимчику передали, Абдул-Азизу, или безбожному Али Кушчи? Где он? Я его... я ему...

Взгляд Абдул-Латифа — взгляд безумца. Шах-заде почти спрыгнул с трона и пошел вперед, свирепо глядя на отца. Улугбек, отступая, свалил кресло. Грохот, видно, привел Абдул-Латифа в чувство.

— Где же он, ваш Али Кушчи?— уже несколько спокойнее спросил шах-заде, остановившись как вкопанный.

«Не знаешь. К счастью, не знаешь, иначе не кричал бы так, как только что кричал».

— Не ведаю о нем...

— Я не верю, ни одному вашему слову не верю... Зачем звали к себе Али Кушчи перед походом, в самую последнюю ночь? Что передали ему?

Улугбек уже полностью овладел собой.

— Твои соглядатаи видели, как Али Кушчи приходил в этот дворец, так спроси у них, что я передал тогда Али Кушчи.

— Я знаю, что! Я хочу слышать от вас.

— Я пришел не за этим,— Улугбек выпрямился и посмотрел сыну прямо в глаза. «Не знаешь, иначе не так разговаривал бы со мной, беркут».— Я пришел дать тебе отцовское наставление... Оказалось, не оно тебе нужно, а золото. Золото, не тебе принадлежащее! Как и то, что добыто в битве при Тарнобе,— Улугбек властно вскинул руку, видя, что шах-заде хочет его перебить.— Издавна повелось: отцовское слово — закон для сыновей. Ты можешь не посчитаться с этим. Хочешь, вы-

гони меня на чужбину, хочешь, казни, ты и на такое, вижу, способен. Все в твоих руках, потому что сила сейчас у тебя. Но что эта сила против отцовского проклятия, ты об этом не думал?.. Так знай: если тронешь обсерваторию, если тронешь моих ученых, моих учителей и моих учеников, знай, прокляну на веки веков! И еще помни: ничто в мире не проходит без следа, ни один низкий поступок не остается ненаказанным, ни одна несправедливость неотмщенной... У меня нет больше слов для тебя. Зови теперь своего есаула!

Лицо Абдул-Латифа мелко-мелко дрожало. Он хотел было что-то сказать, но не сказал. Посмотрел на отца с нескрываемой ненавистью, отвернулся от него, помолчал минуту, будто колеблясь, крикнул:

— Есаул!

11

Сидя на осле, Али Кушчи свесился на сторону; в одной руке он держал поводья шагавших сзади четырех верблюдов, другою похлопывал осла по шее, понуждая его двигаться побыстрей. Но это плохо удавалось. Замыкающий их караван Мирам Чалаби, семнадцатилетний талиб, краса и гордость медресе Улугбека, качался в такт неторопливым шагам своего «иноходца», который четко держал дистанцию по отношению к впереди идущему собрату.

Самарканд Али Кушчи с учеником покинули вчера в полночь. Путь лежал к Ургутским горам, все время вдоль высохшего ручья. Ехали до рассвета, утром остановились на привал в ореховой роще. Целый день продолжался этот привал: попадаться на глаза людям не следовало. С заходом солнца отправились дальше: по расчетам мавляны, можно было достичь Драконовой пещеры под утро, если всю ночь провести в движении.

Каждый верблюд тащил четыре сундука, скрытых в большой копне сена; встречные люди могли принять путников за дехкан или за пастуха с подпаском — они и впрямь смахивали на пастухов в своих темных чекменях, пастушьих войлочных шапках, надвинутых на лоб низко, до самых бровей.

Ночь была тиха. Над грядой гор впереди висел только что родившийся серп луны, который еле-еле освещал широкое русло, деревья по обеим его сторонам

и те самые ореховые рощи, которые тянулись вдоль ручья. Спокойно, а жутковато!

Большого черного осла, то и дело спотыкавшегося о камни, но ходока неутомимого, а также верблюдов достали откуда-то для Али Кушчи Каландар и Уста Тимур. Под Мирамом семенил осел мавляны. Прокравшись в обсерваторию за день до их с Мирамом ухода, Каландар передал Али Кушчи мрачные слухи, которые целый день будоражили город: в соборной мечети собрались улемы, обвинили Мирзу Улугбека в неугодных богу деяниях, прочитали фетву о наложении запрета на все его противоречащие шариату начинания. Медлить было нельзя. Каландар сказал, что на следующий день с наступлением темноты он приведет верблюдов, уже навьюченных порожними сундуками, велел быть к тому времени готовым — и людям, и книгам. Работа была адски тяжелой: раз сундуки нельзя было внести во двор обсерватории, а книги вынести к воротам, пришлось книги складывать в мешки и тянуть каждый мешок через подземный ход к выходу в овраг. Поэтому и пришлось посвятить в тайну и приобщить к работе Мирама: одному совершить это дело Али Кушчи было бы не по силам.

А как непросто оказалось отобрать книги! Любую было жаль оставлять, любая казалась бесценной. Али Кушчи под нетерпеливыми взглядами Мирама брал книгу в руки, листал ее, вздыхал горестно и ставил обратно. Но произведения мудрецов Мавераннахра!.. Нет, их нельзя было ставить обратно на полки и в шкафы, эти тяжелые книги, переписанные по велению устода самыми искусными каллиграфами, обернутые в зеленый, красный и желтый сафьян. Редкие, истинно бесценные, к тому же родные создания! Но сколько же их! Как много! Одни произведения мудреца мудрецов Абу Райхана Бируни наполнили целый мешок: «Ал-Канун ал масъуди», «Мезон ул хикмат», «Китоб ус сайдана»[1] завернутая в розовый шелк... А ученейший из ученых Абу Али ибн Сина: большущие «Китоб уш шифо» и «Китоб ун нажот»[2], жемчужины искусства врачевания, не помещались даже в мешке, равно как начерченные на шелковой бумаге звездные таблицы самого Улугбека и

---

[1] Книги по астрономии.
[2] Книги по медицине.

его же, не доконченные еще переписчиками-каллиграфами исторические трактаты. Вместе с книгами Авиценны Али Кушчи сложил их в особый сундук, завернув предварительно в плотную парчу...

Книги, книги, книги... Вот любимый устодом трактат «Лугат-ат-шюрк», переписанный на коже серны. Вот «Математика», начертанная собственной рукой благословенного Кази-заде Руми... А вот в изящном золоченом переплете стихи Омара Хайяма, чьими математическими познаниями восхищается разум, а стихами утоляется жажда души... И рядом — в бархате — произведения великого создателя алгебры Абу Абдуллы Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми «Китоб алмухтасар фи хисоб алджабр мухобала».

Как же можно бросить здесь на произвол судьбы такие книги? Как можно подумать о том, чтобы оставить их, боготворимых устодом?

Отобранные Али Кушчи книги составляли лишь малую часть библиотеки Улугбека. Но и они заполнили сорок мешков. Али Кушчи и Мирам Чалаби перетаскали один за другим все мешки по длинному подземному лазу. Работу эту закончили они далеко за полночь, а незадолго до рассвета в овраге появились Каландар и Уста Тимур, которые привели верблюдов, навьюченных сундуками. Вчетвером дело пошло быстрее; каждый сундук — это три мешка книг, на каждого верблюда пришлось по четыре сундука; довольно долго возились с сеном; удивлялись неожиданному для себя открытию — оказывается, тяжелы бывают книги: самцы-верблюды, здоровенные и привычные к большим грузам, поднялись на ноги, пошатываясь, когда погрузка была завершена.

И вот со вчерашнего дня Али Кушчи и Мирам в пути. Верблюды хорошо отдохнули в ореховой роще, куда маленький караван скрылся при наступлении дня,— пусть места эти не очень-то многолюдны, но осторожность не повредит. Сыщики и доносчики могли рыскать и тут. Ну, а если с ними разминуться, то, хвала аллаху, Драконова пещера даст возможность сделать дело так, как нужно.

Эту пещеру Али Кушчи увидел впервые лет пятнадцать... нет, шестнадцать... шестнадцать лет назад. Стояла теплая осень, самое подходящее время для охоты на архаров, и Мирза Улугбек с придворными отправился к Ургутским горам.

Ранним утром нукеры, расседлав скакунов, уходили высоко в горы. Брали с собою натасканных собак. Отыскивали стадо архаров, окружали его, гнали вниз по намеченным дорогам. Придворные прятались в рощах арчи на склонах. Архары мчались с огромной скоростью мимо них, подставляя себя под стрелы. В забаве этой было мало удальства, зато добывалось много вкусного мяса: шашлыков готовили столько, что можно было пировать в шелковых шатрах до утра, что Улугбек и делал неоднократно. Правда, порою все это надоедало повелителю, и он с тремя-четырьмя приближенными сам поднимался в горы. Это было опасно, но тогда Улугбек еще любил бросать вызов опасностям. Так вот, однажды он и Али Кушчи с эмиром Арсланом и отправились в горы. Причем не пешими, как нукеры, а конными. День выдался хмурый, тяжелые тучи стлались низко над головой, поднялся резкий студеный ветер. Но Улугбек, бывший внизу в мрачноватом настроении, здесь, наверху, почему-то даже повеселел. Лебединошеий скакун его, а скакун тот был белый, арабской породы, лихо преодолевал ручьи и речки, увалы и рощицы. Из желтизны и оранжевости ореховых и урюковых рощ они выскакивали на горные луга, сохранившие по-весеннему сочный зеленый цвет. Султан, лишь только спутники нагоняли его, пришпоривал коня и опять уходил вперед; казалось, охота была забыта, так захватила Улугбека красота этих мест.

Но тучи сгущались недаром: вскоре пошел дождь, да такой, что в один миг среди камней зазмеились все увеличивающиеся потоки. Мог быть и обвал, мог начаться и сель. Али Кушчи и Арслан в один голос стали просить повелителя вернуться, да тут из рощи, которую неподалеку пересекала их тропа, выскочили два архара и помчались, срывая камни, вниз, в сторону. Улугбек гикнул и — за ними, так, видно, и не услышав крик осторожного мавляны: «Устод, остановитесь!»

Архары скрылись в нижней части рощицы, вслед за ними исчез из глаз и Улугбек. Долго искал повелителя Али Кушчи, вымокший до нитки, исхлестанный ветвями. Выскочив из рощицы, увидел на склоне другого холма и архаров, и Улугбека, стремительно поднимавшихся вверх. Уму непостижимо, как проскочили они через мгновенно возникший бешеный поток в лощине?

Быть беде! Али Кушчи отчаянно хлестнул и без того

измученного коня, ринулся через поток, эмир Арслан же, как ни хлестал своего скакуна, так и остался на той стороне: конь заупрямился, да и только! Али Кушчи заметил это, уже преодолев поток; в лощине он чувствовал только удары камней, в воде — напряжение коня. И страх за устода.

Снова какая-то роща преградила ему путь, и снова сквозь нее! И грохот селя сзади, и тьма, вдруг, павшая на землю, и тяжелый удар грома, от которого, казалось, должна расколоться гора, что поднималась перед ним.

Архары (а за ними конь устода) карабкались все вверх и вверх, казалось, прямо к снежным пикам, и там, где они прошли, оставались сломанные ветки, помятые кусты арчи и кизила. Загнанный конь Али Кушчи стал спотыкаться. Всадник потерял из виду повелителя, а тут еще на пути закрыла полнеба огромная гранитная скала. Дождь поливал ее, струи воды смывали камешки. А что, если сорвутся не камешки, а камни? Где архары, где устод?

Али Кушчи взял коня под уздцы накоротке, так, осторожно оглядываясь, прихрамывая, обошел скалу.

С противоположной стороны скала обрывалась гладко стесанной пропастью. В страхе за себя (и за устода) Али Кушчи остановился на краю обрыва. Ему почудилось, будто кто-то там есть, внизу.

— Учитель!

— Али Кушчи, это ты? Взбирайся сюда, дорогой мой!

Голос шел не снизу, хвала тебе, всевышний,— сверху! Подняв голову, не обращая внимания на дождь, мгновенно заливший лицо, Али Кушчи увидел, что Улугбек стоит над ним у большущего скособоченного валуна. Туда можно было пройти.

Но только без лошади.

Мавляна оставил коня на месте, сам же начал карабкаться вверх. Поднявшись, обнаружил, что Улугбек стоит с непокрытой головой, насквозь мокрый, чекмень его даже уже не впитывает дождевую воду, стоит и... улыбается.

— Смотри под камень, вход... Пещера!

— Как вы, устод, и где ваш конь?

— Там, конь там,— Улугбек махнул рукой на обрыв, не отрывая глаз от входа в пещеру. Далекая молния снова блеснула, осветив окрестность.— Видел? Пещера,

Али! Огромная, без конца и края,— почему-то восторженно зашептал Улугбек.— Пошли?

И, не дожидаясь, что скажет Али Кушчи, первым нырнул в проем.

Внезапно вылетевшие из глубины пещеры потревоженные сизые горлинки заставили вздрогнуть Али Кушчи. Когда глаза его свыклись с темнотой, он понял, что пещера эта, в самом деле гигантская,— обиталище птиц: так много было здесь остатков старых гнезд и разбросанных перьев.

— Кремень, Али! Надо найти кремень!

Али Кушчи ладонью на ощупь отыскал на полу пещеры два кремневых камешка, выдернул из рукава одежды клок ваты для фитиля. С грехом пополам фитиль затлел, подожгли им какие-то ветки, мало-помалу разгорелся настоящий костер. Красноватые стены пещеры заблистали, в углу зазиял проход куда-то в глубь горы.

Али Кушчи привязал к сабле свою рубашку, зажег ее и с таким факелом двинулся вперед. Пройдя шагов пятнадцать по стиснутому с обеих сторон и кривому, словно змеиный след, ходу, он остановился перед каким-то темным провалом. Постояв в нерешительности, Али Кушчи снял с себя кушак, один конец его подал Улугбеку, держась за другой, спустился вниз — яма оказалась по грудь. Поднырнув в боковой проем, мавляна попал в новую пещеру, еще большую, чем прежняя. Просторная, эта пещера была и выше первой; стены ее отсвечивали белизной.

— Видишь? Как фарфор,— восхищенно прошептал за спиной мавляны Улугбек.— А там, смотри...

И Али Кушчи увидел, что из новой пещеры куда-то в еще большую глубину ведет еще одна яма-щель. Где же конец этой цепочке пещер, и есть ли он вообще? Они облазили малую часть, сами не зная, зачем им это нужно.

Впоследствии они редко вспоминали загадочное подземелье, прозванное ими Драконовой пещерой, но стоило Али Кушчи попасть к Уста Тимуру, и давнее происшествие встало перед глазами, вспомнилось с удивительной отчетливостью.

Конечно, сокровища библиотеки Улугбека можно спрятать и в Самарканде. В конце концов, не для сырых и темных подземелий пишутся книги! Но сейчас... Сей-

час будет лучше, если эти великие создания человеческого ума скроются в Драконовой пещере, подальше от недобрых глаз. О аллах, сколько таких творений уничтожено людским невежеством! Сколько книгохранилищ было разорено, сколько прекрасных книг сожжено на площадях Рима и Багдада, Каира и Константинополя!

Да минует нас такая судьба, да пройдут скорее дни испытаний и несчастий, и пусть на престол Мавераннахра вновь воссядет повелитель-устод!.. Если же нет, если шах-заде укрепит свою бесчеловечную власть, то... скройтесь здесь, книги, лежите в безопасности, как дитя в материнской утробе. Лишь бы он, Али Кушчи, не сбился с пути, лишь бы ничего не помешало ему по дороге.

Нет, Али Кушчи достаточно было побывать в каком-нибудь месте один раз, чтобы запомнить и место это, и путь к нему.

Вот оно, джайляу, на котором в ту давнюю осень они разбили шелковые шатры. Окруженное снежными вершинами, это джайляу полно сейчас особой, божественно прекрасной тишины. Лишь стрекотанье сверчков нарушает ее да рокот далекого ручья.

То самое джайляу, то самое. Ну конечно, ведь на склоне холма, среди арчовых зарослей, они поставили тогда шатры, а внизу, у ручья, паслись белые кобылицы, чье молоко шло на кумыс, столь желанный после обильных возлияний.

Пронеслись годы. И что исполнилось из того, о чем говорили они с устодом в ту давнюю охотничью осень?

Ничего не поделаешь: слишком жестокой оказалась жизнь, слишком немилосердным мир.

Али Кушчи снова вспомнил Салахиддина-ювелира, и на этот раз, как было всегда, когда он вспоминал черную неблагодарность, сердце заныло от горькой обиды. Ну ладно бы, если такими неблагодарными оказались только ювелир и его сын. А то ведь и другие...

В тот самый день, когда разгневанный мавляна вышел из дома Ходжи Салахиддина, встретился ему по дороге какой-то нищий в старом лоскутном халате. На узкой улочке им предстояло разойтись, что и хотел сделать Али Кушчи, не обратив внимания на встречного. Но нищий вдруг попятился, сначала замахал руками, что невольно остановило Али Кушчи, а затем почтительно

сложил их на груди. Странно дергаясь лицом, нищий заговорил:

— Э-э, мавляна Али Кушчи... Ассалям алейкум, хвала вам, хвала!

Али Кушчи не поверил глазам: в рубище нищего, в этой изодранной тюбетейке предстал перед ним известный в придворных кругах и во всей столице поэт Мирюсуф Хилвати. В последнее время Али Кушчи не видел его, и вот, оказывается...

— Что произошло, друг мой? Почему вы в таком наряде?

— Осторожность, осторожность, мавляна,— пропел Мирюсуф, озираясь по сторонам.— Береженого бережет всевышний. А благосклонный, отмеченный судьбою шах-заде может взять под стражу и посадить под замок не одного только родителя своего... Лихие времена, мавляна, ой, лихие! Лучше уйти из города, лучше изменить облик... лучше исчезнуть на время с глаз людских. — И с этими словами Мирюсуф свернул в соседний узкий переулок.

«Родитель», «под замок», «шах-заде благосклонный», а ведь совсем недавно, на весеннем пиршестве у повелителя в «Баги майдан», пиршестве, на которое приглашены были и ученые, и поэты, и музыканты, пиршестве, где рекой лились вино и стихи, где все наслаждались искусством танцовщиц и ими самими,— на том пиршестве Мирюсуф Хилвати с большим чувством прочитал стихотворение, посвященное повелителю-устоду. Али Кушчи до сих пор помнит:

Победоносный дед восславлен целым миром,
Луч милостей его ловил богач и сирый.
Шахрух, отец твой, был поистине счастливый:
Для скольких душ он стал владыкой и кумиром!

Над троном поднялась теперь заря науки.
Забыли ныне все про горести и муки,
Согласен танец звезд — твоих рабынь прекрасных,–
И музыки его мы сердцем ловим звуки.

А теперь этот лизоблюд изо всех сил спасает шкуру! И сколько их, льстецов и лжецов, среди придворных. Матушка Тиллябиби недаром плакала на плече мавляны, умоляя его покинуть город, спрятаться где-нибудь в укромном углу, переждать беду. Но он, Али Кушчи, шагирд Улугбека, его друг, не станет, не станет по-

добным какому-нибудь Хилвати, не отвернется от устода в тяжелую годину — он ведь не трус, он не мавляна Мухиддин. А если вдруг судьба повернется и снова окажется благосклонной к устоду? Что тогда будут делать, что запоют те, кто ныне изменил Улугбеку? Неужто опять будут низко кланяться, воспевать-восхвалять, презрев укоры совести и делая вид, будто ничего и не было?

«Чему тут удивляться, чем возмущаться, Али? Разве неверность — не вечное проклятие рода человеческого? Люди подчиняются разуму — так следовало бы считать,— разуму и совести, разуму и добру. А на деле — и об этом говорили много раз многие-многие поэты и мудрецы — люди подчиняются лжи и богатству, мечу и трону. А коли так, надо, пожалуй, не очень-то рассчитывать на разум людской, на чувство добра, якобы извечно присущее людям...»

Не считает он и устода, даже устода, полностью безгрешным и всецело добродетельным. Конечно, чаще всего Али Кушчи видел Улугбека в часы мудрого спокойствия, столь приличествующего ученому человеку. Но были минуты, когда повелитель преображался в существо дикое, по-дедовски яростное и несправедливое,— минуты, не постигаемые разумом, объяснимые разве что и впрямь тимуровской своевольной кровью.

В памяти нежданно всплыла давняя сцена — ее Али Кушчи не мог вспоминать без содрогания и стыда, гнал, бывало, ее от себя, да вот сейчас почему-то дал свободу воображению.

Случилось это в тот далекий год, когда обсерваторию только начинали, закладывали фундамент, и они, молодые талибы медресе Улугбека, ходили помогать строителям. Водительствовал ими незабвенный Кази-заде Руми. Однажды подходили они к холму, где возводилась обсерватория, и уже издали слух их поражен был чьими-то отчаянными стенаниями, перебиваемыми яростными криками и руганью .. кого бы?— повелителя, устода Улугбека! Зрелище, открывшееся взорам талибов, когда они со скоростью вихря взбежали наверх, было невыносимо: распаленный, весь какой-то взлохмаченный Улугбек, стоя на груде сваленных как попало кирпичей, избивал тяжелой плетью с металлическим наконечником пожилого строителя-каменщика, согнувшегося, обнаженного до пояса. Руками каменщик пытался хоть

как-то прикрыть лицо и голову, но и по бритой его голове, потным, дрожащим плечам и рукам, а уж тем паче по спине гуляла зловеще свистящая плеть, и темно-красные следы ее на человеческом теле были густы и страшны!

Кази-заде Руми поднялся на холм чуть позже талибов, так и остолбеневших при виде этого жестокого избиения. А наставник — в широко раскрытых глазах его, обычно скромно опущенных долу, на сей раз гнев, протест, смятение!— кинулся вперед и крикнул резко: «Повелитель! Недостойно... недостойно вас!»

Мирза Улугбек на мгновение замер с вознесенной плетью, обвел всех мутным, ничего не видящим взглядом, шагнул навстречу ученому, каким-то изломанным движением сунул ему в руку плетку, неловко повернулся и зашагал прочь. Кази-заде Руми тут же выронил плеть и брезгливо провел по халату кончиками пальцев.

Позже Али Кушчи узнал, за что так безжалостно избил старого каменщика устод. Оказывается, каменщик посмел пожаловаться ему на гнилую похлебку... Не под настроение пожаловался, видно... А разве не знал Али Кушчи о насилии, которое чинилось воинами повелителя, что сгоняли сотни и тысячи дехкан на городские стройки, насилии, тем более известном Улугбеку? А тот знал и воспринимал как должное! А разнузданные порою пиршества султана — они ль говорили о благонравии и добросердечии повелителя?.. Нет, не перед султаном Улугбеком преклонялся Али Кушчи, не перед султаном...

Думы эти не мешали мавляне внимательно следить за дорогой.

Вот то место, где надо свернуть налево, к горам,— тут они свернули в далекий дождливый день охоты на архаров. Рассвет теперь близок: верхушки гор посветлели, сильнее засверкала, как обычно в предутренние часы, луна, будто ее протерли, начистили песком, а особенно ярка Венера, стоящая над лунным кругом.

Все круче и круче становились холмы, все медленнее шли верблюды, все тяжелее звучали сзади их вздохи: бух-бух, бух-бух. А перед самым подъемом к Драконовой пещере они вообще остановятся и придется перевьючивать сундуки на ослов и раз за разом гонять их вверх по крутизне.

Вот здесь они стояли с устодом, когда хлынул дождь. А вот и арчовые заросли, откуда выскочили тогда архары. Ни в чем не изменилась рощица — зеленая, такая же нарядная, будто прошло не пятнадцать лет, а пятнадцать дней... Вот где бушевал сель, остановив коня эмира Арслана. Ручей изменился. Тогда полноводный, а в селевой дождь сразу превратившийся в глубокую, безумную реку, он теперь почти обмелел.

Али Кушчи предположил верно. Перед крутым подъемом верблюды стали «бухать» уже надрывно, подниматься не могли.

Али Кушчи слез с осла. Размял ноги. Прошел несколько шагов вперед. Огляделся. Кругом тихо и пустынно. Нигде ни человека, ни животных. Только из арчовника доносятся птичьи перебранки. Воздух чист, напоен запахами арчи, барбариса, персидской рябины и еще каких-го горных растений, не известных Али Кушчи.

Мавляна оглянулся на Мирама.

— Слезай и ты, сынок. Приехали к пещере. Пусть лягут верблюды.

Глаза юноши при слове «пещера» вспыхнули, словно у нищего при слове «золото».

Верблюды легли на отдых, их привязали длинными прочными веревками к деревьям и кустам.

Али Кушчи, захватив заранее приготовленные фитили, полез наверх, к гранитным скалам, пробираясь через заросли кизила и барбариса.

Мирам Чалаби, все еще беспокойно озираясь вокруг, полез за ним.

Вот они, наконец-то, те громадные глыбы, каждая с купол соборной мечети, которые тогда, во время ливня, казалось, чуть что — и низринутся, упадут на вас, раздавят. Короток век человеческий, необозримо длинен век камня. Что этим громадам пятнадцать-шестнадцать лет? Миг... Ну-ка, обойдем их, как тогда. Осторожнее, не свалиться бы в бездну, подобно горячему арабскому скакуну султана. Несколько шагов вдоль края, теперь карабкаемся вверх, вон там стоял тогда устод.

Знакомый скособоченный валун-гигант.

Драконова пещера!

И стоило Али Кушчи подойти ко входу, из пещеры, как тогда, пятнадцать лет назад, вылетела стая птиц, на

этот раз галок. Мирам чуть не покатился назад, к пропасти. Но Али Кушчи ловко и крепко схватил его за руку. Улыбнулся. Громко, намеренно бодро сказал:

— Не бойся, сынок, тут нет драконов, хоть пещера и Драконова.

Зажгли фитили. Али Кушчи первым вошел в пещеру. Та же картина: в углублениях буро-красной стены птичьи гнезда (их стало больше), на полу остатки вывалившихся старых гнезд, перья, скорлупа яиц. И зола от того костра! И даже два знакомых кремневых камешка нашел Али Кушчи.

Так, вот поворот налево, темный провал, зев, ведущий в следующую пещеру. Пройдет ли сундук? Слава аллаху, пройдет, если обрубить несколько песчаниковых выступов по бокам проема.

И вторая пещера, та, чьи стены напоминали китайский белый фарфор, осталась без изменений. Огромная, пол ровный, вода ниоткуда вроде бы не капает. Да, сундуки надо сложить здесь, а ход закрыть камнем.

Али Кушчи вздохнул с облегчением. Будто бездонный овраг перескочил.

Вышли из подземелья, осмотрелись. Долина была залита солнцем, не по-осеннему ярким. Багряная листва барбариса полыхала огнем, темная зелень арчи переливалась, будто умытая. Меж валунов внизу верблюды казались тоже темными камнями. А величественные горы, на которые смотрел, раскрыв глаза от изумления, Мирам? Как прекрасны они в ярко-желтых, красных, багровых пятнах рощ по склонам! Как великолепен, как непередаваемо красив мир!

Али Кушчи положил руку на плечо юноши. Мавляна тоже волновался, но по другой причине.

— Сын мой! Об этой диковинной пещере во всем Мавераннахре знают лишь три человека: Мирзо Улугбек, я и с недавнего часа ты. Редчайшие сокровища, собранные со всего света предводителем ученых мужей, благословенным Улугбеком, мы сокроем в этом подземелье. Если не мы, так другие люди из будущих поколений, счастливее нас, воспользуются этими сокровищами. Ну, а до прихода этих лучших времен местонахождение сей пещеры мы обязаны держать в тайне. Пусть не узнают о ней не только друзья твои, но даже отец родной. По-

клянись в том, сын мой, и да будет аллах свидетелем твоей клятвы.

Мирам Чалаби повернулся на запад, произнес клятву. Потом оба они прочитали молитву.

12

С Уста Тимуром Каландар Карнаки познакомился в начале своих дервишеских странствий.

Каландар к тому времени покинул медресе, но злословие, сплетни и дрязги дервишей были ему еще внове и ранили душу особенно остро. Однажды вечером он не пошел из-за этого в ханаку, а, выйдя из города, направился по кишлакам, расположенным вдоль течения речки Оби-рахмат. И на следующий день не повернул обратно, а все шел и шел от одного кишлака к другому.

В одном из них он увидел странного человека, сидевшего у пещеры на склоне высокого холма. Борода его пожелтела от кузнечного огня и дыма, в бесчисленных морщинах лба темнели следы сажи. Старик сидел под чинарой за починкой кумганов и медных чайников. Рядом на огне шумел черный кумган.

Каландара поразила красота и величавость старика. Понаблюдав за его работой, Каландар отвесил ему почтительный поклон и смиренно, как и подобает дервишу, попросил пиалу воды. Старик пиалу подал, но первой фразой его, когда оглядел он Каландара, была такая: «Смотри-ка, с таким саженным ростом и силищей в дервишах ходит, побирается!»

Каландар не ожидал подобного. Кое-как выпил горячего чаю, хотел было тронуться в путь. Но старик, не отрывая от него проницательных глаз, спрятанных под мохнатыми бровями, задержал вопросом:

— Из каких краев будешь, дервиш, на самаркандца-то вроде бы ты непохож?

Нехотя сказал Каландар, откуда занесло его в столицу. Неожиданно разгладились морщины старика, лицо стало приветливее.

— Из города Ясси ты, стало быть, и так вот странствуешь чужаком в наших краях? Видно, не по своей воле, а? Какие же беды и печали пали на твою голову, странник, что ты покинул родной очаг, расскажешь, может быть?

И Каландар, почему-то тронутый живым участием старика, рассказал свою историю — всю, от начала до конца.

Старик слушал, прикрыв глаза и покачивая головой, а когда Каландар умолк, нашел слова утешения для него, тем, главным образом, что сам рассказал, как еще в молодости присоединился к каравану, шедшему в Ясси, как побывал в этом городе, помолился у гробницы святого Ахмада Ясави. Каландар умилился, вспомнил и повторил вслух старинное изречение, что украсило надгробье святого хаджи, и старик тоже умилился и зазвал дервиша к себе в пещеру. В тот день старик так и не отпустил его от себя.

С того и пошло, Каландар стал частенько приходить к Уста Тимуру Самарканди. И каждый приход к старику мастеру приносил радость обоим. А когда понадобилось помочь мавляне Али Кушчи, Каландар, не колеблясь, привел его прямо к кузнецу. Правильно сделал, ибо узнал отзывчивое сердце восьмидесятилетнего мастера, его склонность делать людям добро. Уста Тимур сразу все понял и сразу же взялся помочь.

Не зная усталости, трудились Уста Тимур и двое его подмастерьев — два брата, ни на минуту не умолкавшие весельчаки Калканбек и Басканбек. Вечерами и Каландар приходил в пещеру-кузню, играючи орудовал пудовым молотом; Уста Тимур собственноручно изготовлял обручи, он же, когда сундуки были выкованы, отправился в кишлаки, что за Зеравшаном, и привел оттуда четырех верблюдов...

Немало удивился Каландар, когда, проводив Али Кушчи и Мирама Чалаби и возвращаясь от сухого ручья в город, встретил неподалеку от ворот обсерватории... Уста Тимура. Тот делал вид, будто понукает осла, а сам незаметно для возможных прохожих сдерживал его, явно тянул время, поджидая Каландара.

— Что случилось, отец? Почему вы здесь, а не у себя дома? — тихо спросил дервиш мастера, поравнявшись с ним.

— Будь осторожен, сын мой. Гляди в оба. Здесь бродит тень. Ждет тебя, мне показалось... Потому я и решил дождаться тебя... Ну, пошел теперь, нечестивый,— пробурчал он, обращаясь к ослу.— Понял меня, Каландар? До свидания.

«Что еще за тень? Неужели выследили мавляну? Или

это за мной пошла охота?» Каландар внимательно огляделся. Вроде никого. Тихо. Решил постоять под чинарой, что росла прямо против ворот обсерватории. Там была естественная возвышенность, из которой талибы сделали что-то вроде помоста для сидения и лежания — супу́, и Каландар целую неделю проводил ночи на этой супе, наблюдая за обсерваторией, изредка посиживал на ней и днем, словно простой прохожий, часто, бывало, вместе с другими прохожими. Теперь Каландар вытащил из дупла чинары припрятанную заранее ветхую кошму, расстелил ее на супе, под голову положил хурджун.

Через некоторое время он и в самом деле увидел около ворот обсерватории чью-то тень.

— Эй, кто тут шляется по ночам? — крикнул Каландар, постаравшись изменить голос.

Тень рванулась вперед, потом кинулась на другую сторону дороги, ближе к деревьям, и, перебегая от одного дерева к другому, помчалась в сторону «Баги майдана».

«Шакал! — догадался Каландар, подметив, что тень прихрамывает.— Сейчас догоню, прикончу на месте!»

— Эй, презренный, подожди! Стой!

Каландар выскочил из-под чинары, но куда там! Тень уже исчезла в саду, за дувалом.

Подумать было над чем, если этой тенью в самом деле был Шакал, а не какой-нибудь случайный прохожий. Ясно, что за обсерваторией установлена слежка. Да и за ним, Каландаром, наверное, тоже — не приведи аллах, если какой-нибудь доносчик высмотрел, что он, Каландар, провожал караван Али Кушчи.

Холодный страх ядовитой змеей вполз в сердце Каландара. На виду, рядом с другими людьми, он ничего не боялся и даже внушал бесстрашие другим, а вот когда остаешься наедине с самим собой... Каландар рассердился на себя за такие мысли.

Снова забрался на дырявую кошму под чинару.

Весь следующий день не сходил он с кошмы. Подобрав под себя ноги, сидел, покачиваясь, творил молитву за молитвой, не отрывая, однако, полуприкрытых глаз от ворот обсерватории. Его все не оставляло ощущение, что следят за ним, что где-то поблизости схоронилась черная тень и не выпускает его из-под присмотра.

За этими каменными молчаливыми стенами, за величественным порталом, украшенным изящной резьбой и мудрыми изречениями, затейливая вязь которых искри-

лась на солнце причудливым свечением,— особая жизнь. Там, под бирюзовым куполом, на дворе, где под башнями расположились постройки, назначение которых непонятно простым, неученым смертным, люди и живут, и, кажется, дышат не так, как все,— по-особому. Он был приобщен одно время к этой странной, а на взгляд многих, и нечестивой жизни. Слушал мудрые речи Али Кушчи и мавляны Мухиддина, иногда же, если посчастливится, самого повелителя-устода. Тогда в обсерваторию стекались все мударрисы Самарканда, философы, люди науки; бывали послы. Собравшиеся не могли разместиться даже в огромном книгохранилище на втором ярусе. Каландар вспомнил Улугбека в такие минуты: необычайно ярко блестели глаза, на скуласто-худом лице горели щеки, прерывающимся от восторга голосом повелитель сообщал что-то о сложных перемещениях небесных тел, об их путях... как они называются? да, орбиты!.. вычисляемых с помощью математики, называл звезды по именам — оказывается, у каждой звезды есть свое имя! Не все, что говорил Улугбек, и не всем, кто его слушал, было понятно, но редкий оставался равнодушным к волшебству его рассказов. А после речи повелителя быстрые и умелые бакаулы изготовляли плов и приглашали отведать его людей науки, послов и даже талибов.

Каландар ладонью прикрыл глаза. Зачем, зачем променял он ту жизнь на душные кельи, на общество пьяниц, завистников, соглядатаев? Белая чалма мударриса казалась теперь олицетворением не одной только мудрости, но и нравственной чистоты, хотя когда-то он смотрел на вещи иначе, когда-то его коробило то равнодушие к жизни простых людей, та отрешенность от болей и печалей обычных смертных, что были свойственны многим и многим носителям знания. Но ведь и грязный дервишеский колпак не делает человека сострадающим ближнему своему!

И потом эта всечасная угодливость дервишей, их раболепство перед теми, кто знатен и богат (чего нет у людей науки!)... А знатные и богатые к нему, дервишу, относятся так, как к другим дервишам, — как к собаке, вечно ожидающей, что хозяин бросит ей кость.

Был случай, когда опять судьба свела его с Хуршидой-бану... На мгновение, увы...

Был случай...

Голодный и усталый, остановился он однажды перед роскошными воротами неподалеку от «Мазари шериф». Забубнил, как обычно: «О аллах, о всемогущий...» Сторож вынес ему из дому похлебку, приправленную кислым молоком, и маленькую кукурузную лепешку. Уселся Каландар около ворот, съел похлебку, поднял было руки для свершения благодарственной молитвы, но тут из-за угла показался всадник, богато одетый, статный, а чуть позже под звон колокольчиков выехала кабульская арба. Каркас ее был покрыт красной парчой. Плотный полог полностью скрывал тех, кто сидел внутри.

Всадник выпрыгнул из седла, отдал сторожу поводья аргамака.

— Эй, дервиш! Ты насытился тем, что получил от добрых хозяев этого дома? Тогда иди-ка своей дорогой, дервиш!

Слова, сказанные таким тоном, не могли не задеть Каландара, но дервиш есть дервиш, смирять свои желания — закон его жизни, и потому Каландар стерпел. Закончил молитву. Потом поднялся. Прошел мимо арбы. И вдруг из-за полога услышал голос, который он помнил бы, проживи даже сотню лет!

— Господин мой,— сказала Хуршида-бану, и Каландару послышались слезы в этом ее обращении к мужу.— Господин мой, я видела сегодня дурной сон и утром дала себе обещание... пожертвовать семь таньга святому Ходже Бахауддину... Прошу вас, дайте от меня эти семь таньга вот тому дервишу,— и красивая, снежно-белая, в браслетах рука приподняла край полога, а нежные пальцы схватили бахрому и дернули ее, будто хотели оторвать. Каландар увидел, как задрожали эти пальцы, как, отпустив бахрому, стали словно искать что-то, звать кого-то, увидел, хотя все это длилось чуть больше мгновения.

Всадник кивнул арбакешу: давай, мол, трогай, раскрытые ворота перед тобой. Потом, нахмуренный и надменный, покопался в кармане, вытащил горсть монет и бросил их, не считая, на мощеную дорогу к ногам Каландара. А тот стоял, оцепенев, все еще растерянно глядя на опустившийся полог кабульской арбы. Звон монет смешался с шумом арбы, въезжавшей в ворота. Они тотчас захлопнулись, и Хуршида-бану, арба, занавес с бахромой, конь вельможи и сам вельможа — все исчезло за массивными воротами.

Что значило все это? Хотела ли она напомнить о себе или просто пожалела дервиша, независимо от того, узнала или не узнала человека в рубище и кулохе? Эти деньги — искренняя помощь, знак особого расположения или... или подачка, средство выказать свое презрение к нему, свое богатство и довольство? Нет, нет, голос Хуршиды был полон печали, а ворота богатого особняка захлопнулись зловеще. Так захлопывается клетка... Или вход в склеп.

В тот день Каландар то и дело возвращался к этим воротам и только вечером, сам не ведая как, очутился на кладбище Шахи-Зинда, но и здесь в его памяти все стояли арба с пологом, рука женщины, дрожь пальцев, стиснувших бахрому, звучал нервный голос. И вспоминались строки:

Как взор зовет глаза твои — того не знаешь ты.
Как ночью я томлюсь: «Приди!» — того не знаешь ты.
Ищу свиданья я сама, гублю себя сама.
Как сохнет сердце без любви — того не знаешь ты.

Вскоре после этой нечаянной встречи Хуршида-бану попала в гарем Абдул-Азиза, а муж ее нашел свой конец на плахе...

Каландар обошел обсерваторию, вернулся к чинаре. Воспоминания терзали его, и даже топот копыт не сразу прогнал их. Четыре нукера неожиданно осадили коней у ворот; лошади загарцевали на месте после лихой скачки.

Каландар пришел в себя.

Кто это прибыл? Ба — эмир Джандар! Чернобровый красавец, покоритель женских сердец, храбрец военачальник, близкий к Мирзе Улугбеку! А что ему нужно тут, в обсерватории, эмиру, про которого говорили как про опору Улугбекову?

Один из всадников спешился, подошел к воротам, застучал в них рукояткой плетки.

— Эй, сторож, эй, Али Кушчи! Где вы там? Отворяйте!

Видно, сторож, не открывая, ответил, что Али Кушчи нет. Тогда уже все хором закричали, чтобы он отворил. Эмир Султан Джандар с нукером вошел внутрь. Двое других остались у ворот. Вскоре эмир и нукер снова появились у ворот, все четверо вскочили в седла и помча-

лись той же дорогой, что привела их сюда. За подкреплением, что ли?

Вот вам верность, вот вам честность! Выходит, и эмир Джандар, «опора Улугбека», переметнулся к врагам Улугбека! Если б не так было, поостерегался бы он появляться в Самарканде, захваченном Абдул-Латифом... И, видишь, ищет уже Али Кушчи. Правда, сейчас ночь, вернее, самое начало рассвета. Но уж слишком открыто, не заботясь ни о какой осторожности, держали себя всадники, слишком громко кричали. Так ведут себя не те, кто скрывается, а те, кто ищут скрывающихся...

А вон та тень, опять тень, она ищет или скрывается?

Каландар осторожно слез с супы на землю, зашел за ствол чинары; тень двигалась по противоположной стороне улицы. Потом тень пересекла улицу, а Каландар, тоже держась темной стороны, последовал за ней, перерезая таинственному низкорослому человеку путь к отступлению. Не замечая Каландара, человек огляделся вокруг, осторожно приподнял медное кольцо на калитке, тихо, но внятно стукнул им.

— Опять стук,— услышал Каландар голос хрипатого сторожа,— опять стучат... Полуночники, не спится им... Кого носит по ночам?!

— Это я, посланец...

— Какой еще посланец? Сюда не велено никого пускать!

— Меня послал Мирза Улугбек,— человек явно боялся сказать хоть слово погромче.— Мне нужен мавляна Али Кушчи.

— Нет его, говорю же, нету! Куда девался, не знаю!

Человек постоял немного перед воротами, потом медленно двинулся обратно.

Каландар вышел из темноты.

— Стой,— властным шепотом остановил он незнакомца.— Какое дело у тебя к Али Кушчи? Ну, говори... если жизнь дорога. Я ему... передам.

Низкорослый человек от страха онемел. Он только все чертил перед собой маленькими ручками какие-то круги, будто отталкивал от себя что-то.

— Не бойся! Я шагирд Али Кушчи, понял?.. Ну, какое дело у тебя к нему?

— Ма... мавляну Али Кушчи желает видеть повелитель...

— Какой? Султан Улугбек?!

Человечек кивнул.

— Где же он сам?

— В саду «Баги майдан», — промямлил человечек.

И, как всегда, Каландар сразу отбросил свои колебания.

— Поведешь меня к нему! Прямо сейчас, понял?

13

Нет ничего хуже неопределенности.

Как ни тяжела бывает беда, выпадающая на долю человека, он может терпением и выдержкой побороть ее. А неопределенность гложет человека, лишает сил, отнимает саму способность бороться или даже терпеть.

Улугбеку было очень тяжело услышать о своем изгнании из Мавераннахра; покинуть родину казалось немыслимым, невозможным делом, но прошло время, и Улугбек свыкся с этой мыслью, потому что она была определенным исходом, а свыкшись, стал готовиться к предстоящему путешествию.

Его никуда не переводили из той самой комнаты, неуютной и холодной, в которой он находился. И с этой угловой комнатой, так мало соответствующей его званию и его гордости, Улугбек стал свыкаться, ибо и тут ничего другого уже не ждал, и тут все было определенно. На следующий день после разговора с Абдул-Латифом к Улугбеку явился новый сарайбон-дворецкий, темнокожий уроженец Балха с серьгами в мочках ушей. Дворецкий попросил Мирзу Улугбека начать готовиться к тому, чтобы покинуть пределы Мавераннахра, и обещал ни в чем не отказать из того, что необходимо для такой цели.

Улугбек не просил ничего лишнего. Теплая одежда, пищи дня на три-четыре, хорошая верховая лошадь — вот и все. Золото? Его не было у Улугбека, просить же золота у шах-заде он не захотел. Да и зачем ему золото, простому паломнику, слуге аллаха? Откажут разве ему в куске хлеба и глотке воды, если он собрался в Мекку, к святым местам? Он был готов к смерти и даже думал о ней, о голодной смерти в начале пути, как об избавлении от бед, утолении давней-предавней жажды. Что на роду написано, тому и свершиться! Не перечить больше судьбе, а покориться ей — так стал думать теперь Улугбек о смысле жизни человеческой.

Всю ночь, прощальную, последнюю ночь перед отправлением в путь Улугбек не сомкнул глаз. Как ни успокаивал он себя мыслью о смирении перед судьбой, голова лихорадочно работала, строила планы. Ну, доберется он до Мекки, выполнит долг, будет иметь право называться хаджи, а потом? А потом он отправится в Дамаск или Каир. Он непременно будет жить в каком-нибудь медресе, пусть простым подметальщиком на дворе, пусть так... Да и не будет он подметальщиком, имя его известно людям науки и в Дамаске, и в Египте, и в городе мудрости, как называют Багдад. Они не дадут ему пропасть, не дадут.

Мучило Улугбека только одно: то, что он покидает и, очевидно, навсегда, родной Мавераннахр, любимый, трижды любимый Самарканд, реку Зеравшан, на чьих берегах прошло детство. Странник — пусть странник, но странник-чужеземец — вот что терзало его, вот что болело неотвязчиво, как, бывает, болит рана, когда до нее дотрагиваются чем-нибудь острым.

После обеда сарайбон привел к нему человека лет пятидесяти, худощавого, на вид кроткого и спокойного. Улугбек сразу узнал его: Мухаммад Хисрав, паломник-хаджи, обитавший в Шахи-Зинда. Мухаммад понравился Улугбеку — улыбкой мягкой, не сходившей с лица, манерой держаться, не подобострастной, однако, подчеркнуто уважительной, даже тем понравился, что борода у Мухаммада была, как бы это повежливее сказать... не густая, так, две-три волосинки. Выяснилось, что Хисрав дан ему в спутники. Выяснилось в разговоре и другое: уже сегодня после вечерней молитвы Улугбеку и Мухаммаду Хисраву надлежало покинуть Кок-сарай. Переночевав в «Баги майдане», они должны ранним утром отправиться в путешествие, о котором «осведомлен, конечно, высокочтимый Мирза», как добавил к сказанному дворецким Мухаммад.

«Не хочет, чтобы меня увидел народ»,— подумал Улугбек о сыне, но обида как-то вяло шевельнулась в душе, потому что иного, хорошего душа уже не ждала, а ждала она лишь определенности решений. Теперь решение было принято, ясное, недвусмысленное, надо было готовиться к выполнению его.

Улугбек оглядел одежду своего спутника: темный изношенный чекмень, скромная чалма, на ногах разбитые краснокожие ичиги.

— Не слишком ли легко вы оделись в столь дальнюю дорогу, хаджи?

Мухаммад Хисрав все с той же постоянной улыбкой ответил:

— Одежда султана не приличествует простому смертному, да и неудобна она в паломничестве, разве не так? Не ошибается ли ваш покорный слуга?

Улугбеку и этот ответ понравился, хотя ясно было, что спутник его в теплой одежде весьма нуждался, отправлялись-то они осенью, а не весной. О том Улугбек и сказал, когда явился к ним дворецкий. Мухаммаду Хисраву новая одежда была обещана.

Глубоким молчанием и непроглядной темнотой (бирюзовые купола стали совсем черными на фоне позднее-вечернего неба) проводил Кок-сарай своего бывшего властелина, которому было в нем не всегда радостно, почти всегда неуютно, но который прожил во дворце этом ни много ни мало — всю жизнь свою. Что оставляет он здесь, с чем жаль расстаться ему? Остановившись на минуту, Улугбек обвел взглядом дворцовую громаду, башни, уходившие ввысь, к звездам. Вон опять горит огонек в крайнем окошке гарема. Тихо звенит фонтан. Перемигиваются вокруг водоема каменные светильники, их слабое мерцание лишь подчеркивает темноту дворца.

Словно далекая звездочка, поблескивало окошко невольницы с печально-ласковыми глазами. Да полно, почему это он решил, что за этим окошком именно она, то солнышко, которое нежило и умиротворяло осень его сердца? Но хотелось думать, что это она не спит. Может быть, читает... А если с ней-то как раз сейчас Абдул-Латиф?!

Мгновенно помутнело перед глазами. Улугбек вынужден был зажмуриться от внезапной боли в груди, прислониться к стене. Право победителя — жестокое право... Смешно, о чем это он думает в такую минуту? Ревность? С этим чувством отправляется он в путешествие к святым местам?

Сарайбон вежливо покашлял. Улугбек пошел к воротам.

Их ждали четверо всадников-нукеров с двумя запасными лошадьми, собранными в дорогу. Улугбек хотел перед тем, как оставить Самарканд, пройти по любимым улицам и площадям великого города, посетить Гур-Эмир,

дабы отдать долг почитания памяти деда и отца, но всадники стали впереди и сзади паломников, и получилось так, что не паломники, а всадники определили маршрут: сразу вниз, к Регистану и далее к выходу из города.

«Отец! Ты простишь меня, ибо я в руках твоего безжалостного внука»,— мысленно промолвил Улугбек. Он прочитал короткую молитву, прощальным взглядом обвел траурно-синеватый купол усыпальницы, потом сел в седло.

Они ехали шагом вдоль тихих улиц, вымощенных гладким камнем, сопровождаемые цоканьем подков. Дворы, окруженные глиняными стенами, и торговые лавки, мимо которых они проезжали, были немы. И это в осенне-праздничные дни, когда обычно город не спал до глубокой ночи, когда шум, и пение, и клики радующихся урожаю людей не смолкали чуть ли не до зари. Иные времена, трудные, тяжелые, беззвучные! Кладбище какое-то, а не город, не Самарканд, умеющий работать, но и веселиться тоже... Кстати, вот и звуки, нарушающие тишину,— увы, это всего лишь дервиши, столь любящие кладбища. Напротив медресе Улугбека — ханака, страннноприимный дом, где они обосновались и откуда сейчас слышно их «ху-ху».

Улугбек придержал коня. Дадут ли ему возможность зайти хоть на минуту в свое медресе, попрощаться с ним, положить руку на плечо хотя бы одного талиба?!

— Не велено останавливаться! Стегните коня... повелитель.

Да, вот когда понял Улугбек, чем он стал теперь. Бедный, не по своей воле поступающий изгнанник, лишенный не просто власти, но и милости закона, человеческого и божеского. Бесцеремонный окрик — вот что теперь только и будешь ты слышать. И поступать, как велят тебе. И только в терпении находить утешение. Вот когда стало ясно, что и этот Регистан с медресе, и талибы, и шагирды, и сама возможность прийти сюда для высоких бесед и умственно-бескорыстных раздумий, что все это прошло для тебя и никогда больше не вернется к тебе. «За что, всевышний, за что ты отнял у меня эти бескорыстные радости, за что так жестоко покарал раба своего?»

Не задержались они и у соборной мечети, где следовало бы сотворить молитву путешествующих. Остались позади и усыпальницы Шахи-Зинда... Они выехали на

широкую каменную дорогу, что ведет к «Баги майдана». Отсюда можно завернуть к обсерватории, не доезжая до «Баги майдана». Но всадники еще до поворота пошли другим путем, пересекли Сиаб и стали подниматься на возвышенность. Что? И к обсерватории его не пустят, попрощаться? Ну, нет, он будет там — не до «Баги майдана», так после, он не уедет из Мавераннахра, не посетив своего детища!

У ворот «Баги майдана» четверка сопровождавших Улугбека нукеров передала его и Мухаммада другой вооруженной четверке. Те приняли от паломников коней, пригласили идти во дворец Чил устун — Сорок колонн, что стоял посреди знаменитого сада; сам дворец был тоже знаменит, помимо прочего, китайскими изразцами по всем своим четырем стенам. Со второго этажа дворца — Улугбеку ли этого не знать? — прямо как на ладони видна обсерватория, а если пересечь сад и выйти не через парадные ворота, а через специальную калитку в стене, то до обсерватории можно было дойти очень быстро.

Горбатый старик — махарам, смотритель дворца, служивший еще Тимуру, встретил Улугбека подобающими поклонами. Сколько раз прислуживал он ему, и какое дело глухонемому старику с бородой до пояса, что там происходит у повелителей и детей их,— повелители остаются повелителями. Но бывший повелитель Улугбек жестом показал, что ему нужен всего лишь кумган воды — и ничего больше; бывший повелитель Улугбек даже не вошел в покои дворца, а, взяв кумган воды, испрошенный у старика, удалился в сад, в самое глухое место сада, не приказав никому следовать за собой.

Наполовину облетевший осенний сад шумел размеренно тихо. Желтые листья светились на земле. Улугбек не стал терять времени, а, стараясь не шуршать листвой под ногами, быстро направился знакомой тропой к калитке, что выводила к обсерватории.

Но кто там идет за ним?! Старик? Улугбек резко обернулся: тихий, будто бесплотный ангел, тщедушный и улыбчивый, за ним крался Мухаммад Хисрав!

— Хаджи! Вы мой спутник в паломничестве или соглядатай?

— О, простите, простите, я ваш слуга... Аллах свидетель, я даже не мыслил следить за вами... Но вы идете к обсерватории, а горбун забеспокоился. Он ищет вас... он может поднять на ноги воинов...

Улугбек заколебался на мгновение, но потом твердо сказал, что не покинет Самарканда, не побывав в обсерватории и не узнав об Али Кушчи, с ним ему надо поговорить непременно.

— Тогда позвольте мне сходить за Али Кушчи. Я постараюсь привести его сюда. Иначе... поднимется тревога и вас станут искать.

— Почему же только меня?

— Их интересует, где вы и что с вами. До меня кому какое дело из них?

Улугбек решил довериться этому тихому и, кажется, верному человеку. Показал Мухаммаду, как пройти из сада к обсерватории, а сам вернулся назад. И вовремя, потому что и впрямь обеспокоенный старик горбун уже хотел звать воинов. Завидев Улугбека, он жестами и знаками стал выражать бурную радость и приглашать войти во дворец. Там на втором этаже он подготовил комнату-веранду, зажег свечи, расстелил одеяла, поставил столик с угощениями из мяса и фруктов.

С пиалой остывшего чая в руке Улугбек долго простоял на террасе, смотрел на небо, на сад. Серп луны висел над далекими горами Ургута, холодный, будто кусочек льда. В лунном свете осенний сад казался еще сиротливее. Не менялись только звезды — прекрасные, зовущие к себе. На самом верху неба опрокинулся ковш Большой Медведицы, ниже рассыпался Млечный Путь, а над льдышкой-месяцем, словно горячий уголек, Хулькар. Привычно подумалось о том, что вот уже сорок лет разгадывает он тайны звезд, думая, что и человеческие тайны тем самым разгадывает, но нет... их-то не разгадал и теперь сирым изгнанником продолжает дорогу жизни, помыкаемый, мучимый... Но ведь такова участь не его одного, бывшего властителя. Сколько простых, бедных людей живут жизнью вечно помыкаемых, их мучат владыки, они терпят, они терпели, может быть, и от него, Мирзы Улугбека, терпели так, как терпит он теперь от своего гонителя-сына. И, быть может, тогда обращались к всевышнему, прося защитить их, прося отомстить за слезы, пролитые по его, Мирзы Улугбека, вине.

Или совесть и справедливость в самом деле, как говорили поэты, не может ужиться с обладанием властью? Властвовать над теми, кто подобен тебе, подчинять их своему произволу — это гадко, бесчеловечно, это от помрачения разума. И это наказуемо, да, да, наказуемо

хотя бы уже тем, что все мы бренны и обладание властью для тебя временное состояние, к которому нельзя привыкать, если у тебя не спит совесть. Неужели, только став сирым и гонимым, человек может понять сирых и гонимых, сострадать им?

Усилием воли Улугбек попытался отогнать эти не радующие душу думы.

Он все вглядывался и вглядывался в серовато-призрачную темноту переплетавшихся ветвей, стараясь увидеть сквозь них контуры здания обсерватории. Вспомнилось давнее-давнее: вместе с наставником своим Казизаде Руми он ходит по дорожкам этого сада, беседует о задуманном строительстве, обсуждает каждую деталь будущего величественного здания, а то присаживается на корточки, чтобы начертить что-то для наглядности вот тут, прямо на красном песке садовой дорожки.

Потеплело на душе от таких воспоминаний.

Вдруг стала перед ним и другая картина: молодой, сильный и, как все Тимуровы потомки, горячий и своевластный, он, султан Мавераннахра, он, ученый человек, избивает плетью старого строителя — несправедливо, злобно, безжалостно наказывает... а наказывать-то надо было не того, кто сказал ему правду о мытарствах простых строителей, а тех, кто кормил их гнилой пищей, наверное, не без корысти для своего кармана... Сколько таких, как тот старик, было согнано сюда, к холму, какие лишения пришлось претерпеть им?!

Стыд за теперь уже неисправимые несправедливости, им свершенные, добавился к мучительному ощущению того, что жизненный путь кончается, и волна раскаяния смыла с души Улугбека жалость к себе.

От невеселых мыслей оторвал Улугбека Мухаммад Хисрав. Он привел Каландара. Они прокрались по саду незаметно для воинов, большинство которых спали. Спал где-то в покоях дворца и горбун махарам.

— Ассалам алейкум, повелитель-устод!

«Устод! Он называет меня устодом? Кто же он сам, этот дервиш?» Улугбек, стоя в дверях комнаты, вгляделся в пришельца, память сработала мгновенно.

— Каландар Карнаки?

— О, вы узнали меня, учитель! Узнали даже в этом рубище...

Все еще не приглашая гостя в комнату, Улугбек спрашивал:

— Ты покинул медресе, стал дервишем, да? Но тогда как ты попал в обсерваторию, что там делал?

Каландар усмехнулся.

— Соглядатайствовал, устод!

— Не шути, не говори загадками, дервиш!

— Нет, учитель, это не шутка,— Каландар поправил свой кулох.— Шейх Низамиддин Хомуш сделал меня соглядатаем. Дабы не выкрали без его ведома из обсерватории вероотступника Улугбека «еретические» книги, написанные такими же вероотступниками, каков он сам... Да еще приказано мне было узнать, где золото эмира Тимура и кто это отдал его мавляне Али Кушчи на богопротивное дело...

— Еще раз говорю, не шути со мной, дервиш!.. Коли таков был приказ и ты принял его к исполнению, зачем пришел к бывшему султану? В чем твоя цель?

Каландар помолчал, потом ответил серьезно и скорбно:

— Моя цель... в меру сил своих приносить добро людям науки.

Улугбек не уловил тона, в котором были произнесены эти слова.

— Продолжаешь смеяться, да?.. Человек оставил храм науки, стал своим среди невежд и гонителей науки, а теперь пожелал приносить добро людям науки? С чего бы это, дервиш, и как я могу поверить в такие превращения?

...Они долго говорили в ту ночь. Не сразу открылась перед Улугбеком душа Каландара, но, когда султан поверил в искренность дервиша, в чистосердечное признание им своей ошибки, когда узнал, какую помощь оказал Каландар Али Кушчи, Улугбек возблагодарил аллаха. «Вот она, чистая душа под грязным покровом одежды нищего,— подумал Улугбек.— Вот оно, служение истине и добру. А стало быть, и науке. Ибо что есть истина, спросили однажды мудреца Абубакира Тахира Абхари, и он ответил: «Наука». «А что такое наука?» — снова спросили его. И он ответил: «Истина»... А я бы добавил еще: «И добро...»

Припомнилось Улугбеку в беседе с Каландаром и то, что советовал сделать прямодушный и верный Бобо Хусейн,— поднять городское население, ремесленников, простой люд. Он тогда не послушал совета, не поднял «чернь», а в ней-то, может быть, и было его спасение,

в ней чистота и добрая сила... Но что случилось, то уже случилось. Надо думать о завтрашнем, а не о вчерашнем.

Из рассказа Каландара Улугбек понял, что место, куда Али Кушчи тайно отвез шестнадцать сундуков с книгами, никому не известно, кроме самого Али Кушчи. Но он-то, Улугбек, должен знать его!

— Я встречусь с мавляной, — сказал Каландар, — передам ему ваше желание, и мы догоним вас в дороге, учитель.

— Нет, Каландар. Али Кушчи должен скрыться. Его будут искать, преследовать.

— Тогда я сообщу вам. Я найду способ...

«О всевышний, о жизнь! Вот как круто поворачиваешь ты передо мной ход событий! В трудный час, покинутый и одинокий, пришел ко мне когда-то этот простодушный джигит, теперь сердце его откликнулось на тревогу моего сердца, его боль слилась с моей... Благодарю, благодарю!»

— Благодарю тебя, Каландар... И прости меня. Прости мою вину перед тобой... Увы, я не спас твой родной город от Барак-хана... Не уберег твою любимую,— на миг в памяти Улугбека предстала Хуршида-бану, невольница гарема, ее распущенные, длинные, до полу, волосы, печально-трогательная, беззащитная красота.— Много тягот пришлось тебе испытать, я добавляю тебе новые. Не знаю, смогу ли отблагодарить тебя за них я сам,— Улугбек положил руки на плечи Каландара,— но да наградит тебя всевышний за чистое сердце, за верность... сын мой...

14

Али Кушчи вернулся в Самарканд около полудня. Понукаемый пятками мавляны, осел весело бежал вперед, а его собрат, на котором восседал Мирам Чалаби — он теперь вел верблюдов,— несколько поотстал.

Каландар встретил учителя и ученика там же, где третьего дня проводил их,— у подножия горы Кухак.

Дервиш все эти часы после прощания с Улугбеком ходил взволнованный. Слезы султана, его руки на плечах Каландара — все это потрясло бывшего сурового воина и тоже бывшего теперь, если не по одежде, то по образу мыслей, дервиша. Каландар дал себе клятву во

что бы то ни стало исполнить последнее желание повелителя-устода.

Вернувшись из «Баги майдана» к обсерватории, на свое наблюдательное место, Каландар довольно долго выжидал, не появится ли поблизости какая-нибудь сомнительная личность. Удостоверился, что кругом все тихо и спокойно, взял хурджун и осторожно спустился вниз, прошел оврагом вдоль высохшего ручья до места встречи с Али Кушчи.

Шел он ночью, во вторую ее половину, и все же нежданно наткнулся — уже рядом с условленным местом — на двух табунщиков. Молодой и пожилой, они сидели, беседуя о чем-то, у костра, подкидывая в пламя сухие ветки. Дервиша с хурджуном на плече они встретили уважительно, напоили кумысом, угостили холодным мясом. Но Каландар словно и не ощутил вкуса питья и еды; он беспокойно вставал, уходил, возвращался (будто взглянуть на лошадей, пущенных табунщиками пастись неподалеку). К утру поднялся на Кухак, благо гора была невысока, и увидел сквозь клочковатую пелену сизого тумана небольшой караван; тогда он признался табунщикам, удивленным его непоседливостью, что пришел сюда на встречу, и попросил коня. Пожилой табунщик разрешил взять иноходца.

Каландара, взволнованного и несколько запыхавшегося, встретили Али Кушчи и Мирам Чалаби.

— Что случилось, Каландар? — встревожился мавляна.

— Хвала аллаху! Все спокойно, устод.

Торопливо и сбивчиво рассказал Каландар о вчерашнем свидании с Улугбеком, о желании повелителя узнать, где спрятаны книги. Али Кушчи, не дослушав его, спросил:

— По какой дороге поехал повелитель?

— По дороге к Кешу...

— Дай мне своего коня,— приказал вдруг мавляна.

— Но... это не мой конь... и потом Мирза Улугбек ведь сказал, что вам надо спрятаться... Да и сам я видел, что вас искал эмир Султан Джандар...

— Дай коня, говорю, или я пойду пешком!

— Но, устод...

— Ты сказал: устод. Пойми, что и я хочу видеть своего устода, не мешай мне, сын мой. Я не прощу себе, если не попрощаюсь с ним... Дай мне коня, Каландар!

Каландар недолго раздумывал, жажда немедленного действия снова захлестнула его.

— Тогда мы едем вместе. Я не могу оставить вас! Повелитель поручил мне оберегать вас, мавляна.

Каландар оставил табунщикам верблюдов как залог до возвращения двух коней. Взял у молодого табунщика чекмень и шапку, они пришлись впору. И, не теряя ни минуты, отправив к обсерватории одного Мирама, бывший дервиш и ученый пустились в путь.

Солнце поднялось уже на высоту тополя, оно, словно по распоряжению смилостивившейся над бедными людьми природы, грело не по-осеннему сильно. В небе распелись жаворонки. Но нежные белые паутинки, реявшие в прозрачном, все-таки не прогретом воздухе, напоминали, что весна далеко, да и лето прошло.

Али Кушчи и Каландар мчались степью, в стороне от обычной дороги. Надо было обойти Самарканд, но все равно его близость давала о себе знать. Степь была обжитой: то и дело им попадались пастухи и подпаски, лениво дремлющие в тени какого-нибудь холма; в золотистых рощах пестрели цветастые платки девушек и женщин, ветер доносил их голоса, крик и гам детей. Когда всадники спускались в ложбины, громадный высокостенный город скрывался из глаз, но, стоило выехать на косогор, он опять маячил перед ними и потом сбоку от них — по мере их движения в объезд Самарканда; с более высоких холмов они могли разглядеть, если бы остановились, даже отдельные дворы в городе, похожие издали на медные блюда, а сияние куполов мечетей медресе и усыпальниц сопровождало путников долго-долго.

Как мирны картины, встречавшие их, этих несчастных, гонимых сторонников Улугбека, будто и дела нет людям до бед и преступлений, творящихся за этой внешне безмятежной пеленой жизни. А люди на самом-то деле живут совсем не мирно, ненавидят, преследуют друг друга. Вот и с Улугбеком, повелителем-устодом, обошлись несправедливо, не по совести. Да, Али Кушчи предчувствовал это еще в ту ночь, когда устод неожиданно вызвал его к себе в Кок-сарай. Но то, что ему, ученому, астроному, не дадут даже близко подойти к обсерватории, которую он создал,— такой судьбы для Улугбека, судьбы изгоя, не предвидел и Али Кушчи. ...Если такова судьба повелителя, того, перед кем па-

дали ниц, какой же будет его, Али Кушчи, собственная судьба? С ним и подавно церемониться не станут.

Почувствовав, как сердце его охватывает давний холодный страх, Али Кушчи обругал себя трусом и еще яростнее пришпорил коня. Даже на краю пропасти устод не позабыл о своем шагирде. «Велел оберегать меня, словно я особа, которой положены телохранители. Он не велел мне искать встречи с собой, но я не могу... не могу не услышать последних ваших напутственных слов, устод... Нет, нет, Али Кушчи не из низкого племени неблагодарных, не из тех, кто при виде чужого меча над своей головой трусливо бежит в кусты».

Через степь и рощи, через скошенные посевы и холмы всадники, сократив расстояние, выскочили наконец на дорогу, ведущую в Кешу. Но и здесь они пошли параллельно ей, по косогорам и полям. То навстречу им, то обгоняя их, мчались по дороге воины, и тогда осторожности ради они спрыгивали наземь и держались так, чтобы с дороги их не было заметно.

Когда солнце стало клониться к западной части горизонта, они миновали Димишк, и тут зоркий глаз Каландара заметил на дороге четырех всадников впереди; выехали из Димишка, видно, незадолго до них, ехали очень медленно, будто нехотя.

— Стойте, мавляна, воины!.. Обернутся, увидят нас, поскачут — догонят. У нас лошади притомились... Спрячемся?

И в самом деле всадники остановились, оглянулись, и двое из них пошли назад, к ним!

— Спустимся в лощину? — полувопросительно сказал Каландар. Но тут Али Кушчи воскликнул:

— Устод!

Он узнал переднего всадника по светло-серой чалме, конец которой развевался на ветру. Передний всадник вдруг резко прибавил коню прыти. И Али Кушчи, в свою очередь, пришпорил коня, помчался навстречу.

— О сын мой, дорогой мой... О аллах, благодарю тебя за эту радость — за свидание с моим сыном,— Улугбек силился говорить, как обычно, спокойно, но голос дрожал и на ресницах блестели слезы.

Али Кушчи прижался лицом к лицу устода.

— Учитель, как я рад, как я рад...

За время, прошедшее после их ночной встречи в Коксарае, Улугбек сильно сдал. Али Кушчи показалось, что

лицо учителя покрылось множеством новых морщин— глубоких, глубоких морщин,— а одежда паломника старила Улугбека еще сильнее. Только глаза были те же: бездонные, проницательные, полные боли, которая волновала сердце, и знакомой отцовской теплоты, притягивающей к устоду самые холодные души.

Сердцем уловив их состояние, Каландар взял коней под уздцы и отошел к Мухаммаду Хисраву, который вместе со спутниками остановился поодаль.

Улугбек, как бы смущаясь, вытер слезы концом чалмы, сказал:

— Ну, как с книгами?..

Али Кушчи коротко рассказал, где спрятаны книги.

— Драконова пещера? — лицо Улугбека посветлело.— Помню, помню. А кто еще знает о месте, которое скрывает наши книги? — спросил Улугбек, подчеркнув в вопросе слово «наши».

— Мой талиб Мирам Чалаби, да вот теперь надо будет раскрыть тайну перед Каландаром Карнаки.

Помолчав, устод спросил:

— А помог ли чем мавляна Мухиддин?

Али Кушчи хотел было сказать правду о неблагодарном, трусливом шагирде, но потом подумал, что не стоит ни Улугбеку приносить лишних огорчений, ни Мухиддина чернить, хоть было бы и поделом, как-никак двадцать лет вместе провели в одном медресе.

— Помогал... кое-чем...

Прикусив кончики усов, Улугбек понимающе кивнул головой.

Они расставались недолго, но трудно. Тяжко было на душе. Хотелось внушить друг другу надежду, но в чем она могла заключаться, где было искать ее?

— Сын мой Али! Я покидаю тебя, покидаю этот любимый край... Ты опора моя, я благодарю аллаха за милость, которую он явил, послав тебя мне в дни невзгод... Береги себя, скройся от ищеек и палачей... Бог весть, увижу ли я вновь нашу землю. Бог весть, что ждет меня на чужбине... Но если сбудутся мои надежды... и я... окажусь в медресе Каира или Багдада... если удастся продолжить свои научные занятия, то книги, сохраненные тобой... коли я не приду за ними и ты не придешь ко мне с ними... тогда я пришлю, может быть, человека к тебе, надежного своего человека... Жди. Да сохранит тебя всевышний, сын мой!

— А золото, устод?

— О золоте не говори... Да сохранит тебя всевышний, Али, да сохранит...

15

Словно оживленный хорошей баней, став после встречи с Али Кушчи легким, подвижным, снова уверенным в себе, скакал Улугбек по дороге, ведущей к Кешу... Коль есть такие ученики, жизнь, право, не прожита напрасно и не пропадут, не пропадут ни сорокалетний труд собирания духовных сокровищ, ни собственные творения.

Но такое состояние духа, как это с ним теперь нередко бывало, продержалось недолго. В голову снова полезли мысли о бренности всего сущего, а более всего тяжелые и, увы, правдоподобные предположения, что все вокруг себя он видит в последний раз: и эти задумчивые поля с осенним шелком паутинок над ними, и обнажившиеся сады с желтыми коврами палых листьев понизу, и эти бурые косогоры в полыни и ковыле, и горы вдали, что закрылись белесым туманом. И уже не благодарение аллаху рождалось в его душе, а мольба униженная о том, чтобы всевышний ниспослал ему терпение и мужество.

С вершины одного из холмов, по которым вилась дорога, Улугбек увидел сзади себя двух вихрем скачущих воинов; впереди есаул, судя по украшению на шлеме, он размахивал копьем и, видимо, кричал, стараясь, чтобы Улугбек его заметил и остановился; впереди же себя, на холме пониже того, на котором Улугбек придержал коня, маячила еще одна фигура всадника — воина ли, отсюда не разглядеть было, но стоял тот всадник лицом к движению паломников. «Похоже на засаду»,— подумал Улугбек, и сердце его дрогнуло от тревожного предчувствия, а потом заныло так же сильно, как и при расставании с дворцом. Поводья, которые он натянул изо всех сил, не дали ему упасть.

Боль прошла так же быстро, как и наступила, но предчувствие неотвратимой беды не покинуло Улугбека.

Подскакали воины. Есаул, человек с монгольским разрезом глаз, резко осадил своего боевого карабаира, приложил руку к груди, поклонился в седле. Второй заученно повторил его движения.

— Да будет счастливым путь, избранный вами, повелитель... Пусть аллах дарует вам вечную жизнь!

В улыбке есаула было притворство, в глазах его Улугбек уловил и холод и насмешку, столь не вязавшуюся с пышно-почтительными словами. Улугбек сделал вид, что принял приветствие всерьез:

— Да услышит вас аллах, сыны мои... Что скажете еще? Затем ли скакали вы из Самарканда, чтобы пожелать мне удачного паломничества?

Есаул снова поклонился.

— Еще я принес вам привет от луноликого вашего сына, благословенного шах-заде, что молится о своем отце и благополучии его.

— Спасибо и ему... что же он велел передать мне?

— Наш повелитель приказал, чтобы мы проводили вас с почетом, как подобает человеку вашего сана и вашей известности.

Улугбек выпрямился, прямо, глаза в глаза посмотрел на есаула.

— Мухаммад Тарагай не для того отправляется в святую Мекку, чтобы возвратиться потом снова на трон, поэтому султанские почести ему теперь ни к чему... Коли за этим скакал, то вернись и передай мои слова шах-заде!

Лицо есаула выразило крайнюю степень восхищения и одновременно сожаления, что невозможно выполнить сказанное таким достойным человеком, каков собеседник есаула.

— Хвала вашей скромности, ваш покорный слуга восхищен вами... Но луноликий наш повелитель, ваш сын и престолонаследник строжайше напутствовал нас — не дело, если мудрый и благороднейший покинет Мавераннахр подобно какому-нибудь нищему. Венценосец дарует вам пищу и одежду, целый караван из трех верблюдов, прибыть они должны на рассвете... А пока мы любезно просим вас отдохнуть и переночевать вон там в кишлаке,— и есаул, подобрав ремень плетки, ткнул кнутовищем в сторону маленького кишлака, видневшегося слева от дороги, среди холмов.

Вместо ответа на приглашение Улугбек снова стал всматриваться во всадника, неподвижно стоявшего впереди; что-то было в нем знакомое, но слишком далеко тот находился, чтобы разглядеть его.

— Это не эмир Джандар?

— Эмир Джандар? — переспросил есаул, опять нехорошо заулыбавшись.— Что делать эмиру одному на пустынной караванной дороге? — И повернул коня к маленькому кишлаку, месту их ночлега.

«На вопрос не ответил и враз потерял всю свою приторную вежливость... Что еще понадобилось Абдул-Латифу от меня?»

Улугбек медленно поехал вслед за есаулом. Перед глазами маячили далекие горы. Снова пришли мысли о неизбежности смерти, о близости ее, только теперь

успокоительные мысли. «Зачем дрожишь, Мухаммад Тарагай? Боишься потерять голову? Но много ли она стоит ныне — без трона, без собольей шапки, без знаков султанского отличия твоего от других людей?.. Кто как не ты говорил, что лучше скорее умереть здесь, на родимой земле, чем позже на чужбине?»

По обыкновению своему, он подтрунивал над собой, над своими страхами, но предчувствие близкого конца все сгущалось в душе и лишь в самом кишлаке, когда увидел он тонкий синий дымок над дворами, услышал блеяние и мычание овец и коров, вернувшихся с пастбищ, и плач детворы, и покрикивания мужчин, когда ощутил запах свежевыпеченного хлеба, душа его чуть успокоилась.

«Будь что будет, — решил он.— Надо поесть, поспать хорошо перед завтрашней дальней дорогой, если аллах позволит пойти по ней».

Разместились все они — Улугбек, хаджа Хисрав, воины — в первом, стоящем на краю кишлака доме. Жильцов отсюда, видно, выгнали — ни в комнатах, ни во дворе не было никого. Поклажу Улугбека занесли в дом, потом увели куда-то их коней. Сами воины решили ночевать во дворе.

Чтобы успокоиться, Улугбек стал устраивать себе поуютнее ночлег: перенес хурджуны поглубже в комнату, зажег светильник в нише. Вместе с Хисравом разжег огонь в предназначенном для него месте — пригодился хворост, принесенный со двора.

Подходило время вечерней, предзакатной молитвы — намазгар. Улугбек пошел к выходу для того, чтобы во дворе совершить омовение.

Вдруг резко и громко хлопнула дверь на террасе. Через мгновение распахнулась дверь в комнату и на пороге появился великан в черном чекмене с огромным туркменским тельпеком на голове. «Саид Аббас!» — вспомнил вдруг Улугбек и отскочил к стене.

— А, вот ты где! — закричал черный и, словно стервятник, кинулся к Улугбеку.

Сначала Улугбек изловчился и, собрав все силы, отбросил от себя Саида Аббаса, но тот вновь вцепился в него, норовя схватить за горло. Опять распахнулась дверь.

— На помощь!

Но есаул с монгольскими глазами не стал помогать

султану; ударом ноги он свалил его и вместе с Саидом Аббасом упал сверху на Улугбека. «Где хаджа? Чего они хотят, эти изверги?» — успел подумать Улугбек.

А хаджа лежал в углу, забился под чекмень, свернулся в клубок.

От острой боли где-то под сердцем Улугбек едва не потерял сознание. Ему заломили руки за спину, пиная ногами, поволокли из комнаты. «Как барана жертвенного... Где ты, Али? Зачем я отпустил тебя?» Боль все нарастала, тело уже не чувствовало ударов — болело внутри, сердце болело.

Улугбека бросили во дворе, на миг оставили в покое.

За это мгновение он услышал стук копыт (кто-то въехал во двор), и привиделось ему бездонное небо, звезды в разрывах черных, быстро проносящихся туч. А еще широкая-широкая степь, теплый вечер в степи, фигура деда, припадающего на левую ногу. А еще Сарай-мулькханум, белые, нежные пальцы ее в перстнях, голос ласковый, вроде журчащего ручья: «Не хочешь спать, стригунок мой, тогда полюбуйся на звезды. Это милосердные ангелы парят в небе, славят создателя. Полюбуйся, стригунок мой, полюбуйся...»

Сжав зубы от боли, Улугбек попытался читать молитву, но не смог сосредоточиться. Он приоткрыл глаза, и последнее, что увидел в своей жизни, был Саид Аббас, в яростном замахе вознесший над ним, полуживым-полумертвым уже, кривую саблю.

Последнее, что успел подумать Улугбек, было: «За что, создатель?»

И еще: «Прощай, Али, сын мой...»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Мавляна Мухиддин охвачен предчувствиями тяжкими, неясными и потому особенно устрашающими.

После хуфтана — последней молитвы, свершаемой правоверными перед заходом солнца, мавляна вознамерился было прилечь. Но стук в дверь поднял его с постели. Наспех одевшись, Мухиддин со свечой в руке пошел открывать. Замирая от страха, приподнял засов: на пороге стоял отец, Ходжа Салахиддин. Он тоже держал

свечу, но одет был совсем иначе, нежели сын,— в белой чалме поверх остроконечной тюбетейки, в златотканом халате, будто собрался на некое торжество. Только вид у Ходжи Салахиддина был не обычный торжественно спокойный, а такой, словно ювелир торопился на пожар. Он задул свечу, быстро прошел в комнату, но на почетное место не сел, а, стоя, кивнул сыну — закрой дверь! Мавляна набросил цепочку, молча взглянул на отца: колючие глаза Салахиддина приказали подойти ближе. Мухиддин почувствовал холодную дрожь.

— Твой любимый учитель... Мирза Улугбек, сын Шахруха, покинул сей бренный мир,— прошептал ювелир внятно и многозначительно.

Серебряный подсвечник беззвучно упал на тонкий шелковый ковер: мавляне Мухиддину недостало сил удержать его. Отец быстро нагнулся, схватил горящую свечу, поднес ее к бледному лицу сына.

— Ты понял, что я сказал?

— Когда это случилось? — тоже шепотом спросил мавляна.

— Вчера ночью... Его обезглавили!

— Кто?

— Кто?! — Ходжа Салахиддин рассмеялся ядовито.— Кто в силах был это сделать, тот и сделал... Его же отпрыск кровный, шах-заде Абдул-Латиф!

— О, милосердный аллах!

— Теперь жди, пойдет резня! — ювелир сказал это убежденно и уже не приглушая голоса. Словно еще больше запугивал сына.— Теперь, говорю я, все родственники, все близкие бывшего властителя, все его учителя-нечестивцы и шагирды его, все, все теперь испытают на себе гнев победителя шах-заде, всех он покарает, в темницы упрячет, в изгнание рассеет!

— За что же, отец?

— «За что же»? — Ходжа Салахиддин передразнил робкий шепот сына.— Вы же ученый муж, о мавляна, и не догадываетесь, за что? А разве когда-нибудь было иначе? Старый халат не для плеч нового владельца. Да и зачем он ему?.. Многих, многих шах-заде покарает, иные и обезглавлены будут, подобно покойному Мирзе Улугбеку.

Мавляна Мухиддин едва стоял на ногах — не будь здесь отца, который по-прежнему не садился и не приглашал сына сесть, он бросился бы на постель, зарылся

бы в подушки: не видеть ничего, не слышать про все эти ужасы!

Мавляна закрыл глаза, зашептал молитву, поднеся руки к лицу.

Салахиддин-заргар чуть-чуть смягчился.

— Тысячу и тысячу благодарностей аллаху за то, что надоумил меня не порвать с шейхом Низамиддином Хомушем. Шейх был и остался моим пиром. А поверил бы и я... как ты, этому безбожному султану... не знаю, что спасло бы нас теперь... Я сейчас... да, да, на ночь глядя, отправлюсь к светлейшему шейху. Надеюсь, что и тебя позовут. И ты пойдешь! И бросишься к его ногам, умоляя о прощении грехов. Плакать должен и каяться, говорить, что шайтан сбил тебя с пути. И что уповаешь на милость аллаха! Понял, что я сказал?.. Не стой, как пень, отвечай!

— Понял, благословенный...

— И скажешь еще, что давно отошел от всех мирских дел, от научных занятий, от сего бренного мира отошел... тайно, в душе, да боялся в том признаться еретику султану...

— Благословенный, нужно ли такое? Ведь от повелителя — да пребудет душа его в райском саду! — мы видели только добро...

— Много добра видел?! Ну, тогда поднимись на минарет соборной мечети и кричи о том на весь Самарканд! — Салахиддин-заргар сжал кулаки, точно собирался ударить несогласного.— Видел добро? Безмозглый! А притеснения их? А Абдул-Азиз, да будет уготован ему ад?! Иль Хуршида не твоя дочь, это дитя, вымоленное мной у аллаха, светоч моих глаз, бутон моего цветника?

Мухиддин отвел взгляд от горящих яростью глаз отца. Медленно шевеля губами, произнес:

— Повелитель был в неведении о злодейских планах шах-заде.

— «Был в неведении»!.. Это ты в неведении! Тайны вселенной они познали,— издевательски рассмеялся старик.— Ничего вы не познали! И жизнь ты знаешь, мудрейший из мудрых, меньше темного простолюдина... Так запоминай, что говорят неглупые люди: завтра начнется резня и первой скатится твоя голова! Среди иных безбожных голов — твоя первой скатится, и дом твой будет первым предан огню! Первым!

Сын покачнулся, с трудом удержался на ногах, схватившись за спинку кресла. Ходжа Салахиддин поддержал его под локоть, усадил. Из ниши стенной вынул чайник и пиалу. Налил чаю Мухиддину. Тот, стуча зубами о край пиалы, сделал несколько глотков. Отец, остыв, пристальнее вглядывался в лицо сына.

— Прости меня, если так тяжелы оказались для тебя мои слова. Но думаю я не о себе — о тебе, о доме твоем, о семье... Над нашим домом черные тучи... Ты говоришь: вы видели хорошее. Верно, видели и такое от наследников эмира Тимура — вот уж чья душа пусть возрадуется в раю! — видели мы всякое. И плохое тоже. А начнет шах-заде разыскивать людей, близких к отцу своему, найдутся доброхоты, укажут на тебя первого, на нас с тобой... Ты же не ребенок, думай как взрослый!

Мавляна Мухиддин сидел, подавленный, недвижный. В слабом свете свечи лицо его казалось безжизненным. Ходжа Салахиддин скрыл тревогу за привычной суровостью и решительностью:

— Ну, я пошел к пиру... Если он вызовет тебя — утром ли, ночью ли, тут же прибудешь и скажешь шейху все, что надо. Так, как я тебе велел. И запомни: у нас нет другого выхода!

Нарочито четкими шагами Салахиддин-заргар направился к двери.

Еле доплелся до постели мавляна Мухиддин после ухода отца, разбитый и обессиленный, свалился на ложе. Не мог заснуть всю ночь. Стоило закрыть глаза — и в воображении представал устод Улугбек, закрывающий голову руками от занесенной над нею сабли... Голова устода, залитая кровью, катилась в пыли и прахе по земле, вращая глазами и что-то шепча, казалось, обращаясь к нему, Мухиддину.

Тогда вскакивал мавляна с ложа — в ужасе, еле сдерживаясь, чтобы не закричать. И ходил, ходил по комнате до полного изнеможения. Но стоило лечь в постель, и снова видения преследовали его. Он и клял себя за слабость, за готовность сделать так, как велел отец, и убеждал в том, что именно так надо поступить, что устода уже нет в живых и, стало быть, нельзя счесть изменой ему слова «раскаяния», которые Мухиддин должен был сказать шейху.

Он вконец измучился и потому, когда на рассвете за ним пришел, наконец, от Низамиддина Хомуша посыльный, испытал даже некоторое облегчение.

2

Бомдод — первая молитва правоверных, на раннем рассвете.

Каландар после нее опять завернулся в старую кошму и улегся на супе́: можно было еще подремать. Вскоре, однако, его разбудили. Он открыл глаза и увидел загадочную ухмылку Шакала.

— А, косой! Чего тебе?

— Мне? Золота! — Шакал тихо засмеялся.— Мне золота, а светлейшему шейху Низамиддину Хомушу тебя. Собирай манатки и спеши к шейху, дервиш!

Разминая затекшие ноги, Каландар не без смятения думал о том, что неспроста его разыскивал и разыскал-таки шейх, неспроста...

Всю ночь дул ветер, накрапывал дождь, а утром стало спокойно, свежо и чисто. Только холодно. И на безоблачном небе, быстро светлевшем, угасали последние неяркие звезды,— будто от холода.

В городе было пустынно, ворота и калитки под замками, и не из-за раннего часа, а, казалось Каландару, из-за черной беды, что уже несколько дней висела, распластав тяжелые крылья, над Самаркандом. Лишь по дороге на «Мазари шериф» попалось несколько открытых мастерских — кузнецов да жестянщиков,— и как приятен их стук и грохот, когда вокруг тревожное молчание!

Мюриды Низамиддина Хомуша провели Каландара во внутренний двор сразу же. Каландар не успел даже определить по запаху, что варилось под чинарами в огромных чугунных котлах. Не задержался Каландар и во внутреннем дворе, с трех сторон окруженном пышно украшенными террасами; лишь минуту-другую любовался знакомым мраморным водоемом, серебристыми его фонтанчиками, игрой воды, лившейся в отводное русло, выложенное цветными плитками, и тут же мюрид позвал его в светло-бирюзовую прихожую, а оттуда, отворив резную дверь, во внутренние покои.

Каландар, на миг задержав дыхание, перешагнул порог... Новое дело! В комнате, в почетном ее углу, по ле-

вую сторону от шейха, сидел на куче одеял старый ювелир Ходжа Салахиддин! На белой чалме, на златотканом халате, на маленькой фарфоровой пиале, в которую он как раз в этот миг наливал чай, играли красные блики от туркменских ковров, что расстелены были по полу и развешаны по стенам комнаты. Узнал ли Салахиддин-заргар Каландара, неизвестно, на приветствие дервиша молча кивнул — руки были заняты пиалой. Шейх принял пиалу и тоже лишь кивком поздоровался с Каландаром; сделал глоток, отвел пиалу от губ.

— Присядь, дервиш!

Почтительно сложив руки на груди, Каландар опустился на колени там, где стоял, неподалеку от порога. На сей раз шейх не пригласил его подойти к скатерти.

— Какие вести принес нам из средоточия нечестивости? Что там происходит? Говори, дервиш.

Каландар слегка пошевелился, не переменив позы.

— Все спокойно, мой пир...

— Спокойно, говоришь? Гм... А что узнал, что выведал про золото эмира Тимура, спрятанное там еретиками?

— Святой шейх, о том не ведаю...

— Голову подними, дервиш, смотри в глаза мне!

Каландар выдержал взгляд шейха.

— Говорю правду... По велению вашему смиренный слуга ваш неделю провел у ворот обсерватории, денно и нощно присматривал за ней...

— И что же?

— Не заметил ни одной живой души, мой пир.

— А где был ночью третьего дня?

«Все знает!.. Знает?.. Или хочет поймать меня, запугать?»

— Той ночью... холодной, святой шейх... ваш слуга решил пойти к табунщикам, к ручью, обогреться у костра... И часу не прошло, как я вернулся.

— Так, так...— шейх резко, почти неприязненно отбросил за спину длинный конец чалмы.— А книги, рукописи еретические, бесстыдные картины, все ли там на месте?

«Нет, ничего он не знает... И о делах Али Кушчи не осведомлен».

— Должны быть там, мой пир. Куда им деться, если и муха не проникнет без вашего разрешения в обсерваторию?

— Та-а-ак... А тот... ученик неправедного султана... как его... из памяти выскочило имя нечестивца...

— Али Кушчи,— подыграл Салахиддин-заргар.— Мавляна Али Кушчи, мой пир.

— Да, да... Али Кушчи... он где?

Каландару на миг опять показалось, что шейх знает все и лишь притворяется незнающим.

— Я неделю сидел у ворот. Этого человека не видел...

— Хвала тебе, дервиш, хвала, око мое!.. Золото на месте, еретические книги на месте, нечестивый шагирд нечестивого султана тоже, видать, на месте... Только на каком месте? И твое место где, дервиш?!

Шейх побледнел. Приподнявшись, сунул руку под подушку, подложенную сбоку, вытащил трещотку, схожую с веретеном. На ее звук приоткрылась дверь, и показался знакомый Каландару мюрид.

— Здесь ли мавляна Мухиддин? Если здесь, пусть войдет!

Каландар искоса глянул на ювелира. Старик перехватил взгляд, но ни единый мускул на лице его не дрогнул.

Бесшумно отворив дверь, вошел мавляна Мухиддин. Невнятно прошептал приветствие, на цыпочках прошагал до места, указанного ему шейхом, сел — покорно, беззвучно. У Каландара Карнаки гулко забилось сердце. Он побоялся посмотреть на мавляну — некогда одного из двух наставников своих в медресе; он смутно догадывался, что вот сейчас и произойдет то ужасное, ради чего позвал их сюда этот лис, этот жестокосердый хитрый шейх.

— Мавляна Мухиддин! Вам надлежит сейчас вот вместе с этим дервишем пойти в крамольное гнездо,— шейх не отказал себе в удовольствии усмехнуться,— в хорошо вам обоим известное крамольное гнездо... в рассадник нечестия и безверия...

Каландар видел, как под ударами слов шейха задрожали тонкие пальцы рук, скрещенных на груди мавляны поверх серого чекменя, как все ниже и ниже опускалась долу большая белая чалма, как все покорнее и раболепнее становилась поза.

— ...Так вот, вы, мавляна, пойдете немедля в это гнездо... а почему вы молчите, мавляна?

Чуть встрепенулся мавляна Мухиддин.

— Ваши слова — закон для истинных мусульман, святой шейх.

— Ну, так вот... запоминайте, запоминайте, мавляна... Исчадие ереси, называемое обсерваторией Улугбека, равно как и медресе его, должно быть стерто с лица земли. Нам ведомо, что вы причастны, мавляна, к делам неправедным. Однако заблуждение слуг тех, кто назван тенями аллаха на земле, можно искупить, коли аллах соизволит, и... мы надеемся, что вы, мавляна, богоугодными делами своими искупите грех прежних заблуждений!..— Шейх приподнялся на подушках, подался чуть вперед.— Так вот, запомните, ни одна из еретических книг не должна исчезнуть оттуда, куда вы отправитесь! Все, все они, эти книги, не в духе нашей истинной веры, все рукописи, все бесстыдные, развратные картины — все это должно сжечь! Вы, мавляна, знаете эти книги, надо полагать, лучше многих. Идите вместе с этим дервишем, идите и все осмотрите: на месте ли эти книги, не спрятаны ли они какими-нибудь учениками султана-нечестивца... Ясно ли сказал я, мавляна?

— Ясно,— прошептал Мухиддин.

— И еще об одной тайне я осведомлен,— продолжал шейх.— Вероотступник Мирза Улугбек спрятал в гнезде своем сокровища великого, победоносного эмира Тимура — да возрадуется душа его в райских садах! Они в руках нечестивца Али Кушчи... Передайте сподвижнику своему Али Кушчи...— при слове «сподвижник» шейх глянул на Мухиддина и Салахиддина-заргара с усмешкой,— передайте ему: пусть не упрямится, а придет к нам за отпущением грехов, пусть молит аллаха о снисхождении, о прощении. Участь учителя его, Мирзы Улугбека, что возведен был на трон, но и сброшен с него, ибо избрал путь непокорства аллаху, да послужит для Али Кушчи уроком! Пусть знает, что благословенному шах-заде все о нем известно и что терпение повелителя не безгранично!..

Поднимаясь с одеял, мавляна Мухиддин почувствовал устремленный на него взгляд Каландара Карнаки: худое, болезненно-бледное лицо наставника вспыхнуло, даже кончики больших ушей, не прикрытых тюрбаном, покраснели. «Испугался меня или стыдно стало?» — спросил себя Каландар, пятясь и кланяясь и давая возможность мавляне выйти первому.

3

Не думал, не гадал мавляна Мухиддин встретиться с Каландаром Карнаки. Да еще где? У суфийского[1] шейха, большого человека в ордене накшбендиев. Благо еще, стал Каландар дервишем, человеком, что отвернулся от бренного мира и выбрал в удел покорство нищего и зоркость соглядатая, послушного тому же шейху. Иначе совсем было бы невмоготу отвечать на вопросы пресветлого шейха перед лицом третьего человека!.. А теперь новая забота — встреча с Али Кушчи! Как посмотреть в глаза Али, как передать благоразумные советы шейха?

Три всадника ждали мавляну Мухиддина у ворот. Только помогут ли они в его деле?

Мухиддин знал Али Кушчи. Если тот уж дал слово... если что-то решил... упрямство ослиное проявит тогда в исполнении намеченного. Не раз говорили они с повелителем-устодом про разум, да будет ли теперь разумен мавляна Али? Может, зловещий конец устода заставит и его подумать о разумном решении?

Хорошо, если так... Хорошо бы!..

Так и повторял всю дорогу до обсерватории мавляна Мухиддин: «Хорошо бы, хорошо бы»,— а при виде высокого портала, дверей, ведущих туда, где прошла счастливейшая — что скрывать? — счастливейшая четверть века его жизни, эти слова словно вылетели из головы. Смыло их волной страха перед предстоящим свиданием.

Ворота, к несчастью, открыл сам Али Кушчи. Темная феска прикрывала темя, длинный темный чекмень, несмотря на холод, распахнут на груди. Видно было: гостей таких не ожидал. Молча посмотрел на всадников, на Каландара, на мавляну Мухиддина. Потом опять на всадников-воинов и на съежившегося в седле «сподвижника». Понял, кажется, зачем все они пожаловали сюда, усмехнулся.

— Добро пожаловать, дорогой мавляна!

Мухиддин, все еще сидя в седле, пробормотал, краснея:

— Светлейший шейх Низамиддин Хомуш повелел мне осмотреть книгохранилище, проверить сохранность книг...

---

[1] Суфизм — мистико-аскетическое направление в исламе.

— А я не знал, что вы теперь на службе у светлейшего шейха,— Али Кушчи насмешливо сощурился.— Но осмотреть книги можно, только слезши с коня, почтенный мавляна... И еще: вы приехали проверить книги, а для чего приехали ко мне эти славные воины?

Воин, рябоватый лицом и явно гордящийся длинным султаном на своем шлеме, насупился и важно ответил:

— Отныне мы будем стеречь это вместилище злых духов!

— Понятно: воины будут стеречь обсерваторию. А ты, дервиш?

Каландар приосанился, как то сделал только что рябой воин, сказал громко, выразительно:

— А я тут затем, чтобы сжечь эти греховные книги, написанные нечестивцами! Бросить их в костер!

— Несчастный, кто сказал тебе, что хранимые здесь книги греховны, что их написали нечестивые люди?

— Пусть вам скажет о том мавляна Мухиддин, он лучше знает, чем я!

«Молодец, Каландар, право, молодец! — мысленно одобрил находчивость дервиша Али-Кушчи.— Что теперь скажет этот трус?» Вслух же Али-Кушчи воскликнул:

— Как?! Вы, мавляна, привели сюда воинов, чтобы сжечь книги, сровнять с землей храм науки, в котором сами изучали науку о звездах и преподавали ее другим? Я не ослышался, мавляна? Этот безумец говорит правду?..

Мавляна Мухиддин — лицо белое, без кровинки — потоптался минуту-другую, съежась, будто от холода, потом расправил плечи, желая придать долговязой фигуре своей достойный вид, и двинулся к обсерватории, загребая ногами. Прежде чем протянуть руку к литым кольцам двустворчатой двери, снова остановился, постоял нерешительно перед входом; губы его непроизвольно зашептали что-то молитвенное.

Да, мавляна Али прав: почти четверть века, долгую четверть века он, Мухиддин, поднимался по мраморным ступеням в просторные помещения обсерватории, тихие, полусумрачные, и зимой и летом прохладные... Почти четверть века провел он рядом с секстантом и чудесными приборами, обращенными к небесной выси, у полок с бесчисленными книгами, и нельзя было остаться спо-

койным сейчас, вспомнив об этой долгой четверти века. Взглянул на столь хорошо знакомую блестящую дугу секстанта, что уходила вниз, на отверстие в овальном потолке, откуда на чудо-секстант падали лучи звездного света, и сердце мавляны Мухиддина облила невыразимая горечь.

Было время, когда глаза его при помощи чудесных инструментов, придуманных самим устодом, сосредоточенно всматривались в вечное небо, и забывал он тогда о тревогах и заботах мира поднебесного, преходящего, и сердце его полнилось великим восторгом от изумления перед тем, что открывалось ему, Мухиддину, и от способности своей вести беседу, долгую и тихую, с беспредельной вселенной, со звездами, мерцающими и вспыхивающими в бездонном пространстве, с таинственными — ему казалось, божественными — силами, которые придавали стройность и смысл всему, что видели глаза. Теперь он лишен таких счастливых минут и часов, теперь он исполнитель поручения, что недостойно мавляны, теперь в сердце его страдание и презрение к себе. О аллах! За какие грехи ниспослано тобой такое наказание?

Еще сильнее охватила его сердце печаль в книгохранилище. Оно выглядело так же, как раньше, когда посещал библиотеку повелитель-устод: от свечей, стоявших в нишах, исходил теплый, неяркий свет; блестело серебро подсвечников. На столике, выдвинутом перед полукружием кресел, сложены кипы книг, отобранных для неотложной работы, в углу на высокоспинном кресле посверкивали златотканый халат и тигровая шкура, темным пятном поверх нее — бархатная шапочка устода, словно только что вышел он отсюда и вот-вот вернется, сядет в любимое кресло, покрытое шкурой тигра, и, обратив лицо к своим верным шагирдам, поведет, как обычно, спокойно-степенную беседу о тайнах вселенной. Мухиддину померещилось, будто он и впрямь слышит глуховатый голос устода.

Превозмогая озноб страха и раскаяния в том, что ему сейчас предстояло делать, мавляна Мухиддин стал медленно шагать вдоль полок, сопровождаемый холодным и неотступным взглядом Али Кушчи, который остался стоять у дверей в библиотеку — неподвижная фигура, опирающаяся спиной о стену, сложенные на груди руки, нескрываемое презрение к «сподвижнику». Мухиддин не притрагивался к книгам и рукописям; ему не

надо было ни пересчитывать их, ни поднимать взора вверх, к полкам под самым потолком (может, их переставили туда, самые редкие произведения?): сразу же обнаружил он, что наиболее ценные книги и рукописи исчезли. Вот угол, где с особым тщанием хранились книги и рукописи мудрецов и поэтов Мавераннахра, вместо завернутых в шелк знаменитых этих редкостей, здесь стоят другие книги... Он же знает все книгохранилище, можно сказать, наизусть!.. Вот особая полка, скрытая шелковой занавесью,— полка рукописей самого устода. Закрыв глаза, Мухиддин представил себе порядок, в котором они стоят: «Туркулус тарихи», четырехтомная история улусов тюркских племен; рядом на тончайшей бумаге «Таблица звезд», и тут же комментирующие их трактаты; выше, над полкой устода,— полка с книгами сиятельного Кази-заде Руми и Гиясиддина Джамшида: устод всю жизнь почитал своих учителей.

Обе эти полки тоже заставлены теперь другими книгами. Значит, Али Кушчи вывез самое редкое, спрятал куда-то. Куда? И как он мог это сделать один? И еще шейх говорил о драгоценностях, о золоте, и сам Али Кучши говорил об этом, когда приходил за помощью... Куда же он спрятал золото?

Мавляна Мухиддин знал упрямство Али Кушчи, его последовательность в исполнении принятого — раз и навсегда! — решения. Он чувствовал сейчас, спиною своей ощущал, как растет, вскипает гнев Али Кушчи, что продолжал стоять у двери, наблюдая за ним, Мухиддином... Шейх ошибается, думая, что обещанием прощения развяжет язык Али Кушчи! Потому и не станет он, Мухиддин, передавать Али Кушчи слов Низамиддина Хомуша.

Мавляна Мухиддин долго еще бесцельно бродил по библиотеке, не зная, как поступить. Потом медленно направился к выходу, смиренно вобрав голову в плечи.

Али Кушчи закрыл собою весь дверной проем.

— Убедился ли досточтимый мавляна в том, что все книги... все крамольные книги на месте, в целости и сохранности?

— Да, да, все на месте, все в сохранности,— торопливо закивал мавляна Мухиддин.— Все, все на месте...

— И святому шейху будет доложено об этом именно так?

— А?

Али Кушчи стиснул зубы. В глазах, устремленных на Мухиддина, были гнев, злость и отвращение.

— Шейх, говорю, будет знать о том, что здесь все на месте?

— Будет, будет... Я так и доложу.

— Вот что, мавляна! — голос Али Кушчи задрожал.— Прошлой ночью от руки убийцы пал... наш повелитель... устод Улугбек. Известно об этом шагирду его Мухиддину?

Мавляна съежился, прижался к стене, словно ища у нее защиты от возможного удара.

— Все люди науки сегодня в глубоком трауре! Невежды маддохи торжествуют! Подлые, они убили нашего учителя, главу ученых... Что молчишь, мавляна? Молчание — знак согласия! Значит, знаешь про подлое убийство, знаешь... И в такой день вместо траура, вместо того, чтобы разделить горе просвещенных... прийти сюда, в эту обитель знания, чтобы готовить великие творения к костру!

— Али, Али! Дорогой мой друг! Но что же мне оставалось делать,— почти прорыдал мавляна Мухиддин.— Я не герой, я простой смертный, раб аллаха...

— Ну, так пойди и доложи своему хозяину, раб: Али Кушчи спрятал лучшие... крамольные книги, их нет в обсерватории, нет! Скажи, что надо сжечь обсерваторию, дотла спалить!.. Только помни, душе невинно погибшего устода... убитого твоими новыми хозяевами... все ведомо, весь ты виден!

Мухиддин словно вжался в стену. Громко всхлипнул. Ладонью стал смахивать слезы с длинных ресниц. Губы кривились, бормотали что-то об «ужасной вести», о собственной несчастной судьбе, о том, что «разбитый кувшин не склеить». «Я ваш слуга, покорный слуга...» — то и дело слышалось из уст мавляны.

Али Кушчи отвернулся, сделал шаг в сторону.

И жалко было Мухиддина, и трудно верить в искренность его страданий. Память подсказывала случаи, когда мавляна Мухиддин оказывался в трудном для себя положении и вот так и отделывался — слезами.

Али Кушчи махнул рукой:

— Я все сказал, мавляна! Сказал, как ученому. Как почитаемому мной ученому. А как вам поступить, об этом спросите у своей совести!

И Али Кушчи прошел внутрь книгохранилища, мимо мавляны Мухиддина, глядя поверх него, будто не видя того, кого только что обличал.

Мавляна Мухиддин минуту-другую стоял перед распахнутой дверью, вздыхая часто и шумно, потом вытер лицо рукавом чекменя и медленно, пошатываясь, стал спускаться по лестнице...

Али Кушчи долго не мог успокоиться, снова и снова перебирал в памяти подробности разговора с мавляной Мухиддином. Он ведь не ждал ничего хорошего, тем паче не ждал помощи от этого труса, но как же трудно, оказывается, потерять веру в человека, с которым столько вместе пережито! Где-то на самом донышке души теплился у Али Кушчи лучик надежды, и вот нынче погас тот лучик совсем. Шагирдом Улугбека остался только сам Али, один. И нету другого.

...Кто-то тронул мавляну за плечо. Обернулся. Увидел Каландара и Мирама Чалаби. Его ученики, его собственные ученики!

— Мавляна Мухиддин ушел?

— Ушел, устод.

— А воины?

— Один поехал с ним, двое внизу, у ворот. Стерегут нас.

Помолчали. Али Кушчи все думал о горестном своем одиночестве.

— А ты почему не уходишь, дервиш?

Каландар подтолкнул локтем Мирама.

— Ваш покорный слуга был беззаботным нищим... А теперь... Если мавляна Мухиддин раскроет святейшему шейху тайну исчезновения книг, то... лишусь я всего, наставник!

Али Кушчи неожиданно для себя рассмеялся.

— Дрожишь за сохранность старого колпака и лохмотьев? Не шутка, это большое богатство!.. Ну, а всерьез, куда хочешь податься теперь, дервиш?

— Теперь? — Каландар потер лоб треухом, пожал плечами.— К Уста Тимуру Самарканди, наставник. Знакомой дорогой, если позволите,— он показал пальцем в пол.— Больше некуда мне! А вы, устод?

— Я? Нельзя мне уйти... Пусть резня, пусть темница! Своей волей отсюда не уйду. Да и свершается с каждым лишь то, что написано на роду!.. А вот Мирама ты взял бы с собой, дервиш.

Мирам Чалаби нахмурил брови, иссиня-яркие глаза его потемнели.

— Нет, нет, учитель! Где будете вы, там буду и я!

Али Кушчи встал с кресла, ласково обнял ученика за плечи. Потом достал из-за пояса-кушака связку ключей, отделил один.

— Пойдемте, друзья.

4

Много часов не смыкал глаз шах-заде Абдул-Латиф. До вчерашней полночи не мог заснуть.

Вчера в полночь получил он наконец долгожданную весть от эмира Султана Джандара, посланного вслед Мирзе Улугбеку. А получив эту весть, которая словно гору свалила с плеч, шах-заде в радостном изнеможении упал в золотое кресло прадеда своего, эмира Тимура, и тут же заснул.

Сколько проспал, не помнит. Но показалось ему, что кто-то встал над ним, спящим, и от страха Абдул-Латиф сразу пробудился.

Свечи в подсвечниках на круглых поставцах почему-то не горели. Теплилась только одна свеча — в нише над дверью, слабо освещая лишь малое пространство у самого входа, а вся огромная комната полна была тьмой.

Сердце шах-заде стучало глухо и часто.

Абдул-Латиф поднялся с трона, осмотрелся по сторонам. Один ли он тут, в этой громадной сумрачной зале? Вдруг почудилось, будто кто-то прячется в темных углах и под раззолоченными стульями, выстроенными вдоль стен, кто-то неотступно рассматривает его через щелку, образованную тяжелыми занавесями за спиной, за троном!

Нет, нет, это только почудилось!

«О создатель, милостивый и всемогущий! Прикрой раба своего крылом защиты!..»

Абдул-Латиф отпрянул от трона, постоял минуту посреди комнаты, слушая тишину. Преодолел оцепенение. На цыпочках, боясь темных теней в углах, прошелся вдоль стен, в каждой нише зажигая свечу. Помещение ожило, нежные орнаменты вспыхнули голубым и желтым.

Никого, нет никого!

Опять подошел шах-заде к трону, обессиленно уронил тело на сиденье, обхватил руками голову.

Что с ним такое? Почему сердце бьется, как птица в жестких силках?

Чего, чего он боится? Он же всех победил, все препятствия преодолел, он же теперь повелитель Мавераннахра, единственный, единственный! Всевышний явил ему — ему! — свою щедрость, свою милость, подвел его к вратам счастья!

Может, напугала весть, поступившая от Султана Джандара? Но ведь никто другой не ждал этой вести столь нетерпеливо и вожделенно — он, Абдул-Латиф, ждал ее, он! Ах, как он ее ждал! Всякий раз вскакивал, держа руку на груди, словно не давая сердцу выскочить, всякий раз, когда сарайбон — дворецкий появлялся с сообщением, что кто-то прибыл. Все ждал от дворецкого слов: «Эмир Джандар!» И раздражался, слыша другое имя. Уже за полночь было, когда в залу ввалился сам Султан Джандар с темным шерстяным хурджуном на загорбке. Зацепился эмир кривой саблей за дверь, тихо выругался, а войдя, отвесил неловкий поклон, не снимая мешка с плеч.

Сердце так и рвалось из груди шах-заде, когда он одеревенело прошептал:

— Говори!

Султан Джандар выпрямился, втянул живот, поднял голову. Ребром ладони провел по горлу.

— Голова отсечена от тела, повелитель.

Весь в холодном поту, шах-заде спросил:

— Где? — Он хотел спросить, где произошло убийство. Султан Джандар понял иначе, сбросил на пол — со стуком! — ношу, развязал веревку, начал копаться в мешке руками.

«Нет, нет, не показывай, не надо!» — беззвучно, взглядом приказал шах-заде. Эмир усмехнулся, снова выпрямился, резко, почти грубо осведомился:

— Где хоронить будем?

Долго ждал злой вести шах-заде, а о месте захоронения и не подумал.

— В Гур-Эмире?

Шах-заде смятенно покачал головой: ну уж нет, только не там!

— Хвала вам, повелитель! — загромыхал Султан Джандар. — Мы погрешили бы против веры, коль нече-

стивца положить в гробницу победоносного воителя. Предлагаю закопать его тело в его же крамольном гнезде — в медресе!

Шах-заде нетерпеливо махнул рукой:

— Делай как знаешь, только... побыстрей! И чтоб ни одна живая душа не узнала, ни одна!

Эмир, все так же неприятно улыбаясь, попятился к выходу, поволок хурджун за собой.

— Не беспокойтесь, заступник трона, все будет как надо... Люди умные говорят: хоть и видел, лучше сделать вид, что не видел...

Шах-заде помнит, что сразу же после ухода эмира он успокоенно произнес:

— Ну, слава аллаху, — и тут же заснул.

Успокоенно?

Как можно быть спокойным здесь, в этом сумрачном дворце? Вот снова что-то — или кто-то?— за спиной!

Шах-заде молнией сорвался с сиденья, резко повернулся к занавесям за троном. Шевелится, вправду шевелится!

Он стремительно выхватил из ножен саблю, прыгнул вперед, не сводя одичавших глаз с шевелящейся ткани, рубанул по ней. Сабля задела замок потайной двери, звякнула приглушенно. Кусок занавеси упал на пол, приоткрыв железный лист, один из тех, которыми обита была дверца, уводящая в подземелье.

Никого... Никого нет, слава аллаху! Ему померещилось!

Абдул-Латиф вытер пот со лба и щек.

«Да что это со мной?.. В чем я виноват, если убит нечестивый султан, по несчастью, по насмешке судьбы называемый родителем моим? И не я, не я убил его! Саид Аббас, которого сам же отец и сделал врагом себе...»

И кто велел ему выступать против веры истинной, против могущественных улемов, столпов веры, против сеидов, потомков пророка?.. Гнева всевышнего не убоялся, вознамерился постичь тайны вселенной, а она — престол аллаха, и недаром всевышний не дал нам права на постижение этих тайн... Вот потому и покарал!

А уж о нем, сыне-то своем, разве заботился покойный султан? Благословенный родитель? Нет, черствый, черствый чужак — так будет правильней! Ни разу не по-

гладил в детстве, ни разу не прижал мальчика к груди своей, не помнит, не помнит Абдул-Латиф, чтобы к нему обратились со словами: «Сын мой!» Всю любовь, всю ласку свою — другому, Абдул-Азизу! Того-то любил и нежил. А Абдул-Латифа отдал на воспитание бабке, Гаухаршод-бегим. Властная эта женщина, даром что красоты неописуемой, невзлюбила Абдул-Латифа. Всегда холодно улыбалась ему тонкими своими губами. Из всех внуков один у нее был любимчик — толстый увалень Алауд-давля, сынок Мирзы Байсункура, вот его она и ласкала, одаривала, ему была советчицей, доброй феей. А он, Абдул-Латиф, и здесь, в Самарканде, и там, в Герате, в громадном пышном дворце деда Шахруха чувствовал, что никому не нужен, никому не приятен. Так, сирота злосчастный. Обида на родных и неприязнь к ним — с детских лет!

А позже, когда пришла к нему ранняя возмужалость — возмужалость воина и властителя, — видел ли он что-либо хорошее от отца? Как бы не так! Благословенный родитель ущемлял его во всем, старался поднять повыше любимчика своего Абдул-Азиза. В сражении тарнобском под Гератом победителем оказался этот сопляк! Так распорядился сообщить всем и каждому их благословенный родитель. А ведь ту битву против Алауд-давли выиграл он, Абдул-Латиф; не примчись он тогда со своими всадниками в степь Тарноба, неизвестно, что было бы с братцем, да и с самим родителем тоже. Ну, пусть так, пусть победил Абдул-Азиз... Но вот разбили Алауд-давлю, этого упрямца, снова захватили Герат. И кто взял добычу, что хранилась в замке Ихтиериддина? Родитель! У кого взял? У сына своего, Абдул-Латифа! Под предлогом, что казна истощена войной, все его богатства, подарки деда Шахруха, все сокровища, все золотые статуэтки, доставшиеся от прадеда, великого Тимура, — все это отец отправил в Мавераннахр! Ну, пусть так. Пусть! Не в богатстве дело... А вот когда неугомонный Алауд-давля, собрав новые силы, осадил Герат и Абдул-Латифа в Герате, подал ли благословенный родитель руку помощи своему сыну? Помог, называется! Герат остался у Алауд-давли, а его, Абдул-Латифа, отец отправил в Балх, в этот захудалый городишко, вроде кишлака!

Мирза Улугбек вернулся в Мавераннахр, распорядился: отдать старшему сыну жалкий провинциальный Балх,

а младший... младший получил в руки великий город, столицу Самарканд!..

Чем больше обид припоминал шах-заде, тем живее играла кровь в жилах. И вчера он подстегивал себя такими же воспоминаниями. Сын, обиженный несправедливым отношением отца, сын, вынужденный взяться за меч во имя защиты истинной веры и во имя защиты самого себя, сойди он с этой тропы — и сомнения, неясные, а потому особенно пугающие, начали бы закрадываться в душу. А сомнения — первый шаг к воспоминаниям и о хорошем, что сделал ему отец, а за ними недолго и до раскаяния в том, что́ он, сын, причинил отцу.

И Абдул-Латиф все подстегивал и подстегивал себя воспоминаниями-обидами.

«Да, ничего хорошего я не видел от благословенного родителя. Только ущерб видел от него — моему богатству, моему полководческому дару, славе моей! А последняя наша встреча? Благодарил бы за великодушие, дал бы отцовское благословение, а что сделал отец? Напророчествовал дурное! «Сын, поднявший меч на отца, во веки веков будет проклят, лишен будет счастья!» Ишь ты, поднял меч... Кто первый из нас поднял меч?»

И тут подумалось шах-заде, что как бы там ни было, а его сыновним мечом убит отец. Страх снова обуял Абдул-Латифа. Отцеубийца! Есть ли слово страшнее?.. А если об убийстве, происшедшем этой ночью, узнает население Самарканда? Можно ли доверять мстительному Саиду Аббасу и эмиру Джандару? Да они из пустой похвальбы растрезвонят... И как неприятно усмехался эмир, чуть ли не подмаргивал ему, повелителю своему! Сообщник сообщнику... Но из двух сообщников один всегда верховодит другим.

«И не зря Султан Джандар щерился, видно, думает, что теперь будет мной вертеть, как хочет... Кто знает об убийстве? Саид Аббас. Султан Джандар. Несколько воинов. Да, еще ходжа Мухаммад Хисрав. Ну, этого-то припугнуть как следует, и он скорее язык сам себе откусит, чем хоть слово скажет. А вот с остальными как быть?» Шах-заде ужаснулся пришедшей тотчас мысли — жестокой и страшной. Но она, эта мысль, продолжала вызревать, она крепла, оттесняя иные мысли, и превратилась в конце концов в твердое решение: всех, причастных к убийству отца, убрать, уничтожить; пору-

чить это сделать надо тому же Султану Джандару, а потом убрать и его.

Абдул-Латиф быстро пересек залу. Открыл дверь.

— Эй, кто тут есть?!

Дремавший на стуле сарайбон торопливо вскочил, поклонился.

— Простите милостиво, повелитель. Задремал.

— Гонца пошли к эмиру Султану Джандару! Пусть эмир прибудет немедленно!

Сарайбон отвесил еще более низкий поклон.

— Не позволит ли повелитель рабу своему свершить сначала молитву бомдод?

«Слава аллаху, выходит, уже утро наступило»,— подумал Абдул-Латиф, чувствуя облегчение. Милостиво наклонил голову. Сказал негромко:

— Пусть и мне принесут воду для омовения.

Небольшая дверца вела из залы в укромную комнатку — махфихану.

Пройдя туда, шах-заде присел на корточки у выложенного мраморными плитками углубления в полу, совершил омовение. Потом снял халат и, как делал перед сражениями, расстелил его в углу, сел коленопреклоненно на золоченую эту подстилку лицом к Мекке. Зашептал слова молитвы. Потом долго еще сидел, прикрыв глаза, не меняя молитвенной позы,— подстеленный халат словно изымал его из суетного мира. Сосредоточенно вслушивался в тишину — так обращался к небесам, просил защиты, поддержки, душевного успокоения. И когда успокоение начало приходить, когда решил он уже подняться, из соседней большой комнаты послышался шум, возня, приглушенные голоса будто борющихся друг с другом людей. Абдул-Латиф торопливо подобрал с полу халат и, на ходу набросив его на плечи, быстро пошел в залу, но достичь ее не успел: дверь распахнулась и в махфихану вбежал Абдул-Азиз.

Он был бос. Непокрытая голова его, наголо обритая, тряслась. Длинная, по колена, шелковая рубаха, до пояса разорванная, свисала с плеча. Глаза, полные ужаса, метались на лице. «С ума сошел! — пронеслось в мозгу Абдул-Латифа. Он невольно потянулся к сабле и сделал шаг назад.— Как же это он попал сюда из заточения? Кто выпустил? Кто впустил?.. И что с ним, чего он хочет?!»

Абдул-Азиз нетерпеливым жестом сорвал рубашку

совсем, напрочь; пальцы вцепились в волосы на голой груди. Не попадая зубом на зуб, заикаясь, спросил:

— Что... что ты сделал с благо... благословенным... ты... отце... убийца!

«Узнал! Узнал!! Откуда?! Кто ему сказал?»

Абдул-Латиф обнажил саблю: «Кинется вперед — зарублю!» Закричал громко, яростно:

— Эй, кто там есть? Сюда!.. Сарайбон!

— П-п-поднял меч на... родителя своего?.. Как же

з-земля еще носит тебя, п-почему небеса не рухнут на т-твою голову?

Бритая голова брата тряслась все сильнее, глаза сверкали все безумнее. Стуча зубами, Абдул-Азиз двинулся вперед. Старший стал отступать к стене, выставив саблю и слегка пошевеливая ею. Но Абдул-Азиза это не остановило, он надвигался на брата, а тот уже ощутил лопатками твердую поверхность стены. Бросил халат, взмахнул саблей.

— А-а, п-подлый... отцеубийца... А-а, родитель мой... б-благословенный. Что ты сделал с ним? — выдохнул Абдул-Азиз прямо в лицо Абдул-Латифу и вдруг залился щедрыми, бурными, словно сель в горах, слезами; они вмиг затопили впалые щеки, исчезая в грязной, давно не расчесываемой бороде.

«Зарублю, зарублю! Пусть еще шаг сделает». Абдул-Латиф продолжал медленно отступать от брата; двигался вдоль стены, спиной ощущая ее твердость, неподатливость. Он уже достиг потайной двери, когда вбежали балхский приспешник и есаул.

— Хватайте этого безумца! Хватайте!

У сарайбона тоже был разорван ворот бархатного халата. Зачем-то рванув еще раз этот ворот, сарайбон бросился сзади на Абдул-Азиза, обхватил его за шею. Есаул привычным приемом стал заламывать руки младшему шах-заде. Абдул-Азиз тщетно вырывался.

— М-мерзок... м-мерзок... Гнушаюсь тобой... Ты не брат мне... Всеми святыми, пророком клянусь,— Абдул-Азиз захрипел.— За ноги п-повешу тебя! Вниз го-голо...

— Уведите этого сумасшедшего! Вон его отсюда... Иначе зарублю!

Абдул-Азиза повернули лицом к выходу, стали выталкивать. Но, освободив одну руку, он уперся ею в косяк двери.

— Руби! Руби!.. Как отца з-зарубил!

Могучий темнолицый есаул оторвал наконец Абдул-Азиза от двери, выпихнул вон. И старший брат услышал, как младший тяжело упал наземь, а через мгновение вновь раздались яростные рыдающие проклятия:

— Отцеубийца! Гнев господа... покарает тебя!.. Земля поглотит отцеубийцу, сама земля!..

Потом послышался свист нагайки, стук закрываемой снаружи двери, и все стихло...

Абдул-Латиф вошел в залу, где стоял трон. Присел

рядом с ним прямо на пол, прислонил горячий лоб к холодным золоченым поручням.

«О аллах, защити меня, защити... Откуда узнал обо всем этот... свихнувшийся? Кто рассказал ему?.. А ведь кто-то рассказал! Какой-то дьявол донес ему весть в заточение. Значит, и по всей столице она распространится не сегодня, так завтра, по всему Мавераннахру!..

А может, об этом уже узнали и два других наследника? Двоюродные братья — Мирза Абдулла и Мирза Абу Саид? По моей воле их тоже бросили в зиндан [1], но надо проверить, как они там... Проверить самому. Никому не доверяя! Страшная весть все засовы сорвет... Защити, создатель, обереги от недругов, от происков их, не дай опорочить имя раба своего! Весь дворец, весь дворец полон недругов. Кругом враги! В каждом углу Кок-сарая тени двуличных!.. На кого, на кого опереться, кому довериться в этой злосчастной стране?»

Долго сидел так шах-заде: лоб на холодных подлокотниках вожделенного трона, глаза закрыты, уста шепчут просьбу простить грехи, укрепить мужество и волю, а в сердце все тот же страх, в ушах все тот же хриплый голос брата:

«Гнев господа на отцеубийце! Сама земля поглотит тебя, сама земля!..»

Шах-заде вздрогнул, услышав тихий скрип двери. Эмир Султан Джандар! Явился наконец! Хитровато-проворные глаза, крупные чувственные губы, выпяченные будто в усмешке.

Абдул-Латиф вскочил с места, бросился к эмиру, вцепился в отвороты его одежды.

— Ну, обманщик!.. Развратник! О твоих похождениях знает вся столица, весь Мавераннахр!.. Кто распускает подлые слухи!

— Оплот милосердия... О смерти своей ведаю...

— Не ведаешь?! А что побледнел?..— Шах-заде схватил вельможу за рукав чекменя.— Султана-богохульника, вероотступника казнил ты! Ты!.. А молва порочит меня!

Эмир Джандар отпрянул назад, произнес стонуще:

— Если была хоть капля неправды в том, что я сказал, пусть всевышний покарает меня, повелитель!

---

[1] Зиндан — тюрьма в подземелье.

— Долой с глаз моих, лицемер! — Шах-заде отвернулся. Заложив руки за спину, быстро прошел в глубь залы. Дернул шнурок голубых занавесей за троном, и они распахнулись, пропуская сверху, из окна под потолком, сноп солнечных лучей, от которых тотчас вспыхнули и бирюзовый этот потолок, и нежные краски настенных росписей, и багряно-червонные ширазские ковры на полу.

У Султана Джандара зарябило в глазах.

Скосив глаза, шах-заде глянул на вельможу. Голову-то эмир склонил, но все равно чудились в его фигуре ненависть к нему, шах-заде, и некая гордыня, какая бывает у человека, почитающего себя несправедливо обиженным. «Вон он каков, единственный мой оплот. Брови-то как насупил!.. Нет, с ним надо осторожнее».

И вдруг, словно ничего и не произошло меж ними, шах-заде повернулся к Султану Джандару и сказал:

— Ну, мой эмир, поведайте обо всем... Как там... обошлось?

Почувствовав, что гроза миновала, эмир Джандар заговорил с облегчением, сразу поняв, о чем хочет узнать шах-заде.

— Похоронили, благодетель... Закопали тело в углу во дворе медресе... Ни одной живой души не было ни в самом медресе, ни вокруг. Никто не догадается ни о чем и никогда...

— Кто был с вами во время... похорон?

— Саид Аббас.

— Еще?

— Ну, эти нукеры... четверо...

Абдул-Латиф со значением взглянул на Султана Джандара, глаза в глаза. Понял ли эмир, что хотелось сказать и не хотелось говорить шах-заде?

Абдул-Латиф медленно подошел к Султану Джандару — близко подошел, лицом к лицу.

— Слушайте внимательно, мой эмир... Всех, кто участвовал в этом,— у шах-заде не поворотился язык произнести слово «убийство», отыскивая, чем его заменить, он наморщил лоб,— всех, говорю, кто был при этом деле... всех надо... убрать! — Абдул-Латиф сделал резкий мгновенный жест, проведя ребром ладони под подбородком.

В глазах Султана Джандара промелькнул испуг, усы будто встопорщились.

— Обезглавить?.. Всех?..

— Не о вас речь, эмир. Что вы испугались, оплот мой верный? Вы моя правая рука, гора, на которую опираюсь... Остальных... всех убрать! У нас нет иного выхода, мой эмир. Или их тайная смерть, или позор... на нас обоих... из-за молвы людской.

— Но, мой благодетель... разве султана убили вы? Разве не ясно, что вероотступнику отомстил за смерть родителя своего Саид Аббас?.. Это могут узнать все.

— Нет!.. Нужно молчание. Полное молчание... Надо казнить их всех... Где Саид Аббас?

— Он сидит у ворот Кок-сарая, ожидая часа, когда вы позволите ему припасть к вашим стопам.

— Нет! В зиндан его. Тотчас! И тех нукеров тоже... И немедля, сегодня же им...— шах-заде опять провел ладонью по горлу.— Сегодня же... Вы поняли меня, мой эмир?

Эмир Джандар, побледнев еще сильнее, покорно склонил голову.

— Слово повелителя — закон для преданного слуги.

— Хвала вам, эмир... И еще одно. Что будут говорить о всех этих... делах самаркандцы, какая будет молва в народе — о том вы будете каждодневно докладывать мне. Ясна ли моя речь вам?

— Ясна, благодетель... Только вот еще...— Эмир Джандар взглянул опять на шах-заде с загадочной ухмылкой сообщника.— Никто лучше не осведомлен о слухах, которые ходят по Самарканду, чем шейх Низамиддин Хомуш. Нет такой молвы, которую не услышали бы его мюриды, нет такой щели, куда бы они не проникли!

Шах-заде кивнул головой в знак согласия — он понял намек — и отпустил эмира. Подождал, пока не затихли его шаги по лестнице, подошел к трону и без сил опустился на него.

5

Минула неделя — первая неделя власти Абдул-Латифа, полной, никем не оспариваемой власти.

Всю эту неделю шах-заде не выезжал из Кок-сарая. Он даже не выходил из той самой залы, где стоял трон и куда был открыт доступ для одного только эмира Джандара да ближайших прислужников, приведенных Абдул-Латифом из Балха.

Не прошло и полных суток после разговора шах-заде с Джандаром — черной полночью эмир вновь явился пред очи властелина с хурджуном на плече. На сей раз в знакомом мешке грязновато-темного цвета была завернутая в кусок серой бязи голова Саида Аббаса.

Абдул-Латиф знаком приказал развязать хурджун, но когда эмир, насупленный и угрюмый, вытащил круглую бритую голову, всю в запекшейся крови, и, держа ее за куце свисавшую бороду, хотел показать шах-заде вблизи, тот не выдержал; холодная дрожь пронизала все естество его, и он закричал: «Убери, убери!» Не готовность эмира Джандара выполнить тотчас любой приказ взволновала шах-заде, а беспощадность доверенного слуги, и волнение это было волнением страха. Тем более следовало бы избавиться от эмира, но разве не доказывал он своей верности Абдул-Латифу? Да и не рано ли убирать эмира Султана Джандара, коль жив был еще брат, этот сумасшедший и опасный Абдул-Азиз? Кому как не Джандару следовало теперь поручить...

Избавлюсь от Саида Аббаса и успокоюсь, так думалось шах-заде раньше. Успокоюсь, потому как распространять слухи об убийстве Улугбека всего выгоднее было кровнику отца, этому самому Саиду Аббасу... Но вот шах-заде своими глазами увидел голову, круглую бритую голову, отделенную от туловища человека, поклявшегося отомстить султану Улугбеку, увидел, а успокоение все не приходило. Напротив, как ни старался он отвлечься, думать о чем-то другом, бритая голова в кровавых пятнах, со своей куцей, жалкой бороденкой маячила перед ним, хоть закрывай глаза, хоть нет — все равно; а задремав, он тут же просыпался, будто нарочно будил его кто-то, стоящий у изголовья. И какие-то таинственные тени, прячась, все клубились в углах залы, и от любого шороха сердце готово было разорваться в ошеломляющем стуке.

Абдул-Латиф за эти несколько дней сильно похудел. Щеки его ввалились, глаза стали огромными, локти и плечи выпирали из-под одежды, словно острые щепки. Надо было бы позвать табибов [1], рассказать о недуге. Но этого шах-заде тоже страшился — во дворце и в столице не должны были распространяться слухи о недуге повелителя, недавно столь победоносного и крепкого... Шах-

---

[1] Табиб — врач, лекарь.

заде порой искал спасения от смятенных чувств своих в вине, но помощь вина, как водится, была минутной; проходил миг облегчения, и вслед ему еще мрачнее, чем прежде, надвигались мысли, тяжелыми осенними тучами заволакивали сознание.

Подумал однажды Абдул-Латиф и о плотских радостях, о знаменитых красавицах из гаремов отца и брата. Абдул-Латиф знал, что брат сумел раздобыть некую несравненную красавицу, газель, да и только, впрямь газель... Опустошив несколько кубков крепкого вина, он решил было убедиться, так ли она красива и... прытка, та газель. Но тут помешал сарайбон, почтительно доложивший, что своим посещением осчастливил дворец светлейших шейх Низамиддин Хомуш.

Шейх был духовным пиром шах-заде. В борьбе против Улугбека всецело поддержал притязания старшего сына. Шейх знает все и вся — и о нем самом, и о том, что делается в Самарканде. Абдул-Латиф побаивался шейха и сейчас невольно встревожился — что скажет ему пир, зачем он пожаловал так поздно, после вечерней молитвы?

— Скажи, что жду!

Шах-заде поправил одежду, разгладил складки на груди и плечах. Придвинул золоченое кресло поближе к тронному, уселся на трон. Приосанился. Но, завидев в проеме отворенной двери высокую фигуру шейха, всю в белом — поверх зеленого бархатного халата белое покрывало, поверх остроконечной бархатной тюбетейки белоснежная чалма,— почтительно привстал. Чуть подождал в надежде, что сам шейх подойдет ближе и первым произнесет приветствие. Низамиддин Хомуш, однако, не торопился; медленно перебирая янтарные четки, испытующе смотрел на шах-заде, не отходя от порога.

Шах-заде встал, приблизился к пиру, склонился в полупоклоне, пригласил занять кресло возле трона.

Шейх не спешил. Он все сверлил взглядом своего духовного воспитанника, и красивое, удлиненно-благородное лицо наставника выражало если не прямое недовольство увиденным, то жесткую решимость исправить то, что он увидел.

Полузакрыв глаза, шейх прижал руку с четками к груди. Неторопливо произнес молитву. Затем рокочущим властным голосом задал вопрос, коего и опасался шах-заде:

— Что случилось, счастливейший из счастливейших? Или посетил тебя недуг?

— Нет, слава аллаху, все хорошо у меня, мой пир...

— Венценосцы тоже, бывает, страдают хворями.

Абдул-Латиф облегченно вздохнул. Шейх выдал ему разрешение на болезнь.

— Мучит головная боль, это верно...

— Болит голова? Просто болит или дьявол-искуситель смущает покровителя истинной веры, вносит смятение в его душу?

«Догадался! Ничто не скроется от его духовного взора».

— Если последнее, если, повторяю, смятение тревожит душу, то денно и нощно следует славить аллаха, чем и укрепишься. Смирением изгоняется сомнение! И необходимо, чтобы такое усердие, шах-заде, стало видимым всеми, стало уроком для самаркандцев, которых вероотступники много лет совращали с истинного пути.

«Осуждает, что я заперся в Кок-сарае»,— подумал шах-заде. А шейх вдруг неожиданно спросил:

— Я слышал, что Саид Аббас в заточении. Зачем? Почему?

«Если б он услышал про дальнейшее, что бы сказал? А ведь услышит...»

— А затем... что он распространял всякие вредные слухи, задевающие честь раба аллаха, мой пир.

— Честь венценосца задевают слухи, распространяемые не Саидом Аббасом, а зловредными шагирдами султана-вероотступника, сын мой.

Духовный сын продолжал стоять перед наставником. Смятенный взгляд шах-заде был устремлен на спокойное лицо старца, на пальцы, сжавшие четки, на полузакрытые глаза; от благообразного лица веяло твердостью, а отнюдь не снисходительностью.

— Каких шагирдов имеет в виду светлейший шейх?

Шах-заде присел наконец на краешек кресла.

— Какие слухи зловредные ни рождались бы в народе, какие бы дурные дела и беззаконные заговоры ни замышлялись... против трона...— шейх повел в сторону трона рукой в тяжелых четках,— все это идет от тех мудрецов, что избрали нечестивый путь, мой шах-заде!.. Правильно, богоугодно было казнить султана-вероотступника, и это сделал сын мой духовный. Но бельмо на глазу осталось! Все эти ученики, что гнездятся в нече-

стивых медресе, в исчадии богохульства — обсерватории,— вот это бельмо!

Шейх смотрел снизу вверх на Абдул-Латифа, который сидел на тронном кресле прямо, тоже устремив взгляд в одну точку; лицо без кровинки, губы плотно сжаты, пальцы рук впились в колени.

— О, милостивый и всепрощающий шах-заде!.. Ведь надо знать, кого прощать и за что... Ведомо ли шах-заде имя Али Кушчи?

Абдул-Латиф кивнул: ведомо.

— Шайтаноподобный шагирд сошедшего с истинного пути Мухаммада Тарагая до сей поры мутит умы, грязнит чистых! До сих пор сидит в обсерватории. Ваш пир, повелитель, услышал худшую весть: сей вероотступник вывез оттуда святотатственные книги и где-то их спрятал...

— Где же?

— Ежели всепобеждающий султан не знает, как про то может знать раб аллаха? — Низамиддин Хомуш позволил себе чуть-чуть улыбнуться: незаметно, краешком губ. «Всепобеждающий султан — вот этот?..» — подумал он иронически, но взгляд его, не отрывавшийся от лица Абдул-Латифа, выражал теперь смирение перед величием повелителя.

Льстивые слова пришлись по нраву шах-заде. Шейх продолжал:

— И еще одна весть, шах-заде: из казны эмира Тимура — да воздаст всевышний должное великому воителю за веру истинных мусульман! — из казны прадеда твоего пропали сокровища... Верно ли это?

Шах-заде кивнул: верно.

— Так вот, знай, шах-заде, султан-вероотступник отдал их своему нечестивому шагирду! Гордец Али Кушчи, сказывают, спрятал их в том самом гнезде богохульства — в обсерватории. Знают о том два человека. Один — прежний шагирд Мухаммада Тарагая мавляна Мухиддин. Раскаялся сей ученый. Смиренно признал пагубность прежнего пути и снова встал на истинный... Он жертва... А второй — раб божий дервиш Давулбек... Пожелаешь, пошлю его к тебе, послушным и преданным будет рабом.

— Осчастливите меня этим, мой пир!

Шейх уперся в подлокотники кресла, поднялся... Выражение твердости, решимости сменилось на лице его

выражением отцовской ласковости, благорасположения.

Шейх был очень, очень доволен беседой. Ну, разве можно было бы представить себе что-нибудь подобное раньше, при Мирзе Улугбеке? Улугбек просто не дослушал бы шейха, начал бы сам учить его уму-разуму, как необразованного, темного имама какого-нибудь. А шах-заде совсем по-иному держится... Сидит, внимает.

Шейх уже больше года находился с Абдул-Латифом в тайной переписке. Склонял его к мятежу тоже он, шейх. И все же побаивался, что почтительность шах-заде к нему — лишь до завоевания трона, а после как бы не взыграла в духовном воспитаннике прадедова кровь, Тимурово коварство, истовое желание ни с кем власти не делить... Но нет, шах-заде ныне смятен и податлив. Мягче шелка. Ох, благо, благо, коли и дальше так будет! Не приведи аллах, возгордится шах-заде, как и родитель его!

— Благословенный шах-заде,— голос Низамиддина Хомуша ласкал, нежил, обволакивал,— благословенный шах-заде, есть у меня еще один совет, коль вы сочтете нужным выслушать его.

— Слушаю вас, пирим. Раб аллаха всегда был внимателен к советам вашим...

— Султан — тень аллаха на земле, шах-заде... Благосклонности аллаха удостаивается тот правитель, кто следует пути пророка и нигде не сворачивает с него. Потому Абдул-Латиф — султан, повелитель сего государства. И долженствует султану, ревнителю веры истинной, явить и гнев праведный. В зиндан всех этих людей науки! Всех, возмущающих умы и совесть!.. А все книги, что, как зараза, пришли к нам из чужих стран, в огонь! Все до единой!

Шейх не сдержался. Он начал кричать и размахивать руками.

— И пусть днем и ночью тебя снедает это богоугодное желание! Или ты уничтожишь нечисть и тем возрадуешь дух пророка нашего Мухаммеда, или вероотступники сбросят тебя с трона!.. Но не удастся, не удастся! Благословение высокого нашего учителя ишана Убайдуллы Ходжи Ахрара с нами... Ясна ли моя речь, шах-заде?

— Ясна, мой пир.

— И извергни отныне из сердца своего сомнения, ибо все правоверные Мавераннахра молят за тебя всевыш-

него! — воскликнул Низамиддин Хомуш.— Должно показать себя народу, шах-заде, а не проводить долгие часы уединенно в этих чертогах... Должно посетить гробницы святых, постоянно навещать мечети, а в главной, соборной, каждую пятницу проповедовать, дабы, видя и слыша своего повелителя, возрадовались бы истинно верующие. А смутьяны и нечестивцы убоялись бы, опять скажу, гнева праведного... Да позволит аллах свершиться всему этому!

Шейх поднес ладони к лицу.

Потом чуть враскачку двинулся к выходу. Абдул-Латиф хотел было проводить наставника, но тот остановил его знаком — нет необходимости...

Шах-заде почувствовал усталость. Но эта усталость была совсем иной. Успокоение пришло. Он знал это по сладкой истоме тела, по слипающимся сонным глазам. Приоткрыв их, удивился — эта громадная зала, казавшаяся ему недавно темной и враждебной, сияла, словно под солнечными лучами: и бирюзовые краски сводчатого потолка; и радостно-изящные, какие-то сладострастные даже росписи на стенах; орнаменты, изгибавшие свои золоченые линии; золоченые кресла вдоль стен; ширазские ковры на полу — золото, яркость, благородная светлая желтизна — разве все это не знак власти, удачливой силы?! Чего же ему бояться? Он воевал за эти золотые хоромы, за султанский трон. И вот он здесь. И еще воевал он за то, в самом деле, чтоб изничтожить всех нечестивцев! Он проявил жестокость? Но того и требовал шариат! Ему, Абдул-Латифу, некого и нечего бояться!

Громко застучал он колотушкой, призывая сарайбона, а когда тот явился, передал через него приказ: послать гонца к эмиру Султану Джандару. Пусть эмир сразу же отправляется в обсерваторию.

Схватить этого нечестивого Али Кушчи и его учеников! В зиндан их, немедленно в зиндан!

6

Примерно с неделю прожил Каландар Карнаки у Тимура Самарканди. И никуда не выходил из пещеры, нигде не показывался.

Днем Каландар помогал кузнецу: то раздувал мехи, то держал на наковальне тяжелую поковку, то сам сту-

чал большим молотом, придавая раскаленному железу нужную форму.

Каландар научился чинить котлы, кумганы, чайники. Полюбил он и приготовление чая — дело не простое, а главное, с пользой убивающее время. Чаю нужно было заваривать много: в пещеру к Уста Тимуру по вечерам обычно собирались соседи-ремесленники — кузнецы, изготовлявшие подковы и гвозди, слесари, жестянщики, каменотесы, резчики по кости и дереву, чеканщики и сундучники. С небогатыми гостинцами наведывались братья Калканбек и Басканбек, и тогда, казалось, вода в черном кумгане над огнем бурлила особенно сильно, и под стать ей живо бежала беседа. Новости из Самарканда не радовали, правда: мастерские ремесленников и лавки торговцев были все еще закрыты из-за страха перед грабежами, цены росли с каждым днем.

Беседа после «ахов» и «охов» снова сворачивала к последним дням Мирзы Улугбека, тем дням, когда еще можно было бы — особенно по мнению молодых собеседников и прежде всего горячих братьев-кузнецов — поправить дело.

— Повелителю надо бы собрать ополчение, кликнуть к себе таких, как мы! Да, да, бедняки, простые люди закрыли бы ворота Самарканда перед жестокосердым шах-заде! Мы бы не пустили его в город!

Каландар не перебивал Басканбека и Калканбека, молчал. Сразу вспоминались последние напутствия Мирзы Улугбека, слезы его при прощании с Али Кушчи и с ним, Каландаром, и больно сжималось сердце у дервиша, никого не хотелось ни видеть, ни слышать. Каландар отходил в сторону, падал лицом вниз на земляной пол в углу пещеры и долго лежал там, неподвижный, будто отсутствующий. А Уста Тимур, обращаясь к молодым спорщикам, говорил, неторопливо растягивая слова:

— Молодо-зелено, молодо-зелено, и мало что вам понятно... Если ветер такой, что верблюда подымет, то козу-то и подавно... Попади город в осаду, кому трудней пришлось бы? Не шах-заде, нет, а таким беднякам, как вот вы да я. Знать бы взаперти похудела, а голоштанные дух свой испустили бы... Так что, сынки, помолчите уж про осаду-то...

За разговором время движется вроде и быстрее. Но ближе к зиме, известно, ночи длинней. Каландар долго-долго, обычно до самого рассвета ворочался с боку на

бок. Несколько дней прошло, и ему, степняку, стало казаться, что гостеприимная пещера кузнеца слишком темна и слишком тесна. Он чувствовал желание немедля уйти отсюда, если не в степь, то в ближние кишлаки и сады, пусть его поймают, пусть схватят. А то сидишь без дела, точишь-точишь слова... Но Каландар сдерживался. Он знал, что его в самом деле ищут. Знал точно, потому что в начале его сидения в пещере к нему явился по поручению Али Кушчи Мирам Чалаби и вместе с приветствием от мавляны передал строгий наказ быть осторожным и ни в коем случае не появляться в городе. Ведь когда он, Каландар, ушел из обсерватории, туда по горячему следу нагрянула дервишеская братия, искали не кого-нибудь, а его, Каландара. Шакал искал, самолично, рассказывал Мирам.

Стало быть, тут действовала рука шейха Низамиддина Хомуша.

В памяти встало разгневанное лицо мстительного шейха, и Каландару на миг даже здесь стало не по себе. Шакал ищет его, бегает, разнюхивает. Вот и неподалеку от пещеры не однажды слышалось гнусавое пение: «О аллах, о всемогущий...».

Нельзя уходить отсюда, нельзя. Надо пересидеть, переждать!

Но как это тяжело! Особенно вечернее бездействие, все эти повторяющиеся разговоры под медлительное позвякивание пиал, под бульканье воды, наливаемой из кумгана в чайники, из чайников в пиалы... Каландар вспоминал родной край, свой далекий Карнак, вспоминал степь и холмы в степи, в просторах которой протекло его детство, вспоминал речки с прозрачной горной водой, в которых он ловил рыбу и купался, урюковую рощу неподалеку от кишлака: весною мальчишки любили забираться на деревья, наедаться недозрелыми плодами. Не раз вспоминал Каландар и свою любимую младшую сестру (ее захватили кипчаки при набеге), видел ее живо, будто воочию: вот вернулась она в их родной кишлак Карнак, пришла на кладбище, что сбегает вниз по склону Караул-тепе, пришла, отыскала могилу отца и матери и плачет над ней, плачет... Милое заплаканное лицо видит перед собой Каландар. Слышит мольбу, к нему, старшему брату, обращенную: «Где же вы, брат мой, куда занесла вас судьба?.. Далеко ль от отчего дома? Если вы, братец мой старший, не сумеете возжечь

светильник на могиле благословенных родителей наших, то кто же это сделает?!»...

Вот и сегодня, наверное, до самого рассвета ничего не получится у него со сном! Неотступно стоит перед глазами далекое, незабываемое...

Старая крепость Карнак расположена на взгорке между двумя речками — са́ями. Высокие глинобитные стены зубцами подпирали небо — по крайней мере, так казалось в детстве,— а ров вокруг крепости был бездонно глубок. Поселение за стенами было невелико, узкие улицы обойти быстрым ребячьим ногам не составляло никакого труда: один миг — и готово!.. Ранней весной на плоских крышах домов прорастала нежная зеленая травка, даже маки иногда поднимались — в ту пору на крышах царствовала детвора: мальчишки запускали змеев, девочки играли в мячики, сваляные из шерсти. Когда устанавливалась теплынь, надо было ставить лицом к степи дозоры за одной из речек, на верхушке небольшой горы, так и прозванной Караул-тепе, «гора сторожевая башня». Под присмотром дозорных все мужчины Карнака, и стар, и млад, выходили на пахоту, сеяли ячмень и пшеницу, работали в садах и виноградниках. Но вот наливались первые, еще зеленые, плоды урючин, и в степи начиналась пора гуляний, праздничная пора. Молодые мужчины и женщины, а тем более девушки и юноши, как все радовались этим веселым дням!

Утро черного дня, когда налетели враги, похитившие любимую сестру Каландара, было утром такого именно праздника.

Каландару тогда исполнилось шестнадцать лет. Сильный, ладно скроенный, видный собой, он уже разжег костер в сердце не одной карнакской девушки.

В тот день отец ушел вместе с погонщиками верблюдов на базар в Ясси, а Каландар впряг в плетеную арбу лошадь — и сейчас помнится белая отметина на ее лбу,— усадил в повозку мать, сестру, соседских девушек и покатил в сады на гулянье; а сады находились по ту сторону сая, около окруженного карагачами кладбища. Рукава засучены выше локтя, в распахнутой рубашке, подставив оголенную грудь утреннему ветру, лихо сдвинув набок тюбетейку, Каландар не ехал — летел, словно на крыльях, потому что среди девушек рядом с его сестрой была, тоже шестнадцатилетняя, красавица, чей образ не давал ему тогда покоя. Девушка эта в красной

косынке на голове, в красном домотканом платье, которое очень шло ей, изредка посматривала на Каландара, что беспечно поигрывал ивовым прутиком, подгоняя и без того резвую лошадку. И Каландар в свою очередь посматривал украдкой на девушку, и, когда их взгляды ненароком встречались, большие пугливые глаза девушки делались еще больше, она отводила взгляд, заливалась кумачовым румянцем, а подруги громко хохотали, и начинались безобидные, веселые шутки, подтрунивания, шалости.

Целый день был тогда Каландар в каком-то легком, парящем настроении. Ему нравилось видеть сквозь зелень листвы мельканье синих, красных, желтых девичьих платков — как только они приехали в сады, девушки бусинками рассыпались по поляне, будто маки и тюльпаны украсили зеленую лужайку. Каландару нравилось разводить огонь для варки праздничных угощений, таскать женщинам-хозяйкам воду из сая, лазить по деревьям за еще незрелыми, но вкусными плодами, чтобы угостить детей и девушек. А больше всего нравилось ему, что в саду рядом с ним соседская девушка, лучше, красивей всех других. Она то и дело обращалась к Каландару, и не было ничего приятнее, чем принести воду ей, приготовить хворост для ее костерка, навстречу ее рукам и губам наклонить ветку урючины, и даже то было приятно, что, стоило Каландару подойти поближе, она отпрыгивала, словно серна, исчезала в зарослях, и поди-ка поймай ее там!

Весенний день пролетел быстро. Засобирались обратно. Молодые женщины и девушки нарвали мяты, набрали в платки урюку, простоволосые, с вплетенными в волосы розовыми, сиреневыми, синими степными цветами, они казались еще красивей, чем прежде.

Ехали обратно, как водится, под песни, то задумчивые, то весело-озорные.

Немного успели спеть песен! Не доехав до речки, услышали, как гром с неба, крики караульных: «Эй, люди, спасайтесь! Враг, враг!»

А потом все потонуло в грохоте копыт.

Каландар нещадно стегал лошадь, арба гремела. Обернувшись, юноша увидел, как со стороны Караул-тепе выплеснулась темная конная лава. Сотня всадников, завывая, размахивая кривыми саблями и булавами, вскинутыми наголо, покатилась вниз. Наперерез кину-

лись свои джигиты, но то была горсточка! Лава захлестнула их, поглотила, и вот уже первый терзающий душу женский крик, первый отчаянный детский вопль прозвучали на всю окрестность.

Каландар бросил поводья сестре. Чей-то привязанный конь в зарослях у самой речки бил копытом землю, чуя шум недалекой схватки. Одним прыжком Каландар взлетел на скакуна, веревка лопнула, конь взвился на дыбы. Каландар нагнал арбу — там была булава — и, не обращая внимания на крики девушек и громкое причитание матери, повернул коня навстречу врагам.

Их много тогда налетело на него, человек десять. Они были одеты в удобные для боя шерстяные темные чекмени, войлочные тельпеки закрывали их головы, рты раздирал воинственный крик: «Враг бежит, враг бежит!!» Но Каландар не бежал.

Первым перед ним оказался здоровенный — не лицо, подушка! — степняк, яростно кричавший: «Враг бежит!». Лошади сшиблись, бешено заржали. На какую-то долю мига Каландар опередил вражеского воина с ударом — тот вывалился из седла, будто сбитый с головы тельпек. Успел свалить Каландар и второго всадника, но тут и по его голове пришелся удар булавой. Закрывая руками лицо, Каландар пал с лошади, искры посыпались из глаз, и то, что увидел он перед тем, как потерять сознание, был конь, окруженный вражескими всадниками и увлекаемый от места схватки. Через какое-то время Каландар пришел в себя. Показалось ли ему, или так было на самом деле, он не знает до сих пор, но он увидел, как мимо него промчались враги с перекинутыми через седла, звавшими на помощь девушками — сестрой и соседкой!

Почему, почему тогда он не умер?

Сколько тяжелых ударов судьбы пришлось на его долю и позже, сколько мытарств, тягот и унижений!

Неделю спустя после того стремительного кипчакского набега Каландар, еще не вполне оправясь от ранения, участвовал вместе с другими молодыми джигитами из родного кишлака уже в большой битве против степняков. Джигиты Карнака сражались, как тигры, но судьба была немилостива к ним, да и силы врага намного превосходили их собственные. Там, в бою, недалеко от города Ясси, погиб отец Каландара, а сам он

снова был тяжело ранен; спасли товарищи, сумевшие вытащить его из сечи, окровавленного, беспамятного.

С тех пор и началась его жизнь скитальца. Бесприютный чужак! Никогда не чувствовал он так остро смысл этих жестоких слов, как ныне. И вправду, что держит его теперь здесь? Хуршида-бану? Это луч, который уже погас для него, звезда, которая закатилась. Завет, оставленный Улугбеком и Али Кушчи? Но это ведь не к нему, не к Каландару, обращен завет, и все, чем он мог помочь мавляне, все это он сделал... Да, надо подаваться в родные края. Пора! Ни землякам своим, ни себе не отыскал он здесь пользы, а зажечь светильник у могилы родителей, чтоб возрадовался дух отца и успокоился дух матери, его долг: не смог исполнить сыновний долг, когда родители были живы, исполни хотя бы после их смерти. И торопись с исполнением!

Утром за скромной трапезой Каландар раскрыл свои намерения старому кузнецу.

Уста Тимур Самарканди долго молчал. Рука его то сжимала желтоватую, продымленную кузнечным жаром и чилимом бороду, то бесцельно гладила латаную-перелатаную шапку из бараньего меха. Узкий сноп лучей падал сквозь отверстие сверху на морщинистое и землистое лицо старика, на высокий, в блестящих капельках пота лоб, на плотно сжатые губы, и грустным, очень грустным было это лицо.

— Каландар, сын мой,— сказал наконец старый мастер.— Когда ты впервые появился в этой неуютной лачуге, в бедной моей пещере, я обрадовался, очень обрадовался. Не было у меня сына, думал я, так вот бог наделил сыном меня, бедного, всеми забытого раба. Я радовался, что появился человек, который побеспокоится, чтоб над телом моим прочитали святой коран, который затеплит свечу над моей могилой... Ну, а теперь не знаю даже, что сказать тебе, сынок, в ответ на услышанное от тебя... Не знаю... А неволить тебя не смею.

Не знал и Каландар, что сказать старому мастеру, но чувствовал, что слова Уста Тимура, будто острые иглы, колют сердце. Но одно утешение старику может он все же высказать:

— Отец, могила ваша не останется без светильника, а душа без молитвы близкого человека. В Самарканде нет того, кто не знал бы, не почитал бы вас. Любой ре-

месленник... А Каланбек с Басканбеком?.. А мавляна Али Кушчи?

— Слава аллаху, сынок, слава аллаху, кое-кто помнит еще обо мне,— подхватил Уста Тимур.— Не чтобы разжалобить тебя, говорю, и не для того, чтоб мешать тому, что ты задумал. Мои слова — моя любовь к тебе, Каландар... Тимур Самарканди хорошо знает, каково бывает человеку на чужбине. Недаром считают: лучше у себя на родине быть чабаном, чем на чужбине султаном... Сыновнее почитание — святое дело и для молодого и для зрелого человека. Ты хочешь вернуться домой, хочешь порадовать дух родителей своих. Дай-то бог осуществить тебе эту цель... А путь тебе дальний и опасный. Что нужно, чем я могу помочь, скажи. Здесь,— старик показал на жилище,— все твое, если тебе что-то нужно. И скажи мавляне — пусть даст золота...

— Золота? Нет, отец, золота не нужно такому, как я. Вы сами не раз говорили: о доле бедного печется сам всевышний... Будет у меня хлеб в дорогу дня на два, ну, и соли — вот мне и хватит. Да и степь наша не голая, не пустая — и людей, и городов, и сел немало. С мавляной Али Кушчи я, конечно, попрощаюсь, но золота... мне золото не нужно.

Уста Тимур погладил колено Каландара твердой и широкой, как кетмень, ладонью, усмехнулся грустно.

— Эх-хе-хе, молодо-зелено... ты джигит, и сердце твое чисто, знаю. Но что же делать, коли этот желтый металл тоже нужен в жизни? И как еще нужен!.. Кому-то золото приносит беду, знаю, но, бывает, и почет, и уважение... Так что и джигиту нелишне золото. Знаю про это больше тебя. Что знает старик, того и ангел не ведает!.. А стесняешься, так я сам скажу мавляне Али.

Отъезду Каландара в тот раз не дано было, однако, осуществиться.

Он собирался выйти из пещеры поздним вечером, когда утихнут улицы, когда меньше вероятия встретить какого-нибудь нежелательного путника. Каландар хотел направиться к обсерватории, проникнуть в нее через уже известный подземный ход, попрощаться с Али Кушчи и вернуться тем же ходом к условленному месту, где ждали бы его братья Калканбек и Басканбек с конем. Уложены были в одну из переметных сум хлеб, соль, перец, толокно, в другую одежда и мелкая посуда, деревянная ложка, столь необходимые страннику; спря-

тан в надежном месте, но так, чтоб легко мог оказаться под рукой в случае нужды добрый кинжал, сделанный самим Уста Тимуром и подаренный на дорогу, «отбиться от лихого налетчика»; надел Каландар теплый чекмень, нахлобучил черный, бараньей шерсти тельпек — все это Уста Тимур принес откуда-то еще днем,— а выходить все медлил, все прислушивался за дверью к людским шагам на площади, к шуму, к звукам, которые не затихали там до позднего часа. Наконец Каландар решился, да и пора было — за полночь. Перетянулся поясом, вскинул на плечи хурджун. Подошел Уста Тимур, держа маленький светильник с горящим маслом. Приткнул светильник куда-то в нишу в стене, обнял Каландара, поцеловал в лоб. И только поднял к лицу темные свои ладони старый мастер, чтобы сотворить молитву за благополучие в путешествии, в дверь тихо, но внятно постучали.

Каландар бесшумно отскочил в тень. Уста Тимур вновь взял в руку светильник и неторопливо пошел к выходу.

— Кто там не дает людям спать по ночам? — нарочито грубо спросил он, не поднимая засова.

— Прошу простить, Уста, это я, Мирам Чалаби.

— Кто-кто? Какой Мирам? — старик повернулся к Каландару. Тот, скинув с плеч хурджун, одним прыжком пересек входной коридорчик.

— Отец! Это ученик мавляны... Разрешите, я сам открою!

Мирам, бледный, босой, без шапки, был похож на нищего с самаркандского базара. Слышно было, как он всхлипывает в темноте.

— Что, что случилось? — вскрикнул Каландар, уже чувствуя, что случилось что-то страшное.

— Учитель... учителя... в зиндан...

— Когда?!

Каландар выяснил, что вчера после вечерней молитвы — хуфтан в обсерваторию ворвалась четверка нукеров, перевернула там все вверх дном, а потом увела мавляну Али Кушчи. Матушка мавляны была при этом, она кричала, плакала, рвалась к сыну, бедняжка, а после того, как увели мавляну, упала в обморок, и потому он, Мирам, не мог сразу же сообщить Каландару о случившемся: надо было посидеть со старушкой, хоть немного ее успокоить...

— Куда увели мавляну, узнал?

Мирам Чалаби кивнул. Еле слышно сказал:

— Узнал... В темницу Кок-сарая...

Светильник в руке Уста Тимура дрогнул.

«Что же делать? Как быть теперь?»

Вид у Каландара был решительный, грозный даже, но на самом деле дервиш был растерян. Понятно, что с отъездом придется повременить. Повременить? Да посмеет ли он вообще уехать, пока не решится, пока останется неясной судьба мавляны?

Каландар отер пот со лба; ему опять вдруг представилась сестра, сидящая у родительской могилы, ее жалобные причитания — только не по их собственным родителям, а почему-то по матушке мавляны — Тиллябиби.

Каландар посмотрел на Уста Тимура: старый кузнец стоял, беспомощно прислонившись к стене, смежив веки.

— Чего искали нукеры? Книги, что ли?

— И книги... И золото... Кричали, будто в обсерватории спрятано золото...

«Это мавляна Мухиддин! Он, он раскрыл тайну! Жалкий доносчик! Не ученый муж, а презренный изменник!»

Каландар, будто устав, тоже прислонился к стене.

«Что же делать?.. Надо остаться... Остаться... Но смогу ли я чем-нибудь помочь наставнику?.. Так что ж, уехать, потому что не можешь помочь? Это бесчестно... Вот их тоже, этого мальчика и этого растерявшегося старика... ведь их тоже нельзя оставить сейчас...»

— Каландар, сын мой, этот талиб совсем замерз,— сказал старый мастер,— надо бы напоить его чаем.

— Да, да, сейчас...

«Нужно пойти к мавляне Мухиддину, схватить этого труса за горло, пусть он откажется от своего доноса!»

Планы, один другого смелей и отчаянней, роились в голове Каландара, пока он разжигал огонь, готовил чай.

В ту калитку... ту, садовую, откуда он проникал в сад, подходил к окошку Хуршиды-бану... Он пройдет через сад, проникнет из сада в гостиную мавляны Мухиддина... Ему бы только остаться с мавляной лицом к лицу, один на один, уж тогда он найдет, что сказать этому слезливому предателю... Да, да, надо сразу же, немедля идти туда, в покои богача ювелира, надо брать их за горло, этих изменников, корыстолюбцев... Заста-

вить мавляну Мухиддина отказаться от навета на Али Кушчи, иначе жизнь учителя повиснет на волоске и так легко будет оборвать этот волосок, так легко!

7

Хуршида-бану сидела в своей тихой комнатке и вышивала бархатный занавес. Но дело двигалось медленно, запасы ниток, узоры которых так красиво выглядят на темно-синем самаркандском бархате, почти не уменьшались: молодая женщина не столько работала, сколько прислушивалась к тому, что происходит на дворе.

А там раздавались настойчивые, повторяющиеся звуки шагов. Не чинные то были шаги отца, мавляны Мухиддина, а нервные, быстрые, сопровождаемые постукиванием трости шаги дедушки, Ходжи Салахиддина. Да и не было дома отца. Недавно, после вечерней молитвы, его увели. Нагрянули нукеры из Кок-сарая и увели с собой куда-то. И деду не сидится на месте, он все ходит и ходит по двору, выглядывает то и дело за калитку и опять возвращается, громко стуча кавушами и тростью.

Каждый раз, когда дед выходил на улицу, сердце Хуршиды замирало, игла начинала особенно заметно дрожать в пальцах — не появятся ли снова эти грубые нукеры, не загремят ли опять бесцеремонно и нагло по дорожкам двора подкованные их сапоги. А их окрики, их резкие приказы! И отец, согнувшийся в низком поклоне, жалкий, дрожащий, словно осиновый лист...

То, что произошло совсем недавно, напомнило ей другое событие, весной. Тогда тоже ворвались к ним в дом нукеры, тоже стучали сапоги.

Три месяца минуло после свадьбы. Хуршида, похоронив надежду на возможность счастья с Каландаром, начала привыкать к мужу, нелюбимому, но, что ж делать, посланному богом хозяину своему, тому, кто кормил и одевал ее и кому она, чего нельзя было не почувствовать, нравилась. Однажды вечером муж пришел из Кок-сарая, где служил в какой-то канцелярии, бледный, объятый тревогой. И страх и страдание читались в его глазах. Он подошел к Хуршиде, сидевшей и в тот раз за вышиванием, поднял с места, долго и пристально вглядывался в ее лицо. Впервые видела его таким Хуршида. Подавшись назад, беспокойно спросила:

— Что случилось, господин мой?

Мирза не ответил. Притянул ее к себе, прижал, стал целовать лицо, глаза, руки, шею, но были это не поцелуи любви или вожделения, а все та же непонятная ей и почти уже безумная тревога. Задыхаясь, он оторвался от нее и вдруг стал резко, отрывисто приказывать:

— Быстро... Тотчас собери свои пожитки! А в шкатулку драгоценности!.. И потеплей оденься!.. Мы отправляемся далеко, далеко!.. Побыстрее! Спеши, спеши! — И выбежал из комнаты.

Хуршида заметалась среди сундуков с платьями и дорожной одеждой, шкатулок, где во множестве хранились украшения, натянула кабульские сапожки, повязала голову белым теплым платком из верблюжей шерсти, собрала в небольшую шкатулку особенно дорогие вещицы.

В доме тем временем началась какая-то суматоха: слышались пугающие покрикивания, хлопали двери.

Приближались сумерки, и печально-высокий голос муэдзина — призыв к молитве — донесся от ближайшей мечети, но не до молитвы было в темном, без единого огонька доме мужа, только в комнате Хуршиды горели свечи.

Муж вбежал уже в лисьем малахае, в шубе, наброшенной на плечи, с нацепленной на бок саблей. Хуршида тоже была почти готова. Мирза снова кинулся к ней, стал целовать щеки, глаза, бормоча бессвязно, безумно:

— Зачем... зачем аллах подарил тебе такую красоту?!

И застыл на месте.

С внешнего, большого двора послышались шум, крики, звон оружия; вихрь этих звуков стремительно пронесся по двору внутреннему; грохнули двери дома; громко заплакали дети, заголосили женщины, зачертыхались грубые мужские басы. Мирза кинулся к дверям, ведущим в их комнату, судорожными движениями стал накидывать цепочку на штырь — руки дрожали, не слушались его. Грохот сапог раздался совсем близко. Кто-то сильно ударил ногой в дверь. Мимо головы Хуршиды-бану пролетел кусок разорвавшейся дверной цепочки и, жалобно звякнув, ударился о большое серебряное блюдо в нише.

Словно черный смерч, ворвались в комнату воины. Мирза выхватил саблю из ножен, но тут же был сбит с ног, несколько человек упали на него. Вырвали оружие, стали бить, мять, ломать извивавшееся на полу

тело. Остальные набросились на Хуршиду. Ей заломили назад руки, накинули на голову какое-то темное душное покрывало и, спеленатую, подхватили, подняли, понесли куда-то. Хуршида еще некоторое время отбивалась, выпростала на миг голову из-под покрывала, успев заметить, как мужу, брошенному лицом вниз на пол, связывают на спине кисти вывернутых рук тонким ремнем, а потом сознание покинуло ее.

Хуршида пришла в себя уже в Кок-сарае.

Она лежала на ложе из мягких шелковых одеял;

сводчатый потолок, казалось, нависал прямо над запрокинутой головой; вокруг по ярко освещенной зале бегали, суетились молодые женщины, все в многочисленных, нежно позванивавших украшениях, бусах, браслетах. Они подносили к ее носу какие-то хрустальные флакончики, откуда пахло остро и терпко, терли лоб и щеки прохладной цветочной водой. Когда Хуршида-бану полностью осознала, где она, к ней явилась и госпожа гарема. Хуршиду чуть ли не силой заставили выпить пиалу вина, потом повели в баню.

В ту же страшную ночь к ней пришел Абдул-Азиз.

До сих пор Хуршида-бану, если вспомнит горящие вожделением глаза шах-заде, его лицо, искаженное нервным тиком, его нескладное, длинное, малосильное тело, чувствует, как к горлу подкатывает тошнота...

Смахнув слезу с кончиков ресниц, Хуршида опять прислушалась к шагам во дворе. Но что это? Какой-то стук явственно донесся до ее слуха вроде бы с другой стороны. Будто кто-то постучал в окно, выходящее в сад?

Замирая от страха, Хуршида посмотрела на старую служанку, безмятежно спящую в углу комнаты: ждала-ждала, бедная, мавляну Мухиддина, который сказал, что скоро, мол, вернется, и не выдержала — заснула.

Хуршида на цыпочках подошла к занавешенному окошку.

Вот еще раз постучали. Так стучал когда-то Каландар, только он! Неужели?.. Что могло понадобиться дервишу Каландару?.. Хуршида оглянулась: старушка мирно спала, свернувшись в клубок, ровно ребенок... «Нет, это мне почудилось»,— сказала сама себе Хуршида-бану, вдруг почувствовав острое разочарование, вспомнив сразу и то, как стучал когда-то Каландар в это оконце, и свою последнюю встречу с ним, у ворот; слезы снова навернулись на глаза. «Три раза подряд... небольшие перерывы... Так он стучал... А сейчас почудилось... Видно, это ветер... А в последний раз...»

Вот уж не думала она, что встретит Каландара в дервишеском рубище у ворот мужниного дома, хотя и слышала о том, что влюбленный в нее молодой мударрис оставил медресе и заботы грешного мира сего. Встретив Каландара, заросшего волосами, в ветхих лохмотьях, в старом-престаром треухе, она испытала тогда и острую боль, и жалость, и даже испуг. Она сама не знает, зачем захотела остановить Каландара, зачем вскрикнула «гос-

подин мой!» и как нашлась с этим объяснением про дурной сон. Муж ничего не заподозрил, кроме желания воздать нищему за нищету. В ту ночь нетерпеливые ласки мирзы, его, как обычно, жадные поцелуи были для нее, словно горькая отрава. Муж скоро заснул, а Хуршида неслышно проплакала целую ночь, и все грезился ей Каландар — и тот, в рубище, но с глазами, жарко вспыхнувшими при ее возгласе «господин мой!», и прежний Каландар, поэт Каландар, читавший ей стихи, робевший обнять ее в те счастливые минуты, когда они оставались одни в доме.

Счастье, счастье, где оно теперь, ее счастье, и возможно ли оно вообще?

Но что это? Опять стук! Опять... Раз, два... три!..

А старая спит... Раньше она первой выходила узнать, кто пришел, не Каландар ли, а уж тогда и Хуршида летела на свидание... Еще раз постучали, и опять трижды: стук и маленький перерыв, стук и маленький перерыв.

Хуршида-бану торопливо повязала пуховым платком голову, накинула душегрейку, сунула ноги в изящные кабульские кавуши. Тихо выскользнула из комнаты, потом из дома, миновала огромный, как в самом Кок-сарае, двор, еще освещаемый в поздний час каменными фонарями, и остановилась, тяжело дыша, перед калиткой в сад... Прислушалась. Всюду тихо, а из комнаты дедушки еле сочился тусклый свет, видно, уйдя в воспоминания, Хуршида и не услышала, как Салахиддин-заргар вернулся в дом и заперся у себя.

Женщина осторожно сняла цепочку и отворила калитку.

Никого! И дальше, у окошка ее комнаты со стороны сада — тоже никого. С замирающим сердцем двинулась она ве́домой когда-то тропинкой к орешине. Вдруг там, у дерева, словно ветка хрустнула. Хуршида остановилась, вгляделась в темное пятно под деревом. Едва различила фигуру человека с треугольным колпаком на голове... Он! Каландар!

Вмиг обессилев, Хуршида схватилась за ветви тальника у арыка... Тень под орешиной шевельнулась, замельтешила в путанице ветвей.

— Не бойтесь, матушка, это я, дервиш Каландар,— донесся шепот.— Хуршида-бану?! Это вы, госпожа?

Хуршида несмело подошла к орешине, все еще не глядя на Каландара. Зачем-то разгребла накиданные у

корней сухие ветки. Искоса посмотрела на стоящего рядом. Дервиш повернулся спиной к свету неполной луны, и, потому, наверное, могучая фигура его и заросшее бородой лицо казались мрачными, отпугивающе темными. Нет, непохоже это замкнутое, нахмуренное лицо на светлое ласково-печальное лицо прежнего Каландара. Только глаза были знакомые. Как будто излучали свет.

— Простите меня, госпожа,— Каландар смущенно кашлянул.— У меня к отцу вашему... к мавляне Мухиддину... небольшое дельце... Нельзя ли позвать его?

И голос был другим — чужой голос, незнакомый.

— Его... его нет дома.— Теплый комок слез подкатил к горлу.— Его увели в Кок-сарай... Нукеры приходили за ним.

— Нукеры? Когда?

— После вечерней молитвы... Четверо нукеров,— зачем-то добавила она.

А вот ее лицо для Каландара совсем не изменилось. Или в том виноват был лунный свет, что лился сквозь ветви старой орешины? Удлиненный овал, высокий чистый лоб, опушенные густыми ресницами глаза доверчиво и кротко смотрят из-под темных бровей, и все так же нежны губы, все те же маленькие ямочки по краям, чуть сверху, над концами губ... Нет, что-то все-таки изменилось в ней. Похудела, стала еще тоньше, стройнее.

Пристальный взгляд дервиша смущал Хуршиду-бану, она отвернулась.

Будто грустный напев звенел в душе Каландара, напев, который звенел в нем прежде, когда он встречался с девушкой наедине, думал о возможном счастье. Положив подбородок на сплетенные кисти рук, краснея и восторгаясь, слушала Хуршида его стихи, и эта ее поза, и стыдливая тяга ее к нему вызывали в душе Каландара ласково-грустный напев любви, более упоительный для него, пожалуй, чем призыв горячей, жаркой страсти.

«Не надо огорчать ее. Она ни в чем не виновата».

— Не бойтесь, госпожа, за отца. С ним ничего не случится!

— Да сбудутся ваши слова,— прошептала, все еще не глядя на него, Хуршида-бану.— Время уж за полночь, а о нем нет вестей...

— Уверяю: ни один волосок не падет с его головы!

Хуршида уловила что-то такое в голосе Каландара, что заставило ее наконец посмотреть ему в лицо.

— Откуда вам знать?

— Я знаю, госпожа. Знаю! Потому что...

Ясные глаза смотрели на него, блестя то ли от слез, то ли от лунного света. «Не надо огорчать ее. Она ведь ни в чем не виновата. Зачем ранить ее сердце еще и вестью о черной измене отца?»

— Что ж вы замолчали?

— Потому что... будет лучше, госпожа, если вы не будете знать об этом...

— Почему же?

— Потому что... то, что знаю я, вам не надо знать... Это причинит вам боль...

— Но зачем же вы начали говорить, если знали, что это причинит мне боль? — Хуршида-бану протянула руку и положила ее на согнутую в локте руку Каландара.— Говорите же, прошу, говорите, пусть даже меч занесен над моей головой!

Каландар опустил голову, он понял, что, промолчав, больше обидит, сильнее ранит ее сердце, чем сказав то, о чем решил было не говорить.

— Простите, Хуршида-бану, я очень, очень виноват перед вами...

— Не надо ворошить прошлое. Я не в обиде на вас. Все от аллаха...

— От аллаха! — Каландар рванул ворот рубахи, крепко потер шею, грудь.— От аллаха? Почему я не послушался вас, не согласился бежать с вами в свой край? Или почему не умер до встречи с вами где-нибудь в степи, раненный врагами в бою?.. Вот уж сколько месяцев терзаюсь я этим, Хуршида-бану... госпожа моя!

Хуршида промолчала: обиды оскорбленного сердца забылись, а сочувствие и тяга к Каландару, и понимание того, что уже ничего не исправишь, все это разом нахлынуло на нее. Он каялся в своей вине перед ней, он излил свою печаль, и сострадание к нему было в ней сильнее всех прочих чувств. И она испугалась вдруг этого нахлынувшего чувства больше даже, чем загадки появления Каландара здесь. Испугалась, что не выдержит — сейчас зарыдает.

— Так что же все-таки вы скрываете от меня? — переспросила Хуршида-бану.— Говорите же! Не бойтесь за меня: чему быть — того не миновать!

Каландар все еще медлил.

— Госпожа моя... Известно ли вам, что Мирза Улугбек казнен?

— Когда? — Хуршида испуганно отшатнулась.

— Уже неделю назад... И пал он от рук убийц, по воле собственного сына, шах-заде Абдул-Латифа.

«О создатель...» Хуршида-бану закрыла глаза, зашептала молитву. Мгновенно вспомнилось: гарем в Коксарае, Мирза Улугбек за тонкой шелковой занавесью, приглушенно-печальный голос: «Я наказал вашего оскорбителя... Что случилось, того не поправишь... Ваша воля, оставаться в гареме или вернуться в свой дом». И, когда она сказала, что просит разрешить ей вернуться, Мирза Улугбек опять извинился перед нею, передал привет отцу, а потом с непонятной ей грустью добавил: «Вы еще молоды... и прекрасны, дочь моя. Да ниспошлет вам всевышний счастье, воздав за страдания». И снова добавил: «Дочь моя...»

Дочь моя...

Хуршида облизнула сухие губы.

— Это ли не конец света, если сын предает смерти своего отца! Как это... мерзко и страшно!

— Да, и страшно, и мерзко... Сыновья — исчадия мрака. Но отец их, устод, поверьте, госпожа моя, словно яркое солнце, лучи мудрости его просвещали не одних мужчин, но и женщин...

— Истинно так, истинно,— прошептала Хуршида-бану.

— Устод Мирза Улугбек, желая сохранить сокровища, накопленные им за сорок лет...

— Сокровища?

— Да, сокровища науки — редкие книги, рукописи... вам, наверное, приходилось их видеть, госпожа?

— Приходилось... Я однажды даже переписала трактат повелителя...

— Так вот, за неделю до всего, что произошло... за неделю до... смерти своей... он поручил судьбу этого сокровища мавляне Али Кушчи. Тот же, зная о возможных опасностях, принял меры предосторожности, и об этих мерах осведомлены были в столице всего три человека.

— И один из них... мой отец? — догадалась Хуршида.— И вы опасаетесь теперь, что отец выдаст тайну?

— У меня есть основания для таких опасений...

— Нет, нет! — испуганно воскликнула Хуршида-бану.— Он не свершит такой низости!

— И все же я хотел бы поговорить с мавляной об этом деле...

— Но я же сказала, что он... что его... Вы говорите, что отец вернется из Кок-сарая целым и невредимым...

— Да будет так!

— Если он вернется, я сама поговорю с ним. Я сама!

— Тогда... Позвольте слуге вашему наведаться сюда завтра?

Ответа на этот вопрос он не получил.

— Мне нельзя не прийти. Мне нельзя не поговорить с вашим отцом. Потому что не только сокровища знаний, но и... жизнь мавляны Али Кушчи в руках вашего родителя!

— Я поговорю с ним,— снова сказала женщина, но в голосе ее уже не было прежней уверенности...

Каландар не в силах был уйти. Ему хотелось взять ее руку, прижать эту нежную, беспомощную руку к губам, хотелось упасть на колени перед Хуршидой-бану и говорить о любви, о пожаре, который все эти месяцы бушевал в его груди, и молить, молить о прощении. Но она же сказала: «Я не в обиде на вас... Все от аллаха».

«Как странно и жестоко устроена жизнь... Кажется, ничем не обделил творец Хуршиду-бану. Все есть — и красота, и богатство, и знатное имя. А вот малого нет — счастья! Обыкновенного, человеческого, женского счастья...»

Молчание затягивалось. Это почувствовала и Хуршида. Мягко сказала:

— До свидания, и да хранит вас аллах...

— До свидания, госпожа.

Она слышала, как шуршали под его ногами листья, пока дошел он до края оврага в самом конце сада. Тогда и она побрела обратно, домой. Сникшая, обессиленная, постояла у калитки. Прижалась лбом к холодной глине дувала, заплакала, сначала без слез, а потом наконец облегчающе обильными слезами.

8

О подвальных темницах Кок-сарая ходили легенды одна ужасней другой.

Но темница, куда привели Али Кушчи, ничем не по-

ходила, к его удивлению, на тесный и мрачный колодец, которым пугали воображение рассказчики легенд. Довольно сносная клетушка, ширина — две трети длины; по крайней мере, поначалу ему показалось, что «устроили» его даже просторно.

Ощупывая ладонями стены, неровные, бугристые, он обошел комнату. Ладно, роптать ему нечего. Самое плохое в том, что темница примыкала к дворцовой конюшне, откуда и сквозь каменные стены проникало трудно выносимое зловоние. А вот солнечного тепла эти стены не пропускали, так что было здесь и сыро, и очень холодно. Но что же сделаешь? Ведь его не на торжественный совет к устоду позвали в Кок-сарай, не на вечернее пиршество, не для занимательных и поучительных бесед в кругу поэтов и мудрецов — его привезли совсем в другое место и с совсем иной целью. Как было прежде, при Мирзе Улугбеке, так уже не будет... Один создатель знает, когда Али Кушчи выпустят из этой тесной кельи, да и выпустят ли вообще. Уйдет ли он живым отсюда или нет, а спасение было теперь одно, выход один — запастись терпением, терпением и терпением.

Терпением и выдержкой!..

Но выдержку обрести непросто. Как ни старался Али Кушчи унять себя, он уже томился здесь, томился, словно птица в клетке, он то и дело ловил себя на том, что нетерпеливо расхаживает из угла в угол, бесцельно растрачивая силы. В темноте он спотыкался, иногда ударяясь о стену то плечом, то даже лбом. Не один раз он зачем-то ощупывал массивную дверь, открыть которую можно было только извне; ему казалось, что в комнате не хватает воздуха и что он вот-вот задохнется. Потом он приходил в себя, замедлял шаги, призывал на помощь разум, убеждая себя, что необходимо терпение, терпение, терпение, что нет ничего другого, кроме терпения, а через минуту-другую вновь беготня по камере, вновь муки бесплодных метаний. Наконец силы оставили его и он прилег на ветхую циновку, брошенную в угол.

И сразу же вспомнилась мать.

Вчера вечером Тиллябиби опять пришла к сыну в обсерваторию. От самого Ак-сарая, Белого дворца, что недалеко от Гур-Эмира, шла. И принесла любимое кушанье Али — плов с горохом. Он велел Мираму Чалаби разжечь очаг, сам расстелил одеяла для того, чтоб матери удобнее было сидеть. Потом все втроем они расположи-

лись вокруг сандала, расстелили дастархан. Комнату заполнил ароматный запах плова, чуть посыпанного черным перцем и другими приправами. А потом... потом четверо нукеров... грубые их приказы одеваться, не мешкать, ничего с собой не брать, долго не прощаться! И враз обессилевшая, оцепеневшая мать... Откуда вдруг взялись у нее силы: она вскочила, метнулась к сыну, задержавшемуся у порога, обняла его, крепко обхватила за шею, вцепилась — не оторвать!

Вспомнив ее объятия, беззвучные рыдания ее, слезы, что залили морщинистое лицо, Али Кушчи сжал кулаки и тихо застонал. Закрыв глаза, он долго сидел, не шелохнувшись, в углу своей, да, теперь своей темницы...

Терзаться так было нельзя. Бессмысленно, неразумно растравлять раны. Суетливость — сейчас самый опасный его враг.

«И чего ты мечешься, Али? — вновь стал уговаривать себя мавляна.— Если ты страшишься зиндана, то зачем принял поручение устода, опасное поручение?

Раз взялся за опасное дело по доброй воле, по велению разума и совести, раз ему нужно было во имя науки, во имя света разума сохранить для потомков сокровища Улугбека, пусть хоть один луч из лучезарного богатства, то... то чего же сейчас дрожать?»

Ну вот, он уже может и подтрунивать над собой:

«О, ученейший мавляна, мудрейший из мудрых! А ведомо ли вам, что темница, где вы столь свободно передвигаетесь, где вы обладаете собственным ложем, есть всего лишь начало тех прелестей, кои ждут вас в дальнейшем? Кто, кроме всевышнего, знает, досточтимый Али, что еще придется вытерпеть тебе? Может, тот самый меч, которым обезглавлен был благословенный устод, разлучит твое прекрасное тело с твоей мудрейшей головой, или, быть может, ты останешься жить... в этом или каком-нибудь другом, более удобном каменном мешке, сыром и темном, словно могила. Останешься жить, но с этой поры никогда уже не увидишь бескрайнего простора неба, мигающих в ночи далеких звезд... Останешься жить, но не обнимешь больше ни друзей, ни родных, ни матери!.. Да, ты испытаешь все, что тебе суждено испытать!»

Опять прилив горечи поднял было его с циновки, но на сей раз он заставил себя остаться на месте. «Терпение, терпение, дорогой мой Али!.. Прошел ведь всего

один день заточения, один, а сколько их еще впереди!.. Что ж с тобой будет, мудрейший из мудрых, если ты не наберешься терпения на годы, на годы!.. О нет! Если на годы, то молю, создатель, забери бедного раба своего уже сейчас, не лишай его счастья годами не видеть неба и звезд, проникать разумом, что ты дал ему, в их удивительные тайны!»

Али Кушчи явственно представились обсерватория, фигура учителя за работой, и будто стало светлее в узилище.

Усталость, вызванная государственными заботами, тоска, томившая сердце,— все отступало, уходило прочь, когда устод приходил в обсерваторию. Он забывал обо всем, работал самозабвенно, обычно до рассвета. Иногда же, отрываясь от научных занятий, от наблюдений, брал в руки любимый танбур. Устод был настоящий виртуоз в игре на танбуре, тонкий мастер. Надев на указательный палец золотой медиатр [1], Улугбек начинал слегка тревожить, пощипывать струны, и человек, слушающий этот разговор струн, вдруг замечал, как овладевает им светлая, тихая, будто осеннее солнце, печаль, как сжимается горло от внезапно подступивших слез, но слезы эти не разъедали душу, а, наоборот, смывали тоску и грусть, и хотелось под эту неизъяснимо печальную мелодию, творимую устодом, как же хотелось быть лучше, быть чище и добрей, чем ты есть.

Устод и сам не стеснялся слез, он вытирал влажные глаза и говорил, откладывая танбур в сторону:

— Удивительная сила в музыке... Часто я раскаиваюсь, что пришел в сей мир, часто соглашаюсь с теми горькими мыслями, что столь хорошо выражал достославный Омар Хайям:

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
Бегущей жизни смысл, увы, непостижим!

Но стоит услышать хоть однажды «Чоргох», и чувствую я, как исчезают эти мысли, чувствую себя чистым, словно ребенок, и хочется жить. Али, так хочется жить! Разве не счастье, сын мой, Али, услышать одну только эту мелодию. Да, истинно велик разум человека, если благодаря ему человек способен создать такую красоту.

---

[1] Медиатр — тонкая металлическая пластинка, приспособление для игры на щипковых инструментах.

Али Кушчи ощутил вдруг зуд в ногах. Снял ичиги, ощупал изнутри голенище, провел рукой по циновке и брезгливо отдернул ладонь: так и есть, к сырости пола, затхлости воздуха добавились теперь еще насекомые — блохи, клопы, тараканы...

Наверное, наступил рассвет. Чтобы проверить предположение, Али Кушчи постучал в дверь, желая испросить воду для предмолитвенного омовения. Ответа не последовало. Мавляна потер ладонями по сырой земляной поверхности пола, снял и расстелил на полу свой чекмень вместо молитвенного коврика, прочитал молитву.

А сколько в самом деле прошло времени с тех пор, как он появился в этом узилище? Наступил ли рассвет, или ему только показалось? И снова пугающая мысль: если так тяжко дожидаться первого рассвета в темнице, то что же испытывают узники, заточенные на всю жизнь?..

Мгновения тянулись теперь для Али Кушчи ужасающе медленно, и казалось ему, что отныне нарушен закономерный круговорот времени, что в самой природе приостановилась извечная смена захода восходом, ночи днем, тьмы светом: все окружающее словно застыло недвижно и нерушимо. Были, конечно, признаки, по которым он догадывался, что время течет, что вслед за ночью приходит день: с вечера больше клопов и блох выползало из щелей; еще о движении времени говорило и маленькое, размером в ладонь, оконце в окованной железом двери — оно дважды за сутки, по-видимому, через равные промежутки в часах, приоткрывалось, и стражник подавал узнику воду в оббитой по краям глиняной чашке и овсяную лепешку. Невелика она была, эта лепешка, опрокинь пиалушку на нее, и лепешка спрячется. Али Кушчи умудрялся в первые дни заточения обходиться половиной воды, которую ему давали, другой же половиной увлажнял лицо и руки. А маленькую лепешку делил на три части, ел в три приема, да еще запивая глоточком сбереженной воды!

Кажется, на четвертый или пятый день, наверное, ночью, потому как, навоевавшись с насекомыми, он вроде бы и заснул, Али Кушчи услышал звон цепных запоров, жалобный скрип железной двери. Появились люди с факелами.

Свет факелов резал глаза. Али Кушчи прикрыл их руками. На пороге стоял есаул, косоглазый и со шрамом,

рассекающим губы (где-то видал Али Кушчи этого человека?), рядом — эмир Султан Джандар собственной персоной, а за ними два воина держали факелы.

Чадящие факелы хорошо освещали крепкую фигуру эмира Джандара, его бобровый тельпек с красной кисточкой на маковке, знак эмирского достоинства, серебристо сверкающий пояс на синем суконном чекмене, красные сафьяновые сапоги. Султан Джандар сделал было шаг вперед, но, передумав, остался у порога в темницу. Чуть прищуренные глаза его вглядывались в темноту.

После нескольких мгновений молчания эмир Джандар, качнувшись крупным своим телом вперед, громко произнес:

— Мое почтение мудрейшему из мудрых Аляуддину ибн Мухаммаду Али Кушчи!

«Этот индюк смеется надо мной,— подумал Али Кушчи.— Предатель! Недавно был столь близок к повелителю, втерся в доверие. А теперь... Смеется надо мной, негодяй». Али Кушчи, хоть и знал, что играет со смертью, не сдержал колкого ответа:

— Рад лицезреть в этом райском цветнике правую руку великого повелителя, сиятельного султана Улугбека, эмира Султана Джандара-тархана!

Эмир Джандар поморщился и быстро, прыжком пересек темницу. Навис над узником, будто скала, готовая сорваться. Рука на эфесе сабли.

— Мавляна Али,— теперь эмир говорил медленно и жестко, без насмешки.— Эмир Джандар далек от премудрых наук, он всего лишь грубый воин. Но вы... но вас я уважал как мудрого человека, истинно ученого... Приходится сожалеть, что я жестоко ошибся!

— Увы, наши ошибки схожи... Ваш слуга тоже считал вас одним из самых верных эмиров нашего повелителя, от коего видели вы немало милостей. Как жаль, что я столь жестоко ошибался!

Эмир был изумлен. На какой-то миг он испытал даже нечто похожее на восторг. А потом, наполовину вытащив из ножен саблю, повернулся к есаулу, грозно выставив вперед кончики красивых подковообразных усов, кивнул головой: веди, мол, узника!

Сам повернулся на каблуках, со стуком загнал саблю в ножны до рукоятки и, не удостаивая больше никого

взглядом, стремительно вышел из темницы. Есаул тихо, но внятно сказал:

— Идите за нами, мавляна!

Али Кушчи повиновался.

9

Вместе с приказом о заточении Али Кушчи в зиндан Абдул-Латиф отдал и другой: и без того отрезанную от мира обсерваторию и медресе Улугбека запереть на замок, всех талибов распустить по домам, а за учеными мужами установить неукоснительную слежку. Рука шах-заде, скрепляющая такое распоряжение именной печатью, не дрогнула: после визита шейха Низамиддина Хомуша Абдул-Латиф обрел желанное спокойствие. В столице и особенно в Кок-сарае жизнь постепенно входила в колею. По утрам к шах-заде являлись засвидетельствовать нижайшее свое почтение сановники и военачальники, беки и эмиры. Высокомерные эти вельможи, облачив телеса в парчовые, сверкающие рубинами и жемчугами халаты, в лисьи и собольи шубы (изукрашенные по верху опять же дорогой парчой), нахлобучив бобровые или из серебристого беличьего меха шапки, а то и степные малахаи, отороченные лисьими хвостами, приходили в Кок-сарай, в знаменитую залу приемов — салям-хану, выстраивались в ряды, словно нукеры на поверке, и покорно ожидали выхода главы государства. При появлении шах-заде сгибались в три погибели, отвешивали поклоны столь низкие, будто не молодого шах-заде встречали, а самого Сахибкирана, эмира Тимура Гурагана. А как чутко ловили вельможи каждое слово Абдул-Латифа, как старались, чтоб замечены были их восторженно-всепреданнейшие взгляды, к нему обращаемые!

Однажды утром пришли посланцы столичных купцов. Именитые торгаши предстали пред очи молодого повелителя не с пустыми руками: дары унаследовавшему престол — горы шелковых, парчовых, суконных и всяких прочих тканей, тюки индийского чая, фарфоровую посуду, изготовленную китайскими мастерами,— приволок на дворцовый двор небольшой караван верблюдов. А лишь удалились торговцы, пожелавшие шах-заде здоровья и счастья, долголетия и славы, сарайбон объявил,

что для выражения своей преданности просит допустить его к повелителю поэт Мирюсуф Хилвати.

Абдул-Латиф кое-что слышал о поэте Хилвати, даже, кажется, некогда перелистал сборник его стихов. И хотя пора было отправляться в соборную мечеть, шах-заде, чему-то обрадовавшись, решил задержаться в салямхане и принять поэта.

Толстый, округлый человек в длинном халате из ткани «банорас», доходившем до пят, и в ковровой островерхой тюбетейке пал на колени у самых дверей и принялся забавно прикладывать ладони то к полу, то к лицу. Суетливое это подобострастие выглядело шутейно; шах-заде невольно засмеялся и милостиво позвал поэта к своему креслу. Но Мирюсуф Хилвати остался на коленях у порога; закрыв глаза, как бы не в силах вынести блеска, исходящего от того, кто сидел впереди на троне, поэт, не меняя позы, заговорил так быстро, будто губы его не успевали прикоснуться друг к другу:

— Ваш всепокорнейший и трижды смиреннейший слуга сочинил стихи, посвященные вам, светочу и обители справедливости, вам, перлу и диаманту в короне великого султанства Мавераннахра, вам, падишаху изящного слова и его щедрому покровителю, и если благодетель соблаговолит услышать их, то я...

— Нельзя не обрадоваться, когда султан слова, поэт... Хилвати... преподносит нам свое творение,— шах-заде улыбался так, как должен был, по его понятию, улыбаться истый покровитель изящного и душеспасительного слова.— Встаньте, встаньте, дорогой поэт!

Мирюсуф Хилвати наконец поднялся, правда едва не наступив на полу длинного халата и чуть не упав при этом — уже в прямом смысле слова — к ногам повелителя, что продолжал милостиво и снисходительно усмехаться. Но вот поэт оправился от замешательства, вынул скрытую до поры до времени под мышкой, завернутую в шелк книжечку, степенно откашлялся. Красные, подобно гранату, щеки его раздулись, и Хилвати громко произнес:

Победоносный прадед ваш прославлен целым миром.
Меч гнева божьего, он был лучом на небе сиром!
Султан безбожный дерзко длань на тайны бога поднял
И был низвергнут тем, кто царствует сегодня.
О, славный правнук — веры меч, вас жаждет славить мир!
Вы в перстне камень дорогой, сияющий сапфир!

Когда Хилвати добрался до последней строки сочинения, голос его совсем уж срывался на петушиный крик, а глаза с испугом и мольбой о пощаде воззрились на Абдул-Латифа. Шах-заде невольно воскликнул:

— Славно, славно сложено!.. Хвала вам, дорогой поэт, хвала!

Шах-заде знал толк в поэзии, сам порою занимался сложением стихов и даже написал собственный диван, не торопясь, правда, к известности, особенно в кругу шейхов и маддохов. Ну да, насчет сапфира в перстне у Хилвати не без ловкости было сказано, однако шах-заде нравились стихи тонкие, полные завуалированного смысла, а тут неприкрытое, откровенное подобострастие, поэтически неуклюжее к тому же. Но шах-заде, воспрянув душой благодаря усилиям Низамиддина Хомуша, имел намерение в не столь отдаленном будущем сделать и свой двор средоточием поэзии, отнюдь, конечно, не вольнодумствующей, как то было при отце-вероотступнике, но угодной богу, а что касается роскошных пиршеств — со стихами и музыкой, а не только с обжорством и пьянством,— то их тоже следовало возродить. И поэты на них были бы украшением не меньшим, чем танцовщицы-рабыни... Так что пусть плоховаты рифмы у этого запуганного виршеплета, а все-таки первой ласточке и впрямь хвала!

Шах-заде приказал подарить поэту парчовый халат и пригласил Хилвати посетить соборную мечеть в собственной свите повелителя.

Да, сегодня он, шах-заде, новый повелитель Мавераннахра, должен был по совету шейха Низамиддина Хомуша посетить мечеть Биби-ханым, дабы обратиться к собравшемуся там множеству людей с первой своей — царственной — проповедью. Сегодня шах-заде вообще впервые после победоносного водворения в Кок-сарае покидал дворец, и потому был приказ усилить охрану, особенно же личную, многократно. Сарайбон подготовил больше полусотни всадников, к ним присоединилась обширная свита придворных. И, когда пышная кавалькада выехала за ворота Голубого дворца, все вокруг заглушил топот коней, казалось, по этому шуму и столбам пыли, поднявшейся над улицами, что едет целое войско. Впрочем, мало кто видел это великолепие: город был все еще пустынен, торговые и ремесленные мастерские, лавки, что тянулись от Кок-сарая до мечети Биби-ханым, были

сплошь закрыты ставнями, и лишь кое-откуда, главным образом из мастерских, гончарных и каменотесных, доносился еле различимый стук, и даже на площадях, на уличных перекрестках народу было всего ничего. «Боятся? А кого боятся?» — подумал об этой невеселой и подозрительной закрытости города шах-заде. Было отчего смутиться, и он решил, что непременно прикажет градоначальнику Мираншаху открыть ставни всех лавок.

Проезжая через Регистан, Абдул-Латиф опять испытал неприятное волнение: взгляд его упал на пустую, до блеска вычищенную площадку перед медресе Улугбека, перед отцовским ненавистным медресе, и припомнилось почему-то, как на исходе ночи после убийства пришел к нему в покои со зловещим мешком Султан Джандар. И ухмылка его загадочная припомнилась... Страх снова пронзил всадника, он натянул поводья, вцепился в луку седла. Пришел в себя лишь перед соборной мечетью.

У высоких и массивных двустворчатых ворот мечети Биби-ханым шах-заде был встречен целой толпой сановников города во главе с Мираншахом и столпами веры — почтенными улемами, шейхами и прочими, впереди коих стоял Низамиддин Хомуш.

Молельный двор мечети — большой, тысяч на десять — был полон людьми. В одном углу двора сбились дервиши, в другом — просто нищие, чернь, голодранцы с ближайших базаров и улиц, но вся эта братия составляла меньшинство — сегодня в мечети, в основном, собрались люди почтенные — улемы, богатые торговцы, чиновники, знать, имамы окрестных мечетей; все они были в белом — белых чекменях и покрывалах поверх разноцветных парчовых и бархатных халатов.

Величественная, приятная глазу и сердцу картина!

Шейх Низамиддин Хомуш взял шах-заде под руку, провел его мимо склоненных долу белых тюрбанов к мраморной трибуне в центре двора. Великолепный портал здания мечети вздымается ввысь за спиной того, кто стоит на трибуне, а перед ним — мраморная подставка в виде огромной книги, на этой подставке святой коран, «Калломуло-и-шариф», в золоченом переплете.

Люди ждали от шах-заде проповедь — хутбу.

И он произнес ее. Он на память приводил стихи из корана, изречения из хадисов; проповедь же его состояла в том, что врагам ислама он пожелал гибели; далее он провозгласил, что отныне в Мавераннахре начался

век истинного торжества веры, время счастья всех подлинных мусульман. Отныне и во веки веков! Последние его слова утонули в набежавшем, как огромная морская волна, грохоте совместного торжествующего возгласа множества голосов: «Илахи аминь!» — и гулкое эхо покатилось под своды.

Вслед за шах-заде к верующим обратился светлейший шейх Низамиддин Хомуш. Он объявил о том, что шах-заде взошел на престол по праву наследования и что, собственно, теперь он уже не шах-заде, не наследник, а первый повелитель правоверных мусульман, благодетель и благоустроитель государства, венценосец Мирза Абдул-Латиф. Шейх произнес долгую молитву в честь венценосца и повелителя правоверных, и, когда с уст его сорвалось последнее в молитве слово «аминь», мощный, тысячеустый возглас «Илахи аминь!» был ему ответом и продолжением, и снова дрогнули своды мечети, а с высоченного ее портала взмыла ввысь стая испуганных голубей.

Успех проповеди, моление в честь венценосца были для Абдул-Латифа ветром, унесшим из души гнилые листья последних сомнений в собственной правоте. Правда, были и неприятности. Доносчики принесли из Балха весть, что правитель Герата, Султан Мухаммад, коему Улугбек приходился родственником, узнав об убийстве султана Мавераннахра, приказал собирать войско для похода. Но Мирза Абдул-Латиф, во-первых, послал к Султану Мухаммаду надежного человека с предложением о сохранении мира, а во-вторых, как опытный воин, он знал, что тот не пойдет в поход зимой и потому надо различать угрозы словесные от угроз реальных, подлинно опасных.

Многие сомнения исчезли из души Мирзы Абдул-Латифа, и потому был он деятелен и энергичен.

Но только... при свете дня!

А ночью... Никто не видел, слава аллаху, как ночами врывался к нему в душу страх, тупой, не рассуждающий, гнетущий страх: кто-то, казалось, входит в темную комнату, заносит над изголовьем оголенный клинок. Абдул-Латиф вскакивал с постели; бодрствовал долгие часы после такого пробуждения, замирал от каждого шороха, шарахался от каждой привидевшейся тени — и так до утреннего солнечного луча. В часы ночного бодрствования он терял способность рассуждать здраво, и ему

мерещилось, что в столице уже созрел заговор и что во главе заговорщиков стоят... ну, хотя бы родичи, двоюродные братья Мирза Абдулла и Мирза Абу Саид. Не Абдул-Азиз, нет, не он, уже умерщвленный, а они, еще живые, стоят во главе заговоров; Абдул-Латиф знал, что они в заточении. Что с того, ведь заговорщики, горячил он себя, уже нашли пути к освобождению, а он, венценосец, о том пока не ведает. И тогда ему хотелось тотчас, ночью, обойти все тюрьмы, и особенно тот зиндан под Кок-сараем, где томились братья, но смелости не было спускаться в узилище.

При свете дня страхи и опасения рассеивались. Но не сразу. Утром, после эдакой бессонной ночи, шах-заде смотрел подозрительно на всех эмиров и беков, приходивших с приветствием, и если кто-нибудь, не выдержав его тяжелого взгляда, отводил свой, подозрения Абдул-Латифа усиливались. Если встречал он ненароком своих придворных в каком-нибудь укромном месте дворца, в его многочисленных сумрачных коридорах и залах, то, будь они даже из Балха, доверие к ним пропадало: их тихий шепот, само укромное место — для чего это, если не для козней? И против кого, кроме него, кроме обладателя престола, могли быть эти козни?

Так смятение вновь и вновь овладевало Абдул-Латифом.

Однажды шейх Низамиддин Хомуш, который догадывался, что шах-заде больше всего боится заговоров и даже ищет заговорщиков, вновь повел речь о нечестивом Али Кушчи. Что мавляна сидел в зиндане, это верно, но он ведь не переставал быть от этого нечестивцем и возможным, вполне возможным заговорщиком. Ибо кто же, как не они — тут шейх подал Абдул-Латифу список, на котором стояло два столбца имен и названий,— ученые и книги, не эти нечестивцы, являются возмутителями спокойствия, а стало быть, и заговорщиками? И ведь до сих пор не преданы огню книги, благодаря коим эти нечестивцы сбивали и сбивают правоверных с пути истинного. Надо быть осторожным, посоветовал шейх.

Беседа эта случилась утром, когда шах-заде и шейх возвращались из соборной мечети. При слове «заговор» Абдул-Латиф вздрогнул. Он хотел было приказать тотчас доставить к нему на допрос Али Кушчи — на допрос строжайший! — но, подумав, перенес дело на вечер, перед возможным приходом ночного недуга своего.

В тот вечер он быстрее обычного поставил подписи на всех бумагах, что принес ему начальник дворцовой канцелярии, отпустил всех приближенных, ибо допрос он хотел предварить беседой с преступным мавляной с глазу на глаз, и послал эмира Джандара за Али Кушчи.

Уселся на трон.

Задумался.

Странно, предстоящая встреча волновала Абдул-Латифа. Ему приходилось несколько раз встречаться с Али Кушчи — на торжественных пирах в Кок-сарае и в саду «Баги майдан», на отцовской охоте, устроенной по возвращении султана из Герата в Самарканд, а однажды шах-заде был свидетелем беседы отца и мавляны о загадках небесных светил. Шах-заде помнит: печать вдохновения лежала тогда на челе Али Кушчи. Шах-заде знал: честность, прямота и спокойное благородство этого человека притягивали к себе многих. Мавляна был высок и худощав, но от него веяло силой; лицо его — высокий лоб, широковатый книзу нос, глубоко посаженные глаза — было простодушно, неродовито, но дышало твердой, непреклонной волей, умом и отвагой.

Некогда шах-заде заинтересовался и, можно даже сказать, увлекся этим человеком. Не снизошел, правда, до того, чтобы самому искать случая поговорить с Али Кушчи, но трактаты мавляны по астрономии и геометрии велел тогда же принести ему для ознакомления и прочитал их все, обнаружив и знание дела, воздав должное обширности знаний ученого и убедительности изложения.

Да, в словах шейха есть истина, есть: Али Кушчи опасен и трижды опасен, если станет заговорщиком. Родитель-вероотступник, что вознамерился спрятать нечестивые книги, и впрямь не нашел бы человека, надежнее и вернее своего шагирда! А сейчас он, Мирза Абдул-Латиф, намерен наконец побеседовать с этим ученым мужем, чья известность охватывает весь Мавераннахр, весь Хорасан. Али Кушчи, правая рука Улугбека, его истинный ученик, познал тайны звезд, а стало быть, и тайны человеческих судеб... нет, не беседу бы с ним вести, а допрос ему учинить, пыткой вырвать еще одну тайну — куда исчезло Тимурово золото и богохульные книги?!

Но не удивительно ли: с того часа, когда сегодня утром светлейший шейх произнес имя Али Кушчи, этот человек никак не уходит из мыслей и все больше хочется

шах-заде лично увидеться с мавляной, поспорить с ним, переспорить, убедить и... и склонить его на свою сторону.

Вот было бы дело, если б Али Кушчи сам, по-хорошему покаялся в своей вине, указал, где спрятаны нечестивые книги, его и на службу в диван можно было бы взять. Да, неплохо, неплохо, коли рядом с новым властелином сего дворца, прославленного от запада до востока, будет восседать в совете и этот ученый муж, некогда самый одаренный ученик вероотступника султана, а ныне наперсник его, Абдул-Латифа,— поборника веры. Среди приближенных будет стоять по утрам, низким поклоном встречать, сложенными смиренно на груди руками... Вот тогда, пожалуй, придет конец гнусным слухам, заговорщицким шепотам по закоулкам Кок-сарая... А вслед за Али Кушчи разве не придут к нему, Абдул-Латифу, и другие шагирды Улугбека — математики, поэты, историки? Вот ведь пришел Мирюсуф Хилвати, но что он стоит, этот слишком подобострастный виршеплет, по сравнению с шагирдами отца?..

В соседней комнате послышались тяжелые шаги.

Эмир Джандар!

Шах-заде взволнованно сжал пальцами гладкие поручни тронного кресла.

Резные двери с узором из золоченых накладных полос осторожно приоткрылись.

— Узник здесь, благодетель.

Абдул-Латиф удовлетворенно кивнул головой. Султан Джандар понял этот кивок как знак разрешения для Али Кушчи войти.

Войдя в залу, Али Кушчи остановился у порога; голова закружилась, он прислонился к стене, смежив глаза.

Абдул-Латиф вспыхнул, как порох. Он хотел закричать: «На колени, эй, ничтожный!» Но что-то удержало его от крика. Может, любопытство — так странно здесь никто себя не вел перед лицом властителей.

Шах-заде всматривался в Али Кушчи. Чекмень из темной простой шерсти, старый изношенный колпак на голове; губы плотно сжаты; грудь чуть приоткрыта; руки бессильно свисают вдоль тела — зиндан не проходит без последствий. И все же Али Кушчи почти не изменился, нет, он все тот же, сухощаво-подобранный, твердый и прямой Али Кушчи, и эти полузакрытые глаза, будто и не видящие хозяина залы,— это не просто признак физической слабости, это... дерзость! Не изменился

мавляна Али Кушчи, не изменился; разве в бородке клинышком — такие у них у всех, ученых мужей,— появилось несколько больше седины, чем помнит шах-заде.

«Такой же гордец, как и благословенный родитель, не меньше!» — уже со злостью подумал Абдул-Латиф.

Али Кушчи, словно в ответ, открыл глаза, откачнулся от стены, попытался выпрямиться. Свет резал глаза. Мавляна снова принужден был зажмуриться.

«Надо привыкать постепенно, а то зрение потеряешь... Яркая зала, как и тогда, яркая... Увы, недели две назад, даже меньше того, на троне в этой зале сидел устод, человек, достойный рая! Сидел, изливал мне, Али Кушчи, боль души своей, высказывал свои последние желания... А теперь на том же троне отцеубийца! Душегуб!.. И лицо его мне противно. Усы вздрагивают, глаза встревоженные, беспокойные. Серый цвет лица — признак тайной нехорошей болезни... А вот что в глазах шах-заде? Страх? Скорее, бесноватость какая-то, одержимость... Надо выпрямиться, надо поклониться... ну, да ладно... не буду себя пересиливать».

«Так и стоит с закрытыми глазами. Такого венценосца, как я, не страшится!»

Абдул-Латиф уперся в подлокотники кресла, приподнялся, полунасмешливо и одновременно властно сказал:

— Мавляна Али, не для того ль, чтобы поспать, вы пришли в салямхану? Откройте глаза, мавляна!

Али Кушчи собрался наконец с силами, выпрямился, посмотрел на шах-заде, прикрыв глаза козырьком ладони.

— Простите, шах-заде. Привыкшие к темноте глаза мои не выдерживают сияния этого чертога.

— Выйти из той темноты — это, мавляна, в ваших руках,— произнес Абдул-Латиф намеренно многозначительно.

«Нельзя считать тебя властелином-глупцом. Тебе не чужды, оказывается, и лисьи повадки»,— подумал Али Кушчи. А вслух сказал:

— Простите, не понял ваших слов, шах-заде.

Абдул-Латиф слез с тронного кресла, бесшумно прошелся по горящим многоцветной радугой коврам. У дверей задержался, совсем близко от мавляны. На болезненно-сером лице Абдул-Латифа, в глубоко запрятанных желтоватых глазах промелькнуло что-то такое, что сде-

лало вдруг сына похожим на отца, напомнило Али Кушчи грустное лицо устода.

— Мавляна Али, я весьма уважаю вас как знаменитого ученого... Потому и хочу спросить: кем вы, мудрый человек, считаете меня?

Голос звучал печально, скорбно даже.

«Что он хочет от меня, этот жалкий отпрыск великого отца? Разжалобить? Смягчить мне душу, дабы проще потом прибрать ее к рукам?»

Али Кушчи отвел взгляд от опечаленного лица шах-заде, уставился в пол.

— Почему не отвечаете мне, мавляна? — обидчиво сказал шах-заде.— Ну, знаю, знаю: считаете вы меня... неблагодарным сыном, что вступил в борьбу с благословенным родителем за обладание... вот этим троном. Больше того, за тирана считаете, за сеятеля смуты, за невежду, который ненавидит людей науки!.. А я... а я...— он с шумом глотнул воздух и вдруг замолчал.

Али Кушчи по-прежнему глядел в пол, на ковры ширазской работы.

Шах-заде сказал все правильно: Али Кушчи считал его, да и был он на самом деле главарем невежд, темных и опасных, захватчиком престола, сеятелем смуты в стране, мракобесом, что навесил замки на врата науки и просвещения. Но самое страшное — убийцей собственного отца. Непонятно было только, зачем такой человек льет слезы, старается выгородить себя перед ним, перед бедным узником, кого ненавидит, кого бросил в заточение.

— Но я... не хотел того... Если я, покорный слуга аллаха, сверг с трона родителя своего, то... ради веры, ради истинной веры нашей, мавляна, решился я на такой шаг... Знаю: мой родитель — ваш устод! Я же для вас ничто, но выслушайте... Что оставалось мне, коль отец не соблюдал заповедей корана и шариата, вел себя нечестиво? — Словно боясь услышать возражения, шах-заде повысил голос.— Нет! Нет у меня намерений попирать просвещение и науку, мавляна. Но разве позволено во имя науки забывать о всевышнем?!

Али Кушчи с трудом поборол в себе желание оборвать шах-заде. Сдержанно, тихо он обратился к Абдул-Латифу:

— Лишь всевышний непогрешим, шах-заде. Вы говорите о том, кого всевышний призвал уже из этого мира

в мир вечный, и судить о поступках того, кто ушел от нас, тяжкий грех...

Он все еще не смотрел на шах-заде, но все равно почувствовал, как от этих слов передернуло собеседника.

Оба замолчали.

— Ну, что же сделаешь теперь,— вздохнул наконец шах-заде,— теперь, после того, как кровожадные убийцы свершили это преступление... Аллах свидетель, мавляна, от той вести у меня чуть разум не помутился, а сердце облилось кровью. Я велел схватить всех убийц, мавляна, всех их обезглавить! Всех!

«Ну и коварный деспот, ну и лицемер!»

Али Кушчи поднял тяжелый взгляд на отцеубийцу. Тот стоял теперь у самого трона, одна рука на подлокотнике, другая на рукоятке сабли.

«Хватит! Надо кончать это лицедейство!»

— Шах-заде! Для чего вы говорите обо всем этом мне, несчастному узнику?

— Чтобы... чтобы такой ученый муж, как вы, знал истину!

«Истину?! Чтоб знать истину? Нет, чтоб скрыть ее!»

Али Кушчи ничего не сказал больше, он вновь смотрел вниз, на ковры, хмурил брови, и в этом молчании — так чудилось шах-заде! — были несогласие, бунт, мятеж!

— Я знаю, я хорошо знаю, что думают, чем дышат ученые мужи... И цели их ведомы мне, мавляна!

Это была угроза, плохо скрытая угроза.

— Шах-заде! — Али Кушчи помолчал, пытаясь взять себя в руки.— Истина... вы же говорили о ней... Если сказанное вами истина, то неважно, что станет говорить об этом ученый люд. И не надо бояться, что они будут думать о сказанном вами... Истина остается истиной, что ни говорили бы о ней люди. И если ваша цель...

— Моя цель,— перебил шах-заде, поняв, что мавляна на пределе сдержанности,— моя цель в том, чтобы сказанное мной... а оно есть истина... донести до каждого правоверного! И чтобы так было, я, ничтожный раб, нуждаюсь в таких, как вы, мавляна.

«Хитро! Жестокосердый властитель стал вдруг ничтожным рабом».

«Ну, хорошо,— мелькнуло в уме шах-заде,— я унижусь перед тобой, но крепко запомню это унижение».

— Я приношу вам свои извинения, уважаемый мавляна. Мои неразумные эмиры без согласия и даже без

ведома моего бросили вас в зиндан. Ошибка, которую я хочу исправить... Отныне ваш сан и ваше место будут еще выше, чем прежде...

Али Кушчи живо представил себе место нынешнего своего пребывания: холод и темень, шершавые каменные стены, клопы и блохи.

— Я предложил бы вам, мавляна, будь на то согласие ваше, должность диванбеги. Начальника дивана! Или, если захотите, станете историком, летописцем при нашем дворе. Кого пожелаете из ученых, поэтов взять к себе в помощники, берите! Единственное занятие ваше будет — писать о делах, которые мы намерены совершить в нашем государстве.

«Писать о твоих «государственных» делах?.. Значит, скрыть твои преступления, отцеубийца, твои злодеяния, твою жестокость. Эти поэты, эти историки, которых я позову, должны будут славить тебя в касыдах, в летописях, выдавать черное за белое? Таким увидят тебя следующие за нами, грешными, поколения? Нет, нет! Как взгляну я тогда в страшный судный день в глаза устоду!»

Шах-заде снова приблизился к Али Кушчи. В бледном лице, в провале глаз Абдул-Латифа мавляна уловил просящую, жалкую улыбку.

— Простите, шах-заде, но я не историк, чтобы писать о делах государственных...

— Но вам и не надо будет писать. Вам предстоит руководить другими. Хотите, к услугам вашим будут прославленные летописцы, которых мы вызовем из Герата.

— Но прославленные летописцы не нуждаются в руководстве вашего не сведущего в этом деле слуги.

— Ладно! Не летописцем, так звездочетом будете, дворцовым астрологом. Уж это-то ваше дело, мавляна?

— Увы, извините меня, но в гороскопах я тоже несведущ...

— Довольно! — холодное пламя опалило глаза шах-заде.— Мне известно, в чем ты сведущ, нечестивец! И подлые замыслы твои ясны, заговорщик! Ты... ты шайтан в образе человеческом! Это ты совратил с истинного пути родителя моего. Это ты изгнал из его сердца аллаха, всемилостивейшего и всемогущего!.. Еретик! Вероотступник!

«О творец! Неужели судьба всех ученых Мавераннахра зависит теперь от этого деспота, от этой обезумевшей твари?»

— Где золото?! — неожиданно спросил шах-заде.

— Золото?.. Какое золото?

— Я говорю про те слитки золота, которые были выкрадены... слышишь, выкрадены из казны эмира Тимура и отданы тебе!.. И еще: где крамольные книги, что передал тебе султан-вероотступник?

— Шах-заде, это про отца? Про родителя своего говорить, что он веро...

— Отвечай, шайтан!.. Отвечай, я тебя спрашиваю!.. Чего добивался, пряча языческие книги? Чтоб было чем сбивать правоверных с пути истинного? Чтоб множить ряды еретиков? Отвечай, нечестивец! — Шах-заде подскочил к Али Кушчи, схватил его за ворот, брызгая слюной, продолжал выкрикивать: — Какая была у тебя цель, когда прятал золото? Для чего?! Чтоб было чем платить тем, кто в заговоре с тобой? Против меня! Чтоб лишить меня трона!!

На миг Али Кушчи испугался пены на губах шах-заде. И впрямь сумасшедший. Тело мавляны словно одеревенело, но душа не поддалась страху. Он готов был стряхнуть с себя руку шах-заде, ударить его! Вдруг представилась ему почему-то мать, старая Тиллябиби, на холодном полу, под ногами нукеров. Что будет с нею? Что с ней сделают?.. Но ненависть заставила прогнать из сознания это видение.

— Уймись, шах-заде! Зарубить своей саблей хочешь — руби. Или прикажи сгноить меня в зиндане. А ворот мой оставь и руками своими не касайся меня.— И крепкими — когда-то их называли железными — руками Али Кушчи оттолкнул от себя шах-заде.

Абдул-Латиф попятился, чуть было не упал, наткнулся на тронную ступеньку, с трудом удержался.

— Сарайбон! Эмир Джандар!

Толкаясь от усердия и мешая друг другу, в залу ввалились эмир Джандар и запыхавшийся темнолицый сарайбон в незакрученном до конца зеленом — такие носят в Балхе — тюрбане.

— Вон этого дьявола! Уведите его! В кандалы, в кандалы! И пусть сгниет в зиндане!

И, тяжело дыша, к эмиру Джандару:

— А где второй, тот... который...

— Мавляна Мухиддин? — подсказал эмир Джандар.— У ворот, здесь... Жаждет выразить свою преданность...

— Веди его сюда... А этого дьявола... вон!

Али Кушчи, услышав про мавляну Мухиддина, задержался у дверей. Эмир Джандар и сарайбон кинулись к нему сзади, попытались заломить руки. Али Кушчи резко рванулся, обернулся: Абдул-Латиф стоял посреди залы, глаза безумные, на губах и на кончиках усов пена.

— Шах-заде! — Али Кушчи уперся рукой в дверной косяк.— Мы, видно, не увидимся больше, потому скажу тебе напоследок: ты хочешь изничтожить жемчужины — ученых, выпестованных твоим благословенным отцом, нашим великим устодом! Призываю дух его в свидетели: или ты откажешься от такого подлого замысла, или... будешь проклят, будешь презрен родом людским во веки веков!

— Это ты будешь... ты будешь презрен, богохульник!.. Где нечестивые книги, где?! Земля, говорите, круглая, а? Это созданная аллахом ровная земля — шар, а недвижные звезды, горящие камни, созданные аллахом против дьявола... это... они движутся, да?.. Шайтан! Бес! Коран читай, коран...

Шах-заде все стоял, раскачиваясь, закрыв глаза, сжав кулаки, и желтоватая пена пузырилась на его губах.

— Тебе ли учить меня, как надо читать коран? — Али Кушчи задыхался от ярости.— Не веришь в учение о небе, не веришь отцу своему, великому устоду? А меня, ученика устода, хотел сделать звездочетом? Зачем же тогда? Где же логика?

— Вон его, вон!

— Остановись, эмир! Я сам выйду отсюда! — и Али Кушчи пинком ноги отворил двери салям-ханы.

10

Мавляна Мухиддин сидел в подвальном помещении предвратной караульни. Точней сказать, не сидел, а метался, кружил по комнате, то и дело спотыкаясь о какие-то старые доспехи, седла и сбрую, что, закончив срок своей службы, разбросаны были по углам этого помещения. В подвале было темно, и мавляне Мухиддину казалось, что он попал в самый настоящий зиндан...

Да, это ничем не напоминало Мухиддину прежних посещений Кок-сарая, куда его вызывали для приятных бесед с устодом. Те беседы протекали в нарядных покоях, когда сидишь, бывало, на мягких шелковых и

парчовых одеялах... А тут! Мавляна Мухиддин сжался весь, когда услыхал какой-то писк под ногами и сообразил, что это крысы. Он кинулся к двери, стал яростно стучать по железу немощными кулаками, дергать за медные кольца, кричать, кричать, кричать!.. Чтобы потом, вспотев от усталости и бессилия, от мысли, что его погребли здесь, в этом вонючем сыром подвале, упасть коленопреклоненно на земляной пол и по-детски, навзрыд, заплакать...

Стирая со щек и бороды слезы, он стал думать о том, что не случайно очутился в сей холодной могиле, что это наказание за тяжкий его грех перед всевышним. И поделом, и поделом тебе, разжигал он себя,— вместо того, чтобы денно и нощно творить молитву во славу аллаха, просить об отпущении своих прегрешений, он, ученик султана-вероотступника, дерзал заниматься нечестивыми науками! Он, ничтожный, поднял взгляд на небо — престол вседержителя и всесоздателя, не в молитвенном преклонении поднял, не для умиленного восхищения тайнами божественными, а с необузданным желанием проникнуть в них умом смертного... А разве совсем недавно не свершил он еще одного греха? Вместо того чтобы убояться всевышнего, его праведного гнева, кого он убоялся? Неблагодарного раба божьего Али Кушчи!

Опять забегали на полу меж седел и доспехов крысы, и опять волосы поднялись дыбом на голове мавляны. Он снова метнулся к двери, хотел снова стучать, но, подняв кулаки, замер: кто-то, кажется, спускался по ступеням в подвал, да-да, спускался, потому что шаги слышались все явственней. «О создатель! Яви свою милость... Пусть за мной придут, пусть позовут меня...»

Раздалось звяканье ключей в замке, громыхание цепи; дверь, скрипя, приоткрылась. Два стражника с факелами объявились на пороге.

— Мавляна Мухиддин!

— Тут, тут я! Тут, ваш покорный слуга!..— мавляна бросился к стражнику, припал к нему.

— Э-э, стой, мавляна, иль умом тронулся?! — стражник чуть не уронил факел. Правой рукой схватил мавляну за плечо, скомкав в кулак ткань чекменя.— Стой, говорю... А ну, следуй за нами!

— Готов, готов,— бормотал мавляна. Он поднимался по ступеням вверх, ощупывал холодные стены, боясь свалиться, и, когда очутился наверху, опять заплакал, чем

немало удивил стражников. «О благодарю, благодарю тебя, создатель... неужели я снова вижу белый свет?»

Из караульного коридора стражники вывели мавляну Мухиддина во двор Кок-сарая. Они шли мимо каких-то навесов, мимо конюшен, мимо спусков в какие-то подвалы, откуда их обдавало жаром, оглушало стуком молотов, бьющих по наковальням... А какое небо простерлось над двором Кок-сарая! Оно полно было звезд, а полумесяц над куполом дворца блестел, словно был чеканки настоящего золота!.. Мавляна Мухиддин потупил взор. «Опять не удержался, грешник... Прости раба своего, создатель, слабого и греховного раба своего!»

Ему приказали прибавить шагу.

Куда они шли, он не знал, и потому, попав вдруг в роскошные палаты, где от сотен свечей струился яркий свет, где ноги утопали в ворсе роскошных ковров, словно не по земной тверди ты шел, а парил над землею, попав вдруг сюда, усомнился, явь ли все это, не спит ли он, находясь на самом деле по-прежнему в мрачном подвале. Он подумал еще о том, что хорошо, если бы сном оказалось все его «приключение» — и подвал с визгом крыс и эти роскошные залы, через которые он проходил, поторапливаемый воинами, двигаясь куда-то, к цели, ему неведомой.

Наконец в одной из зал дворца перед резными дверями, искусно инкрустированными жемчугом, мавляна увидел представительного, важного вельможу в халате из синей парчи. Где-то он встречал этого человека?.. А, в доме эмира Ибрагима-тархана! Это Улугбеков военачальник... ну, да, его зовут эмир Султан Джандар!

Краснощекий бородач эмир не без жалости оглядел мавляну.

— Застегните пуговицы, мавляна... И поправьте чалму. Сейчас войдем к повелителю.

Мавляна Мухиддин быстро застегнул пуговицы на чекмене, непослушными руками поправил тюрбан. Султан Джандар за эти мгновения успел войти в тронную залу и выйти оттуда. Знаком показал: входи!

Это было тоже будто во сне: у золотого кресла, где совсем недавно восседал Мирза Улугбек, на сей раз стоял, напряженно вытянувшись во весь свой высокий рост, хмурый молодой человек. Лицо его было болезненно-серым, кончики редких усов странно подрагивали. Широко расставленные ноги и скрещенные на груди руки

усиливали впечатление воинственности, веявшей от всей его фигуры.

Мавляна пал на колени, потом ниц, лбом к полу.

Хмуро поглядев на распластанного, шах-заде без слов, движением брови как бы спросил Султана Джандара: «Это он и есть, мавляна Мухиддин?» Эмир кивнул, он, мол, и есть!

— Гм...— Абдул-Латиф не предложил мавляне подняться, он продолжал, полунасмешливо прикусив губу, разглядывать ученого, не смевшего посмотреть на нового властелина... Впервые видел шах-заде мавляну Мухиддина, хотя почитывал некогда и его сочинения, что пользовались, пожалуй, не меньшей, чем сочинения Али Кушчи, славой. И представлял себе их автора проницательным длиннобородым мудрецом, гордым и высокомерным. Абдул-Латифу хотелось, чтобы отступивший от своих прежних убеждений мавляна, вчерашний крамольник, был таким же высокомерным гордецом, а то и посильнее, поупрямей самого Али Кушчи. А перед Абдул-Латифом... мешок какой-то валяется у ног, тряпичка, чтоб ноги вытирать об нее.

Шах-заде нарочито медленными, мелкими шагами подошел к мавляне Мухиддину, навис над распростертым на ковре телом.

— Встаньте, мавляна!

Ученый поспешно приподнялся, согнулся в поясном поклоне, да почти так и остался стоять, словно не до конца переломленный прут. Лишь краешком глаза, робко, снизу посмотрел он на Абдул-Латифа. Тот перехватил взгляд. Ах, какие красивые, нежные глаза были у мавляны Мухиддина! Словно очи красавицы, подумалось шах-заде, с густыми ресницами, глубокие, чистые?

— Почему вы дрожите, мавляна?.. Пойдемте-ка сядем...

В кротких красивых глазах мелькнуло удивление. И все равно был в них страх, страх неизбывный.

— Б-б-благодарю, сиятельный... повелитель... Ваш слуга принес к ногам вашим раскаянье свое...

— Ну, ну... Проходите, мавляна, проходите. Присаживайтесь,— шах-заде пересек залу. По-прежнему улыбаясь той самой милостивой своей улыбкой, указал мавляне на кресла в углу, покрытые шелком.

При виде усмехающегося шах-заде понимающе улыбнулся у дверей залы и эмир Джандар.

Мавляна Мухиддин, все еще как бы не доверяя любезному приглашению, засеменил вслед шах-заде, встал в углу залы, у кресел, и только после вторичного приглашающего жеста хозяина несмело присел на краешек одного из них. Шах-заде уселся напротив.

— Мавляна, я когда-то изучал ваши труды по математике и астрономии...

Он еще не кончил фразу, а мавляна Мухиддин стремительно поднялся и встал перед шах-заде, как осужденный, склонив голову.

— Простите меня, повелитель! Шайтан попутал несведущего раба вашего, сбил с пути истинного!

Мирза Абдул-Латиф брезгливо поморщился. Не этих слов он ожидал в ответ. Мавляна должен был защищать свои убеждения. Как Али Кушчи. Шах-заде желал показать этим гордецам ученым, что он тоже немало смыслит в тех тайнах, знанием которых они гордятся, смыслит настолько, чтобы потом наставить их на путь истинный, коль скоро Мирза Улугбек, или шайтан, как сказал этот робкий мавляна, сбил их с этого пути.

— Гм... Стало быть, шайтан сбил вас с пути истинного?..

— Точно, он, повелитель!

— Выходит, что вы теперь не разделяете тех мыслей, в которые недавно верили?

— Не разделяю, повелитель, не разделяю.

Шах-заде бросил взгляд на эмира Джандара. Тот заулыбался ответно, всем видом выражая свое мнение: «Да, мавляна неплохой, неплохой человек».

Абдул-Латиф отвернулся недовольный... Этот хилый мавляна готов, видно, беспрекословно подчиниться ему, в другой раз подобное подобострастие лишь порадовало бы шах-заде, ныне же раздражает.

Интерес Абдул-Латифа к Мухиддину сразу погас. Хотел было отдать приказ Султану Джандару увести пленника, но вспомнил о спрятанных книгах.

— Очевидно, вы осведомлены о числе книг в обсерватории, мавляна?

Собеседник часто-часто закивал, преданно и кротко.

— Тысяч пятнадцать-шестнадцать. Или даже больше, повелитель.

— Какие исчезли, знаете?

— Трудно не знать... Все самые редкие и ценные.

— Надо говорить — самые нечестивые! — чуть вспылив, поправил Абдул-Латиф.

— О, простите меня, повелитель!.. Истинно так! Нечестивые, самые нечестивые книги хранились особо. Среди них те, что доставлены были из Китая, Египта, Индии, Рума... Отдельно хранились книги, написанные теми, кто жил в Хорасане и здесь, в Мавераннахре, их тоже было несколько тысяч, и все эти книги...

— А откуда вам известно, что их вывез Али Кушчи?

Мавляна торопливо облизнул губы.

— Мавляна Али Кушчи собственными устами признался мне в том, повелитель.

— И в том, что спрятал золото и драгоценные камни, тоже признался собственными устами?

— Истинно так, повелитель, собственными...— мавляна запнулся.

— Когда это было?! — Шах-заде стремительно подскочил, двумя руками надавил на плечи мавляны Мухиддина, пресекая попытку тоже подняться с кресла.— Говорите, не тяните, мавляна!

— Устод... то есть Мирза Улугбек... нет, султан-вероотступник...— мавляна совсем растерялся,— за неделю... за неделю до... низложения своего поручил Али Кушчи сокрыть... Это греховное дело поручил... А мавляна Али Кушчи осведомил вашего покорного слугу об этом поручении.

Шах-заде выпрямился, вновь скрестил на груди руки.

— С какой же целью он сделал так?

— Чтобы и меня... меня тоже притянуть к исполнению... греховного намерения!

— А вы? Не согласились?!

— Истинно не согласился, повелитель!.. Всевышний уберег...

— Хм...— шах-заде полуобернулся к эмиру Джандару. Эмир подобрался, вытянулся в струнку.

— Привести Али Кушчи, благодетель?

Услышав это имя, мавляна Мухиддин пугливо посмотрел на эмира. «Не надо, не надо»,— молили его глаза.

— Мавляна Мухиддин не виноват, это все дьявол Али Кушчи...— Султан Джандар попытался прийти на помощь сыну знаменитого богача-ювелира.

У шах-заде снова странно запрыгали кончики усов.

— Нет,— сказал он твердо.— Сюда не надо. Отве-

дите мавляну Мухиддина к тому безбожнику! В одну темницу их! Пусть-ка мавляна Мухиддин поговорит с нечестивым Али Кушчи, пусть заставит его признаться в свершенных грехах!.. И уж тогда приведете их ко мне обоих вместе.

Мавляна Мухиддин сполз с кресла к ногам шах-заде.

— Милосердия, милосердия прошу, повелитель!

— Убрать!

И шах-заде брезгливо отвернулся в сторону.

11

Салахиддин-заргар до утра не сомкнул глаз, ожидая сына. От любого шороха стучало сердце и взгляд устремлялся на дверь. Но не было ни самого мавляны Мухиддина, ни вестей от него. Значит, оставили в Кок-сарае, а что значит «оставили», Салахиддин-заргар знал.

Старик не находил себе места. Его Мухиддин — болезненный, с детства ослабленный многими недугами, нежен и прихотлив, словно девушка. Что же с ним будет, коли попадет он в сырую темницу, кишащую насекомыми? Сколько дней выдержит?.. О аллах, неужто на склоне дней своих он, Ходжа Салахиддин, будет разлучен с единственным сыном, светом очей, надеждой своей? Коли случится несчастье с Мухиддином, то долго ль протянет он сам, человек того возраста, когда одной ногой стоят еще на земле, а другой — в могиле?.. И кому рассказать о нагрянувшей беде?

Единственно — шейху Низамиддину Хомушу. Правда, его, шейха, волю исполняя, Ходжа Салахиддин и оказался в нынешнем трудном положении. Но к кому же еще пойти за помощью, за душевным успокоением?

Ничего другого Салахиддин так и не придумал, хоть думал до утра.

Прочел утреннюю молитву. Надел теплый, из верблюжьей шерсти чекмень; на голову, поверх скромной бархатной тюбетейки, навертел шелковую чалму. Взял из ниши шкатулку. Из груды изящных сверкающих украшений выбрал два перстня — оба золотые, один с бирюзой, другой с алмазом, вправленными в металл.

Так повелось, что при посещении светлейшего шейха ювелир расставался с какой-нибудь дорогой вещицей; ныне одной не обойтись, взял две.

Небо начинало светлеть. Верхушки высоких тополей

в саду уже заблестели, хотя солнце еще не взошло. Постукивая неизменной своей палкой, Салахиддин-заргар медленно пошел по двору под виноградными лозами. Приблизился к воротам.

— Дедушка, дедушка! — послышалось сзади.

Легко одетая, с небрежно брошенной на лицо кисеей, к нему подбежала внучка. Хуршида-бану была бледна, в глазах бессонная ночь, губы подрагивают, вот-вот не сдержит слез.

— Дедушка, куда вы?.. Куда вы уходите, оставляете нас одних?

Любимая внучка, как всегда, растрогала старика.

— Дитя мое, я скоро вернусь. Ты не бойся... Я иду справиться о твоем отце.

— В Кок-сарай? — голос Хуршиды снизился до шепота.— Ой, нет, не надо! Не ходите в Кок-сарай, дедушка!

— Нет, я иду в другое место,— старик помрачнел.— Надо же узнать, что с твоим отцом...

— Ему будет очень трудно, я знаю, очень трудно,— Хуршида-бану закрыла обеими руками лицо и заплакала.

Салахиддин-заргар насторожился. Сдвинул брови.

— Что ты знаешь?

— Али Кушчи в темнице, говорят. И еще говорят, будто шах-заде собирается всех ученых мужей бросить в зиндан...

— Кто тебе это сказал? — прикрикнул Салахиддин, глаза его округлились от вспыхнувшего гнева, куцая борода воинственно задралась.— Кто сказал, откуда услышала такое?

Хуршида-бану виновато потупилась.

— Я услышала об этом... случайно... я...

Слезы женщины — оружие, действующее и на стариков. Ну как деду было не смягчиться?

— Не бойся, дитя мое, не плачь... В зиндане по велению шах-заде будут не все ученые мужи, а нечестивцы, что подняли меч на истинную веру. Твой же отец ничем подобным не прогневил всевышнего... Иди, иди, делай свои дела, а я буду делать свои!

Старик поцеловал внучку в лоб.

«Откуда все-таки она узнала злосчастную весть?»

Во внешнем дворе сторож грелся под навесом у ведерка с тлеющими углями. Завидев хозяина, он торопливо поднялся, стал выбирать из связки на поясе нужный ключ.

— Постой... Хочу спросить... Ночью никто к нам не приходил, не стучал?

— Нет, господин мой. Не то что человека не было, муха не пролетела.

— Ну, ну... Все равно будь начеку! Если кто появится без моего позволения, тебе отвечать!

До самого кладбища «Мазари шериф» не давал ему покоя тот же вопрос — откуда узнала внучка про Али Кушчи?

На открытой площадке перед домом шейха горел костер, около него грелись дервиши. Другая группка неподалеку кипятила воду в котлах.

Бывало ювелира почти сразу звали к шейху, не давая ждать во внешнем дворе. На сей раз у шейха, видно, было важное свидание с кем-то высокопоставленным — и по внешнему и по внутреннему дворам усадьбы мюриды ходили на цыпочках, переговаривались вполголоса, без конца проносили в дом серебряные подносы со снедью. То и дело мимо Салахиддина-заргара шли прямо во внутренний двор без приглашения угрюмые нукеры и какие-то незнакомые, надменно глядящие прямо перед собой дервиши.

Пришлось-таки посидеть, обождать, пока наконец тоненький, словно девушка, совсем молоденький мюрид пригласил его проследовать в дом.

Ох, не услышать бы сейчас от шейха безрадостной вести!

Старик придержал мюрида за руку.

— Есть кто-нибудь там, у моего пира?

— Да. Сегодня изволили пожаловать к нам светлоликий ишан Ходжа Ахрар, пир нашего пира.

Салахиддин-заргар невольно ощупал в кармане золотые перстни. Недаром он взял два перстня! Доброе предзнаменование!

И, подумав так, испытал вдруг чувство облегчения.

...Ишан Убайдулла Ходжа Ахрар восседал в просторной салям-хане на самом видном и почетном месте. Шейх сидел справа от него, тоже на груде шелковых одеял и тоже с четками в руках. Рядом с ладным, не потерявшим и в преклонные годы стройности шейхом ишан, широкоплечий и грузный, напоминал приземисто-закругленную киргизскую юрту. Белая борода шейха и рядом черная, как смоль, курчавая, без единого седого волоса борода на груди ишана... Каждый был и лицом заметен:

строгие черты просветленного лица у шейха и мясистое, носатое, щекастое, румяное — у ишана. И внимательные, словно притягивающие к себе взгляды обоих...

Салахиддин-заргар преклонил колени, подобострастно произнес все слова почтительного приветствия. Ходжа Ахрар бегло глянул на него, продолжая перебирать четки. Шейх ответил, как полагается, словами молитвенными. А затем неожиданно спросил:

— Что скажешь нам, Ходжа Салахиддин? С чем пришел?.. Маловато времени у нас для тебя — вот пожаловал наш духовный отец из Шаша, удостоил нас чести лицезреть его и беседовать с ним о законах шариата, о делах первостепенно важных.

Ювелир еще раз склонился в почтительном поклоне.

— Благодарение аллаху за явленную милость — за то, что привелось мне припасть к стопам покровителя и защитника моего, прославленнейшего ишана, известного щедротами своими.

— Так говори же, Ходжа... — снова заторопил гостя шейх. Это было против обыкновения и потому страшило ювелира.— Что нового в городе? Какие вести среди торговых людей?

— Этой ночью, мой пир,— решился заговорить о своем Салахиддин-заргар,— ко мне в дом пришли нукеры... и увели с собой сына моего единственного... мавляну Мухиддина. Он еще не вернулся, мой пир.

Шейх тонко улыбнулся.

— Видно, понравился повелителю, раз не вернулся.

— Мой пир!

— Или, может, тут другая причина? Может, твой непостоянный сын при встрече с нечестивцем Али Кушчи в дворцовом зиндане забыл про то, в чем каялся здесь, в сем доме?

— Этого не могло случиться! Раскаянье сына у ног ваших было чистосердечным и полным!

— Чистосердечным и полным?! — вдруг вмешался Ходжа Ахрар. Его глаза гневно засверкали.— Когда можно было ему верить, сыну твоему, богохульнику?.. Да, да, богохульнику, ибо иначе нельзя назвать человека, простирающего сомнения свои до того, чтобы усомниться во всемогуществе творца всего сущего. Сын твой хотел проникнуть мысленным взором в таинственное царство вседержителя и всесоздателя... Почему же ныне он,

любимый ученик султана-вероотступника, отказался от заветов своего учителя, как ты говоришь?

Ходжу Салахиддина охватил ужас. Только каяться, снова и снова каяться — лишь в этом было спасение.

— Безгрешен один аллах,— пробормотал он.— Простите, простите неразумного, заблудшего раба божьего!

— «Заблудшего, неразумного»! — передразнил его Ходжа Ахрар, раздувая ноздри.— Я хорошо знаю тебя, ювелир! Хорошо знаю... Теперь ты уверяешь нас, что во всем раскаиваешься, а откуда пришло к тебе богатство, если не из щедрых рук вероотступника, покровителя твоего?

— Мой пир, покорность и преданность слуги вашего могут подтвердить многие... да и очевидна она...

— Ты не спорь, а лучше молись о спасении души сына!.. А о милосердии проси господа, только господа... Участь всех, кто пытался усомниться в могуществе творца, кто стремился совращать правоверных с пути истинного, участь всех нечестивцев будет столь же плачевной, как и твоего грешника сына! Всевышний не забывает про мщение тому, кто возгордился!..

Салахиддин повалился в ноги, коснулся лбом ковра. Ужас словно обручем сдавливал голову, язык не слушался, но молча старик кричал только одно: «Не лишай милосердия своего, аллах, пощади!»

— Иналлахо маассобирин... Аллах с теми, кто терпелив...— это произнес уже шейх Низамиддин Хомуш.— Будь терпелив, Ходжа Салахиддин!

Шейх достал из-под сиденья трещотку, потряс ею. Юный мюрид возник на пороге комнаты.

— Пришел ли божий нищий Давулбек?

— Он здесь, пирим.

— Скажи, пусть заходит.

Салахиддин-заргар не поднимал головы. Лишь по звуку догадался, что кто-то вошел в комнату и пал рядом с ним. Робко покосился на того, кто со столь громким рвением приветствовал ишана и шейха. Вместо нищего, оказывается, приложил лоб к пышному ковру косоглазый есаул из Кок-сарая: кривая сабля гулко стукнулась ножнами о незастеленную часть пола, в глаза ювелира так и лез железный воинский шлем на склоненной голове.

— Ну, дервиш, принес ли ты вести о беглеце?

— Нет еще, мой пир...

— Это ты-то не можешь, старший средь дервишей и

с некоторых пор есаул-баши во дворце? А я считал тебя проворным...

— Моя вина, пирим... не осталось такого места в столице, где бы я не побывал, такой щели не осталось, в которую не пролез бы.

— Что еще за беглец?— спросил Ходжа Ахрар.

— Нечестивец Каландар Карнаки. Третьего дня я говорил вам о нем, мой пир... Он сбежал в день гибели султана-вероотступника и до сих пор не найден.

— Жаль,— Ходжа Ахрар недовольно покачал головой.— Доверять тому, кто побывал в руках султана-вероотступника...

— Не доверять, мой пир... я испытывал его, за ним следили... вот он,— шейх кивнул на Шакала.— Ну-ка, оторви лоб от ковра... И ты, заргар!

Шакал приподнялся, положил руки на колени.

— Если сама земля поглотит этого дьявола, все равно я найду его, мой пир!

Шейх Низамиддин Хомуш повернул разговор в сторону от неприятного и для себя русла:

— Ну, хорошо, хорошо, ищи!.. А теперь посмотри направо. Знаешь этого человека?

Шакал не повернул головы, только искоса оглядел стоящего рядом с собой на коленях человека. Осклабился.

— Во всем Мавераннахре нет того, кто не знал бы достопочтенного.

— Так вот, сын достопочтенного ювелира, мавляна Мухиддин, говорят, брошен в зиндан... там у вас в Коксарае. Это известно тебе?

— Да, мой пир. Мавляна Мухиддин находится вместе с нечестивцем Али Кушчи.

— Почему? Или его еще не допрашивали?

— Допрашивали... Хвала мавляне, он повторил те покаянные слова, что говорил здесь, у вас.

— Почему же тогда он в зиндане?

Шакал пожал плечами.

— Так решил повелитель... Пусть, мол, мавляна Мухиддин заставит раскаяться и Али Кушчи, тогда их вместе и освободят!

Салахиддин-заргар застонал. Он снова хотел пасть к ногам шейха, но грозный возглас ишана остановил его.

— Верно, верно сделал шах-заде! — Ишан поднял

руку с четками, словно для того, чтоб исхлестать ими человека, который осмелился бы возразить. — Верно! Так с ними и надо поступать, с богохульниками! Не прощать их, а карать! — Ишан откинулся на подушки за спиной.— Твой сын, заргар, ел плов из одной чашки с этими вероотступниками! Не боясь гнева творца, сочинял неугодные богу трактаты! Он должен, должен теперь понести наказание! И чем сильней оно будет, тем скорей очистится его душа, погрязшая в грехах... И не плакать по сему поводу надо, заргар, а благодарить творца!

— Пир мой, вы не знаете Али Кушчи...

— Знаю! Всех я их знаю! — Ишан снова выпрямился. Не поворачиваясь, занес руку за спину, поправил подушки.— Я знаю и шах-заде, заступника истинной веры... И вытри, вытри глаза, заргар, не бормочи о помощи и милосердии. Милосердия надо просить у бога, только у него одного. Денно и нощно моли его об отпущении грехов... И да сбудется твое моление. Ну, встань, заблудший!

Поднимаясь, Ходжа Салахиддин посмотрел на шейха, но тот как бы в смущении отвел взгляд в сторону...

С трудом нашел выход в этой хорошо освещенной комнате старый ювелир. Шатаясь, пошел через прихожую, на мгновение привалился к стене отдышаться. Рука, растиравшая грудь под чекменем, случайно нащупала перстни. «Так и не отдал!.. Идти снова? Нет, нет!.. Нести их обратно? С ними домой? Дурной знак, ох какой дурной!.. Что же будет с нами, что будет?»

12

Каландар пришел в пещеру кузнеца Тимура Самарканди в полночь. Вернулся и молча лег лицом вниз на полушубок, расстеленный возле наковальни. На вопрос кузнеца «что случилось?» ответил коротко:

— Мавляна Мухиддин тоже в зиндане, отец.

Говорить, рассказывать подробности, проклинать шах-заде — ничего не хотелось. В мыслях своих Каландар все еще был в саду Салахиддина-заргара. Все стояло перед ним лицо Хуршиды, омытое слезами, и голос ее продолжал укорять, хотя и сказала она, что ни в чем его не винит.

Нынче он вторично пошел к мавляне Мухиддину, снова стучался в знакомое окно, выходящее в сад. С за-

миранием сердца услышал, как отворилась калитка. По легкому шороху кавушей узнал: идет Хуршида.

Он стоял все под той же старой орешиной. Хуршида была одета по-другому, чем прошлый раз. Поверх длинного, до самых щиколоток платья на ней был черный мурсак[1], вместо платка голову покрывала черная бархатная накидка, и даже тонкая-тонкая кисея на ее лице показалась Каландару иссиня-черной. Под стать настроению, видно, оделась; стояла молча, прямо, склонив голову под тяжелой накидкой.

Предчувствуя худшее, Каландар спросил:

— Да будет все хорошо у вас, госпожа моя... Вернулся ли домой мавляна?

— Нет...

Хуршида-бану подняла голову, посмотрела на дервиша. Глаза ее были печальны и, показалось Каландару, холодны.

— Почему? — спросил он и тотчас догадался, что вопрос неуместен.

— Откуда мне знать?.. Только... не думаю я, что они бросят в зиндан человека, который предал... будто предал мавляну Али Кушчи!

— Простите меня, госпожа...

— Вы говорили... вы уверяли меня, что нечего опасаться за него... Отца не тронут, даже волоса его не коснутся... Так где же он?!

Каландар отвел взгляд.

— Разве не все мы ошибаемся... Простите меня...

— Да, мой отец человек слабый. Его легко напугать. Зиндан, угроза оставить его там — это ведь в самом деле страшно. И все же, бог свидетель, отец не поступится своей совестью. Он не предаст друзей!

Мягкая, покорная, Хуршида могла быть гневной и резкой, Каландар знал это.

— Простите меня, Хуршида-бану,— только и мог повторить он,— я-то думал, несведущая душа...

Хуршида словно не слышала его.

— Слабый, невыносливый, больной, как же он перенесет зиндан? Рассказывают ужасы... Бедный отец!

Каландар не мог ни оправдаться перед Хуршидой за то, что посеял в ее душе семена недоверия к отцу, ни помочь чем-нибудь этой милой сердцу женщине, что

---

[1] Мурсак — женская одежда типа безрукавки.

спрятала лицо в ладони, в белые, нежные, прекрасные свои руки — и не для того ли, чтоб не видел он ее слез? Дважды в жизни он обидел Хуршиду, и теперь особенно трудно было приблизиться к ней, говорить слова утешения.

— Ну, полноте, госпожа, не надо плакать,— наконец сказал он, презирая себя за то, что не может найти нужных слов.— Не будем терять надежду.

Хуршида продолжала плакать, безутешно, беззвучно.

— Мы не будем сидеть сложа руки. Придумаем... что-нибудь придумаем, госпожа моя.

В глазах, обращенных к Каландару, вспыхнула искорка надежды. И тут же угасла.

— Дедушка бедный... Не знает, куда идти, у кого просить помощи.

— Да, трудно, всем трудно — и людям науки, и простым людям! Этот безжалостный новый властитель, видно, решил бросить в темницы всех, кто держит факел просвещения. Но суждено ли сбыться тому?

Не этих слов, нет, конечно, не этих утешений ждала от него Хуршида. Но что он мог сказать определенного? Пока ничего...

Хлопнула садовая калитка, показалась тень женщины, за нею еще одна тень.

— Хуршида! Где ты, дитя мое?

— Это за мной! — Хуршида оперлась на руку Каландара. Видно, в испуге. Ее рука была горяча и дрожала.

Каландар пожал эту дрожащую руку. Почувствовал, как всего его охватил жар. Вдруг обнял ее, прижал к себе. Хотел нежно поцеловать в лоб, но не выдержал — задыхаясь, стал целовать ее в губы, глаза, шею...

Вновь раздался тревожный голос, зовущий Хуршиду. Она же стояла, будто не слышала, что ее зовут, прижав горящее лицо к груди Каландара.

— Мы найдем выход, найдем,— прошептал Каландар.— Я приду еще, приду! — И, сказав так, подался назад, скрылся в темноте ветвей, словно растворился в ночном саду.

Уже в овраге за садом услышал, как отозвалась кому-то Хуршида:

— Я здесь, здесь! Иду...

Как помочь Хуршиде? Как помочь наставнику своему Али Кушчи? Чем помочь и себе самому?

Каландар пробирался глухими проулками и все ду-

мал, думал об этом. Ночные дозоры заставляли его менять направление пути, от каждого дальнего факела он поспешал куда-то в сторону, и вскоре так запутался, что вовсе потерял представление о том, где находится.

Потом вдруг обнаружил, что все это время кружил, что очутился в конце концов неподалеку от дома Али Кушчи, возле Ак-сарая. Давнее желание проведать Тиллябиби удобно было осуществить как раз сейчас, ночью, во тьме. Лишь бы не напугать старушку!

Ну а что он ей скажет? Что готовит подкоп в зиндан, куда заточили Али Кушчи и мавляну Мухиддина?.. Чем утешит ее?

Поборов сомнения, он все же навестил Тиллябиби и сам был не рад, что навестил. Больная, в сильном жару, с закрытыми глазами, она металась в постели и бредила. Приняла Каландара за сына, все гладила рукой лицо его; на минуту сознание будто вернулось к ней, она открыла глаза и убедилась, что это не сын, что это другой человек, и, не узнав Каландара, откинулась на подушки, закричала в страхе, а потом опять забылась, забредила...

...Каландар закутал голову чапаном. Воспоминания замучили его.

Братья Калканбек и Басканбек тормошили его, невесело шутили: вставай, мол, ничего не сделаешь в этом бренном мире. «Вернуть разум безумному может один лишь аллах!»

Каландар оставался недвижимым.

Время было далеко за полночь, когда братья собрались уходить. И тут вдруг постучали в дверь пещеры. Уста Тимур пошел со светильником в руках разузнать про позднего гостя, долго расспрашивал кого-то в коридоре, потом появился вместе с Мирамом Чалаби.

— Этот юноша привел к тебе какого-то человека из медресе Мирзы Улугбека... Может, поднимешься, сын мой?

Каландар приподнялся. Мирам почтительно поздоровался с ним.

— К вам Мансур Каши, его послали талибы медресе, все талибы...

— Послали ко мне? — удивился Каландар.— Зови тогда, раз ко мне.

Мансур Каши был самым молодым из мударрисов в медресе Мирзы Улугбека, но его уважал сам устод за ум, глубокие и обширные знания. Непривычно было ви-

деть Каландару, что такой гость почтительно приветствует его, да так почтительно, будто перед ним не бывший талиб этого медресе, не дервиш недавний, а некий достославный ученый муж. Приход Мансура Каши не мог не радовать: еще не перевелись, значит, честные люди!

Старик кузнец оживил горячие угли в жаровне, подкинул туда ветви саксаула, постелил на помосте войлок, пригласил гостя садиться. А Мансур Каши все оглядывался по сторонам: что и говорить, «зала» была непривычна. Каландар успокоительно положил ладонь на колено мударриса.

— Так вы говорите, что вас послали ко мне люди науки и талибы? Откуда прослышали они о вашем покорном слуге?

Мансур Каши улыбнулся, погладил коротенькую свою бородку.

— Слава о вас распространилась по всему Мавераннахру...— заученно сказал гость и добавил не без лукавства: — Особенно, шаир [1], после того, как вы оставили отшельничество и оказались вновь под крылом мавляны Али Кушчи... Люди науки знают о вас и уважают вас! — это Мансур Каши сказал уже всерьез.

Их было приятно услышать, эти слова мударриса Мансура Каши. Но и горько от этих слов было тоже. «Велика ль польза от того, что я вновь под крылом мавляны Али Кушчи, коль ничем не могу помочь ни ему, ни другому своему наставнику, ни женщине, которую люблю!»

Все же Каландар превозмог себя, спросил спокойно, словно уверен был и в собственных силах, и в силах собеседника:

— Так что говорят среди ученых мужей, расскажите нам, друг мой.

Мансур Каши, свыкшись с обстановкой, глядел теперь неотрывно на пламя костра.

— И талибы, и мударрисы пребывают в тяжкой скорби, шаир. Ведомо, что все медресе ныне закрыты, и как сложится судьба ученых людей, неизвестно. Впрочем, доброй судьбы не ждем.

— Пребывать в скорби — много ли блага от этого занятия? Печаль лишь обессиливает.

---

[1] Шаир — поэт.

— Верные слова! — горячо вмешался вдруг в их беседу Мирам Чалаби.— Но поговаривают, будто ученые люди решили вызволить из заточения Али Кушчи! Не знаю, почему не говорит о том мавляна Каши.

Мансур Каши с опаской взглянул на двух братьев, Калканбека и Басканбека. Они сидели у костра, поддерживали огонь. Каландар успокоительно улыбнулся, давая понять, что эти люди свои. Каши в ответ кивнул, но голос все же понизил, когда начал рассказывать:

— Да, Мирам говорит правду. Вчера вечером ко мне пришли талибы, несколько человек, с таким предложением — вызволить из темницы мавляну Али. Головы свои, мол, не пожалеем, в огонь бросимся, на все готовы... Если б знать, говорят, в какой стороне зиндан, мы бы подкоп сделали!

— Ай да молодцы! — не выдержал Калканбек.— Настоящие джигиты! Как по-твоему, Басканбек?

— И по-моему, молодцы... Думать-думать, весь ум растеряешь! Действовать надо! — Басканбек щелкнул ногтем по медному кумгану, ловко выхваченному им из огня.— К таким джигитам с храбрыми сердцами и мы бы присоединились, правда, Калканбек? Вот наш брат Каландар думает, думает. А что придумал? А мы?.. Скажут делать подкоп — будем копать! Скажут: сабля наголо — будем рубиться! Разве не так, а, Каландар-ака?

Каландар невольно рассмеялся.

Ну и впрямь молодцы джигиты, сами всегда бодры и других могут подбодрить. Но представляют ли они себе, что такое мощная крепость с высокими зубчатыми стенами, и как ее сторожат, эту крепость, и сколько там дозоров, вроде тех, что попадались ему сегодняшним вечером по дороге?

— Чему засмеялись, Каландар-ака? — спросил Калканбек.

— А тому,— ответил за Каландара Уста Тимур, будто угадав его мысли,— что... не знаете вы, кто строил эти зинданы... И Кок-сарай, и темницы в нем строил сам эмир Тимур. А он понимал толк в этом деле!

— Так что же, будем сидеть сложа руки? — снова загорячился Мирам Чалаби.

— Молодежь права,— прервал свое молчание Каландар.— Надо искать выход. Надо найти выход! И побыстрее!

Старый кузнец сидел спокойно. Поглаживал ладонью

правую щеку, запачканную сажей, пристально всматривался в костер, будто не замечая, как вытянулись лица молодых людей, как крепко сжал голову Каландар, словно силой заставлял себя думать. Пышные ровные усы старика дрогнули, брови нахмурились.

— Смиренный раб божий, я тоже много раздумывал, как же нам отыскать выход...— Старик говорил, как обычно, медленно-рассудительно, ни на кого не глядя, только на костер, на языки огня.— Я смог прийти к одному... Узников спасет, уж если что и спасет, золото!.. Золото! И ничто другое.

— Золото? — переспросил Каландар.— Подкуп, значит?

Установилась тишина. Калканбек от кузнечных мехов пересел поближе. Все сбились в тесную кучку, будто боясь прослушать хоть слово из того, что им скажет сейчас старик.

— Золото... Подкуп...— подтвердил он.— Больше ничего не поможет. Запомните, сыны мои, средь эмиров и беков, кто сейчас предан шах-заде, нет таких, кого нельзя перекупить. Забросить бы крючок с хорошей наживкой — и кто-то зацепится. Надо лишь подумать, кого цеплять. И золота не жалеть. Голова Али Кушчи дороже всякого золота... Я не удивлюсь, коли узнаю, что Мирза Улугбек заранее подумал об этом. Видать, он и впрямь был мудрым и глядел далеко вперед.

Старик повернулся к Каландару: не выдал ли ненароком тайну? Но лицо Каландара было непроницаемо. Он сразу понял, куда клонит Уста Тимур. На мгновение удивился, что такая простая мысль не пришла в голову ему самому, и сейчас же лихорадочно стал прикидывать, кто может клюнуть на золотую наживку. Шакал, вот кто! Как-то вечером недавно он издали видел Шакала. Есаулом стал этот Шакал! На голове теперь носит не треух драный, а литой военный шлем, на поясе кривую саблю, под седлом у него крепкий аргамачище. И так важно, самоуверенно восседал на нем Шакал, что Каландар присвистнул... Да, прав старик, надо забросить удочку. Шакал клюнет!

Мансур Каши, видно, по-своему объяснил бесстрастное молчание Каландара.

— Если необходимо золото, мы придумаем, как его найти. Соберем! Никто из ученых и талибов, думаю, не откажет нам!

— Дело не в одном золоте. Найдется ли рыба? Такая, что нам нужна.

— И рыба найдется,— Мансур Каши опять невольно покосился на братьев-кузнецов.— Ваш слуга знаком с одним человеком... из важных вельмож... его имя... эмир Султан Джандар... наш дальний родственник.

— Эмир Султан Джандар?! — Каландарова бесстрастия как не бывало.

— Эмир Султан Джандар? — Старик тоже удивился.— А говорят, что он-то и есть карающая рука шах-заде!

— Ну, тогда это не рыба, а кит! — развеселился Мирам Чалаби.

— Этот кит сожрал половину Самарканда!

— Пойдет ли он на приманку?

Все заговорили хором, перебивая друг друга. Уста Тимур молитвенно поднял руки, устанавливая тишину.

— Не будем бояться, дети мои. Вряд ли такая ненасытная акула не пойдет в наши сети за увесистой добычей!.. Пусть же всевышний даст нам удачливую ловлю, аминь!

13

Эмир Султан Джандар вернулся из Кок-сарая и улегся в постель, чтоб вздремнуть. Но и мгновения, кажется, не прошло, а уж слуга осторожно тронул за плечо.

— Господин! К вам гонец из Кок-сарая.

Султан Джандар с трудом открыл глаза.

— Из Кок-сарая, говоришь? Ну, зови! — И опять сомкнул вежды эмир Джандар, опора нового властелина. Вот уже несколько месяцев нет покоя этой опоре ни днем ни ночью... В любое время суток поднимают его с постели гонцы шах-заде, будто и не эмир это влиятельный, не Султан Джандар-тархан, отпрыск древнего знатного рода, а так, чиновник какой-нибудь, человек на побегушках.

А ведь он, Султан Джандар, истинно опора шах-заде. Он освободил нового владыку и от старого повелителя, султана Улугбека, и от братца кровного, шах-заде Абдул-Азиза, что не давал Мирзе Абдул-Латифу спокойно спать по ночам...

Подумав про это, Султан Джандар вздрогнул: не призрак ли сейчас войдет сюда убиенного шах-заде, младше-

го из братьев!.. Как он рыдал тогда, в последний свой час, этот Абдул-Азиз! Будто ребенок!.. Султан Джандар все глядел на дверь, превозмогая внезапное оцепенение. Да, новый властелин многое свершил его, эмира Султана Джандара, рукой... И все-таки не доверяет! И завел еще в последнее время обычай — не спать по ночам, «государственными» делами заниматься. И все должны быть начеку — а вдруг позовет, вдруг весь диван переполошит? А если дел нету, устраивает пиры... Это бы еще куда ни шло, только и пиры его противны, как поступки, как он сам. При Мирзе Улугбеке в зале для пиров, бывало, собирались знаменитые поэты, мудрецы, танцоры и танцовщицы услаждали зрение, музыканты — слух. А этот один как сыч или позовет сановника, но не угощает, а молча пьет. Молча и ты сидишь, опрокидываешь чашу за чашей. Нудно, тоскливо! Если музыкантов велит кликнуть, то приказывает играть лишь грустное, тягучее, да чтоб тихо, а сам все сидит, раскачивается, глушит себя вином.

Шах-заде приглашает его на свои «веселья», приглашает. Наравне с приближенным каким-нибудь из своей своры, притащившейся сюда, в благословенный Самарканд, из Балха. Подаст тебе из собственных рук кубок с вином, на роже так и написано: цени, мол, эмир, честь, которую тебе оказывают.

Аллах всемогущий! На то ли он надеялся, когда отвернулся от Мирзы Улугбека и отдал славный меч в распоряжение шах-заде?

Султан Джандар рассчитывал, что Абдул-Латиф только для вида будет занимать трон, а управлять Мавераннахром, держать в страхе и трепете страну будет он, эмир Джандар. И думалось, виделось, грезилось тогда: все беки, все эмиры, вся знать, торговцы, сановники покрупнее и чиновники помельче, все, все будут обивать порог Султана Джандара, кланяться будут Султану Джандару, сложив почтительнейше руки на груди... И власть его будет невиданной, и хоромы его в столице ни с чьими другими не сравнятся по великолепию, а в гареме визиря окажутся самые знаменитые красавицы. И во имя того, чтобы осуществились эти вожделения, эмир выполнял все, что ни приказывал ему шах-заде, шел на любые преступления.

И что же? Ни слава, ни положение Султана Джандара, ничего не приумножилось. Напротив, иные вельможи стали косо смотреть на эмира, потихоньку злосло-

вить о нем... Ну а о приумножении богатства лучше и не думать!.. Последним средством поправить дела была женитьба старшего сына на внучке знаменитого ювелира Ходжи Салахиддина.

Любимая внучка ювелира, увы, конечно, не первой свежести бутон, в скольких руках мужских побывала, ну да ничего, и красавица писаная до сих пор, говорят, а главное, очень уж казна дедушки красива, а этот кутила и мот, старший сын, неисправимый игрок в кости, сумеет и эту казну потрясти, как вытряс уже немало из отцовской. И Ходже неплохо было бы при покровительстве эмира, и эмиру хорошо породниться с ювелировой казной!.. Осведомленные люди сказывают, что любимой внучке дед уготовил все состояние свое.

Султан Джандар хотел уже сватов послать к ювелиру, но сумасшедший шах-заде зачем-то бросил в заточение отца красавицы, мавляну Мухиддина. И, как ни старался Султан Джандар выгородить мавляну, не смог помочь. Не смог, хоть некоторые и думают при дворце, что он все может... И еще думают, будто эмир Джандар — причина всех гонений, заточений, казней. А он... о аллах! Он не знает, как сам-то остается в живых...

Ну да, он, как и многие другие эмиры, был недоволен бесславным походом в Хорасан, откуда вернулись без добычи. Всех раздражало, что султан Улугбек больше думал о звездах, а не о своих верных эмирах, раздражали и притеснения, которые чинил им несдержанный в страстях Абдул-Азиз, любимый сын повелителя. Вот почему он, как и большинство эмиров, взял сторону Абдул-Латифа. Но Абдул-Латиф оказался хуже отца своего. Ничем не порадовал он эмиров: ни крупными дарениями, ни высокими чинами, благодаря которым можно было бы приумножить богатство. Шах-заде, выяснилось, признает одних шейхов-богачей, поклоняется, прямо поклоняется своему пиру Низамиддину Хомушу, одного его и слушает... Улемам хорошо, да эмирам-то каково? Вон даже шейх-уль-ислам Бурханиддин в тени. Впрочем, шейх-уль-ислам, наверное, сам ушел в тень, замкнулся, отгородился от всех, выжидает.

А он, эмир Джандар... Шах-заде, видно, спятил. Каждый день смотрит, смотрит эмиру в глаза — не верит ни словам его, ни поступкам, следит за ним исподтишка, ловит ехидными вопросами, хочет поймать врасплох...

Султан Джандар встал наконец с постели. Тяжко,

долго вздыхал, растирая широкую волосатую грудь. Тут тихо приотворилась дверь и вошел Шакал.

«Вот еще одного соглядатая ко мне приставили»,— подумал Султан Джандар. Грубо спросил:

— Ну, что за неотложное дело средь ночи, косоглазый?

Шакал заулыбался угодливо.

— О том спросите нашего... милостивого повелителя, господин мой.

Султану Джандару захотелось обложить посланца самыми грубыми ругательствами. С трудом сдержался. Отвел взгляд в сторону. Стал надевать на тело, не освеженное достаточным сном, тяжелые воинские доспехи, будто на брань, но так приказывал являться шах-заде.

Мягкий, вкрадчивый, откуда-то сбоку, раздался голос Шакала:

— Мой досточтимый эмир! Вы, я знаю, не доверяете своему преданному слуге. И ошибаетесь во мне, господин. Мне самому не по душе дела наследника.

«Наследника? Не повелителя, а наследника?.. Что это значит? Какая цель у этого косоглазого, что захочет, так совратит и самого шайтана?»

Этот дервиш давно был известен Султану Джандару. Встретив его во дворце в одеянии есаула — это вместо рубища-то! — эмир очень удивился, потом догадался, что тут не обошлось без шейха Низамиддина Хомуша. Его слуга, его доносчик этот бывший дервиш! Ухо надо держать с ним востро!

Медленно затягивал эмир Джандар на своем огрузневшем животе пояс. Не глядя на Шакала, спросил, будто не понимая:

— Про какие дела говоришь, косой?

— Да про всякие разные, мой эмир... Вы-то опора ему, а чем отблагодарены?

«Моими словами говорит, моими! Но что же все это значит? Сочувствует он мне или губит?»

Было отчего разволноваться. Вчера пришел к эмиру молодой Мансур Каши, родственник. Говорил о том, что есть люди, недовольные шах-заде, что кругом неспокойно, что голод в столице и в торговле застой. А потом исподволь стал спрашивать о мавляне Мухиддине, мавляне Али Кушчи. Намекал, что ученые мужи могут многих-многих денег стоить. Выкуп, стало быть, предлагал за них. Эмир рассердился, загрозил зинданом за такие

разговоры, потом почти выгнал гостя, хоть и родственником тот был. Ну, а теперь вот еще один... в сердце Султана Джандара запускает руку... Что-то пронюхивает, на что-то намекает, змей плутоватый!..

Медленно-медленно пристегивал эмир Джандар к поясу саблю. Лица к Шакалу так и не повернул.

— Удивляешь ты меня, косой. При Мирзе Улугбеке был ты нищим попрошайкой, вечно голодный слонялся по самаркандским улицам... А теперь? По милости... наследника ты теперь есаул. Чего, кажется, еще человеку желать? А?

— Говорят, господин, и так: звание высокое, да скатерть на столе пуста...

— Есаулу да ее не заставить яствами?

— Тогда позвольте напомнить еще одну пословицу, милостивый эмир: один конь не поднимет пыли... И для хлопка нужны две ладони... Есть у меня к вам дело...

— Что за дело? Почему замолчал?

— Одно дело... выгодное. И пугаться не следует — люди верные, очень верные...

«Верные люди? Верное дело?.. А может, и вправду в столице уже поспел заговор, а я, эмир Султан Джандар, не знаю о нем? Недаром приходил Мансур Каши... И где-то ведь скрывается любимый воин Улугбека — Бобо Хусейн Бахадыр. Одно его имя вызывает у шах-заде дрожь. И Мираншах крутит в последнее время, замышляет что-то. А шейх-уль-ислам Бурханиддин и подавно не приходит с поклоном: отодвинули в тень, а в тени самое место для верного дела... Осторожность нужна. Поспешность может боком выйти... Надо все разузнать. А опираться на бесноватого шах-заде все равно что на тень опираться».

Султан Джандар резко повернулся к Шакалу, схватил его за ворот.

— Коль жизнь дорога, отвечай прямо: кто поручил тебе испытать меня?.. Ну?! Не шейх ли светлейший?.. Сам шах-заде?.. Говори! Брюхо распорю и кишки намотаю на шлем! Говори, шайтан!

— Пусть меня покарает аллах, если лгу!.. Пощадите, эмир, хоть дайте досказать...

— Досказывай!.. Есть заговор?

— Нет, господин мой! Есть деньги, много денег. Есть золото, драгоценности.

— Все черные дела начинаются с золота и драгоцен-

ностей!.. И на какой улице их просыпали, эти золото и драгоценности?

Султан Джандар слегка сдавил горло Шакала.

— Хватит зенками-то вращать. Всю правду давай, шайтан!

Шакал, задыхаясь, прохрипел:

— Мавляна... Мухиддин и мавляна Али Кушчи... они... Их надо...

«Вот это стервятник! Так ненавидеть ученых, как ненавидят их приспешники шейха, и на тебе, за золото ученых-то и решил вызволить этот шайтан... Только кто же даст за них золото и драгоценности, не Салахиддин-заргар?.. И Мансур тоже намекал на выкуп двух ученых, большой выкуп».

Эмир разжал пальцы, поправил сползший к низу живота пояс с саблей. Отодвинул с пути есаула. Прошел, прямой и настороженный, к двери.

— Заруби себе на носу, косой! Кто стоит в двух лодках, обязательно свалится в воду... Эмир Султан Джандар не продает своей чести за золото и драгоценности!

...Днем шел снег и было тепло, а к вечеру стало студено. Это эмир почувствовал сразу же, выйдя из дому в ночную темень. Кони у ворот застоялись и теперь взяли с места вскачь. Каменная дорога зазвенела под копытами, брызгами полетели ледяные осколки замерзших луж.

Самарканд, подобно кладбищу, был пуст и черен. Не слышалось ни колотушек сторожей, обычно как раз в это время обходивших улицы, ни тихого позвякивания сбруи на лошадях ночных дозорных, что с недавних пор высматривали кого-то, освещая городские перекрестки чадящими факелами: ни разу не встретились всадники и дервиши, которые обычно днем и ночью бродили по городу, так что и в самое неурочное время можно было насладиться их песнопениями во славу аллаха.

Шакал следовал за эмиром, чуть приотстав, и с тревогой поглядывал на его фигуру, казавшуюся в седле темной каменной глыбой.

Тревога есаула была понятна: а ну как эмир Джандар передаст шах-заде его слова? Не должен бы вроде, да кто их знает, сановников этих?.. А слова насчет спасения ученых мужей вырвались у него, у Шакала-то, случайно. Почти случайно. Во всяком случае, не в таких условиях он хотел их произнести и не так, как оно вышло. Но в последние дни столько всего произошло

с есаулом, что, право, и жалеть не надо, что приоткрыл он перед эмиром тайные помыслы разных людей.

Неделю назад Шакала снова позвал к себе шейх Низамиддин Хомуш. Как всегда, расспросил подробно обо всем, что случилось в Голубом дворце со дня последнего вызова — о переписке шах-заде с другими властителями, о делах дивана, о взаимных кознях военачальников. Дотошно узнавал шейх о тех вельможах, эмирах и ученых мужах, кого бросили в зиндан, а также и об отпущенных обратно на свободу. Словом, отчет за неделю, полный, подробный. Казалось, что отчетом этим шейх остался доволен. Но в конце разговор свернул опять на Каландара Карнаки, до сих пор не только не пойманного, но и не найденного, и наставник сурово изругал Шакала. Он, шейх, сделал Шакала дворцовым есаулом, приближенным к самому повелителю, а есаул никак не может найти и словить какого-то бродягу. Это ли не позор? Это ли не обманутое доверие?

Шакал ушел от шейха в печали и тревоге.

Та ночь была безлунно-темной. Шакал хлестал коня, словно вымещая на животном свою обиду — несправедлив шейх, несправедлив!

Он ведь старается, он очень старается, а Каландара поймать вовсе не просто.

Шакал снова стегнул коня, но тут же и придержал его: у страннопримного дома он услышал знакомое пение дервишей. Что-то шевельнулось в его душе. Есаул! Почести! Выгоды! Все это суета сует.

Шакалу захотелось вдруг зайти в ханаку, вдохнуть раздражающе приятный дурманный запах гармалы, посидеть вместе с теми, кто оставил суетные заботы мира сего. Не лучше ли, пусть и в рубище, в лохмотьях, быть душевно спокойным, влиться в толпу дервишей, покуривать анашу, творить хвалу всевышнему? Тяжелый камень невыполненных обещаний, упреков, загадка исчезновения Каландара — все это свалится с души, и поминай как звали!

Он зашел в ханаку.

В полутемном помещении под сводчатым потолком одни плясали в самозабвении, другие молчаливо застыли за кальянами, третьи, роясь в лохмотьях, пересчитывали собранные за день монеты. «Сколько пришлось им стучать в двери людские»,— почти с умилением подумал Шакал.

Его заметили. И что тут поднялось! Кто стал бранить Шакала, он, мол, еретик, нечестивец, покинул дорогу богоугодную; кто в восторге, смеясь, гладил его воинский шлем, его кольчугу, хватался за прочное и недешевое сукно одежды; иные же искренне радовались его приходу, быстро сунули ему в руки чилим, пригласили отведать благовонной анаши. То ли анаша была очень крепка, то ли Шакал уже немножко отвык от нее, но после двух-трех затяжек перед глазами его поплыл туман, туман, туман, и все треволнения улетучились, и все заботы, и все переживания, и словно иной мир принял его в свои объятия.

Эх, какая была у него жизнь раньше! Шакал надел чей-то старый треух, выпил пиалу кукнары — вот это зелье! — и пустился в пляс, священный танец дервишей, что именуется зикром... А потом снизошло на него исцеляющее размышление, он вспоминал свою полную страданий и унижений жизнь и нашел, что такой она осталась и во дворце, и, подстегнутый хмельным зельем, дымом анаши, одурманенный, он долго плакал над своей обидно бедной радостями жизнью, плакал, пока не заснул в каком-то темном углу.

Сколько он проспал, Шакал не помнил. Не сразу сообразил, пробудившись, где это он. В помещении горела только одна коптилка; накидав на себя всякого тряпья, прижавшись друг к другу, дервиши спали на циновках, брошенных кое-как на земляной пол. Шакал отыскал саблю, шлем и кольчугу. Вышел на воздух. Стояла полночь. Он определил это по созвездию Плеяд — хоть и не знал того названия их, которые знал Улугбек,— прямо над головой, будто пригоршня горячих углей, светили Плеяды. Хорошо, что конь послушно стоял неподалеку, привязанный к какой-то жердине, ждал, перебирая ногами от холода.

Дорога от «Мазари шерифа» до Кок-сарая шла мимо оголенных садов, прежде чем сворачивала в узкие улицы квартала ремесленников, а потом и приземистых торговых рядов. Глухие места проезжал ночью Шакал. Пустынны были сады и виноградники; пустынна базарная площадь; вымерли торговые ряды. Вдоль речушки располагались кузнечные, плотничьи, столярные мастерские. Ни звука и тут. Почему-то стало страшно. Шакал хлестнул коня. Миновал последнюю лавку кузнечного ряда и столкнулся с тремя всадниками! Ночные стра-

жи? Шакал так и подумал сначала и подался влево, давая им дорогу. Но всадники приблизились, придержали коней рядом с его конем. Засада? Шакал поднял своего скакуна на дыбы, хотел повернуть назад, но тут его ударили! Он продолжал натягивать поводья, руки у него были заняты, и один из всадников беспрепятственно накинул ему на голову просторный шерстяной мешок, тут же дернув веревку, стянул горловину. Шакал только и успел, выпустив поводья, схватиться за рукоятку сабли, но руку перехватили, заломили за спину.

Все остальное сохранилось в памяти так, как, бывает, застревает в ней зловещий сон. Так бывает еще от курения анаши: замутненные картины бессвязно следуют одна за другой.

Проскакав фарсанга два, его стянули на землю, втащили в какую-то пещеру или могилу; вокруг плотным кольцом стали люди то ли с темными лицами, такими, что не разобрать было этих лиц, то ли просто на них были надеты маски. По голосу одного из похитителей Шакал узнал — «вай-дод!» — Каландара Карнаки!

С большим трудом понял Шакал, чего от него хотели эти люди в масках. Что-то про ученых мужей спрашивал Каландар, говорил, что надо их вызволить из зиндана, а если нельзя вызволить, то хоть облегчить участь.

Шакал тут мало что мог сделать. Судьбы узников каменных подвалов в руках зиндан-беги, надзирателя темниц, и подчинен этот начальник самому повелителю, только ему! Но к нему, к есаулу, все обращали и обращали призывы и вопросы, сулили богатства, и тут вспомнил Шакал про эмира Джандара. И, вспомнив, искренне, хотя торопливо и сбивчиво, заговорил о том, что да, он постарается помочь людям, заинтересованным в этом деле, сделает все, что в его силах. Только — и тут он снова представил в мыслях своих эмира Джандара,— только нужно золото, много золота!

И тогда человек в маске, похожий на Каландара, ну да, сам Каландар, присел к полураспластанному на земле пленнику и сказал, прямо глядя на него, что ради спасения ученых мужей не пожалеют золота! Сказал так твердо, что Шакал сразу поверил. Каландар сунул ему в руки коран и потребовал на святой книге поклясться, что тайного умысла Шакал никому не выдаст, что будет отныне их человеком. Чьим, этого Шакал не понял. Понял одно — не султана Абдул-Латифа.

«В награду же,— услышал он дальше,— ты получишь жизнь и... золото».

Ему вновь надели мешок на голову, вновь связали за спиной руки, вновь потащили куда-то.

Шакала оставили в зарослях тугая на берегу Зеравшана, в этом он убедился после того, как похитители развязали ему руки, освободили от мешка и ускакали прочь.

Они ничего не взяли у него: ни коня, ни сабли, ни шлема.

Шакал взобрался в седло, все еще не веря в спасение,

огляделся вокруг. Рассвет был близок. Уже можно было увидеть очертания горы Кухак, где Каландар назначил ему следующую встречу.

Несколько дней после этого происшествия есаул ходил сам не свой. То он собирался пойти к шейху и, пав к ногам его, рассказать все, как было. Но вспоминал пещеру, похожую на могильный склеп, людей, окруживших его кольцом, себя внутри этого кольца, жалкого, словно раздавленного наполовину, вспоминал Каландара, клятву свою на коране, мешок, наброшенный на голову. «Если нас предашь, запомни — никуда не уйдешь от расплаты. На небо полезешь, и оттуда стащим тебя. За ноги!» Эти стащат!

То овладевала им решимость и вправду помочь Каландару и людям, заинтересованным в освобождении ученых. И незаметно Шакал расспрашивал о том, что имело отношение к их «делу». Вскоре убедился он, что без эмира Джандара нельзя даже войти в подвал, где томились мавляна Али Кушчи и мавляна Мухиддин. Эмиру Джандару туда открыт доступ как приближеннейшему к повелителю лицу. Стало быть, можно было с ним вместе...

Исподтишка присматриваясь, Шакал понял, что эмир обеспокоен чем-то, недоволен. Быстро сообразил чем: ждал многого от наследника — дождался малого от нового султана. И Шакал решился.

Вот только случая не мог выбрать подходящего, чтобы закинуть удочку для нужного разговора.

Нашел было сегодня случай, да неудачно что-то получилось: эмир проявил настороженность, не раскрыл сердца...

И снова при взгляде на массивного всадника, ехавшего впереди, у Шакала засосало под ложечкой: не оказаться бы по милости эмира одним из узников того самого зиндана, откуда они с Каландаром взялись вызволить ученых мужей. Бросят туда его, бедного есаула, на съедение клопам, или еще проще — отсекут голову, как это сделал со своим отцом, с самим султаном Улугбеком, сын его, нынешний повелитель. И аллаха не убоялся!

14

Мирза Абдул-Латиф лежал на боку, подперев рукою голову. Шелковые одеяла нежили теплом. Голова приятно кружилась от выпитого вина. Глаза все чаще обраща-

лись к выходу из этой залы, что несколькими коридорами была связана прямо с гаремом.

Горка шашлыка, приготовленного из перепелов, хрустальный китайский графин, наполовину наполненный золотистым вином, стояли перед Абдул-Латифом на хантахте [1].

Эмир Джандар, войдя в залу, сразу обратил внимание, что свеч зажжено мало, зала погружена в полумрак, и может быть, из-за этого, а может, из-за позы, в которой лежал шах-заде, ощутил какое-то смутное беспокойство. Он сложил руки на груди, хотел опуститься на колени у порога, но шах-заде поманил к себе. Эмир подошел, выдержал взгляд красных от бессонницы и вина глаз повелителя, услышал обычный его первый вопрос, будто не расстались они лишь несколько часов назад:

— Ну, эмир, что нового? Какие вести принес из столицы?

Эмир Джандар отвел глаза от колючего взгляда шах-заде.

— Благодарение аллаху — все спокойно, благодетель.

— Если... все спокойно, то... почему же глаза от меня прячешь?

Надо было улыбнуться, и эмир Джандар выдавил из себя улыбку.

— Мои глаза не выдерживают сияния лица повелителя...

— Лиса! — засмеялся Абдул-Латиф. — Умеешь льстить, умеешь... Только знай, эмир,— шах-заде улыбался хмельно, малоосмысленно,— знай только... я насквозь тебя вижу... все, что у тебя в душе, вижу. И что в твоем сердце, какие там... цели, тоже вижу.

— Нет в моем сердце иных целей, чем умножать вашу славу. Чтоб правление ваше было все лучезарнее и лучезар...

— Хватит!..— шах-заде не дождался конца славословящей фразы.— Я устал... эмир... Устал от государственных забот. И душа моя, эмир, жаждет забот... иных. Как говорят поэты, жажду вдохнуть аромат розы!

Шах-заде вытащил из-под подушки золоченую трещотку, взмахнул ею. На призывный стук тотчас явился темнолицый сарайбон.

---

[1] Хантахта — круглый низкий столик.

— Передай главной госпоже гарема, пусть придет сюда!

И, когда сарайбон исчез за дверьми, обратился к Султану Джандару:

— Я наслышан про одну розу, эмир. Слава ее велика... И моя душа захотела вдохнуть аромат этой розы.

Твои глаза, моя газель, мне душу опаляют.
Твои уста, как два цветка, рубинами сверкают.

А? Каковы стихи, эмир? Твой повелитель понимает толк в сложении стихов... Да ты пей, эмир!

— Стихи превосходные, благодетель.— Эмир единым духом осушил чашу.

Вино не принесло успокоения, не освободило от предчувствия чего-то дурного, что должно было случиться.

— В каком цветнике растет эта роза, чей аромат хотел бы... вдохнуть лучезарный султан?

В покой вошла госпожа гарема. На лице, как полагается, прозрачный кисейный платок голубого цвета. На загнутых носках отороченных золотым шитьем кавушей красовалось по жемчужине. Руки на пышной груди. Нежно прозвенели в поклоне украшения. Хмельной взгляд шах-заде задержался не без удовольствия на ее пышных бедрах, ясно обозначавшихся сквозь тонкий шелк шаровар.

— Описание той розы пусть нам даст госпожа гарема. Проходите, ханум, присядьте к нам.

Движения этой женщины при всей ее полноте были бесшумны и изящны. Она не подошла, подплыла к сидящим мужчинам, присела перед шах-заде почтительно и в то же время готовно, столь же игриво-почтительно приняла пиалу, что протянул ей, улыбаясь, Абдул-Латиф, а другой рукой проворно, так что перстни блеснули на пальцах, откинула кисею с лица. Как положено, чуть пригубила, выгнув шею, напружинив стан,— вся почтительность, и вся истома, что читалось в глазах, устремленных на повелителя.

Эмир Джандар украдкой — но неотрывно — глядел на ее налитую, словно спелое яблоко, фигуру, на жаркую полноту рук, угадываемую за легкими рукавами, обнажившихся, когда красавица брала пиалу, на ее манящие груди, высоко вздымавшиеся под сукном красного мурсака; эмир облизнул вмиг ставшие сухими губы, проглотил комок в горле.

Шах-заде усмехнулся, заметив волнение эмира.

— Ханум, опишите-ка нам ту, розоликую...

Госпожа гарема свела тонко изогнутые брови, меж которых устроилась темно-синяя, искусно посаженная родинка.

— Эмиру, может, и не пришлось видеть ее, но слышать о ней он уж наверняка слышал. Я говорю о той, что шах-заде Абдул-Азиз отобрал у сына Ибрагимбека.

Вот оно что! Эмир быстро взглянул на шах-заде, в мыслях пронеслось: «Что еще придумал этот изверг?! Мир полон нераскрывшихся бутонов, а он хочет цветок не первой свежести. Нездоровая страсть? Нет! Это месть! Месть брату, которого... уже нет в живых! О, ужас!»

У шах-заде при упоминании имени Абдул-Азиза улыбка исчезла, будто соскочила с лица.

— Ну, что же ты молчишь, эмир?

— Мне... приходилось слышать об этой розоликой, повелитель... Но...

— Что?

Эмир вытер со лба капли пота, искоса посмотрел на госпожу гарема. Шах-заде понял этот взгляд как просьбу говорить наедине, сделал женщине знак выйти. Та неохотно направилась к дверям.

Шах-заде нетерпеливо спросил:

— Так что ты хочешь сказать, говори!

— Благодетель! Эта роза побывала в чужих руках, и не в одних... Не просто так ведь сидела она в гареме шах-заде Абдул-Азиза.

Услышав снова имя ненавистного брата, Абдул-Латиф рывком поднялся с одеял, отбросил прочь пуховые подушки. Вмиг побледнев, проговорил, кривя губы:

— Вот я и... хочу попробовать.. что за роза знаменитая свела с ума этого ублюдка, чтоб он в могиле перевернулся, любимчик султана-вероотступника!

Эмир попробовал незаметно отодвинуться, но взгляд собеседника будто пригвоздил его к месту.

— Ну, что замолчал, эмир? Говори дальше!

— Да, да, вы правы, благодетель,— пролепетал эмир Джандар что-то совсем несуразное. Приходя в себя, добавил уже осмысленно: — Ваше желание закон, и да сбудется оно!

Вдруг счастливая мысль, словно луч, вспыхнула в голове:

— Только... только ведь роза эта, повелитель, из цветника мавляны Мухиддина, она оттуда... Взять в гарем дочь того, кто заточен, удобно ли это для султана султанов?

На лбу шах-заде собрались морщины, тонкие усы нервно дрогнули.

— А как там мавляна Али Кушчи? Не признался?

— Признается тот, кто боится аллаха, а этот нечестивец упрямый...

— Ну, вот что! — Абдул-Латиф снова упал на подушки, вытянул перед собой кулаки.— Не признался, так пусть и сгниет в зиндане! А мавляна Мухиддин... отпусти-ка его из зиндана, эмир!

Сказав это, шах-заде взял со столика пиалу, доверху наполнил ее вином из графина; протягивая пиалу эмиру, подмигнул.

— Только тебя одного, эмир, потчую из рук своих. Помни об этой чести.

— Благодарю вас, благодетель мой. И пусть всевышний щедро осыплет вас милостями своими, аминь!

— Аминь... Так когда же приведешь к нам ту розоликую?

Султан Джандар с трудом улыбнулся, поборол острый гнев, что впился когтями в сердце.

— Позвольте дать совет, повелитель... Надо неделю подождать, пока семья успокоится. Салахиддин-заргар очень влиятельный человек среди торгового люда, и к тому же ему благоволит светлейший шейх Низамиддин Хомуш... Следовало бы, благодетель, постараться не задеть чести старого ювелира, послать вельмож.

— Ну что ж, ты сам и пойдешь, эмир! — Шах-заде пьяновато рассмеялся.— Уж выпроси мне ее, ха-ха-ха!.. Только смотри, будешь пялить на красавицу глаза, выколю их тебе, ха-ха-ха...

«У шайтана и шутки шайтаньи! — подумал эмир Джандар, и эта мысль не оставляла его ни в то короткое время, которое он провел тогда с совсем уже хмельным шах-заде, ни когда покидал покои властелина.— Вот, вот чего я добился, отпав от султана Улугбека,— одни несчастья, одни неудачи... Породнился, называется, поправил свои дела... Последняя надежда, а он, «благодетель», эту надежду как фарфоровую чашку о камень!.. Что же мне делать? С кем посоветоваться?.. Да, а что это за верные люди, о которых болтал косоглазый дьявол

давеча? Не воины ли Бобо Хусейна Бахадыра? Про них ведь ходят какие-то слухи по городу...»

В одном из помещений дворца эмир натолкнулся на бодрствующего сарайбона: голубые глаза балхца смотрели на Султана Джандара удивленно и несколько недоверчиво.

— Где тут косой Шакал? Его ищу...

— Шакал?

— Косоглазый есаул! — Султан Джандар прижмурил один глаз, пальцем повел веко на сторону.

— А... он во дворе, со стражей.

— Ладно, я сам его найду!

И, с трудом умеряя чувство нетерпения, Султан Джандар тяжело шагнул к выходу.

15

— Снова за свое, мавляна, снова жалобы? Уже три месяца вы льете слезы — и какую пользу от этого получили? — Али Кушчи стоял в привычной позе: руки на груди, держится прямо, не опирается, только слегка прислоняется к холодной каменной стене.

Из темного угла послышался слабый, плачущий голос:

— Польза?.. Была бы польза, если бы вы согласились со мной...

— Сожалею, но согласиться не могу.

— Это не что иное, как упрямство, мавляна. Из-за гордыни, из-за упрямства погибнете здесь — и себя погубите и меня, слабого, сраженного недугом друга своего.

Этот тонкий голос, полный мольбы и жалобы, будто тупой нож, которым тебе ковыряют, ковыряют грудь... Али Кушчи поднял руки, прикрыл уши... Вот уже больше двух месяцев так: стенания и упреки, упреки и стенания.

От них Али Кушчи страдал едва ли не больше, чем от голода и холода, от гнилого запаха и сырости, от клопов и блох, чьи нашествия вызывали невыносимый зуд во всем теле, постоянный, не уменьшавшийся.

В первый день он сам расчувствовался, прослезился, потом несколько дней подряд успокаивал мавляну Мухиддина, словно малого ребенка.

Кто знает, что стало бы с мавляной Мухиддином без Али Кушчи, который ухаживал за больным, успокаивал

его, поддерживал в нем ясное сознание. И не только словом действовал — большую часть еды своей отдавал ему, ночами укрывал собственным чекменем, а сам, дрожа от холода, все мерил и мерил шагами узкую темницу, до самого рассвета ходил, до пробуждения Мухиддина.

В одну из таких бессонных ночей Али Кушчи осенила одна счастливая мысль.

Уже несколько лет Али Кушчи был занят большой книгой. Он намеревался осветить в ней самые сложные вопросы астрономии. Первую часть успел закончить при Улугбеке — то было, по существу, лишь вступление к дальнейшему. Книгу он назвал «Рисолаи дар фалакият», что в переводе с фарси означает «Трактат о небесных телах», а первая часть подробно излагала весьма важные для астрономии геометрические понятия: точка, прямая, ломаная, плоскость, параллельные линии и плоскости, наконец, учение о круге и прочих криволинейных замкнутых фигурах. Без этого нельзя было переходить к движению небесных тел... Не успел перейти ко второй части Али Кушчи.

Так надо закончить ее здесь, в зиндане!

Вечерами и в начале ночи, когда мавляна Мухиддин впадал в дрему, Али Кушчи, вышагивая по узкой темнице, заставлял себя думать, рассчитывать, оттачивать выводы. Без бумаги, без чертежных инструментов было трудно, очень трудно. Представить в воображении прямые и ломаные линии орбиты, плоскости вращения — одно, а вычислять, точно устанавливать их связи — совсем другое.

Как бы ни сложна, ни изнурительна была такая работа,— Али Кушчи сразу и не без радости понял,— она успокаивает душу, уводит от мрачных мыслей. Порою он, занятый законами неба, совсем забывал, где находится. Все печали рассеивались, все заботы о себе и даже — неутихающая рана сердца! — думы о матери отодвигались куда-то далеко, далеко...

Вот и сегодня, стоило только мавляне Мухиддину заснуть, Али Кушчи позабыл обо всем, кроме одного трудного вопроса: как и почему воздействует расположение планет на смену времен года, от которой так много зависит в нашей человеческой жизни. Но Мухиддин почему-то проснулся и снова принялся стенать. Али Кушчи был особенно раздражен тем, что ему помешали в ответ-

ственный миг размышлений. «Жалкий человек,— подумал он,— а еще считается ученым! Какой же ты ученый, если не стремишься узнавать новое и во имя этого не можешь проявить терпения?.. А ведь недавно мавляна Мухиддин блистал умом, и заслуженно, особенно в математике...»

Али Кушчи воззвал к аллаху — пусть падут на голову любые беды, но только не такая вот жалкая слабость, из-за которой я перестану быть ученым!

Опять послышался из угла жалобный голос:

— О мавляна, мавляна! Какая же и кому польза от вашей непреклонности, от вашего упрямства? Кому, кому нужны теперь наши книги, эти еретические книги?..

Словно пощечину дали Али Кушчи.

— Что вы сказали? Еретические книги? Где ваша совесть, сподвижник мой, как позволила она вам произнести такое?!

— Не говорите, не говорите о совести!.. Не напиши мы противных шариату книг, разве уготовил бы нам всевышний эти муки? За свои грехи расплачиваемся, мавляна!

— Да, конечно,— усмехнулся Али Кушчи,— если аллах захочет, то сегодня же и освободит нас от этих мук!

— Истинно так, истинно... Если не будем противиться больше шах-заде и покаемся, в грехах наших покаемся!

— Где логика в том, что вы говорите, дорогой мой? Ну, допустим, я, ваш покорный слуга, спрятал, спрятал крамольные книги, чем свершил, как утверждает надменный шейх, грех против шариата. Я свершил грех — я и несу наказание. А вы?.. Ведь вы отвернулись от устода, не придали значения его завещанию, мало того, вы раскрыли тайну этого его поручения и тайну исчезновения книг из обсерватории. Так?.. Так... Тогда почему же и вы подвергаетесь наказанию, за что?

— Ваш покорный слуга, видно, и в аду будет гореть из-за вас... из-за в а ш е г о греха?

— Нет! — выкрикнул Али Кушчи, задыхаясь.— Нет! Не из-за моего, из-за собственных! Вы попрали волю устода Улугбека, предводителя ученых! Нет... не перебивайте меня, мавляна! Не сокрытие книг, перлов ума человеческого, от невежд и фанатиков есть грех... а, напротив, уничтожение разума — вот величайший грех!

— Кто собирается уничтожать книги?

— Кто? Вы не знаете кто?.. Для чего же эти книги, жемчужины светлого разума, обзывают еретическими, нечестивыми? Как поступают у нас с нечестивыми, мавляна? Их убивают...— Али Кушчи тяжело, с шумом вздохнул.— Бедный устод! В каком несчастном веке он родился! Один был светильник под небом Мавераннахра...

— Светильник! Ангела вы сделали из него...

— Нет! Он не был ангелом. Он был правителем, властелином. И жестоким, и несправедливым бывал... Но все познается в сравнении, мавляна! И по сравнению с этим фанатиком он и впрямь светильник!..

Минуту стояла тишина. Потом снова из темного угла засочился ручеек стенаний и жалоб.

— Верность учителю, верность учителю... Во имя этой верности вы не щадите себя. Хорошо. Похвально. Меня не пожалели во имя все той же верности. Хорошо. Сердобольно. Но пожалели бы хоть свою старую мать! Каково-то ей сейчас!

Али Кушчи ничего не ответил: мавляна Мухиддин ударил по самому больному месту.

С того дня, как нукеры увели его в зиндан, он ни на минуту не забывал о матери, и все время в сознании жила и мучила картина: упавшая на каменный порог в ужасе, мольбе старая женщина, вскормившая его. Иногда видение это было особенно отчетливым, и Али Кушчи терзался особенно сильно.

Али Кушчи замолчал надолго. Заныло сердце, прижав руку к груди, он присел у стены, оперся спиной о нее.

Вспомнилось безмятежное детство. Лето, поездки на крытой арбе, когда мальчиком выезжал он вместе с отцом и матерью собирать дыни. Пору урожая Али любил больше всех других.

Али Кушчи был уже взрослым парнем, настоящим джигитом, отличался удалью и на скачках, и в козлодранье, и в лихой игре с мячом — човга́н, а мать все опекала сына, не отходила от него и, бывало, с криком «осторожней, верблюжонок» бросалась прямо в гущу скачущих джигитов, рискуя быть сбитой с ног и раздавленной азартными конями. Али Кушчи стыдился перед товарищами, что мать так опекает его, всякий раз уговаривал, просил ее не поступать так, будто он малое дитя, даже ссорился с ней, но толку от всего этого не было, и, глядишь, следующая игра, а мать тут как тут,

и опять — «осторожней, мой верблюжонок!», и опять бежит она за их лихой юношеской ватагой...

Тягучий голос мавляны Мухиддина прервал нить воспоминаний:

— Вижу, причинил боль душе вашей, мавляна. Простите меня великодушно.

Снаружи послышались чьи-то шаги. Зазвенели тяжелые запоры. Из темного угла донесся шепот Мухиддина:

— Будь защитником раба своего, создатель!

Низкая и узкая железная дверь приоткрылась. Надсмотрщик и за ним двое воинов вошли в темницу. Нет, то были не простые воины — в слабом свете свечи, что держал надсмотрщик, можно было различить лица Султана Джандара и косоглазого есаула. Последний взял свечу из рук надсмотрщика, поднял ее повыше.

— Эй, мавляна Мухиддин! Где вы тут?

Ни слова в ответ.

— Онемел, мавляна? — громче и грубей спросил есаул.— Очнись, милостью повелителя нашего ты освобожден! Поднимайся!

— Что? Что вы сказали мне? — Мавляна Мухиддин закопошился в своем углу, все еще не показываясь в кругу света, источаемом свечой.— Освобожден? Я?.. Да, да, сейчас, сейчас я...— И что-то все искал в темном углу, бормоча себе под нос бессвязное.

— Давай, мавляна, выметайся из зиндана! — весело закричал косоглазый. Повернулся к Али Кушчи. Тот вжался в стену, бледный, немой. Есаул окинул его взглядом снизу вверх, казалось услышав, как молится, молится в душе мавляна о милосердии, о милости всевышнего, и не проронил ни слова. Только повел как-то странно глазами, будто намекая на то, что рядом, мол, Султан Джандар, осклабился и повернул к выходу.

«Значит, мне ничего... значит, мне оставаться тут, в этой холодной могиле!»

Дверь скрипнула. Грохнули запоры. Бледный лучик из-под двери быстро исчез; вскоре стих и шум уходивших по коридору людей.

В изнеможении Али Кушчи упал на циновку.

Неужели прав мавляна Мухиддин, и небо карает его, Али Кушчи, за непреклонность, за гордыню?

Но тотчас же он прогнал эту мысль. Можно наказать того, кто остался верен велению долга и совести, но можно ли, справедливо ли одарить милостью другого,

кто предал, кто отступился, кто впал в низость неблагодарности?

Али Кушчи прижал лоб к бугристо-неровной поверхности стены, отчаянно, уговаривая себя, зашептал:

— Терпение. Али, терпение!.. Чему быть, того не миновать... Что судьбой предначертано, то и очи увидят! Так говорят в народе. Терпение, Али, терпение!

16

Хуршида проснулась на рассвете; во дворе слышались громкие голоса, топот людей, словно нарочно бегавших с целью произвести побольше шума. Постель старой кормилицы пуста.

Скорее наружу!

Со двора видны были освещенные окна мехманханы, и тени обнимающихся людей четко рисовались на занавесках. «Отец вернулся!» И Хуршида, забыв, что едва одета и что в комнате для гостей полно мужчин, молнией кинулась туда.

Отец... это был точно — отец... И в то же время человек, непохожий на отца — заросший волосами, глаза ввалились, худой, как щепка.

Старик, да, да, отец стал стариком!.. И всхлипывал, всхлипывал, как малый ребенок, нет, как старик, из тех, о ком говорят, что он от старости уже умом тронулся.

Хуршида, заплакав навзрыд, бросилась к отцу, прижалась лицом к его груди.

Дом Салахиддина-заргара мигом превратился в обитель и слез и радости, тем более ликующей, чем быстрее высыхали слезы. Уже в саду резали и свежевали барана; уже повара, засучив рукава, приготовлялись к своим приятным делам и заботам — нет торжества без хорошего шашлыка и доброго плова! Уже первый сосед, прослышав о возвращении мавляны Мухиддина и о прощении его повелителем, направил стопы свои к богатому дому, прокладывая путь и для других поздравителей, что приходили в течение всего дня,— соседи, знакомые, родственники близкие, родственники дальние, купцы-лавочники и оптовые торговцы, ремесленники и люди духовного звания, даже иные поэты и бывшие талибы. Не было им конца, как и любопытству их!

Отец выбрил голову, подправил бороду и усы, накрутил пышную чалму, белизна которой, правда, особенно

подчеркивала бледность его исхудалого лица. В златотканом халате сидел в салям-хане, принимал поздравления, словно больной после выздоровления.

А дед, тот сразу же, как сын вернулся, стан распрямил, и недоуменно-обиженную мину с лица согнал, и походку вновь приобрел прежнюю — степенную, надменную, в чем могли убедиться все приходившие к нему в дом, ибо с каждым он беседовал лично, каждого лично провожал до ворот — ну, разумеется, если гость был хоть сколько-нибудь влиятельным, но ведь только такие и считались здесь гостями. Каждому Ходжа Салахиддин сообщал, что сын его не просто прощен, но, очевидно, и приближен. И радостно за деда и почему-то тревожно за отца, за себя становилось Хуршиде-бану, когда доводилось ей видеть и слышать все это. И слова Каландара, безжалостные по отношению к отцу, вспоминались ей. И все чаще думала она, лишь схлынула первая радость, об Али Кушчи: «Вышел ли и он из темницы? Неужели нет?.. Но тогда почему отец на свободе, за что его выпустили?» Нет, нет, отец не такой, как о нем говорил Каландар!.. Если бы прав был тот, кого она по-прежнему любит, если б он был прав, то не лежал бы отец целых три месяца на вонючей подстилке в зиндане, терпя такие страдания, что из-за них стало не узнать его!

Расспросить бы самого отца, сбросить бы груз с души! Но все новые и новые гости шли к ним в дом. И каждого прими, каждому удели время.

Нынче, правда, народу поубавилось. В доме несколько поутихло. К вечеру, однако, прибыли опять важные гости, похоже, из придворных.

И вокруг этих трех-четырех вельмож забегали, засуетились хозяева, многочисленная челядь. Наконец гости ушли, все стихло, даже, как показалось Хуршиде, зловеще тихо стало. Сам Салахиддин-заргар надел соболью шубу с суконным верхом и, несмотря на сильный ветер, дождь и мокрый снег, отправился куда-то, велев слугам крепко запереть ворота и ложиться спать, не дожидаясь его.

В комнату Хуршиды-бану пришла няня, заплаканная почему-то, напуганно-молчаливая. Пришла и сразу улеглась в постель.

Хуршида чувствовала: опять что-то случилось, какая-то новая беда пала на голову... Чью? Отца? Или де-

душки?.. Или она коснулась ее самой, почему бы иначе не сказать о беде и ей, Хуршиде? Почему от нее что-то скрывают?

Она поколебалась и нерешительно направилась к отцу, зная, что тот не спит — окна большой комнаты по-прежнему были освещены.

Отец, нахохлившись под теплым чекменем, накинутом поверх другой одежды, сидел, перелистывая большую книгу в желтом сафьяновом переплете. Углубился, видно, в чтение, потому что сначала не заметил дочери. Хуршида тихо подошла; садясь на маленькую низкую скамейку перед ним, колыхнула подолом платья пламя свечей в серебряном подсвечнике, и отец испуганно вскинул голову.

— О, это ты? Садись, садись, дочка.

Лицо его было бледным, бело-серым. Большие глаза, хотя и светились лаской, в глубине, где-то на самом дне, таили страх.

Теплый комок слез подступил к горлу Хуршиды-бану.

— Ой, как вы исстрадались, отец, сколько муки натерпелись!

Мавляна Мухиддин поправил бархатную тюбетейку. Как всегда, тихо сказал:

— Поблагодарим справедливого и всемилостивого... Я вернулся к тебе живой и невредимый...

— Да, тысячу благодарений аллаху за то, что вы избавились от тяжкой беды,— прошептала Хуршида и смолкла. Ей было очень жалко отца, но и про слова Каландара она помнила. Желая забыть их, помнила и ничего не могла поделать с собой. Ей хотелось убедиться в том, что слова неверны, несправедливы, но для этого надо было спросить отца кое о чем, а спросить она не решалась... А спросить было н а д о!

— Отец,— голос Хуршиды задрожал,— отец, вы один находились в страшном подземелье?

Закрыв глаза, мавляна Мухиддин отрицательно покачал головой.

— Нет, доченька, вместе с мавляной Али Кушчи... ты ведь знаешь его...

Хуршида побледнела, изменилась в лице.

— А мавляна Али Кушчи... этот досточтимый ученый, тоже вышел на волю?

— Увы, дитя мое, этого не случилось... он все еще там, в зиндане...

— Отчего же, отец?

Мавляна Мухиддин еще сильнее съежился под чекменем, словно за ворот рубашки ему бросили кусок льда. Почему она спросила его об этом? И так горячо!

Дочь опять уловила мелькнувшее в глазах отца выражение испуга, но не одного испуга — еще и настороженности.

— Видно, так было угодно богу, дитя мое,— произнес мавляна наконец и отвернулся. Увядшее серо-белое лицо его чуть-чуть порозовело.

«Все правда, все правда! — металась мысль Хуршиды.— Каландар сказал мне правду!»

Будто смерч сдвинул и перемешал чувства в ее душе.

— Ему там очень плохо, отец?

По-прежнему не глядя на дочь, мавляна Мухиддин кивнул головой — теперь утвердительно.

— Очень... очень плохо... Очень тяжело, доченька.

— За что же мучают его?.. Почему не выпустят из зиндана?

Лицо мавляны Мухиддина вновь приобрело бело-серый оттенок, и черты его отвердели, заострились, словно сделанные из алебастра.

— Виноват он сам... сам мавляна, дочь моя!.. Он слишком упрям. А в такое-то время...— отец опасливо покосился на темное окно, понизил голос,— в такое время нельзя упрямиться... На престоле Мирза Абдул-Латиф. Нельзя, никак нельзя упрямиться...

— Отец, я слышала недавно...— Хуршида на миг замолчала, заметив, как вдруг холодно и отчужденно стало лицо отца: глаза прищурились, губы плотно сомкнулись.

Хуршида опустила взгляд, но продолжала:

— Слышала недавно... говорят, что мавляна Али Кушчи... спрятал множество редкостных книг из библиотеки нашего благодетеля, покойного повелителя Мирзы Улугбека...

— От кого ты это слышала?!

Дочь продолжала рассматривать узоры ковра на полу. Не от замешательства, нет, а от нежелания ответить отцу.

«Все правда, все...— думала Хуршида.— Мавляна Али Кушчи сидит в зиндане из-за книг и... из-за отца».

— Я спросил, откуда ты услышала про книги?

— Многие говорят...

— Кто они, эти твои «многие»?

— Кто-то из соседей... из подруг, с кем я училась когда-то...

«Для этого я ее учил? Не послушался добрых людей. И вот тебе, выучил! Слишком умна стала. Ученая! Выучил на свою бедную голову!»

— Подруги! С кем училась когда-то? — мавляна Мухиддин возвысил голос.— Мирза Улугбек, которого ты назвала нашим благодетелем, был гордец, не признавал святого шариата. Он сбил с истинного пути немало женщин, внушил им, что получать знание есть долг... якобы долг и мусульман и мусульманок. А это грех! Тяжкий грех! Понятно?

«Грех? А как же такой мудрый и занимательный, как сказка, трактат повелителя, который я прочла, а потом любовно переписала? То была история Мавераннахра. И поручил переписать эту историю отец! Тогда это был не грех?»

Хуршида вдруг расплакалась.

— Отец! Что с вами стало, отец?!

Она закрыла ладонями лицо, соленые капли просачивались сквозь тонкие пальцы, украшенные перстнями, скатывались с уголков губ, задерживались на округлом подбородке...

«Оплошал! Не гладко вышло... не надо было хулить ни Мирзу Улугбека, ни Али Кушчи... Она ведь помнит, как я отзывался о них раньше... Неужели теперь не только Али, но и любимое дитя мое станет презирать меня?»

Мавляна подумал с горечью: кто же теперь искренне пожалеет его, извинит ему слабость?

Мысль о собственном одиночестве так растрогала мавляну, что он и сам прослезился.

— Полно, доченька, полно, не напоминай мне про страшные мои дни! Да не пошлет аллах никому из смертных такие муки, что я изведал... Что ж делать, доченька? Судьба моего друга мавляны Али Кушчи не в моих руках. Твой отец слабый и больной человек...

Но чуткий с детских лет мавляна Мухиддин знал сейчас, что ни слова, ни слезы его не трогают сердца дочери. Ему было и стыдно, и горько, и боязно — все вместе. Он хотел поговорить с дочерью потверже и не смел поднять голову: он-то знал то, чего еще не знала Хуршида! Сегодня поздние вечерние гости сообщили ему

о желании шах-заде иметь в своем гареме новую розу и о том, что эта честь выпала на долю его дочери. Ее надлежало приготовить к этой вести, но он не мог сразу приступить к такому щепетильному делу. Уж если отец, Салахиддин-заргар, не смог, ушел куда-то на ночь глядя за советом, то ему и подавно не просто будет сказать Хуршиде о «чести», выпавшей на ее долю.

Опять Кок-сарай, опять гарем... сначала Абдул-Азиза, теперь Мирзы Абдул-Латифа, «милостивого повелителя»!

Мавляна Мухиддин не смел ослушаться, стал сам себя убеждать, что ему истинно оказывают честь.

Потому и испугался мавляна, когда пришла к нему дочь,— не был, не был готов передать ей новость. А уж теперь и совсем непонятно, как подойти к нужному разговору, чем залить пламя негодования, которое, он предвидел, охватит Хуршиду-бану.

— Не о том мы говорим сегодня, доченька... не о том... Прости меня, но сам повелитель пожелал... Тебе об этом скажет кормилица, иди к ней, иди... И прости меня...

Смерч вдруг улегся в душе Хуршиды-бану. Осталась опустошенная, голая земля. Она еще не знала, какая беда пала на нее, но при виде отца, так круто повернувшего разговор, беспомощно плакавшего в платок, подносимый к глазам и носу, поняла, что беда огромна.

Шатаясь, она вышла под остервенелый ветер, под дождь и снег. Скрипели, безнадежно стенали старые деревья в саду. Двор был пуст. Лишь от ворот невнятно долетали голоса сторожей.

Она пошла на эти голоса, не зная, зачем, не чувствуя холодной влаги, струившейся по одежде и телу, и вдруг страшная догадка пронзила ее всю, и, чтоб не упасть тут же, она схватилась за подпорку для виноградных лоз.

«Прости меня, но сам повелитель пожелал... Я слабый и больной человек...» — закружились слова отца... И эти важные гости из Кок-сарая. И беготня слуг в доме... Суетливость деда, ушедшего куда-то в такую непогоду...

В памяти ее всплыло похотливое лицо Абдул-Азиза, бледное, бескровное, с трясущимся от слабости и вожделения подбородком!

«Бежать! Сейчас же!.. Кинуться в Зеравшан! Пове-

ситься!.. Только не гарем! Только не сидеть, не ждать... Этот дом проклят, проклят!»

И под ледяными струями дождя Хуршида-бану побежала к себе.

Скорее, скорее!

...Али Кушчи поднялся с циновки: надо было походить, немного размять отекшие ноги. Дважды обошел он узкую, будто клетка, темницу; ослабелые, исхудавшие ноги едва держали его, и приходилось останавливаться, сгибаться, чтобы растереть их; но стоило наклонить голову, как начинала она кружиться, и Али Кушчи в изнеможении приваливался спиной или боком к спасительной стене.

Он закрыл глаза, и словно в насмешку тотчас пригрезилась картина: мавляна Мухиддин среди своих домашних, в тепле, закутывается поплотнее в соболью шубу, тянет ступни к огню сандала — от этой картины собственные ноги заныли еще сильнее, нестерпимая, тупо ноющая боль загнала его вновь на циновку. Но сидеть на ней все равно что сидеть на льду. «Сырой и холодный пол погубит мне ноги»,— подумалось узнику. Но ведь не простоишь день и ночь напролет стоймя...

Склониться перед шах-заде, пасть ниц, указать дорогу к Драконовой пещере — и тут же тебе избавление от этой мрачной, похожей на могилу темницы, тут же очутился бы и ты в светлой и теплой комнате, и ноги твои, протянутые к очагу, покрытые шелковым одеялом, покоились бы на решетке сандала, нежились бы в тепле, источаемом угольями. Тогда и трактат свой излюбленный, про светила, про их движение... в тепле, в уюте закончил бы... Ведь сказал же Мирза Абдул-Латиф, что сделает тебя историком при дворе.

Появятся новые книги, уже о «великих милостях» Мирзы Абдул-Латифа, книги, т о б о ю написанные, книги, которые принесут тебе то, чего у тебя никогда не было,— богатство. А слава... будет слава, пойдет о тебе слава... только д р у г а я!

Али Кушчи мотнул головой, будто гонимый этими мыслями, быстро, отчаянно зашагал по темнице.

— Сундук золота будет стоять у тебя в углу,— саркастически произнес он вслух и подумал: «О аллах, да

что это со мной?.. Избавь от наваждения, поддержи меня, продли терпение мое».

Он снова помотал головой. Собрав всю волю, переключился мыслями на трактат... На чем он остановился в прошлый раз? А, на затмениях... Бывают затмения планет. Луны. Солнца... Полные и частичные — «кусуфи кулли, кусуфи джузъи». Затмение происходит из-за взаимосвязи движений земли и луны относительно Солнца. Это ясно как день... Кому ясно? Ему? Ученым мужам? Улемы содрогаются от одного только слова «движение».

Али Кушчи припомнил: споры о движении звезд, о чем он сейчас думал, желая найти своим выводам строгую математическую форму, шли еще при жизни досточтимых учителей Кази-заде Руми и Гиясиддина Джамшида. Тогда еще не было обсерватории устода, и потому о расположении и времени перемещения светил можно было говорить лишь приблизительно. За двадцать лет устод — истинно достойный рая! — создал весьма полную таблицу движения небесных тел, их верхних и нижних стояний. Вот если бы таблицы эти были сейчас здесь, под рукой, он легче обошелся бы тогда без пера и бумаги!

Драконова пещера предстала пред мысленным взором ученого. И заветный сундук, где покоятся до поры до времени (о творец, до какого времени? до какой поры?) сорок шесть таблиц, обозначающих местоположение тысячи двадцати двух звезд в небесном пространстве по временам года. Как любил устод рассматривать эти таблицы, просто рассматривать — не только работать с ними. Нанесенные золотой краской на бумагу звезды казались живыми, будто сошедшими с настоящего темно-синего небесного свода на этот, нарисованный столь искусно.

Али Кушчи попытался вспомнить таблицы, точно воспроизвести их вид в уме — это оказалось свыше сил. Зато припомнилась сразу же стычка шестилетней давности, происшедшая между повелителем-устодом и шейхом Низамиддином Хомушем, может, потому припомнилась, что, странное дело, слова шейха точь-в-точь совпадали с теми, что услышал он недавно из уст шах-заде.

Была тогда пятница — джума,— день самых больших, самых торжественных молений за неделю. Улугбек и его свита, в которой был и Али Кушчи, торопились,

завершив охоту, в соборную мечеть. Но, увы, опоздали, как ни торопились. У ворот мечети султана встретил шейх-уль-ислам Бурханиддин, провел их во двор: проповедь уже была прочитана, но для молитвы время еще оставалось. Они быстро совершили омовение, приступили к молитве, но тут во дворе раздался какой-то шум. Властный голос воззвал несколько раз: «Эй, правоверные!»

Али Кушчи был ближе к двери, чем остальные из свиты устода. И как ни старался сосредоточиться на молитвенных словах, то, что происходило рядом, во дворе, все больше отвлекало его от богоугодного дела. А во дворе властный голос, все больше распаляясь, обличал, гремел, призывал кары небесные на... кого?.. да на него, в частности, на Али Кушчи, потому как, гремел голос, много, много развелось в столице лжемудрых ученых мужей, предерзостно покусившихся на сокрытые от человеков тайны неба— царства творца, и не только себя совративших с пути истинного, но совращающих и других правоверных мусульман.

Все это слышал, конечно, и Улугбек. Закончив молитву, он порывисто встал с колен. Бледное лицо его, гневно и плотно сжатые губы промелькнули мимо Али Кушчи, который поспешил за ним из мечети. Они увидели стоящего на открытом в глубине двора айване шейха Низамиддина Хомуша, а перед ним толпу улемов в белых покрывалах и в белых чалмах; пред ними-то шейх и витийствовал, красивый, статный, в то время более стройный, чем ныне, в одной руке неизменные четки, в другой все та же, что и ныне, любимая трость. Увидев повелителя, шейх не дрогнул, напротив, гневного красноречия его будто прибавилось, он красиво взмахивал тростью, красиво играл глазами, а когда Улугбек приблизился, воскликнул:

— Да будет сам повелитель наш свидетелем истинности моих слов!

Устод взошел на айван, остановился поодаль от говорившего.

— Не понял ваших слов о кощунстве ученых мужей, шейх.

— А разве не великое кощунство, о заблудший раб аллаха, считать, будто земля, сотворенная всевышним ровной и плоской, есть шар?

Устод еще крепче сжал губы. Помолчав, молвил:

— Простите, светлейший, но истину эту задолго до нас... пятьсот лет назад доказал мудрейший Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни.

— Сей Мухаммад, надеюсь, не пророк Мухаммад, и потому его слово...

— Он не посланник бога, но разумом своим славен во всем мире!

— Но он не пророк и не сын пророка, продолжаю утверждать я!.. А кто надоумил ученых мужей, кто, если не дьявол, внушил им сравнения царства всевышнего — неба — с океаном, а свечей аллаха — звезд — с рыбами в том океане?

Улугбек нетерпеливо перебил шейха:

— Нет, не дьявол толкнул моего шагирда Али Кушчи на такое сравнение. Он собственным умом дошел до этого сравнения. А что в нем кажется вам страшного?

— Вот видите, вот видите,— шейх оставил насмешливый вопрос Улугбека без ответа.— Венценосец мусульман и его шагирды...— воззвал он снова к улемам, стоявшим пред спорящими со склоненными главами и бородами.— Венценосец мусульман и его шагирды освободили сердца свои от слов святого корана, где сказано: «Ва лакад зайиана ас-самоад-ад-дунё бимасохибия ва жаханноха...» — «Мы украсили небо над миром светильниками, сотворив их из камней, чтобы бросать ими в шайтана...» Вы, видно, забыли сей стих, повелитель?

— Нет, стих этот у меня на памяти, светлейший шейх. Но не забыли ли вы, для чего всевышний дал рабу своему, человеку, разум — не с той ли целью, дабы он добывал им знания, оказался способен к размышлению?

— Истинная правда, для этого! — раздался вдруг возглас шейх-уль-ислама Бурханиддина. Поправив чалму, он хотел было тоже выйти из толпы и присоединиться к спорящим на айване. Но шейх, будто не в силах совладать с гневом, закричал, распахнув руки, как бы не подпуская к себе святотатца:

— Прочь, не смей подниматься сюда, шейх-уль-ислам! Пристало ли шейху-уль-исламу топтать каноны нашей веры?!

— Ну, хватит лицедейства! — Улугбек тоже повысил голос.— Ваше дело, шейх, сидеть в ханаке и заниматься тарикатом! Духовное самоочищение не только подобает вам, но и весьма необходимо. От вас все смуты, низкие наветы, заговоры. А заговорщиков... за ними я посылаю

воинов, их хватают и бросают в зиндан. Знайте это, шейх!

И повелитель-устод, как помнит Али Кушчи, сошел с айвана, а растерянный шейх замкнул уста, ибо взгляд его, обращенный за поддержкой к улемам, стоявшим внизу, наткнулся на ряд белых тюрбанов, склоненных в поклоне перед всесильным в те времена Мирзой Улугбеком. Ни звука не проронили улемы!

Учитель, придя вечером того же дня в обсерваторию, все никак не мог успокоиться — вглядывался ли он в таблицы и в небо, медленно прохаживался ли по библиотеке, с губ его то и дело срывались вздохи и одно лишь слово: невежды, невежды, невежды...

Да, это он, Али Кушчи, некогда действительно сравнивал небо с океаном, а звезды с рыбами, чтобы не говорить прямо о подвижной сфере небесной, и образ этот, помнится, вызвал улыбку понимания и похвалу учителя...

Ну хорошо, он и теперь не склонится перед Абдул-Латифом, перед невеждами. Устоит! Но ведь сил его хватит ненадолго, он погибнет здесь, в этой темнице-скорлупе. Тогда-то что будет с сокровищами Драконовой пещеры? Кроме него, тайну знает Мирам Чалаби. Но он всего лишь юноша, талиб, не вышедший еще из несовершеннолетия. Что сможет Мирам Чалаби без него, Али Кушчи?

Узник откинулся к стене, расслабил мышцы: тяжелая усталость отзывалась в каждой клеточке тела, пригибала к полу.

Али Кушчи снова хотел лечь на циновку, но тут скрипнуло смотровое окно в двери. Он подошел к двери, зная, что сейчас окошко отворится и в снопике лучей, пробивающихся через отверстие, что не больше ладони взрослого мужчины, он увидит протянутую лепешку. Так случилось и на сей раз. Только... только лепешка была непохожа на ту, что обычно ему давали. Та была из ячменя, размером с пиалу, а эта — тукáч, из кукурузной муки, толстая, круглая. Окошко не закрылось тут же, как обычно, и Али Кушчи выглянул в коридор. Стражник — было чему удивиться! — не прогнал его, а, молча сделав какой-то непонятный знак, просунул в отверстие небольшой чугунный кумган.

С кумганом и лепешкой в руках Али Кушчи отошел в угол, где расстелена была холодная циновка. Поставил кумган на пол и, не присаживаясь, разломил лепешку:

не потому, что очень хотел есть, в последние дни голод породил уже безразличие к еде, а скорее, чтобы убить время. Разломил тукач, и — впрямь будто услышал всевышний его моления!..— увидел в изломе двух половин хлебца свернутую в тугую трубочку бумажку («Записка?!»), малюсенький кинжальчик и карандашик.

Гулко и быстро застучало сердце. Превозмогая боль в ногах, мавляна подбежал к двери — странное дело, глазок еще не был закрыт с обратной стороны. Узник прижался спиной к двери, так, чтобы его не было видно, если посмотреть из коридора внутрь темницы, развернул бумажку («Точно, записка!») и в слабом снопике света прочел: «Дорогой устод! Мы днем и ночью молим аллаха, чтобы даровал он вам здоровье. Это первое. Второе: хотим знать, что нужно нам сделать, чтобы облегчить страдания, павшие на вашу долю. Напишите об этом на обратной стороне этой записки. Выпив воду из кумгана, засуньте листок в его носик — кумган вынесут верные люди и передадут нам. Мы вам верны, как отцу. Мы пробьемся к вам. Пробьем проход к вашему сердцу, вызволим вас из тьмы... Надейтесь, и да исполнит аллах желаемое нами! Ваши шагирды».

Али Кушчи почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Растроганно усмехнулся. «Ну вот, только слез не хватало, мавляна Али!»

Кто же эти верные «ваши шагирды»? Мирам Чалаби? Слишком молод Мирам. Мансур Каши? Вряд ли, уж больно тих и смирен мударрис, а это написала отчаянная голова. Каландар, ей-ей, Каландар, бесстрашный удалой степняк Каландар! А кинжальчик, видно, от Уста Тимура Самарканди...

Только что же он будет с этим кинжальчиком делать? Карандаш затачивать?.. «Мы пробьемся к вам. Пробьем проход к вашему сердцу, вызволим вас из тьмы...» В чем смысл этих слов? В том ли, что смельчаки попытаются сделать подкоп?

У Али Кушчи внезапно закружилась голова. Теперь уж ему совсем не усидеть на месте! Держась за бугристо-шершавую поверхность стен, он опять обошел свою клетку.

«Нет, невозможно пробить эти камни, сделать проход в гранитной породе! Мечта пустая!.. «Надейтесь»? Но кто, кроме простаков, никогда не видевших вблизи темниц Кок-сарая, может надеяться проломить этот гра-

нит? Его перетаскали, его сложили здесь тысячи и тысячи рабов самого Тимура Сахибкирана!.. Шагирды мои, вы не знаете, что такое кок-сарайский зиндан!.. И тебе, мавляна Али, взрослому и, как я слышал, разумному человеку, не надо надеяться на подкоп. Надо одно: длить и длить терпение свое, мудрейший из мудрых!»

Оконце еще посылало ему снопик света. И Али Кушчи на обратной стороне записки написал всего лишь два слова: «Бумага. Карандаш». Подумав, добавил: «Мать, Тиллябиби». Потом одним духом осушил кумган, спрятал бумажку так, как его научили, подошел к двери, слегка постучал и, когда оконце в двери приоткрылось пошире, протянул кумган сторожившему воину.

18

Слух о побеге несравненной красавицы, внучки Салахиддина-заргара, быстро распространился по Самарканду и достиг ушей самого властителя. Эмиру Джандару было приказано отыскать беглянку во что бы то ни стало. Однако неделя прошла, и никаких вестей от Джандара по сему поводу Мирза Абдул-Латиф не получил.

Вот и сегодня шах-заде вынужден был послать гонца к эмиру, хотя сегодня, правду сказать, не такой день, чтобы тревожить себя из-за какой-то красавицы, пусть и несравненной. Сегодня накануне предзакатной молитвы должно было состояться сожжение еретических книг — церемония, угодная всевышнему и поучительная для подданных, ибо ничто не укрепляет прочности власти так хорошо, как зрелища ее видимого всемогущества.

Шейх Низамиддин Хомуш и другие священнослужители давно наставляли Мирзу Абдул-Латифа на свершение сего угодного всевышнему дела. Но шах-заде все не мог решиться, все откладывал и откладывал день сожжения. Несколько раз приезжал он в брошенную всеми обсерваторию, сидел в библиотеке на втором этаже, даже отобрал и взял с собою во дворец несколько книг. И каждый раз при взгляде на высокие, до потолка, полки, уставленные множеством книг, или рассматривая редкие рукописи, завернутые в тонкие шелка, он испытывал какое-то волнующее чувство, сострадание, что ли, в котором не мог признаться не только улемам, но и самому себе. Он способен был понять, что слава отцовского книгохранилища заслуженна. Он хоть и вос-

питывался в ханжеском Герате, под оком набожного деда Шахруха, но изучал помимо наук духовных науки светские, интересовался изящными предметами, какова, например, поэзия. Его, пусть и не сильно, интересовали и астрономия, и математика. Сколько же здесь было ценных книг, и астрономических, и математических, и поэтических, несмотря на то что Али Кушчи скрыл ценнейшие!

Посещения шах-заде обсерватории, его времяпровождение там, в очаге ереси, не укрылись от внимания шейха Низамиддина Хомуша. И вот не далее как вчера он внезапно явился в Кок-сарай для очередной душеспасительной беседы.

Шейх начал издалека, но насупленный вид его говорил больше слов. В конце концов он прямо сказал, что шах-заде, воспитанник его, положил конец многим последствиям правления нечестивого родителя своего, но все же решительного удара по ученым-вероотступникам не нанес. Винить его шейх не стал, а просто передал шах-заде послание из Шаша, от ишана Убайдуллы Ходжи Ахрара. Сей благочестивый муж писал резче, нежели шейх Низамиддин говорил. Призывал к тому, чтобы нынешний венценосец не проявлял никаких, даже малейших колебаний в борьбе против богохульников за дело, угодное аллаху. Если бы и саблю следовало обнажить опять против смутьянов и нечестивцев, свивших себе гнездо в Мавераннахре, то он, ишан, и на это благословляет Абдул-Латифа. Кстати, это возрадовало бы светлый дух великого воителя за веру, прадеда шах-заде, эмира Тимура Гурагана.

После такого послания нельзя было откладывать сожжение книг. Назначено было оно на вечер следующего дня. Абдул-Латиф хотел было, правда, пересидеть столь важную церемонию в Кок-сарае, однако шейх, вновь нахмурив брови, разъяснил властителю, сколь необходимо его собственное милостивое присутствие во время оной. И вообще следовало бы, подсказал шейх, чтобы на сожжении нечестивых книг присутствовали все видные сановники, военачальники, вся верхушка улемы, а также небесполезно наличие ученых и поэтов, всех обучавших и обучавшихся в медресе Улугбека. Поучительно своими глазами увидеть, как славно пылают в праведном огне еретические книги, да и в беспощадности властителя, радеющего за веру, правоверным подданным тоже не вредно воочию убедиться!

Желание пира надо было удовлетворить.

После того как шейх Низамиддин Хомуш оставил дворец, Абдул-Латиф вызвал к себе диван-беги и есаул-баши и приказал им назавтра послать в обсерваторию двести всадников и выставить оцепление вдоль всех улиц, что протянулись от обсерватории до Кок-сарая.

Приказ был выполнен, сановники, военачальники и прочие, кому надлежало присутствовать на церемонии, тоже были оповещены в срок. Все было готово.

А тревога не оставляла шах-заде.

Он не мог разобраться в природе этой тревоги. Вспомнил неожиданно о своем желании получить в гарем новую розу, чтобы еще раз таким образом наказать покойного брата, вспомнил и подумал, что нерасторопность эмира Джандара и есть причина тревоги. А потому и послал гонца к эмиру в неподходящий для любовных утех день.

Но, отдав последние распоряжения по всем сегодняшним делам, он наедине с самим собой не мог обманываться в природе своей тревоги — не одной сегодняшней, а постоянной.

Боязнь за себя, за свое место на троне — вот в чем было дело.

Сев на трон, он из прежних вельмож и чиновников кого отстранил от ведения дел, кого бросил в зиндан, а кого и просто казнил. Столь же сурово поступил с учеными мужами. И все медресе закрыл!

Навел, кажется, повсюду порядок. А тревожно сердцу, все равно тревожно. И трон словно качается под ним. И эмиры шепчутся подозрительно. Плетут заговоры обиженные и не удовлетворенные им сановники. И где-то скрывается, где-то точит и точит боевой свой клинок против него Бобо Хусейн.

Еще не может он, властитель Мавераннахра, спокойно спать по ночам в своем Кок-сарае. Стоит смежить веки, и видится кто-то входящий в спальню с обнаженной саблей, мститель видится, и властитель просыпается, дрожит, сдерживается, чтобы не кликнуть стражу, не выдать своего страха. Просыпается и уже до самого утра бодрствует.

Может быть, сегодняшнее богоугодное дело, на которое получено благословение — фетва не только самаркандских улемов, но и самого высокочтимого ишана из Шаша, может быть, оно приведет к тому, что всевышний

сжалится над ним, смиренным рабом своим, и подарит душе его мир и отраду?

Хорошо бы!

Тихонько приоткрылась дверь. Шах-заде резко повернулся на звук. Косоглазый есаул стоял на пороге — этому есаулу, рекомендованному самим шейхом, он разрешил приходить прямо к себе, не оповещая сарайбона.

— Ну, где же эмир Джандар?

— Милостивый повелитель! Эмир Джандар... занемог. Лежит в постели!

— Своими глазами видел?

— Своими собственными, всемилостивейший...

— Что ты ими мог увидеть, косоглазый шайтан? — Шах-заде зло усмехнулся. Поднялся. Подошел к есаулу.— Ну, а новости про эту... беглянку развратную есть?

— Никаких, повелитель...

— Опять нет, опять нет! Вы когда-нибудь принесете мне приятные вести?.. Что мавляна Мухиддин?

— Мавляна...— есаул склонил голову к левому плечу, искоса и робко взглянул на шах-заде.— Мавляна Мухиддин, говорят, потерял разум, повелитель.— И в ответ на недоуменный взгляд властелина, добавил проще: — Ну, с ума спятил... Про то я услыхал впервые от нукера, что ходил на обыск, а сегодня и сам видал мавляну на Регистане: голова непокрыта, глаза безумные, в одной рубашке по площади бегал. А потом, говорят, Ходжа Салахиддин забрал его домой, кандалы на руки и ноги набил, слуг сторожить приставил к нему.

— Бедняга! — неожиданно вырвалось у шах-заде. Он поморщился, посмотрел на Шакала, добавил: — Но... сам он виноват. Так будет со всяким, кто предаст душу дьяволу... А ты ступай. Скажи, пусть придворные будут наготове: скоро поедем!..

Известие, полученное от косоглазого есаула, еще больше разбередило душу шах-заде. Но, когда Абдул-Латиф вышел из холодных покоев Кок-сарая на свежий воздух, а день был на удивление теплый, от обильного снега, что выпал с неделю назад, и следа не осталось, он вдруг почувствовал облегчение, которого так долго и тщетно ждал. Тепло, светло, солнечно, и даже молодая травка, оказывается, проступила уже на обочинах улиц, на плоских земляных крышах, поверх глиняных дувалов. И ветки тальника, росшего вдоль говорливых арыков, пошли помаленьку краснеть, наливая живительным со-

ком почки. И ветер с гор, ласково-теплый, нес с собой почти не слышный и все-таки уловимый аромат весны; горьковато-волнующие запахи полыни, дикого лука и степного ковыля смешались в его дуновении.

Шах-заде дышал, дышал полной грудью. Перед его просветленным взглядом вставали почему-то картины далеких гератских зеленых холмов. В свите деда своего, Шахруха-счастливца, Абдул-Латиф каждую весну выезжал в холмистую степь под Гератом — на место козлодраний, скачек и прочих лихих игр-состязаний. Озорным он был в юности, ох, каким озорным!

Шах-заде, улыбаясь воспоминаниям, ударил камчой вороного, тот нетерпеливо рванулся вперед; за султаном и приближенные отпустили поводья, и мощеные улицы загрохотали под копытами лихой скачки.

Как в молодости!

Только тогда, в молодые годы, никто не охранял его особу. А теперь по обеим сторонам улиц от Кок-сарая до самой обсерватории стояли через каждые пятнадцать — двадцать шагов наряды копьеносцев, а неподалеку от пути следования повелителя в переулках и закоулках теснились конные ратники, одетые в кольчуги.

Мирза Абдул-Латиф, хоть и понукал коня мчаться еще быстрее, успевал сквозь частокол копий с трепещущими на ветру флажками, поверх шлемов стражников видеть глаза, лица покорных ему тысяч людей. Согнанные, они стояли молча, опустив взгляды, у заборов, в переулках, в дверных проемах лавок и мастерских; дети сидели на крышах, и в их глазах он ловил тот же страх, но еще восторженное изумление пышностью его поезда. Сердце шах-заде задрожало в ликовании. Оно было сейчас — сам нашел это поэтическое сравнение,— словно голубое самаркандское небо. Оно было лазурное, его сердце! Не зря, не зря он сражался за Мавераннахр, за этот великий город Самарканд! Стоило, стоило не один, а сто раз рискнуть жизнью ради того, чтобы промчаться по улицам Самарканда, великого из великих городов, столицы непобедимого предка своего — эмира Тимура, промчаться и увидеть коленопреклоненные толпы, склоненные головы. Сладостна власть и величественна!.. Вот сейчас он может остановиться и приказать всем этим людям: падите в поклоне еще более низком! Целуйте землю, по которой проскакал мой конь! И падут! И будут целовать землю!

Пусть кто-нибудь посмеет не выполнить его повеления...

И перед обсерваторией была тьма народу. Невообразимый шум навис над площадью!

Сотни дервишей, размахивая кадилами с дымящей гармалой, качая в такт песнопению своими островерхими колпаками, тянули заунывно-стройно: «О аллах... о наш создатель...» Обычные нищие и убогие попрошайничали, протягивая к людям, заполонившим площадь, костлявые руки. Все прибывало и прибывало людей со всех четырех сторон, и все звонче и раздраженней звучали окрики конных стражников с обнаженными саблями, что пытались навести хотя бы подобие порядка в толпе. А на минаретах обсерватории били барабаны, сотрясал воздух рев медногорлых карнаев, способный потрясти и землю и небеса!

Двустворчатые ворота обсерватории были распахнуты: дорожку, ведущую от них в глубь двора, оставили свободной, а по обеим сторонам ее выстроились знатные люди Самарканда. Хоть и тепло было, стояли они в суконных тяжелых чекменях, лисьих и собольих шубах, в бобровых шапках. В руках имамов и улемов священные книги.

По правую сторону от входа воздвигнут высокий деревянный помост, застланный коврами и одеялами,— это место для столпов веры, шейх Низамиддин Хомуш уже там. Помост полуокружен белыми мантиями и чалмами знатнейших из улемов и дорогими одеждами виднейших из государственных мужей. Жемчуга на шапках, золотые рукоятки сабель, серебро поясов — все блестело так, что не сразу разберешь лица. Впрочем, градоначальник Мираншах был виден и в такой толпе.

Прямо перед помостом, если смотреть по линии, ведущей ко входу в здание обсерватории, гора саксауловых веток и поленьев, а на них груды и груды книг. Их будет еще больше, потому что из помещения обсерватории выходят все новые служки и выносят все новые и новые книги, наращивая гору...

Шах-заде пошел от ворот по дорожке прямо, потом повернул направо. Знать и духовенство у помоста расступились перед ним. Низамиддин Хомуш поднялся навстречу, приглашающим жестом указав на кучу одеял, где надлежало восседать шах-заде, потом почтительно прижал руки к груди. Не сводя глаз с взошедшего на

помост Мирзы Абдул-Латифа, шейх сказал одному из улемов:

— Пусть впустят сюда тех ученых и поэтов, кто отступил от истинной веры! Пусть они увидят своими глазами, как будут гореть греховные книги!

Ввели во двор десятка три талибов, бедно одетых, беспокойных, напуганных. Преподаватели медресе, еще в одеяниях мударрисов, стали рядом с учениками, поодаль от помоста.

— Начнем? — повернулся к Абдул-Латифу шейх. В ответ кивок головы.

Шейх поднялся во весь рост. Продолжая перебирать в пальцах тяжелые янтарные четки, поправил белую мантию, скрыв ею обнажившееся черное пятно бархатного халата. Сделав шаг вперед, к краю помоста, он обратился к народу с проповедью. Не торопясь, отбирая каждое слово, шейх заговорил о том, сколь существенным благодеянием будет сожжение еретических книг, что собрал в этом нечестивом гнезде обсерватории человек, отступивший от веры истинной вместе со своими шагирдами. И пламя костра, который изничтожит сии книги, могло бы уничтожающим смерчем пасть на головы всех согрешивших — да так оно и будет, если рабы аллаха, совращенные искусителями-нечестивцами, не станут денно и нощно молить всевышнего об отпущении грехов своих, так оно и будет, ибо уповать можно лишь на милосердного аллаха, на то, что в милости своей он вернет их на путь истинный... Илахи аминь!

И огромная толпа громко, будто одним выдохом, повторила:

— Илахи аминь!

Абдул-Латифу почудилось, что восклицание это потрясло и стены безбожного гнезда — обсерватории, и весь город.

Сиятельный шейх принял из протянутой руки дервиша факел. Передал шах-заде. Второй факел взял для себя. Твердыми шагами спустился шейх с помоста, зная, что шах-заде пойдет за ним.

Абдул-Латиф не думал, что сожжение книг начнет он сам, даже не хотел этого, но проповедь пира, единодушные возгласы одобрения толпы, здесь собранной, торжественная мрачность ритуала — все это словно причастило его к некому божественному волеизъявлению, взволновало его религиозное чувство, и потому твер-

дыми шагами последовал он за шейхом к горе ветвей и книг. С молитвенной дрожью он первым протянул горящий факел к сухим ветвям в основании горы. Хворост тут же вспыхнул. Шейх добавил огня. И в один миг большущий язык красного пламени устремился вверх, по-змеиному шипя и разбрызгивая вокруг искры. Еще миг — и гора книг скрылась в дыму и огне. Летели, рассыпаясь, искры, трещали, корчились переплеты, пеплом оседали страницы.

— Илахи аминь! — снова дружно грянула толпа.

Пение дервишей, гул людского одобрения, потрескивание сучьев — словно теплая, размягчающая, снимающая напряжение волна окатила душу шах-заде.

Он закрыл глаза. Ему казалось, что мягкая ласкающая волна вздымает его все выше и выше, но нет, не волна, он сам распростер крылья и летит, летит, купается в теплом и голубом поднебесье.

— О аллах! Прости меня, раба своего! Не пожалей милостей своих для меня, дай мне отраду,— шептал шах-заде.

Что-то заставило его вернуться к реальности, открыть глаза, какой-то переполох. Костер горел по-прежнему ровно и сильно, полыхал вовсю, трещал, разбрасывая снопы искр. Но многие смотрели уже не на костер, а на ворота. Там продолжалась непонятная свалка, слышались невнятные крики и проклятья: «Держи его», «Не пускай!», «Стой!».

Но, растолкав всех, прорвав заслон, во двор медресе вбежал босоногий и простоволосый человек с всклокоченной бородой, в рубахе с оторванным рукавом и разодранной до пупа. Юродивый, сумасшедший? Да, но... это был мавляна Мухиддин!

Абдул-Латиф почувствовал вдруг резкое головокружение, непонятный страх замкнул его уста, судорогой прошелся по мышцам лица.

Мавляна Мухиддин, сверкая глазами, кинулся к костру, остановился на полпути, застыл, а потом, вскинув руки, схваченные в запястьях железной цепочкой, начал по-дервишески пританцовывать на месте. Так же внезапно он прекратил танец, отвернулся от костра, закричал:

— Правоверные, эй, правоверные! Этот костер — пламя адское! Кто изгонит из своего сердца всемогущего аллаха, кто ступит на тропу ереси, тому гореть вот в

таком огне! Глядите, глядите, рабы аллаха! В таком огне будет гореть нечестивый, впавший в ересь! Глядите, запоминайте, правоверные!

— Схватите безумца! — повелительно выкрикнул, перекрывая общий шум, шейх Низамиддин Хомуш.

Мавляна Мухиддин завертел головой, будто стряхивал с нее горящие уголья, затем безумным взглядом уставился на шейха и вдруг, радуясь чему-то, заверещал тонко, пронзительно:

— Эй, правоверные! Глядите, вот он, нечестивец Али Кушчи! Вот он, отыскался, проклятый всевышним, вот он, бежавший из зиндана, вот он... Держите его, держите!

Стражники накинулись на мавляну Мухиддина, попытались свалить его наземь. С неестественной силой мавляна отбросил их от себя, сделал несколько шагов к помосту, продолжая кричать:

— Али Кушчи! Это ты, кяфир, вероотступник! Держите его, люди! Держите!

Белая пена выступила на губах мавляны, дикая, безумная сила полыхала в зрачках.

Шах-заде невольно подался назад. Опомнился, рука дернулась к сабле. Сам крикнул:

— Да схватите же этого безумца!

С заломленными назад руками, как-то нелепо вывернув колени, мавляна качался, пытаясь вырваться из рук стражников. Смотрел он при этом на Мирзу Абдул-Латифа, только на него. Так казалось самому Абдул-Латифу.

— Ага-а-а...— вдруг тонким пронзительным голосом закричал мавляна.— Вот ты где, отцеубийца... Эй, правоверные! Я нашел отцеубийцу... Я нашел того, кто убил своего благословенного родителя Мирзу Улугбека!.. Хватайте его! Держите его! Отцеубийцу в адский огонь! В огонь его, в огонь!

На миг площадь онемела. И простой люд, и вельможи, и почтенные имамы и улемы, и сами стражники. А через минуту перед очами тех, кто сидел на помосте, предстал пробившийся сквозь толпу Салахиддин-заргар. Подбородок его дрожал от сдерживаемых рыданий, в глазах слезы, один конец чалмы развязался и волочился чуть ли не по земле.

— Пир мой, пир мой, простите, простите! — захлебываясь, говорил Ходжа, обращаясь к шейху. Подскочил

к сыну, которого стражники наконец повалили на землю, но старика грубо оттолкнули. Мавляну Мухиддина поволокли по земле. Он сучил ногами, скованными руками пытался за что-то зацепиться; голову, разбитую о камни, заливала кровь, а из уст безумца все еще летели хриплые зловещие слова:

— В огонь отцеубийцу, правоверные, в огонь его!..

Ходжа Салахиддин, припадая на ногу, бежал за стражниками, пытаясь схватить за рукав то одного, то другого; он рыдал, умолял о чем-то, напрасно рыдал, тщетно умолял...

Площадь, народ, стражники с ювелиром и его сумасшедшим сыном — все вдруг закружилось перед Абдул-Латифом. В глазах почернело. Боясь, что вот-вот упадет, он схватился за плечо шейха, придвинулся к нему, как бы прося защиты.

— Держитесь прямо, сын мой. Очи всех людей устремлены сейчас на вас,— прошипел шейх. Подняв высоко голову, он оглядел сверху вниз толпу, воскликнул торжественно и властно: — Правоверные, истинные мусульмане! Вы все свидетели, вы сами все видели: кто предался ереси, кто поддался гордыне, тот заслужил кару всевышнего и получил ее! Сие отмщение небесное!

Шейх говорил еще долго, властно, вдохновенно, и не слышал его, пожалуй, лишь один человек — шах-заде. Он слышал другие слова: «Эй, правоверные!.. В огонь отцеубийцу... в огонь!..»

19

Каландар Карнаки все сидел и сидел, преклонив колени, у свежего могильного холмика, маленького, будто похоронили в нем ребенка. Закрыв глаза, он читал молитву.

— Вставайте, шаир, времени мало у нас, а мертвую не воскресить и молитвой.

Каландар знал, кто произнес эти слова: шагах в четырех-пяти под тенью вяза примостился, поджав под себя ноги, Мирам Чалаби.

Еще раз прочел молитву Каландар, поднес ладони к лицу, поднялся.

Рассвет был уже близок, сквозь редкие облака мерцали, быстро слабея, звезды; над кладбищем тихо плыл

голос чтеца корана: «Как похож этот голос на голос Али Кушчи»,— подумалось Каландару... Да, наставнику и следовало бы читать коран над могилой матери, наставнику, а не его ученику. Но, увы, наставник в заточении и потому долг ученика...

Бедная старушка! Вихрь беды налетел и сбил ее с ног. Тиллябиби так и не оправилась от болезни. Она угасала, словно догорающая свеча, и все глядела, глядела на двери и, стоило им скрипнуть, вскакивала с места со словами: «Мой верблюжонок, это ты, ты!» И вот жизнь ее, мучения ее прервались.

Каландар не сразу узнал о смерти матери Али Кушчи. Все последнее время он лихорадочно искал возможности спасти учителя. Каких только планов не придумывали они с Уста Тимуром! И ничего иного не смогли придумать, кроме того, что пришло в голову старому мастеру сразу же: с помощью Шакала склонить на свою сторону одного из стражников. Склонить-то склонили, но для того, чтобы кое-что он пронес к Али Кушчи в узилище, и только!

Каландар мучился от бессилия, а тут еще, как сель в горах, как град на голову без шапки, весть об исчезновении Хуршиды!

О причинах, что толкнули молодую женщину на столь отчаянный поступок, Каландар узнал все от того же Шакала. А затем новая весть: о сумасшествии мавляны Мухиддина, о том, как вырвался он из дому на сожжение книг, и про крик его, что разнесся по всему Самарканду: «Отцеубийца!.. В огонь отцеубийцу!»

Исчезновение Хуршиды-бану ударило Каландара тяжелым молотом. Сидеть в пещере Тимура Самарканди было теперь совсем уж невмоготу. Каландар ушел к подножию горы Кухак, целыми днями лежал в зарослях камыша на берегу Зеравшана. Глядел в небо, думал о судьбе своей, о том, как несчастно складывалась вся его жизнь.

Он даже на свадьбу Калканбека не поехал.

Калканбек, помолвленный с дочерью своих дальних родственников, очень звал его поехать в горы Ургута — брата, Уста Тимура и его звал. И Уста говорил, что надо поехать, проветриться, освободить сердце и голову от безнадежных мыслей. Но Каландар отказался наотрез. Не до свадьбы ему сейчас, не до радостей — даже радостей друга!

По наступлении темноты Каландар покидал заросли камыша, устало поднимался по склону Кухака на заранее обговоренное с Шакалом место встречи. Шакал брал то, что приготовлено было для мавляны Али Кушчи, много чего обещал, требовал еще больше денег — и все оставалось до следующей встречи без изменений.

Правда, вчера Шакал пришел очень взволнованный, нетерпеливый, сказал, что будто уговорил наконец эмира Джандара действовать, повлиять на бека, ведающего зинданом. Весьма возможно, они в скором времени выведут мавляну потайным ходом из заключения. Но для этого нужно золото, много золота. Пусть Каландар готовится к скорой встрече с мавляной.

Каландар тут же вернулся к Уста Тимуру и вот там узнал, что скончалась Тиллябиби. И что, кроме Мирама, никого не было на похоронах старушки: сын в тюрьме, сам он отсиживался в камышах, Уста Тимур и братья не вернулись со свадьбы. Мирам Чалаби и какие-то очень дальние родственники предали земле тело Тиллябиби..

...Словно с могилой собственной матери, прощался Каландар с могилой Тиллябиби. Несколько раз останавливался, оглядывался, уходя с кладбища.

Вороной аргамак с белой отметиной на лбу (пятьдесят золотых монет отсыпали за него Шакалу!) пасся в карагачевой роще, за кладбищем. Здесь Каландар и Мирам расстались. Отсюда он поехал... Но куда? Куда ему ехать?.. Мысли все еще были заняты образом бедной старушки, потом перенеслись к его родной матери, такой же любящей, тихой, ласковой... Ее-то могила осталась совсем без присмотра, пожалуй, вся травой заросла... Только позавчера, вспомнил он, только позавчера он получил первый ответ от наставника... Всего четыре слова: «Бумага. Карандаш. Мать, Тиллябиби»... Все мы грешные, только создатель безгрешен. Но если и грешен в чем-то мавляна, то уж мать его, чем она виновата?.. Просто тем, что любила сына? И вот сгорела, словно свеча от ветра, от беды, выпавшей на долю сына.

На берегу по-весеннему бурной реки Каландар придержал коня. Надо было опять скрываться в камыши. Не хотелось! И он повернул коня к горе Кухак. Выбрал на дороге холмик посуше, поднялся на самый верх, здесь слез с коня, стреножил его, прилег на траву.

Солнце еще не поднялось, но робкая, нежно-розовая кисея уже застлала вершины гор, высветлила их, приблизила к глазу; все ярче и гуще становилась она, воспламенялась, краснела, и вскоре весь горизонт был объят огромным костром; ликующе-радостное, поднималось над землей весеннее солнце!

Трава намокла в густой росе. Или ночью дождик прошел, а он и не заметил? Утренний ветер колыхал траву, то зеленым шелковым покрывалом пригибая к земле, то взъерошивая гривой необъезженного скакуна. Нежно-зеленые холмы, снежная розовость горных вершин вдалеке, серебряная лента реки внизу — как это все похоже было на его родные края! Ну, разве не так же зеленеют сейчас невысокие холмы вокруг кишлака Карнак? И не так же готовятся к таинству раскрытия лепестков и листьев урюк и персик в густых карнакских садах? Вот если б вызволить мавляну Али Кушчи из зиндана, получить его благословение, да и махнуть на родину, благо весна, благо теплые дни впереди!

Махнуть? Без Хуршиды? Даже не узнав, где она, что с нею?

Не раз Каландар видел во сне возвращение свое в родные края, но в снах этих всегда вместе с ним была и Хуршида. Лежа в полутемной пещере Уста Тимура бессонными ночами, он часто воображал себе, как они едут вдвоем, седло к седлу, по бескрайнему степному раздолью к желанному отчему порогу... Хуршида в чабанской шапке, мужском чекмене — молодой пастух, да и только, а иначе не обезопасить ее от недобрых глаз! Лицо озарено радостью, слышался тихий, но счастливый смех... Да, счастливый, несмотря ни на что, счастливый... Он может вызвать на ее лице радостную улыбку и счастливый смех. Две последние встречи под старой орешиной в саду Ходжи Салахиддина подсказали ему, что оскорбленная душа Хуршиды-бану, истерзанная и, казалось, надломленная, умершая, не умерла, не сломалась, что она может воскреснуть, что она... вновь потянулась к нему, Каландару... Счастье... Их счастье было возможно, если бы не новый и уже, видно, непоправимый удар!

Подлый отцеубийца! Сгореть бы тебе со всем своим гаремом! Десятки, сотни невольниц — из Герата, из Балха, из Самарканда! Нет, он позарился на его единственную любовь...

Бедный народ! За что тебе достался этот дьявол в облике шах-заде?

Да, его беда не единственная.

Третьего дня ночью, когда Каландар был у Уста Тимура, чтоб прихватить кое-что из одежды и оружия, а братья кузнецы собирались ехать в горы за невестой Калканбека, в кишлаке вдруг раздались шум, грохот, лошадиный топот и крики людей. Братья не выдержали, выскочили из пещеры, Каландара удержал старый мастер. Калканбек тотчас вернулся с криком: «Где наши сабли?.. Воины шах-заде грабят кишлак!» Каландар тоже схватил саблю, выскочил наружу. В кромешной тьме куда-то с криком бежали люди. Женщины плакали... Выяснилось, что воины шах-заде, словно банда разбойников, налетели, ограбили дочиста крайние дома кишлака, прихватили чью-то дочь и умчались.

В ту ночь в пещеру Уста Тимура, не сговариваясь, собрались мужчины со всей махалли. Пришли кузнецы и гончары, каменотесы и резчики по дереву; пришли и кишлачники, робкие, тихие дехкане, среди них отец похищенной девушки, маленький человек, ростом в аршин, с морщинистым лицом в кулачок. До рассвета просидели они в пещере, говорили — и все об одном: плохо в стране, насилие кругом, сколько можно терпеть? Говорили: в городе закрыты торговые лавки, замолкли мастерские ремесленников — что от работы толку, коли нет покупателей. Из пригородных кишлаков дехкане в город не едут — средь белого дня на дорогах грабят,— и самаркандские базары, знаменитые самаркандские базары обезголосели.

Сколько же можно терпеть? Не пора ли подниматься работающему люду?

Странно иль нет, а первым такой вопрос задал морщинистый маленький дехканин. Его поддержали другие — пора, мол, пора. Но Уста Тимур, хранивший до того молчание, охладил их пыл, рассудительно заметив, что рано подниматься, силы слишком неравны пока, не надо зря проливать кровь человеческую. Надо собирать силы.

Каландару, прежде согласному со старым мастером, казалось теперь, что Уста Тимур был неправ в своей рассудительности. В молодости люди дерзки, к старости мудрая осторожность может превратиться в излишнее спокойствие. Правы ремесленники — надо поднимать лю-

дей, идти штурмом на Кок-сарай! Каландар был готов повести их, пусть и мало надежды на успех, пусть он и сам погибнет в битве. Но ведь в битве! А не в прозябании, когда ты должен только сидеть и ждать, сидеть и ждать.

Да и к чему теперь ему жизнь, и жизнь ли это, когда оборвались или вот-вот оборвутся последние нити, из-за которых стоило жить, из-за которых жизнь не до конца опостылела ему?

Рывком вскочил Каландар на ноги, с лихорадочной поспешностью взнуздал коня, пустил его вскачь вниз, не разбирая дороги, невзирая на крутизну холма. Заросли камыша впереди словно пылали — так яростно освещало их красным пламенем весеннее солнце...

Когда в сумерках Каландар поехал на очередную встречу с Шакалом, он почти уверился в том, что эмира Джандара удастся подкупить и что эмир, в свою очередь, подкупит тюремщика. Тогда придет решающая ночь. В самом деле, должна же она наступить? Разве мало повидал он на своем веку продажных, падких на золото, на выгоду вельмож, эмиров, чиновников?.. А в глубине сознания теплилась и еще одна мысль — о Хуршиде-бану. Почему-то казалось, хотя для этого не было никаких разумных оснований, что сегодня он услышит от Шакала что-то новое и о ней. «Все может быть, все может быть...» — заклинал себя Каландар.

Он долго ждал Шакала. Сидел, обхватив руками колени, невидящими глазами уставясь в темноту.

Наконец сверху, по склону горы, что-то зашуршало, будто под мягкими сапогами захрустели сухие сучья. Каландар вышел из-под ветвей тутовника; на светло-синей полосе неба, четко окаймлявшей изгиб склона, сгустилась тень человека.

Каландар пошел вверх, навстречу.

— Шакал, ты?

— Я, дервиш...

Они сошлись.

— Чего же ты молчишь?

— Вести нерадостные, дервиш, оттого и молчу.

Собеседник Каландара тяжко дышал, будто после торопливой ходьбы.

«Или от страха?» — подумал Каландар.

— Все равно давай выкладывай.

— Мирза Абу Саид бежал из зиндана. В Кок-сарае тревога, дервиш.

— Кто бежал?

— Абу Саид... Ну, племянник покойного повелителя, Улугбека. Он ведь тоже томился в зиндане.

— А когда сбежал?

— Один аллах ведает. Вчера шах-заде прошел по всем темницам и обнаружил, что Мирзы Абу Саида и след простыл. Надсмотрщик сам попал в зиндан... ну и переполох повсюду...

— А где эмир Джандар?

— Наверное, занят тем, что свою шкуру спасает.

Все, все пошло прахом! Столько усилий — и все на ветер! На ветер несколько месяцев борьбы, надежды, подготовки! «Бедный устод!»— горько, чуть не вслух произнес Каландар. Прямо из сердца рвалось спросить про Хуршиду — о ней-то какие вести? Но не спросил. Сдержался. Процедил только сквозь зубы:

— И это все, что ты мне принес сегодня, лис?

Сжав кулаки, долго-долго вглядывался в небо, в его темную холодную глубину. «За что на обездоленных новые беды, почему на страдающих сыплются новые страдания?»

В разрывах легких весенних облаков равнодушными льдинками поблескивали звезды.

«Нельзя верить ни этому небу, ни этим звездам, ни падким на золото эмирам... Где Уста Тимур, Калканбек и Басканбек?»

И, словно забыв о Шакале, Каландар зашагал, спотыкаясь о камни, к своему коню.

20

Гонец из Кок-сарая прибыл к Султану Джандару явно не ко времени: в гостиной эмирова дома собрались пять-шесть человек, тоже эмиров, сидели, тихо беседовали друг с другом, ожидая Мираншаха и шейх-ульислама Бурханиддина. Ворота были на замке, двери в комнату крепко заперты, тяжелые темно-синие бархатные занавеси плотно закрывали окна, так что ни один лучик света не вырывался во двор — да и много ли света даст единственная свеча, что горела в обширной мехманхане? И все же слово «гонец», принесенное верным слугою, оглушило и ослепило собравшихся. Го-

сти повскакали с мест, сбились кучей. Эмир Джандар сам прислуживал гостям — он так и застыл у порога изваянием в белой рубахе и пестром банорасовом халате. Не потерял присутствия духа один лишь Бобо Хусейн Бахадыр — он тоже был здесь, любимый Улугбеков нукер; быстро дунул на свечу, неслышно подошел в темноте к хозяину, властно шепнул:

— Заприте залу снаружи! Сами пройдите в другую комнату, ложитесь в постель... не забудьте снять халат!.. Пусть гонец своими глазами увидит вас в постели!

Но гонец не захотел увидеть захворавшего эмира на одре болезни. Слуга, вышедший к гонцу сообщить о том, что эмир занедужил, тотчас вернулся обратно.

— Там дворцовый сарайбон... ну, тот, темнолицый, из Балха. А с ним десять всадников. Он сказал, что должен привезти вас во дворец, будь вы даже при смерти... Или вы сами выйдете, мой эмир, или... боюсь, они ворвутся в дом...

Султан Джандар соскочил с постели.

— Пойди скажи: сейчас, мол, выйду. И прикажи седлать коня! Погоди! Видно, случилось что-то недоброе в Кок-сарае, пусть гости не расходятся, а притаятся и ждут моего возвращения.

Темнолицый из Балха, недовольно хмурясь, ожидал Султана Джандара у ворот. Он пропустил эмира вперед, поехал следом, за ними цепочкой вытянулись всадники.

Ночь была темная, но не тихая, как бывает обычно в столь поздний час. Порой из улиц и переулков выплескивался конский топот; какие-то всадники с факелами мелькали то впереди их кавалькады, то сзади, то сбоку — тоже гонцы, что ли? Тени пеших соглядатаев то и дело возникали на протяжении всего их пути во дворец.

Что-то случилось! Несомненно, что-то случилось! Серьезное что-то.

Что же?!

«О аллах, сохрани, убереги меня от гнева этого безумца!» — молитвенно воззвал к всевышнему эмир. Предчувствие беды навалилось на него... Вот уже с месяц, как он не появляется в Кок-сарае. С того самого дня, как исчезла «роза из цветника», дочка сумасшедшего мавляны Мухиддина.

Боясь гнева Мирзы Абдул-Латифа, Султан Джандар тотчас слег в постель, всем гонцам отвечали, что эмир тяжко захворал. Даже на сожжении книг он не был, хотя прослышал, конечно, о безумном мавляне Мухиддине, о его словах, обращенных к шах-заде и ставших притчей во языцех всего Самарканда, в том числе и вельмож, сильных мира сего... И все больше, надо признаться, стало приходить их в дом эмира Джандара. Приходили, будто справиться о его здоровье, и любой всенепременно заводил речь про события во дворе обсерватории: кто осудительно по отношению к мавляне, а кто осудительно по отношению... И эмир Джандар не без удивления убеждался, что недовольных повелителем среди беков, эмиров, чиновных людей больше, чем он предполагал. Говорили, что вера и правда в служении наследнику престола, когда тот вел борьбу с отцом, не поощрены как должно. Что Мирза Абдул-Латиф вверил себя лишь Низамиддину Хомушу, и даже произносились слова о человеке, попавшем в когти черных улемов: прикажут улемы шах-заде лечь — он ляжет, прикажут встать — встанет... И многие из мудрых уже давно держатся в стороне от шах-заде, взять хоть того же шейх-уль-ислама... А во дворце нет ни благочестия, ни спокойствия.

Эмир долго колебался, прежде чем решил собрать влиятельнейших из недовольных. Он хотел поглядеть на их единодушие, и, коли в самом деле они единодушны в своем недовольстве, тогда... Что тогда, об этом эмир боялся признаться и самому себе...

И вот этот вызов во дворец!

«Пронюхал, пронюхал, отцеубийца! Все! Конец. Полетит голова высокородного эмира, будто срезанная с грядки тыква. Вот уж верно — из-под дождя да в град попал! От Мирзы Улугбека — в руки головореза... Истинно, ничто не остается безнаказанным! За невинную кровь султана Улугбека — кровь Султана Джандара, за т у голову — мою собственную?..» Эмир пошатнулся, чуть не упал с коня, но удержался за луку седла.

Вот и площадь перед дворцом; эмир не спешил, охал, нарочито громко стонал. Стражники отошли от костра, освещавшего ворота Кок-сарая, приблизились, узнали эмира, поддержали под руки, помогая слезть с коня.

Эмир и вправду горел, словно в лихорадке. Но про-

шел сквозь ворота сам; задрав подбородок, прошагал через двор; лишь перед тем, как войти внутрь дворца, задержался на миг, стараясь унять дрожь в коленях.

Сарайбон распахнул перед ним двери в салям-хану, и эмир Джандар, почтительно сложив на груди руки, вошел. Шах-заде стоял посередине комнаты. Ноги широко расставлены, будто для того, чтобы прочнее было стоять, а лицо... о всевышний, какое страшное лицо было у шах-заде — болезненно-белое, как всегда, оно покрылось синими пятнами, с синими мешками под глазами. А глаза острые, колючие! А самое страшное — голова трясется мелко и часто, как у брата было, у Абдул-Азиза.

Эмир Джандар согнулся в поклоне. Застыл, не желая выпрямляться, не желая вновь увидеть трясущуюся голову. Услышал, как приблизился к нему шах-заде, сквозь свистящее дыхание его разобрал:

— Ну, эмир Джандар, где же Мирза Абу Саид?

— Мирза Абу Саид?— непонимающе повторил Султан Джандар, поднял глаза и тут же опустил их: синие пятна на бескровном лице, трясется, трясется голова! Словно труп ожил!

— Что ж ты молчишь? Я же спрашиваю тебя: где Мирза Абу Саид?

— Абу... Саид... в зиндане, повелитель.

— В зиндане?! Тогда пойди туда и приведи его!— Абдул-Латиф обеими руками вцепился в эмиров халат.— Приведи немедленно! Тотчас же!

«Сбежал!— мелькнула догадка.— Значит, сбежал! А ведь тоже наследник!»

— Благодетель мой, о смерти своей ведаю, об Абу Саиде нет... Вы же знаете, милостивый, тяжкий недуг свалил меня в постель!

— Недуг?!— зарычал Абдул-Латиф.— Недуг, говоришь?.. Разжирел, как осенью кабан, и жалуешься на болезни. Лежишь в постели, а сам плетешь сети против меня!

«Знает! Знает или вопит наобум?»

— Ну, отвечай! Снюхался с Абу Саидом или не успел?!

— Аллахом клянусь...

— Аллахом?.. Тогда клянись, что разыщешь этого смутьяна! Схватишь и бросишь к ногам моим!

— Брошу, повелитель...

— Сегодня же бросишь!

— Сегодня же, благодетель!

Абдул-Латиф отпустил халат эмира. Шатаясь, пошел к трону.

Эмир Джандар шумно вдохнул воздух, оперся о стену. Сил не было и у него.

Глаза закрыл, и тотчас предстали его воображению гости, что затаились сейчас в его доме. «Сегодня же бросишь его к моим ногам!» Ладно, брошу, только бы вырваться отсюда, от этого бесноватого. А там... я тебе «брошу», я тебя научу отличать, где зло, где добро.

Эмир открыл глаза. Абдул-Латиф исступленно загремел золотой колотушкой. Вбежал сарайбон.

— Эмиру Джандару из придворных нукеров... человек десять... Двадцать! Сколько спросит! Эмир поймает сегодня же этого сбежавшего дьявола... Абу Саида!.. И приведет ко мне — сюда! — закованным в цепи!

Мановением руки шах-заде отпустил эмира. Поманил сарайбона. Темно-зеленая чалма балхца приклонилась к устам повелителя.

— Приставь соглядатая! — прошептал шах-заде. — Этот выросший на сале змеи хитрец может предать, переметнуться к Абу Саиду. Случится так — твоя голова с плеч! Понял?

— Все понял, повелитель.

— Погоди! — Мирза Абдул-Латиф остановил сарайбона, метнувшегося было к дверям, взглянул ему в лицо, но, будто забыв, о чем хотел сказать, отвел взгляд, долго смотрел в одну точку.

Сарайбон терпеливо ждал, что скажет шах-заде.

— Ну, ладно, иди! — шах-заде махнул рукой. И, к удивлению сарайбона, добавил как бы невзначай: — Да, передай начальнику тюрьмы, что я хочу видеть мавляну Али Кушчи. Пусть его приведут ко мне...

21

Мавляна Али Кушчи не знал, что и подумать: кукурузные лепешки перестали передавать ему. А со вчерашнего дня забыли и про ячменные, и про кумган с водой. Что это означало? Решили уморить голодом? А он-то размечтался, думал, что вот-вот завершит главу своего трактата «Рисолаи дар фалакият» и передаст ее верным шагирдам. Вложит в кумган, и пойдет его мысль на сво-

боду. Не тут-то было. Видно, и тюремщики не дремали, разнюхали про переписку.

В последнее время ноги мавляны сильно распухли, к прежней боли прибавилась новая, не отпускавшая ни когда он сидел, ни когда ходил по своей тесной клетке. Часами растирал он опухшие суставы, сжав зубы, массировал колени, лодыжки, бедра. Устав, валился без сил на циновку, но долго лежать не мог: промозглая сырость опять набрасывалась на его ноги, словно зверь, терзала их. Али Кушчи вставал, хромая, обходил темницу вдоль стен. Надеясь забыть про боль, начинал рассуждать вслух, продолжая свой трактат. Но что-то плохо выходило: мысль, оказывается, тоже не всесильна, ее в конце концов могут одолеть голод и боль... Иногда горячий жар поднимался по телу, окутывал сознание. Возникала туманная пелена, сквозь которую виделись то мать, вся в слезах, ее потускнелые, блеклые глаза, то устод Улугбек, то наставник Кази-заде Руми — и тот, и другой обращали к нему свои советы, странное дело, по тому сочинению, над которым он размышлял здесь, в зиндане. Подчас они спорили с ним, поправляли его, и удивительно, что, когда жар спадал, когда мавляна понемногу приходил в себя, поправки и советы эти припоминались отчетливо и зримо, и, надо сказать, были эти советы и поправки всегда полезны.

Сегодня боль скрутила особенно сильно. Она пронизывала его тело до кончиков пальцев на руках и ногах. Али Кушчи горел в жару. Показалось ему, что дверь в темницу приоткрылась и вошел повелитель-устод, приблизился к нему, склонился над ветхой циновкой.

— Что с тобою, сын мой?

— Как видите, учитель, совсем одолела меня болезнь,— ответил Али Кушчи, пытаясь подняться и вновь опрокидываясь навзничь.— Совсем одолела...

— Мне очень, очень жаль тебя, Али. Это я виноват во всем, я взвалил на твои плечи слишком тяжелую ношу. Пойди повинись перед шах-заде, упади ему в ноги. Иного выхода нет, Али...

— О учитель, не надо так говорить. Я скорее умру здесь, в этой готовой могиле, в холоде и голоде, чем предам вас, предам в руки шах-заде вашу... нашу... тайну.

Но Улугбек просунул ему под мышки руки свои, приподнял его с циновки.

— Нет, нет,— бормотал Али Кушчи,— если предам... как предстану перед вами? Как посмотрю в ваши глаза... в день Страшного суда?

Устод, не обращая внимания на эти слова, продолжал тащить, поднимать Али Кушчи. И вдруг изменившимся, грубым голосом закричал:

— Да вставай же, говорят тебе!.. Поднимись! Тебя зовет солнцеликий повелитель Мирза Абдул-Латиф!

«Какой солнцеликий?..». Али Кушчи с трудом расклеил ресницы, отрешаясь от видений. Двое воинов пытались поднять его, ухватив под мышки, третий с факелом в руке стоял у порога. До скрипа стиснув зубы, Али Кушчи все-таки выпрямился. Чтоб не упасть, привалился тут же к стене, прошептал:

— Воды!

— Эй, воды,— обратился один из воинов к тому, что стоял у порога.

Тот прокричал это слово в глубь темного коридора.

Одним махом осушил Али Кушчи чашу с водой — холодная, она обожгла его внутренности, но голова, кажется, прояснилась. «Зачем я понадобился шах-заде? Опять допрос? Или перед пыткой он желает посмотреть, в каком я сейчас жалком виде?»

Мавляна не хотел показывать своей слабости, хотел выйти сам из зиндана, однако ноги плохо слушались его, дыхание спирало, и тогда нукеры подхватили его под локти и чуть ли не понесли на руках.

Так миновал он длинный, казалось, бесконечный подземный коридор, но наверху, отдышавшись, собрав всю волю в кулак, пошел сам. Медленно, медленно, но сам.

Во дворе стояла еще темень, а близость рассвета все равно была ощутима: по отдаленным рыдающим вскрикам ослов, петушиному пению, по предутреннему ветерку, что донес до него незабытый, желанный запах весенних трав. Звезды еще мерцали довольно ярко, и у водоема Али Кушчи остановился, посмотрел в небо, на горячие уголья Плеяд и Большой Медведицы, натертый до полного блеска алмаз Венеры, стоящий точно под прямым углом к перпендикуляру минарета... «Близок рассвет, упоительно прекрасны эта земля и это небо, и этот ветерок, как хочется надышаться им всласть... Прекрасна свобода, прекрасен мир божий. И низки, жестоки, немилосердны люди». Али Кушчи пошатнулся, нукеры

кинулись к нему, снова подхватили под руки, но он слабым жестом отстранил их и со словами «я сам, я сам» шагнул дальше...

Увидев Али Кушчи у дверей салям-ханы, шах-заде проворно покинул тронное кресло, пересек залу и остановился рядом с ученым.

— Ассалям алейкум, мавляна!

«Что это с ним? Лицемерит? Снова лицемерит?» Но лицо шах-заде вызывало жалость: красные от бессонницы белки косящих глаз, заостренный нос, мертвенно бледная кожа. Растрепанная редкая бороденка, неприбранные, взлохмаченные усики. Движения суетливы, и весь он какой-то смятенный.

«Нет, сейчас он не лицемерит...»

Али Кушчи вздрогнул от резкого звука колотушки шах-заде, призывающего слугу. И тотчас, не выждав даже времени, пока мавляна ответит на приветствие, Абдул-Латиф заговорил, обращаясь то к Али Кушчи, то к явившемуся по вызову сарайбону:

— Управляющий зинданом проявил жестокость... Превысил мой приказ, переусердствовал... Уважаемый мавляна натерпелся мучений. Увы, увы!.. Немедля отведите досточтимого в баню. Дайте ему новое платье, накормите — и сюда, сюда, ко мне. Прошу ко мне, уважаемый...

Заложив руки за спину, в добром расположении духа после милостивого распоряжения, которое он отдал относительно Али Кушчи, шах-заде кружил по зале. Впрочем, облегчение душевное было минутным и призрачным, скрывающим глубоко подавленное настроение.

Боязнь врагов и беспомощность перед судьбой снова завладели Абдул-Латифом. Случай, что произошел на церемонии сожжения еретических книг, до сих пор казался ему зловещим предзнаменованием. Болезненные видения, подозрительные шорохи теперь стали чудиться уже не только по ночам, но и при свете дня.

Ему было чего опасаться!

Лазутчики доставили шах-заде перехваченное письмо из Хорасана от двоюродного брата Султана Мухаммада. Адресовано послание это шейх-уль-исламу Бурханиддину, а главное, упоминались в нем имена Мирзы Абдуллы и Мирзы Абу Саида, отпрысков Тимурова древа, которые тоже могли претендовать на трон. Абдул-Латиф ничего определенного не мог вычитать из письма брата —

оно, видно, было зашифровано так, чтобы понял его лишь тот, кому письмо предназначалось. Но одно то, что письмо это было адресовано шейх-уль-исламу, этому гордому, державшемуся независимо даже после поражения Улугбека законнику, насторожило шах-заде. А самое страшное, это упоминание про Абдуллу и Абу Саида — двух братьев по крови, которых он больше всего боялся и потому со дня своего воцарения держал в зиндане.

В зиндане? А может, уже и нет, может, они давно сбежали, а он сидит здесь, на троне, не ведая об этом?

Прихватив с собой зиндан-беги и есаул-баши, преодолев отвращение и страх, он спустился в подземелье Коксарая, отправился в самый дальний конец, туда, где в мрачных темницах грозный прадед Тимур Сахибкиран заживо гноил заклятых своих недругов. Путь был бесконечный, по-змеиному извилистый. Впереди шли нукеры с факелами. Отблески огней, пробегающие по неровным темно-бурым стенам, затхлость воздуха, непредвиденность поворотов, молчание и тяжесть дворца, навалившегося на этот узкий подземный ход, внушали невольную робость даже ему, шах-заде, тому, кому все это служило. Стражник тревожно заморгал, руки его затряслись, когда открывал двери в темницу Абу Саида. Долго возился он с замком. Есаул-баши оттолкнул стражника, вырвал у него ключ...

Свет факелов залил темницу, и... шах-заде пошатнулся, будто его нежданно ударили в грудь: узника не было. Длинная цепь, вделанная одним концом в гранитную стену, свободно змеилась по земляному полу.

Стражник подрубленно пал в ноги шах-заде, обнял его сапоги, прижался к ним лицом.

— О смерти своей ведаю, повелитель, а о бегстве... пленника... нет! Поверьте, поверьте мне!

— О смерти ведаешь? Ее и получишь! — Абдул-Латиф что было сил пнул стражника кованым сапогом, тот откатился к стене. Шах-заде вспрыгнул на него, стал яростно топтать тело, стараясь бить в лицо. Стражник руками пытался прикрыть голову и низ живота, харкая кровью, кричал, умолял простить. Но и крики, и кровь лишь еще больше разъярили шах-заде. Он бил и бил, все стараясь попасть в лицо и живот. Стражник наконец перестал извиваться, завалился навзничь, потеряв сознание, раскрыв окровавленный рот и раскинув в сто-

роны руки. Только тогда шах-заде перевел дух, взглянул на тех, с кем пришел сюда. Они торопливо отвели глаза. Покосившись на бездыханное тело стражника, шах-заде и сам почувствовал тошноту, отвращение и, круто повернувшись, выскочил из темницы.

Весь Кок-сарай был поднят по тревоге.

Больной Эмир Джандар был доставлен к властителю. Обещал поймать беглеца. Но что толку от этих силой вырванных обещаний? Шах-заде не верил, что Абу Саида найдут. Сомнений больше не было: заговор существует. Неясно оставалось другое: кто стоит во главе заговора? Шейх-уль-ислам Бурханиддин или кто-то другой? Если он, то кто из эмиров и сановников поддерживает его, кто близок к нему?.. Кто остался верен шах-заде? На кого можно опереться, кому довериться? Даже те, что пришли сюда из Балха, и те начинают косо смотреть на него, на своего благодетеля!

Внезапно Абдул-Латиф вспомнил, что сказал ему когда-то прямо здесь, в приемной зале для гостей и советов, отец, Мирза Улугбек. Этот трон, сказал тогда отец, никому не приносил счастья. Даже прадеду, потрясателю вселенной! И потому будь осторожен с мечом. Одним мечом нельзя удержать трон за собой, как нельзя насильно заставить женщину быть верной тебе. «Неужели моления султана-нечестивца дошли до всевышнего? Неужели небеса вняли отцовым слезам? Нет, нет, хоть он и родитель мой, но не может, не должно быть прощения властелину, поднявшемуся против истинной веры!» — думал Абдул-Латиф, но, думая так, знал, что лжет, самому себе лжет. Он знал, что Улугбек не был врагом веры, знал он и то, что не за веру воевал против отца. Шах-заде манил трон, влекла к себе упоительная отрава — сладость власти, безраздельной, полной, могущественно не считающейся ни с чьей иной волей.

За такое вожделение и следовало держать теперь ответ.

Но если так... то каким же будет этот ответ? Что именно ждет его впереди и когда? И нельзя ли обойти судьбу? Этот вопрос заставил Абдул-Латифа подумать об искупляющей многие грехи силе милосердия, а подумав о милосердии, вспомнить про Али Кушчи.

И, когда вошел сарайбон и сообщил, что мавляна вернулся из бани, шах-заде вновь почувствовал некое облегчение.

Абдул-Латиф поправил на себе одежду, разгладил пояс в рубиновых камнях, собравшийся в складки. Подошел к трону. Сел.

Руки его на подлокотниках тронного кресла мелко дрожали, сердце билось учащенно.

— Скажи, пусть входит!

Дворецкий ввел в залу Али Кушчи, поддерживая его под руку. Мавляна сделал несколько неуверенных шагов — так ходят в самом начале выздоровления больные, долго пролежавшие в постели. Наклонил голову — то ли в знак приветствия, то ли от болезненной слабости.

Шах-заде внимательно оглядел мавляну.

На ногах Али Кушчи новые, из желтого сафьяна сапоги; теплый добротный чекмень скрывает худобу тела; черный бобровый тельпек на голове делает выше ростом.

«Постарались одеть как надо». Шах-заде сделал знак сарайбону, чтобы тот оставил их вдвоем.

— Как теперь чувствует себя уважаемый мавляна? — Голос шах-заде был необычно мягок и участлив.

«Неужели и впрямь усовестился?»

— Благодарение всевышнему... жив-здоров.

— Вас покормили, мавляна, как надлежит? Может быть, пригубите немножко вина?

Али Кушчи не сразу ответил. После горячей бани и сытного обеда тело расслабилось, ноющие ноги едва держали его. А глаза слипались так, что, разреши шах-заде, упал бы сейчас на пол, на ковер, и тут же заснул бы.

Из ажурно расписанного кувшинчика Абдул-Латиф налил кубок доверху.

— Отпейте, мавляна. Вино взбодрит вас.

«Ну что ж, почему и не отведать?»

Рука плохо слушалась мавляну. Тем не менее кубок он удержал и, мало того, осушил, все вино выпил, до капли. Абдул-Латиф принял кубок из его руки, обошел залу и поставил в одну из стенных ниш.

Помолчали. Шах-заде ждал, когда окажет действие вино, выпитое Али Кушчи. Глаза мавляны вскоре и впрямь заблестели, щеки оживились румянцем. Он уже свободнее осматривал залу. Абдул-Латиф придвинул ученому одно из мягких кресел, сказал вкрадчиво:

— Садитесь, садитесь, мавляна.

Внутренне усмехаясь, Али Кушчи сел: вино прояснило сознание, а не затуманило его. Даже боль в ногах приутихла.

Мирза Абдул-Латиф продолжал стоять перед мавляной и все смотрел ему в лицо.

— Почтеннейший мавляна! Вы, может быть, недоумеваете, зачем я пригласил вас к себе. Что за странная любезность, не правда ли, если вспомнить, что произошло между нами раньше. Но выслушайте, прошу вас, выслушайте. Когда я... когда мне пришлось отправить вас в заточение... я не думал, что мои слуги так... перестараются в исполнении моей воли... Примите мои извинения, мавляна!

«Не думал?.. Ну да, не думал. И, направляя к отцу своему убийцу, тоже не думал, что тот отрубит ему голову...»

— Поверьте, видя ваше теперешнее состояние, я испытываю глубокое сожаление. Смотритель зиндана мною наказан, он сам ныне в зиндане! Исполнители воли властителя должны быть чисты перед ним, не превышать того, что они обязаны делать... Но безгрешен один всевышний, не правда ли, мавляна? Может быть, не только зиндан-беги, но и я по неведению своему свершил грех, обидев вас... Надеюсь, вы простите меня!

«Лицемерит или впрямь какая-то беда пала на голову этого человека? И немалая, видно, если властитель просит прощения у беззащитного узника!»

Али Кушчи заметил, как переменилось выражение глаз шах-заде — с пытливого на жалостно-кроткое. «Властители не просят прощения у таких подданных, как я!» — хотел сказать он в ответ, но под просительным взглядом Абдул-Латифа сказал другое:

— Я хотел бы узнать о цели столь любезного приглашения.

Шах-заде смешался, побледнел сильней прежнего и несколько резче, чем ему хотелось, произнес:

— Мне нужен гороскоп. Я должен знать свою судьбу... и судьбу государства, мавляна!

Абдул-Латиф поймал недоуменный взгляд Али Кушчи и, боясь, что его перебьют, заговорил скороговоркой:

— Если я непоследователен, то... простите меня и за это, мавляна. Не буду скрывать от вас — ход событий

таков, что не могу я не думать, что меня ожидает... Не могу! Вам-то известно, как тесно связана судьба государства с судьбою венценосца... А вам ведомы тайны будущего, тайны звезд, мавляна.

Али Кушчи устало закрыл глаза.

«Что мне сказать тебе, тебе, отнявшему и трон и жизнь у родителя своего, у великого мудреца?.. Изменчива жизнь властителей и властолюбцев... Спрашиваешь о судьбе своей, но разве не ждешь ты ответа, заранее благоприятного для себя? Разве истину хочешь ты знать?.. Бедный, гонимый человек, вроде меня, уподобляется путнику в сказке: пойдет направо — встретится со львом, налево — попадет в пасть дракона... А судьба твоя ясна и без гороскопа: кто поднял меч на отца, проклят во веки веков, и нет для него спасения!»

Вслух Али Кушчи сказал:

— Да простит меня шах-заде, я уже давно оставил астрологию...

— Полноте,— шах-заде нервно засмеялся.— Ваша слава прорицателя широко известна.

— Забыл я, все забыл...

— Вспомните, мавляна!..

— Но тяжкий недуг одолел меня, отнял силы. В таком состоянии я ничего не смогу — ни вспомнить, ни истолковать.

Не дослушав мавляны, Абдул-Латиф загремел колотушкой.

— Мы вас вылечим, мавляна. Лучшие табибы будут пользовать вас. Вам разрешено будет поселиться, хотите — здесь, хотите — в обсерватории, где хотите. К вашим услугам будут лучшие бакаулы, самые расторопные слуги. Мы быстро восстановим ваши силы...— И вошедшему сарайбону:— Отведите мавляне самую уютную, тихую, самую светлую комнату в Кок-сарае. И пусть сегодня же мои личные лекари осмотрят его. И повара пусть готовят по желанию мавляны...

Уже выходя из залы, Али Кушчи вспомнил предостережение матери: подальше, подальше от владык, верблюжонок мой, и от гнева их, и от милости. Вспомнил и мысленно улыбнулся. Что ж, он испытал гнев этого властелина, испытает, видно, и милость его.

22

Эмир Джандар в нетерпении расхаживал вокруг небольшого шатра, неприметно поставленного в тени деревьев на берегу сая. Услышав топот копыт, обернулся.

То был Шакал. Из-за редких горных елей, что покрывали пологий склон, показался буланый иноходец, на котором без седла восседал есаул. В руках он держал поводья породистого эмирского карабаира — конь Султана Джандара не очень охотно шел в поводу вслед за буланым. Но трудность эта, видно, не тревожила Шакала, он широко улыбался. «Ишь, доволен чем-то, шайтан косоглазый»,— вскипел заждавшийся Султан Джандар, устремляясь навстречу есаулу и поигрывая тяжелой плеткой с серебряной рукоятью.

— Где ты там слоняешься?!

Шакал как бы и не обратил внимания на грубость эмира. Прищурившись, заулыбался еще шире, растянув рот и впрямь до ушей.

— Ваш слуга видел диво дивное, мой эмир!

— Брось ты свои выдумки, не до них! Снаряжай побыстрее коней! Опоздаем на совет!

Злость его была оправданной: Шакал отправился за конями раньше полудня, а сейчас уже вечерело. А дело было такое... Через этот сай прошел табун, и лихой конь эмира, что был стреножен поблизости, порвав путы, умчался за табуном. Шакалу пришлось, не успев заседлать своего буланого, кинуться в погоню. Он догнал табун довольно далеко отсюда, у горной речки, неподалеку от кишлака Куйган-тепе. Лихой карабаир эмира, откормленный и злой, заставил Шакала попотеть, прежде чем дал себя словить. Пришлось загнать коня во двор одного садовника, чей дом был расположен внизу, у самого подножия холма. Подняв шум и пыль, ломая плетеную изгородь, Шакал наконец поймал буйное животное, а потом, когда давал лошади остынуть, крепко вцепившись в поводья, натянутые на руку, он и увидел то самое «диво дивное», которым хотел заинтересовать и задобрить Султана Джандара. Диво это — молодая женщина, богато одетая и до необычайности красивая. Шакал видел ее всего миг — она показалась на балахане и тотчас скрылась в испуге, заметив, что ее увидели. Шакал вывел коня со двора, и уже у ворот молнией

вдруг ударила догадка: это же... это же дочь мавляны Мухиддина, провалиться ему на месте!

Такая красавица в тонком шелковом платье, в расшитом золотой нитью покрывале на лице — откуда она здесь, в горном бедном кишлаке, в полуразвалившемся доме садовника? Нет, не иначе это и есть Хуршида-бану, хотя Шакал ни разу до того не встречал красавицу.

В самом деле, почему бы ей не быть Хуршидой? Известно, что сбежала она из родительского дома вместе со старой служанкой — нянькой своей, а нянька была из Чор-су, то есть той части Самарканда, где проживало много пришельцев как раз из этих горных мест. И вот, помогая и себе, и госпоже своей, служанка могла забраться сюда, в далекие от чужих глаз края. Почему так не могло быть? Очень даже могло!

Этим-то своим мыслям, этой своей догадке и улыбался Шакал, когда вел к хозяину иноходца Султана Джандара.

Грубость эмира, не пожелавшего узнать о «диве дивном», огорчила было Шакала, но, подумав, он решил, что, может, это и к лучшему. Продать тайну сразу — значит, чаще всего, продать ее дешевле, чем нужно. Стоит подождать!

Через некоторое время эмир Джандар вышел из шатра, готовый скакать на «совет», как он сказал, а точнее, на сборище заговорщиков. Вырядился, как в Кок-сарай на прием: парчовый халат, серебристый широкий пояс, дорогая сабля! Покажешься бедным — можешь прогадать в сравнении с другими сановниками-заговорщиками.

Все еще насупленный, эмир подошел к коню и с помощью Шакала вознес грузное свое тело в седло.

День был на исходе, но громадное зарево на белизне горных вершин еще не погасло, отсветы его большими плоскостями желтого и розового цветов окрашивали прозрачно-зеленые подножия гор, склоны более пологих, чем горы, холмов, что поросли арчой, свежей после недавнего дождика, водную рябь сая, полного и шумного в это время года. В лучезарной прозрачности лежали лощины меж холмов, и казалось, что каждая травинка соткана из золотых нитей, и весь покров травы расстилался зелено-желтым шелком, золотисто блестел, подвластный ветру. В синеве неба, где-то там, куда глазу человечьему не проникнуть, пели жаворонки; от скал

и холмов доносились горловые клики горных фазанов. Эти птицы попадались и в низине: выскакивали чуть ли не из-под копыт, шумно взлетали, но собственная тучность не давала им возможности лететь долго и они снова падали в траву.

Эмир всякий раз вздрагивал от неожиданного шума, производимого фазанами при взлете, чертыхался яростно, а потом снова погружался в свои мысли, все думал и думал о том, что случилось с ним в последнее время, и о том, чему следовало бы, по его мнению, случиться.

Побег Абу Саида был звонком, предупреждающим, что пора пришла.

Настало время подумать о себе, спасать себя, и вот уже больше двух недель Султан Джандар околачивается здесь, в глухих, забытых аллахом местах. Он, а с ним Шакал. Шейх Низамиддин Хомуш, а вслед за шейхом и шах-заде что-то недоверчиво стали посматривать на верного есаула. Береженого, известно, и всевышний сбережет. И Шакал подался сюда же. Зелень тогда лишь принималась расти, а нынче травы до колена, горный урюк уже с горох... Плохо вот только, что в горах этих диких они и живут, словно дикие животные: боясь, чтобы его не выследили, эмир что ни день меняет стоянку, кочует из долины в долину, прячется по пещерам или в иных укромных местах. На дне ущелий, оврагов разбивает свой старый неприметный шатер. А Шакал должен охотиться: днем на фазанов да кекликов, по вечерам на более крупную дичь. Бывали удачливые вечера, когда из того или другого кишлака приносил он барана, козла, но промысел этот становился все более опасным не потому, что уменьшилось число «нерасторопных хозяев», а потому, что взимателей податей в кишлаках увеличилось. Дехкане их, понятно, не любили, наиболее ретивым оказывали сопротивление, и тогда сборщики податей подкреплялись воинской охраной, доблестными нукерами властителя, в чьи руки Шакал никоим образом попасть не желал...

Эмир Джандар тоже не просто отсиживался в этих глухих предгорьях. Раз в три-четыре дня он исчезал куда-то темной порой. Потом стал брать и Шакала, только близко не подпускал, чтобы не узнал, с кем именно эмир встречается. На таких «советах» Шакалу доверяли стеречь коней. Любопытство Шакала пылало, но, кроме

того, что собеседники эмира тоже беглецы эмиры, недовольные шах-заде, Шакал пока об этих «советах» ничего определенного сказать не мог.

Не раз думал он о том, что эти пять-шесть человек вряд ли сумеют причинить ущерб властителю с его многочисленным войском, и, коли по правде, не раз прикидывал, не вернуться ли ему, верному слуге, в Кок-сарай.

Сейчас он тоже размышлял об этом предмете, поглядывая на мощную спину ехавшего впереди эмира. «Ишь, ослиный упрямец, грубиян! Сидит, юрта в седле!.. Можно и безголовой эту юрту сделать,— подумал Шакал, и от такой мысли мурашки пробежали по телу.— А что? Вернуться в Кок-сарай, пасть к ногам шах-заде, все рассказать. Ну, а ты, почему ты убежал с эмиром Джандаром? Как почему? Искал красавицу, дал себе обет не возвращаться, пока не найду. И нашел!»

Тут мысли спутались. Пожалуй, за это сообщение шах-заде его и простит. Простит, но и только? Красавицу себе возьмет, а ему, верному есаулу, что?.. Не больше ли ему, бедному, от эмира перепадет?

Шакал хлестнул коня, догнал эмира. Султан Джандар угрюмо взглянул на него. Повернули вверх, к холмам. За одним из них вился ручей, что вел к кишлаку Куйган-тепе.

— Там, на другой стороне сая, кишлак Куйган-тепе,— предупредил Шакал.— Многолюдный кишлак...

— Знаю! Молчи! — Султан Джандар придержал коня у одинокой арчи.— Кишлак на той стороне, а на этой... Взберись-ка на холм, на самую макушку, огляди нашу сторону. Увидишь усадьбу. Если там будут гореть два костра, быстренько дашь мне знать. Понял, что ли, шайтан косоглазый?

— Понял, господин...

Вечернее багряное зарево угасло, и долина погрузилась во тьму. Сверху уже нельзя было разобрать ни ленты сая, ни кургана, подле которого, как объяснил эмир, была нужная усадьба. На дальнем от холма берегу в кишлаке зажглись первые огоньки. Шакал, держа лошадь в поводу, хотел было спускаться с вершины холма, как вдруг где-то впереди, в густой тьме, вспыхнул костер, да такой, что, несмотря на расстояние, смутно замаячили в его свете чьи-то тени рядом с огнем. Потом зажегся второй костер, осветил ворота и всадников возле них. Шакал хотел сказать об этом, но нетерпеливый

эмир сам поднялся на холм, вгляделся в костры, коротко, будто рассерженно, бросил:

— Прибыли эмиры... За мной!

Поведение Султана Джандара, его открытое признание того, что раньше скрывалось — «прибыли эмиры»,— смутило Шакала. Видно, кончалось их двухнедельное осторожничанье. Но раздумывать, как поступить, было уже некогда. Шакал тоже пришпорил коня и быстро достиг ворот усадьбы. Здесь их встретили всадники, группа незнакомых есаулу воинов. Они помогли эмиру Джандару слезть с седла. Спрыгнувшему с коня Шакалу эмир сказал строго, но тихо:

— Не отходи от ворот. Следи, кто будет приходить... Чтоб точно знать, кто приходил, кто уходил!

И, хлопая плетью по голенищу сапога, двинулся во двор, растворился в темноте.

Шакал привязал коней к высоким кустам тала, заросли которого спускались до воды... Ага, вот еще какие-то всадники. Шакал затесался в группу нукеров, помогавших всадникам спешиться, взял за повод коня одного из прибывших и чуть не вскрикнул от удивления: всадником с клиновидной бородою и в большой чалме был не кто иной, как редко появлявшийся в Кок-сарае шейх-уль-ислам Бурханиддин!.. Вот оно что! Ва! Да тут и самаркандский градоначальник Мираншах! Тут и... Сердце Шакала учащенно забилось: Мираншаха встретил у входа в усадьбу стройный воин в особенно ладно сидящих доспехах. Любимый нукер Мирзы Улугбека Бобо Хусейн Бахадыр! Он исчез сразу же, как пал Мирза Улугбек. Его очень старательно искали люди Мирзы Абдул-Латифа, в том числе и... эмир Султан Джандар, искали, не находили, впадали оттого в неистовство и отчаяние! А теперь вот... Что тут будут делать все эти люди, сильные мира сего? Какие сделки затевают? Вот так «совет»!..

Шакал прошел в глубь двора, расстелил в углу на траве чекмень, прилег на него.

Должно быть, все, кому надлежало прийти на «совет», пришли, потому что воины в воротах погасили факелы. Были погашены и костры во дворе, только в углу чуть светились угли, на которых жарили шашлык. От шашлыка, призванного утолить голод эмиров и беков,

шел, распространяясь по всему двору, приятный запах, и Шакал проглотил слюну.

Он лежал на спине, Шакал-есаул, глядел на звезды небесные и думал, думал.

Нет, сейчас он думал не о выгодной продаже своего секрета. Светлые звезды, казалось ему, подмигивают, будто дразнят человека. Будто сами они живые существа, которые знают людские секреты. Мирзу Улугбека называли властелином звезд, он был великим ученым, познавшим тайны звезд, а кто знает чьи-нибудь тайны, тот... Улемы льстили в глаза Улугбеку, а за глаза проклинали. Они ненавидели его и боялись... И впрямь: из тех, кто враждовал с мудрецом Улугбеком, ни один не остался без кары. Так или иначе, но отмщение их настигло. Саид Аббас, убийца султана, как его покарал аллах! А разные эмиры и беки, что наплевали в ту самую солонку, из которой отведывали соли Мирзы Улугбека? Многие из них получили по заслугам. Теперь, похоже, мщение настигает и шах-заде.

Шакал даже съежился от страха, но не из-за таких крамольных мыслей, а потому, что вспомнил недавнее свое желание прийти с повинной в Кок-сарай. Нет, отцеубийца не та опора, на которую стоит рассчитывать. Если уж на «совет» собрались и Мираншах, и шейх-ульислам Бурханиддин, и Бобо Хусейн... и этот, ослиного норова, эмир Султан Джандар... Нет, видно, дни благоденствия для шах-заде сочтены.

И странная печаль овладела при этом соображении сердцем Шакала... Будто мрак охватил долину. И долиной оказалась его душа. Да не долиной, а ущельем, расселиной в скалах, меж двух гор, меж двух огромных костров. Как выйти на волю из этой расселины?

Не помнил Шакал своих родителей. Единственное, что помнил с детских лет — самаркандский базар. Громадный! Прославленный от запада до востока! Там он был водоносом. Там он подметал в торговых рядах, в караван-сараях. Там был истопником в бане. Не было такого низкого ремесла, которым он не занимался бы. Не было переулка с дурной славой, где бы он какое-то время не обитал. Воровал. И грабил. И даже убивал по найму, не зная, кого, не зная, за что. Пожелав исправиться, замолить свои грехи, стал дервишем, но и в дервишеском уединении не нашел спокойствия для себя. Несмышленым юнцом попал в руки к одному знамени-

тому вору. Усталым взрослым человеком — в руки шейха Низамиддина Хомуша. Стал соглядатаем, доносчиком презренным!.. А теперь вот всецело зависит от этого свирепого, упрямого, словно осел, эмира... Уже за сорок перевалило, а что видел в жизни хорошего, светлого? Явился в сей грешный, в сей грязный и лживый мир, а зачем?

Шакал неожиданно почувствовал на губах соленый привкус. Он плачет? А почему бы и не поплакать? Почему бы и ему не перестать жить греховной жизнью, не выбраться куда-нибудь из этого города, залитого кровью тысяч невинных?..

— Эй, есаул, спишь, что ли? Снаряжай коней! Гости расходятся.

Шакал поспешно вскочил на ноги. Он не спал, он мечтал, и, судя по небу, мечтал довольно долго: полная луна, подобно огромному золотому блюду, уже сияла над цепью гор. В нежном сиянии этом мир вокруг преобразился. Будто омылась молоком лощина, уходящая вдаль между холмами, темные сады по ту сторону сая, журчащий откуда-то сверху ручеек, кони, пасшиеся вокруг усадьбы, горы вдали, горы... Минуту стоял в изумлении перед открывшейся вдруг красотой ночи есаул, словно стряхнув с себя дивный сон, когда кажется, что попал ты в иной мир, минуту стоял, а потом вышел к коням, очарованно-медленно стал подтягивать их подпруги, и лишь громкий шум у ворот заставил руки его двигаться побыстрее.

Он подвел коней к воротам, посторонился, потому что со двора, на белом, лебедино-белом скакуне выплыл из темноты Бобо Хусейн Бахадыр; за ним тронулся градоначальник Мираншах и сиятельный шейх-уль-ислам Бурханиддин. Воины стояли в стороне, почтительно сложив на груди руки, а сильные мира сего степенно прощались с эмиром Джандаром, который вышел вслед за ними. Заметив в темноте Шакала, эмир зло буркнул:

— Ну что, опять заставляешь себя ждать? — и всунул ногу в стремя. Один из нукеров кинулся помочь, но эмир, оттолкнув его, хекнул и рывком вскинулся в седло.

...Султан Джандар горячил коня до самого подъема на холм. Поднявшись, остановился, долго смотрел вниз, туда, где темнели в лунном свете очертания кургана и где ловко спряталась от глаз усадьба.

— Ну, узнал ты тех, кто приезжал?

— В темноте разве разберешь, господин мой? — как всегда, состорожничал Шакал.

— Притворяешься, шайтан косоглазый,— сказал Султан Джандар, но уже без прежнего раздражения.

— Клянусь аллахом...

— Да ладно! — эмир улыбнулся довольно.— Пожаловали туда, где мы были недавно, досточтимый Мираншах и сиятельный шейх-уль-ислам Бурханиддин! Понял теперь, почему я так торопился и тебя поторапливал?

— Понял, понял, мой эмир! — Шакал подъехал поближе и доверительно прошептал: — Что порешили на совете? Скоро ли избавимся от жизни обиженных скитальцев, господин мой?

— Наберись терпения, есаул! — почему-то развеселившись, громко произнес эмир Джандар.— Потерпи, потерпи и не только скитальцем не останешься, а, глядишь, побываешь в гареме шах-заде, наобнимаешься там с красотками всласть!

«Дни шах-заде сочтены, сочтены».

Настал, видно, миг, когда стоило рассказать эмиру про ту красавицу, что была им замечена в доме садовника.

Стоит ли, однако? Ведь совсем недавно думалось о другом — о высоком, о чистом, но сожаление такого рода мелькнуло и скрылось у Шакала, и если он ничего не сказал с красавице, то из-за обычной своей осторожности.

«Не будем торопиться, не будем торопиться... Поспешишь — добрых мусульман насмешишь. Всему свое время»,— так подумал он. А вслух, захихикав в ответ на шутку эмира, сказал:

— Не знаю, сдержит ли эмир свое обещание... это, значит, насчет пообниматься с красавицами из гарема, но... ваш слуга не останется в долгу, благодетель мой!

23

Шах-заде приехал в «Баги майдан» ненадолго. Всего лишь проветриться, осмотреть сад, так он думал. Но в Кок-сарай возвращаться вдруг не пожелал.

В полдень пронесся над садом ливень. Все заиграло после него, все помолодело, посвежело, расцвело, будто невеста после купанья. Омытые щедрой влагой кипарисы нежно переглядывались друг с другом через дорожки

аллей. Сквозь арчу можно было видеть кипень цветов — белых, желтых, фиолетовых, красных, и в чашечке каждого блестками горели прозрачные капли, как вино в тонкостенных миниатюрных пиалах.

Сад звенел соловьиными трелями, точно под каждым листом, каждой веткой прятались соловьи, точно сговорились они своим восторженно ликующим пением перекрыть всех других птиц.

Здесь, в раю «Баги майдана», печали отпустили сердце шах-заде. Спокойно расхаживал он дорожками, заводившими в самые отдаленные уголки сада, вслушиваясь в мягкое поскрипывание красноватого песка под ногами. Кружил вокруг цветников, разбитых в виде месяца и звезд и ухоженных с особой любовью и тщанием.

Ходил и вспоминал свое детство. Торжество, устроенное однажды отцом в его, отрока, честь в этом райском саду. И состязания поэтов, и пиршества отцовские, знаменитые багимайданские пиршества с участием сладкогласых певцов и лучших танцовщиц.

Слезы навернулись на ресницы Абдул-Латифа.

Вспомнилось, как однажды приехал он сюда на какой-то праздник из самого Герата с дедом Шахрухом, да удостоит его аллах рая! Точно такая же стояла погода, теплая, весенняя. Он ехал на лихом скакуне, и все тянуло его в головную часть каравана — огромного, тысяча всадников одних сопровождающих,— а там легкие кабульские арбы везли бабку, величаво-надменную Гаухаршод-бегим, и ее двор — приближенных, служанок и невольниц. Прекрасные, юные, они волновали его сердце, а то, что их лица были скрыты под шелковыми покрывалами, еще больше разжигало воображение шах-заде. Абдул-Латиф гарцевал близ крытых арб, а то, в нетерпении нахлестывая аргамака, срывался вперед, обгонял караван. Дед Шахрух не любил быстрой езды, его лошадь тихой иноходью несла повелителя, давая ему возможность степенно беседовать с ехавшими рядом столпами веры. Однако же у молодых внуков удаль не возбранялась, а поощрялась — в виде лихой скачки, джигитовки, фехтования.

Вечерами большой караван останавливался в широкой степи у подножия холмов. В высокой траве ставились многоцветные шатры; ярко вспыхивали костры, и знаменитые гератские бакаулы показывали свое искусство в приготовлении шашлыка из молодого барашка и

душистой шурпы, приправленной травами, приятными по аромату и полезными по лечебным свойствам. Тогда стоянка каравана напоминала юному шах-заде лагерь огромного войска, и мысли его уносились вдаль, манили в походы, завоевания. Абдул-Латиф вздрагивал от ржания коней, уведенных попастись в степь, от призывно-нежного смеха невольниц в близких шатрах, от мелодичного перезвона их украшений; он лежал на спине, вглядывался в звезды, разбросанные по всему пространству степного неба, и жизнь казалась ему прекрасной, безмятежной, открытой для исполнения желаний. Душа жаждала побед на полях брани, славы и доблести, женского восхищения и власти, власти! И в седьмом, самом дурном сне не могло ему тогда присниться, что власть, престол принесут ему не славу и счастье, а страдания и горе.

О, как много бы отдал он теперь за то, чтобы вернулись к нему отважно-безмятежные настроения юности!..

Неспешно, словно не желая расставаться с воспоминаниями, столь далекими и столь приятными, зашагал Абдул-Латиф к дворцу Сорок колонн — Чил устун. Подойдя поближе, он невольно залюбовался радужной игрой света на китайских изразцах, которыми были выложены стены дворца, лишь четыре тонких минарета по углам, неподвластные этой игре света, взмывали ввысь, четко лазурные на фоне неба.

Шах-заде прошел сквозь строй слуг и охраны, медленно пересчитывая ступени, поднялся на второй ярус дворца. В роскошно обставленной комнате его встретил темнолицый сарайбон с серьгой в мочке правого уха. Абдул-Латиф не обратил внимания на его низкий поклон. Вышел на айван, огороженный частоколом причудливых реек-балясин. Не заметил шах-заде и шелковых одеял, умело сложенных посередине террасы перед низким столиком, уставленным яствами. Шах-заде смотрел в сад. Отсюда, сверху, тот выглядел еще прекраснее со всеми своими цветниками и краснопесочными дорожками. Отсюда, сверху, четко просматривались сквозь тонкую розоватую дымку дальние цепи гор, а вот Самарканд из-за деревьев разглядеть было нельзя — только одно здание, вернее, купол его переливался в лучах заката. То был купол стоявшей на возвышении, как бы на одной плоскости с дворцом обсерватории Улугбека.

— Да простит меня повелитель...— услышал шах-заде несмелый голос,— но... приспело время возвращения в столицу... скоро запрут городские ворота.

Возвращение в столицу? А зачем ему возвращаться в Кок-сарай? Нет, нет, сегодня он заночует в этом райском саду. И может быть, здесь вовсе избавится от гнетущей тоски.

— Есть вино? — спросил шах-заде, не сводя глаз с далеких гор.

— Вино?.. О, есть, есть, повелитель!

Через минуту он вернулся. Абдул-Латиф все смотрел на горы.

— Прошу вас, пригубите, повелитель.

Терпкое золотистое вино шах-заде выпил залпом. Стоя все еще спиной к сарайбону, протянул цветастую китайскую чашу: повтори! После второй чаши сказал, повернувшись наконец лицом:

— Сегодня заночуем здесь. Повара тут?

— К вашим услугам, повелитель.

— Скажи, пусть приготовят шашлык из перепелок!

— Будет исполнено!

— Да не торопись. Вот еще что...— Шах-заде поставил чашу точно в центр хантахты.— Пошли-ка в Кок-сарай гонца с повелением моим госпоже гарема прислать нам сюда певиц и рабынь помоложе. Вместе вкусим блаженства,— он игриво подмигнул дворецкому.— Выберешь себе, какая приглянется.

— Благодарю, повелитель!

Шах-заде сам налил в чашу вина из хрустального графина, выпил снова залпом, щепотью взял с блюда каких-то ягод, закусил. Потом прилег на одеяла, оперся на локоть, рукой подпер голову.

Темнота наконец победила вечернюю зарю. Сквозь редкие облака были видны теперь первые, робкие еще звезды. Шах-заде прислушался к топоту ног внизу — то слуги кинулись выполнять приказания сарайбона. А вскоре теплая истома начала разливаться по телу, расслабляя мышцы. Шах-заде вытянул руку, положил голову на подушку, смежил ресницы.

Сон вначале был добрым, приятным. В Кок-сарае, в помещении, примыкающем к гарему, шел пир на весь мир. Все эмиры и беки, все сановники и охранники были тут и славили его, Абдул-Латифа. Слуги мелькали среди гостей с блюдами на вытянутых руках — яства, вина,

фрукты. У дверей музыканты из самых известных пленяли слух мелодиями. Тонкая кисея отделяла помост для танцовщиц; они грациозно изгибались, мягко ступали в ритме танца, четко, в такт позванивали украшениями, и кисея ничуть не скрывала их прелестей, она не препятствовала их томным взглядам, зажигавшим у гостей сладострастные помыслы.

Внезапно веселье было прервано появлением эмира Джандара.

— А, он тут! — закричал шах-заде.— Хватайте этого подлого заговорщика! Он скрылся! Он бежал! Он роет нам яму!

Несколько эмиров, что сидели неподалеку от входа, выхватили сабли из ножен, подскочили к Султану Джандару. Но тот отстранил их и приблизился к шах-заде.

— Защитник престола! Ваш слуга не помышляет о заговорах...

— Где же ты пропадал тогда?

— Ваш слуга скитался по горам. Он охотился за газелью для своего благодетеля... И сегодня я принес ее голову вам! Вкусите, и вы избавитесь от всех своих недугов, почувствуете себя, как в раю!

И с этими словами оборотился к дверям, кивнул. Двери распахнулись, вошел какой-то незнакомый воин, неся на вытянутых руках большое золотое блюдо, сверху накрытое белой скатертью.

Эмир Джандар взял это блюдо из рук воина, протянул шах-заде.

— Вкусите, и вы избавитесь от всех своих недугов!

Шах-заде приподнял скатерть и... закричал в ужасе: собственная его голова, окровавленная, с ощерившейся, навеки замершей улыбкой, смотрела на него... Шах-заде выбил блюдо из рук эмира, и голова покатилась по полу, оставляя за собою кровавый след.

Истошным воплем прервался сон Абдул-Латифа.

Из соседней комнаты, где музыканты настраивали чанги и сетары, прибежали на крик сарайбон и еще один слуга.

Они увидели шах-заде, обнявшего левой рукой колонну айвана, а правой сжимавшего рукоять обнаженной сабли. Шах-заде раскачивался, как пьяный, грозя вывалиться через перила. Глаза его дико блуждали. Сарайбон и слуга так и застыли у входа на айван.

— Что... что случилось, повелитель?

Голос дворецкого словно отрезвил шах-заде. «Сон... Это был сон», — каконец понял он и сразу как-то обмяк, оторвался от колонны и, сделав шаг навстречу слугам, закрыл глаза. И тотчас зловещее видение вновь предстало взору — ощерившаяся голова на золотом блюде опять уставилась на него, — и шах-заде в ярости почти полного безумия замахал саблей, наступая на прибежавших. Сарайбон и прислужник, пятясь, отступили внутрь комнаты. Шах-заде вошел туда следом, все еще бессмысленно размахивая саблей. Музыканты и певцы, что стояли у противоположных дверей, кинулись наутек, вниз, на первый этаж; девушки-рабыни замерли в ужасе, и лишь одна, совсем молоденькая, жавшаяся к своим товаркам, закричала в голос, кинулась было бежать, запуталась в шелковой занавеси и закричала еще громче.

Этот крик привел шах-заде в себя.

Он сделал шаг назад к выходу на айван. Опустил саблю.

— Вон, вон отсюда! — гаркнул он. — Все убирайтесь! Вон из дворца!

Полуобнаженные невольницы вспугнутыми ланями выскочили из комнаты, их туфельки стремительно простучали по мраморной лестнице.

Шах-заде отвел глаза. «И там голые, и здесь голые. Сон ли это был? Кончился он или нет?.. Прости, прости своего бедного, несчастного раба, всевышний!»

Он остался один. Вложил саблю в ножны. Оглядел еще раз опустевшую комнату.

«Благодарение создателю, то был сон! Сон!.. Эта окровавленная голова... как она покатилась по полу!.. О аллах, какие же еще беды уготовила мне судьба?.. Судьба?»

Это слово напомнило ему о гороскопе.

«А где этот Али Кушчи? Мы же уговорились продолжить наш разговор».

Шах-заде хлопнул в ладоши. В дверях возникла фигура сарайбона.

— Гонца в Кок-сарай!.. Немедленно... Пусть доставят сюда мавляну Али Кушчи!

Сарайбон осмелился войти в комнату.

— Повелитель, но сейчас уже за полночь, ворота в городе наверняка заперты.

Шах-заде нетерпеливо завертел головой.

— Какое мне дело?! Дай гонцу мою грамоту, скрепи

ее печатью... Или мчись сам! Хоть из-под земли достань! Мавляна должен быть тут. Все! Выполняй!

Больше всего Абдул-Латифу хотелось сейчас лечь на курпачу, закрыться одеялом по макушку, постараться забыться сном. Но сна он и боялся, знал, что лишь закроет глаза, и опять будет щериться отрубленная его голова.

Шах-заде осушил еще одну — уж какую за ночь? — чашу с вином. Все думал опьянеть. Но на сей раз мусаллас не помогал.

Медленно тянулось время.

Абдул-Латиф непроизвольно ловил каждый шорох, каждый легкий звук внизу и на лестнице, ведущей сюда. Вот-вот, казалось ему, войдет Султан Джандар с блюдом-подносом, накрытым скатертью!

Блуждая взглядом по стенам комнаты, он увидел книги, стоявшие в небольшой нише как раз над дверью, что выводила на айван. К ним, видно, давно никто не притрагивался: куполовидная ниша запылилась, цвет зеленых, красных, желтых переплетов померк.

Шах-заде взял толстую книгу в зеленоватом переплете. Золотое тиснение извещало, что у него в руках книга великого Низами Гянджеви.

В молодости, обучаясь в медресе, Абдул-Латиф любил читать звучные, как музыка, стихи Низами, его мудрые дастаны и рассуждения. Мудрость приносит успокоение душе, подумалось и теперь, и не без поспешности раскрыл он книгу наугад, жаждая прочесть что-то такое, что сняло бы тяжесть с сердца. Пробежал первые строки, попавшие на глаза, и... покачнулся. Будто тяжелой булавой ударили по шлему: все загудело вокруг, закружилось, померкло. Том выпал из рук. Желая удержать его, Абдул-Латиф непроизвольно вырвал несколько страниц, и они рассыпались по ковру, а сама книга покатилась... Опять покатилась! И из зеленой стала вдруг красной, окровавленной... Он с силой сомкнул веки, боясь разомкнуть их, увидеть голову на полу... Но что там голова! Таинственные строки, прочитанные им, золотые буковки не исчезали из памяти, все стояли, извиваясь, перед глазами.

Чем кончались два бейта, открытые им наугад и потому обозначавшие его судьбу, этого он не помнил. Зато начало... начало... оно было пострашнее окровавленного видения... «Отцеубийца не протянет и полугода на прес-

толе...» Эти слова каленым железом жгли мозг шах-заде.

«Отцеубийца не протянет и полугода на престоле...»

«А я... сколько я сижу?» Он сглотнул слюну и стал судорожно подсчитывать. «Тогда был... шагбан. Сейчас? Сейчас раббиул аввал[1]... Значит, прошло... шесть месяцев!»

Шах-заде пал на колени там же, где стоял. Горестно застонал:

— Значит, я грешен, и ты, создатель, караешь меня? Грешен... что казнил крамольников, свернувших с пути твоего, сеявших смуту в души правоверных рабов твоих?.. Что сжег еретические книги, созданные вероотступниками?.. Вразуми, вразуми раба твоего — в чем мой грех?!

Он плакал, целовал пол, молил о ниспослании милосердия. И были слезы его жалки, а слова невразумительны.

24

Когда Али Кушчи был разбужен средь глухой ночи, он сразу догадался о причине: «Это шах-заде... будет снова настаивать, чтобы я предсказал ему судьбу».

Мавляна очень не хотел этой встречи. Он знал об отсутствии за собой дара предвиденья, необходимого для астролога. Дожив до седых волос, Али Кушчи так и не уверился в том, что такой дар возможен, хотя и не отрицал его в других людях. Во всяком случае, он не желал обманывать, делать вид, будто обладает таким даром. Но ведь нескладно получалось — шах-заде две недели кормил, поил его, содержал на всем готовом, в хорошо протапливаемых светлых комнатах и, понятно, ожидал хотя бы из-за таких хлопот благоприятного предсказания, а он, Али Кушчи, никоим образом этих надежд не оправдает. Нескладно, право слово, нескладно!

Али Кушчи удивился, когда нукеры вывели его из Кок-сарая и помогли взобраться на арабского скакуна. Путь их сначала был к площади Регистан.

Теплый день сменился ветреной студеной ночью. Тучи закрыли небо, и пустынные улицы встретили всадников холодом и клубами пыли.

---

[1] Соответствует маю.

«Куда это они везут меня? — с сомнением спросил себя Али Кушчи. — В такую ночь только и свершать убийства! — Но, как всегда, он скрыл тревогу под усмешливой иронией над самим собой: — Полно, мавляна, не дрожи от страха... Хуже того, что с тобой уже было, не будет!»

Воины, ехавшие впереди, повели его за городские ворота, свернули налево, миновали какие-то овраги и арыки, сады и поля, и вот она наконец, прямая широкая дорога. Али Кушчи узнал ее. Еще бы! Это была дорога к обсерватории... «Неужели они едут в обсерваторию? Зачем? Что-то они замышляют... Что? Как мне подготовиться?»

Но нет, трое всадников — воин спереди, воин сзади, и он, Али Кушчи, в середине — свернули снова влево, не доезжая до обсерватории. Теперь дорога вела только к «Баги майдану». Сюда они и прибыли. У ворот Али Кушчи был встречен темнолицым сарайбоном, который не проронил ни слова, а сразу же повел его во дворец. Молчание сарайбона не сулило ничего доброго, и вообще этот огромный сад, что шумел, как лес, объятый тьмой, показался Али Кушчи почти зловещим.

Внизу Чил устун был погружен в темноту, а из окна второго яруса падал сноп яркого света, который выглядел тоже каким-то холодно-неживым, может быть, потому, что весь дворец хранил глубокое молчание.

Сарайбон поднялся по мраморным ступеням вверх. Али Кушчи следом. У каких-то дверей, сначала чуть-чуть приоткрыв их, сарайбон пропустил ученого вперед.

Комната была ярко освещена; в глаза бросились пестрая куча одеял и хантахта с яствами, и лишь во вторую очередь Али Кушчи заметил в углу склоненного в молитве человека, припавшего лбом к полу, да так и замершего.

Шах-заде!

У порога валялась книга в зеленом переплете и белели на красном ковре странички, видно, вырванные из нее.

Али Кушчи не без удивления взглянул на сарайбона. Тот пожал плечами и, непроизвольно пригнувшись, словно передразнивая позу шах-заде, прошел чуть вперед. Тихо произнес:

— Повелитель, мавляна Али Кушчи здесь...

— А? Что? — быстро обернулся к ним шах-заде. На бескровных запавших щеках его, неприбранно торчащих

усах, всклокоченной бороде блестели слезинки. — А-а, да, да... мавляна Али Кушчи!.. Добро пожаловать, мавляна, добро пожаловать...

Шах-заде торопливо поднялся с пола, качнулся, сделал два-три шага навстречу, задев ножнами сабли столик.

— Рад, рад вас видеть, мавляна, весьма рад...

Он почти заикался, и движения рук его были беспорядочны, как у безумного человека.

«Если и безумец передо мной, — подумал Али Кушчи,— то не такой, как раньше, не буйный, а, скорее, надломленный... Что происходит с этим несчастным?»

Дрожащей рукой шах-заде указал на книгу, зеленевшую на ярком ковре, брезгливо и со страхом, словно это была не книга, а скорпион, приказал сарайбону:

— Возьми... Брось в огонь!

Сарайбон вложил в книгу вырванные страницы и молча покинул комнату. Шах-заде вскинул на Али Кушчи глаза, все еще полные слез:

— Достопочтенный мавляна! Я просил вас составить мой гороскоп. Вы осуществили мое пожелание?.. Что говорят звезды?

Обращение было любезным, на лице Абдул-Латифа задержалась, будто приклеенная, улыбка. Жалкое подобие улыбки.

Али Кушчи отвел взгляд. Почувствовав жалость к этому опустошенному человеку, тихо, почти робко сказал:

— Простите меня, шах-заде... Но ведь я признался вам однажды, что не сведущ в астрологии.

— Нет, нет! — шах-заде испуганно взмахнул обеими руками. — Не может быть, чтобы вы, столь известный ученый муж, были не сведущи в звездах...

В голосе его звучала мольба. Али Кушчи помедлил с ответом, подбирая такие слова, чтобы не ударить ими больную душу Абдул-Латифа:

— Прошу простить, шах-заде... Если пожелания ваши касались бы геометрии... расположения небесных светил, я, возможно, оказался бы полезным для вас... А вот...

— Вы постигли тайны звезд! Значит... должны быть сведущи в их воздействии на нашу судьбу. Тайны звезд — это и тайны астрологии.

— Прошу простить меня, это не так...

— Нет, так. Так!.. Вы знаете, знаете, что мне суждено, что суждено государству моему. Все знаете, мавляна. Только не желаете сказать мне об этом!

Шах-заде отступил на шаг. Правая рука легла на рукоять сабли. В глазах мелькнуло уже знакомое выражение лишающей разума беспощадности. Вот-вот взорвется, закричит, позовет воинов. Прикажет: «Кончайте с этим вероотступником!»

«Что же делать? Сказать, что смотрел на расположение звезд, составил гороскоп, благоприятный его будущему? Но это ведь ложь! И дважды ложь, потому что сделаю вид, что разбираюсь в том, в чем не разбираюсь!.. Нет, недостойно ученому заниматься обманом. И потом... судьба отцеубийцы написана была на его челе давно, в тот миг, когда поднял он меч на родителя своего!»

Али Кушчи безмолвно стоял перед шах-заде. Ожидал взрыва. Был готов ко всему.

Но взрыва не последовало. Шах-заде закрыл лицо ладонями, вновь плачуще заговорил:

— Сжальтесь надо мной, мавляна. Почему вы такой непреклонный?.. Знаю, вы верите сплетням, наветам недругов моих... Что ж делать, если на долю моего отца, вашего устода, выпало то, что случилось? Я покарал тех, кто поднял руку на его особу!.. Что я мог еще предпринять? В чем вина моя, мавляна? В сожжении крамольных книг? Может быть, я ошибся, но это было сделано во имя веры и справедливости-и-и! — и шах-заде совсем зашелся в плаче.

Он по-прежнему был униженно-просящим, но слова про «крамольные книги» погасили луч тепла, который почувствовал было к шах-заде Али Кушчи.

«Нет, не крамольные книги то были, а факелы истины и красоты, а без этих факелов и страна, и сам ты, невежда, погрузились во мрак!» Так хотелось крикнуть в лицо шах-заде. Но при взгляде на трясущиеся плечи и льющиеся слезы Абдул-Латифа Али Кушчи сдержал свой мятежный порыв.

— Мне приснился сегодня сон, — вдруг круто повернул разговор шах-заде. — Очень дурной сон, мавляна, очень дурной...

И опять Абдул-Латиф спрятал в ладони лицо, словно не желая еще раз увидеть то, что ему привиделось во сне.

Простонал тяжело. Замолчал.

Али Кушчи не знал, что делать. Сострадания к Абдул Латифу не было в его сердце, но смотреть на рыдания и болезненные конвульсии мучающегося человека всегда тяжело.

— Прошу прощения, шах-заде, — сказал мавляна Али Кушчи как можно мягче. — Но я, ваш слуга, не удостоен дара принести вам облегчение, успокоить вашу душу.... Лучше бы мне удалиться. Разрешите, шах-заде?

Не ответив ему, шах-заде вдруг опять повалился у стены на пол, стал бить молитвенные поклоны, приговаривая что-то невнятное.

На цыпочках Али Кушчи вышел из комнаты. В конце крутых ступенек, уже внизу, услышал надрывный крик Абдул-Латифа:

— В чем мой грех, скажи, о создатель?!

Али Кушчи ускорил шаг.

Внизу сарайбон, ходивший с заложенными за спину руками, вопросительно посмотрел на Али Кушчи. Теперь тот пожал плечами, а сарайбон приложил палец к виску: дескать, с ума сошел властитель, не так ли?

Али Кушчи пошел каким-то коридором, мимо дверей, из-под которых пробивался робкий свет. Слышались бренчание музыкальных инструментов, тихий женский смех. «Все продолжается... — подумал Али Кушчи, — музыка, любовная игра, простые заботы людей, которым никакого нет дела до страданий венценосцев. И это, наверное, справедливо».

Сарайбон толкнул одну из боковых дверей и скрылся за нею. Странно: ни с собой не позвал мавляну, ни передал с рук на руки нукерам, которые сопровождали ученого в «Баги майдан» из Кок-сарая.

Али Кушчи очутился в саду.

Сад чуть посветлел, поредели на небе тучи, и ярко светились звезды, последние перед скорым утром. Громадный сад трепетал от наслаждения соловьиным пением, как будто доверху наполнявшим его. Вокруг дворца ни души. На веранде под куполом, что стояла в центре одного из цветников, мирно храпели нукеры, те, что доставили его сюда. Вновь пожав плечами, Али Кушчи пошел по аллее в глубину сада.

Он не переставал думать о шах-заде, видеть его жалкое в слезах лицо, слышать надрывные стенанья и моленья.

«Кто сказал, что в этом мире, в этом бренном нашем мире нет справедливости? Кто бы ни сказал так, он или сознательно лжет, или добросовестно, но горько заблуждается. Есть справедливость, есть правда! Свершивший зло, будь то шах или нищий, не останется без возмездия. И, чтобы понять эту истину, человеку дан разум и дана совесть. Возмездие настигнет и того, кто не захочет понять эту истину, и дважды потерпит тот, кто чинит зло своекорыстно и потому отвергает эту истину!.. Вот что сейчас происходит с отцеубийцей шах-заде!»

За спиной Али Кушчи услышал грузноватый топот: нукер.

«Опять зовет шах-заде? Или боятся, что я от них сбегу?»

Али Кушчи повернул обратно, навстречу встревоженному воину.

Но нет, нукеры повели его не в Чил устун, а к воротам. Помогли влезть на коня. Видно, предстояло возвращение в Кок-сарай. Подумал он при этом не о временном своем светлом жилье в Кок-сарае, а о зиндане. Туда, поди, и сунут снова!

Двое нукеров ехали обочь его, один справа, другой слева.

Али Кушчи, словно прощаясь, вглядывался в небо, полное звезд, не спеша всматривался в высокие тополя по обеим сторонам пути, в темную массу садов, в холмы, покрытые росной травой.

Прекрасен сей мир, прекрасен! Прекрасны плакучие ивы, что стоят на берегу арыка, красуются, точно юные, нежные невесты, скромно опустив голову; и прекрасны эти белые тополя, на чьих листьях поблескивают, словно драгоценности, капли влаги; и пение птиц прекрасно, и тихое, издалека блеянье проснувшихся овец, и прекрасен горьковатый дымок, невесть откуда примешавшийся в эту пору не ушедшей еще ночи к благоухающему ветру степей, что доносит запахи молодой весенней травы.

И всего этого он будет лишен, опять лишен, когда его бросят в каменный мешок...

Вдруг тишина опрокинулась, разбилась вдребезги. Яростный топот копыт! Четыре всадника вымахнули из низины, из камышовых зарослей, стремительно подскакали к ним. Над головами готовые к бою сабли; лица скрыты черными кожаными масками. Нукеры не успели

обнажить оружия, как на них набросили мешки, свалили с коней.

Один из нападавших схватил за поводья лошадь Али Кушчи.

«Откуда нагрянули эти разбойники?» — успел подумать мавляна, но коня его стегнули, гикнули, свистнули, и мгновение спустя Али Кушчи оказался в самой гуще камышовых зарослей. А схвативший его лошадь за узду великан сорвал с лица маску, обернулся...

— Каландар Карнаки!

— О наставник! — Каландар перегнулся через седло, широко раскрыл объятия. — Видно, чисты были наши помыслы, раз им суждено осуществиться и мы встретились!

Али Кушчи все глядел, будто не веря, на лицо Каландара, заросшее и суровое, на его глаза, в которых блеснули слезы. Потом перевел взгляд на двух других «разбойников», вышедших из камыша уже пешими, не на конях.

— Мирам, сын мой! Мансур Каши!

— Устод!

Еще два джигита в черных масках подошли к Каландару, о чем-то спросили.

— А, привяжите их к какому-нибудь кусту. Да так, чтоб не скоро их распутали. И побыстрее, Калканбек, побыстрее, Басканбек, времени у нас в обрез!

Торопливость Каландара была оправдана. В небе гасли звезды, поздняя ночь все заметнее переходила в раннее утро.

Они не успели отъехать и ста шагов, пробив себе дорогу через камыш, как услышали снова топот и ржание коней. Отряд шел из «Баги майдана». Каландар и его спутники спешились. Спрятались в зарослях.

Десяток всадников показался на большой дороге, их было хорошо видно в светлеющей полосе горизонта. Всадники миновали место, которое было для Каландара и его молодцев засадой, стали подниматься вверх по мощеной дороге.

Но что это? Неожиданно на той же дороге сверху выросла еще одна группа всадников и тут же, заметив первую, с диким криком понеслась ей навстречу. «Видно, не одна была наша засада», — подумал Каландар.

Те, кто ехал от «Баги майдана», остановились, замешкались, кое-кто уже повернул коней обратно. Это бы-

ла ошибка. Второй отряд, с обнаженными саблями, смерчем налетел на первый, и некоторые воины его пали, не успев выхватить клинков из ножен.

— Поедемте, наставник, — сказал Каландар. — Здесь и нам оставаться опасно!

Али Кушчи всматривался в сечу. Он заметил шах-заде в первом отряде, заметил! «Я видел сон, мавляна, очень дурной сон», — вспомнилось Али Кушчи.

На дороге звенели сабли, ржали кони, яростно кричали люди...

Да, среди тех, кто подвергся нападению на дороге, был и Мирза Абдул-Латиф.

С десятью нукерами и сарайбоном выехал он из «Баги майдана», когда небосвод только-только начинал светлеть. Ни на минуту в течение всей ночи не заснул больше шах-заде, и потому, наверное, казалось ему, что вокруг стоял холодный туман и небо мрачно нависло над головой. Шах-заде ехал впереди и все время вздрагивал, то пришпоривая, то придерживая скакуна: какие-то тени чудились ему по сторонам от дороги, под ветвями тополей.

Часто озирался он на своих балхцев, на смуглых носатых воинов, каждый из которых был украшен большой серьгой. Встречаясь взглядом с властелином, воины натягивали поводья, замедляли бег своих коней. Они робели и пятились, а он хотел видеть другое — поддержку, готовность в их глазах, а не почтительную робость. Злясь на них, недогадливых, трусливых, шах-заде хотел остановиться, развернуться, потоптать их всех конем, но надо было торопиться в Кок-сарай, где он, так вдруг стало ему казаться, избавится от навязчивого ночного кошмара своего.

Показались холмы Афрасиаба, перегораживающие горизонт зубчатые крепостные стены. Там под древней стеной безводный ров. Вот проедут его и, можно сказать, будут уже в Самарканде.

Но как раз в тот момент, когда шах-заде первым приблизился ко рву, с правой стороны, до поры скрытые холмами, выскочили на пригорок, а потом и на дорогу всадники. Черным смерчем полетели они на отряд шах-заде, да и были все всадники черные — в одинаковых темных чекменях, лохматых темных шапках — тельпеках, а на некоторых черные маски.

Странное оцепенение сковало шах-заде. Поднял коня на дыбы, но не поскакал, однако, ни навстречу черному вихрю, ни назад. Он видел, как заворачивали своих лошадей его верные балхцы, но не последовал за ними, а стоял на месте, смотря, как приближается к нему смерть.

Вот черный вихрь с диким криком перемахнул через сухой ров, вот два всадника выделились из него, первыми, настегивая коней, вылетели на дорогу.

Один из них — он срывает с себя маску! — это Султан Джандар. А второй, кто так похож издали на воина

во сне, на того самого, кто вошел в залу с золотым блюдом... о аллах, это Бобо Хусейн Бахадыр! Нашелся! Вот он, его упорный, злокозненный враг!

Шах-заде схватился за рукоять сабли, вновь поднял коня на дыбы. Он будет драться!

Но кем-то пущенная на скаку стрела впилась в его плечо, заставив согнуться от боли. Так и не вытянув сабли из ножен, хватая ртом воздух и нелепо размахивая руками, Абдул-Латиф стал сползать с седла.

«Все? Конец?.. Неужели это конец?.. Всему конец — трону, власти моей, славе... жизни?»

Шах-заде тяжело рухнул наземь у ног коня. Новый приступ боли впился ему в сердце, он перевернулся на спину...

Конь исчез из поля зрения.

Все исчезло, кроме неба.

Бездонное и багровое небо простиралось над ним.

Кровавое море. Огненные облака.

«А кто этот человек, который спускается с облаков? Он в сверкающем — глазам больно! — златотканом халате, в красной чалме, будто в крови ее искупали! Даже усы его красные... Все красное! Все в крови!.. Кто этот человек?..

О, простите, простите меня, благословенный родитель!»

25

...Каландар рвался в горы Ургута, просто рвался! Уже несколько дней как места себе не находил!

Ошеломляющую новость привез ему Калканбек со своей свадьбы: у соседей невесты в горном кишлаке Куйган-тепе появилась некая молодая богатая женщина, самаркандка, убежавшая из родного дома. Вместе со служанкой-няней она скрывается в горах от преследований. Никто не знает ее имени. Так что нельзя было быть уверенным, что это Хуршида-бану. Хозяева домика, где она жила, держали язык за зубами. Но не было и оснований думать, что это не она. Наоборот, то, что женщина бежала из Самарканда, то, что при ней старая няшька, что поразительна красота беглянки... Да, не случись тут удобная возможность освободить наставника, он, Каландар, давно бы уж был в Ургутских горах!

А освобождение, слава аллаху, прошло как по маслу!

Как только Али Кушчи обосновался в пещере Уста Тимура Самарканди, куда его доставили «похитители»-джигиты, Каландар объявил о своем решении поехать в Ургутские горы. А оттуда домой, в свои степные края... Если слухи не подтвердятся и таинственная беглянка окажется не Хуршидой, он, Каландар, прямо оттуда махнет домой — с него хватит Самарканда! Если же — да поможет в том аллах! — встретит он свою любимую Хуршиду, то они тем более не вернутся в Самарканд, а переждут, пока все утрясется в этом вечно неспокойном городе. И пережидать будут тоже в родных краях Каландара.

— Ну, а если ты уедешь без нее, а она только потом отыщется? — обескураженно спросил Уста Тимур, который, как и все друзья Каландара, не мог свыкнуться с мыслью о предстоящей разлуке.

Каландар развел руками.

— Если узнаю, тогда прискачу, отец...

— Узнаешь... и на крыльях прилетишь, — грустно пошутил Калканбек, которому предстояло проводить Каландара в горы.

Они собирались отправиться в полночь, чтобы к рассвету быть в кишлаке Куйган-тепе.

Вечером, когда стемнело, Каландар и старый мастер поехали вместе с мавляной Али Кушчи к могиле Тиллябиби. И месяца не прошло с часа ее кончины, а могила уже поросла травой.

Али Кушчи долго, до густых сумерек сидел над могилой. Молча, не шелохнувшись, Каландар смотрел на ссутулившегося мавляну, на его закрытые глаза и беззвучно шевелящиеся губы и думал с замиранием сердца о старом кладбище в Карнаке, у подножия Караул-тепе. Там без призора была другая могила — другой матери.

Ни слова не обронил Али Кушчи, возвращаясь с кладбища. Молчал Уста Тимур. Молчал, не находя слов утешения, и Каландар.

Подходил час отъезда, а все собравшиеся в пещере Уста Тимура люди смотрели на мавляну и молчали. Знакомые Каландару ремесленники, зашедшие для того, чтобы попрощаться с ним, тоже не нарушали молчания. Каландар взглянул наконец на старого мастера, сидевшего у наковальни. Тот понял его взгляд, поднялся, подошел к мавляне, который выбрал самый темный

угол в помещении. Что-то шепнул ему. Мавляна встал, приготовился сказать напутствие Каландару. Но помешали явившиеся в пещеру Мансур Каши и Мирам Чалаби. И Каландар вновь задержался с отъездом.

Мансур Каши рассказал, что победившие заговорщики выставили для всеобщего обозрения и надругательства голову шах-заде на воротах медресе Улугбека. На трон посажен — прямо из зиндана! — шах-заде Абдулла. В городе вроде бы спокойно. Все попрятались в свои норы, но нашлись любители, которые ходят на Регистан смотреть эту пугающую новинку — отрубленную голову бывшего властелина Мирзы Абдул-Латифа. Многие, конечно, радуются тому, что произошло, но никто не знает, что их ждет завтра — лучшее, чем было, иль худшее.

Каландару припомнились строки четверостишия, и он произнес их вслух:

Тот, кто на золоте едал,
Кто с трона всем повелевал,
Простому смертному подобно
Безгласным трупом тоже стал.

Уста Тимур удовлетворенно усмехнулся.

— Истинно так: «Безгласным трупом тоже стал»... Али Кушчи как бы в размышлении тихо добавил:

— Только до этого крови человеческой пролил реку и подлостей свершил целую гору... Ах, эта изменчивая сладость власти! Огнем готовы себя сжечь за нее эти властолюбцы! У скольких жизнь кончалась так же, как у шах-заде, а урок все не впрок!— Мавляна посмотрел на Каландара.— Впрочем, о Мирзе Абдулле я слышал хорошие мнения, говорили, что человек этот добронравен. Может, для него будет поучительна судьба кровожадного отцеубийцы? Может, он постепенно и медресе откроет? А, шаир?

Каландар понял намек. Но, слушая свое сердце, все больше убеждался, что душою он уже в родном Карнаке. И вместе с Хуршидой — да исполнится эта его мечта! Он и сейчас, среди этих близких, дорогих людей видел в воображении, как едет с Хуршидой по зеленым холмам, по цветущей степи.

— О наставник! Да будет так, как сказано вами... Только мне никак нельзя оставаться. Надо ехать на родину!

— Почему, почему? — взволнованно заговорил Мирам Чалаби.— Не всегда же темная туча будет висеть над Самаркандом!..

Мансур Каши тоже принялся было уговаривать Каландара остаться, но его перебил Уста Тимур:

— Как говорится, лучше в родном краю быть чабаном, чем на чужбине султаном... Дети мои! Не невольте Каландара, пусть он сам выбирает, как ему поступить... Он мне сына родного заменил, и очень не хочется расставаться с ним, но ведь на родной сторонке и жаворонок — райская птица! Мой сын, я вижу, истосковался по земле предков. Отпустим его...

И старый кузнец воздел руки для напутственной молитвы.

Али Кушчи достал припрятанный в пещере хурджун. Протянул Каландару пригоршню драгоценных каменьев и похожий на пиалушку с невысокими стенками слиток золота.

— Пусть золото Улугбека служит доброму делу! — воскликнул Али Кушчи с чувством.— За все твое добро тысячу и тысячу раз спасибо тебе, Каландар! Не суждено будет мне еще и еще отблагодарить тебя, так пусть воздаст тебе всевышний за добрые дела твои...

Вот и остался позади Самарканд. А мысли Каландара все еще были с ним, этим удивительным, вечным городом, с его людьми. Печальное лицо наставника... Трогательное напутствие Уста Тимура... Он не забудет их никогда!.. И сейчас душа его бродила по улицам и площадям самаркандским, по его бесчисленным переулкам и тупичкам. Мысленно попрощался Каландар с обсерваторией, с медресе Улугбека — сколько лет, лучших лет жизни провел он в их стенах! Молодым юношей он приехал в Самарканд. Покидает, когда ему перевалило за сорок и на висках проступила седина. Двадцать пять годков был он самаркандцем, и какие только мытарства не достались на его долю! Но всевышний удостоил его и милостей своих, редких, не всякому доступных милостей: в этом великом городе стал он шагирдом больших людей, больших мудрецов — Мирзы Улугбека и Али Кушчи. И еще благодарение создателю за то, что он не допустил вступить на путь измены. Да, он, Каландар Карнаки, выполнил долг ученика перед учителями своими... А как он мучился,

как терзался, когда этот прохвост Шакал исчез и казалось, уже ничем и никогда не помочь Али Кушчи. Но прав был старый мастер-кузнец: среди приближенных шах-заде нет таких, кто не продался бы за золото. Нашелся другой есаул. И вот вчера наконец наставник получил свободу. Из его, можно сказать, рук получил, рук Каландара Карнаки.

Теперь можно спокойно ехать на родину.

Спокойно? А если весть, принесенная Калканбеком и породившая у Каландара столько надежд, неверна, если беглянка, что прячется в кишлаке в горах, вовсе не Хуршида? Спокойно ли поедет он тогда домой? Сможет ли вообще уехать, так ничего и не разузнав о любимой?

Неясное темное предчувствие томило Каландара. Болело в груди, и, чем дальше отступал Самарканд, тем сильнее давала знать о себе эта непонятная, прежде не возникавшая боль.

Каландар и Калканбек ехали уже несколько часов. Ночь перешла во вторую половину, мягкая, черная, словно бархат, ночь. Каландар поднял голову. Звездное небо сияло над ним. Рассыпал золото свое Млечный Путь. Над ним чеканные очертания Большой Медведицы. Ниже горсть горячих угольков — Плеяды. Венеры — звезды утра — еще не видно, но уже слышались лай собак и первые крики петухов. Потом вершины гор озарились, будто от пламени огромного костра. То луна, большая, круглая, багровая, вступила в права, и все вокруг в ее свете стало еще более величественным и таинственным.

Каландар подстегнул коня... Удивительно: за последние недели две трава в степи вымахала так, что пешеходу доставала до колен. Даже лошади скакать было непросто... На его родину весна приходит позже, чем сюда. Там трава сейчас ниже, но вдоль берегов Сайхуна пламенеют первые тюльпаны. Это уж точно... Алым ковром лягут цветы перед ними, перед Хуршидой-бану и Каландаром, когда счастливая пара направит коней в родной Карнак... Если направит!

Взошла Венера. Еще заметней посветлел горизонт.

С холма на холм ехали всадники.

Вот впереди засверкала извилистая речка, за нею смутной массой темнели сады. Каландар обернулся к спутнику. Тот подбодрил своего коня, подъехал ближе,

утвердительно кивнул головой: да, это и есть кишлак Куйган-тепе.

Опять нахлынула на Каландара неясная боль. Он спрыгнул с коня, в ручейке, бежавшем к речке, вымыл руки, ополоснул лицо. Свершив омовение, прочитал молитву — бомдод. Сердце билось встревоженно.

Они прибыли слишком рано, кишлак еще спит. Хуршиду он может и не увидеть сразу. «Да что ты городишь? — оборвал себя Каландар.— Мы же поедем не в дом садовника, а в дом невесты Калканбека».

— Кончили молиться? Поехали, Каландар-ака.

Каландар открыл глаза, посмотрел вдаль. Туда, где над пологими холмами на фоне светлеющего неба глухой стеной поднималась темная полоса зеленых садов.

Щемящее предчувствие беды не проходило. Досадуя на себя, Каландар рывком поднялся, легко вскинул сильное тело в седло и, борясь со все возрастающим чувством тревоги, пустил аргамака вскачь.

ЭПИЛОГ

Осенний день восемьсот семьдесят второго года хиджры [1].

Большой караван — сто верблюдов — вышел из Самарканда утром, в час первой трапезы, в полдень миновал реку Даргом, и к трапезе обеденной открылась перед ним бескрайняя степь. Ровная, она уходила до самого горизонта, разнообразили ее лишь плоские пригорки, полуразвалившиеся старинные крепости, небольшие, дворов пять-шесть, кишлаки и редкие, не то что в пригородных кишлаках-садах, купы деревьев.

Во главе каравана ехали четверо всадников. Четверо замыкали караван.

Могучие самцы-верблюды везли главные тяжести; ярко сверкали на солнце и мелодично в такт движению звенели медные колокольчики на шеях величавых животных. Много было в караване лошадей, в том числе благородных кровей, а также ослов и мулов... Люди в караване тоже были очень разные: важные вельможи,

---

[1] Хиджра — бегство пророка Мухаммада из Мекки в Медину (622 г. н. э.), с этого года ведут начало мусульманского летосчисления.

гарцевавшие на конях, в то время как жены их восседали в крытых шелком арбах, богатые купцы и купцы победнее — уж, конечно, без них и караван не караван; охрана, необходимая во всяком сколько-нибудь дальнем пути; бедный люд оседлал ишачков; дервиши топали пешком — поднимали пыль, покачивали дырявыми своими колпаками, славили аллаха.

Резко выделялись в караване двое в темных бархатных тюбетейках — знак мударрисов,— на которые были накручены легкие чалмы, в белых халатах — ридо — без рукавов поверх суконных чекменей. Один по возрасту подошел, пожалуй, к семидесяти, но выглядел бодро, снежно-белая борода подстрижена коротко, да и весь вид его прибранный, не по-стариковски подобранный. Второму, видно, лет пятьдесят, но он тоже выглядел моложе своего возраста, может, из-за отсутствия хотя бы единого седого волоса.

Благообразный худощавый старик, сдвинув широкие брови, что столь шли к его смуглому волевому лицу, напряженно всматривался то назад, туда, где остался Самарканд, то в гряду Ургутских гор, что тянулась по правую сторону от каравана; спокойная иноходь коня, на котором ехал старик, давала возможность для такого разглядывания, но во взглядах всадника были и беспокойство, и какая-то нерешительность.

Караван пересекал очередное плоскогорье, когда неподалеку показался кишлак Карнаки-тепе, и тогда старик свернул налево и стал отъезжать от большой караванной тропы.

— Мавляна Али Кушчи! Куда вы?

Благообразный старик обернулся, крикнул:

— Не опасайтесь за меня, есаул. Не сбегу!

Есаул чуть смутился, прокашлялся, потом снова крикнул:

— Боюсь, чтобы вы не отстали от каравана, почтенный.

— Не беспокойтесь. Я помолюсь и догоню вас.

Воин проехал вперед, а спутник старика приотстал и присоединился к нему. Али Кушчи, приставив ладонь к бровям — старый, привычный жест,— долго вглядывался в Ургутские горы. Вздохнул, слез с коня. Спутнику своему сказал:

— Мирам Чалаби подъедет сюда. Вы, мавляна Каши, ожидайте его здесь, хорошо? Я же скоро вернусь.

Медленно зашагал он вниз по лощине, к поляне у подножия холма.

«Вот она, та низина, то самое место!» Да, и тогда стояла осень. Только поздняя осень. И тогда был вечерний час, малооблачное небо... Они с Каландаром Карнаки, опасаясь нукеров шах-заде, спустились в эту малозаметную низину, укрылись тут, а потом узнали среди всадников повелителя-устода, и он сам догнал их, не дал выехать вновь на опасную дорогу. Вот здесь, на этой поляне, долго стояли они, обнявшись, и устод опять говорил о своем последнем желании. А на следующий день горестная весть, жестокая весть потрясла Самарканд, и не только Самарканд, весь Мавераннахр.

Да, да, будто это было вчера: звучат наставления устода — вся его надежда на него, на Али Кушчи... Впрочем, в тот последний роковой час устод Улугбек вспомнил и про любимца своего, мавляну Мухиддина...

Али Кушчи закрыл глаза. Жуткое, навеки запечатленное видение вдруг встало перед его взором...

Во мраке достиг Али Кушчи дома Ходжи Салахиддина. Сколько бы Мухиддин ни совершил недостойных поступков, Али Кушчи не мог не навестить его, узнав о расстройстве разума мавляны, о том, что тот закован в цепи.

Странно, двустворчатые, обитые железом ворота в особняке ювелира, обычно накрепко запертые и с тщанием охраняемые, стояли распахнутыми. Под навесом у ворот, где всегда дежурили сторожа, было пусто. Огромный, как дворец, дом ярко освещен; по двору сновали женщины с кумганами и тазами.

«Что тут происходит? Стряслось что-то?» Али Кушчи поспешил к согнутому маленькому старичку, вышедшему во внутренний двор. Этот тщедушный старичок и был тот самый гордый, знаменитый ювелир Ходжа Салахиддин! Увидев Али Кушчи, он разрыдался:

— Помогите нам, мавляна... Лекарь... Там лекарь!

Али Кушчи несмело открыл дверь в комнату мавляны Мухиддина.

Возле постели, на которой бесчувственно лежала, рассыпав волосы по подушке, молодая женщина, суетилась старушка и сидел на корточках худощавый человек в островерхом белом колпаке табиба. Он быстро обернулся к вошедшему Али Кушчи, развел руками, сказал что-то старушке.

Это была нянька Хуршиды-бану, а молодая женщина — о аллах — сама Хуршида. Что сказал табиб, этого Али Кушчи не слыхал, но тотчас догадался, когда через мгновение весь дом потряс вопль старухи.

На пороге появился Салахиддин-заргар, спотыкаясь, сделал несколько шагов и плашмя рухнул перед постелью внучки.

— О-о-о! Цветок моего сада! Увял, увял!.. Почему я не умер вместо тебя?! О-о, моя последняя надежда! Кому теперь я отдам... все это? Этот дом. Все, что есть в этом доме... О, несчастный я!..

Дверь с резким стуком распахнулась, и в комнату вбежал мавляна Мухиддин. Рубашка его из грубой ткани была разорвана и обнажала костлявую грудь. Высоко задрав куцую бороденку и странно подергивая головой, мавляна Мухиддин рассмеялся и сказал:

— Свадьба? Что такое? В нашем доме свадьба, а меня на нее не приглашают?

Он перевел взгляд с застывших в ужасе женщин на постель. Мгновение стоял, всматриваясь. Потом в глазах его мелькнуло что-то осмысленное. И лицо преобразилось трижды: лицо безумца, отталкивающее, дикое, лицо человека, сильно напуганного, наконец, лицо страдальца. Мавляна Мухиддин вновь посмотрел на Али Кушчи, на отца, на женщин, на постель.

— Доченька!!

Мавляна Мухиддин простер к телу Хуршиды руки, опутанные цепью, споткнулся о таз, с грохотом упал на пол и забился в припадке...

Али Кушчи незаметно вышел из комнаты.

А через час его постигло еще одно горе. Али Кушчи узнал о гибели Каландара: его незабвенный друг, его шагирд пал в неравной схватке с воинами Джандара, которыми, как потом говорили, предводительствовал какой-то Шакал. Каландар нашел в горах свою возлюбленную и тут же потерял ее — теперь уже навсегда. И Хуршида не выдержала позора, уготованного ей эмиром Джандаром, не захотела пережить любимого, погибшего, защищая ее от воинов эмира. Старая нянька доставила Хуршиду домой, и здесь, уже дома, она тайно приняла яд.

Али Кушчи устало опустился на землю. Он вновь подумал о том, что часто мучило его в последнее время, что он старался отогнать от себя и что все-таки не уходило

из глубин сознания. Он думал о том, что жизнь несправедлива и милосердие создателя не доказывается жизнью, которою живут добрые, честные люди, и что разум, в могущество которого он верил свято, вовсе не всесилен и не может объяснить сколько-нибудь понятно, почему создатель всего сущего обрушивает меч правосудия то на таких кровожадных убийц, как шах-заде Абдул-Латиф, то на невинные жертвы, вроде Хуршиды-бану, на добрых и чистых людей, подобных Каландару. «Если есть правосудие в том, что ты всех наказываешь одинаково, а бедных и чистых к тому же чаще, чем жестоких и алчных, то есть ли в правосудии таком милосердие, человечность и справедливость? А если их нет, то правосудие ли это?»

Да, сколько лет прошло с тех пор! Сколько воды утекло! Сколько событий пронеслось над миром, сколько людей покинуло его, этот бренный мир! А земля, небо, горы, повитые тончайшей пеленой тумана, все те же. Не двадцать лет, а двадцать дней, да что там, миг какой-то пролетел, а грустное лицо учителя стоит перед тобой живое, видишь его печально-задумчивый, отрешенный взгляд, а закрой глаза, и почудится, что слышишь его голос, глуховатый, проникающий в душу.

Прощаясь двадцать лет назад с Али Кушчи, повелитель-устод признавался ему здесь, в этой низине у холма, что главная боль его сердца — неуверенность в том, увидит ли он еще раз свою родную землю, вернется ли в родимый край. А сегодня это главная боль сердца самого Али Кушчи. Он решил уехать из Самарканда, и боль эта теперь ни днем ни ночью не покидает его.

А решил он уехать из Самарканда, любимого, трижды любимого, потому, что...

Двадцать лет он ждал, что рассеются тучи мрака над Мавераннахром. Двадцать лет жил в царстве тьмы, стараясь по мере сил следовать заветам устода. Скрывая труды свои от фанатиков невежд, написал трактат по астрономии (да, да, тот самый, что начат был до зиндана, продолжен в зиндане), трактат по математике, комментарии к книгам устода. Горение свечи Улугбека, как мог, поддерживал. То Мирза Абу Саид, взошедший на престол после брата, то сам Ходжа Ахрар, власть которого так и не кончалась, а богатства росли неимоверно, пытались выманить у него тайну клада сокровищ Улугбека — и прямо, и через доверенных своих лиц; его за-

манивали почестями; ему грозили казнью. Нет, он не поддался ни на посулы, ни на угрозы... Но есть ли польза в этой его преданности памяти учителя? Лучшее, что создал великий астроном Улугбек, все еще неведомо людям, науке. Оно скрыто. Его нельзя показать мудрецам Мавераннахра. И выходило, для того, чтобы довести до людей науки великие открытия устода, надо было уехать из отчего края.

Нет, хотелось бы думать, что оставляет он не народ, не землю, которая услышала его первый младенческий крик, а оставляет он властителей этой земли и этого народа, недалеких умом фанатиков. Надо было ехать, потому что и помереть было можно, так и не доведя мысли учителя до тех, кто их понял бы и оценил по достоинству. Благо еще, что достопочтенные Абдурахман Джами и Мир Алишер Навои протянули ему из далекого Герата руку помощи, ходатайствовали, чтобы ему разрешено было выехать туда. Славные люди! Но... как невыразимо тяжело уезжать... как тягостна мысль, что он, может быть, не увидит больше отчего края. Не слабый характером, Али Кушчи не удерживал слез, когда думал об этом.

Не сдерживал он слез и сейчас, в этой низине, на поляне, где последний раз видел незабвенного устода.

«Всевышний, я согласен на все невзгоды, что ждут меня в чужих краях, но молю тебя об одном: пусть прах мой будет покоиться здесь, в этой земле!»

Так он воззвал к небесам.

Потом стальным ножом, подаренным некогда Уста Тимуром, вырезал из почвы кусок земли. Он добавил эту горсть к другой, с могилы матери взятой, завязал дорогой мешочек потуже в пояс и пошел к условленному месту.

Там стояли двое: Мансур Каши и сравнительно молодой рыжебородый и голубоглазый мужчина в одежде мударриса.

— Ассалям алейкум, устод!

— Здравствуй, здравствуй, сын мой, Мирам. Вижу, хурджун твой полон. Все ли в порядке в Драконовой пещере?

— Все в порядке, все книги на месте. Я, как вы сказали, открыл лишь один сундук устода Мирзы Улугбека. От каждой рукописи взял из него по одному списку, а из рукописи «Таблиц» — три...

— А из книг достойного рая Кази-заде Руми?

— Здесь со мной одна книга его «Математики», одна книга по геометрии светлейшего Гиясиддина Джамшида, учитель.

— Похвально, сын мой. И все сундуки на месте?

— На месте.

— И вход ты хорошо закрыл?

— Хорошо закрыл, учитель.

— Благодарю тебя... Прошу, перенеси хурджун на моего коня.

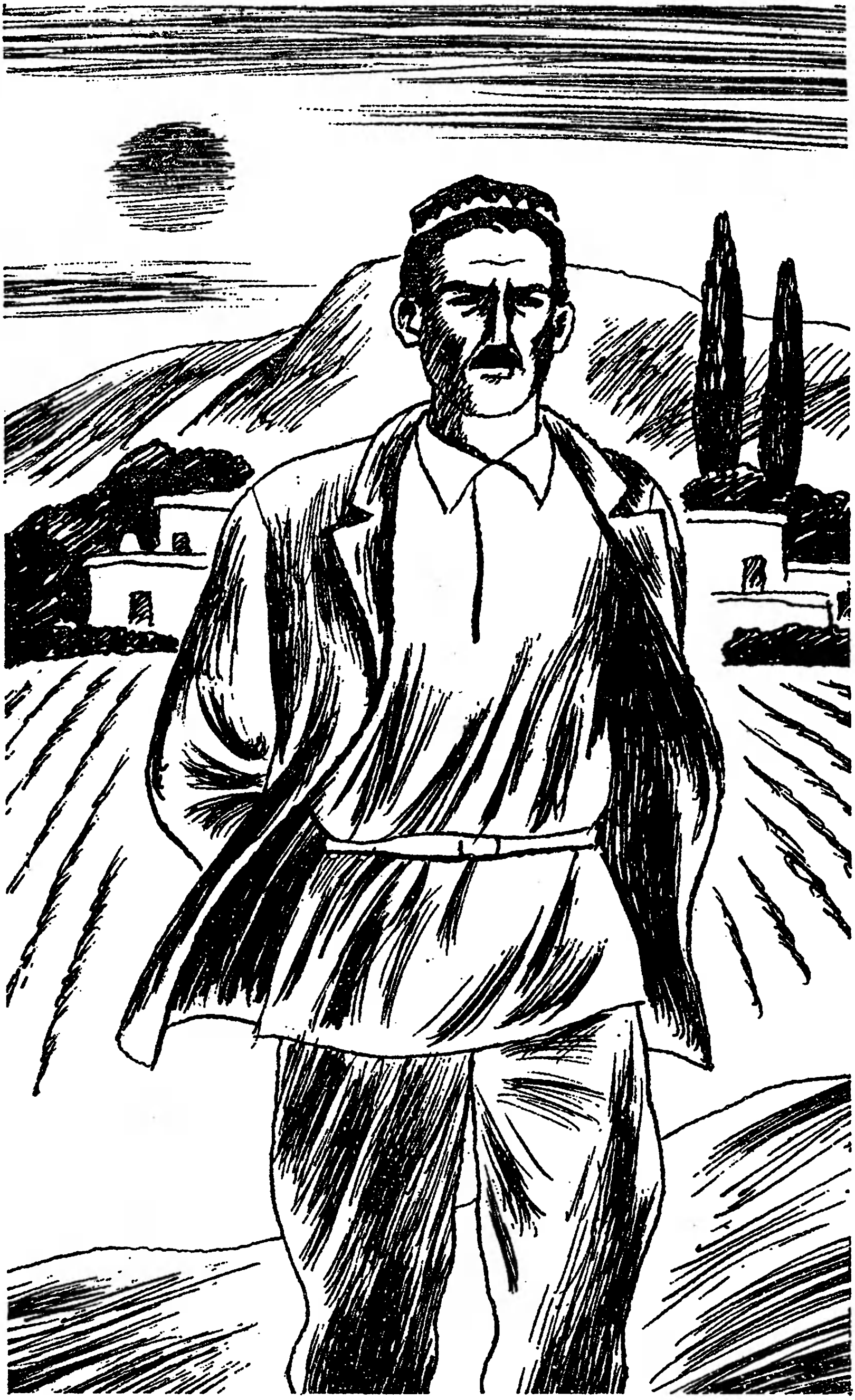
И снова все смотрел и смотрел Али Кушчи на Ургутские горы, словно отсюда хотел увидеть Драконову пещеру. Но горы плохо были видны; день уходил, и облака, недавно редкие, густели на глазах.

Шагирды стояли перед Али Кушчи, склонив головы.

— Все, все помню... До сих пор помню. Перед той зловещей ночью мы стояли вот здесь с устодом, и он поручал мне беречь спрятанные сокровища... Теперь я поручаю это вам. Всегда помните: сокровища, где собраны жемчужины разума мудрецов, необходимы если не этим, то будущим поколениям, потомкам нашим. Придет день, когда царство тьмы рассеется и над родной землей засияет солнце... Я не теряю надежды, что успею вернуться к тому радостному дню. Если же нет, если суждено мне умереть на чужбине, то вы передадите тайну сокровищ Улугбека своим доверенным шагирдам, а они — своим. И так от наших сыновей к сыновьям наших сыновей оно и пойдет, пока не дождется счастливого племени, при котором взойдет солнце над Мавераннахром! Тысячу раз благодарен я судьбе за то, что у меня такие шагирды, как вы. Если я чем-нибудь и когда-нибудь обидел вас, простите меня и благословите в путь...

Мирам Чалаби и Мансур Каши проводили его до большой караванной дороги. Поднимаясь на холм, Али Кушчи оглянулся назад в последний раз. Шагирдов своих он увидел, они долго махали ему вслед. А Самарканда увидеть уже не смог. И садов не увидел. Не потому лишь, что все это было слишком далеко, а потому еще, что слезы застлали глаза Али Кушчи. Он решительно смахнул их с лица и направился догонять караван.

1971—1974



СОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Атакузы нагрянул неожиданно, показав, как всегда, широту и размах, подобающие председателю колхоза-миллионера. Домла [1] Шамурадов, кряхтя и одергивая широкую пижаму, вышел на улицу. Перед воротами стояли две «Волги»— цвета «белая ночь» и «морская волна». Следом подкатил еще и газик.

Из белой «Волги» вылез сначала сам раис Атакузы — высокий, жилистый, обожженный степным солнцем, провяленный ветрами. За ним — худощавый мужчина средних лет в хорошо сидящем заграничном костюме. На темно-смуглом лице незнакомца были особенно заметны серьезные серые глаза. Из зеленовато-синей «Волги» легко, будто птичка из клетки, выпрыгнула дочь Атакузы Тахира.

Атакузы расправил широкие плечи, лихо надвинул на лоб новую тюбетейку и, приветливо сияя смуглым, будто выкованным из меди лицом, широко шагнул к домле:

— Здравствуй, дядя! Как поживает тетушка?.. Прошу познакомиться: Абрар Шукуров, наш новый секретарь. Руководитель молодой, но серьезный.

---

[1] Домла — ученый человек.

Шукуров поклонился с долей робости. То ли смутила его неуместная похвала Атакузы, то ли поразил необычный облик старика. Ученый, почтенный домла казался не по летам могучим, крепко сколоченным. Может, в заблуждение вводила мешковатая, в полоску пижама? Но голова! Шукуров взглянул, отвел глаза и опять посмотрел: перед ним была голова древнегреческого мудреца. Желтый, будто обтянутый сафьяном, бугристый череп — как у Сократа. На широком, скуластом, с крупным носом лице непреклонно-суровое выражение.

На приветствие Шукурова домла ответил сердечно:

— Спасибо, сынок, спасибо...— Тут же он перевел глубоко запавшие глаза на Тахиру, ласково подергал ее за коротко подстриженные волосы и, будто спохватившись, опять повернулся к гостю:— Прошу вас, товарищ Шукуров, прошу,— и засуетился, засеменил, пропуская гостей в калитку.

Во дворе шофер газика догнал Атакузы:

— Хозяин!

Атакузы круто повернулся:

— Сколько раз тебе говорить... Какой еще «хозяин»!

— Виноват, Атакузы-ака [1],— шофер хлопнул себя по лбу.— Как быть с грузом?

— С грузом?.. Ящик огурцов и ящик помидоров оставишь здесь. Остальное отвези по списку, куда указано. Понял?

Шофер, должно быть, хорошо знал «указанные места». Согласно кивнул, побежал к машине. Атакузы, скрипнув новыми брезентовыми сапогами, повернулся к Шукурову и опять засиял улыбкой.

Посредине большого двора, затененного пологом из виноградных лоз, возвышался многооконный особняк. Воздвигали его некогда с размахом, но давно оставленный без ухода дом обветшал, штукатурка потрескалась и кое-где отвалилась. На айване — открытой террасе — хлопотала маленькая, чистенькая старушка в платке из белоснежной кисеи, одетая в зеленое шелковое платье, из-под которого виднелись крошечные, как ложечки, тапочки — кавуши. Гульсара-ая — так звали старушку — подняла глаза, обведенные черной сурьмой, и, приветствуя гостей, сложила руки на груди. Выждав паузу, обернулась к Тахире:

---

[1] Ака — почтительное обращение: старший брат.

— Ай, милая, дай хоть насмотрюсь на тебя! Как же я соскучилась, ненаглядная!

Шукуров, все еще чувствуя неловкость, собрался было примоститься где-нибудь в уголке, но Атакузы взглядом остановил его.

— Дядя, я хотел показать уважаемому гостю вашу библиотеку. Можно?

— Пожалуйста, пожалуйста,— разрешил старик.— Веди сам, я сейчас приду...

Просторная, чуть сумрачная комната была вся набита книгами. Резные книжные шкафы и полки подпирали высокий, украшенный старинной резьбой потолок. Книги теснились на полках, лежали на стульях, на столе, громоздились на тумбочках и подоконниках... Книги в новых переплетах, а рядом тяжелые тома, потемневшие от времени фолианты с арабской вязью на корешках.

Шукуров, не отводя глаз от книг, спросил:

— Ваш дядя, кажется, ученый технического профиля?

— Да. Он из первых ученых-ирригаторов... Но, знаете, интеллигент старой школы... Учился в медресе знаменитого Мадихан-ишана в Ташкенте. Потом белый царь не поладил с Германией, и отец дяди, владелец галантерейной лавки в кишлаке, в один год стал бедняком. Ну и сын его, то есть мой дядя, вмиг вылетел из «султанов». Пришлось пойти в мардикеры [1]. С фронта возвратился большевиком. В гражданскую тоже воевал. Потом в кишлаке бился насмерть с кулаками и баями. А как поутихло, поехал учиться в Москву... Вернулся инженером — первым инженером-мелиоратором в республике.

— Сколько же ему лет?

— Помнится, девяносто шестого года рождения. Выходит, уже семьдесят семь.

— А крепкий еще...

— По виду — да. Но возраст свое берет. Однако вот что, пойдемте сюда, разговор есть.— Атакузы распахнул двустворчатую дверь смежной комнаты. И здесь были книги. Вдоль двух стен от пола до потолка выстроились небольшие картонные коробки, перевязанные белыми тесемками.

---

[1] Мардикеры — рабочее ополчение в царских войсках.

— Старик давно собирает книги для молодежи кишлака,— Атакузы сказал это с такой гордостью, будто все книги собрал он сам.— Хочет перевезти свою библиотеку в кишлак, да и сам, думаю, не прочь переехать.

— Можно? — Шукуров развязал тесемки на одной из коробок и вынул пачку книг в новеньких темно-синих переплетах с золотым тиснением.— Навои! Прекрасное издание! — Глаза гостя загорелись.— Надо, надо ему помочь. Он еще работает?

— Работает. Консультант института водного хозяйства. Год назад проехал на машине от Арала до Оби! Вот вам и возраст. Пойдемте,— Атакузы вернулся в первую комнату и подвел Шукурова к массивному столу на изогнутых ножках. Он был, как скатертью, покрыт начерченной на ватмане огромной картой с трассой будущего канала Обь — Средняя Азия. Склонившись над столом, Шукуров вглядывался в карту. Ее пересекали красные и синие извилистые линии, вдоль которых пестрели разноцветные кружки, непонятные знаки. И всюду, начиная от северных рек до самого Аральского моря, по всей трассе торчали, как накрепко вбитые колышки, жирные восклицательные и вопросительные знаки. А рядом паутинным узором вились мелкие записи, затейливая вязь — домла по старой привычке писал арабскими буквами.

— Занимается проблемой переброски сибирских рек в Среднюю Азию?

— Чем только он не занимается! — сказал Атакузы.

— Колоссальная проблема! — Шукуров выпрямился.— Мой тесть тоже работает над этим.

— Вахид Мирабидович? — В уголках губ Атакузы, прикрытых коротким треугольником усов, вспыхнула и тут же погасла усмешка.— О, сейчас многие и говорят и пишут об этом!

— Да. Но...— Шукуров с недоумением посмотрел на Атакузы.— В таком случае зачем же ему ехать в кишлак?

— Ну, книги свои он может писать и там. Так сам мне сказал. Думаю, дело не только в этом. Не со всеми он тут, по-моему, ладит. Характер у старика — дай бог! К тому же одиноки они. Вы же видели, как обрадовались нашему приезду!

— У них никого нет?

— Сейчас нет. Был сын, Джаббар. Погиб в сорок третьем. Может, слышали, Герой Советского Союза...

Атакузы кивнул на фотографию в траурной рамке, висевшую над столом. С фотографии устало смотрел горбоносый, смуглый до черноты парень в офицерских погонах.

— Да, замечательный джигит,— вздохнул Атакузы.— Учился на третьем курсе железнодорожного института. По уши был влюблен в Фазилатхон... Вы ее видели, клубом у нас заведует. Красавица была в ту пору — не описать!

— Вот как!

— Да, пташка была подходящая! — Атакузы подмигнул.— Как и Джаббар, училась в Ташкенте, я говорю о Фазилатхон. А когда летом приезжали в кишлак, ваш покорный слуга — мне было тринадцать лет — бегал от одного к другому почтальоном... Э, да что там говорить, невероятные творились дела! — Атакузы, взволнованный воспоминаниями юности, смотрел на Шукурова и не видел его.— Есть один большой человек, вы его знаете, Джамал Бурибаев. Тот, что третьего дня приезжал в степь...

— Представитель «Сельхозтехники» из Ташкента?

— Какой там представитель, начальник большого управления! Занимал одно время даже пост заместителя министра водного хозяйства!.. А тогда, в войну, был у нас председателем райисполкома, Джаббар-ака, значит, на фронте, а Фазилатхон вернулась в кишлак... Вы только представьте: такая едва распустившаяся роза.

Шукуров поморщился:

— Все ясно...

— Терпение!— рассмеялся Атакузы.—Самое интересное еще впереди. Джаббар-ака в это самое время получает звание Героя Советского Союза и приезжает в отпуск. Представляете, что было! Стрелял в Бурибаева!.. К счастью, не попал.

Волнение Атакузы передалось и Шукурову.

— Ну? А дальше?

Атакузы раскрыл уже рот, чтобы продолжить рассказ, и вдруг будто спохватился. Наморщил лоб, невнятно забормотал:

— Да, были дела. Пришлось после этого ехать на фронт и Бурибаеву. Да вы еще услышите.

— Ваш Джаббар-ака погиб на фронте?

— Погиб,— вздохнул Атакузы.

— А этот вернулся цел и невредим?

— До самого Берлина дошел. Получил два ранения! Я, конечно, не судья тому, что было. Должно быть, на фронте проявил себя — вся грудь в орденах.

Шукуров ничего не сказал, рассматривал фотографию в траурной рамке, потом, чуть прищурив большие серые глаза, поглядел на Атакузы:

— А что, этот тоже родственник вам?

— Кто? — не понял Атакузы.

— Да... Джамал Бурибаев. Вы, помнится, сватом называли его?

— Ах, да...— почувствовав, что сболтнул лишнее, Атакузы мысленно выругал себя.— Дело в том... У него от Фазилатхон осталось двое детей: сын и дочь.

— А что, разве разошлись?

— Давно! Но дети держат связь с отцом. Так вот, дочь наша Тахира подружилась с их сыном Кадырджаном. А старший мой, Хайдар, тот, что завтра защищает диссертацию, полюбил их дочь Латофат. Что поделаешь! — Атакузы широко развел руками и неспокойно прошелся по комнате.— Ничего не поделаешь!

Латофат... Всего час назад Атакузы видел ее. Проезжали мимо университетского скверика, вдруг Тахира, сидевшая сзади, рванулась вперед:

— Дададжан! Остановите машину!

Едва успел Атакузы, сидевший за рулем, притормозить, Тахира тут же соскочила на обочину и с криком «Латофат!» побежала куда-то. По аллее, обсаженной молоденькими тополями, шла Латофат, невеста его сына. Шла не одна. Рядом вышагивал тощий, длинный как жердь, весь какой-то черный мужчина с ворохом взлохмаченных волос.

«Фазилат!» — мелькнуло в голове Атакузы при виде будущей невестки. Так похожа была на свою мать эта девушка с высокой, будто гнездо аиста, прической. Те же шелковисто-черные, прямые брови, огромные, невеселые глаза, та же яркая, броская красота чуть округлого смуглого лица. Только одета иначе, не так, как одевалась когда-то ее мать. На Латофат было короткое, не доходящее даже до колен, ситцевое платье, на ногах

белые тупоносые туфли. Голые стройные ноги, оголенные до плеч смуглые руки... И потому ли, что она так напоминала молодую Фазилат, а может, потому, что шла рядом с этой жердью, с этим черномазым парнем, Атакузы пронзила давняя, не раз тревожившая его мысль: «Не устроила бы какой-нибудь фокус Хайдару, как мать ее устроила Джаббару-ака!»

Вспомнив сегодняшнюю встречу, Атакузы помрачнел лицом.

— Ох уж эта молодежь. В жизни не думал, что случится такое. А тут еще старики. Как они отнесутся к новой родне?

Шукуров промолчал. Атакузы наблюдал краем глаза за неожиданно замкнувшимся лицом секретаря. Подумал с досадой: «Э-э, раис, раис, простота! Разболтался хуже базарной бабы. Откуда знать ему, что говорил от души. Пожалуй, подумал: плевать тебе на твоих стариков, на их родительскую боль, рад породниться с большим человеком. Дурья башка! Под пятьдесят уже, а все как юнец лезешь, все откровенничаешь!»

Еще не прошло и месяца, как Шукуров приехал в район. И сразу стало понятно: этот сравнительно молодой, немногословный человек — прямая противоположность прежнему секретарю райкома, к которому все давно привыкли. Прежний был прост, сердечен, как говорится, весь на виду. Порой, верно, любил показать свою власть председателям, поставить раисов по стойке «смирно» на бюро райкома, ухарски распечь их. Однако поругает, а потом и утешит. После бюро садится вместе с председателем, получившим нагоняй, в машину и отправляется в его же колхоз. А там, в саду, где-нибудь у хауза — у прохладного водоема, окруженного раскидистыми чинарами, продолжит беседу. Оно как ведь полезно, в дружеской обстановке за дастарханом! А этот... За весь месяц, правда, еще ни одного раиса не «проработал» на бюро. Но зато ни у кого и не погостевал еще. В колхозах бывал, с людьми беседовал, но тут же садился в машину и отправлялся восвояси. А там на щедро раскинутых дастарханах, у зеркально чистых хаузов, тосковали нераспитые пятизвездные коньяки, в садах блеяли откормленные для шашлыка бараны. Председатели, привыкшие к манере прежнего секретаря после беспощадной головомойки

на бюро продолжать беседу за дастарханом, тешить душу веселой байкой, были крайне озабочены непривычным поведением нового начальства. И Атакузы, понятно, не на шутку встревожился вчера, когда Шукуров вызвал его в райком. Тем более что через своих людей знал причину вызова. Один из старых раисов «накапал» в райком: он-де, Атакузы, перехватил несколько машин дефицитных мраморных плит, которые предназначались для строящегося в соседнем колхозе Дворца культуры. Атакузы насторожился. А что, если «новый» отнесется к делу формально? Но все обошлось. Атакузы объяснил: ничего, мол, не перехватил. Добился, чтобы мрамор был предоставлен ему раньше, чем другому раису, он ведь позарез нужен именно в его кишлак — там воздвигали памятник в честь погибших воинов. И Шукуров проявил понимание, тут же распорядился прекратить дело. Дальше совсем пошло хорошо. Во время разговора выяснилось, что Шукуров приходится зятем известному ученому-воднику Вахиду Мирабидову. А этот домла Вахид — научный руководитель Хайдара, сына Атакузы. Атакузы как раз собирался в Ташкент — послушать, как сын будет защищать свою диссертацию. И Шукуров очень кстати направлялся тоже в Ташкент. Поехали вместе. По дороге выяснилось еще одно приятное обстоятельство: Шукуров, оказывается, читал какую-то книгу дяди и с той поры питал глубокое почтение к домле. Правда, дядя и Вахид Мирабидов не очень-то ладили меж собой. Но Шукуров, видимо, не знал ничего, так что, когда Атакузы предложил познакомить его с дядей, с радостью согласился. Все шло как по маслу. И надо же, разоткровенничался! Свалил в одну кучу нужное и ненужное...

Шукуров наконец оторвал взгляд от карты и обернулся к Атакузы:

— После таких событий старикам должно быть тяжело.

— Да. Но что остается мне делать? Молодые ведь сами нашли друг друга...

Атакузы не успел договорить — открылась дверь и вошел домла.

— Что это ты, Атакузы? Чай ведь совсем остыл! Прошу вас, товарищ Шукуров, прошу к столу...

2

Стол под навесом из виноградных лоз давно уже был накрыт белой накрахмаленной скатертью. Шумно кипел электрический самовар. Тахира, видно, успела упорхнуть, вокруг стола хлопотала только тетушка Гульсара. При виде гостей она снова приложила руки к груди:

— Проходите, милые, проходите... и ты, Кузыджан[1]... Как поживает моя невестка Алияхон? А мои маленькие верблюжата? Я так соскучилась по ним, так соскучилась...

— Раз соскучились, давайте махнем к нам! — сказал Атакузы.— Если дядюшка откладывает свой отъезд в кишлак, пусть остается один или пусть ищет себе другую старушку!

Гульсара-ая, мягко улыбаясь, взглянула на мужа. Видно было, ей тоже хочется ответить шуткой, но голос ее дрогнул:

— Как же я оставлю бедного моего старика? Теперь уж, видать, суждено нам до гроба быть вместе...

В ее словах, в печальном взгляде глаз, в личике, напоминающем круглую иссохшую лепешку, сквозили и самоотреченная преданность, и затаенная боль. Так бывает у людей, если долго прожили вместе и объединяет их одна большая беда.

Шукуров поспешил повернуть разговор в другое русло.

— Замечательные книги у вас собраны,— обратился он к домле.— Кстати, когда я работал в Каршинских степях, мне однажды попалась ваша книга об освоении Голодной степи. Меня поразила одна деталь.

— Ну-ну...

— Неужели знаменитый декрет Ленина об освоении Мирзачуля[2] оставался неизвестным до тридцать седьмого года?

— Да, это было именно так.

— И вы нашли этот документ?

— Что значит нашел? Декрет, разумеется, существовал, был напечатан. Но по каким-то причинам не входил в то время в собрание сочинений Ильича. И надо

---

[1] Кузыджан — ласкательное от Атакузы.
[2] Мирзачуль — Голодная степь.

сказать, не отыщись этот декрет... положение вашего покорного слуги было бы плачевно.

— Как так?

— А так... нашлись люди, которые хотели выглядеть самыми, ну, что ли, преданными. Норовили навесить на ученых, выступавших за освоение Мирзачуля, всякие ярлыки. И выходило, что эти самые ученые чуть ли не враги советской власти...

Шукуров весь подался вперед.

— Вот что!

— Сейчас, наверно, это покажется просто неправдоподобным. Но попробуйте перелистать газеты предвоенных лет. Многое поймете. В одной из них и про меня есть. Собственными глазами можете прочитать.

— У вас сохранилась эта статья?

— Нет! — голос домлы неожиданно зазвучал сурово и гордо.— У меня нет привычки хранить всякие кляузы!

Атакузы, знавший, в кого метит домла, заерзал на стуле.

Шукуров, почему-то бледнея, тихо спросил:

— И сейчас еще живы эти самые... «преданные»?

— Живы...— Едкая улыбка искривила губы старика.— Вот он знает одного...

Шукуров быстро взглянул на Атакузы. Тот опустил глаза.

— Ну к чему сейчас об этом? Говорят же: прошлым делам — забвение.

— А ты что думаешь, я собираюсь ворошить это прошлое? Товарищ Шукуров спросил, я и ответил. И только.— Домла, насупив редкие седые брови, метнул взгляд на притихшую старушку: — Иди неси обед! — И к Шукурову: — Раз вы интересуетесь книгами, пожалуй, могу дать вам одну. Хотелось бы, чтобы вы, как партийный работник, прочитали. Книга о проблеме химизации. Острейшая проблема дня.

— Совершенно верно, это всех сейчас волнует,— оживился Шукуров.

— Всех, говорите? Вот мой племянник — председатель знаменитого колхоза, а как он смотрит на эти вещи, не знаю...

Дядя больно задел Атакузы. Может, потому особенно больно, что заявил это при новом секретаре.

— Эта проблема в тысячу раз сложнее, чем вы себе

здесь представляете! — попытался отбиться раис и, заметив испытующий взгляд Шукурова, невольно отвел глаза.

— А кто сказал, что эта проблема простая? Потому все и хлопочут, что она сложная! — старик дрожащими пальцами разгладил скатерть и встал.— Так посмотрим книгу, товарищ Шукуров?

— Да, да! — заторопился тот.— Кстати, я видел вашу карту переброски сибирских рек и кое-что хотел спросить...

В усталых глазах старика, оплетенных мельчайшей паутиной морщинок, заиграли насмешливые огоньки.

— Карта эта не моя. Вот вопросительные знаки — мои!

Домла и Шукуров, предупредительно уступая друг другу дорогу, пошли в дом.

Атакузы не тронулся с места, сидел у дастархана, покручивая в руке пиалу с остывшим чаем. Он был недоволен собой. И что сегодня с ним случилось? Что ни скажет — все невпопад. Хочет навести брови, а выбит глаз. И старик тоже хорош! Иронизирует, язвит. А ведь впереди такой серьезный разговор! Прежде всего надо переговорить с дядей о завтрашней защите. Тоже ведь задача! Научный руководитель Хайдара как раз и есть тот самый, как выразился дядя, «преданный». Верно, Вахид Мирабидов когда-то обвинял, «разоблачал» дядю. Но ведь сколько времени утекло. Интересно, как старик смотрит на эту историю? Не выкинул бы завтра чего-нибудь. Если этот разговор пройдет спокойно, Атакузы закинет удочку и насчет предстоящей свадьбы. А если нет?..

Из летней кухни вышла Гульсара-ая:

— Все готово. Подавать на стол?

— Подождем, пусть они выйдут. Присядьте, отдохните...

Гульсара-ая бесшумно подошла к столу и, сложив ладошки на дастархане, подняла кротко-грустные глаза на Атакузы:

— На защиту Хайдарджана приехал?

— А кто сказал про защиту? Тахира?

— Хайдарджан сам приходил...

Атакузы облегченно вздохнул.

— А дядя что?

Тетушка Гульсара опустила глаза, под зеленым шел-

ковым платьем чуть заметно приподнялась и опала ее грудь.

— Что дядя?.. Вы же знаете характер своего дяди, Кузыджан!

«И когда только наступит конец этой дурацкой стариковской вражде? — помрачнел Атакузы.— Не пострадал бы Хайдарджан из-за их распри».

Да, Атакузы хорошо знает характер дяди. Там, где старик считал себя правым, никого никогда не щадил.

С той самой поры, как Хайдар стал учеником Мирабидова, домла Нормурад заметно охладел к нему, да и сам Хайдар редко теперь заглядывает в этот дом. Эта холодность — больное место Атакузы. А все потому, что любит он старика, несмотря на все его странности и чудачества, на всю резкость характера. Да и дядя — Атакузы это знал наверняка — тоже любит своего внучатого племянника. Любить-то он любит...

Атакузы поморщился и разом осушил пиалу остывшего чая.

— Не понимаю дядю! Неужели он из-за этого... Мирабидова подведет Хайдара?

Пиала в сухих пальцах старушки мелко задрожала.

— И я вашему дядюшке то же самое твержу. Но вы же знаете...

— Знаю! — Атакузы до боли стиснул зубы.— Вот и думаю все — как быть.

Голова Гульсары-ая низко склонилась.

— Кузыджан, что я могу поделать. Устала повторять вашему дядюшке: и в радости, и в лихие дни он один у нас — Кузыджан, только он, говорю, и заботится о нас! И его хотите вы обидеть. Останемся на старости лет одни, всеми покинутые...— Плечи старушки затряслись, она тихо заплакала.

Атакузы растерялся.

— Видит аллах, я не в обиде на вас, дорогая тетушка, но что остается делать мне? Ведь говорят же: недруг, отзывчивый на доброту, лучше того, кто в тебя по дружбе плюет.

Атакузы придвинулся к Гульсаре-ая, обнял ее худые, как у мальчика, плечи. Сказать или не сказать о свадьбе?

Обычно трудные вопросы он предварительно «согласовывал» с теткой и лишь после того, как она под-

готавливала старика, говорил с ним. Но как заикнуться о сватовстве? Чтобы ненавистные старикам Фазилатхон и Бурибаев вдруг стали им родней! Тут не только перед дядей — и перед старушкой не посмеешь открыть рта.

— У меня нет секретов от вас, тетушка,— начал Атакузы.

— Знаю, милый.

— Вы уже слышали?

— Разве в наше время что-нибудь укроется, Кузыджан?

— И что же дядя, как он?

— А что он? Чего скрывать? Расшевелили давнее...— Взгляд женщины засветился печалью.— Ах, пусть остается с нами наша боль. Не вернется же наш Джаббарджан оттого, что не состоится свадьба. Пусть идет все, как идет... Да ниспошлет аллах счастье молодым!

И такая боль, такая горечь слышалась в ее словах, что Атакузы не рад был, что начал этот разговор. Удивительное дело: в то время как в каждом слове, в тихом, срывающемся голосе прорывался стон ее души, мягкий взгляд проливал на Атакузы поток любви. И только теперь, в эти минуты, почувствовал он по-настоящему, каким непомерным грузом лягут на стариков эти будущие двойные узы родства.

— Что же делать? Молодежь,— попытался было оправдаться, но слова застряли у него в горле. И в это время в дверях показались дядя и Шукуров.

3

В руках Шукуров нес целую кипу книг. Оба — и он и домла — стали еще любезнее и предупредительнее друг с другом. Должно быть, в библиотеке постояли минуту-другую над картой, поговорили и о переброске сибирских рек — усаживаясь за стол, старик метал теперь стрелы в тех, с позволения сказать, ученых, как он выразился, которые в угоду моде ухватились за эту проблему и, не помышляя о глубоком, всестороннем изучении, вдруг сделались ее ярыми пропагандистами. Затем вернулись к книге, за которой пошли в библиотеку, заговорили о вреде ядохимикатов в хлопководстве, о расширении площадей под садами, о том, как важно сохра-

нить в чистоте родники и реки. Нормурад Шамурадов называл новые книги о биологической борьбе с вредителями, объяснял, убеждал — говорил громко, возбужденно. Шукуров не отрывал от него влюбленных глаз и на все согласно кивал головой.

«Хочет понравиться,— не без раздражения подумал Атакузы.— Оно легко здесь, за столом, разливаться соловьем в защиту природы, слушать песни о биологических способах! А не сегодня завтра, как подопрет беда, нагрянет совка, не задумаешься — сам прикажешь: «Сыпьте, сыпьте ядохимикаты!» Прикажешь ты, а виноваты будем опять-таки мы!»

В воздухе сладко и остро запахло жареным мясом, приправленным луком, перцем и пряностями,— Гульсара-ая несла на поднятых руках целое блюдо жареной баранины. Разговор оборвался.

После угощения Шукуров стал прощаться. Домла не задерживал его. Забыв о своем почтенном возрасте и учености, пошел вместе с Атакузы проводить гостя до ворот. Всегда он так: покажется старику, что ты с ним подозрительно любезен,— тут же осадит, не пожалеет. А сам — если кто понравится — пластом готов стелиться.

Шли обратно через двор. Атакузы с тревогой думал о предстоящем разговоре.

Как только уселись за стол, дядя повел свою речь: усмехнулся краешком губ и сказал не без подковырки:

— Опять приволок целую гору винограда и овощей? Собираешься умаслить кого-нибудь?

Называется, дал передышку!

— А что делать? Не подмажешь — не поедешь!

— Это кто же так говорит?

— Дядя, дорогой! — взмолился Атакузы.— Не будем об этом! Во-первых, все из моего собственного сада. Во-вторых, будь это и колхозное добро — для нашего колхоза машина фруктов и гроша ломаного не стоит.

— Гроша не стоит, а вот попадешься однажды... Как подумаю иной раз об этом, ночами не сплю!

Раздражение Атакузы как ветром сдуло. Услышал такие слова старика, и на душе вмиг потеплело.

— Попадусь — надеюсь, поймут. Не для себя старался. Вы даже не представляете, какое громадное хозяйство на моих плечах, сколько забот!

Домла устало махнул рукой:

— Ну, делай как знаешь...

— Дядя, дорогой, не обижайтесь! — сказал Атакузы примирительно.— Сколько уже раз говорили мы с вами. Лучше ответьте — прочитали вы работу Хайдара? Он, кажется, приходил к вам?

— Да, приходил...— Нормурад Шамурадов погладил бугристое темя, глубоко вздохнул.— Знаешь что, мой дорогой, не ввязывай ты меня в это дело!

Только что слова дяди так согрели Атакузы — и вот уже минутной оттепели как не бывало. Чувство горчайшей обиды схватило за горло. Да, да, ему теперь понятно все! Из-за застарелой ненависти к этому Вахиду Мирабидову дядя готов предать — кого? — своего родного джиена... А он, Атакузы, еще жалел несчастного одинокого старика. Бедняга, мол, ни детей, ни близких не осталось — забыт, не обласкан судьбой. И вот, пожалуйста: ничего не видит, все гнет свою правду! Спасибо! Понимать такую правду Атакузы отказывается.

Не сказал, процедил сквозь зубы:

— Стало быть, отворачиваетесь от Хайдара?

Домла Шамурадов устало махнул рукой:

— Говорю же, оставь, ну оставь меня в покое...

— Вы думаете, может, что я ничего не понимаю?

— А что ты понимаешь?

Тяжело опираясь руками о стол, Атакузы поднялся и всем корпусом наклонился вперед:

— А вот что я понимаю: обиду на Ису вымещаете на Мусе! Кому ставите палки в колеса! Из-за чего! Из-за вашего старого соперничества с Вахидом Мирабидовым! Вот где зарыта собака!

— Хватит, не будем об этом,— простонал домла.— Соперничество! — повторил он и, оторвав взгляд от горящих гневом глаз племянника, обхватил голову руками.

Так всегда: лишь речь заходила о Вахиде Мирабидове, об этом развеселом, компанейском человеке с неизменно сияющей улыбкой набитого золотом рта,— перед глазами вставала все та же давняя статья в республиканской газете. Броский, набранный крупным шрифтом заголовок: «Невежество или злой умысел?»

Вот уже более тридцати лет минуло с тех пор, но стоит только намекнуть на давнее дело, и перед взором домлы Шамурадова уже пляшут огненно-черные буквы.

Возможно ли освоение Мирзачуля? — так автор ставил вопрос. И тут же отвечал категорическим: «Нет!

Прожектерство! Утопия!» А начальник Управления водного хозяйства Народного комиссариата земледелия Нормурад Шамурадов, который считал освоение Голодной степи возможным, выставлялся как ученый-невежда и даже как скрытый недруг советской власти. Но самое ужасное было то, что под статьей стояла подпись главного инженера этого же управления Вахида Мирабидова.

До сих пор памятен этот день. Сложными были предвоенные годы, ох сложными. В то утро Нормурад ни о чем еще не знал. Просидев ночь над докладом народного комиссара о строительстве Большого Ферганского канала, он пришел на работу чуть позже обычного. Пришел — и сразу почувствовал: что-то не так. Коллеги, прежде любезно раскланивавшиеся, теперь шарахались в сторону, будто сам провозвестник смерти Азраил заступал им дорогу. Сотрудники управления, подчиненные Нормурада, встретили его мрачным, каменно-гробовым молчанием.

Заныло в груди от недоброго предчувствия, молча прошел он в свой кабинет. На столе, на зеленом сукне, лежала развернутая газета. Охватил взглядом черный заголовок — и опустился, нет — упал в кресло.

Пробежал глазами статью, занимавшую чуть ли не полполосы, и понял: да, конечно, острие ее направлено против него, Нормурада Шамурадова. Это он в своей книге поднял разговор о засоленных землях Голодной степи, бесплодных, веками пустующих. Он утверждал, что эту проклятую родом человеческим целину можно освоить, можно превратить в поля и сады. Кто способен выдвинуть такую идею? — спрашивал автор статьи и отвечал: только человек, далекий от научных расчетов, полный невежда, или же... классовый враг, вознамерившийся нанести непоправимый ущерб экономике страны! Доказательства? Какие еще нужны доказательства? Мирзачуль освоить нельзя — это истина, не требующая доказательств! Во все века нога людская обходила стороной эту жуткую, безжизненную, пустынную степь — вот это и есть высшее доказательство. А тот факт, что руководитель крупного управления наркомата Нормурад Шамурадов ссылается на попытки царского правительства освоить Мирзачуль,— это лишний раз говорит о несостоятельности его предложений!

Вот в чем обвиняли Нормурада Шамурадова. И кто? Главный инженер, всегда предупредительный молодой красавец с неизменно доброжелательной улыбкой.

В тот день, с того самого номера газеты, где была опубликована статья Вахида Мирабидова, жизнь Нормурада перевернулась вверх дном. Бесконечные собрания, обсуждения, статьи, отмежевание коллег. И наконец — уволен... Вначале Нормурад пытался еще защищать себя, свою книгу. Но вскоре убедился — попытки его ни к чему не приведут.

Прошел месяц — без работы. Нормурад отправил в кишлак Гульсару с сыном. Сам задержался в городе — ждал решения партийного бюро. Останется ли он в партии?.. Однажды вечером вдруг зазвонил телефон. Как жутко звенит телефон после месячного молчания...

Нормурад схватился за грудь от неожиданности. Книга, которую читал, упала на пол. Осторожно, будто к змее, протянул руку к трубке. Она завибрировала высоким взволнованным голосом:

— Кто это? Нормурад? Это я, Мухамаджан!..

Мухамаджан был давний друг Нормурада. В то время он учился в Москве, в Институте красной профессуры.

— Мухамаджан? Когда приехал?

— Сегодня, сейчас! — Мухамаджан почему-то сильно волновался, было слышно, как прерывисто дышит в трубку.— Я только что с поезда. Говорю с вокзала. Все знаю. Прочитал эту дурацкую статью! Еще в Москве! Ты вот что, не бойся! Слышишь меня? Не бойся. На твоей стороне сам Ленин...

— Знаю,— сказал Нормурад.— Правда на моей стороне.

— Да помолчи! Я тебе не вообще говорю. Точно: есть ленинский декрет о Мирзачуле...

— Какой декрет?

— Декрет об освоении Мирзачуля! Еще в восемнадцатом, в самые тяжелые годы, для этого дела намечалось выделить пятьдесят миллионов рублей. Золотом!

Нормурад задохнулся от такой новости:

— В ленинских книгах этот документ есть?

— В том-то и дело, не вошел, оказывается, в прежние издания. Обнаружили недавно. Я привез тебе один перепечатанный экземпляр! Ты слышишь? Привез перепечатанную копию!

Нормурад, не в силах слова сказать, привалился к стене.

— Нормурад! Почему ты молчишь?

— Голова! — едва слышно проговорил Нормурад.— Держишь в руках такой документ! Чего же ты сидишь на вокзале! Лети же сюда, верблюд безмозглый!

Всю ночь Нормурад читал и перечитывал эту бумагу. Еле дождался следующего дня. Помчался с документом сначала в наркомат. За полчаса до начала бюро выложил копию декрета на стол секретаря райкома. Вот эта-то птица счастья, нежданно прилетевшая из рук Ленина, и спасла его.

Родной племянник называется! Нашел что придумать — соперничество с Вахидом Мирабидовым! С этим Вахидом, который сверкает золотом зубов прямо в лицо! Домла считает ниже своего достоинства даже напомнить этому болтуну о прошлых его делах. А кто и захотел бы напомнить, все равно ничего не выйдет. Случилось невероятное — тот самый Мирабидов, что некогда так категорически припечатал свое «нет» Мирзачулю, сегодня он — доктор наук и получил эту степень, разрабатывая проблемы освоения Голодной степи!

Десятки статей написал, так же рьяно утверждая то, что прежде клеймил. Интересный случай вышел на его защите: кто-то,— не Нормурад, конечно, нет, кто-то из старых ученых-ирригаторов — напомнил Мирабидову о той давней его статье. Вахид Мирабидов и тут не растерялся. Закатил такую страстную саморазоблачительную речь, так поносил себя за верхоглядство, за поспешность — не жалея лил на самого себя потоки грязи. Нормурада же Шамурадова, наоборот, превознес за дальновидность и прозорливость, так высоко поставил как ученого, что стало даже неловко. Домла Шамурадов давно махнул рукой на этого сладкоголосого соловья.

Домла разжал руки, поднял голову. Атакузы не было на месте. Он снимал пиджак, висевший на ветке яблони,— видно, собрался уходить.

— Подожди! Ты же не дослушал меня...

— А чего мне слушать? — Замкнутое лицо Атакузы еще больше потемнело, угрожающе заиграли желваки.— Я знаю, что легло между вами. Он сам мне рассказал. Но обстоятельства ведь какие были...

— Обстоятельства?

— А вы будто не помните? Это же было сложное предвоенное время...

— Вот оно что! — Бугристая, обрамленная белым пушком голова Нормурада Шамурадова мгновенно сделалась пергаментно-бурой.— Это же привычка всех подонков — сваливать свои подлости на обстоятельства, на время! А что, если какой-нибудь мерзавец наврет на тебя три короба, и ты упадешь... А потом свалит все на обстоятельства!.. Как ты на такое посмотришь, хотел бы я знать, дорогой мой племянник?

— Я?

— Да, ты! Впрочем, ты, кажется, сам многие свои дела привык оправдывать обстоятельствами! Слышал я, собираешься будто бы породниться с этим... с Джамалом Бурибаевым? Тоже, наверно, обстоятельства?

Атакузы, никак не попадая в рукава пиджака, вплотную подошел к столу. В яростно горящих глазах блеснула усмешка.

— Вы бы хоть посмотрели на мою будущую невестку!

— Достаточно насмотрелся на ее мать. И если хочешь знать, даже бабушку твоей невестки все еще помню! Младшую жену знаменитого торгаша Кудрат-ходжи.

— Ах, дядя, дядя! — вздохнул Атакузы, будто не домла был перед ним, а несмышленое дитя. Устало опустился на стул.— Вот вы — мудрый человек, вы — домла, а не хотите понять простую вещь: молодежь знать не хочет о старых передрягах. Разве я не понимаю, как больно вам! Но что мне делать, мой сын...

— Вот именно — твой сын! — перебил старик с горечью.— Ты думаешь, мне безразлична его судьба, его работа? А ты сам хоть знаешь, что он плетет в своей диссертации под мудрым руководством наставника?

— Проповедует идеи насилия и убийства?

— Хватит чепуху городить! — прикрикнул домла.— Он призывает вторично использовать воды, накопленные в коллекторах после промывки засоленных земель! Использовать рассол для полива! Понимаешь ты хоть это?

— Так-так...

— Утверждает, что можно употреблять воды, засоленность которых доходит до пяти граммов на литр!

Ты же сам осваиваешь новые земли в степях. Скажи-ка, что будет с такой землей через десять лет, если...

— А вы думаете, сейчас не используют такие воды?

— Да, используют! Приходится! Но утверждать такое в диссертации, оправдывать высоким авторитетом науки!.. Это же преступление! — голос домлы сорвался с грубоватого баса на неестественно тонкий фальцет.— И все это идет от него, от твоего закадычного. Ему сегодня выгодно это. Потому как много еще руководителей, живущих лишь сегодняшним днем! Таких же, как и этот, с позволения сказать, доктор наук. Сегодня он ломится в передовые, а что будет завтра — плевать. Вот зародилась идея переброски сибирских рек в наши края. И он уже бьет в барабан! Книгу успел написать. А как отразится переброска рек на климате, на всей природе края? Изучить, взвесить все «за» и «против», подумать о подготовке к этому делу наших земель — некогда. Потом будем каяться, произносить саморазоблачительные речи! А твой сын, с ним что станет?..

— Вот что, дядя, мне сейчас не до сибирских рек! — заговорил неестественно спокойно Атакузы.— Своего отношения к домле Вахиду я не изменю. Он, по крайней мере, знает цену дружбе! А вот вы,— Атакузы рывком поднялся и тут же увидел тетушку Гульсару. Старушка стояла в дверях летней кухни, бледнее белого платка на ее голове. Она, должно быть, слышала их перепалку — ужас застыл в глазах, голова мелко тряслась.— Если вы,— Атакузы угрожающе выпучил глаза,— вместо того, чтобы помочь, будете совать палки в колеса... тогда лучше забудем, что вы мой дядя, а я ваш племянник!

Нормурад Шамурадов с силой ударил кулаком по столу:

— Кто сует палки в колеса твоему сыну, глупец?

— Я понял все, благодарю вас! — не слушая, грохотал Атакузы.— Раз дело дошло до такого... Пропадай наше родство! Не будем друг друга знать: ни в жизни, ни в смерти, ни в радости, ни в беде.

Атакузы с треском порвал подкладку, попал наконец в рукава, натянул пиджак и зашагал к воротам. У ворот его догнало отчаянное:

— Кузыджан! Родной мой, погоди!..

Атакузы не остановился, даже не обернулся, с силой пнув сапогом калитку, пулей вылетел на улицу.

Калитка, грохнув, захлопнулась, Нормурад-ата с

опаской оглянулся. Гульсара-ая как села на ступеньки при последних словах племянника, так и осталась сидеть. Насурьмленные глаза смотрели жалобно, была в них тихая скорбь — как в глазах безнадежно больных людей.

Домла Шамурадов, не выдержав, отвел глаза, медленно поднялся со стула. Остановил его дрожащий голос:

— О, домладжан! Зачем вы так? Хоть один человек справлялся о нашем житье-бытье... И того оттолкнули. Остались теперь одинокие в этом проклятом доме...

Нормурад-ата стоял, воинственно набычив упрямый лоб, боясь встретить тоскливо-скорбный взгляд жены.

И всегда она была такой. Добрая, отзывчивая, всей душой тянулась к его родичам, к близким. О муже своем заботилась, как о ребенке, любила и почитала. Но никогда не могла понять ни труда его, ни замыслов. Семья и родные — вот что главное для нее в жизни. Но что тут скажешь? Если раньше не успел ее переделать...

— Перестань, старуха! — сказал с болью.— Не суйся, ради аллаха, туда, где ничего не смыслишь!

— Я и правда не смыслю. А вы, вы во всем смыслите, и что же вы натворили. Соблюдаете свой принсип...— старушка словно проглотила с трудом что-то горькое.— Держите этот свой принсип и растеряли всех родных...

— Да прекратишь ты или нет! Хватит! — От удара кулаком по столу чуть не подскочил самовар. Старуха уколола в самое больное место.— Я уже говорил тебе — оставь мои принципы в покое! Ты же не понимаешь, они — он и его сын — пошли не по той дороге, вот что мучит меня, не дает спать, а ты...— домла сипло задышал.

Гульсара-ая не проронила ни звука. Она комочком, возьми в пригоршню — вся уместится, сжалась на ступеньках, уткнув подбородок в колени.

Нормурад Шамурадов, тяжело топая, словно желая пробить землю, пошел к дому. Поднялся на айван, открыл уже дверь, и в этот момент сзади послышался тот же раздирающий душу голос:

— Все люди поступают неправильно, только вы один правильный! Если так, кто же придет в наш смертный день, кто похоронит нас?

Старик резко обернулся:

— Не волнуйся! Помрешь ты раньше — сам позабочусь, похороню. А когда я... Если уж без этих племянничков мое тело некому будет предать земле, пусть останется непогребенным.

Домла с шумом захлопнул дверь и без сил прислонился к стене. Он уже корил себя. Как у него вырвались эти жестокие слова? Старушка и без того вечно носит при себе свою боль. А сегодня переполнилась душа, вот и выплеснула каплю. Если бы Джаббар был жив. Каждый раз, когда кто-нибудь несправедливо обходился с Гульсарой, обижал, это «если бы», он знал точно, горело в ней новой болью. Да и с ним бывает то же самое.

Нормурад прошел в библиотеку, подкрался к окну.

Гульсара-ая все еще сидела на ступеньке, белоснежный кисейный платок сбился набок, открылись редкие пепельно-седые волосы. Судорожно вздрагивали худые, острые плечи.

И вдруг словно холодом повеяло. А что, если он не прав? Что, если и впрямь отстал от жизни, не понимает того, что понимают они — его племянник и этот ученый ловкач? Но нет... Он тут же отбросил эту мысль. Беспринципность и нечестность всегда и во все времена были и остаются беспринципностью и нечестностью. И все же, все же... Не слишком ли долго носит он обиду?

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Ничто так не облегчает душу, как окончание большой работы. Труд готов. Передан на суд знатоков. И пусть судьба его еще не определена, но — с плеч долой груз, давивший долгие годы! Именно это чувство легкости и радости владело в последние недели Хайдаром.

Месяц назад поставил он последнюю точку. Работу просмотрели научный руководитель Вахид Мирабидов, официальные и неофициальные оппоненты, потом автореферат был разослан в научно-исследовательские и проектные институты, в вузы, в министерства сельского и водного хозяйства. И вот наконец Хайдар мог вздохнуть. Только теперь и понял, как доконала его эта дис-

сертация. Разослав автореферат, на второй же день махнул в кишлак. Впервые за много лет прогулял с друзьями в горах. Вернулся освеженный, набравшись сил. Теперь осталась только защита. Но тут Хайдар был спокоен: все пройдет успешно — это он знал наверняка.

Час назад из кишлака приехал отец. Был он необычно мрачен. Едва поздоровался, тут же к телефону — звонить Вахиду Мирабидову. И пока тот не приехал — ни слова с сыном. Встревоженный Хайдар только и слышал: «Министерство строительства?», «Мелиорация?..» Положит трубку, побарабанит по ней черными пальцами и опять: «Министерство сельского хозяйства?», «Госплан?», «Трест?»

Иногда разговор прерывался ненатурально громким смехом отца: «Да будет вам! Что значит для председателя-миллионера ящик фруктов? Видит аллах — из собственного сада! Перестаньте, обижусь на всю жизнь!»

Наконец явился Мирабидов; как всегда, на круглом лице его светилась радость. Отец сразу же заперся с ним в спальне.

Хайдар взволновался не на шутку: уж не случилось ли что-нибудь непредвиденное? Но вскоре они вышли — оба довольные друг другом. Хайдара отослали в его комнату — пусть готовится к завтрашнему выступлению, а сами повели речь о весьма существенном и приятном — не о защите, а о связанной с ней художественной, как выразился отец, части. Вахид Мирабидов, то и дело хохоча, сдерживал отца: нет, стол надо накрыть поскромнее... Ах эти раисы! Сейчас не одобряются пышные торжества... Члены ученого совета хотя и не прочь, конечно, погулять на таком банкете, но не имеют права... Отец возражал:

— Это уж предоставьте мне, уважаемый домла! Как же это так — мой первенец становится кандидатом наук, и чтобы я, председатель прославленного колхоза-миллионера, не отпраздновал это дело как надо? Пусть члены вашего совета не ходят на банкеты других кандидатов, но уж на нашем торжестве обязательно должны быть! Не беспокойтесь: ваш директор сам приведет их всех. А вы будете тамадой!

— Браво! Браво! — кричал Вахид Мирабидов на весь дом.— Вот это хватка! А насчет должности тамады, ничего не поделаешь, раз уж мы послужили вашему

сыну на ниве познания, придется послужить и в художественной части!

Хайдару нравились и льстивые слова Мирабидова, и чуть грубоватые шутки отца, и споры о том, в каком ресторане устраивать банкет и кого пригласить. Отложив в сторону текст своего выступления, он прислушивался к веселому разговору в соседней комнате и сам каждый раз невольно присоединялся к доносившемуся из-за двери смеху.

Хайдар любил отца, гордился им. В любых случаях отец умеет быть твердым, в работе забывает себя. Даже его ухарские замашки нравились сыну. Во всем хотелось быть похожим на отца. И конечно, он уже ясно видел и славу и власть раиса-миллионера. Ведь и впрямь не сыщешь таких дел, чтобы были не по плечу отцу!

Несколько лет назад отец сказал: «Кончишь институт, устрою в аспирантуру». И устроил. И еще сказал: «Руководителем твоим будет самый авторитетный ученый». И добился своего! Обещал достать квартиру для сына и для Тахиры в городе — слово сдержал. А теперь говорит: как женишься, эта квартира останется тебе, а Тахире, когда понадобится, достанем другую. Выполнит и это обещание! Хорошо сейчас Хайдару! Лишь одно... Одно-единственное тревожит: Латофат! Отец годом раньше предупредил: «До каких пор будешь ходить бобылем? Запомни, через месяц, как защитишь диссертацию, сыграем свадьбу!» Теперь вплетается еще и свадьба сестры. Отец задумал оба тоя устроить за один раз, вместе. Тахира, сестра Хайдара, и братец Латофат — Кадырджан — нашли общий язык. Сейчас Кадырджан работает старшим инженером в управлении у своего отца Джамала Бурибаева, в «Сельхозтехнике». Тахира — единственная дочь в семье. Отец души в ней не чает. Кадырджана почему-то недолюбливает. И если решил выдать ее за него, то делает это исключительно ради Хайдара. Хочет понадежней скрепить предстоящий союз сына с Латофат. А Латофат...

Что-то случилось с ней в последнее время. Что именно, Хайдар не знает, но чует сердце — что-то происходит!..

Хайдар резко отодвинул стопку бумаг на столе, встал и, сунув руки в карманы брюк, подошел к окну.

Небольшой тенистый двор, стесненный многоэтаж-

ными домами, был полон детьми. Две девочки раскачивались на качелях, привязанных к длинному суку огромной ярко-зеленой шелковицы. Они взлетали высоко, до балконов третьего этажа, и с визгом летели вниз, к земле. А у арыка стоял бритоголовый мальчуган лет четырнадцати и смотрел на девочек, на их парашютом надутые платья...

Хайдара позабавили и расплывшееся в улыбке лицо мальчика, и визжащие от восторга девочки. Давнее, сладчайшее воспоминание затуманило голову.

Лет пять назад, перед сессией, в начале лета, он приехал в кишлак. Ночью долго веселился с друзьями детства в саду под старым тутовым деревом. Хорошо выпили, посудачили о кишлачных девушках, посмеялись вдосталь. Там же под деревом и заснул под утро на застланном одеялами помосте. Его разбудил треск ломающихся веток и отчаянный крик сестры:

— Ой, дададжан! Латофат!..

Хайдар, как был — в трусах, вскочил на ноги и увидел: атласное платье Тахиры алым стягом полыхало где-то в поднебесье, у самой вершины старого, могучего дерева, а прямо над Хайдаром, в трех-четырех метрах от земли... висела, крепко схватившись руками за ветку, девушка в ярко-цветастом шелковом платье... И первое, что бросилось в глаза и сладко обожгло,— оголенные, длинные, со ссадинами в нескольких местах, стройные ноги — белые, не тронутые солнцем на бедрах.

Это было так неожиданно и так жгуче откровенно, что Хайдар задохнулся от горячей волны, подступившей к горлу.

— Прыгай! — он протянул руки.

Девушка испуганно взглянула вниз, торопливо оторвала одну руку от ветки, потянулась к задравшемуся подолу и... с тихим вскриком упала в объятия Хайдара. Каждой клеткой своей он ощутил молодое, трепещущее тело, увидел близко-близко испуганные, неправдоподобно черные зрачки ее больших глаз, чистую, нежную смуглость лица и, не помня себя, принялся целовать ее губы, царапины на шее и на плечах. Девушка, казалось, поддалась его необузданной ласке, на миг вся прильнула к нему. И тут, как нарочно, раздалось неуместное глупое «вай!» спрыгнувшей на землю Тахиры. Девушка, упершись коленками в его живот, резко рванулась, выскользнула и бросилась в гранатовые кусты.

Это и была Латофат. Красавица Латофат, о которой в ту ночь толковали кишлачные джигиты. Хайдар и раньше видел ее, когда приезжал на каникулы. Но никак не думал, что за год-другой она может так расцвести.

Весь день Хайдар ходил сам не свой. Стоило на миг остаться одному и закрыть глаза, как снова всем существом ощущал ее молодое, трепетное тело, видел нежную, бархатную черноту бровей и ресниц. Томился, места себе не мог найти. Да что говорить о былых временах, даже вот сейчас, в эту минуту, только вспомнил тот поцелуй — случайный дар судьбы — и снова обожгло.

Хайдар отвернулся от окна, но сесть за стол теперь он просто не мог.

Да, что-то стряслось с Латофат в последнее время. И глаза стали совсем другие, огромные глаза, что так смотрели на Хайдара в то счастливое утро. Теперь при встрече с ним становятся холодными, чужими. Скрытная стала, что-то есть у нее на уме. Что-то есть.

Из соседней комнаты донесся возбужденный голос отца:

— Все! Эта ваша защита уже сидит у меня вот где! Дай бог сыну выйти целым и невредимым из этой кутерьмы — через неделю закачу два тоя.

Хайдар улыбнулся. Отцовское «закачу два тоя» прогнало его тревогу. Поистине, нет таких дел, чтобы отец не уладил. Лишь бы он был жив и здоров, все остальное обойдется...

— Тахира! Покушать гатоп, моя сладкая? — снова раздался довольный голос отца.

И опять улыбнулся Хайдар: «гатоп» — слабость отца, любит, если хорошее настроение, вставить в речь русское словцо.

— Гатоп, дададжан! — голосок Тахиры звенел радостно, и Хайдар понял: на кухне, кроме Тахиры, был и Кадырджан.

— Несите сюда!

Пол задрожал от тяжелой твердой поступи, дверь комнаты Хайдара широко распахнулась.

На пороге стоял Атакузы: ноги расставлены, руки — в бока, новая, с не обмятыми швами, черная тюбетейка победно сдвинута на лоб. На смугло-коричневом, поблескивающем, как медь, возбужденном лице разлито

довольство. Он смотрел на сына, отцовская гордость так и выпирала из него. И во всем его облике: в уверенной осанке, в жилистой, сильной фигуре, в хмельных, лихорадочно блестящих глазах — неуемная сила, вера в себя.

— Хватит! Кончай свои доклады-поклады! Отдохни, сил наберись перед завтрашним сражением! Правда, твой домла уверяет — диплом у тебя в кармане. Спасибо за ваши труды, домла. Вот вы действительно огул-бола.— Атакузы подошел к сидящему Вахиду Мирабидову и по-братски обнял его. И «огул-бола» — настоящий мужчина — расцвел самой яркой из своих золотых улыбок.

Мирабидов подмигнул Хайдару. Видно, продолжая разговор, который вели в гостиной, сказал:

— Не расстраивайтесь из-за вашего дяди. Он старый человек, и взгляды его, как бы это сказать, несколько отстали...

— Эти взгляды у меня вот где сидят!..— Атакузы показал на затылок.

— Ладно уж, будем великодушными, дорогой! Вспомним, сколько бед перенес Нормурад Шамурадов! Простим ему заблуждения. По правде сказать, мне его жаль! — Сияние на круглом румяном лице затянула тучка печали. Домла Мирабидов чуть наклонил голову с розовыми просветами в редеющих пепельно-серых волосах — предался на миг думам. Ростом он был всего лишь по плечо Атакузы и заметно начал полнеть, однако живота не отрастил и казался просто плотным, крепким мужчиной. Одежда молодила его: модная, хорошо сидящая голубая тенниска, тщательно отутюженные брюки с острыми, как лезвия, складками. И совсем уж по-молодецки — яркий розовый галстук на шее.

— Да, друзья, не обижайтесь на старика. Нормураду Шамурадовичу пришлось нелегко в жизни...— повторил Мирабидов.

— Это конечно... Вот только...— лицо Атакузы горько сморщилось.— Он же дядя мне, а ведет себя хуже чужого.

— Не надо, отец! — Хайдар, под стать своему руководителю, степенно склонил голову...— Не будем обижаться на старика...

Хайдар и сам мог бы помнить обиду. Неделю назад заходил к старику, а ушел от него как в воду опущенный. Но сейчас... Не хотелось вспоминать о неприятностях. Да и в самом деле, старик сейчас казался таким беспомощным и жалким. А Вахид Мирабидович — как благородно, осторожно погасил он обиду отца!

— Идет! — сказал Атакузы.— Не будем портить настроение в такой день. Тахира! Где же твой хваленый плов?

— Иду, иду, дададжан! — Тахира вошла, неся целое блюдо мелко нарезанных огурцов и помидоров. Ее гладкие, ровно подстриженные волосы мягко рассыпались по белой шее, на порозовевшем лице играли ямочки, и оно походило на круглую румяную лепешечку, только что вынутую из тандыра. Тахира была явно взволнована, возбуждена. Видно чувствуя сама, как раскраснелась, не знала, куда деть сияющие счастьем глаза. Вслед за Тахирой появился долговязый, весь красный от жары Кадырджан, он нес на вытянутых руках огромное блюдо с горой розового, дымящегося плова. Комната наполнилась острым и пряным ароматом жареного лука, перца, чеснока и мяса. В узких, по-кошачьи зеленоватых глазах Кадырджана, в резко выступающих скулах таилась торжествующая улыбка. Почуяв причину его довольства, Атакузы метнул сердитый взгляд на дочь. Но сели за стол, и тосты один за другим рассеяли понемногу тучу. Пили за завтрашнее торжество, за профессора Мирабидова, его зятя Шукурова, прекрасного человека и талантливого, как выразился Атакузы, руководителя. Подобрев, Атакузы познакомил Вахида Мирабидова с Кадырджаном и даже поднял бокал в честь предстоящей «двойной свадьбы». Тут уж и Кадырджан не остался в долгу. Забавно шевеля кончиком крючковатого носа, предложил тост за его лучшего друга Хайдара, достойного сына Атакузы-ака. Кто еще, если не Атакузы-ака, мог вывести отсталое хозяйство в миллионеры. Он, Хайдар, достойный сын и Алияхон-апа, чьей любовью и заботой выпестована эта чудесная семья.

Хайдар знал, что его будущий родич Кадырджан ловкий шайтан, но никак не предполагал за ним такого таланта. Ну и дипломат! В одном тосте сумел объять необъятное — возвеличил столько людей, упомянув при

этом и своего отца Джамала Бурибаева... Отец, по его словам, будет безгранично рад породниться с такой семьей.

Вахид Мирабидов до этого не очень-то замечал Кадырджана, а тут с места привстал и, чокаясь с Атакузы, полушутя воскликнул:

— О, выходит, и с этой стороны порядок — священный союз со старым другом! Хоть и бывший, но все же замминистра!

Атакузы шлепнул по столу большой смуглой до черноты ладонью, тоже полушутя ответил:

— Пусть этим гордится ваш бывший заместитель министра, пусть радуется, ведь становится родичем не кого-нибудь — самого Атакузы Умара-оглы!..

Тахира, засмущавшись, побежала на кухню. За ней вслед рванулся было и Кадырджан, Атакузы не выдержал — рыкнул:

— Что это вы так цепляетесь за подол, уважаемый зятек! — Медно-красное лицо его окаменело.— Простите нас, но джигит должен быть джигитом, соблюдайте достоинство. Сыграйте сначала той! Оформите все законно, тогда и увивайтесь себе вокруг жены сколько захочется! Правильно я говорю, домла?

Вахид Мирабидов попытался свернуть разговор на шутку:

— Разве вы бываете неправы, дорогой? Но молодежь...

— Я ничего не имею против молодежи, домла! Пусть влюбляются и веселятся! Но выходить за рамки приличий — это нет! Вы уж извините нас, стариков, Кадырбек. Мы не скрываем, что думаем, так-то лучше — открыто.

Кадырджан как ни в чем не бывало проглотил укор будущего тестя.

— Нет, нет, что вы, дададжан! Не из-за чего нам обижаться...

Атакузы еще раз поднес свой бокал к бокалу Вахида Мирабидова, выпил и внезапно встал: угощение закончено.

Встал и Хайдар — собрался было проводить своего руководителя. Атакузы властно остановил:

— Занимайся своим делом. Домлу отвезет Кадырбек!

Гости ушли. Атакузы стоял посреди комнаты, заложив руки за спину. Верный признак: отец чем-то недоволен.

— Этот парень...— чеканя каждое слово, начал он,— переходит всякие границы. Я говорю про будущего зятька. Не слишком ли бесстыдно милуется с твоей сестрой?

Хайдар смутился.

— А что я могу сделать? Ваша дочь...

— Моя дочь, верно, но тебе она сестра! Почему до сих пор не подкрутил им хвоста? Подумаешь, сын Бурибаева! Если бы не его сестра, без которой ты, кажется, жить не можешь, мне бы и в голову никогда не пришло, чтобы мою дочь — этому... паршивому козлу... А у тебя самого, кстати, как дела?

— Мои дела... Домла же сказал, все будет в порядке...

— Не о тех, не о тех делах речь! — нетерпеливо перебил Атакузы.— Говорю о делах на твоем... личном фронте! Что-то ты тормозишь, а?.. Будем играть свадьбу или нет?

Хайдар развел руками:

— Я даже не знаю...

— А что ты знаешь? — Атакузы представил себе утреннюю встречу: Латофат, а рядом совсем незнакомый мужчина — и крепко сжал кулаки.— Тряпка! Уж не позволил ли кому отбить ее? Что молчишь?

— Да ничего с ней не случилось.

— Не случилось? Так почему ее брат отирается здесь, а сестры не видно? У тебя же завтра защита! Где твоя невеста?.. Могла бы и прийти, помочь, раз у вас заведено так!

Хайдар побледнел. Слова отца хлестнули его.

— Она тоже недавно защищала диплом. У нее своих дел по горло...

— Дел по горло? А может, что другое случилось? — Атакузы весь ощетинился, уставил свои глаза прямо в глаза сына. Он втайне гордился им. Хайдар был очень похож на него: высокий рост, медно-смуглое продолговатое лицо, красивый с горбинкой нос — будто копия Атакузы! Было! Был похож! А сейчас? Округлился, даже брюшко как будто начало наливаться! И лицо не нравится — хоть и чуть-чуть, но уже лоснится от жира. А главное — его, Атакузы, сын, будущий кандидат наук,

не может уломать какую-то девицу! В свое время Атакузы предупреждал: ведь Латофат — точная копия матери, той молодой Фазилатхон, а народ не зря говорит: «Когда выбираешь ткань, смотри на кромку, выбирая дочь, смотри на мать». Отговаривал сына, убеждал — нет, не послушался, уперся... Ну уперся, так действуй же! А он тянет, волочится за ней впустую! Атакузы вконец обозлился: — Ах вон что? Она тоже, значит, защищала диплом? А может, не в дипломе дело, может...

— Ладно, отец,— Хайдар пошел к двери.— Как-нибудь уладится...

— Нет! — Атакузы одним шагом заступил ему дорогу.— Меня не устраивают эти бабьи слова! Я объявил — в этом году играем двойную свадьбу! А теперь из-за твоего слюнтяйства слова не сдержу! Не будет такого! Не можешь уговорить, так я сам...

— Что?! — неожиданно громко крикнул Хайдар. Вот теперь он был похож на отца вполне, и кулаки сжал с гневом так же, как отец.— Это вам не ваши колхозные дела!

Смуглое лицо Атакузы внезапно посветлело, он довольно заулыбался, глаза тепло смотрели на сына.

— Вот это мужской разговор. Иди бери машину и — айда к ней. Но помни: отступлению не бывать! И вообще, пусть завтра приходит на защиту и на банкет. Пусть помогает! Все!

2

В странном состоянии вышел от домлы Шукуров. Сначала, когда Нормурад обрушился на ученых-верхоглядов, которые, вместо научного подхода к сложнейшим проблемам, решают их, подчиняясь утилитарным задачам, Шукурову показалось, будто домла имеет в виду его тестя Вахида Мирабидова. Он слышал о каком-то их застарелом споре. И когда же кончится эта бессмысленная распря? Но домла говорил так горячо, с такой силой убежденности и с такой прямотой, что Шукуров постепенно склонился на его позиции. А затем рассказ об этой злосчастной статье!.. Больше всего Шукурова поразила боль в голосе старика. Этой боли поверил он вполне.

Да и старушка долго еще не выходила из головы. Маленькая, чистенькая старушка с печальными глазами.

У Шукурова в Ташкенте были две задачи: забрать жену и детей — они уже с полмесяца гостили в доме тестя — и еще побывать в целом ряде министерств, как говорится, «выбить» из них минеральные удобрения и строительные материалы для района. Эти дела не входят в его прямые обязанности. Но что поделаешь? Очень уж много обещаний начальству надавал бывший секретарь. Не учел возможностей района. И теперь стоит Шукурову заговорить с любым из раисов, как тот, подобно голодному птенцу, широко разевает клюв — требует: «Удобрения, удобрения». А заведешь речь о благоустройстве, раисы тут же, наперебой: «Лес, цемент, кирпич!»

По дороге в Ташкент Шукуров наметил первым делом зайти в «Узсельхозтехнику», направился было туда, да вспомнил, что придется обращаться к Джамалу Бурибаеву, и отложил: видно, подействовал рассказ Атакузы, не хотелось сейчас встречаться с этим человеком. Он тут же и посмеялся сам над собой, но «хождение» свое начал с Госплана.

На собственном опыте Шукуров знал, как трудно вершить дела в столице. Но у него был козырь: район, куда он приехал работать, упирался в бескрайние степи, а там организовывались новые целинные совхозы. Вот он и нажимал на слово «целина». Благодаря гипнотической силе этого слова его без очереди приняли и в Госплане, и в министерствах сельского строительства и водного хозяйства. Правда, просьбы удовлетворяли не всегда, но принимали неплохо.

Шукуров вышел из Министерства сельского строительства. Стрелки часов приближались к пяти. Он только что звонил председателю «Сельхозтехники», но тот, сославшись на какое-то совещание, назначил свидание на семь. Образовалось «окно» — целых два часа. Теперь наконец можно завернуть к своим.

Еще издали Шукуров увидел двустворчатые голубые ворота гаража и застекленную веранду — балахану над ними. Подъехал ближе — у ворот стояла знакомая белая «Волга».

«И раис уже здесь!» — подумал он. В этот момент раскрылась калитка, из нее вышел, отряхивая пыль с

одежды, шофер Атакузы, а за ним — сам Вахид Мирабидов.

Шофер кивнул Шукурову и тут же укатил. Тесть, рассиявшись золотом рта, раскрыл объятия:

— Сын мой Абрарджан! Наконец! С утра ждем вас — слух дошел, что приехали в наши края. Где это вы пропадаете?

Вахид Мирабидов был чем-то взволнован — больше, чем обычно, сиял, громче говорил, но в остальном подтянут, как всегда, и одет с иголочки.

Расцеловал зятя, обдав запахом коньяка.

— Махбуба! Ханум! Где вы? — крикнул в калитку.— Гость долгожданный пожаловал! Карнаи, сурнаи громче! Зурны! Пусть играют зурны!

В дверях дома показалась белоликая, вся круглая, пышная Назокат-биби. Легкая, подвижная, хоть ей уже пятьдесят, быстро засеменила к зятю, обняла за плечи.

— Разве можно так? Заставили себя ждать, милый зятек!

— А где же Махбуб? — снова крикнул Вахид Мирабидов.

Назокат-биби кокетливо приподняла тонкие ниточки бровей.

— Махбуба не выйдет. В обиде она на вашего зятя! Целую неделю ждет уже, никак не дождется...

— Кончай критику! Не забывай — зятя почитал сам пророк!

Шукуров шел между тестем и тещей, осыпаемый их развеселой трескотней, и невольно улыбался.

Посредине просторного двора зеркалом сверкал выложенный белым кафелем большой водоем с фонтаном. Справа над водой хауза возвышался на высоком цоколе бело-голубой аккуратный дом. Казалось, он только что отстроен, так свеж и ярок был облицовочный кирпич стен. По левую руку, опять же над хаузом, красовалась просторная летняя терраса. У воды пышно цвели розы, ухоженная виноградная лоза обвивала террасу. Все блестело чистотой, порядком, благополучием.

Шукуров еще у калитки заметил несколько ящиков с крупными желто-золотистыми абрикосами, виноградом и мелкими, будто подобранными один к другому — особый сорт! — огурцами.

«Успел раис!» — промелькнуло в голове, и в это мгновение он увидел Махбубу — она стояла, свежая, похорошевшая, на ступеньках бело-голубого дома.

Тоненькие, как у матери, брови чуть приподняты, большие серые глаза, подведенные голубыми тенями, кокетливо сощурены. Казалось, Махбуба не в Ташкенте гостила, а отдыхала на курорте.

— Махбуба! Дочь моя! Встречай супруга. А вы, ханум, займитесь угощением! — И Вахид Мирабидов, словно боясь помешать свиданию влюбленных, с подчеркнутым тактом взял под руку Назокат-биби и повернул ее к летней кухне — за террасу.

Шукуров от всей этой суеты чувствовал себя неловко.

— Здравствуй, Махбуба! — подошел к жене.

Махбуба спрятала за спину белые оголенные руки с длинными ярко-красными ногтями...

— Нет, нет, не хочу здороваться с вами.

— В чем же вина вашего покорного слуги? — Шукуров шутливо склонил голову.

— Он еще спрашивает! Целая вечность прошла, а ваше сиятельство не соизволили хотя бы раз поинтересоваться, что с вашей женой!

— Я вижу, жена неплохо чувствовала себя здесь и без супруга! — Шукуров скользнул взглядом по ее новому снежно-белому платью из кримплена, по новым, тоже белым, лакированным туфлям и вдруг почувствовал: в душе шевельнулось что-то похожее на ревность. Так с ним почти всегда бывало, когда Махбуба гостила у родителей.

— И в самом деле! — засмеялась Махбуба.— У нас сегодня бал. Сейчас придут подруги. Между прочим, есть очень даже премиленькие! Хотите, познакомлю?

В ее шутке была и вера в себя, и намек: «Я вас ни к кому не ревную!» И эта ее самоуверенность неприятно задела Шукурова. Он хотел уже ответить в ее тоне: «Ну что ж, с удовольствием!», но тут на террасе зазвонил телефон, послышался голос тестя, говорившего с кем-то, потом тесть закричал: «Сюда давайте, сюда!» — и Шукуров понял: зовут его.

Вахид Мирабидов сидел за столом. Перед ним на огромном — не обхватить рукой! — бледно-голубом обливном блюде высоко громоздилась пирамида из золотисто-желтых абрикосов, а с тарелок манили тонко на-

резанные свеже-пунцовые ломтики помидоров и огурчики — несомненно из ящиков Атакузы.

Вахид Мирабидов пригласил зятя сесть рядом и подал пиалу чая.

— Друг мой звонил, Атакузы... Вы, я слышал, уже познакомились с ним, Абрарджан? Это хорошо! Замечательный человек. К тому же один из могущественных раисов вашего района! — Мирабидов строго и значительно округлил глаза.— Я, помнится, говорил вам — мы с ним давние друзья! Завтра его сын защищается. Он, естественно, волнуется. Я только что от него, а он уже звонит. В ресторан приглашает, в «Гулистан». Между прочим, будут большие, деловые люди. Съездим?

«Большие люди». Слова эти напомнили Шукурову разговор, который только что состоялся в Министерстве сельского строительства. Принял его сам министр. Любезно принял, но так же любезно и отказал в помощи. По словам министра выходило — район исчерпал все выделенные фонды стройматериалов. Шукуров засомневался, попросил показать документы. И, проглядывая бумаги, несколько раз наткнулся на фамилию Атакузы. Оказалось, раис урвал львиную долю материалов, выделенных району. Помогли ему письма, подписанные секретарем обкома по сельскому хозяйству Бекмурадом Халмурадовым. «Большие люди»...

В первую же неделю, как прибыл в район, Шукуров побывал в колхозе «Ленин юлы» [1] — в колхозе Атакузы. Осмотрел новый поселок. Слава о красоте и благоустройстве этого поселка гремела по всей республике. И вот увидел собственными глазами, и то, что увидел, превзошло все его ожидания. Шукуров тогда же от души поздравил председателя-миллионера. А потом пришла жалоба на Атакузы от старого раиса: будто бы перехватил у него дефицитные мраморные плиты. Атакузы привел тогда доводы достаточно веские, но не тот ли самый новый поселок сыграл главную роль, когда он, Шукуров, распорядился «закрыть» жалобу. А пожалуй, надо было разобраться...

Шукуров помрачнел.

— Спасибо, я не смогу,— ответил тестю.— Мне еще в «Сельхозтехнику».

---

[1] «Ленин юлы» — «Ленинский путь».

— Тем более надо ехать в ресторан! — рассмеялся Вахид Мирабидов.— Туда непременно приедет и Джамал Бурибаев, а он один из столпов этой самой «Сельхозтехники». Вот случай познакомиться с ним — пригодится. Человек с головой. Недаром Атакузы хочет породниться с ним...

— Да, да... Атакузы-ака рассказывал о нем. Поразительная история...

— Какая же?

— Что-то там произошло во время войны между этим... Джамалом Бурибаевым и сыном домлы Шамурадова. Раис говорил как-то неопределенно.

— А-а... Вы об этом! С кем не бывает в молодости! — Вахид Мирабидов украдкой метнул взгляд в сторону летней кухни и заговорщически подмигнул зятю.— Жила там в кишлаке девушка, неописуемой будто бы красоты. Ну, сын этого самого... моего закадычного друга Нормурада Шамурадова любил ее. Да уехал на фронт. Появляется Джамал Бурибаев — молодой, горячий, собой видный. Ну и... не устояла... Вы же знаете женщин... Нагрянул этот самый парень. Да еще со звездой на груди. Другой махнул бы рукой. Мало на свете красивых девушек? А этот, видно, был такой же гордец, что и папаша,— полез, понимаете, в драку! Даже стрелял, говорят, в Бурибаева. Не попал, к счастью!

Шукуров занялся разливанием чая — неловко было смотреть на возбужденно-раскрасневшееся лицо Вахида Мирабидова. Рассказ тестя неприятно удивил его. Даже не столько сам рассказ, сколько ужимки, тон Мирабидова. А как он отозвался о сыне Шамурадова! Шукурову вспомнилась прямая, откровенная речь домлы Нормурада и кроткие, печальные глаза его жены. Слова тестя показались мелкими, недостойными. Шукуров чуть было прямо и не выложил ему это. Но осекся. Он же гость в этом так приветливо встретившем его доме. Но почему-то даже счастливый смех жены, доносившийся до него, покоробил. Здесь — здесь с избытком всего: и достатка, и веселья. Сам тесть цветет, задает всему тон. Какая разница между той, меченной бедами, семьей и этой — счастливой и беззаботной. И еще было что-то, в чем Шукуров не мог разобраться, но что говорило о скрытой несправедливости судьбы.

Вахид Мирабидов стукнул пиалой о стол, поставил ее вверх дном — кончил чаепитие! — испытующе глянул на зятя.

— Вы, я слышал, были у моего друга...— при слове «друг» он широко осклабился и сделал паузу,— у Нормурада Шамурадова?

— Да, заходил вместе с Атакузы-ака.

— Ну и о чем же беседовали?

— О разном,— Шукурову не хотелось продолжать этот разговор.— В основном о проблемах экологии. Домла, оказывается, очень интересуется этими вопросами...

Вахид Мирабидов состроил кислую мину:

— Чем только этот домла не интересуется! Слыхал я, даже пишет книгу о горной арче. Утверждает, будто стоит покрыть все горы Средней Азии арчой, как было в древности, и проблема воды решится сама собой! И переброской сибирских рек ни к чему заниматься. Ну разве не дилетантство!

И была в словах Мирабидова такая неожиданная неприязнь, таким железом зазвучал обычно мягкий голос, что Шукурова вдруг осенило: «Не его ли имел в виду домла, когда говорил об авторе чуть не сгубившей его статьи?»

Эта догадка была неприятна, Шукуров попытался быстрее отмахнуться от нее.

— Я видел у него карту предполагаемой трассы будущего канала...

— Ну и что?

— Работает над ней, всюду понаставил вопросы и восклицательные знаки, заметки.

— Вот-вот! — нервно рассмеялся Вахид Мирабидов.— Вопросительные знаки! Он только и знает, что ставит их везде. Как говорится, один дурак может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят. Между прочим, прочли вы мою книгу о переброске сибирских рек в Среднюю Азию?

— А она уже вышла?

— Вышла! О ней уже говорят! — раздражение мигом покинуло Мирабидова, и круглое, розовое лицо его засияло почти детской радостью, счастьем.— Пойдемте, пойдемте, дорогой! Сейчас я подарю вам ее с автографом!

3

Кабинет Мирабидова просторный, очень светлый, огромные окна распахнуты в тихую малолюдную улицу. Как и кабинет домлы Нормурадова, уставлен книжными шкафами. Первое, что бросилось сейчас в глаза Шукурову, когда он вслед за тестем вошел сюда,— огромная, закрывшая полстены карта. Такая же самая, что лежит на столе у домлы Шамурадова, с теми же красными и синими четкими линиями,— от зеленых лесов до желтых песков, окруживших синь Аральского моря. Однако здесь не было ни вопросительных, ни восклицательных знаков, ни мелкой арабской вязи на полях. Прямо на карте висел двухструнный дутар из коричневого урюкового дерева, искусно инкрустированный слоновой костью. Шукуров знал, тесть часто берет его в руки. Виртуоз. Но как не вязалась эта затейливо украшенная игрушка с проблемной картой! Шукуров невольно улыбнулся.

Вахид Мирабидов прошел к старинному квадратному столу меж окон, заваленному ворохом папок и рукописей. Взял из высокой стопки одну не слишком толстую, но и не тонкую книгу в твердом, черном переплете. Молча, все с той же улыбкой показал ее и, не садясь, настрочил надпись. Был он в этот миг внушителен, исполнен достоинства.

— Вот. Надеюсь, будет время перелистать! — и удовлетворенно опустился в глубокое вертящееся кресло. С мягкой улыбкой выжидающе посмотрел на зятя.

Книга называлась «Жажда и надежда древней земли». На первой странице крупным, небрежно-размашистым почерком тесть начертал:

«Дорогому сыну моему Абрарджану с надеждой, что и вы, и ваши дети, мои любимые внуки, увидят претворенными в жизнь идеи, заключенные в этом скромном труде».

Шукуров с детства привык смотреть на книгу как на чудо. Люди, творящие это чудо, всегда казались ему особенными, он невольно склонялся перед ними. И сейчас, держа в руке книгу, да еще с такой надписью, Шукуров почувствовал внезапную теплоту.

— Спасибо, дада! Новых творческих удач вам!

— Благодарю, сынок! — Вахид Мирабидов задорно крутанулся в кресле и спросил: — А все же, что нагово-

рил вам мой друг по поводу этой проблемы? — он показал пальцем на книгу.

Шукуров украдкой взглянул на часы — оставалось еще минут тридцать до семи — и присел на кожаный диван.

— Да ничего особенного...

— Но все же?

— Помнится, говорил, что необходимо глубоко изучить возможные последствия переброски рек. Тревожится: что станет с окружающей средой на севере, на юге...

— Общие слова! Чтобы сказать такое — не надо быть большим мудрецом. Еще?

Шукуров озадаченно потер лоб.

— Ну, словом, он считает, что спешить здесь нельзя. Что это тот случай, когда надо семь раз отмерить...

— Обычные доводы перестраховщика! — Вахид Мирабидов, как мяч, подпрыгнул, вскочил с кресла, сунул руки в карманы брюк, выставил по-петушиному грудь, пробежался по кабинету.— Есть, есть еще у нас такие горе-ученые. К сожалению. Узколобые! Никакой фантазии! Ни капли смелости! Не говоря уже о масштабном государственном подходе к большим, научным проблемам. Как чеховский «человек в футляре»: как бы чего не вышло! А чего требует от нас жизнь? Дерзновенных мыслей, смелости. Даже, если хотите, риска!

Шукуров глазами следил за воинственно-петушиными пробежками тестя, слушал его страстные тирады и вдруг поймал себя на мысли: тесть начинает ему нравиться. Смутная тревога, что легла на душу, во время беседы на терраске, улетучилась. По всему видно, подозрения были скороспелыми. Шукурову захотелось, чтобы Вахид Мирабидович еще логичнее подтвердил свою мысль.

— Да, вот еще что говорил домла: до переброски сибирских рек надо обновить всю оросительную систему Средней Азии. Говорит, если привести в порядок имеющуюся сеть каналов, у нас окажутся большие резервы...

— Большие резервы! — передразнил Вахид Мирабидов. Прищурив загоревшиеся глаза, он накинулся на Абрара Шукуровича, будто перед ним на диване сидел не зять, а сам Нормурад Шамурадов.— А о таких подсчетах он вам не говорил? Используй хоть все родники, даже растопи ледники Тянь-Шаня — к восемьдесят пя-

тому, максимум к девяностому году все равно исчерпаются все возможности освоения новых земель! С учетом даже всех построенных и строящихся водохранилищ и каналов мы сможем освоить еще миллион, от силы полтора миллиона гектаров. А потом? Что потом? Полный застой экономического развития! Вот что наступит потом. И это при наличии огромного запаса — многих миллионов га плодороднейших земель. А как с ростом населения? Растем ведь невиданными темпами! Тоже немаловажный фактор. Понятно вам, почему надо приступать к осуществлению этой идеи? А все мелкие споры, сомнения лучше всего немедленно, сейчас отбросить. И без того на составление реальных проектов и на строительство самого канала, даже с учетом мощи современной техники, уйдет не менее пятнадцати лет! Говорил он вам об этом или нет? — наскакивал на зятя Вахид Мирабидов.

Шукуров засмеялся:

— Мне же не по чину вести с ним такую дискуссию!

Домла замер перед зятем и тоже вдруг захохотал:

— Забылся, кричу, будто передо мной сидите не вы, Абрарджан, а сам Нормурад Шамурадов, мой старый любезный друг!.. А знаете, почему так горячусь? — Мирабидов погрустнел так же внезапно, как и развеселился.— Умеет, умеет он пыль в глаза пускать. Послушать моего друга — нет ученого более честного, принципиального, чем он! И представьте себе, находится кое-кто, поддаются его краснобайству! И не только несведущие в тонкостях науки... А впрочем, мне его жаль. И знаете, хватит о нем, поставим точку. Вижу, вы посматриваете на часы. Значит, не будете в ресторане?

— Спасибо, не могу.

— Я тоже, наверно, не буду. Посижу, подумаю о завтрашней защите. Хоть мне и не обязательно держать большую речь, все же хочу высказаться по некоторым спорным вопросам. Да и этот мудрец, пожалуй, может выкинуть номер.

— Так я пойду...— сказал Шукуров.

— Да, да, только вот... Что-то хотел я вам сказать? — тесть напряженно сжал губы.— Да, вот что, Абрарджан. Вы молоды, а стали руководителем большого района. Хочу дать вам маленький совет. Знаете, как говорится, что неведомо ангелу, ведомо старости.

Учтите: такие люди, как Атакузы, вам очень пригодятся! Надеюсь, тень еще не легла между вами? И не должна лечь,— заявил тесть решительно.— Вы честный, прямой человек, Абрарджан. Я это знаю и ценю. Но не спешите, когда перед вами такие люди, как Атакузы. Подумайте, прежде чем идти на обострение... Атакузы — мой друг, а вы мне сын родной! Запомните: люди, подобные Атакузы, способны на все. Человек он неплохой, замечательный организатор, при этом по-настоящему любит свое дело, но, если что ляжет ему поперек дороги, ни перед чем не остановится. Запомните это! А вы молоды, вам еще расти и расти, сын мой!

Шукуров молчал. Он уже при первой встрече понял силу Атакузы. Всю же меру его могущества почувствовал сегодня. Куда бы ни заходил — везде протянулись незримо нити его связей. Там, в области,— секретарь обкома Бекмурад Халмурадов, здесь Джамал Бурибаев, в министерствах, в институтах, в управлениях — всюду свои люди. Такой человек и впрямь, если что, может ни перед чем не останавливаться...

Шукуров резко встал. «Обострение? Наоборот, я уже прикрываю его!» — хотел отмахнуться шуткой, но, пожалуй, обидишь тестя. Ведь от души говорил старикан, добра желал.

Зять и тесть вышли на веранду и невольно остановились. Во дворе, на голубой террасе, где недавно они сидели, собрались молодые женщины. Они стояли кругом, ритмично хлопали в ладоши, а в центре под легкие вскрики магнитофона танцевала Махбуба. Плавно неся белые округлые руки, покачивая бедрами, она легко плыла по тесному кругу. Махбуба чуть-чуть начинала полнеть, но это даже шло ей, высокий рост скрадывал намечавшуюся тяжеловатость. Вахид Мирабидов почувствовал отцовскую гордость, повеселел, не заметил, как сам начал пританцовывать. Но тут из боковой комнаты вышла Назокат-биби и страшно округлила глаза:

— Идите, идите к себе, спугнете девушек! — как колобок подкатилась и ловким движением подтолкнула мужа к двери. А зятя пригласила: — Может, посидите с гостями?

— И рад бы посидеть, да дела! — Шукуров виновато улыбнулся и поспешил проститься с тестем и тещей.

Вахид Мирабидов поплелся обратно в кабинет, нехотя опустился в свое любимое вертящееся кресло. Он

был доволен разговором с зятем. Видать, произвел на него впечатление. Доволен был и дочерью, и ее гостями на голубой терраске. О, были бы сейчас здесь его сверстники с женами, взял бы Вахид в руки дутар, ударил бы по струнам, распотешил бы компанию! О работе не хотелось и думать. Да и к чему? Все и без того будет как надо. В голову пришла мысль: как-то там их величество Нормурад Шамурадов, пожалуют завтра на защиту? Не собираются ли чего отколоть по старой привычке, покрасоваться своей знаменитой принципиальностью? «А, пусть приходит! — усмехнулся Мирабидов.— Пусть выступает против. Очень будет хорошо. Пусть вывернется наизнанку перед своими родичами!» Вахид Мирабидов почувствовал, что к сражению он готов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Латофат в общежитии не было. В вестибюле сидела толстая краснощекая вахтерша и тянула из пиалы чай, посасывая леденец. Хайдар обратился к ней и тотчас же пожалел.

— Спрашиваете про девушку из восемьдесят шестой? Какая из них? А, красавица-недотрога, все парни за которой бегают! Отправилась с этим, как его... с преподавателем. Может, знаете, такой хиленький, черномазый.

Хайдар бросился на улицу, вахтерша успела ввернуть вдогонку:

— Просто удивляюсь! При таком джигите-беркуте мотаться с этим заикой!..

Солнце уже село. И хотя еще было светло, площадь вокруг огромного цветника с журчащим фонтаном посредине и утонувшие в зелени листвы улицы, днем многолюдные, почти опустели. Лишь на чугунных крашеных скамейках под сенью деревьев сидели парочки, слышался тихий говор, негромкий смех...

Хайдар зашагал к цветнику рядом с общежитием. Плотно сжал губы. Нет, он, конечно, не ревнует Латофат. Да и не такая она. Легкомыслие и ветреность ей вовсе не свойственны. Могла бы даже быть чуточку шаловливее, веселее.

В компаниях Хайдар не раз встречал девушек, которые приехали в город из далеких кишлаков. К ним очень подходило выражение: вырвались. Действительно, вырвавшись из-под строгой опеки родителей, они очертя голову бросились в вихрь городской жизни. Как необузданный поток — прорвал плотину и летит себе, не разбирая пути. Однажды Хайдара не на шутку увлек такой поток. Подумывал даже порвать с Латофат — устал от ее странностей. Но узел оказался слишком тугим — не разорвать.

Отец вот посчитал его размазней. Находит, что Хайдар робок с прекрасным полом. Какое там «робок». Раньше скольким кружил, бывало, голову. А вот встретился с Латофат, и что-то приключилось с ним. Прямо болезнь какая-то.

Этот хилый заика, о котором говорила вахтерша,— ну что может в нем найти Латофат? Конечно, кандидат наук, но ведь мужчина за тридцать. Занимается на биофаке какими-то насекомыми, паутинными клещами. Мечтатель-дервиш! И надо же, вскружил голову ей высокими речами, теперь она жить не может без его букашек-мукашек — уму непостижимо!

Хайдар понимал: эти букашки — предмет их исследований. Но этот кандидат вон куда загнул — труд их будто бы имеет всемирное значение! Вот какой подход! И ведь не сбить спесь с этого дервиша. Заикнуться даже нельзя! Латофат терпеть не может шуток на его счет. Забудешься, ляпнешь — побледнеет, замолчит, и не вытянешь из нее больше ни слова.

В молодежном кафе за общежитием вздыхал и постанывал джаз. Хайдар прислушался. Модная в последнее время песня «Яли-яли»... Она напомнила недавний неприятный случай. Произошло все в этом же кафе, в день защиты диплома Латофат.

Собрались не только подруги и друзья-однокурсники Латофат. Пришли и ее брат Кадырджан, и Хайдар, и Тахира. И — что было для Латофат неожиданностью — пришел ее отец Джамал Бурибаев. Латофат ведь так и не помирилась с отцом, вела себя с ним отчужденно.

После защиты направились «обмывать» в это самое кафе, откуда сейчас доносятся ритмичные звуки джаза.

Когда компания шумно подошла к кафе, оттуда выпорхнула... нынешняя супруга Джамала Бурибаева: в

руках цветы, на лице улыбка. Но, видно, не легко этой моложавой, холеной женщине давалась улыбка. Лицо ее как бы застыло, а букет, предназначенный падчерице, слегка дрожал в руке. С заледеневшей улыбкой женщина приблизилась к Латофат и нерешительно подставила губы для поцелуя. Только что смеявшаяся Латофат побледнела. Протянутые мачехой цветы взяла, но не поцеловала, прошла мимо нее в кафе. Мачеха так и осталась стоять в неловкой позе. Опомнившись, жалобно заморгала, подняла глаза на мужа. Джамал Бурибаев сделал вид, будто ничего не случилось, взял жену под руку, повел к столикам. Но торжество уже дало трещину. Даже залихватский танец, затеянный Тахирой и Кадырджаном, чтобы сгладить «инцидент», не смог развеять холод. Мачеха выждала для приличия немного времени и вскоре поднялась — ушла, прихватив с собой и мужа. Друзья и преподаватели тоже почувствовали неловкость, начали прощаться. Лишь главнокомандующий всеми мошками и букашками Сакиджан Абидов ничего не замечал. Пил себе, ел, наслаждался. И, удивительное дело, захмелев, перестал заикаться! То и дело вскакивал, чтобы провозгласить тост в честь Латофат. Пел ей гимны: какая она умница. Не увлекается парнями, у которых снаружи все блестит, а внутри пустота, вакуум. Разрушила общепринятое представление о красивых девушках: о ней ведь никак не скажешь — «птичка» или «мотылек». В общем, да здравствует жрица науки Латофат! Хайдар терпел-терпел, а под конец не выдержал, вскочил с места, попросил преподавателя Абидова «выйти на минуточку». Эта выходка, собственно, и положила начало размолвке с Латофат. Впрочем, размолвка началась раньше, в тот день он только подлил масла в давно тлевший очажок. Но что это там?

...У общежития остановилось такси. Из него показалась сначала толстая папка, а затем, несуразно извиваясь, вылез Сакиджан Абидов. И вслед за ним — Латофат!

Латофат и Абидов не заметили Хайдара. Сидел он недалеко — на лавке у цветника напротив общежития. Они продолжали какой-то разговор, увлеклись, будто во всем мире не существовало никого, кроме них. Впрочем, говорил один Сакиджан Абидов — горячо объяснял что-то, помогал себе свободной рукой и заикался, давясь словами. Латофат, слегка наклонив голову,

мягко улыбаясь, внимала. Наконец она чему-то рассмеялась и протянула Абидову руку. Абидов, должно быть, испугался, что сейчас девушка уйдет, ухватился за ее локоть, забормотал:

— П-п-послушайте, Латофатхон! П-п-прошу вас...

Хайдару даже почудилось, будто этот рехнувшийся дервиш собрался обнять ее. «Латофат!» — крикнул и тут же выругал себя за малодушие.

Оба разом обернулись, Сакиджан Абидов нервно передернул костлявыми плечами, Латофат свела брови.

— А-а... это вы? — сказал Абидов.— Здравствуйте.

Латофат стояла с прижатым к губам букетом душистого базилика, чертила носком туфли по земле. Ее хмурый вид не предвещал ничего доброго. Видно, решила, что Хайдар выслеживает ее.

— Простите, домла,— сказал Хайдар.— У меня к Латофат дело.

Абидов взглянул на девушку и криво усмехнулся:

— Что ж, до свидания...

Латофат едва заметно кивнула в ответ и молча направилась к скамейке, с которой только что встал Хайдар. Он невольно залюбовался ею.

Короткое яркое платье с крупными темно-синими и красными цветами при каждом шаге высоко открывало стройные ноги. А эти тупоносые туфли на высоких каблуках — в них ее маленькие ножки казались еще меньше! Была она среднего роста и довольно хрупкого сложения, но в этот вечер словно бы выросла. Может быть, за счет каблуков и высоко взбитой прически, в которую уложила свои мягкие каштановые волосы. А может быть, гнев, уязвленная гордость так выпрямили ее.

Они сели на скамейку, и, словно это было сигналом, над ними вспыхнули белые полоски ламп дневного света — все вокруг окунулось в мягкое лунное марево.

Латофат плотно сомкнула длинные загорелые ноги, букетом базилика прикрыла колени. Соединенные у переносицы бархатно-черные брови и особенно прямой аккуратный нос придавали ее чуть продолговатому лицу с матовой смугло-пшеничного оттенка кожей горделивое и даже надменное выражение.

— Я слушаю, — сказала Латофат.

Хайдар еле удержал рвавшийся наружу крик: «Где ты пропадала с этим...»

Сказал совсем другое:

— Ты же знаешь, завтра у меня защита. Придешь?

Латофат поднесла к лицу букет базилика.

— А мой приход обязателен?

И сам вопрос, и тон показались обидными. Хайдар опять с трудом справился с собой.

— Что с тобой? Может, изменились твои намерения?

— Я не понимаю, о чем вы?

— Что тут непонятного? Я говорю о наших с тобой намерениях, о нашей жизни. Серьезны наши отношения или нет, в конце концов? Если серьезны, неужели трудно тебе прийти на мою защиту? Ведь я... как бы там ни было, столько лет готовился к ней! Сколько сил положено! Я ведь тоже человек! — воскликнул Хайдар и снова мысленно выругал себя: «Не хватало только слезами выпрашивать у нее любовь!»

Латофат, не поднимая головы, еле слышно проронила:

— Простите...

Ее дрожащий, виноватый голос растрогал Хайдара, горечь с души мгновенно сняло.

— Почему ты стала такой, Латиф? — он взял руку девушки в свои, приблизил лицо. Совсем близко, у самых своих глаз, как в то давнее летнее утро под тутовым деревом, увидел бархатистую черноту ее бровей и густых пушистых ресниц, чистую смуглость ее лица, шеи, плеч и вдруг почувствовал: знакомая, не раз испытанная нежность, смешанная с глухой ревностью, поднимается в нем.— Ну, скажи, в самом деле, что произошло? Откуда взялся этот... Этот вот жалкий дервиш?

Латофат высвободила свои пальцы из рук Хайдара.

— Я еще раз прошу вас: не говорите так об этом человеке,— сказала это с тихой угрозой.

— Почему же не говорить? Что ты в нем нашла? Кроме кандидатской степени?!..

— Он не бахвалится своим кандидатским званием. А человек, если хотите знать, золотой. Вы бы только знали, какой это человек!

— Знаю, морочит тебе голову высокими словами, а ты...

— Не надо, хватит!

В глазах Латофат блеснули слезы, она закусила губу.

«Не надо, хватит!» — Хайдара покоробил этот, как

ему показалось, окрик. Мол, что тут говорить — все равно ничего не поймет! Борясь со вспыхнувшим гневом, глухо произнес:

— Да говори же ты, не скрытничай!

— О чем говорить?

— Обо всем, что скрываешь...

— Скрываю! — Латофат проглотила слезы.— Только что вы сказали «я тоже человек». С обидой сказали. А не думаете вы, что то же самое могу сказать и я? Хоть раз заговорили вы со мной о моих планах, моих делах? В вас я вижу одно лишь презрение к тому, чем я занимаюсь!

— Да какое там презрение, просто...

— Я же вижу, вижу. А недостойный скандал в кафе? И вообще, зачем вы пригласили отца, да еще с мачехой? Ведь вы собрались устраивать празднество сами, а оказалось, всем командовали отец с мачехой!..

— Латиф! — Хайдар облегченно засмеялся, взял в руки, стал перебирать пальцы девушки с нежно-красными — от хны — ногтями [1]. Я рад был бы взять на себя не один, а сто таких банкетов! Но Джамал Бурибаевич не разрешил. Ведь он, что бы там ни было, отец тебе. Откуда я мог знать...

— Вот о том я и говорю! Сколько лет мы вместе. Вы постоянно заявляете о ваших будто бы серьезных намерениях и не знаете, чем я живу. Этот человек, называющийся моим отцом... Вы даже не поинтересовались, как жили мы с матерью, сколько боли причинил он нам. Сколько обид!.. Уверены, что я ваша, и ладно! Знаете, что не посмею разорвать круг, очерченный вами... Ведь вам с вашим всемогущим отцом все под силу...

И зачем сказала Латофат такие слова. Ведь сердце Хайдара начало уже таять. А теперь?.. Хайдар вскочил:

— Оставь в покое моего отца! Мой отец еще никому не делал зла! И потом, что ты этим хочешь сказать? Я заставляю тебя против твоей воли идти за меня?.. Да если у тебя другие планы, пожалуйста...

— Я не сказала, что у меня другие планы...

— Пожалуйста, можешь...

---

[1] Отваром из цветов хны красят ногти в нежно-красный цвет.

— Хорошо! — прервала Латофат, глаза ее неожиданно заблестели.— Завтра я приду на вашу защиту! Все?

— Благодарю! Как знаешь: хочешь — приходи, хочешь — нет! — Хайдар круто повернулся и зашагал прочь от скамейки.

2

Латофат прошла мимо вахтерши, которая что-то со сладкой улыбкой сказала ей. Что-то ядовитое. Тихо вошла в свою комнату. Здесь было пусто, одиноко. Все разъехались на каникулы.

Не зажигая света, подошла к окну. Дома университетского общежития стояли на окраине города. Небо здесь было ясным, как в степи. Крупные звезды блестели так ярко, словно кто-то протер, начистил до блеска каждую. Весь студенческий городок вокруг в сиянии белых неоновых свеч, и цветник под окном в серебристых брызгах фонтана, и машины, бесшумно скользящие вдали, и длинные лучи от их фар — все в этот покойный сиреневый вечер представлялось необычным, таинственным. Из кафе за общежитием долетала бездумная легкая музыка. Весь мир, казалось, подхватили волны радости и счастья. Только она, Латофат, не рада ничему. Недаром парни-однокурсники назвали ее за вечную грусть «зимним солнцем». Неужели и впрямь «зимнее солнце»? Светит, но не греет.

Ну и пусть себе так думают. Откуда им знать о ее радостях и печалях? Ведь даже человек, который собирается соединить с нею свою судьбу, не знает, а может, и не хочет знать о ее жизни.

«Он же твой отец, как бы там ни было!» Отец! У Латофат при одной мысли о нем холодеет сердце и в ушах долгий-долгий, похожий на похоронную песню, плач матери.

В детстве Латофат боялась этого человека пуще Азраила, провозвестника смерти. Пугала даже его одежда — всегда черная: черное кожаное пальто, черная кожаная фуражка, длинные голенища — тоже черные. Каждый раз, как только, переночевав в их доме, он уезжал, мать не помня себя бросалась на пол и рыдала. А потом, чуть повзрослев, какой только грязи не наслышалась Латофат о своей матери и об этом человеке. Было время, собиралась даже бежать из кишлака!

А случилось это, когда была она то ли в восьмом, то ли в девятом классе. В ту пору Латофат не просто читала — «проглатывала» книги о подвигах чистой самоотверженной любви. О том, как во имя этого чувства молодые люди шли на виселицу, бесстрашно отправлялись в ссылку или, подобно Кумуш-биби[1], героически спасали нареченного. И вот в такое-то время однажды услышала особенно оскорбительные пересуды о матери. Вернулась домой сама не своя. Было стыдно за мать. Да и как не стыдиться? Джаббар Нормурадов, джигит, которому не было равных, мужественный, благородный, Герой Советского Союза, полюбил Фазилат, а она предала его. И как — поддалась лести и обману этого страшилища в черной коже! И такой благородный джигит, красавец и герой из-за этого подлого человека, из-за измены матери погиб на фронте! А осталась бы ее мать верна своему возлюбленному, как знать, может, Джаббар и не погиб бы. И тогда отцом Латофат был бы не этот мелкий, нехороший человек, а благородный батыр Джаббар Нормурадов!

Позднее, повзрослев, Латофат не раз в душе смеялась над наивностью своих детских грез. Но в тот день ей было горько от всего, а от этой мысли особенно. Как побитая прибежала домой, бросилась на сури — деревянный помост, стоявший во дворе. Долго билась и рыдала она, думалось, не перенести ей горя. Мать работала в то время в правлении. Возвратилась поздно. И как, бедняжка, испугалась, увидев дочь в слезах.

— Что с тобой, что случилось? — подсела к дочери.

Латофат, вздрогнув, будто коснулась ящерицы или скорпиона, отодвинулась в сторону.

— Почему вы так поступили? Почему?! — захлебывалась слезами.

Вопрос Латофат был неожиданным, но Фазилат тут же поняла все. Побледнев, с трудом шевеля губами, спросила:

— Ты о чем это, доченька?

Латофат привстала на месте.

— Сами знаете о чем, а еще спрашиваете! — отрезала с той жестокостью, на которую способна лишь юность.— Сейчас, конечно, свалите вину на... Джамала Бурибаева! Лучше молчите, все равно не поверю! Если

---

[1] Кумуш-биби — героиня первого узбекского романа.

бы вы сдержали слово, если б до конца сохранили верность, то... джигит Джаббар Нормурадов не погиб бы на фронте!

— Дочь моя! — взмолилась Фазилат.— Доченька!

Она протянула перед собой руки, как бы защищаясь от ударов камчи. Широко раскрытые глаза молили: пожалей! Но откуда было ожидать пощады, милосердия? — Латофат горела негодованием.

— Замолчите, все неправда! — бросила неумолимо, спрыгнула с сури и кинулась в дом.— Я презираю, презираю вас обоих! — крикнула с крыльца.

Двор молчал. И вдруг послышался тихий, будто звук флейты, жалобный плач. Мать горько плакала, приговаривала что-то сквозь всхлипы. В другое время Латофат не выдержала бы, обвив, как в детстве, руками шею матери, вместе с нею выплакала бы их общее горе. Но в ту минуту даже этот плач, эта мольба, способная расплавить камень, не тронула Латофат. Она словно оледенела от страшной людской молвы.

Брата Кадырджана не было дома, он уже учился в городе. Ничто, кроме плача матери, не нарушало тишины утонувшего в густых сумерках большого двора.

Потом мать притихла. Послышались быстрые шаги. Со скрипом открылась дверца хлева. Латофат бросилась к окну. Мать вышла из хлева, что-то держала в руках. «Веревка...» — догадалась Латофат. Мать выбежала на улицу.

В ужасе, босоногая, полураздетая, как была с открытой головой, Латофат выскочила из дома.

Тогда еще не было нового поселка. Сбоку от их двора шла узкая, пыльная улица. Она тянулась вдоль русла реки, бесшумно летевшей к мельнице. Латофат не приметила, в какую сторону побежала мать. Не думая, кинулась вслед за тяжелыми речными струями.

Сердце не обмануло. Разбив в кровь ноги, Латофат добежала до мельничного колеса и там увидела мать. Фазилат привязывала большой камень к веревке, петлею накинутой на шею. Истошным, пронзительным криком перекрывая однообразный мельничный шум, с разбега бросилась наземь, обняла ноги матери.

— Простите, мама! Простите!

Мать и дочь до полуночи просидели в обнимку около запруды и все говорили, говорили под равномерное

хлюпанье воды, бегущей по мельничному желобу. В ту ночь мать открыла ей все. Оказалось, этот высокий белолицый холодный красавец, ее отец, достигший теперь больших чинов, ради своих нечистых минутных желаний пошел на обман, на преступление. Здесь, на берегу черного омута, поняла Латофат, что так точит ее исстрадавшуюся мать, какие муки терпит она, в чем себя винит. И поняла, почему ее мать, женщина, которой не было тогда и сорока, так рано поседела. А Хайдар говорит: «Как-никак, а он все-таки твой отец». Придет время, Латофат, может, и расскажет обо всем Хайдару, но не теперь, потом. Одно лишь знает она твердо: что бы там ни сочиняли про мать, она не виновата. Латофат известно теперь все, и потому не хочет она знаться с отцом, даже имени его не хотела бы слышать. Она и с братом Кадырджаном долго не разговаривала. Брат сразу же, как приехал в Ташкент, поспешил отыскать отца и так успел сблизиться с ним — водой не разольешь. Откуда только взялись у Джамала Бурибаева отцовские чувства? Что-то не было у него интереса к детям, пока бегали маленькими. А теперь, как увидел взрослого сына, вдруг стал проявлять заботу. Помог Кадырджану поступить в институт, поддерживал все годы учебы, а только лишь сын окончил институт, сразу устроил работать в Ташкенте под своим крылом. Неожиданная близость Кадырджана с отцом и с мачехой добавила матери немало тайных мук. Латофат видела это.

Не раз Джамал Бурибаев пытался приголубить и Латофат, стал было присылать на каждый праздник дорогие подарки — то через Кадырджана, то через кого-нибудь из знакомых. Предлагал и деньги. Настойчиво зазывал к себе в дом. Латофат все отвергала. Даже в годы ученья не брала от него ни денег, ни подарков. А ведь так хотелось хорошо одеваться.

И в дом к нему пришла лишь однажды, да и то поневоле: сказали, будто отец сильно болен, зовет ее.

Джамал Бурибаев жил на окраине города. Занимал красивый двухэтажный коттедж из красного кирпича, построенный после землетрясения. Открыла дверь мачеха, молодая, надменная. Цветастый шелковый халат до пят, на ногах золоченые кавуши — шлепанцы. Эта ухоженная, уверенная в себе женщина встретила Латофат сдержанно, молча провела к отцу.

В просторной комнате с окнами, выходящими на речку, чего только не было: и бухарские ковры, и старинного узора напольные керамические вазы. На книжных, блестящих лаком полках — уродцы-идолы, вывезенные из-за моря, разные диковинки. Они стояли так плотно, что книг почти и не видно было. Низкие кресла в современном стиле, а рядом потемневшее от времени резное бюро со множеством выдвижных ящичков и полочек... Джамал Бурибаев лежал на диване, обложенный большими пуховыми подушками в пестрых ситцевых наволочках — тоже дань моде. Трудно было понять, обрадовался он приходу дочери или остался равнодушным. Странная вещь поразила Латофат тогда в поведении отца. Стоило мачехе выйти из комнаты, он тут же менялся — виновато улыбался, начинал расспрашивать о житье-бытье и все повторял: «Доченька, дочка моя». Угощал чаем, фруктами. Но вот появлялась жена — улыбка вмиг исчезала и на лице застывало холодно-непроницаемое выражение.

Латофат пробыла у них недолго. Кое-как выпила пиалу чая и простилась с отцом. Так, в этот визит, открылось ей еще одно в Джамале Бурибаеве — то, о чем она давно уже слышала. Его, Джамала Бурибаева, крепко держит в руках жена — ведь поднялся на высокие посты он только ее стараниями, благодаря ее могущественным родственникам!

Больше нога Латофат не переступала порог этого дома. Сколько раз упрашивали и брат и отец — не пошла. Брат хочет ходить, пусть ходит. У него есть свой расчет. Но Хайдар... Как понять Хайдара? Что ему Джамал Бурибаев? А туда же: «Твой отец!» Ведь он-то не нуждается ни в чьем покровительстве. Под крылышком у своего отца. Никого за человека не считает, даже ее. А собирается соединить с нею судьбу! Как он отзывается о людях, хотя бы о том же преподавателе Абидове? Вечно кривится, стоит лишь заговорить о нем. Не словами, так видом дает понять: «У тебя есть такой джигит, а интересуешься какой-то букашкой!» Между тем у Хайдара нет никаких оснований ревновать ее. Абидов для нее только ученый и еще — настоящий человек.

Он пришел на кафедру прошлой зимой, после окончания аспирантуры Московского университета. Занимается биологическими методами защиты растений.

Уж как смеялись на факультете, когда он впервые заявился, особенно девушки. В самом деле, точно из старого фильма — чудаковатый, нескладный Паганель! Равнодушный к своей внешности, вечно ходил обросший, в поношенном пиджаке, который к тому же висел мешком на его костлявой фигуре. А уж туфли его, знаменитые на весь биофак туфли! Даже в летние ясные дни были они облеплены грязью. Ко всему прочему еще и заикался, долго хватал воздух, прежде чем что-то сказать. Но когда сядет на своего любимого конька — глаза неожиданно вспыхнут, и тогда красноречивее Абидова нет оратора. Если уж посчитать этого домлу влюбленным, то был он очень старомодным рыцарем, верным одной лишь любви — к перепончатокрылым семейства Chalcidoidea рода Trichogramma, то есть к тем самым мошкам и букашкам, о которых с такой иронией отзывался Хайдар! Когда Абидов говорил о предмете своей страсти, он становился настоящим поэтом. Правда, девушки посмеивались и над его гимнами во славу трихограммы. Нашлись на факультете и художники — изображали Сакиджана в обнимку с его букашками. А вот Латофат понимала, какую пользу может принести работа над этими мошками. Она выросла в кишлаке и хорошо знала, что такое ядохимикаты. Не раз своими глазами видела погибших птиц, мертвую рыбу, всплывшую в реке, когда летом, в дни нашествия вредителей, над хлопковыми полями летал самолет и на посевы опускалось ядовитое облако. Да не только птицы и рыбы, страдали и люди. Вот почему рассказы Сакиджана Абидова о божьей коровке и мушке трихограмме звучали для нее подлинными дастанами. А сам Абидов, этот «юродивый», по мнению Хайдара, худосочный домла в стоптанных, заляпанных грязью туфлях, ей и впрямь казался человеком необычным, благородным и даже поэтом! Впрочем, в последнее время в Сакиджане Абидове что-то стронулось. Начал вдруг следить за собой — догнал в этом известных щеголей факультета. И опять над ним потешались, теперь над его слишком зауженными брюками и узорчатыми рубашками. А происшедшую перемену связывали с Латофат!

В прошлом году она проходила преддипломную практику под Наманганом. Руководил студентами Сакиджан Абидов. Стояла теплая весна. Клеверные ковры успели уже застелить землю. На эти клеверные поля

в окрестностях Намангана они ездили охотиться за бабочками, божьими коровками и светлячками. С сачком в одной руке, с коробкой в другой гонялись за насекомыми, переходили с одного поля на другое. Так, без передышки, обегали, «обкосили» сачками все бескрайние зеленые равнины. Хоть Латофат и выросла в кишлаке, но лишь в ту весну, бродя по росистым полям Намангана, словно впервые увидела всю красоту знакомой с детства природы. Насладилась запахом клевера — нежным, еле уловимым, с горьковатым привкусом степных трав. Не верила глазам — так ярка была изумрудная зелень люцерны. Там же, в Намангане, она стала свидетельницей споров Абидова с агрономами, которые собирались опрыскивать клевер каким-то ядом. Потом всю зиму вместе работали в лаборатории, бились над тем, чтобы размножить нужных им насекомых. Особенные хлопоты доставляли личинки мушки трихограммы. Трихограмма — гроза совки, злейшего врага хлопчатника. Летом этого года они собираются провести опыты с этими мушками в каком-нибудь крупном хлопководческом хозяйстве. Может, даже в колхозе будущего свекра, если, конечно, он не воспротивится. А вообще Абидов советует ей остаться при университете, поступить в аспирантуру. Только вот Хайдар... Ни о чем и слышать не хочет — только о свадьбе. Ее будущий свекор, оказывается, решил за нее: после свадьбы она поживет в кишлаке. Как-то Хайдар полушутя-полусерьезно спросил ее:

— Отец предлагает тебе после университета должность директора школы. Как ты к этому отнесешься?

Слова о директорском кресле Латофат приняла как шутку. Шуткой и ответила:

— Что же, не стану отказываться, но с одним условием: если в руководимой мною школе вы согласитесь быть учителем!

— А найдется место для кандидата наук в вашей школе?

— Выходит, вам, товарищ кандидат наук, место в городе, а мы, простые смертные, должны прозябать в кишлаке?

Хайдар обнял ее за плечи, рассмеялся:

— Годик-другой, не больше, милая! Родителей тоже можно понять. Хочется, чтобы невестка пожила немного

рядом, показала себя, так сказать, примерной хозяйкой!

Нет, Латофат не боится кишлака, она родилась и выросла там, и родителей его готова понять. Только вот жаль начатых с Абидовым работ, да, признаться, и разговоры об аспирантуре ей не безразличны.

Латофат вздрогнула: кто-то постучал в дверь.

— М-можно? — Сакиджан Абидов стоял на пороге и виновато теребил отрастающую щетину усов.— А вы, ок-казывается, под ст-трожайшим запретом. Г-грозят п-позвать милицию, если задержусь. Так что п-прошу на минутку в-выйти. П-подожду вас на улице.

Абидов ждал ее на той самой скамейке у фонтана, где недавно она сидела с Хайдаром. Увидев девушку, вышедшую из подъезда, он вскочил, зачем-то подал руку, хоть сегодня виделись уже. И сразу спросил:

— Ну и как? П-поговорили?

— Поговорили. Остается все по-прежнему. Будет свадьба. Вот и все.

— По-поздравляю! — с деланной веселостью воскликнул Абидов.— Т-той на весь мир! Песня яр-яр! Бой барабанов! С-счастливые влюбленные за шелковым занавесом! И п-прощай, наука, прощай, университет! А тут не успела повернуться, как новый той — родился первенец! Н-ну и в итоге счастливейшая мать-героиня в окружении г-галдящих отпрысков! П-поздравляю! — Абидов сделал такой стремительный вираж вокруг фонтана, будто вместо ног у него выросли колеса. Скрестив руки на груди, остановился перед девушкой.— П-поражаюсь! Да появятся ли у нас, наконец, истинные таланты, люди, готовые принести блага жизни в жертву великим целям? Только вас я считал способной студенткой среди всех этих бездарностей. А вы?..— Абидов разгорячился и совсем перестал заикаться.— А вы — нет чтобы думать о науке — все та же мечта о свадьбе, о детишках! Речь идет о большом, благородном деле, о долге! Неужели так и не поняли этого? Ведь от вашей работы зависит будущее узбекского хлопкороба, великого труженика! Может, сомневаетесь в успехе наших начинаний.

— Дело не в сомнении.

— Сейчас мои слова могут показаться только мечтой. Но пусть даже это пока несбыточная мечта, все же мечта благородная и заслуживает того, чтобы посвятить

ей жизнь! Неужели вы, с вашим умом и сердцем, не в состоянии понять таких вещей? Были бы просто красивой куклой, стал бы я уговаривать вас?

Латофат еще ниже склонила голову:

— Я-то понимаю, домладжан, а вот вы...

— Так в чем же дело, черт побери? Держит страх, что этот ваш... сынок раиса, если свадьба задержится на год, женится на другой?..

— Не надо,— еле слышно проговорила Латофат.— Бесполезно...

— Ну в таком случае, раз бесполезно... мы выходим из игры!

Абидов стремительно крутанулся и помчался прочь, споткнулся обо что-то и скрылся в темноте.

Латофат, сжав виски ладонями, еще долго сидела в опустевшем скверике.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Приглашение на защиту диссертации для Атакузы не новость. Но сегодня защищается его собственный сын,— наверно, потому и взволнован так знаменитый раис. Да к тому же еще вчерашняя нелепая стычка с дядей тоже не дает покоя.

Атакузы приехал на машине вместе с дочерью и будущей невесткой. Девушки заглянули по пути на базар, купили целую охапку цветов. Вид у них был очень эффектный — обе в одинаковых алых атласных платьях, в черных лакированных туфлях, у обеих в руках букеты. Когда Атакузы в сопровождении двух юных красавиц подходил к зданию института, все обернулись в их сторону, а молодые люди, курившие у входа, посторонились, уступая дорогу.

Зал, где должна была проходить защита, оказался внушительным, просторным, светлым, да еще и с глубоким куполом, который удваивал его объем.

Хайдар стоял на сцене. С помощью Кадырджана он развешивал какие-то диаграммы и чертежи со столбцами громоздких цифр и формул, о которые сам черт мог сломать зубы! Кадырджан, увидев родичей, пома-

хал рукой. Хайдар лишь кивнул,— видимо, ему было сейчас не до приветствий.

В огромном зале, окнами выходящем во двор института, было еще малолюдно. Атакузы сел поближе к широким окнам. Потрогал откидную доску-пюпитр. С потеплевшей душой, с гордым сознанием предстоящего события смотрел на входивших людей. Все это были ученые — о том говорили их лысины, очки на бледных, нервных лицах, небрежная, даже неряшливая одежда... С тем же горделивым чувством он незаметно оглядел дочь и будущую невестку.

Тахира так и сияла, кругленькое белое миловидное лицо порозовело, радость переполняла ее. Она то и дело поправляла едва достающие до плеч черные как смоль волосы, вертела головой — оглядывала зал, будто пришла не в научное учреждение, где должна решаться судьба брата, а в театр на премьеру. Латофат была полной ее противоположностью. Сидела, сложив на коленях смуглые руки с накрашенными хной тонкими пальчиками, задумчиво уставясь большими грустными глазами в сад. Ох уж этот ее печально-задумчивый вид! Казалось, пришла сюда не затем, чтобы разделить радость близкого человека, а лишь по принуждению!

«Что это она? — Атакузы с трудом подавил шевельнувшуюся в груди неприязнь.— О чем печалится? Не принесла бы несчастья в мой дом эта ее красота...»

Мысли Атакузы перебила Тахира:

— Дададжан! Джамал-ака идет.

Джамал Бурибаев шел в окружении нескольких таких же солидных, представительных мужчин.

Атакузы не успел подняться — Джамал Бурибаев прибавил шагу и был уже рядом.

— Эге, сам раис-ака пожаловали! Превосходно!

Бурибаев все еще был привлекателен. Если, конечно, отбросить заметную уже седину и некоторую полноту стана. Он наклонился к Латофат:

— Как поживаешь, дочь моя?

Латофат внезапно побледнела и так же внезапно залилась краской.

А перед Бурибаевым уже расшаркивался долговязый человек в огромных очках.

— Прошу вас пройти вперед, товарищ Бурибаев, прошу. О, и вы здесь, раис-ака!.. Прошу и вас, пожалуйста, вперед...

Это приглашение было, конечно, лестно. Однако Атакузы не последовал за Джамалом Бурибаевым. И, как оказалось, к лучшему. По рядам, как ветер, прошел легкий шумок, и в зал торжественно вступили члены ученого совета во главе с директором института Артемом Прохоровичем Поликарповым. Но прежде чем подняться на сцену, директор задержался возле Атакузы.

Раис хорошо знал Поликарпова с самого детства. Он был сыном Прохора, чудаковатого старика, который служил егерем в лесничестве, по соседству с кишлаком Атакузы. Бывало, вместе играли в костяшки. Так что и Артем Поликарпов, который вот уже несколько лет руководит институтом, конечно, помнил Атакузы. Но дело было не в этом. Он, директор, в эту минуту в зале, переполненном учеными, так выделил Атакузы, оказал ему высокую честь! Вот что главное! И члены ученого совета, увидев такое уважительное отношение директора к Атакузы, не остались безразличными. Их строгие лица милостиво заулыбались, кто-то даже пошутил: «Эге, сам раис-ака прибыл, значит, угощение будет отменным!» И Вахид Мирабидов, помолодевший, улыбаясь круглым, сияющим как полная луна лицом, подмигнул: «Все идет преотлично, можешь не волноваться!»

Защита началась. Очкарь, который предупредительно изгибался перед Бурибаевым, оказался ученым секретарем. Скрипучим голосом он стал докладывать — кому и куда был разослан автореферат, от кого и от каких организаций получены отклики и письменные заключения. Говорил долго и монотонно, наконец, закруглил всю эту мякину, и Поликарпов дал слово Хайдару. Атакузы облегченно вздохнул, а вместе с ним и весь зал.

Хайдар, несмотря на жару, весь в черном, с длинной указкой в руках, легким уверенным шагом поднялся на трибуну, будто шел не защищать свою научную работу, а читать лекцию собравшейся аудитории. Но тут произошла заминка. Только было он хотел начать, как Поликарпов, приподнявшись с места и глядя в конец зала, громко позвал:

— Нормурад Шамурадович!

Все в зале, в том числе и Атакузы, как по команде обернулись. В задних рядах заскрипели стулья, и оттуда послышался чуть хрипловатый знакомый голос:

— Благодарю. Продолжайте, продолжайте...

— Нет-нет! Пройдите, пожалуйста, сюда,— настойчиво приглашал директор института.— Прошу вас, Нормурад Шамурадович!

Домла Шамурадов в светлой сорочке в крапинку и в старомодных широченных брюках, чуть сутулясь и слегка покашливая от смущения, прошел в президиум. Большая, лобастая голова его с белым, легким пухом у висков лоснилась от пота, темные щеки втянулись, резко выступили крупные скулы, глаза глубоко запали, как у человека, не спавшего много ночей.

«Что случилось со стариком?» — с тревогой подумал Атакузы. Он и минувшей ночью беспокоился о дяде, не мог заснуть. Конечно, домла обидел его, но, что ни говори, родной ведь. Однако эту тревогу тут же вытеснила другая, более острая. Только что душа так ублаготворилась вниманием Поликарпова, а тут опять где-то внутри заскребло неясное, щемящее беспокойство.

Наконец Хайдар заговорил. Атакузы показалось, что держится сын уже не так уверенно, движения стали резче и голос неровен.

Домла Шамурадов сидел рядом с Поликарповым, положив на стол, накрытый зеленым сукном, большие черные руки, и устало глядел в зал из-под нависших век. Весь он будто поник, даже нелепый громадный нос, обычно гордо торчавший на широком лице, как бы отяжелел, опустился.

Вдруг старик подался вперед, широко раскрыл прятавшиеся под веками глаза, точно увидел что-то ужасное. Сердце Атакузы опустилось — он понял, кого увидел дядя.

На один миг, на долю секунды впился старый домла колючим взглядом в Джамала Бурибаева и, будто лишившись сил, откинулся на спинку стула, закрыл глаза.

«О аллах! Одного лишь взгляда хватило, и дядя лишился сил. Что же станет с ним, когда накрепко свяжут нас с Бурибаевым родственные узы?» — подумал Атакузы и тоже закрыл глаза.

В зале зашумели, захлопали откидные доски, несколько человек поднялись. Только тут Атакузы сообразил, что Хайдар закончил свое слово. Было непонятно. Он ожидал — защита будет внушительнее, солиднее. Работа его сына должна была взбудоражить всех этих важных ученых.

Поликарпов привстал, обратился к залу — нет ли вопросов к диссертанту. Недолгое перешептывание в первых рядах, и три члена ученого совета — один за другим — задали несколько вопросов.

Каждый раз, когда в тишине звучал очередной, непонятный вопрос, Атакузы чувствовал на своих коленях теплую, вздрагивающую ладонь дочери. Тахира, будто ожидая удара, прижималась к отцу. Страх дочери передался Атакузы, он тоже весь напрягался, и даже Латофат, такая, казалось, безразличная, всем корпусом подавалась вперед, крепко сжимая руками поручни кресла.

Атакузы был теперь доволен сыном. На вопросы Хайдар отвечал свободно. Он, как видно, преодолел уже начальную робость, голос звучал уверенно. А как держался! Атакузы узнавал в сыне свои черты: твердость и даже властность.

Да, отец Атакузы, погибший на фронте, тоже мог бы гордиться своим сыном. Он, Атакузы, не только сам выбился в люди, но и детей сделал людьми! Вот Хайдар, плоть от плоти, кровь от крови, защищает научную работу в этом ученом зале, среди прославленных людей, мудрецов! То поднимаясь на трибуну, то скользя указкой по столбцам цифр, легко объясняет сложнейшие формулы. «Молодец, сынок! Ты оправдал мой хлеб и соль!»

Атакузы украдкой смахнул навернувшуюся слезу, улыбнулся, посетовал про себя: «Как жаль, что нет Алии!..»

Вопросов больше не было. Хайдар белоснежным платком вытер с лица крупные капли пота, скромно спустился вниз, устроился в ряду, где сидели Джамал Бурибаев и Кадырджан.

«Молодец, сынок! Утер нос дорогому дяде».

Теперь председательствующий предоставил слово научному руководителю диссертанта Вахиду Мирабидову.

Атакузы хоть и дружил с этим развеселым человеком, однако серьезным ученым его не считал. Сказывалось, видно, влияние милейшего дяди. Да и сам Вахид Мирабидов способствовал тому. О научных проблемах говорил мало, все больше шутки, анекдоты. В застольях играл на дутаре, читал газели. Бывало, что и в пляс пустится... домла!

Мирабидов легко, уверенно прошел на кафедру и попросил у почтенной аудитории извинения: он намерен говорить не столько о диссертации, научная ценность которой и так бесспорна, а хочет воспользоваться столь представительным ученым форумом, чтобы поделиться некоторыми своими мыслями относительно перспектив водного баланса республики. Прежде чем перейти к сути вопроса, Мирабидов разрешил себе сделать захватывающий экскурс в далекое прошлое, к тем драматическим, как выразился он, событиям истории, которые до сих пор живут в памяти народа...

Он говорил о мертвых городах, о песчаной пустыне, поглотившей некогда цветущие оазисы, оживленные долины, о целых государствах, исчезнувших с лица земли. Зал слушал затаив дыхание. Докладчик не жалел красок — изобразил, что ждет в не таком уж далеком будущем их благословенный край. Безводье! Пески! Пустыня! И, наконец, раскрыл проблему переброски сибирских рек во всей ее сложности и масштабности. Лишь разъяснив всю глубину задачи, показав, как катастрофически убывают запасы воды, приступил к оценке работы молодого ученого. Оказалось, труд диссертанта — серьезный вклад в названное выше дело. После такой страстной речи работа Хайдара засверкала, будто драгоценность, с которой смахнули пыль.

Профессор кончил. Весь красный, разгоряченный, промокая большим клетчатым платком пот с лица, шеи, головы, не спеша сошел с трибуны. Он устал, но собою был доволен. Как только сел, несколько человек — Атакузы это приметил издали — пожали ему руку.

Сегодня Атакузы впервые убедился, что этот человек большой ученый, к тому же еще и прекрасный оратор.

Зал оживленно гудел. Один лишь дядя сохранял свою угрюмую позу, сидел согнувшись, вперив взгляд глубоко ввалившихся глаз неведомо куда. Нельзя было понять, понравилось ему выступление старого соперника или нет. Казалось, он даже не видел людей, сидевших в зале, так был озабочен своими, известными одному ему мыслями.

После Вахида Мирабидова выступили официальные оппоненты. Оба поддержали научную работу Хайдара, о нем самом отозвались с похвалой: вдумчивый, многообещающий молодой ученый, прекрасный товарищ и то-

му подобное. Правда, был момент — Тахира снова прижалась к отцу. Это когда выступал второй оппонент. Невзрачного вида, болезненно бледный, высоким детским голосом сначала похвалил, а потом чувствительно покритиковал, особенно то место диссертации, где говорилось о вторичном использовании сточных вод. Но наконец и эти тягостные минуты остались позади.

Кончили оппоненты, и тут поднялось несколько рук. Атакузы был теперь спокоен. Его жизненный опыт говорил: руки желающих критиковать не поднимаются так быстро, они тянутся нерешительно, робко, после заметных глазу колебаний!

Так и вышло. Говорили и о Хайдаре, и о Вахиде Мирабидове, проявившем отеческую заботу о молодом ученом, только хорошее.

Прошло уже около двух часов. В зале стало жарко, люди все чаще поглядывали на часы. Уже третий оратор кончил петь хвалы диссертанту и его руководителю. Поликарпов предложил: «Кто желает еще выступить?» Отовсюду послышались возгласы: «Достаточно! Прекратить прения!»

Именно в эту самую минуту, когда, казалось, все до конца было высказано, дядя, погруженный в свои думы, неожиданно встрепенулся и, будто вспомнив о чем-то неотложном, поднял свою нелепую черную ручищу.

По залу пронесся неодобрительный гул. Был бы новый оратор иным человеком, председатель, скорей всего, согласился бы с мнением зала. Но, видно, из уважения к старому домле Поликарпов пропустил ропот аудитории мимо ушей.

— Вы хотите выступить, Нормурад Шамурадович? Пожалуйста, пройдите на кафедру.

— Нет, нет, лучше здесь. Я только хотел... хотел спросить...— Нормурад Шамурадов суетливо встал со стула. Он, похоже, раскаивался, что попросил слова. Заговорил нерешительно: — Мой вопрос не к диссертанту, а к его руководителю, к уважаемому профессору Вахиду Мирабидову...

Старик перебирал в руках какие-то бумаги и старался не смотреть в зал, точно боялся встретиться глазами с Атакузы.

— Я хочу сказать, работа диссертанта неплохая... Он молод, его надо, разумеется, поддержать. Но у меня вопрос к почтенному коллеге...

— Пожалуйста, пожалуйста,— подбодрил Поликарпов.

— Один из основных выводов научной работы — это возможность повторного использования сточных вод для полива при концентрации солей в них до пяти граммов. Так я понял?

— Именно! Да, да!

— А каким будет воздействие этой воды на почву при такой высокой концентрации солей?

Мирабидов состроил насмешливую гримасу, громко спросил:

— А вообще-то вы читали диссертацию?

— Читал ли я? — глядя в сторону, с улыбкой переспросил домла.— Я не ослышался?

Тут его повеселевший взгляд встретился со взглядом Атакузы. Раис вздрогнул, торопливо отвел глаза в сторону. В этот миг услышал сзади чей-то ехидно-радостный смешок: «Ну, поехали, сейчас начнется представление!»

— Ведь выводы молодого ученого не из воздуха взяты, они основаны на балансовых расчетах. Взгляните — таблицы висят перед вами на доске!

— Да, да, висят, висят...— кивая, подтвердил старик.— Но дело в том, говорю... диссертант еще молод, жизненного опыта у него нет, а вы, вы же ученый, доктор наук...

— Иными словами, вы сомневаетесь в этих расчетах, не верите, что молодым ученым проведены достаточные исследования? — Вахид Мирабидов угрожающе повысил голос. И странное дело, угроза подействовала совсем не так, как ожидал Атакузы.

Старик вдруг распрямил костлявую спину, резко повернул к Мирабидову большую лысую голову, мрачно сдвинул брови.

— Дело не в моих сомнениях. В этих расчетах, в этих диаграммах учтено все, кроме одного...

— А именно?

— А именно вот что: мы привыкли смотреть на почву как на неживое тело, индифферентное к любому насилию. А между тем почва — живой организм. Как мы с вами, дорогой доктор, и так же, как в нашем теле, в почве идут сложнейшие физико-химические и биологические процессы. Вы это и сами знаете... И насилие с нашей стороны в любой форме, в том числе и увеличение дозы минеральных солей...

— Да о каком насилии идет речь! — крикнул Вахид Мирабидов. Он побагровел, вскочил с места.— Я утверждаю со всею ответственностью! Я утверждаю! Все расчеты основаны на трехлетних опытах, которые были проведены в лучших хозяйствах республики. А что касается состояния микроорганизмов при повышенной концентрации минеральных солей — эта сторона тоже исследована всеми доступными нам методами...

— Доступными методами? Я вижу...

— Я тоже вижу! Вижу, вы стараетесь ревизовать методы инженерного расчета! — повысил голос Вахид Мирабидов.— А ведь вам, как ученому, известно, что ту идеальную картину биологических процессов, которую вы хотите получить здесь на доске, не даст сегодня и кибернетическая машина...

— Но разве вам не известно, что есть новейшие методы исследования — методы, основанные на теории физико-химической гидродинамики?..

— Я утверждаю, что метод инженерного расчета, примененный молодым ученым...

— Я говорю не о молодом ученом! Речь о вас идет, почтенный. Это вы учите его скользить по верхам. Большие проблемы, требующие всестороннего изучения, вы подчиняете утилитарным задачам дня! Это не его — ваш метод,— отрезал домла.— Я прочитал вашу книгу о проблемах переброски сибирских рек...

— Мою книгу прошу не трогать!— взвизгнул Вахид Мирабидов. Он снова, как ужаленный, вскочил с места.— Ваше всестороннее изучение не что иное, как перестраховка! А что станет хотя бы с Аралом, пока подобные вам мужи будут заниматься «всесторонним изучением»? Вы можете это сказать?

— Вот именно!— пророкотал домла Шамурадов.— Нет сомнения, огромные массы сточных вод ежегодно накапливаются во всех коллекторах и дренажных сетях Средней Азии. Так почему бы не направить их в Аральское море? Оно, глядишь, и продержится еще лет двадцать. Решение просится в руки! А за это время можно создать и научно обоснованные, оптимальные варианты переброски сибирских рек... Вот за что бороться следует — за целенаправленный слив засоленных вод в Аральское море...

Дребезжание колокольчика Артема Прохоровича остановило могучий рокот старика.

— Простите, Нормурад Шамурадович, но мы, думается, немножко отвлеклись.

— Да, да, отвлеклись, отвлеклись. Прошу прощения...— старик вдруг мелко затряс головой и, стушевавшись, сел на место.

Поликарпов повернулся к Вахиду Мирабидову:

— Вы что-то хотите сказать? Только если по существу...

— Постараюсь,— Вахид Мирабидов, сердито чеканя

шаг, поднялся на трибуну. Он готов к ответному удару — было написано на его лице.

Шум и смятение в зале постепенно улеглись, снова воцарилась чуткая настороженная тишина. Атакузы ощутил на своем колене горячую трепетную руку дочери, осторожно погладил ее. Он не смотрел ни на дядю, ни на поднятую с вызовом багровую голову Вахида Мирабидова. Неотрывно глядел на сына, страдал за него. Как он сник, присмирел! И в голове Атакузы вихрилась, металась одна-единственная мысль: «Ну, дорогой дядя! Спасибо вам, удружили! Тысячу раз спасибо!»

— Уважаемые члены ученого совета...— Вахид Мирабидов отпил глоток воды и скорбно посмотрел в зал.— Наши споры с уважаемым Нормурадом Шамурадовичем, как вам известно, не новы. Это очень давние, принципиальные споры. Допускаю, я в своих работах не всегда, может быть, прав. Безгрешен лишь аллах, так говорили в старину. Но одного не могу понять. Как это можно, ради того только, чтобы досадить своему, скажем так, давнему оппоненту, безжалостно зачеркнуть многолетние поиски талантливого, я произношу это слово со всей ответственностью, безусловно талантливого молодого ученого?..

При словах «безжалостно зачеркнуть» дядя резко и воинственно вскинул голову. Атакузы теперь с горечью наблюдал за ним, но тихий всхлип дочери отвлек его внимание. Тахира глотала слезы, кусала губы — старалась подавить рыдание. И Латофат низко склонила голову, ее тонкие пальчики нервно рвали алые лепестки огромного цветка. Атакузы потянулся было обнять дочь, успокоить, и вдруг сзади снова хлестнул все тот же смешок:

— Пошла проповедь о человеколюбии, хе-хе!..

Атакузы, словно от неожиданного укола, резко повернулся к насмешнику.

— Зарубите себе на носу, дорогой! Человек должен быть прежде всего человеком, а потом уже ученым. Вы поняли меня?— Атакузы встал, стукнул откидной доской и сразу понял: не надо бы так — все головы повернулись к нему. Но теперь уже поздно, не исправишь. Провожаемый десятками взглядов, твердо стуча подковками сапог, Атакузы пошел к выходу.

2

Нет, никаких вопросов домла Шамурадов задавать не собирался. Он и на защиту не думал идти. Но, во-первых, привязалась Гульсара-ая, молила со слезами: пойди да пойди! А во-вторых, и правда нехорошо получалось — у внучатого племянника, у родного джиена, такое событие, а дядя дома сидит.

Нормурад-ата всю ночь мучился, обдумывал решение, поворачивал его и так и этак и под конец все же решил на защиту сходить. Выступать, конечно, не собирался. При тайном голосовании хотел поддержать Хайдара. С таким решением и вышел из дому.

И что его дернуло поднять руку? Как сорвался злополучный вопрос? Все этот золоторотый! Его речи, звонкие, как пение соловья, пустые, как арбы без груза. Слушал их, слушал, душа и не выдержала. К тому же и вывод из диссертации! Хайдар поторопился, не проверил, как надо, поставленные опыты. Молод, конечно! Ну, а этот соловей, научный руководитель, он-то о чем думал?

А каков демагог! Как повернул! Выходит, он, Нормурад Шамурадов, против переброски сибирских рек в Среднюю Азию! Да ведь домла никогда не подвергал сомнению эту идею. Он предостерегает лишь от спешки, очень опасной в этом деле!

Слава аллаху! Теперь Вахид Мирабидов и подобные ему не отваживаются в открытую лепить ярлыки. К счастью, прошло то время. Правда, против Мирабидова никто не выступил, но результаты голосования все же кое-что показали. Люди поддержали Нормурада-ата. Более четверти состава ученого совета проголосовали против диссертации! Именно это обстоятельство больше всего и потрясло Нормурада Шамурадова! Когда домла, после долгих колебаний, задал свой вопрос, у него и в мыслях не было нанести удар Хайдарджану! Хотел только спустить на землю пустобреха Мирабидова. Думалось: и молодому ученому полезно будет послушать — может, поймет, к чему приводят поспешные выводы...

Ах, не надо было начинать: разгорячился — и понесло. Как всегда, сорвался. Старый дурак!

— Ата, мы приехали к конечной остановке!

Домла Шамурадов, очнувшись, растерянно замор-

гал. «Икарус» стоял на незнакомом месте. В окно видны были зеленые, розовые, оранжевые балконы многоэтажных домов, и новый поток людей уже хлынул в пустой автобус.

Домла недоуменно посмотрел на кондукторшу:

— Где мы находимся, дочка?

— Это конечная остановка, ата. Вам где выходить?

— В рабочем поселке...

— Так вы проехали лишних четыре остановки!.. Не волнуйтесь, сейчас поедем обратно...

Домла сел на свое место, закрыл глаза и тут же забыл и про изнуряющую летнюю жару, и куда он едет — все выскочило из головы. Опять подхватили его те же горькие мысли.

Нехорошо получилось! Ох, нехорошо! Понял это, как только объявили результаты голосования.

Хайдара окружила толпа друзей. Конечно, и Вахид Мирабидов, и Джамал Бурибаев были тут же. Начали поздравлять. Сестра Тахира и еще одна девушка, красивая,— должно быть, дочь Бурибаева, о которой говорил Атакузы,— преподнесли цветы. Кто-то крикнул: «Да подними ты голову! Для ВАКа даже лучше, когда защита проходит не на сто процентов, значит, не оставила людей равнодушными!» Домла Шамурадов, оставленный всеми, растерянный, вышел из зала последним. Атакузы усаживал людей в машины, видно, увозил на банкет. И тут увидел дядю. Решительно двинулся навстречу, стук его подкованных сапог болью отдавался в ушах домлы.

— Спасибо вам, дядя,— сказал, подергивая кончиками коротких треугольных усов.— Вы сделали все, что могли. Такое не забудется во веки веков! Благодарим вас, дядя...— говорил он чужим голосом, и какая же горькая обида звенела в его словах! Домла совсем пал духом...

Да, нехорошо получилось. Нехорошо. Хотя, если подумать, он не сказал ничего такого, что шло бы вразрез с его совестью. И все же... Вышло так, будто он, родной дядя Атакузы, подставил ногу его сыну. Должно быть, все так и подумали. Его не пригласили на банкет — бог с ним, с этим банкетом! Но вот что: никто даже не попрощался с ним, только та красивая девушка с большими печальными глазами жалостливо, будто сочувствуя, посмотрела на него. Последними садились в ма-

шину Атакузы с Джамалом Бурибаевым. Бурибаев кивнул в сторону одиноко стоящего домлы, что-то сказал. Атакузы лишь брезгливо шевельнул усами, и Бурибаев нехорошо, криво усмехнулся.

Домла вспомнил эту кривую ухмылку, и Бурибаев — цветущий, дородный, словно откормленный гусь,— снова возник перед глазами. Тут же закололо сердце. Старик сразу узнал эту вечную непроходящую боль. Вместе с болью, как всегда, пришло тоже вечное, незатухающее: «Если бы Джаббар был жив!»

Да, кто знает, был бы Джаббар жив, может, и не случились бы все эти неприятности. Был бы он жив... Он мог, должен был остаться в живых. Ведь Джаббар одним из первых узбеков получил Звезду Героя, приехал в отпуск! Встречать Джаббара на вокзал пришли, помнится, не только простые люди, прибыло самое высокое начальство. Выстроились в линейку девушки-студентки с букетами цветов, пионеры...

Как он был красив — Джаббар! С новыми погонами офицера на плечах, с Золотой Звездой Героя на груди, густые волосы растрепались на ветру. А улыбка его! Смущенная улыбка на смуглом, обветренном дочерна лице. Вышел из вагона — и на перроне вдруг грянул оркестр, крики «ура!» сотрясли небо.

Сколько было людей! Нормураду и Гульсаре лишь через полчаса удалось обнять его.

Столица гордилась своим сыном-героем, не хотела его отпускать, требовала новых торжеств. Но Джаббар отложил до времени все встречи. На следующий же день помчался в кишлак на свидание с любимой. С Фазилатхон. А через два дня в Ташкент пришла страшная весть. Нормурад ушам не верил: будто Джаббар стрелял в человека по фамилии Бурибаев. Этот человек, как выяснилось потом, силой, обманом овладел девушкой Джаббара. Хорошо еще, пуля не попала — Бурибаев успел выпрыгнуть в окно. А Джаббар? О, Джаббар... Он больше не приехал в Ташкент. Прямо из кишлака отправился на фронт. Отец с матерью не успели даже вдоволь наглядеться на сына.

Джаббар, чистый юноша, не вкусив радостей жизни, пал вскоре смертью храбрых на поле брани. А этот Бурибаев прошел потом, говорят, всю войну и вот возвратился целым и невредимым, с полной грудью орденов и медалей.

Нет, Нормурад никому не желает зла. Кто знает, может, этот тип устыдился, может, потому и подался на фронт. А там, может, и правда показал себя с достойной стороны. Чего только не бывает? И все же... Ходил слух, будто какая-то бумага пришла в прокуратуру, и Бурибаеву посоветовали скорее бежать в военкомат... А потом? Ирония судьбы! Иначе не скажешь. Три года назад домла снова столкнулся с этим человеком. Бурибаев уже сидел в кресле замминистра водного хозяйства. Нормурад Шамурадов чуть лоб не расшиб, пробивая стену его бюрократизма. Чуть было не пришлось уйти из института. Да, к счастью, вскоре за какие-то грехи Бурибаева понизили в должности, перевели на другую работу...

— Что же вы, отец? Рабочий городок!..

— Спасибо, доченька, я сейчас, сейчас...

Ворота были приоткрыты. На улице, у края арыка, на самодельной скамеечке сидела Гульсара-ая, рыхлила землю под базиликом. Нет, только казалось, что рыхлила. Топорик-теша [1] повис в ее руке, старушка глубоко ушла в свои думы.

Услышав шаги, подняла маленькое сморщенное лицо. Домла не узнал лица жены — горькая тоска была в нем и беззвучный упрек. Сердце его сжалось от дурного предчувствия.

— Что с тобой, Гульсара?— нагнулся к жене.

— Со мной?.. Приходил Атакузы... заехал за портфелем,— сказала она, и вдруг из глаз часто закапали слезы.— Вы, значит, все же сделали по-своему...

— Как это так я сделал?— домла выпрямился. Нежность и боль, вдруг нахлынувшие на него, заступил гнев.

— Еще спрашиваете как... Что вы наделали! — Гульсара терла глаза платком.— С единственным племянником разлучили...

— Хватит! Кто хочет судиться, в родичи не годится! Слышала такое? Твой джиен не желает видеть, где правда, где лесть. Не нужен мне такой джиен!

— Хорошо, поступайте как знаете! Я только хотела...

— Хватит, говорю тебе! — Нормурад Шамурадов поднял вверх огромный, как булава, темный кулак.— Оставишь ты меня в покое или нет? И без твоих упре-

---

[1] Теша — инструмент в виде топорика, которым колют дрова, рыхлят землю.

ков тошно, поняла — тош-но!— крикнул он и неожиданно замер на месте с поднятым над головой могучим кулаком.

Старушка выпустила из рук тешу, попыталась что-то сказать, но лишь беззвучно облизнула губы и тихо соскользнула с низенького стульчика на кусты базилика...

Домла застыл на месте, как большой грубо обкатанный камень. Потом, леденея всем телом, опустился на корточки перед женой.

Гульсара-ая!.. Единственный его свет. Путеводный ночной огонек затерявшегося в степи домика — так всегда казалось Нормураду, когда в тяжелую минуту взглянет, бывало, на ее лицо. А теперь?.. С тихой печалью, без укора смотрела на него его Гульсара. «Что будет с вами?»— читал он в ее взгляде.

— Гульсара!— молил старик.— Что с тобой? Что ты делаешь? Подожди! Что с тобой, душа моя?..

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В первые дни своего председательства Атакузы выработал для себя правило: если дело не ладится, не мучь себя понапрасну, а брось все, махни в степь или в горы — к чабанам, отведешь душу, а там, глядишь, и дело пойдет на лад.

И на этот раз последовал своему правилу. Возвратившись из города с тяжестью на душе, не стал задерживаться в кишлаке. Забежал в правление, узнал у секретаря парткома Халидыхон, что все спокойно, и махнул в степь. С собой прихватил главного механика колхоза Наимджана.

Вот уже два года, как Атакузы одной ногой в кишлаке, другой — в степи.

В позапрошлом году, узнав, что строительство канала в степи подходит к концу, взял на себя нелегкое обязательство: освоить несколько тысяч гектаров целинных земель. Тогда же заложил на новом месте и фундамент первых домов.

За его инициативу с радостью ухватились и в районе, и в области. Да что там говорить, на самом выс-

шем уровне было принято специальное постановление, по которому строительство городка в степи, проведение арыков и дорог отдали в руки министерств и их отделов на местах. Закладка первого кирпича под первый дом будущего городка в степи превратилась в праздник, сюда слетелись журналисты, представители радио и телевидения.

Осенью того же года колхоз посадил на нескольких сотнях гектаров молодые деревца шелковицы, чинары и тала — для защиты от лихих степных бурь. В прошлом году получили уже неплохой урожай кукурузы. Такое начало окрылило Атакузы. Нынешней весной он отправил в степь три бригады, они засеяли хлопчатником более семисот гектаров. И сейчас там — на хлопковых полях и в садах — их тоже успели заложить — работает не меньше двухсот человек. Живут в землянках. Хлопок растет неплохо, хотя в первое время Атакузы боялся за него — семена с большим трудом пробивают землю. В общем, дело двинулось. Особенно радуют саженцы — вымахали в рост человека. А вот строительство ползет черепашьим шагом. Вначале строительные организации взялись за дело горячо. А как поутих шум в газетах и журналах, заметно охладели. Пришлось Атакузы устроить в степи свой «штаб». В нем день и ночь дежурит кто-нибудь из членов парткома. Да, кстати сказать, и сам он большую часть времени проводит в штабе. Только так и удается хоть чего-то добиться от строителей. Всеми правдами и неправдами, ругаясь и ссорясь, толкает, не дает работе застопориться. Пропустишь день, обязательно что-то случится, какой-нибудь прорыв — и дело встанет.

На этот раз Атакузы не показывался целых четыре дня. И очень беспокоился — как-то там в степи?

Машина вырвалась из зелени сплошных садов, взлетела на последний холм — он отделял этот зеленый оазис от степи. И вот уже всё — и помолодевшие после ночного дождя сады, и большой, весь белый, новый поселок, и омытые росой изумрудные хлопковые поля,— все осталось позади. Впереди только степь, от подножья этого холма и далеко за горизонт — бескрайняя песчаная, с редкими кустиками травы степь.

После густых темно-зеленых садов, веселых клеверных полей и ярко-зеленых полос хлопчатника эта вылезшая из-за холма унылая полупустыня-полустепь

отпугивает человека. Пепельно-серые барханы делают ее похожей на омертвевшее море.

Солнце уже склонилось к далекому горизонту и било в глаза. Приставив козырьком ладонь, Атакузы осматривался вокруг. Порой ему казалось, будто волны песчаных барханов тронулись с места, зашевелились, надвигаются с обеих сторон, грозят поглотить черную ленту асфальта. Голая, слившаяся с далеким маревом, унылая степь! Как похожа она на поверхность Луны со снимков из космоса. И в этой пустыне именно он, Атакузы, а не кто-нибудь другой, собирается создать жизнь. Поля раскинутся до самого горизонта, зацветут сады, зашумят рощи, вырастет новый современный городок. Все это его гордость, и он таит ее в душе. Правда, теперь, когда пришла вода, здесь и без него создаются поселки, но это совхозы, строит их государство. Атакузы же добивается всего сам.

Вон, впереди, там, где горизонт сливается с небом, завиднелись постройки, красные пятнышки домов из кирпича. Это первые здания будущего городка! Пепельно-серые барханы здесь нехотя отступают с обеих сторон дороги. Вместо них, будто солдаты в строю, стоят саженцы: тальник, тополь, чинара. А за строем саженцев ярко зеленеют поля хлопчатника. Вон и тракторы ползут по грядкам, в руках девушек и парней поблескивают на вечернем солнце кетмени.

Атакузы велел Наимджану — он сидел за рулем — остановить машину. Вылез, вдохнул степного воздуха, огляделся вокруг, залюбовался хлопчатником и — верное ведь средство! — почувствовал: на душе посветлело. Хлопчатник посеяли заново всего лишь месяц назад — первые посевы погибли, побило градом. И вот уже успел подрасти на полвершка, зашумел листвой. А полезащитные полосы! Как вытянулись деревца! Правильно, что в позапрошлом году никого не послушался, сделал все по своему разумению. Когда осенью закладывали эти полосы, нашлись умники — советовали ему сделать расстояние между ними не меньше пятисот метров. Однако Атакузы, зная дикий нрав песчаных барханов, сократил расстояние вдвое. И хорошо сделал — весною, в буран, молодые саженцы встали плотной ратью, сберегли хлопчатник. Без этих зеленых стен здесь вообще ничего бы не выросло.

В приподнятом настроении Атакузы поехал дальше.

Теперь он надеялся, что и у строителей хоть немного продвинулось дело вперед, ведь перед отъездом в Ташкент он успел крупно поговорить с их начальством. Но картина открылась иная: каменщики лежали в тени, прохлаждались, задрав ноги вверх,— ни одного кирпича с кирпичного завода не поступило; бульдозеры стояли без дела — вышли из строя, не было запчастей; из пяти самосвалов, подвозивших гравий к строителям дороги, работали только три.

Атакузы вскипел. Попробуй не вскипи! Хлопкоробы трудятся и в жару и в холод, себя не жалеют. А строители? Разве не их забота создавать хлопкоробам нормальные условия жизни? Есть на них управа или они и аллаха не убоятся?

Первой мыслью Атакузы было сесть в машину и махнуть в район к Шукурову. Пусть помогает, если, конечно, в силах. А нет, так пусть хоть поймет, каково ему работать!

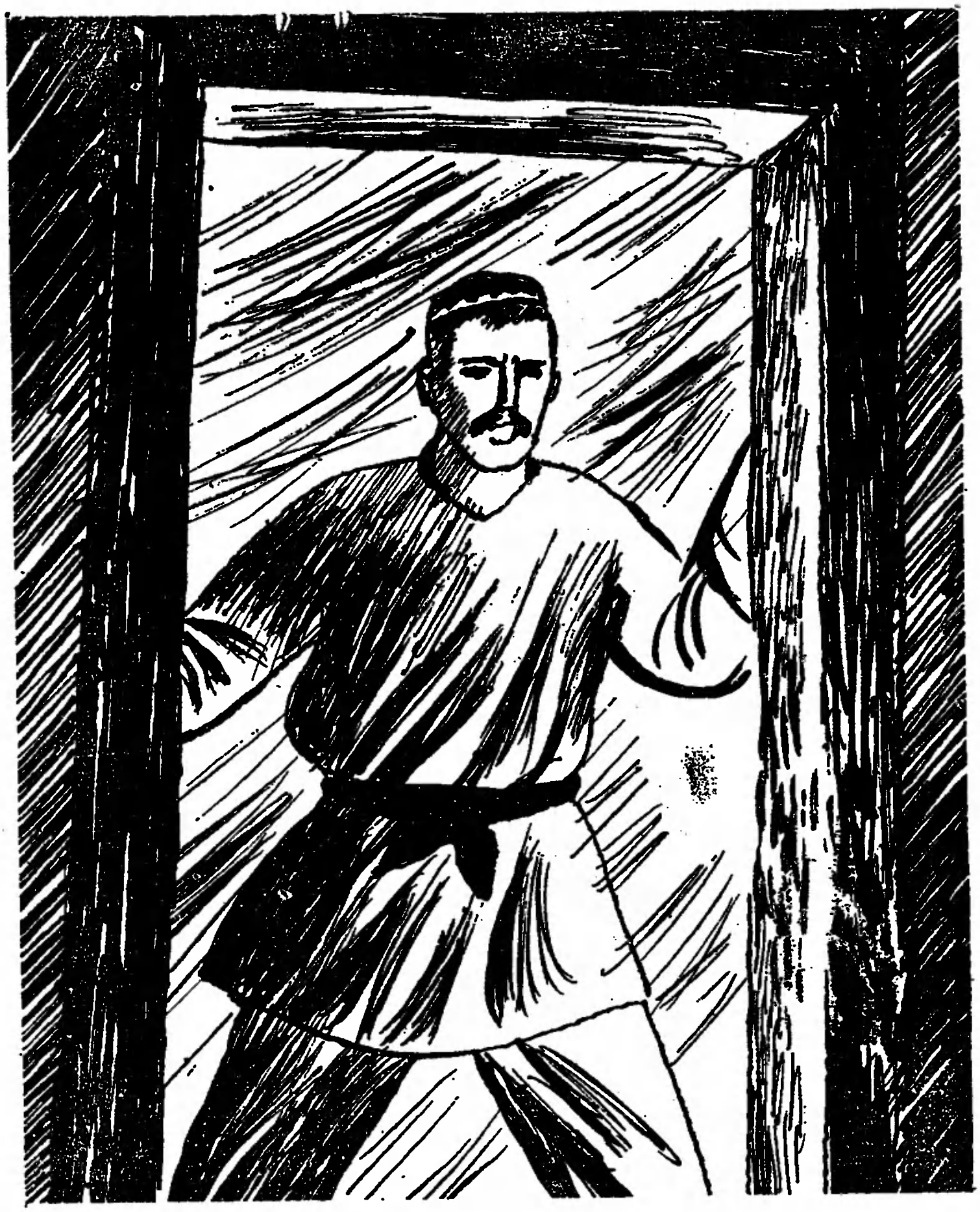
С Шукуровым Атакузы не встречался с тех пор, как расстались они в доме домлы. Вахид Мирабидов, захмелев на банкете, что-то плел про свою дочь и ее мужа, то хвалил зятя, то сетовал на него, а потом попросил Атакузы захватить Махбубу с детьми, отвезти в районный центр.

Махбуба сразу понравилась ему. Она и внешне, и веселым нравом была точной копией своего отца. Озорная улыбка ни на минуту не угасала в светлых глазах, играла ямочками на розовых, как спелые яблоки, щеках. От Ташкента до самого района она беспрестанно говорила, шутила, сама хохотала, заставляла хохотать и Атакузы, и шофера, и детей. Когда подъехали к дому, пригласила Атакузы, но Шукуров отсутствовал, и Атакузы не стал заходить. Прощаясь, Махбубахон сказала:

— Прошу в гости вместе с супругой! Вы, оказывается, большие друзья с отцом. Давайте и мы с вами познакомимся ближе.

Ну что же, Атакузы, пожалуй, воспользуется приглашением. Он и сам хотел подружиться с первым секретарем домами еще с тех пор, как тот принял его сторону в истории с мраморными плитами. Пусть и Алия познакомится с Махбубой...

Атакузы зашел в штаб, протянул уже руку к телефону, чтобы позвонить жене, как вдруг с пугающим свистом налетел ветер. Захлопали двери, окна. Легкий



финский домик мелко задрожал, качнулся. Тут же в штаб ворвался Наимджан, крикнул с порога:

— Буран, раис-ака! Черный буран!

Атакузы выскочил из домика. Полукруг заходящего солнца, только что ярко алевший на горизонте, закрыло красновато-черным маревом. Оно росло на глазах, захватывало весь горизонт, грозно двигалось на них. Огромные барханы, неподвижно вздымавшиеся вокруг, вдруг заколыхались, как живые, задымились. И, дви-

гаясь, будто из утроб своих выбрасывали горячий сыпучий песок.

— Кто еще в штабе? Где бригадир? Беги в степь! Ни одна душа не должна остаться в песках! Всех в землянки! Всех!

Люди и без приказа бросились в укрытия, многие бежали к штабу.

Еще мгновение — и черный смерч, закрыв небо, тяжелой лавиной обрушился на штаб. Зыбкий деревянный домик заскрипел. Полетели сорванные задвижки, осколки разбитых стекол посыпались на пол. Свет погас. Наступила кромешная тьма.

Строители притащили доски и фанеру, наскоро загородили оконные проемы, для плотности завесили одеялами, кто-то зажег керосиновую лампу-молнию.

Атакузы сел на свое председательское место у телефона. Теперь не было нужды куда-то бежать, что-то налаживать: буран набирал силу, бесновался, превратив пустыню в кипящий котел с песком. И штаб, казалось, носился и нырял в этом котле, как щепка.

Прошел час. Наконец появились бригадир-усач Али-Муйлов и Наимджан. Сбросив с лиц платки, выплюнули песок и доложили: в степи ни одной живой души, все укрылись в землянках.

Хоть это успокоило Атакузы. Но тут же нахлынули нерадостные думы. Не в первый раз налетает эта беда. Месяц назад, в конце апреля, такой же свирепый буран засыпал песком весь хлопчатник, выращенный с великим трудом. Размыл арыки, занес коллекторы. Атакузы снял тогда людей со всех остальных работ, бросил исправлять разрушенное. Не смыкая глаз, три дня и три ночи работали люди: засеяли заново поля, очистили от песка арыки и каналы, и Атакузы все трое суток был вместе со всеми. А что будет на этот раз? Пожалуй, еще хуже. Хорошо, если из семисот гектаров хлопчатника останется хоть десятая часть. А дальше? Если и дальше пойдет так, не окажется ли все начатое пустой затеей? Не поторопился ли Атакузы, предприняв такое трудное дело? Может, надо было сперва вырастить, укрепить лесные полосы и только потом сеять хлопчатник? Но кто тогда поддержал бы его инициативу, дал технику, средства? И вообще вряд ли кто дал бы зеленую улицу его замыслам...

Буран продолжал бесноваться, ревел, сотрясая ма-

ленький деревянный домик. Атакузы поставил локти на стол, крепко сжал пальцами виски. Да, весь его труд, начатый с позапрошлого года, похоже, оказался напрасным. Налетела дикая стихия — и все уничтожено, исковеркано! Но только ли стихия? А каковы эти министерства, что не выполняют заданий правительства? А строительные организации? Ведь обязаны были к этой весне закончить по крайней мере двадцать домов. А не сдан ни один!

Вот сейчас здесь, в штабе, лежат вповалку, где пришлось, молодые парни, девушки — дремлют, привалившись друг к другу. Больше года проработали они в этой черной пустыне. Были бы готовы обещанные дома, разве валялись бы они здесь? А водопровод? Уже давно пора проложить его из канала. А дороги асфальтовые? Закрытые коллекторы? Не сдано пока и метра закрытых канав. Открытые дренажи ничего не дают: сегодня их очистишь, завтра засыплет песком. Напрасный труд!

Только что Атакузы собирался к Шукурову. Но что это даст? Районному руководству строители не подчиняются. Уж если ехать, то прямо в обком, к самому секретарю.

«Однако кто же принудил тебя к этой работе? Кто заставил тебя поднимать целину среди этих сыпучих песков?»

И так достиг многого. Начал руководителем небольшого колхоза, потом постепенно, один за другим присоединил несколько соседних. И пожалуйста — вот он уже во главе гигантского хозяйства. Одни только хлопковые поля — больше трех тысяч гектаров! А какой поселок построил! Не уступит иному городу — прославил имя Атакузы на всю страну. Чего еще не хватает?.. Разве только одного — Золотой Звезды.

Есть у Атакузы в обкоме давний друг — секретарь по сельскому хозяйству Бекмурад Халмурадов. Еще в позапрошлом году по секрету говорил: будет у раиса «Ленин юлы» на груди золотая звездочка. Но что-то застопорилось, до сих пор тянут. Так неужели без этой целины не получил бы в конце концов Героя? А ведь если покопаться в душе, Атакузы потому и кинулся на свой целинный подвиг, чтобы показать им там, в верхах, на что он способен. Да за одно ли это дело взялся? Близ кишлака у них есть урочище Минг булак. Минг булак — значит тысяча родников. Там и правда их больше ты-

сячи. Место обильно водой, травами. Подходящее место. Атакузы задумал развернуть здесь большое строительство. Правда, мешают густые тугаи, горная арча. Но заложил уже фундамент гигантского животноводческого комплекса — тоже ведь целый мир забот и хлопот! И здесь никто не принуждал, сам придумал себе все эти заботы, хлопоты. Не может без того, чтобы не кипело вокруг. Ну и, если быть совсем уже честным перед самим собой, золотая звездочка тоже манит. Предпринял, так сказать, генеральный штурм верхов. А если рассудить — зачем ему на пороге пятидесятилетия новая слава, новый почет? Живи да поживай в своем уютном доме, прохлаждайся в тенистом саду! Покой и достигнутая уже слава — что может быть лучше.

...На плечо Атакузы легла чья-то рука. Он очнулся. Над ним склонился Наимджан. Оказывается, раис задремал, уронив голову на ладони.

— Буран прошел, раис-ака! Пойдемте, светает!

Тусклая лампа еле освещала комнату, люди все еще лежали на полу, прижавшись друг к другу. Храп и тяжелый человеческий дух стоял в штабе.

Атакузы, растирая затекшие ноги, поднялся с места.

Буран и в самом деле утих, на небе высыпали крупные белые звезды. И покойно так стало в степи, звезды мерцали так ясно — трудно было и представить себе, что полчаса назад здесь буйствовала стихия. Но громоздившиеся за ступеньками штаба песчаные гряды, каждая с юрту, сразу же напомнили о пронесшемся смерче.

Было еще темно. Но Венера уже ярко сияла на горизонте — близился рассвет. Откуда-то издали доносилось пение петухов и лай собак.

Что за расчудесный человек этот Наимджан! Долговязый, неуклюжий с виду, молчальник, а в работу всю душу вкладывает. Оказывается, успел уже собрать механизаторов. Вон стоят у песчаных бугров, будто у могильных холмов, о чем-то тихо переговариваются.

Атакузы поежился от холода, Наимджан набросил ему на плечи свою телогрейку, зажег карманный фонарик.

— С чего начнем, раис-ака? Ребята собрались идти на поле, хотят посмотреть, что там делается.

— Да разве увидим в темноте?

— Уже рассветает, фонари возьмем.

Подошли молодые джигиты, дружно поддержали Наимджана.

— Все равно не заснем, раис-ака... Посмотреть бы, осталось хоть что от посевов?

Теплая волна благодарности согрела Атакузы, он спустился со ступенек.

— Правильно, все равно не заснем. Пошли, джигиты!

Обходя песчаные холмы, наметенные на дорогах, перебираясь через полузасыпанные арыки, добрались до хлопковых полей.

Все как и думал Атакузы: поля лежали под слоем песка, дренажные канавы и арыки во многих местах сровнялись с землей. Даже саженцы, так недавно радовавшие нежной зеленью, оказались под песком.

Восток постепенно белел. Пока говорили, совсем рассвело. Тут и открылась во всей своей молчаливой мощи ночная работа бурана: вместо радующего глаз порядка, устроенного человеком,— желто-серое море, застывшее в самый грозный момент бури. Хлопковых грядок нет — исчезли, засыпаны песком. От семисот гектаров поля остались невредимыми едва ли двести, а может, и того меньше! Если б не молодые деревца — они все же, как могли, заслонили поля,— и того не осталось бы!

Хлопкоробы молча смотрели на Атакузы. Он чувствовал — ждут от него слова, движения, команды. А он не в силах оторвать глаз от скрытых под песком грядок.

«Как же быть? Неужели все сначала?.. И будет ли толк, если начать заново?»

— Что будем делать, раис-ака?— спросил Наимджан, потирая старой тюбетейкой бритую голову.— Может, съезжу в кишлак?

Атакузы с удивлением глянул на своего главного механика — тот стоял перед ним, не зная, куда деть свои длинные руки-жерди. Глаза на его грубом обветренном лице светились детской искренностью.

— А что в кишлаке?

— Так надо же привезти людей! Как пересевать будем?

Атакузы, увязая по колено в песке, выбрался на дорогу.

— Пошли!

Атакузы шел к штабу, а вокруг — удивительное дело! — бульдозеры и скреперы уже приступили к работе,

отгребали с асфальта песчаные наносы. И рабочие трудились так деловито, будто исполняли привычные повседневные обязанности.

В штабе Атакузы тяжело опустился на стул, окинул взглядом пришедших с ним людей. И опять поразился: с головы до пят осыпаны песчаной пылью, глаза ввалились от бессонницы, а ничего — посмеиваются, подтрунивают друг над другом, шутят.

Атакузы подождал, пока уляжется веселье. Насупил брови, сказал:

— Нынче у нас двадцать первое мая. Хочу спросить, вы же все из здешних дехкан, как считаете, можно еще пересевать хлопок?

Короткое молчание. Послышались голоса:

— Можно!.. Бывало, и позже пересевали!

Не такие, правда, уверенные голоса, как хотелось бы Атакузы.

— Хорошо! Тогда сделаем так: я — в район за семенами, а ты, Наимджан,— в кишлак. Передашь парторгу Халиде: пусть каждая бригада выделит по десять человек и по трактору, и чтобы сразу, немедленно сюда! Али-Муйлов! Ты останься здесь, будешь до приезда Наимджана руководить работой. Очистите арыки и дренажные канавы, подготовите поля для посева. Задача ясна? Ну раз ясна, разговор окончен! Приступайте к делу!

2

Сев закончился на третий день вечером, уже в сумерках. Атакузы не спал две ночи подряд. Он устало шагал в штаб — к телефону, надо было доложить в район. Шел, высвечивая путь карманным фонариком. Недалеко от штаба повстречал старика сторожа,— оказывается, тот спешил ему навстречу.

— Вас к телефону зовут, сынок. Похоже, келин[1] звонила...

Дрогнуло сердце, не стряслось ли чего?

Не успел поднять трубку, сразу же услышал тревожный голос жены.

— Алло! Кто это? Алло!..

— Я!— ответил Атакузы.— Что-нибудь случилось?

---

[1] Келин — так называют жену уважаемого человека.

— Атакузы-ака! — Алия всхлипнула.— Тетушка Гульсара... бедная старушка.

— Да говори же! Что ты тянешь?

— Умерла она...

Атакузы обеими руками вцепился в трубку.

— Когда? Кто передал?..

— Тахира сейчас звонила. Умерал сегодня утром. Бедный старик... дядя, один там, потерял голову...

Слова жены камнем упали на сердце. В памяти мгновенно, с поразительной ясностью возникла Гульсарая — такая, какой видел ее в последний раз. В тот несчастный день Атакузы и не думал заходить в дом дяди. Пришлось все же забежать на миг за портфелем — забыл у них, закрутился с этой защитой. Заехал, рассчитав наверняка, что старик еще не успел вернуться. Гульсара-ая задумчиво сидела у арыка. Как же она засуетилась, поднявшись навстречу Атакузы. Вся лучась добротой, спросила:

— Ну как там? Благополучно ли прошло у Хайдарджана?

— Дайте мне мой портфель! — вместо ответа рубанул Атакузы.

Гульсара-ая испуганно посмотрела на него и заторопилась к дому. Спотыкалась, бедная, на ровной земле. Вынесла портфель и, видно не справившись с собой, снова спросила:

— Сказал бы, милый, что там?..

— Что было там, у дорогого дяди узнайте! Кстати, передайте ему, ноги моей больше в этом доме не будет! — Атакузы круто повернулся и пошел к выходу. «Кузыджан!— услышал он позади полный мольбы и страдания голос.— Кузыджан!» Но не остановился, ушел, громко хлопнув калиткой.

А вдруг упала тогда, в тот миг? Что, если убила ее именно его грубость? Нет, нет, не может быть...

— Слушай, Алия! — Атакузы сжал темный кулак.— Сейчас же позвони в партком, Халиде. Скажи — пусть попросит в автобазе «Латвию». И еще три или даже четыре легковых машины пусть подготовит! Ты тоже займись, приготовь, что нужно. Старушка... Она завещала мне...— Атакузы на миг замолчал.— Завещала, когда умрет, похоронить ее в кишлаке. Я привезу ее сюда. И траур будет здесь! У нас! Поняла?

Из степи до кишлака двадцать километров, оттуда

до Ташкента — двести пятьдесят. Время перевалило уже за девять. Если выехать не мешкая — часам к двум ночи будут в Ташкенте. Передохнут и — обратно. Пожалуй, так можно поспеть до солнца — как раз к бомдоду[1]. Все будет по обычаю, как она просила, и похороны начнут в урочный предутренний час молитвы.

Халида молодая, но старательная: к приезду Атакузы успела подготовить все. Машины стояли, выстроившись в ряд. Отдав последние распоряжения Алии, у которой глаза распухли от слез, Атакузы немедленно тронулся в путь.

Он сидел на заднем сиденье «Волги», откинувшись на спинку, закрыв глаза. Тело ныло от усталости, но сон покинул его.

Вот уже больше часа, как Атакузы услышал тяжелую весть, а из памяти ни на миг не уходит Гульсара-ая, ее светящееся добротой лицо, приветливые глаза. Как она сидела у арыка, как испуганно посмотрела... Сердце его так и леденеет от мысли: не тогда ли, не от его ли окрика!.. Упала, а потом уже в больнице... Нет, нет! Ведь в последнее время совсем сдала... Одиночество, горькие думы о сыне доконали ее. А он, Атакузы, всю желчь свою обрушил на голову этой бедняжки. Ах, нехорошо, нехорошо... Впрочем, и дядя тоже постарался. Правдолюб! Да пусть он хоть тысячу раз прав, Хайдар ведь не чужой ему. Не зря говорится: если хочешь в дружбе жить с родным человеком, называй его батыром. Родичи должны поддерживать друг друга. И все же... да пропади она пропадом, эта диссертация! Не перевернется же Земля от того, что Хайдар не станет кандидатом! Это же самое Атакузы говорил в тот день и сыну, и зятю — будущему зятю! Так и заявил: чем быть на побегушках у очкарей-профессоров да всю жизнь корпеть над бумагой, ехали бы лучше в степь! Стяните потуже пояса, засучите рукава — и по-молодецки на бой с пустыней. Наставлял их он уже после банкета, когда остыл от речей и вина. А на самом торжестве, пропустив рюмку-другую, наворочал такого, что тяжко и вспомнить! Развязно предложил тост за здоровье ученых мужей. И понес, и пошел плести: за тех, что избегают говорить правду открыто, зато потом, при тайном голосовании,

---

[1] Бомдод — моление до восхода, к которому приурочивают похороны.

дают человеку подножку. И как еще земля держит таких, у которых в душе — одно, а на языке — другое!— удивлялся он громогласно. Молодежь — друзья и товарищи Хайдара и Кадырджана восторженно слушали, рты до ушей! Поддакивали одобрительно. Но гости посолиднее, потемнев, стали подниматься, покинули зал...

Да, в тот день он не смог обуздать свою гордость. Хотел даже пойти к дяде, «крупно поговорить» с ним. Хорошо еще, Тахира остановила, тем только и убедив, что, мол, обидит он не столько дядю, сколько тетушку Гульсару! Во хмелю, во гневе набил бы он там кувшинов...

Атакузы почувствовал, что задыхается, расстегнул ворот, выставил голову из окна под ветер.

Машины цепочкой светлых точек мчались по равнине, погруженной в тишину и сумрак. Высокое бархатно-черное небо было полно звезд: хоть бери пригоршнями и заново по небу рассыпай... Ясная, тихая ночь! А Гульсара!.. Бедная!.. Ушла из бренного мира, так и не узнав счастья!..

Атакузы снова откинулся на спинку сиденья. Вспомнились вдруг студенческие годы. Уже после войны. Дядя жил тогда в центре Ташкента, на улице Карла Маркса. В годы войны, когда в Ташкент начали прибывать эвакуированные, он передал свой просторный дом горсовету, оставив себе небольшую комнатенку. В этой сумрачной, полной книг сырой боковушке отыскалось место и для Атакузы: вечерами он ставил за огромной голландкой раскладушку, а утром выносил в маленький сарайчик во двор.

Домла ложился рано и рано вставал. Гульсара-ая давно приспособилась к образу жизни мужа. Но с приездом Атакузы изменила свой распорядок, подстраивалась уже под племянника. Все ждала, когда Атакузы возвратится из института, дремала у печки. А чуть услышит шаги, сразу, бывало, вскочит. Встречала, грела ему ужин. Пока он ел, сидела, подпирая подбородок, не отрывала от Атакузы добрых усталых глаз. И так целых пять лет!..

Любила Гульсара-ая Атакузы еще и за то, что он знал тайны Джаббара — бегал в детстве почтальоном у Джаббара и Фазилатхон.

С каким вниманием слушала рассказы об их любви. Атакузы, конечно, обходил злополучную историю, свя-

занную с Бурибаевым. Рассказывал, как Джаббар приезжал в кишлак, чтобы встретиться с Фазилатхон, про письма его к ней, про ответы девушки. Особенно занимали Гульсару-ая подробности: где, когда и как встречались. Она, казалось, так и впитывала его слова, боялась упустить мельчайшую подробность. А потом смахнет слезу, просветлеет лицом и мягко укоряет:

— А в прошлый раз ты об этом не говорил. Вот, значит, как оно было...

Да, в те годы Атакузы не раз давал себе клятву до конца своей жизни служить старикам, во веки веков не забывать их доброту. Где она, эта клятва? Сделал ли он им хоть что-нибудь хорошее на старости лет? Утешил ли, поддержал, согрел ли их одиночество? Обзавелся семьей, детьми и забыл о своей клятве. Увяз в мелочных заботах, в делах. Дела! Они, наверно, кончатся лишь со смертью!

Трогаясь в путь, Атакузы собирался прямо, никуда не сворачивая, ехать к дяде. Теперь, под тяжестью горьких дум, в нем росла неуверенность. Как же это все-таки произошло с Гульсарой? Атакузы ведь ничего толком не знает. Как поведет себя дядя, когда племянник подкатит с вереницей машин? По прямоте своей, вполне может обрезать: «Сделал свое черное дело, а теперь заявился со слезами? Живую не ценил, так нечего тебе делать и на похоронах!»

От старика можно ожидать и такого!

Дом, где жил Хайдар, стоял неподалеку от шоссе. Атакузы велел шоферу остановиться. Подождали, пока подойдут остальные машины, и затем все подъехали к дому Хайдара.

Уже давно перевалило за полночь, в окнах Хайдара не было света. Может, он у дяди?

Дверь открыл Кадырджан. Должно быть, хорошо «поддал», глаза распухли, волосы растрепаны. Увидел Атакузы и весь съежился. Атакузы отстранил Кадырджана, стремительно прошел в комнату. Так и знал — на столе пустые бутылки, остатки закуски, огрызки яблок. Дверь из спальни приоткрылась, показалась голова Хайдара.

— Тахира где? — спросил Атакузы, темнея.

— Она... у дяди.

— Ты узнал, как это случилось?

— А как еще могло случиться? Старик сам виноват. В тот день, как пришел, поссорились они, раскричался. И бедная Гульсара-ая... Сердце ведь у нее больное... Два дня еще пролежала в больнице, да толку что. Так в себя и не пришла.

Атакузы невольно почувствовал облегчение. Укорил сына:

— Твоя бабушка умерла, а ты здесь дрыхнешь?

Хайдар опустил глаза.

— После того, что произошло, я не хочу...

— Что-что? Что ты там бормочешь?

— Могу и громко сказать. После того, что устроил ваш дядя на моей защите...

— Мерзавец! — Атакузы подскочил к сыну, с размаху плеснул ладонью по лицу.— Такое горе навалилось на твоего родича, а ты со своей несчастной защитой! Катись она ко всем чертям! А ну, собирайся! И ты! — Атакузы с ненавистью взглянул на Кадырджана.— Есть в вас хоть капля совести?.. Сейчас же спускайтесь вниз!

...Дядя, как и думал Атакузы, сидел перед воротами сгорбленный, перетянутый траурным пояском. Рядом стояли и сидели еще несколько человек, должно быть соседи.

Поворачивая в эту улочку, Атакузы распорядился замедлить ход машин. Медленно, освещенный тусклым уличным фонарем, приближался согнутый, поникший старик. Атакузы смотрел на него и вспоминал похороны своей матери. Давно это было. Дядя, оповещенный телеграммой, приехал в кишлак в тот момент, когда выносили из дома гроб. И домла, большой, грузный, одетый по-городскому, в шляпе и макинтоше, вдруг громко, во весь голос запричитал: «Сестра моя, родная! Единокровная, ненаглядная моя сестра! Зачем ты безвременно покинула нас?» Те, кто нес гроб, невольно приостановились. И так необычен был этот горюющий большеголовый человек, что все — и стар и млад — вместе с ним громко зарыдали.

Атакузы вспомнил ту горестную картину и, выпрыгнув из медленно движущейся машины, сам громко запричитал:

— Тетушка моя, вы согрели, приветили меня, сироту! Тетушка моя, вы мне родную мать заменили! Ах, тетушка, тетушка моя, сгорели вы от тоски-печали по единст-

венному сыну! Зачем оставили нас, покинули навек сиротами?

Домла шевельнулся.

— Где ты? Где ты, племянник мой? Вот и разлучились с незабвенной Гульсарой...

И зарыдал, как малое дитя, уткнулся в грудь Атакузы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Наступал сороковой день со дня кончины старой Гульсары, последний день траура.

Стояла тихая лунная ночь. Громадное кладбище, окруженное белыми от лунного света, высохшими карагачами, тутовником и чинарами, глядело пугающе мрачно.

Здесь все казалось мертвым. Большие деревья и даже молодые побеги, пробившиеся из старых корней, были совсем сухими — ни зеленой веточки, ни листочка. Холмики, хранившие мертвых, покрывала желтая сухая трава. Только верблюжья колючка росла привольно, ей не нужна людская забота, не страшны ни засуха, ни жара. Люди, казалось, забыли про это кладбище. Может быть, темп работы Атакузы захватил их, не оставил времени позаботиться о мертвых? Домла Нормурад грустно оглядывал унылые заброшенные могилы. Хоть бы зелено было вокруг, хоть бы одно дерево живое, а на холмиках плиты — дань и память усопшим. Но он же философ — что такое эти плиты и зелень перед беспощадностью смерти? И скромные плиты, и все великие гробницы — что такое они перед бесконечностью?

Ученый человек, много повидавший на своем веку, Нормурад не боялся смерти. Естественный, закономерный итог жизни. И все же... Смерть Гульсары, он чувствует это, жестоко согнула его!

В стороне чуть слышно кашлянул Атакузы:

— Получается нехорошо...

— Что тут нехорошего...

— Как-никак траур не закончился. Люди все еще приходят. А вы и вчера пропадали здесь, и сегодня опять.

— Вот что, дорогой, оставьте меня в покое!

— Ну что ж, поступайте как знаете,— покорно согласился Атакузы, но резкость дяди, видимо, задела его.

Дверца машины, как выстрел, хлопнула на все кладбище. Резко и враждебно зашумел мотор в мертвой тишине, ослепительно яркий луч фар саблей рассек темноту, высветил на миг одинокую, чуть согнутую, но все еще крепкую фигуру старика, и машина, как бы спеша нырнуть в свой собственный убегающий свет, исчезла во мраке.

Домла понял, что напрасно обидел племянника, на миг понурился и тут же забыл обо всем.

2

Он медленно двинулся вниз по знакомой тропинке, заросшей янтаком и верблюжьей колючкой. Плотная, чуткая тишина окружала его. Лишь сверчки стрекотали да внизу, в кишлаке, квакали лягушки. А сам кишлак, утонувший в лунном сиянии, казался огромным темным лесом.

Домла медленно спускался. Но что это? Его лица коснулся нежный, едва уловимый ветерок, тихо зашелестели листья. Он поднял голову: перед ним была могила местного «святого» — Куйгана-ата. Удивительно, все кругом иссохло, обуглилось, а здесь два огромных тутовых дерева стояли полные свежести, зеленели, шумели листвой. А ведь прожили долгую жизнь, раза в три, наверное, дольше домлы.

В пору детства Нормурада сюда, на могилу «святого», привозили для исцеления больных, потерявших разум. К этим двум шелковицам их приковывали цепями. Дикие вопли несчастных по ночам до дрожи пугали детей и женщин...

Домла зашагал быстрее — уйти от жуткого места. В самом шелесте листьев теперь слышались ему стоны безумцев. Прошел немного, еще одно далекое воспоминание всплыло в памяти...

Шел девятьсот шестнадцатый год — год змеи. Весной не выпало ни капли дождя, и осенью ничто не уродилось. Надвигались голодные дни. Скот начал дохнуть. К этому времени умер отец Нормурада. Мелкий торговец, он разорился, как только началась война с немцами. Пос-

ле смерти отца Нормураду лишь одно и оставалось — идти в мардикеры — ополчение, объявленное белым царем, Николаем Вторым.

Перед смертью отец выполнил свой святой долг — женил сына на Гульсаре. И вот Нормурад, не слушая рыданий молодой жены, лишь вчера перешагнувшей порог его дома, не внимая слезам матери, ступил на этот единственный возможный для него путь...

Стояла поздняя осень. Здесь, на кладбище, вечером, перед заходом солнца, собрались сто джигитов. Это новобранцы-мардикеры пришли сюда за день до отправления в армию, чтобы прослушать напутственную молитву — ак-фатиху. Таков обычай.

Всесильные кишлака — из тех, кто вместо своих сыновей нанял в мардикеры сыновей бедняков,— устроили у кладбища угощение: зарезали для такой цели барана, а в жертву, как полагалось при ак-фатихе, забили еще и вола.

Отслужили намаз, джигитам подали на блюдах шавлю — рисовую кашу. Ишан прочитал из корана напутственную ак-фатиху, и все тронулись с места. В этот-то момент один из парней, Ураз-Хураз, и крикнул: «Э, народ!» Бойкий был парень Уразкул, прозвище «Хураз», что значило «петух», получил за петушиный задор, ухарство.

— Судя по слухам,— начал он, когда все остановились,— отцы кишлака прочат нам в юзбаши Кудратходжу, сына Вахидходжи. А что нам Кудратходжа? Только тем и знаменит, что из богатого рода! Послушайте моего совета, джигиты, давайте выберем в юзбаши нашего друга Нормурада. Подходящий будет сотник. И из семьи хорошей, и в медресе учился, видел город, разбирается, где черное, где белое! Что бы вы сказали на это, мумины?

Мумины — истинно верующие, а попросту молодые парни — ответили в один голос:

— Правильно!

— Знаем Нормурада!

— Честный он джигит!

Известно, последнюю просьбу приговоренного к смерти принято уважать. Джигиты шли на фронт, и предложение Уразкула, поддержанное почти всеми мардикерами, начальство не отклонило. Так Нормурад стал сотником — юзбаши кишлачных джигитов. Прибыли в Рос-

сию, сошли в городе Пензе, и здесь на плечи молодого юзбаши навесили погоны — утвердили в звании сотника!

Домла вышел за ограду кладбища, отсюда начиналась дорога на кишлак. Она круто спускалась вниз. Идти стало легче. Вот впереди в лунном свете забелели первые дома, глиняные дувалы, огораживающие дворы, зашелестели сады, повеяло свежим ветерком. Картины далекого прошлого одна яснее другой вставали перед ним. Это было как сон — яркий, тревожащий душу.

Ночь. Большая комната совсем пуста. Все вещи, посуда, все продано; нет, не продано, выменяно на фунт-другой ячменной или кукурузной муки. Старая бархатная занавеска — чимилдик — отгораживает угол новобрачных. Там в отсвете тусклой масляной лампы видна Гульсара. Она уронила голову на руки, беззвучно плачет, плечи ее дрожат. Гульсара небольшого роста, хрупкая и очень еще юная. Нормураду кажется — плачет маленькая девочка, всхлипывает от горькой обиды. Он нежно обнимает жену, гладит мягкие шелковистые волосы, от них пахнет базиликом. Ее волосы всегда так пахли... Нормурад что-то шепчет ей на ухо. Гульсара уткнула лицо, мокрое от слез, в его грудь и зарыдала еще сильнее..

От полутемного угла большой комнаты, от переполненных слезами глаз Гульсары мысли домлы перескакивают совсем в другое место, в другое время...

Здание вокзала, напоминающее старую русскую церковь. Огромная площадь перед ним и вся степь за нею до самого горизонта полным-полны народу, кричащих верблюдов, ревущих ослов, кокандских арб на огромных колесах, ржущих коней. Всюду говор и плач. Женщины с завешенными черными лицами причитают, словно над покойником. Один из провожающих высоким голосом, как муэдзин, читает молитву, призывая аллаха не оставить милостью их детей... Резкий, долгий свист паровоза! Ударяет колокол под куполом вокзала. Рыжебородые казаки-усачи, играя плетками, теснят джигитов к вагонам. Отчаянный, немыслимый вопль оглашает степь, вздымается к небесам.

Огненная арба, так называли в кишлаках паровоз, издав последний пронзительный свисток, тяжело пыхнула паром, загромыхала — все чаще, чаще, и вот бесконечная цепь красных вагонов потянулась за паровозом. И вся огромная толпа двинулась вслед. Кто на коне, кто

на осле, на верблюде, на волах и пешком, вопя и причитая, побежали, поскакали за вагонами, словно в силах были остановить эту огненную арбу.

Очень скоро отстали пешие, ушел поезд и от тех, кто погонял ослов и волов. Лишь несколько конных да старик киргиз на одногорбом верблюде долго еще скакали вслед, нелепо размахивали руками,— пока совсем не исчезли из виду.

Да, было дело. Мало кто остался в живых из тех джигитов, с кем отправился он в мардикеры. Большая часть их давно ушла из этого мира, да будет их сон спокойным. Оставшихся в живых можно пересчитать по пальцам. Жив еще Уразкул, тот самый Ураз-Хураз, что предложил его в сотники. И между прочим, в живых ходит и сын Вахидходжи — Кудратходжа. С этим человеком в начале коллективизации жизнь свела его снова. Нормурад послан был в кишлак на борьбу с кулаками, и именно ему пришлось раскулачивать Кудратходжу! Своими руками вытаскивал из его лавок кованые сундуки, набитые товаром. Высланный тогда же, в тридцатые годы, Кудратходжа пропал без вести, исчез, как в воду канул. Но в середине пятидесятых вдруг объявился — цел и невредим, воротился из далеких краев. С тех пор живет в кишлаке, дурманит голову водкой да анашой. Как приедет Нормурад в кишлак, от анашиста прохода нет: увидит, поймает за рукав и начинает о «высоких материях»... Жив еще и Прохор Поликарпов. Служил тогда толмачом среди мардикеров. Сейчас работает в горах, в лесничестве.

Прохор ждет не дождется встречи с Нормурадом. Уж как рад бывает, когда Нормурад, не часто правда, наведывается к нему в горы.

Нормурад приостановился, показалось, гудит мотор... И тут же понял: шумит вода на кишлачной мельнице.

Значит, он уже спустился в лощину. Ранней весной река бурлит, прыгает, точно вздыбленный конь, а теперь русло пересохло, превратилось в зеленый, с высокой травой луг. Хорошее пастбище. Вот и сейчас в темноте слышно — поскакивают стреноженные кони, тяжело вздыхают залегшие в траве коровы. А с той стороны лощины ветер доносит мельничный шум.

Знакомый с детства шум воды, стекающей по желобу, тихо хлюпают лопасти мельничного колеса! И вот уже ход мыслей повернулся.

Здесь, у этого колеса, теперь уже никому не нужного, трудился отец Гульсары. А чуть выше, у плотины, стояла их, Шамурада-лавочника, мельница. В кишлаке эти места так и прозвали: куш тегирмон — «две мельницы»...

Зимой семьи жили в узких сырых домах за старой крепостной стеной. Теперь ее уже нет. Атакузы все перестроил. Тесно и уныло жилось в тех домах. Зато весной, в половодье, когда на деревьях лопались почки, народ выезжал в сады, разбитые вдоль лощины. Они и сейчас бушуют по склонам. Что это был за праздник для детворы! Нежная, чистая, словно вымытая, трава покрывала берега речки, голова кружилась от весенних запахов: мята, клевер, клейкие желто-зеленые листочки, по-весеннему красная кора на стволах тала — все источало свой особый аромат. Нормурад, кажется ему, никогда уже потом не дышал такой полной грудью. Пора детства!..

А сколько было аистов в те далекие времена! На верхушках каждого тополя, каждой чинары и даже на куполах мечетей — огромные гнезда. Все небо над кишлаком — высокое, весеннее небо — словно в белых облаках,— это в вышине плыли на широко расправленных крыльях белоснежные прекрасные птицы.

Память подбрасывает и иную, тоже давнюю картину. Нормурад после трех лет учебы в Ташкенте вынужден был вернуться в кишлак. Разоренный отец умирающий лежал в постели. Мельницу купил Вахидходжа. Он пригнал людей спиливать тополя у плотины. Невдомек было богатею, что через каких-нибудь десять — двенадцать лет сын разоренного Шамурада конфискует и мельницы и лавки его собственного сына Кудратходжи!

...Солнце высоко стояло над мельницей, небо было безоблачно. Нормурад так отчетливо видит все, будто случилось это вчера. Люди с арканами, с топорами подошли к тополям. Аисты словно поняли, почуяли беду. С тревожным «гач-гач!» взлетели с гнезд. Обеспокоенные их криками, поднялись и аисты из соседних садов, с куполов мечетей, а за ними и с кладбищенских вязов. Все небо заполнили облачно-белые птицы. Их крики, казалось, должны разбудить весь мир. И в этот миг от нижней мельницы донесся отчаянный вопль:

— Нормурад-ака! Велите им, чтобы не рубили! Велите!..

Кричала Гульсара! Она прижалась к стене мельницы и плакала — тонко, пронзительно, жалобно. Но белый тополь, подпиленный людьми Вахидходжи, уже клонился набок, уже подминал огромным стволом соседние тополя, ломал могучими ветвями шелковицы и карагачи. Рухнул старый тополь, и содрогнулась земля! Гнездо аиста, пока падало дерево, отделилось от его вершины и на миг повисло в воздухе, потом медленно перевернулось, полетели вниз сухие хворостины, перья, высохшая шкура змеи — к ногам онемевшей Гульсары...

Еще он помнит...

Хватит! Зачем бередишь душу воспоминаниями, Нормурад? Подумал бы хоть теперь, старый воробей, как протянуть в покое остаток жизни. Переехал наконец в родной кишлак — об этом же мечтал последние годы. Хотел создать здесь библиотеку, просвещать молодежь, вот и займись этим.

Не так представлял домла свое возвращение в кишлак раньше. Рядом с ним должна была жить Гульсара. Он видел себя в очках, в свободном, просторном халате — беседует с ребятами, которые пришли за книгами, а старушка хлопочет, готовит чай. Как она хотела жить с ним в кишлаке, на покое, в тишине, вдали от тревог, чтобы можно было наконец с утра до ночи заботиться о нем.

Что же делать? Не сегодня, так завтра и ты покинешь этот мир. Но до того дня, до того последнего дня, когда закроются глаза, надо жить! И надо доводить до конца начатое дело. Кончай, старик Нормурад, брось терзать себя. Терпи, старик, терпи!..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Люди с поминок уже разошлись. В большом доме Атакузы светилось лишь одно окно. Зато новый дом в глубине двора, построенный для Хайдара, весь был пронизан яркими огнями. Из открытых окон неслась музыка, слышались взрывы звонкого девичьего смеха.

«Ах, молодежь, молодежь! — вздохнул Атакузы. — Приспичило! Не могут подождать день-другой!»

Осторожно, стараясь не шуметь, поднялся на айван

большого дома. Отсюда, с открытой веранды, хорошо видна была гостиная. У самого окна, чуть наклонив голову, прикусив нижнюю губу, Алия гладит рубашку. Знакомая с молодости привычка. Всегда так склоняет голову и прикусывает губу, когда сосредоточится на каком-нибудь деле. Теплая волна поднялась в душе. Алия переступила уже порог сорокалетия, родила ему троих сыновей и дочь — а все еще по-девичьи тонка. И лицо молодое, лишь на щеках у тонкого прямого носа и на лбу обозначились первые морщинки да что-то в глазах стала заметна усталость.

Атакузы бесшумно открыл дверь.

Алия взглянула на мужа:

— А где же дядюшка?

— На кладбище. Видно, хочет испросить прощения у тетушки за грехи молодости... — Атакузы улыбнулся, но его остановило серьезное лицо жены. Подошел, обнял нежные узкие плечи.— Спасибо тебе, мать!

— За что это? — Алия широко раскрыла глаза, продолжая гладить.

— А как же... Нелегко было тебе. Вот уже полтора месяца, что ни день, всё люди.

— Ладно уж, — Алия сильно провела утюгом по белью.— Кто же еще, кроме нас, поможет бедному дяде? Был бы жив их сын... Ночью как подумала, так и не смогла уснуть...

— Ну, мы сделали все, больше даже, чем родной сын! — Атакузы наморщил лоб.— Весь народ видел. Не было человека, кто не сказал бы мне спасибо. Да оставь ты свой утюг. Давай поговорим! — Атакузы присел на диван, сунул под бок подушку. В запавших от бессонницы глазах блеснула озорная улыбка, и лицо, загорелое дочерна, подобрело, смягчилось.— Ну, как там двигаются дела, ханум? О свадьбе говорю. Что думают молодые?

— Молодые...— Округлое, белое лицо Алии зарумянилось.— Зятек наш будущий торчит тут с утра до ночи. Ну и молодежь пошла! Не стыдятся ни тещи, ни тестя.

— А дочь где?

— Веселится вместе с ними!

Густые брови Атакузы на миг сошлись на переносице и тут же разгладились.

— Ладно! Их время сейчас! Пусть делают как знают! Ну а что твоя будущая невестка, тоже здесь? Нет? От-

чего так? Или эти чересчур современны, а она, вроде тебя, отсталая? — Атакузы встал, выпрямил спину, поправил ремень на подтянутом животе.— Хорошо! Поговорю с ними сам. Но и ты скажи своей сватье... Фазилатхон. Если дочь будет хорохориться, то и для сына ее не будет моей дочери!

— Бедняжка, разве она сама может решать...

Вчера утром возле правления Атакузы неожиданно встретил Латофат. Она не такая щеголиха, как Тахира, но надо отдать должное, хороша. И опять напомнила она ему Фазилат в пору ее цветения. Та же яркая, броская красота. И, как всегда при встрече с Латофат, тревожно заныло сердце. А тут еще узнал, что будущая невестка ненаглядная надумала дальше учиться и сюда приехала не одна, а с научным руководителем из Ташкента, с тем самым — с жердью. Собирается ставить здесь какие-то опыты! Ставь, ставь... Если что, то и братцу твоему не видать Тахиры.

— Бедняжка... Тоже мне! — Атакузы нехорошо усмехнулся.— Я говорю серьезно. Пусть только отколет какое-нибудь коленце.— Атакузы решительно вышел из комнаты.

Полумесяц, только что сиявший в небе, спрятался в гуще деревьев, небо было полно белых крупных звезд, одна ярче другой. Атакузы прошел мимо густых гранатовых кустов в глубь сада. Там, в глинобитном дувале, темнела калитка в соседний двор с четырехкомнатным домом. Здесь поместил Атакузы своего дядю. А раньше здесь жил главный механик колхоза Наимджан со своей семьей. Атакузы переселил его в один из новых домов на окраине кишлака. Наимджан, парень простой, добродушный, как будто ничего не имел против, только жена у него горластая, уперлась, как коза: никуда отсюда не перееду. Потом вроде бы примирилась, но, когда переезжала, навешала, что называется, на раиса всех собак. Уж такой шум подняла. Было чему порадоваться недругам Атакузы. Есть такие, денег не пожалеют, только дай им поскандалить. Скверно, что и Атакузы не удержался. Пригрозил: мол, если захочет, не только из дома, из кишлака выселит. А еще хуже,— не владеет он собой в гневе,— перевел мужа ее на работу в степь. Правда, для этого предлог нашелся — укрепить надо хлопководческую бригаду. Но ведь и Наимджан тоже не дурак, понял, конечно, что к чему.

И кто же мог знать, что дело дойдет до такого скандала? Запросто устроил бы дядю в другом месте. В другом? А кто бы там присматривал за ним? Кто ухаживал бы на старости лет?

Только что отремонтированный дом еще не совсем просох, в нос ударило острым запахом свежей краски. Атакузы нащупал в темноте выключатель, зажег свет. Направо из коридора шла дверь в небольшую комнату— спальню. Налево — в гостиную. Здесь сейчас горой лежали книги.

Атакузы опустился на корточки, не без волнения потрогал аккуратно перевязанные белыми тесемками пачки книг. Он любил книги, особенно по истории государств. Ведь в свое время окончил исторический факультет, мог бы историком стать. Да вот завяз... Алия тоже знала цену книгам. Но собранные им и его женой книги — капля по сравнению с тем, что у старика. И десятой части не составляют от его библиотеки.

Да, если вдуматься, большой человек дядя! Целый кладезь знаний. И при всем при том есть в нем много такого, что Атакузы не может понять.

Домла пусть не каждый год, но, во всяком случае, через год-два обязательно навещал кишлак. И всякий раз его приезд становился для Атакузы испытанием. Казалось, не было такого дела, куда бы дядюшка не сунул нос!

Ведь это он, Атакузы, все оттягивал переезд стариков в кишлак — все колебался, хорошо знал характер дяди. А теперь, после смерти жены, пришлось перевезти, не оставишь же одного. Атакузы — единственная его опора. Покойная мать при жизни не раз говорила: «Он один только и остался из наших родных, твой дядя. И судьба обидела его. Ты уж сделай все, согрей его старость, сынок!»

Однако что это? Кажется, кто-то зовет?

— Отец! К телефону! Из обкома...

«Шагай, Атакузы, дела ждут!» — скомандовал себе.

2

Алия встретила его на айване.

— Халмурадов...— сообщила шепотом.

«Должно быть, получил уже мое письмо».

Неделю назад Атакузы послал на имя Бекмурада

Халмурадовича жалобу — доняли-таки его строительные организации. В прошлом году Халмурадов собственной рукой заложил первый камень под фундамент дома будущего городка в степи. Должен бы помочь...

Атакузы, стараясь не показать волнения, сказал:

— Видит бог, не хотел я тревожить вас, Бекмурад Халмурадович. Но ведь вы стояли у истоков дела, своей рукой заложили первый кирпич.И вот теперь... Все застопорилось, ни шагу вперед, только назад, назад...

— Ладно, ладно, — перебил Халмурадов.— Через пару дней соберем у вас в степи руководителей строительных организаций, проведем летучку,— пожалуйста, выкладывай все, что на душе.

— Спасибо, тысячу раз вам спасибо!

Атакузы собрался уже прощаться, но услышал легкое покашливание секретаря обкома.

— Есть еще один разговор. Вы слышите меня, Атакузы-ака?

— Слышу, слышу...

— Дело в том... Возможно, на днях к вам заглянет комиссия.

Сердце Атакузы екнуло. Еле перевел дух.

— По какому вопросу?

— Не телефонный разговор. Потом. Но... — в трубке опять покашливание. Видно, Халмурадов что-то тянул, недосказывал. Атакузы лихорадочно, мучительно перебирал: кто мог накляузничать? Может, снова всплыли мраморные плиты? Или... Недавно был с Шукуровым разговор насчет стройматериалов... Может, он и наговорил чего...

— Нет-нет,— перебил его Халмурадов. Оказывается, Атакузы высказал свою мысль вслух.— Шукуров, по-моему, уважает вас,— продолжал секретарь.— Словом, не слишком беспокойтесь. Комиссии могло и не быть. Жалоба попала в руки первого. Да, может, еще никто и не приедет. Не расстраивайтесь. Вы слышите меня, Атакузы-ака?

— Бекмурад Халмурадович! Товарищ секретарь обкома! — Атакузы обожгла обида.— Освободите меня от этой работы!

— Вот тебе на!..

— Я серьезно говорю. Видит аллах, все эти комиссии...

— Хватит! Не нойте! — В трубке резко щелкнуло; должно быть, секретарь обкома ударил рукою по столу.— Чтобы больше я не слышал такого! Вы не ребенок! Даже если комиссия — это еще не значит, что мы вам не верим! Сам разговор мой с вами доказывает обратное. Понятно? Так что работайте и не сбавляйте темпов. Всего хороше...

Частые гудки в трубке прервали последнее слово. Атакузы не успел даже сказать «до свидания».

Секретарь не сообщил ему ничего нового, не впервые Атакузы слышал такое. И все же до самого рассвета не сомкнул он глаз. В ушах звенело часто и тонко: «пи-пи-пи!»

Вот уже более двадцати лет Атакузы председатель. За эти годы он забыл, что такое покой. А уж настроил, наворочал сколько! Один поселок чего стоит — белый, благоустроенный, красивый современный городок. А было: грязный, запущенный кишлак Йиглаган-ата. Узкие кривые улочки, на площадях горы золы и мусора — все это вместе с развалинами крепостных стен, с руинами древнего кургана — всю эту рухлядь Атакузы снес с лица земли. Новые, светлые дома стоят теперь на прямых широких улицах. Густые тенистые аллеи и даже парки к услугам жителей нового кишлака. Зловонные хаузы засыпаны землей, вместо них вырыты и обсажены деревьями новые хаузы — чистые, прозрачные пруды. В позапрошлом году Атакузы взял обязательство освоить три тысячи гектаров земель в степи, по соседству — там, куда пришла вода. Там тоже будет новый городок, сады и парки. И за все, за все старания что он получает? Одна жалоба за другой, кляуза за кляузой! В первое время Атакузы плевал на жалобы, на комиссии — их тут достаточно побывало, проверяли. Но, видно, возраст берет свое. Обидно, все ведь силы и здоровье отдал колхозу, ноет душа от людской неблагодарности, не из камня же он. Тоже ведь человек!.. Да и громадное дело, которое сейчас затеял, многого требует. Приходится иной раз и обойти инструкции. Ничего не поделаешь. Если крепко держаться за букву закона, останешься с пустыми руками! Например, обязан он дать по плану пятнадцать тысяч тонн хлопка. Страшно даже подумать — из легчайшего пуха, по граммам собирать эти тысячи, и не килограммов, не центнеров — пятнадцать тысяч тонн!

Чтобы добыть их, нужна тысяча тонн удобрений! А отпускают не больше пятисот. Вот и доставай как знаешь, хоть из-под земли. А не достанешь, уплывут твои пятнадцать тысяч тонн, и стой тогда осенью по стойке «смирно» на бюро райкома, а то и самого обкома!

Все это он недавно выложил Шукурову.

А было так. Весть, что его приглашает Шукуров, нашла Атакузы в степи. Время приближалось к вечеру, и Атакузы совсем некстати было ехать в район. По дороге у шалаша первой бригады наткнулся на Наимджана. Он, как перевели его в степь, замкнулся, ходит понурый, мрачный. А на этот раз — что такое? — улыбается во весь рот. Наимджан взвешивал в руках две большие, каждая с чайник, желто-зеленые дыни-скороспелки — хандаляшки по-местному.

Атакузы загорелся, выскочил из машины.

— Поспели?

— Еще как! Мед! Попробуете? — Наимджан выхватил из ножен, висевших на пояске, небольшой кривой нож, ловким, быстрым взмахом провел по дыне. Ломтики таяли во рту, а уж пахли — сладость! И тут вдруг осенило Атакузы.

— Найдется с десяток?

— Десять нет, штук пять сыщем.

— Давай сюда! — весело потребовал Атакузы.

С этими дынями-скороспелками он и прикатил к дому Шукурова. Уж как удивилась Махбуба этим нежно-золотистым хандаляшкам, сколько было радости! А две ее дочки просто визжали от восторга, так и накинулись, схватили по дыньке. В это время подъехал и сам Шукуров.

— Что тут происходит?

— Это? — сказал Атакузы и подмигнул Махбубе.— Это взятка, Абрар Шукурович. Узнал, что опять по жалобе вызываете, ну и решил подсластить ваши уста...

Шукуров взял золотистую хандаляшку, повертел в руке, засмеялся:

— Хороша взятка!

Атакузы хотел было продолжить шутку, но вовремя сдержался.

— Первый плод нашего труда в степи!

— Но-о? Это здорово! — Шукуров сгреб своих визжавших дочек в охапку, понес во двор.— А вы угадали насчет жалобы,— улыбнулся через плечо.

— Не иначе, опять настрочил старый хрыч Аксакал — белобородый?

— Нет, на этот раз строчили не белобородые, а чернобородые хрычи! — снова засмеялся Шукуров.

Так удачно началась беседа. Потом за столом выпили по рюмке вина, и Шукуров объяснил: есть, мол, разговоры, будто Атакузы норовит отхватить жирный кусок за счет соседей. Вот тут Атакузы и выложил все свои обиды.

Шукуров ни разу не прервал его, выслушал до конца. Но все-таки, хоть и мягко, пожурил:

— Я понимаю, не для себя стараетесь. Но вы же не один в районе.

Выходит дело, и этот не понял. А теперь комиссия. Нет, видимо, как ни старайся, все равно не оценят! Хоть все здоровье положи, жизнь отдай ради нужного дела — никто даже спасибо не скажет. Так к чему стараться, зачем ему это?

Атакузы ворочался, гнал думы, но сон не шел. В конце концов поднялся, вызвал машину.

3

Шофер у Атакузы лихой. Недаром прозвали Учар. Летун, одним словом. По взгляду умеет угадывать волю раиса. Он уже ждал у ворот. Атакузы коротко процедил: «В степь!» — и вдруг передумал:

— Погоди, прокатишь сначала по кишлаку.

— По какому кишлаку?

— По нашему! Начинай с правления, потом — по всем улицам!

Учар вскинул брови: «Интересно получается». Нажал на газ.

Восток только начал светлеть, и даже рано пробуждающийся кишлак все еще спал.

Посередине большой площади перед правлением, сплошь покрытой ярким, никогда не вянущим газоном, взмывал в небо обелиск в честь погибших в войну джигитов кишлака. Атакузы залюбовался убегающей ввысь мраморной стелой. Темно-зеленый мрамор, тот самый, что удалось вырвать из рук белобородого!

По одну сторону двухэтажного здания правления сплошная стена витрин — универмаг, по другую — ко-

лонны комбината бытового обслуживания, напротив красовался тяжелый, отделанный тем же зеленым мрамором портал Дворца культуры. А чуть поодаль влево, в глубине фруктового сада, белели два новых двухэтажных дома. Они смотрели друг на друга, разделенные двумя детскими площадками. Один дом — для детсада, другой — для яслей. Дальше шел котлован будущего огромного хауза, на дне громоздилась гора железных труб.

Оба дома Атакузы начал строить еще осенью — в ответ на постановление ЦК о дошкольных учреждениях. Халмурадов тогда одобрил его начинание, похвалил: «Правильно, поставил дело на широкую ногу. Будешь у нас примером для всех. Проведем совещание. Напишем в газетах!»

А главное — появилась возможность пробить никак не пробиваемое — провести в кишлак природный газ: для яслей! Сколько нервов, хитрости, лести, бесконечных поездок стоили те вон трубы, что лежат в котловане хауза, припрятанные от недобрых глаз. Поймут ли люди его старания? Скажет ли кто спасибо? А может, так: его делами его же самого и начнут бить?

Сделав круг по площади, машина свернула мимо Дворца культуры направо. «Волга» стремительно неслась по прямой как стрела улице. По обе стороны мелькали — один под стать другому — стройные, будто свечи, тополя. Убегали назад одноэтажные дома — чистенькие, словно только что побеленные.

Объехав несколько улиц, «Волга» вылетела на плоско срезанную вершину высокого холма. Здесь была еще одна площадка. Еще просторнее первой.

— Стой! — Атакузы рывком открыл дверь, выпрыгнул из машины.

В двухстах шагах от места, где он стоял, сверкало стеклом и алюминием трехэтажное здание школы. Правее школы — пологий спуск к огромной чаше стадиона, слева рядами сбегали вниз деревца — фруктовый сад, заложенный самими школьниками.

С каждой минутой все отчетливее выступал просыпающийся под холмом кишлак. Солнце уже освещало улицы, дома, укрытые деревьями, лощину за садом и большое кладбище вдали за лощиной... Справа от кладбища, за холмами, как будто рядом, сверкали белизной

снежные вершины, а у подножия горной гряды что-то клубилось, голубело в утреннем тумане — арчовые леса урочища Минг булак!

Там, на холмистых склонах урочища, гордость Атакузы: гигантское строительство животноводческого комплекса.

Он оглядывал с высоты свое хозяйство, любовался делом своих рук. Всматривался жадно, будто в последний раз видел и эти сады, и поля, и утонувший в зелени кишлак. Будто прощался...

Глаза раиса загорелись, он посмотрел на шофера:

— Учарбай, помнишь, что было здесь лет пятнадцать назад?

— Как не помнить? Одни развалины только и были.

— Спасибо тебе, сынок! Ну, поехали!

Учар искоса взглянул на председателя:

— Чем-то расстроены, раис-ака? Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего особенного! — успокоил Атакузы, но простые слова Учара еще крепче растравили раны.

Кляузники... Бог с ними! На то они и кляузники. А вот в обкоме! По должности своей ведь обязаны быть справедливыми. Так разберитесь, поставьте ябедников на место! Нет же, шлют комиссию за комиссией, позорят имя его! Спасибо! Он выходит из игры! Сделал все, что мог. Народ не забудет его заслуг. Имя Атакузы навсегда вписано в историю кишлака, в каждую песчинку, кирпич, в каждый листик любого здесь дерева.

Машина вынырнула из зеленого массива сплошных хлопковых полей, птицей взлетела на холм — последний холм, отделяющий кишлак от безжизненной степи.

Вот она, эта тревожащая душу Атакузы бескрайняя пустыня. Вот оно — серое мертвое море песка. И сердце — что сделаешь с ним? — опять забилось. Он вдруг словно увидел: там, в пустыне, вместо серых, мертвых барханов зеленели сады, молодо шумели на ветру.

«Да, все будет так! — Атакузы упрямо выставил вперед лоб, совсем как его дядя-домла.— Сначала закончу, что задумал. А уж потом, пожалуйста, заступай любой, кого пожелаете назначить! Вот так!»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Скрипнула дверь, Фазилат подняла голову.

— Не спите, мама?

— Сынок, я сейчас...— Нашарив в темноте шлепанцы, зажгла свет.

У порога, широко улыбаясь, стоял Кадырджан.

— Найдется что поесть?

— Плов остался. Подогреть?

— Давайте, давайте. Со мной Хайдарджан...

— Как это?.. Как можно — до свадьбы?..

— Свадьба не за горами! Ждали конца траура, сами знаете, старушка нас задержала. Так что отец,— произнеся это слово, Кадырджан ухмыльнулся,— намечает той к концу месяца. Вы говорили с Латофат? — Под скулами заиграли желваки, серо-зеленые глаза холодно и жестко блеснули.

«Вылитый Джамал!» —подумала Фазилат.

— Говорила...

— Ну что она?

— Не знаю, ничего прямо не говорит...

— Не понимаю, что с ней стряслось? Может, снюхаться с кем успела?

Фазилат испуганно покосилась на дверь внутренней комнаты.

— Откуда ты взял?

— Откуда взял? Зачем она привезла сюда этого... заику?

— Он же ее учитель. Они думают...

— Вот, вот — думают! — передразнил Кадырджан, тряхнув длинными космами.— Поддерживайте ее. Где ей взять пример скромности...— не договорив, Кадырджан пошел к выходу, но у дверей остановился.— Как только Хайдар уйдет, я сам поговорю с ней!

Фазилат отвела взгляд, не смогла вынести холода серо-зеленых глаз сына. Попросила:

— Дождемся утра, сынок.

— Нет. Ни минуты больше не хочу ждать.

Фазилат вышла под звездное небо, направляясь в кухню, почувствовала — в черной тени под виноградным пологом сидел Хайдар. Прикрыла лицо платком. В кухне действовала быстро — подогрела на газовой

плите плов, оставшийся с вечера, поджарила яичницу, все передала сыну и пошла к себе.

Вот и сын, которого она вскормила, вырастила, заговорил о ее прошлом, корит мать.

А насчет дочки — Фазилат и без Кадырджана трясется со страха, глядя на ее странное поведение. Да и как не трястись, ведь все это на глазах у Атакузы!

Фазилат и боялась Атакузы, и любила его. Ведь письма Джаббара носил ей Атакузы. Босоногий, с нечесаной головой, с лукаво-озорными глазами. Потом началась война. Джаббар ушел на фронт. От тех счастливых лет осталась лишь связка писем, написанных его рукой.

Был ненастный зимний вечер, была последняя встреча с Джаббаром. Похоронка оказалась ложью. «Погибший смертью храбрых» неожиданно постучал в дверь. Фазилат чуть не упала на пороге, и лучше бы ей было упасть, умереть! Но умер Джаббар. Пал смертью храбрых. А вот Джамал Бурибаев вернулся цел и невредим. К тому времени у нее родился первенец — живой такой, смышленый мальчик... Что было делать? Она сама испытала, что значит безотцовщина, и не хотела такой же нелегкой судьбы сыну. Да и не только в нем было дело, сама Фазилат стала уже не та, не прежняя, надломилось в ней что-то. Так и сошлась она с Бурибаевым. А судьба первенца оказалась печальной. Семь лет ему исполнилось, такой озорной, такой сорванец был, в первый класс пошел... И попал под машину.

Потом родились еще дети.

И вот сын, ею вскормленный родной сын, попрекает мать прошлым. По слухам судит. Сплетни злых на язык людей принимает за правду. А может, и отец что наговорил. Ловок выходить сухим из воды, не намочит даже подола рубашки. Понадобится — очернит любого. Обманом ведь взял и Фазилат. Подлым обманом, да еще и силой. А как стала Фазилат ему поперек пути — отбросил и ушел к другой. Эта уже третья по счету будет. Говорят, из семьи с большими связями, вот и ушел к ней. Пусть! Фазилат, по правде сказать, даже обрадовалась, не стала и алименты требовать — не знать бы, забыть его совсем. Одна, без помощи, выкормила, вывела в люди детей. А теперь снова замаячила его черная тень!..

В глубине души Фазилат хранила надежду — когда-нибудь выпадет такой случай, откроет она сердце сыну, все расскажет ему. Была ведь уже минута отчаяния — выплакала свое горе дочери. Но ведь то дочь, дочь всегда ближе к матери. А как заговоришь с сыном, со взрослым мужчиной? Все откладывала, душу переворачивало от одной мысли о прошлом. А теперь боится — поздно, поверит ли? Сколько воды утекло, даже подлость с годами стирается и блекнет, люди склонны все забывать. Ведь вот и Атакузы, он-то уж знает, как было дело. И не только простил Бурибаева, норовит породниться с ним...

В год, когда Атакузы стал раисом, Фазилат работала в колхозе счетоводом. Атакузы в первую же неделю перевел ее из конторы, послал в овощеводческую бригаду табельщицей. То ли припомнил старое, а может, остерегался недобрых толков — Фазилат в то время была молода и все еще хороша собой. Но так или иначе — с глаз долой! Фазилат слова не сказала, больше пятнадцати лет проработала в той бригаде. Два года назад раис неожиданно вызвал ее в правление. Это было как раз когда сын его влюбился в Латофат. Поговорил, пошутил, вспомнил про то, про се — и вдруг назначил заведующей клубом!

В прошлом году Кадырджан «нашел общий язык» с дочкой Атакузы Тахирой. Тогда раис поручил Фазилат еще и библиотеку, прибавил зарплату, и довольно заметно.

Месяца два назад Атакузы снова вызвал ее к себе. Опять начал с шуток, назвал «кудагай» — сватьей, а потом, посмеиваясь в усы, взял быка за рога:

— Ну так как же, кудагай? Играем свадьбу?

— Как хотите...

— Будь по-моему, так сегодня бы! — Атакузы упер руки в бока, по-ястребиному сверкнул взглядом.— Вот и Тахира закончила ученье, ожидаем на днях. Ну, а как наша ненаглядная невестка? Получила диплом? Когда приедет?..

Фазилат робко отвела глаза. Неделю назад пришло письмо от дочери. Ни слова о свадьбе, пишет, что преподаватели советуют ей идти в аспирантуру.

— Ну? — не отставал Атакузы.

— Не знаю, когда приедет. Хочет дальше учиться.

— Ах вот оно как? — Атакузы молча прошелся по

кабинету, покашлял.— Вот что скажу, кудагай,— заговорил глухо и веско.— Вы знаете, сын мой Хайдар на днях защитит диссертацию. Станет кандидатом наук. И все-таки я хочу перетянуть его сюда. В степи начинаем большие дела. Да и в самом кишлаке, слышали, наверно, за рощей Минг булак возводим большой животноводческий комплекс. Так что и у нас есть где развернуться. Все это я собираюсь сказать и Хайдару, и Кадырджану! Пусть поработают год-два на этих стройках! А там глядишь — один уже директор комбината, другой — главный инженер! — Атакузы оскалил белые, крепкие зубы и тут же убрал улыбку.— Не в высоких должностях, конечно, дело. Хочу, чтобы поварились в большом котле! Так вот, напишите дочери: учеба не убежит. Пусть приезжает, поработает у нас год-другой. Через год, даю слово, моя невестка, ваша дочь, станет директором школы.

Нет, Атакузы не смеялся. Он стоял у окна — руки скрещены на груди. Он не шутит, давно уже взвесил каждое сказанное сейчас слово — это ясно отпечатано на его жестком, темно-смуглом лице!

— Что же я могу сказать...

— Зачем говорить. Напишите ей, и все! Да что с вами? Нелюдимая какая-то сегодня, хмурая! Улыбнитесь же, кудагай моя! Вот так! — Атакузы приветливо попрощался с Фазилат, в дверях задержал: — Да, забыл... Придется пригласить на той и этого... как его... Бурибаева.

Фазилат сжалась, будто охватило ее сквозняком.

— Я не знаю... Так ли уж это надо?

— Есть, есть такая необходимость. И большая.

— Да и дочь моя, Латофат, сторонится отца...

— Надо ей объяснить.— Атакузы заговорил чуть мягче: — Сказать по правде, и мне не очень по душе этот человек. Но жизнь сложнее, чем мы с вами думаем, кудагай.

В тот же день Фазилат написала дочери. И вот Латофат уже здесь. Но не одна, приехала с преподавателем из их института и с двумя подругами. Будут ставить какие-то опыты. Изменилась, совсем не прежняя Латофат. Все больше молчит, видно, не хочет раскрыть матери своего сердца. И Фазилат тоже не начинает разговора, боится — а вдруг с нею что стряслось. А как посмотрит на ее нынешнее положение Атакузы? Стоит

лишь подумать об этом — Фазилат так и холодеет вся.

Кто-то стукнул калиткой. Наверно, Хайдар. Потом послышались четкие шаги. Дверь распахнулась, в комнату вошел Кадырджан.

2

— Подняли Латофат?

— Сынок...— взмолилась мать.

— Разбудите! Я же сказал, сам с ней поговорю.

Отец! Вылитый Джамал Бурибаев!

Заныло сердце у Фазилат, встала с места, и в этот момент дверь распахнулась. Латофат вышла сама — в длинном цветастом халате, ноги сунула в легкие тапочки, высокая прическа, похожая на гнездо, распустилась, и волосы, мягкие, волнистые, упали на грудь.

Быстрым движением руки отбросила легкую прядь со лба, недоуменно глянула на мать, на брата:

— Не спите? Что случилось?

Кадырджан сложил руки на груди — совсем как его будущий тесть.

— У нас — ничего, а вот тебя хотим спросить. Садись.

Латофат послушно присела подле матери.

— Что с тобой происходит? Что это за штучки?

— Какие штучки? — Латофат широко открытыми глазами посмотрела на мать.

— Брось прикидываться овечкой! Зачем приволокла с собой этого юродивого дервиша?

— Не смейте так говорить! — вспыхнула Латофат.— Он приехал сюда работать. Ставить опыты! Если вашему другу это не нравится, что ж, мы можем выбрать другой колхоз!

— Нет уж! Если так вам приспичило — работайте здесь, хоть на виду у нас будете!

— Это слова вашего друга?

— Да, так говорит Хайдар — твой жених! Он хочет знать — будет свадьба или нет?

Латофат отвела взгляд от холодновато-зеленых глаз Кадырджана. Куталась в халат, рука ее дрожала.

Накануне, чуть свет, она получила записку от Тахиры. Подруга просила ее прийти немедля, сейчас же,

к арыку под старым тутовым деревом. «По очень важному делу»,— писала она. Латофат давно здесь не была. Увидела старую, знакомую шелковицу, даже ветку узнала, с которой пять лет назад сорвалась, собирая ягоды, и в груди что-то всколыхнулось, потеплело. На миг показалось — не тогда, давно, а сейчас, сию минуту все случилось, вот-вот с сури под деревом вскочит Хайдар и она, босая, легкая, кинется бежать по росистому клеверу, унося на шее, на лице ожоги от его горячих поцелуев...

Подруга ждала у арыка. Что же это с веселой, беспечной Тахирой? Сидит вся сникшая, перекинув через плечо мохнатое полотенце. Притянула Латофат к себе, усадила рядом, горько зарыдала. Сквозь слезы, всхлипывая, призналась: беременна, ох, если дойдет до отца, плохо ей будет. Просила, умоляла Латофат не тянуть, не откладывать свадьбу.

Очень некстати для Латофат было это признание. Можно сказать, вся ее жизнь поставлена в зависимость от опреметчивого поступка подруги. Но Тахира так горько, так искренне плакала. Жалко стало. Вот и в день защиты Хайдара Латофат так же размякла. Увидела, как он вдруг растерялся, сник, и что-то дрогнуло в душе. Потянулась к нему. Несколько дней были вместе, пыталась поддержать... И Тахиру, конечно, успокоила, что все будет хорошо. А на душе было совсем, совсем не хорошо...

Обратно Латофат пошла вдоль арыка, боялась: не нарваться бы ненароком на будущего свекра. И, выходя из сада, лицом к лицу столкнулась с Хайдаром.

Он, видно, шел с веселого сборища — опух, оброс щетиной. Заметно пошатывался. Латофат попыталась ускользнуть в сторону, но Хайдар решительно загородил дорогу, зло прищурил красные, отекшие глаза:

— Настояла-таки на своем, привезла этого... дервиша!

Латофат невольно отступила назад.

— Вы же сами согласились...

— Согласился, это верно. Лучше уж здесь, на глазах, если без него не можешь. Пойдут теперь разговоры в кишлаке...

— И вы так боитесь сплетен?

— Не боюсь. Но не хочу, не желаю! — крикнул Хайдар.— Не хочу, чтобы ты расхаживала здесь с ним! Не

хочу, чтобы люди видели вас вместе! Поняла ты меня?

— Нет, не поняла! И никогда не пойму! — Латофат перепрыгнула через арык и побежала по саду...

Нерадостные воспоминания. Кадырджан будто читал ее мысли — шевелил кулаками в карманах брюк.

— Молчишь? Не понимаю тебя! Сама ведь льнула к нему! Что же теперь отворачиваешься? Джигит как джигит! Кандидат наук! Умница. Чего тебе еще надо?..

Латофат молчала. Сидела, закрыв руками лицо.

— И обговорено уже все. И мать, и отец наш...

— Отец! Как можете вы называть этого человека отцом! После всего, после того, что сделал он с вашей матерью!

— Не к чему ворошить прошлое. Известно, прошлому прощение.

— А я не прощу! Я никогда не забуду слез матери!

Кадырджан неуверенно пробормотал:

— Что ж... в жизни всякое случается.

— Всякое? — Латофат вытянулась в струну.— Не сваливайте на жизнь, он, этот человек, нужен вам, нужен!

— Хватит! — Кадырджан так и вскинулся.— Уж очень умничать стала! На словах гладко получается, а жизнь — другое дело. О матери печешься, а что с ней будет, если откажешься от Хайдара! Об этом ты подумала? Тебе известно, кто такой Атакузы-ака? Представляешь себе хоть, с кем имеешь дело?

— Да, он всемогущ и способен на все! И ваш друг Хайдар тоже в отца пошел. Уверен, что может силой сломить меня.

— И сломит! Так что лучше одумайся. Или всех нас хочешь под удар?.. Если наплевать на меня, подумай хоть о матери!

— Не вмешивай меня, оставь! — Фазилат ударила кулачками, запричитала: — Уж лучше бы мне умереть! Чтобы из-за меня стала несчастной доченька моя!..

— Кончайте, мама! — от крика Кадырджана задрожала посуда в нишах стены.— Это же той, не похороны. Все — одни глупости Латофат! Где она еще найдет такого парня, как Хайдар!..

— Ладно! — Латофат с неожиданной решимостью поднялась.— Можете передать своему приятелю — я согласна. Только пусть он знает: иду за него... не по люб-

ви, просто боюсь его всемогущего отца. Вот так! Если твоему кандидату наук не претит такая свадьба — пускай будет! — Латофат хлопнула дверью.

Кадырджан исподлобья досадливо покосился на дрожащие плечи матери.

— Значит, разговор окончен, начинайте приготовления. Да бросьте вы ваши слезы. Норовите превратить свадьбу в траур.— Он подошел к выключателю, погасил свет.— Ложитесь спать.

— Сынок!..

Кадырджан не услышал, был уже за дверью. А может, не хотел слушать ее...

«Латофат, доченька! Единственная надежда, радость, ниспосланная небом! Неужели и ты, как мать, свяжешь судьбу свою с нелюбимым и тоже станешь несчастной?» — Фазилат бессильно упала на постель, уткнулась лицом в подушку.

Ей казалось — она виновата перед дочерью. Вдруг вспомнилась поговорка: «Выбираешь ткань — гляди на кромку, выбираешь дочь — гляди на мать». Ох, недобрые люди выдумали эти слова — будто нарочно для Фазилат.

Разве не видела она, как Латофат страдает из-за нее? Сплетни, кривотолки сделали дочь нелюдимой. Когда приезжала на летние каникулы, не ходила, как ее подруги, по кишлаку, не красовалась нарядами, не гуляла на свадьбах, избегала девичьих вечеринок. Все больше сидела дома. До поздней ночи, бывало, не отрывает глаз от книги и все думает, думает о чем-то. Грустные у нее были думы...

«Ладно!. Я согласна! Но пусть он знает: иду за него не по любви...» Нет, это она сказала сгоряча. Сердце матери чует. Латофат не такая, чтоб уступить чьей бы то ни было силе. Это она, Фазилат, в конце концов не выдержала, покорилась Бурибаеву. Кто знает, может, это от матери перешло, от Айнисы? Правда, Фазилат совсем не помнит мать. Всего-то ей было три года, когда мать выкрал богатый торговец Кудратходжа. Не помнит и отца — бедный, безропотный человек, повесился с горя. А Фазилат потом взял к себе амаки — дядя по отцу. Но она много раз слышала, что мать ее не только не противилась Кудратходже, а будто бы стала даже любящей женой. Нет, Латофат не будет... Не покорится. Чтобы дочь Фазилат тоже стала несчастной... Подумать

страшно. К кому бы пойти поговорить, посоветоваться? К Атакузы?.. Одна мысль об этом приводит в трепет! А что, если к домле Шамурадову? Он же не знает всего... Рассказать, как было,— про то, давнее, и потом... Ему бы рассказать — лучше всего. Только он — отец Джаббара...

И опять поднялось все, что пряталось в тайниках души...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Домла проснулся. Комната еще тонула в темноте. Лоскут неба в открытом окне пестрел яркими, крупными звездами. Далеко, должно быть за лощиной, утробно ревели ослы. Петухи протяжно кричали, состязаясь друг с другом.

Накинув на плечи поношенную, но удобно просторную пижамную куртку, старик включил свет. И в комнате, и на старом массивном письменном столе все было так, как оставил ночью после работы: стопка листов, исписанных арабской вязью.

В последнее время домла работал над двумя рукописями — над монографией о горной арче и над книгой об обновлении всей оросительной системы республик Средней Азии. Директор института Артем Поликарпов просил его сосредоточиться пока на оросительной системе. Очень способный мелиоратор этот Артем Прохорович, сын старого друга домлы. Приехал в кишлак на траур по Гульсаре-ая. Надо же, при жизни ее только беды сыпались на голову ее мужа, а теперь, после смерти ее, пришла вдруг хорошая весть. Оказывается, докладная записка домлы в правительство «О комплексном решении проблемы переброски сибирских рек и обновлении оросительных систем республик Средней Азии» заинтересовала министерство. Вот почему Артем Поликарпов и попросил ускорить работу именно над этим. Через несколько дней прислал лаборантку из отдела водного баланса с материалами, которые запросил домла.

Нормурад Шамурадович вспомнил разговор с Поликарповым и усмехнулся. Всегда было так: пока не нажмут сверху или не заставит сама жизнь, не очень-то

прислушиваются к разумным советам. А уж как давно твердит он — и в выступлениях, и в статьях с подробными расчетами — все об одном и том же: об огромной экономии воды, которую даст обновление и техническое переоснащение устаревших оросительных систем! А какие резервы имеются в действующей системе гидротехнических сооружений! Хотя бы Чардарьинское водохранилище. Сливные отверстия в его плотине пропускают до тысячи восьмисот кубометров воды в секунду. А куда идет эта вода? Почему бы не использовать ее разумно? То же и с Сырдарьей. Паводок здесь в иной год дает до шести тысяч кубометров в секунду. Опять вопрос — куда девается эта вода? Попусту сбрасывается в Арнасайскую впадину, и там уже образовалось огромное соленое озеро! Почти то же самое произошло и в Туркмении. Грунтовые воды двух областей — Хорезмской и Ташаузской — создали Сарыкамышское озеро. И тоже соленое. А ведь стоило провести отводной канал в одном случае, а в другом — сбросить дренажные воды в Амударью ниже по течению, стало бы легче тому же Аралу!..

Домла поднялся. Заныла спина, и голова стала не та, гудит. Шаркая тряпичными шлепанцами, вышел из дома.

Громадный заросший деревьями двор все еще тонул в полутьме, но кишлак уже просыпался: в соседнем саду слышался плач ребенка, с разных сторон доносилось мычание коров, блеяние овец и ягнят.

Домла открыл калитку, выглянул на улицу. Там было безлюдно, тихо. Но что это? Кто там пристроился на супе, глиняной лавке у ворот? Спит себе, укрывшись стеганым чапаном, а под голову сунул новую вельветовую шляпу.

Пожав плечами, домла осторожно тронул спящего:

— Кто это по ночам сторожит мой дом?

Человек будто только и ждал его прикосновения, вскочил тут же — маленький, тощенький. Стоял, ощерив беззубый рот, прищурив красные глаза.

— Это ты, Кудратходжа?!

— Хвала твоей памяти — узнал! — Кудратходжа насадил на голову свою вельветовую шляпу, довольно осклабился.— Вечером пришел, хотел прочитать молитву по твоей старушке, да вижу — на воротах замок с лошадиную голову...

Домла не знал, как и быть. Пригласить Кудратходжу в дом — начнет морочить голову, «философствовать». Не пригласить нельзя — нарушишь обычай, нехорошо.

— Ну, раз пришел на фатиху, заходи...

— А не рассердишься, если прочту коран? Ты, помню, не верил в аллаха.

Домла угрюмо взглянул на плюгавенького человечка — тот явно паясничал и все еще щерил беззубый рот.

— Послушай, Кудратходжа! У меня нет ни времени, ни охоты болтать с тобой. Хочешь — заходи, не хочешь — иди на все четыре стороны.

— А ты хоть и профисор теперь, но, как я вижу, все тот же грубиян. Что ж, зайду ради памяти покойной Гульсары-биби. Добрая была женщина, не то что ты! О, голова трещит! Найди хоть каплю вина, профисор! Да вон у тебя же есть...

На полу террасы стояла недопитая бутылка водки, забыли рабочие, которые ремонтировали дом для Нормурада. Рядом на подносе — зачерствелая лепешка, сухой сыр, расклеванная птицами кисть винограда.

Кудратходжа дрожащими руками вцепился в бутылку, запрокинул голову и начал пить прямо из горлышка.

Брезгливо наблюдал Нормурад-ата за судорожными, жадными глотками ходжи. Неожиданно всплыла в памяти совсем иная, далекая картина. И с чего это вдруг неприятно засосало под сердцем?..

Стоял холодный осенний день. Кажется, девятьсот двадцать восьмого года. На базарной площади у знаменитой куполовидной мечети собрался весь кишлак — смотрели, как будут отправлять на выселение баев и кулаков.

Среди тех, кто стоял, погрузив пожитки — мешки и хурджуны — на арбы, и ожидал команды, был и Кудратходжа. Сухощавый, статный, в тяжелой шубе из лисьих шкур. На голове дорогой бобровый тельпек, на ногах — новые хромовые сапоги. Кудратходжа стоял чуть в стороне. Не горевал, не плакал, подобно другим, не показывал слабости перед родственниками — они притащились на площадь, еле поборов страх. Стоял — грудь колесом, черные усы вызывающе закручены, казалось,

собрался не в изгнание, а в долгожданное путешествие. Гневно щурясь, играя желваками, оглядывал стоящую перед ним толпу, кольцо конных милиционеров вокруг площади, активистов кишлака. Среди них был и Нормурад. В гордом, злом взгляде Кудратходжи читалось: «Погодите, еще посмотрим! До конца еще далеко...»

Внезапно базарную площадь рассек горький пронзительный вопль. Толпа качнулась, в образовавшийся проход кинулась молодая женщина. В каком она была виде! Иссиня-черные волосы распустились и упали до самых щиколоток, паранджа сползла набок, чачвана — покрывала — и вовсе не было на голове. Омытое слезами открытое лицо было прекрасно. Она птицей подлетела к Кудратходже, повисла на его шее.

Эта молодая женщина с ясным, как солнце, ликом, чуть ли не до пят обвитая бархатно-черными волосами, была Айниса!

За год до тех событий Кудратходжа отнял ее вместе с трехлетней дочкой у одного бедняка. Когда торговца раскулачивали, ему припомнили и это злое дело. И вот ведь как нехорошо получилось. Та самая Айниса, которая, по мнению людей, страдала и мучилась в когтях насильника, эта самая Айниса рыдала и билась в страшном горе.

Народ на площади сначала растерянно приумолк, а потом загудел, заволновался от никогда не виданной срамоты. Тогда Нормурад Шамурадов, чтобы прекратить этот позор, крикнул милиционерам: «Гоните этих гадов!» Кудратходжа, с почернелым чугунным лицом, резко, одним движением оторвал от шеи руки жены, отшвырнул ее от себя и первым встал в колонну. Айниса как свалилась на землю, так и осталась лежать, словно подбитая птица.

Помнится, весь кишлак тогда отвернулся от Айнисы. Но Нормурад не побоялся, протянул руку молодой женщине. Как-никак это была дочь бедняка, обманутая Кудратходжой, враждебным элементом. Прошло немного времени, и стала она активисткой. Нормурад помог ей и на учебу поехать, в Ташкент. Кончив рабфак, Айниса так и не вернулась в кишлак. А дочку, ту самую Фазилат, в которую потом влюбился, на свое несчастье, Джаббар, оставила родне своего первого мужа. Говорят, в третий раз вышла замуж, уехала куда-то в Хорезм...

А раскулаченный, высланный в дальние дали торговец вынырнул цел-целехонек из-под каменных жерновов и продолжает ползать по земле!

Кудратходжа ожил, словно не водки глотнул, а осушил пиалу «оби-замзам» — живой воды. К впалым щекам прилила кровь, красными стеклышками заблестели глазки. Вытирая реденькие усики, заговорил:

— Зачем стоишь, как вбитый кол? Садись! Или, думаешь, ты главная опора этого мира: тронешься — и все рухнет без тебя? А, профисор?

Домла невольно усмехнулся и сел в плетеное кресло на террасе. Хмельная болтовня Кудратходжи начала его забавлять.

— Я хоть и не мудр, как ты, Кудратходжа, все же понимаю, мир ни без меня, ни без тебя не рухнет!

— Э, тавба,— как хорошо сказал! — Кудратходжа уселся во второе кресло.— Похоже, не я один поумнел, ты тоже.

Домла чувствовал, куда клонит ходжа, и все же не удержался от улыбки:

— Лучше поздно, чем никогда, Кудратходжа!

— Да, да, таков этот мир...— глубокомысленно вздохнул ходжа. Беззубыми деснами оторвал кусок лепешки, принялся мять во рту.— Неразумным рождается дитя человека и долго ходит слепым. А когда открываются глаза и начинает он различать, где белое, где черное,— оказывается, одна нога уже в могиле!

Не раз слушал Нормурад подобных доморощенных философов. Единственный козырь их в борьбе с «гордецами» и «нег рующими» — смерть, недолговечность человеческой жизни. Обычно домла не ввязывался в такие ни к чему не приводящие споры. Отчего же сейчас этот вздох старого пьяницы задел его, тронул какую-то струну в душе?

— Послушай, Кудратходжа! Что ты хочешь сказать этими давно избитыми словами? Что я ничего не добился, хоть и боролся за новую власть? Старался с корнями вырвать баев и кулаков, вроде тебя, а теперь все равно стою на краю могилы? Это ты хочешь сказать?

Кудратходжа осклабился, громко чавкая, приподнял новую мягкую шляпу, насадил на остренькое колено.

— Не-ет! Судя по этим словам, ты не умрешь! Будешь жить во веки веков!

— Почему же? Умру, и, может, еще раньше тебя...

— Ужели и большевик смиряется перед смертью?..

— Не совсем так. Жизнь и смерть — законы природы. И если ты пришел пугать меня смертью и надеешься, что я раскаюсь в своих делах, то ты горько ошибаешься, ходжа! — Домла приподнялся в волнении и снова сел. Пожал плечами: «Чего это ради я так распинаюсь перед ним?»

— Ах да, я и забыл! — Кудратходжа хлопнул себя по лбу.— Ведь настоящий большевик должен быть непреклонным!

— Верно! — Нормурад-ата рассмеялся.— Вот ведь какой грамотный стал. Но смотрю на тебя и одного понять не могу...

— Чего, дорогой профисор?

— Как такого ехидного, злого на язык человека могла полюбить Айниса?

В глазах-стеклышках вспыхнул и погас недобрый огонек.

— У меня шайтан есть! — хихикнул он.— Знаешь, между ног.

И тут домла почувствовал — непрошеная жалость вдруг сразу растаяла.

— Ты и есть шайтан! — процедил сквозь зубы.— Вижу тебя насквозь! — Он поднялся, отодвинул кресло.

— Стой! — Кудратходжа, придерживая на коленях поднос с едой, вытянул тонкую, пупырчатую, как у старой курицы, шею, с угрозой заговорил: — Не пугай меня такими словами. Ты и подобные тебе сослали меня, а советская власть освободила.

— Верно! Советская власть дала тебе свободу, а ты...

— У меня нет обиды на советскую власть! Но вот такие...— он смерил ненавидящим взглядом домлу.— Помнишь, когда меня выселяли из кишлака, в тот день на базарной площади, у мечети. Когда прибежала Айниса...— Замигав красными глазами, уронив поднос, Кудратходжа приподнялся с кресла, растер непослушной дрожащей рукой слезы на маленьком, с ладонь, лице.— Ты спросил: почему Айниса полюбила меня. А ты припомни, ведь в одном кишлаке росли. Помнишь, когда она, рыдая как дитя, бросилась ко мне на шею... Ты, Нормурад, не дрогнул. А ведь она не притворялась. Не

сжалился ты, заорал: «Гоните этих гадов!» Ты не забыл этого, Нормурад?

Домла не верил своим глазам. На миг показалось, что перед ним не жалкий пьяница, тот, что сегодня лежал, как нищий, у ворот, свернувшись в клубок. Перед ним возник другой Кудратходжа, как две капли воды похожий на того, что сорок лет назад стоял на базарной площади, гордо выпятив грудь. Это он не дрогнул ни единым мускулом лица, когда прибежала и бросилась ему на шею молодая красавица жена.

С трудом поборов в себе непрошеное видение, домла сказал:

— А чего бы ты хотел? Чтобы мы жалели подобных тебе баев и кулаков? Как бы ты сам поступил, если бы мы пощадили вас?

— Расстрелял бы! — выпалил Кудратходжа.— Я бы поставил тебя к стенке у той мечети, прижал бы ствол пятизарядки к твоей груди и спустил бы курок, не раздумывая!

Домла невольно похолодел — так страшно сверкнула ненависть в глазах ходжи. Заставил себя улыбнуться.

— Благодарю за откровенность. Но в твоих словах нет логики, ходжа. Ты меня расстрелял бы, прижав к стене мечети, так почему же я должен был жалеть и гладить тебя по головке?

— Погоди! Не путай мою мысль! — Кудратходжа поднес было ко рту бутылку и тут же со злостью швырнул ее в сад. Пустая бутылка прохлестнула сквозь ветки яблони, разбилась вдребезги о стенку кухни.— Что я хотел тебе сказать? Да! Вижу, ты еще не задумывался о своем конце. Но запомни, профисор: он, конец, у нас с тобой один! Как говорится: ал касосил миналхак — ничто не остается без возмездия! Мы еще встретимся в день страшного суда! Тебе тоже придется, как и мне, пройти через Сират-куприк[1]. Посмотрим, Нормурад-ишан, кто из нас удержится на том мосту, а кто сверзится в ад. Да!

Опять все та же баня и тот же таз! Чего только он ввязался в спор с этим пьянчужкой! — досадовал про себя домла, и все же слова о мосте Сират задели его.

— Э, ходжа! Ты же знаешь, я не верю в твои сказки. Ты, видно, хочешь сказать, что я, мол, совершил неспра-

[1] Сират-куприк — мост, по которому будто бы в судный день безгрешные люди проходят в рай. Грешники падают с моста в ад.

ведливость? Так заруби себе на носу — совесть моя чиста. И если осталась у тебя хоть крупинка чести, выйди на улицу, оглянись вокруг — посмотри на новый кишлак, на жизнь людей в нем! Ради этой-то жизни, ради этих людей мы и поступали, как ты считаешь, жестоко. Я не раскаиваюсь ни в чем. Я готов вместе с тобой ступить на любой мост, где испытывается справедливость, в том числе и на мост Сират, если он существует. И мы еще посмотрим, кто достигнет берега, а кто свалится! — домла выговорил все на одном дыхании. Разгорячившись, собрался уже крикнуть: «Хватит, катись отсюда!» — и в это время увидел молодую женщину. Она вошла во двор, ведя за руку пяти-шестилетнего мальчика. Домла невольно осекся.

Женщина остановилась у ворот, поставила на землю плетеную корзину, опустила голову в поклоне.

— У меня тут на летней кухне осталась кое-какая мелочь, можно я заберу, отец?

«Хозяйка этого дома»,— молнией блеснуло в голове домлы.

— Пожалуйста, доченька, пожалуйста,— засуетился он.

Молодая женщина прошла с сынишкой в глубину двора — мимо приветливо улыбающегося ей головастого старика и второго — этот сидел нахохлившись, но, увидев ее, словно проснулся.

Проводив женщину глазами, Кудратходжа многозначительно покачал головой:

— Надира, невестка Уразкула.

— Какого Уразкула?

— Да того самого, который в памятный нам обоим год мардикерства отнял чин сотника у твоего покорного слуги и передал его тебе, почтенный профисор! Неужели забыл? Эта женщина — его невестка. Муж у нее механизатор. В их доме ты и живешь. Одним-единым приказом всемогущий Атакузы вытурил их. Для тебя старался, почтенный активист. Потому как ведь у нас равенство и справедливость...

Домла почувствовал во всем теле неожиданную слабость, прислонился к стене. Разве просил он Атакузы, чтобы дали ему этот, такой большой дом! Да и зачем он старику, который одной ногой уже в могиле.

В дверях летней кухни показалась женщина, она тащила за собой сынишку. Мальчик упирался, хныкал:

— Не хочу уходить, не пойду... Наш сад! Хочу здесь...

— Замолчи, кому говорю! Сейчас придет раис! Услышит — прибьет!

Кудратходжа снова хихикнул. До чего же у него противный, дребезжащий смешок!

— Придет раис! Бывало, детей пугали шакалом, а теперь хватает имени твоего племянника, почтенный профисор.

Домла весь дрожал, но не говорил ни слова.

Женщина грустно оглядывала большой чистый двор, утопающий в зелени, заново побеленные стены, застекленную веранду — айван, залюбовалась свежей, нежно-голубой краской ажурных переплетов.

— Хороший вы сделали ремонт. Мы тоже собирались в этом году перестроить кухню. Мечтали...

Кудратходжа мотнул головой на тонкой шее:

— Не печалься, дочь моя! В этом ли доме жить, в другом ли — все равно нам уготован один дом — кладбище. Все туда придем...

Надира не ответила ему.

— До свидания, домла. Я просто так... Прожили здесь десять лет, привыкли. Каждое дерево, каждый цветок в этом дворе сажала своей рукой. Потому и болит душа.

Домла засмущался, закашлял:

— Я понимаю, доченька, я все понимаю.

— Что ж делать, пусть вам живется здесь долго! — Надира потянула за руку продолжавшего хныкать мальчонку и вышла со двора.

Кудратходжа громко цокнул языком:

— Вот она, твоя справедливость! Тут она вся! Не было ее раньше, не будет и теперь!..

Домла резко обернулся. Злобный смех Кудратходжи унес все его сомнения.

— Нет! — крикнул он, выпрямившись во весь рост.— Была, всегда была справедливость! И ты ее, между прочим, отведал сполна. Она была и тогда, когда ты понаоткрывал лавки в годы нэпа, сдирал шкуру с бедняков! Она была, эта справедливость, и когда ты выкрал красавицу Айнису у бедняка-дехканина! Только ты не следовал ей. А помнишь ты, ходжа, что сталось с несчастным мужем Айнисы, когда со своими подкупленными головорезами ты увез ее? Бедный парень по-

весился на кладбищенской чинаре. Ты помнишь это, ходжа?..

— Помню, профисор, как не помнить. Но только...

— Вон с глаз моих! — зарокотал Нормурад.— Вон, пока не встретимся на том свете на твоем мосту Сират!

Нормурад-ата был страшен. Большой, весь взъерошенный, с поднятым над головой кулаком. Кудрат-ходжа, ощерясь, попятился от айвана к воротам. Нормурад Шамурадов, не опуская кулака, шагнул за ним и вдруг бессильно опустился на ступеньку, в сердце резко и больно кольнуло. Старик долго сидел, уронив голову. Внутренний голос теребил, терзал душу. Он, Нормурад Шамурадов, конечно, прав, тысячу раз прав. Обидно, что не смог сейчас положить на лопатки ходжу. А причиной тому Атакузы — этот дом, этот сад! Ходжа, шелудивый пес, подхватил оброненную кость и тявкает теперь на весь свет.

Он приподнялся, чтобы встать, и в этот момент открылась садовая калитка — пришла Алия. Она сразу поняла, что дяде плохо, быстро подбежала к нему.

— С сердцем нехорошо? Сейчас принесу лекарство...

— Не надо, пройдет. Уже лучше... Атакузы дома?

— Уехал в степь, еще затемно,— Алия, склонив голову к плечу, с нежностью глядела на старика. Домле всегда нравилась эта ее особенность — склонять голову.— Не беспокойтесь, все будет хорошо, Атакузы-ака уже велел привести в порядок ваши книги.

— Я не о книгах. Этот дом он взял с согласия хозяев?

Голова Алии опустилась ниже.

— Не знаю. Они получили квартиру на краю кишлака. Только там еще нет водопровода и газ не провели.

— Так зачем было их сгонять с насиженного места?

— Он думал о вас... — На лице Алии выступил румянец.— Вам же нужен уход...

Слова ее и то, как она произнесла их — робко и нежно,— снова тронули старика.

— Спасибо вам, доченька,— сказал он мягко.— Вы не думайте, я ценю вашу доброту. Очень ценю ее. И все-таки не надо было из-за меня обижать людей. О! — застонал Нормурад-ака.

Лицо Алии вспыхнуло.

— Пойдемте чай пить, дядя... К нам приехал Уразкул-ака, ждет вас.

«Наверно, по этому же делу пришел. Дожил я, дожил!..»

2

Каждый раз, заходя в дом Атакузы, домла чувствовал себя неловко. Из-за Хайдара. Он сейчас в отпуске и задержался в доме отца. Хотелось побеседовать с джиеном, поехать вместе в степь — посмотрели бы оросительные работы и там, на месте, заново обсудили его диссертацию. Но Хайдар будто не замечал домлу, не здоровался. Вот и сейчас — чуть ли не нос к носу столкнулись у колодца. И Хайдар круто свернул в сторону.

Домла остановился в нерешительности, думал пойти обратно, но Уразкул, сидевший на айване, уже заметил его, встал с места. В озорных, как прежде, глазах, на свежих, будто румяное яблоко, щеках, в уголках губ под редкими усами запрыгала лукавая улыбка:

— Зачем согнулись так, мулла Нормурад! Кто же за унылого старика замуж пойдет?

— Что-что? — не понял домла.

— Еще притворяется! А ушам нравится, как сливочное масло желудку. Да распрями, говорю, распрями плечи! Сейчас и старухи стали разборчивыми, не за богатство идут, выбирают с фигурой!

— У меня одна надежда — скорее бы соединиться с моей старушкой.

— Нужен Гульсаре-биби такой мямля! Думаю, ей тоже понравится старик пободрее! — рассмеялся Уразкул. Но тут же посерьезнел: — Собирайся в путь. Вижу, ты совсем извелся. В горы поедем, проветришься хоть немного... Правду сказать, прихворнул там наш Прохор. Поедем, навестим больного, заодно и проветримся.— Улыбка в уголках губ Уразкула медленно угасла.— Немного нас осталось. Раз-два и обчелся. Надо держаться друг друга, дорогой Нормурад!

Насчет дома Уразкул не проронил ни звука.

Между друзьями должно быть все открыто, недомолвки портят дружбу. Домла собрался уже завести прямой разговор, да подумал: «Поговорим по дороге, там будет свободнее».

Он переоделся, вышел на улицу, Уразкул ждал у ворот, держа под уздцы двух серых ослов.

— «Волги» поданы! — объявил, посмеиваясь.

Нормурад на миг заколебался. «Пророк на осле! Пожалуй, попадешь ходже на зубок». И сразу одернул себя: какое это имеет значение? Взял в руки плетку.

— Когда же это мы доберемся до гор на твоих «Волгах»?

— Садись, садись, всего-то каких-нибудь девять верст, доплетемся!

Солнце уже успело подняться выше тополей, асфальтированная дорога, политая водой, блестела, точно покрытая лаком. Улицы оставались в тени. Кроны чинар и белых тополей слились так, что и солнечному лучу не пробиться.

Уступая дорогу грозно ревущим самосвалам и легким, бесшумно скользящим «Москвичам», старики неторопливо ехали у самой обочины. Не так-то уж и давно, кажется, люди глазели, разинув рты, на автомобили, а теперь те же люди, так же разинув рты, смотрят на двух старцев, восседающих на ишаках, и подмигивают друг другу.

Асфальтированная дорога оборвалась перед лощиной. Друзья поехали вдоль русла, свернули к горам.

Домла надеялся, хоть после кишлака убавится движение машин. Но нет, груженные гравием самосвалы, тяжелые «МАЗы» со строительными материалами непрерывным потоком шли в сторону Минг булака, дико ревели, отравляя свежий утренний воздух черным выхлопным дымом.

Домла нервно потряс головой:

— Что тут происходит, Уразкул? Разве в горах открыли какие-нибудь залежи?

Уразкул ехал чуть впереди, медленно покачиваясь в такт шагам осла. Не оборачиваясь, ответил:

— А ты до сих пор не знаешь? В Минг булаке будет животноводческая ферма.

Домла слышал: где-то между кишлаком и горами задумали строить гигантский животноводческий комплекс, хотел даже поехать туда посмотреть, но так и не собрался, отвлекли другие заботы. А сейчас услышал, и кольнуло под ложечкой, заныло.

Два места в кишлаке особенно дороги были ему. Одно — русло лощины, вдоль которой ехали сейчас, где

когда-то на берегу речки стояли две мельницы-соседки. Другое — урочище Минг булак, с его джидовыми и арчовыми рощами.

Рожденное самой природой, нетронутое полудикое урочище одним краем своим уходило в степь, другим упиралось в горы. Внизу — громада вечнозеленой рощи, а по склонам пояс из горькой арчи, карагача. Тополи, тутовник, джида спускались к прозрачным, как стекло, бесчисленным родникам. Родники — тысяча родников! — били из-под земли и сливались друг с другом в небольшие озерца-хаузы, в целые цепочки хаузов. Вода в них была особенная — ледяная, чистая, зеркальная. Человек, окунувшись в такое озерцо в самом жарком месяце — саратане, молодел на десять лет. Трава на полянах среди родников — густая, пахучая, сочная, не увядала, не желтела даже в пору саратана. Колхоз все лето косил и не мог выкосить здешние луга...

У богачей в кишлаке, вроде Вахидходжи — отца Кудратходжи, было заведено летом выезжать на Минг булак. Ставили у родников громадные белые юрты — изделия соседей-киргизов, в душистых сочных лугах привязывали белых кобылиц и посиживали, потягивали кумыс. Вечерами, особенно ближе к осени, устраивали в степях за Минг булаком улау — козлодрание. Земля, бывало, тряслась от конского топота, степь оглашало лихое гиканье наездников, ржание могучих аргамаков...

А сколько там было птиц! На белых тополях селились аисты, вили свои огромные, похожие на чалмы гнезда; бесчисленные перепелки сновали в траве... В каждом кусте щелкал соловей, а среди зарослей камыша водились дикие утки, гуси. Из степи слетались к воде чернобрюхие рябчики, фазаны... А как передать запах джиды в Минг булаке! Серебристо-нежная джида расцветала поздно, накануне лета, и в те дни не только Минг булак, всю округу, весь мир заполнял тончайший, ни с чем не сравнимый аромат.

Едет-покачивается на осле домла и вспоминает былое. В конце двадцатых годов в кишлаке был организован «Союз бедняков». Председателем его стал он, Нормурад. Однажды летом выехал с семьей сюда, в урочище. Поставил юрту. Впоследствии пришлось ему немало выслушать упреков за эту самую юрту в Минг булаке — баям подражает. Но то лето с его рассветными часами,

когда водил под уздцы кобылицу по росистому пахучему лугу, на всю жизнь осталось в памяти. Как радовался, прыгал шестилетний Джаббар, когда шли ставить силки на перепелок.

Не только Нормурад, во всей округе не было человека, который не зачерпнул бы тюбетейкой, не отведал воды из родника. Кто не спал бы хоть раз сладчайшим сном в летний зной в прохладных зарослях под сенью арчи или джиды, под щебет и трели его птиц!

Что же это за люди! Здесь, именно здесь собрались строить свой животноводческий комплекс! Неужели не нашлось иного места, кроме этого чуда, созданного самой природой?

Дорога обогнула Минг булак и зазмеилась, поднимаясь в горы. Когда одолели первый виток подъема, Уразкул остановил ослика:

— Гляди!

Отсюда, сверху, было хорошо видно почти все урочище. Домла натянул поводья. Он посмотрел назад, куда указывал Уразкул. Широкий, покрытый гравием тракт, саблей прорезав зеленые луга Минг булака, поднимался на холм. Там сновали, как муравьи, люди, двигались десятки машин.

Домла беспокойно заерзал, будто в седло попала колючка. Этот тракт, по которому с надсадным ревом двигались груженые самосвалы, эти деревья, поваленные на землю, напоминали Нормураду о некоем пожелтевшем бумажном листе. Его передал домле в позапрошлом году Прохор, выудивший откуда-то редкий документ.

Это была телеграмма, заверенная туркестанским генерал-губернатором и адресованная белому царю. Подписали ее знаменитый андижанский богач Миркамилбай и заводчик-миллионер Морозов. Учитывая тот факт, сообщалось в телеграмме, что из-за бесконечных забастовок в шахтах империя страдает от нехватки угля, верноподданные Его Величества Миркамилбай и Морозов заготовили миллион кубических саженей угля из арчовых деревьев. Этот уголь по калорийности не уступает каменным углям и может обеспечить топливом паровозы на несколько лет вперед.

Прохор надеялся, что домла выступит со статьей, которая была бы вдвойне полезна. Еще раз открыла бы лицо купцов-хищников, безжалостно губивших природу,

но главное — привлекла бы симпатии читателей и начальства к любимице Прохора — горной арче. «Надо смотреть в будущее,— говорил он,— очень боюсь нынешней техники!»

Нормурада телеграмма взволновала не меньше Прохора. Он обещал написать статью. Но вышло иначе. Роясь в архивах, он натолкнулся на новые материалы, на голову бедной арчи выпадали еще большие беды, и притом с незапамятных времен. Начало их уходило в глубь веков, когда полчища Чингисхана нагрянули в цветущие оазисы Средней Азии. Уже тогда немало горных хребтов было оголено. Зимние холода и голод не щадили пришельцев, а они не щадили лесов.

Всю жизнь бился домла над проблемой растущего дефицита воды. Дотошно изучив исторические документы, он лишний раз убедился — эта проблема в значительной степени связана с оголением горных массивов. Теперь уже пришлось писать не статью, а целую книгу. Он и начал эту книгу, но работа затянулась. Прохор конечно же спросит о статье.

— И надо же! — воскликнул Уразкул, словно отвечая мыслям домлы.— Нашли место, где строить фермы!

«Вредительство! Вражеская рука!» — подумал домла, загораясь гневом. И одернул себя: эти обвинения когда-то пришлось выслушать и ему. Какие там враги. Просто безмозглые недотепы, равнодушные к родной земле.

— А ну-ка, друг, подстегни своего аргамака,— сказал Уразкул.— Подъезжаем к Прохору.

Лесничество от Минг булака отделял всего лишь один холм. За холмом начинался небольшой сай — лощина, она переходила в миндалевую рощу,— там и располагалась «резиденция» Прохора.

Старики одолели лощину, где россыпью белели юрты, паслись стреноженные кони, и теперь подъезжали к миндалевой роще. Чуть в стороне на берегу речушки стояли два газика. У машин беседовали несколько человек — городские, со шляпами в руках. Говорили громко. Вдруг их голоса покрыл визгливо дребезжащий крик, он доносился из рощи:

— Нет! Спасибо! И на похороны мои можешь не приезжать!

— Прохор! — Уразкул удивленно покачал головой.— Что-то он разбушевался!

В группе, стоявшей у машин, был и директор института Поликарпов, сын Прохора. Он первый заметил известного профессора, восседавшего на ишаке, и на миг растерялся. Но только на миг — заулыбался приветливо, поспешил навстречу:

— Нормурад Шамурадович! Как здоровье?

— Спасибо, сынок... Что тут у вас происходит?

— Да ничего особенного,— смутился Поликарпов.— Вы же знаете своего старого друга. Попросил меня кое о чем, я сказал, ничем не могу помочь, вот ваш друг и раскричался.

— О чем речь?

— Очень кстати мы встретились,— сказал Поликарпов, будто не расслышав вопроса.— Докладная ваша пошла из министерства еще выше.

— Так-так...— заволновался домла.

— Сейчас знакомятся на самом верху.— Поликарпов блеснул глазами.— Как только будут новости, мы сразу пришлем кого-нибудь. Словом — кончайте скорее монографию.

— Я хотел бы поговорить...

— Я тоже. Но... Извините, домла, там ждет министр.— Поликарпов повернулся к машине.— Мы в степь. Я еще приеду. Обязательно.

Пришлось домле проглотить обиду. Собрался было поговорить о работе, но куда уж тут — министр!..

За миндалевой рощей, на склоне горы, там, где росли, борясь за каждый клочок каменистой почвы, горная арча, лещина, боярышник и дикие яблони, белели три домика лесного хозяйства. У ближнего под громадным вязом стоял сухопарый старик среднего роста и угрюмо смотрел на гостей. Рыжеватые волосы его были взлохмачены, совсем как у современного модника.

— Вот это да! — рассмеялся Уразкул.— Мы спешим, мы торопимся к больному, а больной ржет и роет копытом землю!

Прохор ударил по воздуху рукой, пошел навстречу гостям.

— Ты что это так раскипятился? — спросил домла.

Прохор снова резко, наотмашь рубанул воздух.

— Видели Минг булак?

— Ну?

— Если видели, должны понять. О том и разговор. Я сказал сыну — вред ведь какой! Объяснил — плохое

дело здесь затевают. Ты, говорю, тоже не пешка, директор института как-никак. Замолви слово, где надо!

— И что же он? Говорит, теперь уже бесполезно?

Прохор с удивлением посмотрел на Уразкула:

— Ты-то откуда знаешь?

— А я все знаю, брат!

— Нет, не все! — В голубых глазах Прохора зажглись искры, рыжеватые усы встопорщились.— Бесполезно или нет, но я это дело так не оставлю. Писать буду! До самой Москвы дойду! Да, кстати...— Прохор вдруг уставился на домлу.— Кстати, как там со статьей?

— Статья... Статья пишется.

— Два года пишется! Признался бы: не пишется она у тебя, племянничка любимого бережешь.

— Слушай, Прохор!..

— Слушал, достаточно слушал. Нету прежнего Нормурада, умер. Наш Нормурад не сидел бы сложа руки. Что там племянника, сына не пощадил бы. А племянник твой хорош! Умный ведь, кажется, человек...

— Это ты про Атакузы? — спросил Уразкул. Он стреножил ослов и подошел к вязу.— Был, как говорится, умным, а стал умником!..

Домла вспомнил только что увиденный кишлак: прямые как стрелы улицы, празднично белые дома. Сказал горько:

— Нет у людей совести, вот что, Уразкул. Племянник мой покоя не знает — какой кишлак построил...

— Построил-благоустроил... Ну и что? Теперь можно и людей топтать?

Домла опустил голову. Все ясно. Под большой чашей скрыта маленькая. Дом!..

— Я понимаю твою обиду, Уразкул...

— Брось, не за дом я обижен,— Уразкул, тряся реденькой бородкой-клином, наскочил на домлу, как петух.— Если хочешь знать, я и невестку отругал, чтоб не устраивала скандалов из-за какого-то дома. Живи себе в нем на здоровье. Речь не о том, про Атакузы говорю. Человека он ни во что ставит. Покажется ему, что кто-то поперек дороги стоит,— вздохнуть не даст. За что, скажи, сына сослал в степь? Да не таращи, не таращи ты на меня глаза, Нормурад. Пусть Атакузы тебе хоть сто раз племянник, плевал я! — Гневно взметнув полами чапана, Уразкул зашагал к поляне, где паслись стреноженные ослы. Прохор остолбенел — очень

уж неожиданно грянул скандал. Водил глазами — на растерянного Нормурада, на Уразкула, а тот уже седлал своего осла.

— Эй, Уразкул, ты что, взбесился на старости лет? — очнулся Прохор.

— Хватит с меня! Покорно благодарю!..

— Только и недоставало, чтобы еще мы перессорились.— Домла мешком упал на пень, посмотрел с мольбой на Прохора: — Задержи этого упрямца, Прохор! Прошу тебя!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Уже у калитки Шукурова остановил голос жены:

— Товарищ Шукуров!

Махбуба так называет мужа, когда она в шутливом расположении духа. Это повелось еще с первых дней брака.

Шукуров обернулся. Махбуба только что поднялась с постели — яркий шелковый халат, ноги в легких босоножках. Поправляя на ходу белыми оголенными руками рассыпавшиеся волосы, она спешила к мужу.

— То все ночами ждала, не могла дождаться вашего величества, а теперь по утрам приходится караулить, уходите ни свет ни заря.

От нее веяло теплом постели и еле уловимым цветочным ароматом. Большие серые глаза озорно блестели. Шукуров невольно поддался шутливому настроению жены, подхватил:

— Ваш покорный слуга хранил сон своей ханум. Потерпите немного, пройдут эти суматошные дни, начнем отчитываться перед вами за каждую минуту, вам еще надоест, ханум.

— Премного благодарны! — Махбуба, продолжая улыбаться, низко поклонилась.— Что ж поделать? Приходится нести бремя супруги первого секретаря. Все понимаем.

— Люблю сознательных женщин!

— А как гость из обкома? Приедет?

— Должен приехать. Только мы с ним махнем прямо в степь.

— Не зазимуете же в степи? — Махбуба звонко залилась, довольная своей остротой.— И Джамал-ака вроде бы приехал. Хоть и бывший, а как-никак заместитель министра...

Шукуров успел уже наслышаться о Бурибаеве, и сейчас мгновенно всплыли в памяти эти разговоры. Если правда хоть десятая доля того, что слышал, выходит, Атакузы, рассказывая о нем в Ташкенте, умолчал о главном, скрыл самое страшное — преступление, на которое пошел Бурибаев, чтобы заполучить приглянувшуюся девушку. Видно, Атакузы наступил себе на язык, памятуя о предстоящем родстве.

Прощаясь с тестем в его ташкентском доме, Шукуров и не предполагал, что в тот же день встретится с Джамалом Бурибаевым. Однако председатель «Узсельхозтехники», который принял Шукурова, переслал его просьбу Бурибаеву. И вот встретились. Из-за стола к Шукурову шагнул солидный, привлекательный с виду человек. Несмотря на заметную полноту, Бурибаев казался статным, моложавым. Лишь серо-зеленые глаза навыкате оставляли ощущение некоторого холодка, настораживала излишняя ухоженность гладкого белого лица.

Просьбу Шукурова выслушал внимательно. Правда, ничего конкретного не обещал, отделался общими словами, вроде «учтем», «постараемся помочь». Провожая к двери, держался с тактом, показал даже уважение к посетителю. Однако вот уже два месяца прошло, а ничего так и не сделал. Мгновенно вспомнив все это, Шукуров спросил жену не без раздражения:

— А зачем приглашать его в гости? Может, чем-то обязаны ему?

— Ничем не обязаны. Просто случай такой, приехали уважаемые люди из столицы, из области. Как же не пригласить? Сколько времени, как мы тут, а все затворниками живем. Кое-кто из руководящих уже намекал: пора бы встретиться и на нейтральной почве...

— С каких это пор руководящие работники стали обращаться к вам с такими намеками?

Перегнула! Махбуба мгновенно уловила это. Перевела поскорее разговор на шутку:

— Не волнуйтесь, не сами руководящие намекают. У них жены есть.

— Так пусть они и приглашают, раз им...

— Им неудобно.

— Это почему же?

— Потому что...— Махбуба улыбнулась: какой наивный, простых вещей не понимает! — Потому что... ну, вы первый человек в районе. Они стесняются...

— Очень хорошо, пусть стесняются! Это тоже не вредно.— Шукуров резко повернулся, открыл калитку.

Верхушки пирамидальных тополей, обступивших улицы, уже купались в лучах солнца, но низкорослые шелковицы, обрубленные весной, а теперь вновь зазеленевшие, оставались еще в тени. Прохожих было мало, встретился лишь сторож у магазина, да около райкома дворник поливал из шланга цветник.

Райком располагался недалеко от дома. Шукуров ходил на работу пешком. Шел обычно не торопясь, здоровался с людьми, приходилось перекинуться и словечком. На этот раз шагал, ничего не замечая. Из головы не выходил разговор с женой, мешал сосредоточиться на делах.

Получилось не очень хорошо. Молодая ведь женщина, естественно, ей хочется пригласить гостей, расширить круг знакомых. Пускай увидят, какая щедрая хозяйка. Что тут плохого? Ведь делит же без ропота нелегкую жизнь кочевника мужа. Сейчас-то она попала в хороший, благоустроенный район. А приходилось и потуже, когда он работал на целинных землях Каршинской и Сурхандарьинской областей. Махбуба и там делила с ним все тяготы. А главное, было же время, он готов был отдать жизнь ради одной ее улыбки. Да, да, отдать жизнь! Это чистая правда. Тогда он, рабочий парень, круглый сирота, трепетал перед отцом Махбубы, боялся, что солидный ученый, известный человек не отдаст за него любимую дочь! Было такое, было... И все же, все же... И Махбуба теперь не та, не прежняя Махбуба. Что-то переменилось в ней. Откуда это новое, непонятное ему желание «быть первой»?

Она врач-гинеколог. Везде, где бы они ни жили, работала по своей специальности. И здесь тоже. Работала спокойно, хорошо. И вдруг, с месяц назад, заявилась в райком.

Нарядилась, будто в театр: руки — в кольцах, в ушах — серьги. Была она чем-то взволнована, глаза необычно блестели. День выпал приемный. Народу полно.

Пришлось попросить извинения у посетителей, увести жену в соседний кабинет.

— Что случилось?

— Ничего...— Махбуба засмеялась, сияющими глазами повела вокруг.— Просто захотелось поглядеть на ваш кабинет! В общем, товарищ Шукуров, есть одна просьба к вам. Только...— Махбуба зарделась.— Только не рассердитесь?

— Ну!

— Нет, нет, товарищ Шукуров! Обещайте, что...

— Ну, хоп, обещаю!..

— Спасибо. Так вот... Наш главный врач уходит на пенсию, вы знаете?

— Ну и что? Хотите кого-то предложить?

— Да...

— Вот как! Этот вопрос решает не райком, а облздрав. Неужели те, кто послал вас сюда, не знают? Ну, предположим, не знают. Кого же они хотят предложить?

— Меня.

— Что-о? — Шукуров готов бы расхохотаться. Но, взглянув на жену, осекся — она побледнела: прищурив глаза, серьезно, ожидающе смотрела на мужа.— Вот что, ханум, бросьте эти шутки...

— Почему же шутки? — в глазах Махбубы неожиданно блеснули слезы.— Вы думаете, я не смогу справиться с этой должностью? Считаете, я глупее других?

Шукуров все еще не мог отделаться от шутливого настроения. Жена пришла к нему в райком просить высокий пост! Да разве это можно было принять всерьез?

— Нет, ханум, вы конечно же в тысячу раз умнее, красивее других...

— Нечего смеяться!

— Зачем же вы сами смешите?..

— Разве то, что я сказала, так смешно?

— Если не смешно, то из рук вон плохо! — неожиданно для себя отчеканил Шукуров.— Приходите ко мне, к своему мужу. И зачем? Я должен вам устроить место главного врача! Надо же додуматься!

У Махбубы обиженно задрожала нижняя губа. Попыталась было что-то сказать, но не смогла, выскочила из кабинета.

Вечером того же дня Абрар Шукурович долго беседовал с женой. Махбуба вроде бы поняла, что перегну-

ла палку, и даже сама посмеялась над нелепой своей просьбой.

Но все-таки удивительно — раньше за ней не наблюдалось такого. Во всяком случае, он не замечал, чтобы она так жадно желала быть первой, чтобы стремилась к роскоши, блеску. Может, сработали дремавшие в ней родительские гены? Шукуров вспомнил: ведь не раз уже он подмечал в доме тестя некоторую чрезмерность во всем: и в обстановке, и в самом поведении доктора наук Мирабидова...

Шукуров шел, углубленный в свои думы.

— Абрарджан! — прервал его мысли чей-то голос. У небольшого фонтана на площади перед новым двухэтажным зданием райкома стоял тот самый старый председатель колхоза, Аксакал, который вскоре по приезде Шукурова приходил к нему с жалобой на Атакузы по поводу мрамора.

«Аксакалом», то есть белобородым, его прозвали не только из-за почтенного возраста, но и за длинную, заботливо соблюдаемую серебристую бороду. Раис сегодня оделся что-то очень торжественно — новый просторный китель весь увешан орденами и медалями, над ними поблескивает маленькая Звезда Героя, хромовые сапоги отполированы, на бритой голове новая тюбетейка, а уж как сегодня промыл и расчесал пышную белую бороду — каждая волосинка блестит.

«Ага, прискакал уже!» — подумал Шукуров, вспоминая не совсем приятный разговор, который на днях вышел у него с первым секретарем обкома.

— Я слышал, вы там обижаете нашего почтенного Аксакала,— прямо в упор начал секретарь.

Шукуров не сразу и сообразил, о ком идет речь. Поняв, начал было объяснять суть дела. Но секретарь не стал слушать.

— Я, конечно, понимаю. Атакузы Умаров толковый хозяин, и мы всячески поддерживаем его. И заслуги...

— Дело не в заслугах,— не выдержал Шукуров.— Беда в том, что я сам очутился в положении Атакузы Умарова.

— Не понял вас.

— Плохо со снабжением, из рук вон плохо! Это и толкает людей на разное... ну, что ли, предпринимательство.

— Надеюсь, вы лично еще не преуспели в таких делах?

— К сожалению, начисто лишен предпринимательского таланта,— засмеялся Шукуров.— Зато и положение в районе — катастрофическое. Особенно с удобрениями.

— Ну, насчет катастрофы вы, конечно, преувеличиваете. Я прочел вашу записку. Рассмотрим ее на бюро. А пока прошу подумать вот над чем. Не слишком ли много валим мы на эти самые неурядицы? Некоторые из раисов в вашем районе разрешают себе куда больше дозволенного, не стесняются и закон нарушать. Есть один нехороший сигнал, касается Атакузы Умарова. К вам на днях приедет Бекмурад Халмурадович. Разберитесь! А Аксакала не обижайте!..

И вот уже Аксакал здесь. Шукуров пропустил раиса в дверь своего кабинета на втором этаже.

«Даст он себя в обиду! Дожидайтесь! Тот же Атакузы — одно тесто, разве что разной выпечки. Любопытно: скажет, что был у Первого, или промолчит?»

Промолчал. Маленькие глазки хитро сверкали из-под густых нависших бровей. Пришел он просто проведать уважаемого нового секретаря. Может, у дорогого Абрарджана есть какие-нибудь замечания по его работе? Ведь не зря говорится: ум не от возраста зависит, а от головы. Он считает — очень правильные эти слова. Вот и сам он, несмотря на почтенный возраст, впадает иной раз в ошибки, глупостей делает немало.

Тонкий ход! Спешит опередить возможный упрек. Абрар Шукурович улыбнулся. Пословица пословицей, но вот он, секретарь, действительно нередко ошибается, ему бы очень кстати были советы таких умудренных опытом руководителей, как Аксакал. Дипломатический ход, видимо, удался, и раис приступил к делу. Оказывается, опять пришел с жалобой. И опять на Атакузы, хоть и преклоняется перед его умом, хозяйственной хваткой и дерзостью. Выяснилось — Атакузы снова перехватил то, что предназначалось колхозу Аксакала. На этот раз — дефицитные трубы для газификации кишлака.

Шукуров дал слово — разберется. Записал при Аксакале в блокнот. Под конец не удержался и от шутки:

— Как же это вы так, бывалый раис, уважаемый всеми аксакал и дали обойти себя Атакузы?

Сказал и сразу пожалел. В маленьких глазках, прикрытых седыми бровями, мгновенно заиграли ехидные огоньки. Улыбаясь в пышные усы, Аксакал ответил:

— У него ведь хандаляшки! Много хандаляшек!

Вот оно как! Шукуров поспешил закруглить разговор. Проводив раиса, он долго ходил по кабинету.

Аксакал в своей жалобе на Атакузы, конечно, прав. Прав и Первый — не годится вершить незаконные дела, прикрываясь хозяйственными неурядицами. Но ведь и сами неурядицы существуют — это тоже правда, от которой не уйти. Именно они и толкают на разные хитрые ходы. Значит, в первую очередь надо бороться с причиной, которая привела к нежелательному следствию. Об этих неурядицах Шукуров писал и в обком, и в Госплан, а результат, как говорится, равен нулю!..

В дверь тихо постучала секретарша.

— Тут пришли двое. Говорят, из Ташкента.

— Из Ташкента? — «Не тесть ли?» — подумал Шукуров.— Пусть заходят.

В кабинет вошел длинный, тощий мужчина лет тридцати, с загорелым дочерна лицом. За ним — девушка с высокой прической из мягких каштановых волос.

— Доцент Абидов,— представился темнолицый посетитель.

Девушка подняла большие печальные глаза на Шукурова и тут же низко опустила голову.

— Пожалуйста, присаживайтесь...

— Спасибо,— девушка села на стул, одернула подол короткого ситцевого платья без рукавов.

— В-вот что... Мы к вам с просьбой!— Доцент, волнуясь, пригладил свою взлохмаченную густую шевелюру.

Шукуров не сразу разобрал, в чем его просьба. Наконец понял следующее: он, доцент университета Сакиджан Абидов, уже много лет работает над биологическим методом борьбы с вредителями хлопка и теперь приехал к знаменитому миллионеру-председателю (при слове «миллионер» доцент саркастически усмехнулся), хочет в колхозе, где широко поставлено хлопководство, испытать результаты своей работы. Есть и еще одна причина, почему выбрал именно этот колхоз. Вот эта девушка, Латофат. Здесь ее родной кишлак, здесь она

родилась и выросла. В этом году окончила университет...

Латофат... Он уже слышал это имя. И не так давно. Ах да, это же дочь Бурибаева и той красавицы, которую любил сын домлы Шамурадова. Будущая невестка Атакузы!..

Шукуров, не поворачивая головы, искоса взглянул на Латофат. Удивительные глаза — огромные, грустные. Ну, если мать ее в молодости была такой же, можно представить себе боль и горечь джигита. Джаббар — так, кажется, звали его...

— Простите, т-товарищ Шукуров, я вижу, вам не интересна наша идея,— доцент Абидов дернулся к двери.

— Нет, нет, очень интересна. Так что вы собираетесь здесь делать?

— Я уже сказал — испытывать биологический метод борьбы с вредителями, в частности с совкой. Кому-кому, а вам должно быть известно, какое это зло для хлопчатника. Надеюсь, вы представляете себе, что ядохимикаты — палка о двух концах. Бьют не одну только совку. А мы привезли вот что,— он вынул из кармана стеклянную банку с какой-то зеленовато-желтой пыльцой, потряс ею перед Шукуровым.— Здесь мушки-трихограммы. Мы развели в нашей институтской лаборатории. Злейший враг совки. Трихограмма обыкновенная, яйцеед. Вы, может быть, замечали — на нижней части стебля иной раз приклеена цепочка блестящих желтых яичек, вроде пшена? — Доцент увлекся и теперь совсем не заикался.— Это яички совки. Вот мы придем с этой банкой на поле и выпустим своих мушек. Ветер быстро их разнесет... А через неделю приходите, увидите: желтые яички совки станут черными. И из них теперь не совки вылетят, а такие же трихограммы. Вот и все! Трихограмма может уничтожить до девяноста процентов яиц вредителя. А то и до ста. Представляете? — Абидов торжествующе замолчал, наблюдая, какое действие его слова произвели на хозяина кабинета.

Шукуров с неожиданно вспыхнувшим интересом следил за странноватым доцентом.

— Очень интересно,— повторил он.— А с председателем вы уже говорили?

— Да, все в порядке. У нас договор. Колхоз отвел нам небольшой участок...

— Так в чем нужна моя помощь? Может, свести вас с руководителями районного отдела защиты растений?

— Благодарю вас, спасибо! — тонкие губы Абидова насмешливо искривились.— Нам известны эти паникеры!

— Паникеры? — не понял Шукуров.

— А как же иначе? Появится в поле один-единственный клещ или бабочка — и уже поднимают шум на весь мир: спасите, горим! Известна причина этого шума!

— И в чем она?

— Да в том... выполнять нужно план! План по протраве! Ядами травить поле надо. А чтобы разрешили сыпать ядохимикаты, шумят, пугают: погибаем, весь мир заполонили совки!

Узкое, обтянутое темной кожей лицо Абидова пылало румянцем, глаза светились. «Дервиш! Дервиш, беседующий с нечистой силой!» — мелькнуло в голове Шукурова. Но этот «дервиш» заинтересовал его. Говорил о вещах, которые и самого Шукурова тревожили. Он невзначай взглянул на Латофат. Что с нею сделалось? Чистое, нежное, цвета пшеничного зерна лицо порозовело. Печальные глаза странно блестели, в них был восторг. Этот тощий, темнолицый заика, похоже, задел что-то в ее душе!..

— Ладно! — Абидов махнул длинной рукой.— Сейчас я к вам по другому вопросу. Латофатхон окончила недавно университет. Специалист она способный, вполне могла бы стать хорошим ученым, если бы захотела...

— А разве она не хочет? — Шукуров улыбнулся Латофат.

— Не хочет! Собирается замуж за сына того самого...

— Домладжан! — девушка умоляюще сложила руки.

— За сына самого передового, самого сознательного, самого лучшего председателя-миллионера. Ну, не будем об этом! — Абидов странно дернул шеей. Шукурова поразила боль в его голосе.— Хочет замуж — пусть выходит. Это личное дело. Но чтоб она не затерялась в апартаментах своей свекрови-миллионерши, прошу вас помочь в одном деле.

— А именно?

— А именно открыть здесь лабораторию, где можно

было бы исследовать биологические процессы, происходящие на ваших полях, и размножить личинки той же мушки-трихограммы. Я понимаю, задача эта не входит в компетенцию района. Такими делами занимается Министерство сельского хозяйства. Но в ваших возможностях подсказать им, подать, так сказать, идею. Вы же знаете, сейчас во всем мире, и в нашей стране в том числе, серьезно занялись вопросами биологического метода борьбы с вредителями сельского хозяйства...

Глаза девушки снова засияли. Шукурову очень захотелось помочь ей.

— Дело перспективное. Но пока...

— Раз перспективное, зачем же тянуть, надо сейчас уже закладывать фундамент! — подхватил Абидов.— Вы не думайте, для этой лаборатории не потребуется много средств. Достаточно трех-четырех работников. Латофатхон, к примеру, будет заведовать. Потребуется еще лаборантка-методист и агроном, энтомолог... Годовая зарплата на всю лабораторию, включая сторожа и уборщицу, не составит и десяти тысяч рублей.

— А оборудование?

— Да что там оборудование! Один холодильник, два термостата, колбы-молбы, шкафы-мафы — вот и все оборудование!

Шукурова все больше удивлял этот доцент. Он, как видно, знал дело досконально. Сам Шукуров масштабы расходов на лабораторию представлял себе совсем иными.

— А вы не пробовали говорить об этом в министерстве?

— Сколько колхозов в районе? — доцент, казалось, не услышал вопроса.

— Девять колхозов и шесть совхозов...

— Столько хозяйств! Неужели они не смогут выделить двадцать тысяч ради такого нужного и благородного дела?

— Атакузы-ака...— начала было девушка и покраснела,— может помочь.

— Ну что ж, это все хорошо. Но так или иначе вопрос надо ставить перед министерством...

— Вот вы и поставьте! Самый передовой секретарь самого передового района, кому же еще, как не вам...

— Откуда взяли, что я передовой секретарь?

Абидов снова скривил тонкие губы:

— Первый раз встречаю человека, которому не нравится слово «передовой»!

Шукуров не успел ответить — зазвонил телефон. Секретарь обкома Халмурадов, оказывается, приехал уже в колхоз Аксакала и ждет его. Шукуров начал собирать бумаги.

— Вот что, домла Абидов. Если вас не затруднит, зайдите еще раз. Поговорим обстоятельно.

Посетители ушли. Шукуров достал из сейфа папку с копией своей записки в обком, стоя перелистал ее. Нашел страницу, где говорилось о неурядицах в снабжении, об опасном разрыве между планом и реальностью в работе хозяйственных и строительных организаций. В одном месте упоминалось и имя Халмурадова. «Секретарь обкома по сельскому хозяйству Халмурадов и подведомственный ему отдел не всегда четко и оперативно решают наболевшие вопросы...»

Предстоял нелегкий разговор.

2

Атакузы был доволен вдвойне. Созванная обкомом летучка прошла в его штабе — это первое, а второе — перед летучкой секретарь обкома в сопровождении съехавшегося из обкома и райкома начальства обошел его хлопковые поля, участки, засеянные клевером и бахчевыми.

Молодые деревца, освобожденные от песка, подросли; хлопчатник, оберегаемый ими от горячих степных ветров, зеленел во всей красе. Поля Атакузы очень выигрывали по сравнению с чахлыми посевами вновь созданных совхозов. Известно, рядом с некрасивой девушкой всего лишь миловидная и та покажется красавицей. Вот так и у Атакузы — по сравнению с посевами новых совхозов его поля казались райскими садами. А то, что совхозы начали работу недавно, можно сказать, весной этого года,— кому до этого дело? Раз начальству нужны примеры — такие мелочи обычно в счет не берут, Атакузы знал это.

Особый восторг вызвали хандаляшки. Атакузы подвел гостей к дынному полю и предложил каждому выбрать хандаляшки и попробовать. Что тут началось! Взрослые, солидные люди побежали, как дети, к грядкам, хватали круглые, золотистые дыньки, радостно кри-

ча, перебрасывали друг другу. Халмурадов, выбрав хандаляшку, там же, на поле, разбил ее о камень — вспомнил детство — и съел всю, причмокивая, качая головой. Словом, пока все шло как нельзя лучше.

На летучку кроме руководителей строительных организаций были приглашены председатели колхозов и директора совхозов района. Неширокая тень штабного домика не могла вместить всех собравшихся.

Секретарь обкома Халмурадов, проходя к столу президиума, взял под руку Атакузы. На глазах всего народа прошел с ним к столу. А ведь пригласили в президиум лишь секретаря райкома Шукурова да начальника управления «Сельхозтехники» из Ташкента Джамала Бурибаева. Так что многие руководители областного масштаба проводили глазами счастливца раиса. Аксакал, давний соперник Атакузы и неизменный член всех президиумов, так и остался сидеть «внизу».

Бекмурад Халмурадов вот уже несколько лет работает секретарем обкома по сельскому хозяйству, и Атакузы дружит с ним. Как и Шукуров, Халмурадов из молодых руководителей, но с Шукуровым его не сравнишь: куда представительнее. И речь, и манера держаться, и походка — все как положено. Ко всему еще и прекрасный оратор. Что сегодня Халмурадов поддержит его, Атакузы не сомневался. Но испытанный друг превзошел все ожидания.

Начал речь с целинников. Говорил о людях, о славных хлопкоробах колхоза «Ленин юлы». «Творят чудеса в суровой пустыне!» — так и сказал. Все трудности нарисовал, показал самоотверженность здешних людей и только тогда перешел к критике руководителей строительных организаций. Пропесочил их как надо. Нет чтобы проявить заботу о героях — он не боится этого слова, да, да, о героях,— нет чтобы создать им сносные условия труда и быта! Так что они делают? Волокиту тянут, забюрократились! Постепенно так разгорячился, так разделал их — не знали, куда и глаза прятать, готовы были, казалось, нырнуть хоть в нору суслика.

Сколько раз Атакузы бился с начальником Ирсовхозстроя. Этот самодовольный истукан одно только и делал — наполнял карман пустыми обещаниями. А сейчас обмяк, осунулся — вся спесь слетела. Самодоволь-

ный бюрократ теперь, приложив руку к груди, на все вопросы секретаря обкома лепетал одно и то же:

— Выполним, товарищ секретарь! Будет сделано, товарищ Халмурадов!

Рта хоть бы не открывал! Халмурадов даже умолк, посмотрел на него удивленно:

— Будет сделано? Так почему же не сделали до сих пор?

А тот снова выпалил:

— Будет сделано, товарищ секретарь!

Тут уж никто не удержался, на всю степь захохотали.

Как следует досталось и управляющей облбытом — гладкой, кокетливой женщине. Ей под сорок, но сохранилась хорошо, красоту блюдет, времени не жалеет. Она вначале не растерялась отвечала бойко, речисто. Но как взял ее Халмурадов в оборот, подняла к небу обведенные синей краской глаза и стала жаловаться на свое министерство.

Эта модница, берегущая каждую свою ресницу, прошлой весной, когда закладывали фундамент быткомбината, говорила совсем другое. Ее прямо-таки зажигательная речь вызвала гром аплодисментов. А потом уехала и забыла. Ни разу не побывала на подшефном строительстве. И вот, не краснея, перекладывает всю вину на других.

Атакузы так разволновался — сам не заметил, как вскочил с места.

— У меня вопрос по ходу выступления, можно?

— Пожалуйста, пожалуйста...

— Я хотел бы узнать... как идут дела со строительством бытовых предприятий в городах, и в частности в областном центре?

Управляющая облбытом, видно, не уловила подвоха в словах раиса, замигав черными, в комочках туши, ресницами, сказала:

— В центре? Дела идут неплохо. План выполняем.

— Вот как? Там, значит, дела движутся хорошо, а здесь плететесь черепашьим шагом? В чем причина такого разрыва, товарищ Шакирова?

— Причина? — Шакирова поправила локон, упавший на лицо, в волнении нечаянно растерла на щеке гу-

стые румяна. По лицам собравшихся пробежала улыбка.

— Я назову вам причину! — перебил Атакузы. Шумно вздохнув, посмотрел на секретаря обкома.

— Пожалуйста, говорите,— Бекмурад Халмурадович исподтишка бросил взгляд на Шакирову.

— Причина проста — в городе работать легче! В тени да в прохладе и план выполнить нетрудно. Но если вы... если у вас есть совесть...— Атакузы долгим, суровым взглядом обвел руководителей строительных организаций, и они под его взглядом вдруг засуетились, зашевелились, казалось, не знали, куда деться от гневных глаз раиса.— Если у вас есть хоть капля совести, то выполняйте свои планы в первую очередь здесь — в этом пекле! Вон, посмотрите туда! — Атакузы резким взмахом руки указал на мрачные, черно-пепельные барханы.— Пятьдесят моих девушек, нисколько не хуже вас, товарищ Шакирова, днем и ночью трудятся здесь. Они выращивают хлопок! Вы простите меня, товарищ Шакирова, там в тени да прохладе, выполнив свой планчик, живете в свое удовольствие, а здесь люди, не разгибая спины, изнывают в жаре! Так что же, у них нет права на хорошую жизнь?

— Я, кажется, не сказала, что у них нет прав...

— Еще бы вам сказать! Но вы, именно вы лишаете их этого права! Я ли не обивал ваш порог, я ли не сидел часами в вашей приемной, не кланялся вам в ножки! А вы...

На ресницах Шакировой повисли слезы. Атакузы дернул кадыком, будто заставил себя проглотить слова, готовые сорваться с языка, и повторил:

— Нужно иметь совесть. Совесть!

Слезы спасли Шакирову. Бекмурад Халмурадович ободряюще кивнул ей:

— Не расстраивайтесь. Наш уважаемый раис был несколько резок, но и вы должны понять его. Ведь он прав — молодежь работает в поте лица здесь, в пустыне, она хочет и должна жить хорошо.

Кончили с Шакировой, и град критики посыпался на голову управляющего дорожным строительством, за ним попало связи, после связистов принялись за коммунальное начальство. И все они, такие спесивые, как гуси, важные — не подступись, стояли по стойке «смирно» и, словно попугаи, заученно повторяли:

— Выполним! Будет сделано! Выполним!

Атакузы по опыту знал: от их «выполним» толку бывает мало. Но, во-первых, хоть и мало, да что-нибудь все же перепадет, а во-вторых, эти хитрые лисы-хозяйственники стояли в струнку не где-нибудь, а у порога его штаба, здесь, на его территории, повторяли, как попугаи, «будет сделано!». Атакузы, когда придет время, отлично использует это, напомнит любому из этих непревзойденных мастеров волокиты, если опять будут тянуть: «А как стояли навытяжку перед моим штабом в степи, забыли? Смотрите, как бы вам не постоять так же на бюро обкома!» — вот каким оружием запасся он!

Потом выступил Шукуров. Он не так красноречив, как Халмурадов. Говорил с расстановкой, потирал порой лоб, подыскивал слова, но и его выступление оказалось неплохим. Одобрительно отозвался о начинаниях Атакузы. Призвал использовать его опыт по созданию лесозащитных полос: «Лесозащитные полосы товарища Умарова уже на деле показали себя. И это бесценный урок для всех целинных совхозов». Но по-настоящему мужское слово сказал Джамал Бурибаев.

Выступал он последним. Без всяких оговорок, прямо заявил: то, что творит Атакузы здесь, в пустыне, должно стать примером и для района, и для области. И даже для республики в целом. И он от имени «Узсельхозтехники» обещает оказать ему серьезную помощь.

Атакузы сидел за столом президиума рядом с Бекмурадом Халмурадовичем. Ему пришлось скромно опустить голову, боялся, как бы не выдать свое торжество. А хотелось поднять голову высоко, поглядеть на хозяйственников, на тех, кто чинит преграду его великим планам, на Аксакала-доносчика, который сидит хоть и в первом ряду, а все же «внизу». Ишь ты, спрятал свои хитрые бусинки, обмахивается платком — жарко ему, видишь, стало. Не от похвалы ли в адрес Атакузы?

Выходит, все же не зря боролся, побеждал безводье, степной, все кругом испепеляющий ветер-суховей. Страдания и победы Атакузы, его саженцы, хлопковые плантации, городок, первые дома которого поднялись над барханами,— словом, его труд и пот не пропали впустую. Человеческое дитя нуждается в ласке. Одно лишь доброе слово, и Атакузы готов забыть все пережитые муки, все трудности. Лечит душу доброе слово. Но где-то в уголке точит беспокойство. Только бы не поверили

клевете и наветам всяких ябедников и бездельников, не помешали бы Атакузы возрождать эту проклятую богом и людьми землю. А то шлют и шлют комиссию за комиссией!

И не зря, оказалось, шевелилась в его душе тревога.

После летучки Атакузы пригласил гостей в кишлак «на пиалу чая». Халмурадов с неожиданной сухостью сказал: «Подождите, раис». Взял под руку Шукурова и ушел с ним за штаб. Целый час Атакузы смиренно вышагивал у штаба. Наконец подошел инструктор райкома, пригласил его к секретарям.

Шукуров и Халмурадов сидели в тени недавно законченного двухэтажного здания за штабом. Оба сумрачные, насупленные. Халмурадов почему-то отвел взгляд от спрашивающих глаз Атакузы, кивнул на штабелек кирпичей — «присаживайтесь».

— Так, раис... Мы ценим вашу работу, ваш организаторский талант. И в кишлаке, и здесь, в степи. Именно поэтому,— Халмурадов на секунду запнулся, сдвинул брови.— Поэтому мы и должны беречь вас от ошибок.

— От каких? — нетерпеливо перебил Атакузы.

— Что за скандал произошел у вас с домом?

— С каким домом?

— Известно стало, что вы самовольно выселили механизатора из его дома и вселили туда своего дядю.

«А-а... Надирахон настрочила-таки жалобу. Всего-навсего!» — Атакузы вздохнул: гора с плеч!

— Прежде всего, я не выселил этого механизатора, а только переселил. Переселил по его же согласию!

— Однако жена подала жалобу. Она к тому же многодетная мать. И вообще — если понадобилось вам жилье, неужели нельзя было найти другой дом?

Темное лицо Атакузы сделалось чугунно-черным, сухие, смуглые пальцы, нервно поглаживавшие колено, сжались в кулак.

— Другой дом мне не подходил. Удивляюсь, товарищ Халмурадов, — в голосе Атакузы слышалась глубокая обида.— Вы спросите: какого человека я вселил в этот дом? Он делал революцию в нашем кишлаке. Он создавал здесь колхоз. Единственный сын его — Герой Советского Союза — погиб на фронте! Неужели это преступление?..

— Никто не называет ваш поступок преступлени-

ем,— заговорил Шукуров.— Но можно было дать жилье и в другом месте...

— Другое место не годится!

— Почему же?

— Почему? — Атакузы не сдержал раздражения.— Вы же знаете, у старика никого нет. Кто еще, кроме моей семьи, будет присматривать за ним? Не понимаю вас, Абрар Шукурович. Домла Нормурад большой ученый, подарил колхозу огромную библиотеку. А мы?.. Боимся создать ему маломальские условия для работы, прислушиваемся к мелким разговорчикам. Вы бы побеседовали с ним, Бекмурад Халмурадович, посмотрели бы его библиотеку.

— Вот оно как,— сказал Халмурадов с явным облегчением.— Я, например, не знал этой стороны дела. Ну хорошо, а почему сняли с работы механизатора?

Атакузы шумно вздохнул:

— Тоже к вам с жалобой?

— Да, жена его...

— Не знаю, что наговорила вам жена, но я его с работы не снимал. Перевел сюда, в степь.

— Почему? Насколько нам известно, он числился хорошим специалистом, был у вас даже за главного механика...

Атакузы краем губ усмехнулся, но тут же мгновенно погасил усмешку.

— Да потому и перевел, что он хороший механизатор. Не бездельников же ставить сюда. Сделал бригадиром...

— А можно его позвать? — спросил Шукуров.

— Нет! Уехал в область за запчастями. Не думал, что будет такой разговор, послал бы другого. Впрочем, он может письменно подтвердить все, собственноручно напишет...

— Ясно,— Халмурадов повеселел.— А вас, Абрар Шукурович, прошу поговорить с этой женщиной лично. Объясните ей все. И вообще нужно ее успокоить, уговорить, дорогой раис...

Атакузы чуть не выпалил: «Да пропади она пропадом!» С трудом выдавил из себя:

— Ладно, товарищ Халмурадов. Успокоить ее, конечно, успокоим, но...

— Что «но»?

— Неужели это справедливо? Мы трудимся, не зна-

ем покоя, не ведаем отдыха. А стоит какому-нибудь бездельнику настрочить кляузу, и все забыто, весь наш труд обращается в прах!

— Полноте, раис, не прикидывайтесь обиженным ребенком. Вы не из тех, кто даст себя в обиду. Знаем!— рассмеялся Халмурадов и встал.— Так как же, чай ваш готов? Ну, поехали! Кстати и с вашим дядей познакомимся. Да, где же Джамал Бурибаевич? Пригласили его? Вот и отлично. Пусть он тоже познакомится с вашим дядей...

Шукуров быстро взглянул на Атакузы. Тот пошевелил было губами, но ничего не сказал.

Халмурадов и Джамал Бурибаев сели в «Волгу» Атакузы. Пригласил раис и Шукурова, но тот не захотел стеснять гостей, поехал на райкомовской машине.

Пепельно-серые барханы остались позади. Машины птицами летели по асфальту. По правую сторону дороги над горизонтом круто поднимались в дрожащем мареве величественные горы, чуть ближе, за застывшими гребнями, смутно вырисовывались первые высокие холмы...

Абрар Шукурович откинулся на спинку сиденья, прикрыл глаза. Он был недоволен и собой, и Халмурадовым. Два вопроса обсуждались с ним наедине и перед летучкой, и потом, когда сидели за штабом. Первый — о записке Шукурова в обком. Халмурадов вел себя странно, что-то крутил, будто бы соглашался: в планировании и снабжении действительно много путаницы и неразберихи, не отрицал, что это мешает нормальной работе и открывает дорогу нечестным на руку хозяйственникам. А зашла речь о конкретном — решительно отказался помочь, мягко отклонил все, о чем просил Шукуров. Притом и виду не подал, что задет критикой его, был подчеркнуто вежлив, тактичен. Отказывал в помощи — улыбаясь. Ссылался на повсеместные задержки в снабжении. Единственно, что обещал,— поддержать идею строительства второй очереди кирпичного завода в районе. Но кирпичный завод был уже «на мази» и без него. По «вопросу» Атакузы он вел себя так же странно. Ушел от обсуждения промахов раиса.

Шукуров слышал, что они давние и закадычные друзья. Но так хвалить, так превозносить перед собранием!.. Правда, потом, когда говорили с Атакузы о жалобе многодетной матери, секретарь обкома вроде бы переменился: повысил голос, помрачнел (видно, Первый

наказал, чтоб был построже), но с какой готовностью принял доводы раиса, как обрадовался! Был строг по принуждению — это ясно. Впрочем, доводы оказались достаточно вескими. И надо признаться, сам Шукуров тоже симпатизировал Атакузы. Даже в обкоме пытался оправдать его неуемный «аппетит» и то, что раис нередко утоляет его за счет других. Что делать, если хозяйственные и планирующие органы нерадивы? Ведь и он сам, Шукуров, страдает из-за неурядиц в снабжении. Какого труда стоит хоть чего-то добиться для района! И все-таки он чувствовал: Атакузы переходит границы. Взять хотя бы только что состоявшийся разговор. Как держал себя, каким тоном говорил!.. Шукуров не раз встречал раисов, которые на первых порах работали с размахом, поднимали отсталое хозяйство. А потом — похвалы, поощрения, «пример для других», и потерял человек голову, занесся. Все они начинали задавать пиры по нужным и ненужным поводам, устраивали большие и пышные свадьбы. Шукуров видел их роскошные дома. Чуть кто заикнется против — всеми путями стремились убрать такого прочь с дороги. Конец зазнавшихся раисов бывал обычно печальным. Их неколебимая вера в силу власти и денег терпела крах. Не всякого можно подкупить, и далеко не всегда можно даже с помощью денег обойти закон. Но, к сожалению, уроки жизни большей частью проходят даром.

Атакузы... Шукуров еще до конца не разобрался в нем. Очень уж он разный. Иногда даже кажется наивным. Голову с ним можно сломать. То — эгоист, способный убрать с дороги любого, то, посмотришь,— одинокий путник, уставший от тягот нелегкой дороги.

Вот и в истории с домом. Будто бы не так уж он и виноват. Ведь Шукуров хорошо знает положение домлы Шамурадова. Действительно, старик будет полезен кишлаку. И все-таки есть что-то безнравственное в том, как Атакузы выкрутился из неловкого положения — прикрылся заслугами старика. Потом его слова: «Покоя не знаем, отдыха не ведаем». А вы, мол, прислушиваетесь к жалобам всяких кляузников. Есть, разумеется, доля истины и в этом, можно понять — задергали человека. Но Атакузы как бы ставит условие: «Хотите — принимайте меня со всеми моими причудами, какой я есть, не хотите — как хотите!» Надо поговорить с ним посерьезнее, одернуть. Но как это сделаешь? Секретарь

обкома сам готов его выгородить, рад, когда Атакузы подкинет хоть малейшее оправдание своим поступкам... Нет, зачем валить на Халмурадова. В нем самом, в Шукурове, сидит давно известная так называемая интеллигентская мягкость!..

...Степь кончилась, пепельно-серые песчаные барханы оборвались крутым склоном бурого холма. За ним сразу открылся оазис. От подножья холма начинались яркие, нежно-зеленые клеверные поля и уходящие вдаль кукурузные плантации — в них мог бы заблудиться человек... В ноздри ударил чуть горьковатый, душистый запах клеверного сена, горчака, диких степных трав. Машины пронеслись мимо стогов пахучего сена, промчались среди хлопковых полей и вот уже нырнули в прохладу фруктовых садов.

Белая «Волга», ехавшая впереди, свернула влево — не к правлению, а к стеле обелиска.

Гости выходили из машины, когда Шукуров настиг их. Отсюда, с холма, очень выгодно открывался поселок — весь белый, нарядный, новый кишлак утопал в густых, как лес, садах.

Халмурадов, пригладив черные вьющиеся волосы, сияющими глазами оглядывал все вокруг.

— Да это город! Настоящий город! Вы просто молодчина, раис! — Он взял под руку Атакузы, подвел его к выходившим из машин Бурибаеву и Шукурову.— Каково, друзья мои, а? Надо было пригласить всех председателей! У меня возникла одна мысль, Абрар Шукурович. Хорошо бы созвать здесь совещание по вопросам строительства в масштабе района, как вы на это смотрите?

Шукуров все еще был в плену мучительных раздумий, сам не заметил, как вырвалось:

— Может, в масштабе всей области?

Халмурадов уловил иронию — насупился. Секундную размолвку сгладил Джамал Бурибаев:

— А что, этот кишлак стоит того, не только области, бери выше — в масштабе всей республики!

Все рассмеялись, а Халмурадов подхватил:

— Можно бы, конечно, провести здесь совещание даже в масштабе всей страны, но боюсь, у раиса головокружение пойдет от успехов! Шутки шутками,— прервал он смех,— а в районном масштабе это надо осуществить, Абрар Шукурович.

— У меня одно слово, товарищ Халмурадов, — вмешался Атакузы. Он вдруг подтянулся, посерьезнел. — Спасибо за доброту. Я не против того, чтобы у нас провели совещание, но есть к вам одна просьба.

— Слушаю вас.

— Пока, до совещания, помогите, пожалуйста, насчет газификации кишлака. Я уже вам говорил, газ до сих пор возим в баллонах. Магистрального все еще нет. В районе он есть, подвести сюда не трудно. Но почему-то управление коммунального хозяйства тянет...

— И правильно делает, что тянет! Дай вам волю, вы и газ перехватите у соседа, как перехватили строительные материалы! Правильно я говорю, Абрар Шукурович?— подмигнул ему Халмурадов.— И вообще — согласуйте это с товарищем Шукуровым.

«Ну и хитрец! Помнит предупреждение первого, знает, кому сбыть хлопотное дело»,— подумал Абрар Шукурович.

Атакузы широко развел руками:

— А что нам остается делать, товарищ секретарь обкома? Судите сами,— он указал рукой в сторону правления. Там, недалеко от площади с монументом, белели два новых двухэтажных здания.— Помните, я вам говорил, строим новые помещения для детсада и яслей? Уже готовы.

— Да, да, конечно, помню, это хорошее дело. Выполняете постановление ЦК! Надо показать всем раисам.

— Да, но что значат детсад и детясли без магистрального газа?

«Вот бестия! Умеет вставить к месту слово!» — пронеслось в голове Шукурова.

Халмурадов засмеялся:

— Я думал, вы нас в гости пригласили, а оказывается, рассчитываете хоть что-нибуть выколотить... Ладно. Подумаем!

Атакузы шлепнул себя по лбу:

— Ну и хозяин. Затеял о делах чуть ли не за дастарханом. Поехали, друзья!..

Во дворе раиса, около колодца, разговаривали две женщины. Одна, небольшого роста, худенькая, склонив голову к плечу, слушала, что говорила ей пожилая. Гости шумной ватагой вошли во двор. Пожилая взглянула и вдруг попятилась в дом, будто увидела страшилище.

А худенькая, хозяйка, мягко улыбаясь, направилась к гостям. Шукуров проводил глазами ту, что скрылась в доме. Приятной округлостью лица и особенно большими черными и очень грустными глазами она напомнила ему девушку, что приходила сегодня с тем странным доцентом в райком.

«А-а... Фазилатхон!— Он уже видел ее однажды — заведующую клубом, но почти не запомнил. Это было в самом начале его здешней работы, сразу после приезда.— Кажется, это она!» Шукуров невзначай взглянул на Джамала Бурибаева. Тот со странной, размытой улыбкой на губах, важно неся голову,— откормленный гусак!— шел навстречу миловидной, нежного облика женщине.

— А вы все цветете, Алияхон! Как роза!

Атакузы раскатисто, на весь двор захохотал:

— Настоящий мужчина не даст состариться ни коню своему, ни жене! Ха-ха-ха!..

Халмурадов задержал руку Алияхон в своей:

— Отчего же ваша подруга так испугалась нас, Алияхон-апа?

— Ха-ха-ха! Она испугалась Джамала Бурибаева!

— Почему?

— Да так уж! Грехи молодости... Хе-хе-хе, Джамал Бурибаевич, так ведь?.. Прошу вас, товарищ секретарь, сюда...

Из сада, смежного со двором, тянуло сизым дымком. В глубине, под старой раскидистой шелковицей, трое парней с засученными рукавами колдовали над шашлыком. Чуть поодаль, на лужке у шумного арыка, стоял длинный стол, и там на дастархане были собраны, играли живыми красками плоды земли: горы розовых, готовых пролить сок персиков, янтарно просвечивающие гроздья винограда, пирамиды свежего салата, помидоры, мелкие, похожие на пальчики, огурцы и еще что-то яркое, сочное...

Атакузы пригласил гостей к столу. Но Халмурадов выразил желание осмотреть сначала библиотеку Нормурада Шамурадова, хотя ему и сказали, что домла куда-то уехал.

Соседний двор значительно уступал размерами двору раиса. В большой гостиной громоздились неразобранные картонные коробки с книгами — те самые, что видел Шукуров в Ташкенте.

Халмурадов присел на корточки, развязал тесемку на одной из коробок, вытащил несколько книг.

— М-да... Такие книги сейчас и за золото не сыщешь!

Лицо Атакузы расцвело, глаза засветились.

— Не сегодня завтра установим полки, и старик начнет...— Атакузы не успел договорить: в кабинет вбежала молодая смуглолицая женщина.

— Можно?

— А, вот и Халидахон!— радостно встретил ее Атакузы.— Познакомьтесь, товарищ Халмурадов, это наш парторг. Можно сказать, наш комиссар.

Черноглазая Халидахон с приятными ямочками на смуглых щечках блеснула белизной зубов. Поздоровалась сначала с секретарем обкома, а затем с Шукуровым,— все это с легкой вольностью, так обычно здоровается молодая женщина, уверенная в том, что недурна собой.

— Добро пожаловать в наш колхоз!

Атакузы сдвинул тюбетейку, посадил ее еще задорнее, взглянул на секретаря обкома:

— Она у нас — я говорю про Халидухон — молодой способный агроном с высшим образованием. Коммунистка. Молодая, да удалая! Все наши политические и культурные дела забрала в свои руки!

Халидахон почти в точности повторила слова председателя, сказанные пять минут назад,— будто заранее отрепетировали.

— Наверно, Атакузы-ака уже говорил вам: этот дом мы собираемся превратить в библиотеку. Не сегодня завтра приведем в порядок, установим полки... По инициативе Атакузы-ака...

— А разве нельзя объединить дар домлы с колхозной библиотекой?— перебил Халмурадов.

— Нет!— твердо сказал Атакузы.— Старик мечтает сам, своей рукой выдавать книги, объяснять молодежи...

— Ну что ж, это, пожалуй, хорошо,— немного подумав, согласился Халмурадов.— Очень досадно, что мы не смогли побеседовать с домлой.

— Так я пошлю человека...

— Спасибо, нет времени. Вы, пожалуйста, не забудьте того, что мы решили. Женщина многодетная, ее можно понять. Объясните ей... Вы, должно быть, в кур-

са? — секретарь обратился к Халидехон.— Хозяйка этого дома подала жалобу в обком...

Шукуров с интересом взглянул на Халидухон.

— Да, да, как же. Это склочная женщина, очень нехорошая, товарищ Халмурадов!— Резкость тона Халидыхон совсем не вязалась с недавней ее улыбкой.— Хороший человек так бы не поступил. Не уважила Атакузы-ака, так хоть бы пожалела старика, большого ученого, профессора. Ведь этот человек революцию делал в нашем кишлаке!

Шукурову стало как-то неловко, и он торопливо отвел взгляд от ясных, прозрачных глаз Халидыхон.

— И все же,— с нажимом сказал Халмурадов,— независимо от ее человеческих качеств, прошу поговорить с ней, успокоить...

Халидахон хотела еще что-то сказать, но Атакузы перебил:

— Будет сделано, товарищ секретарь. Прошу к столу, чай остывает.

«Опять выкрутился. Понял, что тут можно поскользнуться. Ловок, надо отдать должное. И где только отыскал эту красивую куклу? Молодой агроном с высшим образованием! Молодая, да удалая, «наш комиссар»!.. Но ведь у этого «молодого комиссара» ни по одному вопросу нет собственного мнения. Разумеется, раису такой попугай вполне подходит. Но как райком мог рекомендовать ее на ответственную должность? Неужели там не заметили меда, который так и каплет с ее уст, лишь произнесет имя Атакузы?»

Шукуров почувствовал: тугой узел, который возникал перед ним всякий раз, когда он пытался разобраться в личности Атакузы,— этот узел затянулся еще туже.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Хайдар проводил высокого гостя — будущего тестя — до райцентра. Бурибаев с сыном поехали дальше, а Хайдар на своем «Москвиче» повернул обратно. Поставил машину в гараж у входа во двор и, слегка пошатываясь,— угощение было на славу!— направился

в конец сада прямо к арыку. Солнце уже поднялось и как бы лежало на верхушках тополей блюдом, полным расплавленного добела металла. Оно уже успело раскалить землю — босиком не ступишь, обожжет. Арык был полон чистой родниковой воды — из Минг булака, она быстро катилась, ударяя струями о камни, отливая то голубизной неба, то зеленью подводных трав. Вода манила прохладой и свежестью. Хайдар на ходу скинул одежду, босой, в цветных плавках, подбежал к арыку, подпрыгнул и, зажмурившись, бултыхнулся в ледяную родниковую воду. Отчаянно забарахтался, зафыркал, как норовистый конь, но уже через минуту успокоился — ухватился за ветку тала, лег на спину, закрыл глаза. Теперь казалось — не вода, а чья-то нежная рука гладила истомленное жарой тело, и каждый нерв успокаивался, каждая клетка... Он вышел из арыка, прилег на полянке под старым тутовым деревом. Ни во дворе, ни в саду не было ни души. Голова тонула в высоком — по колено, густом клевере, у самых ушей в мохнатых фиолетовых цветах лениво жужжали пчелы. Над Хайдаром носились белые, бледно-голубые бабочки, а наверху, в ветвях шелковицы, тысячеголосо чирикали воробьи, вели разговор горлинки...

Всем существом отдался Хайдар густой, обволакивающей душу тишине. Вдыхая тонкий, тепловатый аромат клевера, устало прикрыл глаза. О, эти деньки, когда гостил у них Джамал Бурибаев! Пролетели, как во сне, застолье здесь, в саду, тянулось с вечера до рассвета. Уши гостей услаждали музыка и пение. Играли и пели не какие-нибудь кишлачные умельцы, отец пригласил известных певцов и музыкантов. Потом поездка в горы — в колхозный санаторий, расположенный в арчовых рощах за лесничеством. Там — купанье, рыбная ловля в горных речках и снова — дастархан. Целые туши баранов, запеченные на пахучих ветках арчи в земляных печках — тандырах. Шурпа — наваристая, особая, горьковатая, приправленная целительными травами тех мест, свежий кумыс, чуть-чуть — для аппетита и настроения — разбавленный чистым спиртом... И настроение, надо сказать, было преотличным — все мелкие неурядицы, все неприятности, томившие Хайдара в последние месяцы, улетучились, вылетели из памяти, и душа расправилась, свободная от тисков, от раздумий. Иногда, правда, по утрам, перед новым застольем, воз-

вращались нерадостные думы. Это все из-за будущего тестя. Стоило увидеть, как тот в дорогом халате, важно и задумчиво расхаживает по аллеям санатория или неторопливо спускается к речке с махровым полотенцем на плече — тут же вспоминается Латофат, то, что говорила она о Бурибаеве. Муторно, нехорошо становится на душе. Но эту встречу устроил ведь не он, а отец, ата знает, что делает. Да и сам Джамал Бурибаев совсем даже не плохой человек. Был с ним мягче, добрее даже, чем с Кадырджаном. Поигрывая выпуклыми зеленоватыми глазами, называл: «зятек». А то и «дорогой мой зятек»! Кадырджан не сводил с отца восторженно-влюбленных глаз. Вышел однажды у них с Хайдаром откровенный разговор. Хайдар передал ему слова Латофат насчет их отца. Кадырджан только рукой махнул:

— Да что она понимает в жизни. Ты же сам видишь, отец — добрый, душевный человек. Ну, были, были грехи. У кого не бывает в молодости?— он рассмеялся.— Зато теперь — какой человек! А сколько сделал для меня! И для тебя постарается.

— Не в том загвоздка. Она...

— Да чего ты все: она да она. Известно, витает в небесах! Думает, в жизни как в книжках. Я говорю тебе, ты с ней не очень-то... На твоем месте я бы давно ее...— Кадырджан не договорил. Больше слов сказало скуластое загорелое лицо. Длинный нос-серп опустился к верхней губе, кошачьи зеленоватые глаза сузились.

Как вспомнил Хайдар эту звероватую улыбку — сразу стало не по себе.

Где-то неподалеку дружно засмеялись девушки. Хайдар поднял голову. Смех повторился. Во дворе домлы? Странно. Что за девушки собрались у старика?

Хайдар торопливо натянул брюки, перешел через мостик. Укрываясь за деревьями, приблизился к высокому глинобитному дувалу, заглянул через него, сквозь вишневые ветки.

Посреди двора, под ветвистой молодой яблоней, на высоком сури, застеленном шелковыми стегаными одеялами, восседали старик и доцент Абидов. А в настежь раскрытых окнах дома мелькали девичьи лица. Там были и Латофат с Тахирой. По-видимому, разбирали и приводили в порядок книги Но вот чудеса! Из дома вышли мать и... Фазилат-апа. Старик, похоже, не удивился

этому — как ни в чем не бывало беседовал с Абидовым. Женщины, о чем-то толкуя, прошли к воротам.

Хайдар встряхнул мокрыми волосами, одернул рубашку — сейчас он нагрянет туда неожиданно. Хорошо бы сказать при этом что-нибудь интересное, остроумное. И тут до его слуха долетел тонкий нервный тенорок Сакиджана Абидова:

— Д-да, к-конечно, чудо природы, домла! Н-настоящее чудо! Вот и я говорю, надо быть... ну, полным г-головотяпом. Подумать только — с-строить там животноводческий комплекс!

Старик сидел понурый, низко опустил голову и молчал. Доцент же вдруг вскочил. Размахивая длинными руками, прошелся вокруг сури.

— В-вот вы говорили о горной арче. Сказали, что пишете к-книгу. Очень п-правильно! Я тоже пишу. Замечательное, уникальное дерево! Нельзя дать исчезнуть ему. Уничтожили варвары, полчища Чингисхана, а теперь замахнулись свои, так называемые передовые люди. Это строительство в Минг булаке! Н-нельзя допустить, нельзя!

Домла еле слышно сказал:

— Вы правы... Я поговорю с Атакузы, обязательно поговорю.

«Поговорю!»— Хайдар резко повернулся, зашагал обратно. Сел в тени у арыка, задумался.

Только вчера отец показывал гостям место на склоне Минг булака, где должен быть построен животноводческий комплекс. Уже начали рыть котлован под будущее громадное, с километр в длину, здание. С каким вдохновением рассказывал отец о стройке. Приводил на память цифры. Оказывается, именно здесь, в Минг булаке, такое строительство даст беспримерную экономическую выгоду. И вода, и корм, и пастбища — все рядом, все под рукой. А этот Абидов полнейший профан в хозяйственных делах, а туда же — разводит демагогию. И любимый отцов дядя, нет чтобы одернуть, по всему видно — вторит этому одержимому... Мало ему, что внуку ногу подставил, теперь на племянника замахивается, поддакивает сплетням. Спелись, что называется. Чокнутый доцент, юродивый, он уже и так в печенках сидит у Хайдара. Таскается хвостом за Латофат. Вот и сюда заявился. Кишлачные джигиты, друзья детства, уже спрашивали о Сакиджане Абидове — что за тип, почему Хайдар позволяет Латофат ходить с посторонним мужчиной?.. Конечно, они просто кишлачные ребята, у них старые мерки. Хайдар мог бы и не обращать внимания на их намеки. А все же...

Кто-то пробежал по мостику — тук-тук-тук...

— Тахира!

Тахира спешила по тропинке домой. Остановилась, посмотрела на брата и медленно, будто опасаясь чего-то, пошла к нему. Глаза, в кругах усталой синевы, смотрели жалостливо, испуганно.

— Что с вами, братец?

— А что?— Хайдар, не понимая, провел рукою по груди, по брюкам.

— Да лицо будто опухло, глаза какие-то красные...

— А!— рассмеялся Хайдар.— Сама же знаешь — высокого гостя провожали, нелегкое дело! А вы тут что делаете? На хашар собрались, помогать?

— Да, вроде этого. Приводим в порядок книги.

— Гм... Интересно. А Фазилат-апа как же?

— Да так...— улыбнулась Тахира.— Всех нас привела Халидахон-апа. Тетушка Фазилат не хотела идти, боялась. Но она заведующая библиотекой. Халидахон-апа так и представила ее. Дедушка сначала насупился, ушел в себя. А потом ничего, обошлось вроде.

— Интересно!— Хайдар сурово сдвинул брови, помрачнел.— А этот тип... доцентик, что он тут делает?

Тахира пожала плечами:

— Не знаю. Он же биолог.

— Ну и что?

— Латофат говорит, он хотел поговорить с дядей насчет Минг булака. Беспокоится, что там...

— Ладно! — перебил Хайдар.— Иди. Вызови сюда Латофат!

Тахира боязливо взглянула на Хайдара:

— Братец! Ну зачем вы так?..

— Как? — не понял Хайдар.

— Будьте с ней поласковее. Она же хорошая, добрая...

Хайдар с удивлением смотрел на сестру. Веселая, ветреная Тахира сегодня казалась странно робкой, как-то сникла. Круглое лицо, обычно розовое, цветущее, с ямочками на щеках, побледнело, выступили мелкие веснушки. И одета по-кишлачному — в широком длинноватом платье из дешевого атласа, на ногах матерчатые шлепанцы. Ох, нехорошо! Вспомнил слова Кадырджана: «Да ты с ней посмелее...» Странная догадка ударила в голову... Закусил губу, словно от боли. «Да, мне, конечно, не хватает многого — мягкости, доброты... А вот тебе, сестрица моя,— гордости!»

— Ну, иди!..

Он, как и отец, не слишком-то любил Кадырджана. И если терпел и даже по видимости дружил с ним, то все только ради Латофат. И к Тахире не дал бы подойти, если бы не Латофат. Но каков Кадырджан! Как ведет себя в последнее время! Ох, поломал, видать, дев-

чонку, смял ее. Без совести человек. И на службе обнаглел, пользуется тем, что отец его там командует. Открыто метит на чужое место — начальника отдела. Да и насчет отца своего циничен, дал ведь понять — нужен ему для карьеры, и только!.. Нехорошо получается. Любит сестра младшего Бурибаева или нет,— теперь ничего не поделаешь — вынуждена торопить со свадьбой. Но Латофат... Никак не может Хайдар поладить с ней...

Тахира пробежала обратно, на ходу крикнула: «Сказала!» Сердце у Хайдара забилось, как при первом свидании. «Да еще и опух... На кого же я сейчас похож!» Поскорей стянул с себя безрукавку, содрал брюки и бросился в арык... А ведь неспроста сестра так уставилась на него, действительно вид не тот: появился животик, да и весь оброс жирком. А тот юродивый доцентик худ, строен и в последнее время следит за собой. Щеголем гуляет по кишлаку. Нет, так нельзя. Э, Хайдар!.. Пьешь много, обрюзг, опустился, брат...

Застучали зубы — доняла родниковая вода. Хайдар выскочил на берег, пробежал босиком по теплому, нагретому солнцем клеверу к старому деревянному сури под шелковицей. Взял за концы полотенце, растер тело до красноты. Оделся. Теперь — причесаться. Поднял мокрую голову — и опять эта знакомая, сладкая боль! Увидел обломанную ветку, а чуть пониже ту, другую, за которую тогда, пять лет назад, ранним утром ухватилась Латофат... Захотелось сейчас же, сию минуту увидеть ее, заглянуть в большие ясные глаза. Такая хрупкая, нежная и загадочная в своей странной печали. Нет, не должен он с ней быть грубым...

Хайдар подошел к дувалу, замирая раздвинул ветки вишни.

Домла все еще сидел на своем месте, перелистывая какую-то книгу. Чуть дальше, под другой яблоней, стояли Сакиджан Абидов и Латофат. Они о чем-то разговаривали. Абидов горячо доказывал что-то, размахивая руками. Латофат слушала, чуть склонив голову набок, опустив глаза. Поговорив с минуту, доцент взял ее под руку и повел по аллее дальше, под урючину в конце двора. Нагнувшись к ней, зашептал на ухо...

«Ах вот как? Ясно... Зачем ей торопиться ко мне!..»

То ли кровь ударила в голову, то ли хмель не выветрился — потемнело в глазах у Хайдара. Сам не заметил — одним прыжком перемахнул дувал.

— Эй, Абидов!

Один вид Хайдара мог напугать — ворот безрукавки распахнут, волосы растрепаны, в них застряли вишневые листочки. Да еще свалился откуда-то с дувала, резко, хрипло окликнул.

— Слушай, доцент! Она что, законная жена тебе? Как смеешь брать ее за руку? Куда тащишь?

Домла как сидел с раскрытой книгой, так и замер. Латофат пыталась что-то сказать, но губы не слушались. Закрыла лицо ладонями, отвернулась. Сакиджан Абидов больше, чем всегда, заикаясь, попробовал урезонить Хайдара:

— П-послушай м-меня, д-дорогой!

— Уже наслушался! С меня хватит! — Хайдар вобрал голову в плечи, пошел на доцента.— Это тебе не Ташкент, там твори, что захочется. А здесь веди себя прилично, а то придется привести тебя в порядок...

— П-приводить в п-порядок — это вы можете. Это я з-знаю...

— Еще смеешься, ничтожество? — Хайдар рванул с себя безрукавку, швырнул прочь.

Тахира вбежала во двор, бросилась к нему:

— Братик мой, родной!

— Отойди, Тахира! Надоел мне этот ухажер!..

— Хватит! — ударил книгой о помост домла.— Что ты там мелешь, глупец?

— А-а, вы?.. Нечего вмешиваться в мои дела, дорогой дедушка! Один раз подставили мне подножку, и хватит...

— Братик! Любимый! — Тахира пыталась ладонью закрыть ему рот.

Хайдар отмахнулся и снова пошел на Сакиджана:

— Немедленно... Сегодня же катись отсюда!

— П-послушайте меня, молодой человек! Если вы даже купили этот кишлак...

— Купил я или нет, разговор один — здесь, в этом кишлаке, или ты будешь, или я!

Алия — будто из-под земли возникла — наседкой подлетела к сыну, повисла на шее:

— Сыночек мой! Что с тобой?

— Подождите, мать, не мешайте! Ничего вы не знаете! Этот заика...

— Перестаньте! — Этот стон Латофат заставил замолчать Хайдара. Дрожа, пылая глазами, девушка рва-

нулась к нему.— Перестаньте сейчас же! Прекратите эту недостойную возню, или я на всю жизнь... не взгляну на вас!

— Латиф! — Хайдар вдруг обмяк.— Латиф...

— Мне больше нечего сказать вам! — Латофат снова закрыла лицо руками и побежала к воротам. Как раз в это время с улицы входила Фазилат с большим блюдом в руках, завернутым в дастархан. Латофат с ходу наскочила на мать и, не останавливаясь, выбежала на улицу.

Во дворе все молчали. Слышалось только тяжелое дыхание Хайдара да всхлипы Тахиры.

Алия провела рукой по мокрым от слез щекам. Посмотрела на Абидова — он так и стоял с опущенной головой под яблоней, потом на Нормурада-ата, все так же сидевшего на сури, и остановила взгляд на замершей у ворот Фазилатхон.

— Фазилатхон, милая! Никто не слышал этого разговора! Никто! Хайдарджан ничего не говорил, и вы ничего не слышали. Дядюшка, вы поняли меня? Дядюшка!..

Домла не двинулся. Молчал.

2

Фазилат не находила себе места: вот уже несколько часов, как Латофат заперлась в своей комнате. Так было и в ту ночь — после разговора с Кадырджаном. Ни слова не вымолвила, не всплакнула. Уж лучше бы плакала, выговорила свою боль, освободила душу от всей этой копоти!

Странный парень Хайдар. Взрослый, без пяти минут ученый, а ведет себя, как юнец. Будто уличный хулиган, скандал учинил, обозвал приезжего всякими словами. И это перед самой свадьбой! К кому ревнует невесту? Разве это соперник — ни виду, ни положения, да и за тридцать уже перевалило.

А все Атакузы. Ведь он за людей не считает ни Фазилат, ни сына, ни даже Латофат. У Атакузы только на языке — кудагай, на самом же деле Фазилат для него — пустое место. Аллах знает, может, еще и стыдно ему, что роднится с ней. Дает понять всем: истинный сват его — Бурибаев! Вон куда гнет.

Потому и устроил царский прием Бурибаеву, в горы

возил, барана зарезали в его честь. А вчера, как вернулся с гор, еще барана зарезали. Музыканты, которыми тешил гостей, уехали в город, так он школьных учителей заставил, есть там такие — хорошо умеют играть и петь. До самого утра пировали в саду. Фазилат уснуть не могла, ее дом через улицу — все слышно. Под их музыку вспоминала прошлое. Проплакала всю ночь. Кадырджан — дай бог, чтобы жизнь его была долгой! — не отходил от отца, вместе с ним веселился, а утром уехал провожать. А Латофат, как и мать, не сомкнула глаз. До самого рассвета слышны были шаги в ее комнате, и свет то зажигался, то гас. Через улицу из сада Атакузы неслись пьяные крики: «Молодцом, Джамал Бурибаевич! Пусть живет Джамал-ака сто лет!»

Как ведь обидно... В детстве Атакузы был такой добрый, отзывчивый. А теперь что с ним стало! Ну хорошо, допустим, не считается с нами, с женщинами, не берет во внимание ни Фазилат, ни дочь ее, уверен ведь — никуда им не деться. Но бедный старик, его родной дядя! О нем хоть бы подумал.

Фазилат не видела домлу Нормурада с самой войны. А месяц назад посмотрела на него в день траура и несколько дней не могла прийти в себя. Ничего не осталось от прежнего Нормурада. Тогда, до войны, он казался большим, крепкий такой был, коренастый. Красивый был мужчина. А лицо какое! Робела смотреть на него — такая была в лице его мудрость.

Сегодня Фазилат еще раз увидела домлу, теперь уже вблизи, и опять заныло сердце. Посреди комнаты с книгами стоял сгорбленный старик с усталыми, глубоко запавшими глазами, и лишь большая лобастая голова напоминала прежнего Нормурада Шамурадовича.

И не такой уж он суровый, как представляла себе раньше. Будь она на его месте, не пустила бы ее, Фазилат, и на порог. Ведь откуда было ему знать правду — что случилось с ней. А если и слышал что, так это еще хуже, чего только люди не наговорят...

Странно, каждый раз, когда Фазилат думает о Джаббаре, в памяти всплывают не счастливые дни первых свиданий, не тайные поцелуи в кишлачных садах, нет, вспоминалось другое — тревожная встреча на Комсомольском озере в Ташкенте.

Прошла неделя после начала войны. В тот день по радио выступил Сталин. С неожиданной откровенностью прозвучали его слова, и люди все поняли и содрогнулись...

Знаменитый сейчас парк у Комсомольского озера в то время только-только открылся. Каждый вечер устраивались в нем народные гулянья, гремели литавры, пели карнаи и сурнаи, канатоходцы показывали свое искусство — по тросу, протянутому над озером, переходили с берега на берег.

Фазилат пришла в парк задолго до условленного времени. Здесь будто ничто не изменилось: было многолюдно, гремели литавры, трубно взывали к гуляющим карнаи и сурнаи, а под канатами в нетерпении гомонила детвора. Но для Фазилат все стало иным: и литавры словно присмирели, и карнаи не пели, а стонали, плакали, словно провожали на войну.

На аллее показался Джаббар. Она сжалась — он тоже был не тот. В зеленой гимнастерке, перехваченной ремнем, в тяжелых кирзовых сапогах — не узнать. Снял пилотку — пугающе суровой показалась новая короткая стрижка.

В груди заныло...

— Вы тоже... на фронт?

— Нет, пока что на строительство. Но скоро должны отозвать,— Джаббар испытующе вглядывался в глаза Фазилат. Потом взял ее руку.— А что ты собираешься делать?

— Я... Закончатся экзамены, поеду в кишлак.

— Правильно! — Джаббар обрадовался.— Очень будет хорошо, если ты до моего возвращения поживешь в кишлаке.

Глаза Фазилат наполнились слезами.

— Зачем так говорите? Будто сегодня уже едете на фронт...

— Фронта не миновать. Ты же умная девушка, должна понять.

— Значит... мы больше не увидимся? — у Фазилат задрожали губы.

— Ничего не могу сказать тебе сейчас, Фазил. Когда призовут, постараюсь повидать тебя. Хоть на час — обязательно приеду.— Джаббар взял в ладони ее мокрое, заплаканное лицо.— Запомни одно, Фазилат: где бы я ни был, в какие бы переплеты ни попал, ты

всегда будешь со мной. Я буду драться с врагом, потому что ты меня ждешь. И постараюсь вернуться с фронта живым, потому что ты меня ждешь. Запомни это, Фазил!

Джаббар стал целовать ее глаза, брови, губы. Как он ее целовал! Весь горел, будто от предчувствия разлуки и беды.

На следующий день Джаббар уехал на строительство, куда — не сказал, наверно по специальности. В тот год он закончил второй курс института железнодорожного транспорта.

Фазилат, сдав последний экзамен, отправилась в кишлак. Дыхание войны чувствовалось и там.

Не каждый день, но в неделю раз кишлак провожал своих джигитов на фронт. Призывники собирались на базарной площади перед куполовидной мечетью, и стены древней крепости сотрясались от плача матерей, жен, невест и сестер. Шумела, путалась в ногах детвора. «Илохи омин! — Да благословит вас аллах!» — напутствовали джигитов старики.

Всю неделю перед прощальным днем в кишлаке играли свадьбы. Уходящие на фронт торопились соединиться со своими подругами. Плакали карнаи, сурнаи, женщины тянули печальные свадебные «яр-яр» — это как обычно. А потом джигиты поднимались на стены древней крепости, и до самого рассвета кишлак слушал их песни. Эти песни! Чуть хмельные голоса, печаль и удаль в них — как все это разрывало сердца девушек, особенно тех, кого война уже разлучила с милыми...

Фазилат не гуляла на свадьбах. По вечерам, сидя дома у амаки — дяди по отцу, невольно прислушивалась к печальным свадебным «яр-яр». И потом, ночью, грустно-удалые песни джигитов не давали ей спать. Все думала о Джаббаре, и ей казалось — он уже давно на фронте.

Джаббар продолжал работать в степи, там проводили железную дорогу. Почти каждый день приходили от него письма. Их приносил ей Атакузы, приносил тайком, потому что амаки строго следил за нею. Какие это были письма! Горячие, как его поцелуи, грустные, как увядшие стебли степной травы, вложенные в них.

Кажется, шли последние дни октября. Однажды вечером Фазилат сидела за книгой под тусклым светом

семилинейной лампы — не могла уснуть. Неожиданно постучали в окно. К стеклу прильнуло лицо Атакузы.

— Джаббар-ака приехал!

Фазилат, ничего не видя перед собой, кинулась к вешалке, где висел ее платок, потом к сундуку — за камзолом. Секунды не прошло, выбежала в тенистый сад.

Джаббар ждал ее в дальнем углу за арыком. Они кинулись навстречу друг другу, обнялись и замерли, застыли.

Ломоть холодного полумесяца то смотрел сквозь редкие темные облака, то прятался в них. С гор дул, посвистывая, холодный ветер, и большой оголенный сад глухо шумел. Наконец Фазилат оторвала голову от груди Джаббара, жадно всматривалась в обросшее щетиной незнакомое, исхудалое лицо. Робко спросила:

— Вы уже на фронт? Как же так?

— На фронт,— сказал Джаббар и еще крепче обнял ее.— Остаться не могу, даже если будут оставлять. Ты же умница...

— Когда?.. Когда уезжаете?

— Завтра. Но отсюда я должен уехать сейчас. Надо успеть на двенадцатичасовой поезд...

Фазилат испугалась — вот она, настоящая разлука, сейчас, сию минуту он уйдет от нее. Обхватила его плечи, забилась, зарыдала.

— Фазил! Фазил! Не мучь меня! — Джаббар сам еле сдерживал слезы.— Я должен уйти сейчас, немедленно. Приехал на секунду, посмотреть на тебя. И благодарю судьбу, увиделись.— Он сжал ее лицо ладонями, как в прошлый раз, на озере, и стал целовать в губы, в глаза.— Ты помнишь, что я сказал тебе тогда на озере? Ради тебя я постараюсь выжить! И до тех пор, пока что-нибудь не случится...

— Джаббар-ака! — взмолилась Фазилат.— Не надо, Джаббар-ака.

— До свиданья, Фазил! Милая, единственная моя, будь терпелива. Я вернусь. Я обязательно вернусь!.. Атакузы! Где ты? Отведи ее домой! — Джаббар с силой оторвал от себя Фазилат, одним махом перепрыгнул арык и побежал к поджидавшим его в темноте всадникам.

Некоторое время Джаббар учился на курсах танкистов, где-то на севере Казахстана. И вскоре, в феврале сорок второго, отправился на фронт... Пять меся-

цев шли от него письма. Треугольники, исписанные химическим карандашом... Бывало, получит такой треугольник Фазилат и оживает, как земля в засуху под летним дождем. И плакала, и улыбалась, читая. А потом целый месяц не было писем. И Атакузы куда-то пропал, исчез. Ровно через месяц он шальным ветром ворвался в класс — Фазилат учила детей в школе. Босой, без шапки, подняв треугольное письмо выше головы, крикнул с порога:

— Жив Джаббар-ака! Он ранен. В госпитале сейчас!

Фазилат не смогла сдержаться. Притянула бритую голову Атакузы к себе и на глазах у класса расплакалась.

Джаббар писал, что ранен в ногу, что «если будет суждено, скоро увидимся».

В этой надежде прошло еще два месяца, настало лето. Почти все мужское население кишлака ушло на фронт. Ушел и председатель колхоза. На его место раисом поставили амаки Фазилат, ее дядю. Слабый он был человек, нерешительный.

Однажды амаки вызвал Фазилат в правление.

— Ты уж оставь на время школу. Боюсь, и счетовода заберут на фронт. Поработай с ним. Подучись у него немного.

Так Фазилат оказалась в конторе колхоза. Вот тогда-то и появился в кишлаке Джамал Бурибаев.

Как-то Фазилат сидела одна в конторе, считала. На улице зацокали о каменистый грунт копыта. Фазилат подошла к окну. У дверей конторы остановилась пара сытых вороных, запряженных в старинный фаэтон. Из фаэтона вышел рослый статный мужчина — новая военная гимнастерка, военная фуражка. Чеканя шаг, поскрипывая хромовыми сапогами, он шел прямо к ней. Первой мыслью было — «Джаббар!», но тут же поняла — ошиблась.

Незнакомец остановился у открытого окна, стал в упор разглядывать Фазилат.

— Где раис?

— В степи. На жатве,— с трудом шевельнула губами.

— А вы кто такая?

— Я... помощник счетовода...

Снял с головы фуражку, пригладил черные волосы —

они так блестели, словно приезжий только что вынырнул из воды. Усмехнулся:

— Молодцом раис! Знает, кого взять в счетоводы.

Фазилат покраснела.

— Он мой амаки.

— Ах вот оно как... Зачем же ваш амаки прячет от нас такую племянницу? Как тебя зовут, красавица?

— Фазилат.

— Фазилатхон, значит. И имя красивое. Ну, складывай быстрей свои бумаги и садись в фаэтон!

— Я? Зачем?

— Хочу прокатить тебя! — рассмеялся военный, но сразу же нахмурил брови.— Я — Бурибаев! Может, слышала?

— Ой, председатель райисполкома?..

Бурибаев довольно улыбнулся:

— Вот видишь, мы, выходит, знакомы. Значит, покажешь нам дорогу в степь. Поторопись, пожалуйста!

В широком фаэтоне с огромным откидным зонтом они сидели вдвоем. Старик кучер торчал на облучке. Фазилат стало не по себе, забралась в самый угол. Бурибаев придвинулся, пошутил:

— Хотя слово «бури» и означает — волк, у меня только фамилия Бурибаев. Если сама не захочешь, я тебя не съем!

Всю дорогу Бурибаев рассказывал разные истории, старался развеселить Фазилат. То смеялся, а то вдруг делал вид, что грустит: тяжело вздыхал, хмурил брови. Фазилат почти не слушала его шуток, ни разу не улыбнулась. Она сидела, пугливо прижавшись в угол, ей было не по себе, казалось, в чем-то поступила нехорошо. Скоро убедилась, что и другие думают так. Фаэтон проехал мимо поля. Там жали ячмень женщины. Они зашушукались, поглядывая на нее. И совсем уже вышло нехорошо, когда на хирмане — гумне встретились с Атакузы.

Мальчишка прутиком погонял волов, тянувших волокушу. Старая рубашка намокла от пота, штаны засучил до колен, закрылся от солнца войлочным киргизским колпаком допотопных времен. Увидел Фазилат, как она выходит с Бурибаевым из фаэтона, и сначала застыл, открыв рот, а потом в сердцах стегнул волокушу и резко отвернулся.

И тогда Фазилат, встретив презрительный взгляд Атакузы, дала себе зарок — никогда больше Бурибаева не подпускать. Но чем больше она его избегала, тем упорнее он искал встреч. Зачастил в кишлак и каждый раз непременно заглядывал в контору. А потом и еще придумал: стал вызывать Фазилат в район, в канцелярию исполкома — помощь, мол, там нужна.

И странное дело: каждый раз, как звонили от Бурибаева, в конторе поднималась суматоха. Бегали, искали Фазилат, если ее не было на месте. Амаки собственноручно снаряжал арбу. Сам отправлял ее в район. Несчастный дрожал при одном имени Бурибаева. И конечно, когда она приезжала, Бурибаев находил предлог, покидал свой кабинет и подолгу сиживал в канцелярии. Пытался пригласить ее на вечеринку, в парк. Туманно намекал: им надо «быть вместе». От вечеринок, от прогулок Фазилат решительно отказывалась. Она если не каждый день, то раз в неделю получала письма от Джаббара и с нетерпением ждала — скоро приедет. Но Джаббар не приехал. Три месяца лечился в госпитале, а потом пришло письмо — отправили на фронт. И еще одно письмо было. Писал: «Не сегодня завтра вступим в бой». Его последнее письмо! Спустя два месяца — был конец октября — амаки робко заговорил с ней о Бурибаеве. Уверял, что плохого тот ей ничего не сделает. Помыслы у него самые чистые, готов даже разойтись с женой.

Фазилат заплакала, заявила прямо — не желает и слушать про Бурибаева, будет ждать только Джаббара, всю жизнь ждать. А, не дай аллах, не вернется, все равно за Бурибаева не пойдет. Амаки расстроился, хлопнул дверью.

И еще месяц минул. Шел конец ноября. Какой страшный был день! Пришла утром на работу и увидела на столе конверт. Нет, то был не долгожданный, свернутый руками Джаббара треугольник, а настоящий почтовый конверт с большой печатью.

Фазилат посмотрела и взмокла от холодного пота. Дрожа раскрыла конверт. Дочитать не смогла — в глазах потемнело, пошатнулась. Схватилась за стул, а потом опомнилась уже на полу. Это было «черное письмо» — похоронка.

Неделю, а может, и больше ходила не помня себя. Когда немного опомнилась, подумала вдруг — а почему

это «черное письмо» пришло не к родителям Джаббара в Ташкент, а сюда, к ней, на ее имя? Побежала на почту. Там объяснили: «Должно быть, в кармане Джаббара нашли твой адрес и твою фотографию, поэтому и похоронку адресовали тебе. Война!»

Прошел месяц, странный месяц. Фазилат будто не жила. Двигалась, работала, говорила с людьми, но все это делала не она — ее руки, ее ноги исполняли привычное дело, она же сама была далеко... Плохо помнит Фазилат то время. И в эти дни амаки не отставал от нее. Упрашивал, уговаривал, кричал, топал ногами, грозил, бросался перед ней на колени. Наконец в ход были пущены слезы. Он умолял Фазилат согласиться, говорил: если она откажет Бурибаеву, тот снимет его с работы, пошлет или на фронт, или в рабочий батальон.

Тут она будто очнулась. Амаки, пожилой мужчина, плакал перед ней, просил. О чем? Не все ли ей равно? Для нее все погибло. Несчастный амаки, чем она могла помочь ему? Что ответила ему, Фазилат не помнит. Помнит только, что амаки усаживал ее в арбу, совал бумаги, бормотал — вызывают в район с отчетом. Она поехала. Там все и случилось. Кто-то встретил ее в пути, о чем-то говорил, повернул арбу совсем на другую дорогу. Она не успела даже испугаться... Ей было все безразлично...

Бурибаев не забрал Фазилат в город. Устроил в домике с двумя комнатами рядом с правлением. Там и маленький той справил, пригласил только счетовода и амаки. Все тихо, тайно.

Вначале приезжал каждый день, большей частью за полночь. Входил, скрипя сапогами, охлопывал камчой полушубок, стряхивая снег, нетерпеливо дергал задвижку.

Была в нем жестокая черта: он совершенно не терпел слез. Его раздражал печальный вид Фазилат. Громко, по-хозяйски стуча сапогами, играя плетью, заходил в дом, и не дай бог — она не встретит его с улыбкой, а еще хуже — обронит слезу. Мгновенно выходил из себя, бледнел, командовал:

— Кончай траур, ханум! Сейчас, может быть, в эту самую минуту, тысячи джигитов гибнут на войне. Тысячи молодых женщин остаются вдовами. А мы с тобой целы и невредимы, живем в тепле и уюте. Надо благо-

дарить судьбу, ханум. Каждый день — на вес золота! Дорожить этим золотом надо. А ну, подавай на стол. Своею нежной ручкой налей-ка вина в пиалу. Улыбнись! Вот так, ханум.

Фазилат все больше молчала, подчинялась без ропота. Она боялась Бурибаева. Он был для нее действительно бури — волк. Не только что ронять при нем слезы — обиду высказать не смела, когда по неделям не приходил. Порой ей представлялось — все это мрачный, нескончаемый сон, блуждает она во мгле и не может найти просвета...

Наступил январь сорок третьего. Кишлак утонул в глубоком снегу, дома стали как бы ниже, улицы у́же. На весь колхоз лишь в одном месте — в правлении — было радио, да и там громкоговоритель оживал раз в сутки, и то на час. Газеты приходили раз в неделю. Но стоило хоть двоим встретиться, разговор сразу заходил о фронте. У всех на устах было одно слово: Сталинград!..

Фазилат сидела в холодной конторе, стучала озябшими пальцами на счетах. За окном промелькнула стайка мальчишек. Дверь шумно хлопнула, и ребята ватагой ввалились в комнату. Впереди — Атакузы. В руках — газета «Кзыл Узбекистан», в глазах — восторг. Но когда Фазилат встретилась с ним взглядом, она увидела в глазах его отчаянный мальчишеский гнев.

— Вот! — Атакузы покрутил газетой над головой.— Джаббар-ака жив! Джаббар-ака — Герой Советского Союза! Посмотрите сюда — весь Ташкент встречал его! Девушки красивее, чем вы, в сто раз и лучше в сто раз встретили его с цветами!

Атакузы бросил газету на стол перед Фазилат и, боднув головой стоявших в дверях друзей, выскочил на улицу. Фазилат не могла двинуться. Она не отрывала глаз от газеты.

Атакузы говорил правду. В газете она увидела снимок: толпа девушек с цветами встречала выходящего из вагона Джаббара, а над снимком — крупные буквы: «Узбекский народ приветствует своего сына-героя!..»

Вечером в сумерках явился Бурибаев — слегка во хмелю. Походка нетвердая, беспокойные глаза так и бегали.

Фазилат проплакала весь день и теперь лежала на кровати без сил, неподвижно уставившись в потолок.

Джамал Бурибаев ворвался с вихрем холода, спросил, еще не сняв полушубка:

— Выходит, уже слышала, ханум?

Вместо ответа она прижала платок к глазам. Наполнив комнату снежной пылью, Бурибаев скинул с себя полушубок, швырнул на него бобровую ушанку, изо всей силы топнул:

— Хватит реветь! Не затевай траура, пока я жив! Плачь после моей смерти. А теперь поговорим о похоронке...

— Похоронка? Вы же сами забрали ее у меня...

— А ты слушай! — Бурибаев заложил руки за спину, прошелся по комнате.— Таких случаев, когда приходит похоронка, а потом человек оказывается в живых,— сколько угодно. Ничего не поделаешь — война! Этот герой, говорят, приехал в отпуск. Если заявится сюда, запомни: ты не знаешь меня, а я тебя! Только до его отъезда, а потом будет порядок. Если же что узнал и пристанет с расспросами, отвечай: вышла за меня по любви! Полюбила, ясно? А насчет похоронки — не помнишь, куда сунула. Может, даже сожгла. Ты поняла меня?

Фазилат с горя онемела. Прижавшись к стене в углу постели, она смотрела на него расширенными огромными глазами. При его последних словах не выдержала — зарыдала.

Бурибаев молча стоял над ней. Сквозь слезы Фазилат видела плотно сжатые кулаки и странно прыгающую ногу в блестящем сапоге. Трус! В эту минуту она не боялась Бурибаева. Хотела, ждала — пусть бы повалил ее, начал бить. Пусть душит, растопчет вот этими начищенными хромовыми сапогами. Но Бурибаев вдруг разжал кулаки, прогнал гнев с лица...Он не кричал, не командовал, как обычно. Нагнулся, поправил ее рассыпавшиеся волосы, осторожно погладил их. Фазилат вздрогнула и невольно, будто ее коснулась змея, отодвинулась в сторону. Он и тут не вышел из себя. Тихо сказал:

— Не бойся, дорогая! Все это ненадолго. Приходится поступать так, пока этот человек не уедет обратно. А потом... потом все встанет на свое место. Я официально оформлю наш брак. Заберу тебя в город. Ты же знаешь, я не могу без тебя. Одна только просьба: не забудь того, что я сказал,— ты ко мне пришла по люб-

ви. И все. Иначе нам будет плохо. Особенно тебе. Я-то мужчина, как-нибудь выкручусь, но ты — о себе подумай. Нам надо действовать с умом.— Бурибаев робко, нерешительно погладил плечи Фазилат, надел полушубок и вышел.

Прошел час, не больше. В дверь снова постучали. Особым чутьем, присущим лишь женщине, Фазилат, еще не тронувшись с места, поняла — Джаббар! И не обманулась. На пороге, чуть не доставая фуражкой до притолоки, в шинели с золотыми погонами, стоял Джаббар! А за ним — верный Атакузы.

Смуглое лицо, ввалившиеся щеки и странно спокойные, прищуренные глаза — Джаббар не гневался, не укорял. Он испытующе и, как ей показалось, брезгливо смотрел на нее. Она пошатнулась, а может, и упала — не помнит. Потом оказалось, сидит на кровати, а Джаббар все так же беспощадно смотрит на нее.

— Я все знаю,— Джаббар отвернулся к оледенелому окну.— Вы, значит, три месяца не получали моих писем?

«Четыре! Не три, четыре месяца не получала!»

Фазилат не помнит, то ли выкрикнула эти слова, то ли они лишь в мыслях пронеслись. Скорее всего, молчала. Почему же иначе Джаббар так и не оторвал взгляда от затянутого ледяным узором окна? Глухо сдерживая себя, сказал:

— Я выясню причину. Завтра же выясню. Знаете, не было дня, когда бы я не писал вам!

— А я? А мои письма?

— Нет, не получал. И это тоже узнаю. Но не в письмах дело. Говорят, вы получили извещение о моей смерти? Где оно?

Вместо ответа Фазилат бессильно упала на колени, простонала:

— Похоронка!.. Он только что говорил про нее.

— Кто «он»? Бурибаев?

— Да...

— Вы ему отдали похоронку?

— Он сам взял. Давно. Может, порвал, сжег. Да вы же... Вы же ничего не знаете...— Фазилат упала ничком прижалась лицом к ковру, хотела заглушить плач.

Джаббар молчал. Потом она услышала одно лишь слово:

— Ладно...

Раздались чугунно-тяжелые шаги, и кончилось, все кончилось...

Целую ночь и весь следующий день Фазилат пролежала дома, уставившись в потолок. Вечером не зажигала лампу. В поздний час амаки постучал в дверь.

— Фазилат, где ты, детка моя? Почему не зажигаешь свет? — Ощупью пробравшись в комнату, амаки засветил лампу.— Что с тобой, детка? Вставай, оденься. Пойдем к нам. Тетушка твоя приготовила ужин, ждет тебя.

Фазилат молча поднялась, молча надела свое, еще со студенческих лет, пальто и послушно пошла за амаки.

О амаки, этот амаки!..

На улице ее ждали двуконные сани Джамала Бурибаева.

Фазилат двигалась как заведенная. Амаки сел впереди, она сзади и тут вдруг увидела за углом в темноте двух всадников.

— Товарищ Бурибаев! На минутку! — раздалось оттуда, из мрака. Джаббар! Это был Джаббар. Амаки узнал его — взмахнул плеткой, изо всей силы стегнул коней. Оставляя за собой снежный вихрь, сани помчались вперед.

Когда Фазилат вошла в дом амаки, Джамал Бурибаев был уже там. Большую гостиную освещала тридцатилинейная лампа-молния. Но углы тонули в темноте. Посреди комнаты на маленьком столике-хантахте стояла початая бутылка водки, рядом — две кукурузные лепешки, на тарелке яблоки и гранаты.

Из неосвещенного угла гостиной навстречу Фазилат нетерпеливо выступил Бурибаев. Подоспевший амаки жестом отозвал его в сторону. С минуту они пошептались во мраке коридора. Бурибаев вернулся в гостиную, торопливо накинул на себя сброшенный на кровать полушубок и, застегивая ремень, сказал:

— Вот что, ханум! Этот самый Джаббар, оказывается, побывал сегодня в районе. Проверял насчет почты. Возможно, завтра тебя вызовут туда. Прошу — отвечай, как условились, ты...

Он замолчал на полуслове. С грохотом распахнулась дверь, и на пороге вырос Джаббар.

Амаки ринулся было из дому. Джаббар движением

пальца остановил его, всем телом загородил дверь. А сам не сводил глаз, глядел в темный угол, куда затравленным зверем отступил Бурибаев.

— А, товарищ начальник! Мы вас ищем целый день, а вы, оказывается, здесь пропадаете...

Из темного угла — глухой голос Бурибаева:

— Если у вас дело ко мне, пожалуйста, в исполком...

— Мы и здесь можем потолковать. Где мои письма, которые я писал с фронта?

— Странный вы человек! Откуда мне знать про ваши письма!

— Вот как? Значит, не знаете? Наверное, скажете, и к извещению о смерти моей не причастны? Кто сочинил похоронку?

Бурибаев пытался что-то сказать.

— Стой! Не перебивай меня, прохвост! Я... мы сражаемся на фронте, кровь свою проливаем за Родину, за народ, а ты!.. Такие сволочи, как ты, здесь, в тылу, творят пакостные дела! — Джаббар нагнул голову, молодым бычком пошел на Бурибаева.

Бурибаев, перебирая руками по стене, стал медленно отходить вбок. Вдруг схватил со стола бутылку и со всего размаха бросил ее под потолок — в лампу, кинулся к окну, ногой вышиб раму и под градом посыпавшегося стекла прыгнул в проем. Джаббар, опрокинувший в темноте столик-хантахту, успел, должно быть, ухватить беглеца за полу полушубка. С шумом и треском Бурибаев рухнул в темень сада.

— Стой, подлец!

Яркие звезды в черноте окна на миг заслонила широкая фигура Джаббара и он исчез во тьме.

— Стой, стрелять буду!

Тяжелый топот бегущих людей, два резких пистолетных выстрела...

Слезливый стон амаки — последнее, что услышала Фазилат. Она, будто раненная теми выстрелами, упала на ковер.

Сколько прошло времени, не знает. В желтом свете керосиновой лампы увидела упавшего на колени амаки, он дрожал, как в ознобе. Против него над опрокинутым столиком стоял Джаббар. Услышала, как ей показалось, издалека тяжелые, как удары молота, слова Джаббара:

— Увернулся, гадина, от пули. Удрал! По всему вид-

но, законченный гад. Ну, а вы... как же вы-то, раис! Как могли?

— О, сынок! Вы не знаете!..

— Знаю! Трясетесь за свою голову. Да цена-то велика. Подумайте, как взглянете в глаза людям после войны.

Может быть, он услышал тихий стон Фазилат. На нее не посмотрел, только сказал:

— Ладно, будьте здоровы! Будьте здоровы, Фазилатхон!

Его последние слова. На следующий день Фазилат узнала, что он уехал на фронт и к родителям в Ташкент не заглянул...

Всю неделю Фазилат не выходила из дома амаки. На седьмой день в сумерки явился Бурибаев. Вместо полушубка на нем была шинель, вместо бобровой шапки — фуражка. Он заметно сдал, осунулся.

Долго не рассиживался, наспех выпил пиалу чая и заспешил.

— Я отправляюсь на фронт,— подошел к Фазилат, с того памятного дня она не вставала с постели.— Не знаю... если в чем виноват, то только в том, что полюбил тебя. Искуплю вину своей кровью. Так я им сказал — в райкоме обсуждали наше с тобой дело. Видишь, еду на фронт. Будем живы, может, еще и увидимся...

Да, так уж несовершенен, оказывается, этот мир. Немного времени прошло, услыхала она — погиб Джаббар. Похоронка пришла на этот раз в Ташкент, к его родителям. Погиб смертью храбрых в ожесточенных боях на подступах к Харькову. Так, говорили, было написано. На этот раз «черное письмо» оказалось правдой. А Джамал Бурибаев?.. Он вернулся летом сорок пятого. На плечах — погоны старшего лейтенанта, на груди ордена и медали, планка-нашивка — два раза был ранен. Пришел, по-геройски выставив грудь...

А у нее был первенец. Родились один за другим еще двое детей. Первенький-то погиб, бедняжка, попал под машину. Ради детей терпела унижения, обиды. А потом сколько лет несла нелегкую долю брошенной женщины. Жена не жена, вдова не вдова. А он, тот, кто принес ей столько горя и унижения, он всегда на коне. Вот и сейчас — главный гость Атакузы, главный сват, ему — все почести. И сын Кадырджан, дай бог, чтобы голова его

была крепка, как камень,— заодно с отцом, нет в нем ни гордости, ни сострадания к матери. Зато дочь!.. Дай бог ей долгой жизни, выросла честной, отзывчивой. Чуткая душа! И девушка гордая. Неужели у дочки жизнь будет такой же горькой, как и у матери... Как отвести беду? К кому пойти?

3

Сон не придет — поняла Фазилат и поднялась с постели. Ей было душно. Прошлась по двору, но и двор показался тесным. Набросив на голову платок, вышла на улицу...

Перевалило за полночь. Чуткая к ночным звукам тишина повисла над безлюдной улицей, легкий шелест листвы тополей да тихий говор воды, бегущей по арыку, не мешали ночному покою. Лишь изредка нарушал его лай собак. Погас свет в домах. Но одно окно светилось. По ту сторону улицы, немного левее двора Фазилат, в одном из окон горел свет. Это домла не спит. Беседует с доцентом? А может, как и она, сидит один, растревожен стычкой в саду?

Фазилат будто кто-то за руку повел. Перешла улицу и в густой тени деревьев медленно приблизилась к освещенному окну.

Оно было раскрыто. Прямо перед ним, за широким письменным столом, сидел домла. Положил локти на цветную карту, расстеленную вместо скатерти. Что-то писал, обложенный большими папками и стопками бумаги. Нет, он только держал ручку, уставился в темноту — весь во власти своих, видно, невеселых дум.

Настольная лампа высветила глубокие борозды на просторном выпуклом лбу, резкие складки у большого мясистого носа, сетку мелких морщин в углах задумчиво-усталых глаз. Громадная лобастая голова домлы всегда приводила Фазилат в трепет, но сейчас он показался ей таким одиноким и грустным, что не сдержала жалости, сама не заметила, как тихо всхлипнула.

Домла встрепенулся, будто вспугнутая большая птица, широко раскрыл глубоко запавшие глаза:

— Кто это там?

— Я, отец, Фазилат...

— Фазилат? — переспросил старик, отодвигая в сторону настольную лампу.— Какая Фазилат?

— Та самая...— Фазилат хотела сказать: «Та самая, несчастная Фазилат», но, не удержав себя, громко зарыдала...

На широком морщинистом лице старика отразилось удивление, потом сменилось растерянностью и смятением.

— А, Фазилат...— Он замигал ничего не видящими в темноте глазами, привстал с места.— Что случилось? Опять этот глупец? Скандалист?

Фазилат не ответила. Она боролась с собой, пыталась удержать всхлипы, душившие ее. Опершись руками о стол, Нормурад-ата всем телом подался вперед. Он только теперь увидел за окном женщину, она припала к стволу тополя, обняв его.

— Что случилось? Говорите же в конце концов!

Фазилат вытерла концом платка слезы.

— Простите, простите, ради аллаха...— и снова не сдержалась, заплакала.

Домла молча глядел в темноту. В лице его все больше проступала нерешительность, а потом и сострадание.

— А ну, зайдите-ка, сюда. Пожалуйста...

Фазилат не знала, куда скрыться от стыда и раскаяния. Уже хотела бежать, но тут открылась дверь, смутно замаячила в чуть освещенном проеме фигура старика.

— Где вы? Фазилатхон! Ну-ка, идите сюда, идите...

Прикрывая концом платка губы, пошла за домлой. Старик, натыкаясь на груды книг, провел ее в свой кабинет.

— Сюда, сюда... Пожалуйста...

Фазилат осторожно присела на край стула у самых дверей.

Беспорядок в доме, сиротливо жалкий вид самого домлы снова сжал ей горло.

— Так что же? Опять приходил Хайдар?

Фазилат молчала.

Лохматые седые брови старика сошлись на переносице, лицо сделалось сурово-холодным.

— Стоите ночью у меня под окнами, плачете... Просите простить. Если собрались вспоминать прошлое,— не надо.

— Да, да, не надо! — горячо подтвердила Фазилат.— Я вас понимаю. Вы не думайте, я не затем пришла, не оправдываться... Сама не знаю, случайно. Захотелось

немножко пройтись. Вижу — горит свет в окне. Подошла, увидела вас и...

— И не надо...— шепнул домла. Опять неуверенность на миг отняла у него силу.

— Я понимаю, что не надо. И все же... все же я виновата перед вами, перед вашим сыном, навсегда виновата...

Тяжелая черная рука Нормурада Шамурадова сжалась в кулак, он хотел крикнуть: «Хватит, ни к чему все это!» И тут вдруг вспомнились строки из письма старушки: «Сыночек, родненький, не сердись ты на отца. Вернешься живым и здоровым — соединишься с возлюбленной. Лишь бы голова твоя была как камень крепкой». Пальцы домлы сами собой распрямились.

— Ладно, доченька, не надо трогать старую рану, не мучь ни себя, ни меня...

— Я же не хотела трогать...— осторожно стала оправдываться Фазилат.— Видит бог, не хотела. Только вот... Если б вы знали, как все было. Если б знали!

— А я знаю, доченька...

— Нет, не знаете вы, отец! Не знаете! — И такая боль, такая тоска послышалась в отчаянном крике женщины, что старик замолчал.

Долго в эту ночь не ложился домла — все слушал путаную горячую исповедь Фазилат. Вот уж никогда не думал, что придется снова услышать ту горькую и нечистую историю, да еще из уст самой Фазилатхон. Он всегда закрывал уши, не желая знать подробностей. Боялся, что, узнав, еще больше возненавидит виновницу их беды. А вот слушает. Ни разу не перебил, не переспросил ни разу. Сердце ныло, иногда только стискивал зубы, чувствовал, что задыхается от гнева. Но не на эту рано поседевшую женщину с горестным лицом был направлен его гнев. «Будущий сват» — вот кто заставил его дрожать, сжимать кулаки. Откормленный гусак! Она же... Домле захотелось обласкать, погладить поседевшие волосы. Успокоить хотя бы добрым словом... Но опять вспомнил Бурибаева, его козлиный голос. Оцепенев, застыл, уставился куда-то вдаль, сквозь стену. Только губами шевелил.

— Попался бы ты мне под руку... В двадцатом... А ты-то что молчала? Учительница! Простила ему? Почему не поехала сразу в райком?..

— Так он же...

— Он же!.. В обком почему не кинулась? В Ташкент! К ногтю, к ногтю их надо, таких!..— это в нем уже бушевал красный конник двадцатых годов.

— Отец... Как кинешься? Кто он и кто я...

Она смотрела на него удивленными, покорными глазами. Такими знакомыми грустными глазами, напоминающими одинокий огонек в ночной степи.

И перед домлой вновь почему-то возникла Гульсара. Отчетливо увидел — сидит на берегу арыка. А он, гневный, переполненный своей великой правдой, грозно сжимает кулаки. Гульсара испуганно и покорно смотрит на него, кротко, без слов валится на кустики базилика...

Домла обхватил голову руками и вдруг тихо затрясся всем телом...

Много слез видела Фазилат. Плакали, бывало, и мужчины в годы войны. Но профессор Нормурад Шамурадов, такой суровый, один вид его приводил в трепет... Плач домлы пугал и хватал за душу. Фазилат вскочила с места, заметалась, хотела подать воды, но домла вдруг очнулся, торопливо провел платком по глазам, сердито кашлянув, хрипло и как-то неуверенно, непонятно заговорил:

— Сколько лет прожили с ней... Сам тоже хорош... Лучше всех... Нет, не мне трогать людские раны...

— Я совсем не хотела трогать. Просто то, что делает ваш племянник, переполнило сердце...

— А что он делает?.. О чем вы говорите?

— Я маленький человек. Хоть и завклубом. Но вот он, Атакузы-ака, зачем призвал сюда этого человека? Величает сватом, превозносит до небес. А нас с дочкой и за людей не считает. Неужели он забыл, как все было?

Домла поглаживал мягкий седой пух на висках и молчал. «О, доченька, доченька! Разве только с вами? Со мной, со своим дядей, перестал он считаться... Что делать, доченька, что делать?»

Сегодня утром домла выехал из лесничества с твердым намерением поговорить с Атакузы — спокойно, по душам, как отец с сыном. Теперь для такого разговора появилась дополнительная причина. Они — домла, Прохор и Уразкул — написали письмо в защиту Минг булака. Написали, когда удалось успокоить разбушевавшегося Уразкула.

Сначала старики долго спорили: куда адресовать

письмо? Прохор предлагал не размениваться на мелочи, направить прямо в Москву. Уразкул спустился чуть пониже, предложил подать жалобу в Ташкент. Домла же объяснил, что начинать полагается с низшей инстанции, уговорил их сначала обратиться в райком. И письмо сочинил так, чтобы не очень больно задело Атакузы.

В сущности, письмо было не очень уж обидным для Атакузы. Они ратовали лишь за то, чтобы сохранить это чудо природы, Минг булак, и с этой целью рекомендовали перенести строительство животноводческого комплекса чуть подальше. Даже указали подходящее место. И все-таки домла чувствовал себя так, будто занес над головой близкого человека камчу. А все потому, что знал: вряд ли Атакузы правильно поймет его поступок. Оттого и хотел поговорить поскорее с племянником. Отослали письмо, и домла помрачнел, места себе не находил. Все три дня, что жил у Прохора, промучился, а сегодня утром попросил отвезти его в кишлак. Прощание с Уразкулом вышло натянутым, и домла твердо решил вернуть его сыну дом. Ехали на мотоцикле Прохора. По дороге попросил свернуть в степь. Если решил поговорить, думал домла, то надо говорить, имея полное представление обо всех делах Атакузы. И правильно поступил. Стало ясно, Атакузы замыслил в степи грандиозное дело. И городок строился продуманно — удобный будет для жизни и красивый. И поля толково распланировал, обсадил деревьями против степных ветров. Хлопок уже начинал цвести... И перед Прохором не стыдно. Как бы ни ошибался племянник, а если глаза есть, смотри: работать этот раис умеет, мыслит широко! Одно все же огорчило домлу: дренажи строили не закрытые, уже проверенные жизнью, а прокладывали по старинке открытые канавы. Видно, экономили средства. И вот уже они во многих местах засыпаны песком, засолились. Правда, на полях у Атакузы белесые пятна выступили не везде. Зато в соседних совхозах земля местами совсем белая, будто припорошена легким снегом. Было очевидно, воды недостает, и берут для полива сильно засоленные воды из коллекторов. Надо бы приехать сюда вместе с Хайдаром, подумал домла, посмотрели бы вместе на эти поля, поговорили бы. Может, и отойдет у парня душа. В конце концов, не враги же они.

И так захотелось домле поскорее, не откладывая, поговорить с Атакузы, развеять все недоразумения, что еще по дороге решил: «Поеду прямо к нему домой». Но у двора племянника стояли машины,— видно, принимал гостей. Пришлось отложить разговор. Прохор подвез домлу к его дому, тут же простился и укатил, тарахтя прогоревшим глушителем мотоцикла. Потирая затекшие ноги, домла двинулся к калитке. Рядом, во дворе племянника, дружно, раскатисто захохотали. Ворота распахнулись, и оттуда вывалилась во главе с хозяином оживленная толпа гостей. Люди солидные, представительные, гладкие, лоснящиеся лица выражали довольство, губы блестели от плова. Атакузы вел под руку Джамала Бурибаева.

Нормурад-ата заторопился открыть калитку и никак не мог попасть ключом в замок. Ушей достиг дребезжащий, будто визг немазаных колес, смех Бурибаева:

— Такой грех не возьму на душу! Кхе-хе-хе! Буду, конечно, буду на свадьбе, раис!

— Вместе с супругой, Джамал Бурибаевич, обязательно! — гремел Атакузы.— А всякие суды-пересуды побоку, дорогой сват. Жизнь ведь! А в жизни чего только не бывает. Я дам телеграмму домле Мирабидову. Приезжайте вместе.

— Благодарю, Атакузы-ака, благодарю. Ну, будьте здоровы!

— Нет, нет, я провожу вас до города. Вовсе не потому, что вы начальник управления. Свата поеду провожать. Ха-ха-ха!..

Домла вдруг ощутил — как он устал! Еле доплелся до своей комнаты, бросился на диван...

Так было днем. А теперь вот — ночная гостья. Племянник и впрямь крутился вокруг этого Бурибаева, а тут еще Хайдар скандал устроил. Несчастная женщина!.. Домла грустно склонил голову, сказал:

— Да, да, я понимаю вас, доченька!

— Сват не считается с нами, и сын берет пример с отца. Вы сами видели, как будущий мой зять ведет себя, как унижает мою дочь,— жаловалась Фазилат.

Старик молчал. Пришло на память все, что слышал в последнее время про Атакузы. Сам того не замечая, грустно качал головой: жалоба этой женщины и разговоры о ловкости и тяжелом характере раиса — одного корня ростки...

«Что же происходит с Атакузы, в самом деле? Когда, где растерял он простые человеческие чувства? Когда успел стать таким черствым, бессердечным?»

Фазилат, видно, по-своему поняла молчание домлы, заговорила с неожиданной твердостью, гордо:

— Не подумайте чего плохого про мою дочь! Она не против свадьбы. Просто... больно ей, больно...

«Напугал племянник беднягу. Сильно напугал! Зачем, с какой целью этот глупец старается нагнать страх на всех?»

Нормурад-ата встал.

— Что я могу обещать вам, доченька... Единственное, что в моих силах,— сказать про все Атакузы. И я скажу. Не бойтесь, от себя, своими словами скажу.

Фазилат тоже поднялась. Набрасывая на плечи кисейный платок, склонила голову:

— Спасибо вам за доброе слово. Хоть на душе полегчало...

Домла проводил нежданную гостью до ворот. Рассвет был близок. В кустах, в травах, в щелях стен — повсюду, как в степи, стрекотали сверчки. В арыках квакали лягушки, издалека доносился мирный шум воды, стекающей по мельничному желобу. Все вокруг погрузилось в грустную, трепетно-чуткую тишину. Человека еще не было слышно, и казалось, вся природа, от листьев деревьев и до густо рассыпанных по небу ярких звезд, бережно хранит эту светлую тишь... Лечит душу такая тишина, грустное мерцание звезд, запах цветов, прелых яблок, базилика, и даже рев ослов не мешает, не тревожит покой. И сердце Нормурада-ата забилось ровнее. Природа будто бережной рукой осторожно огладила его, усмирила...

Домла медленно вернулся во двор, хотел было прилечь на сури под яблоней, и вдруг мир нарушился. За дувалом раздались быстрые беспорядочные шаги, с хрустом сломалась ветка, и дробно застучали падающие на землю яблоки. Сквозь этот стук домла услышал женский голос:

— О аллах, сынок мой ненаглядный, что с тобой?

Домла застыл — узнал голос Алии.

— Что же это с тобой случилось? Откройся родной матери!

Ответил пьяный, надрывный вопль Хайдара:

— Не мучьте меня, мам. Ничего вы не знаете. Не знаете, и все!

— Да знаю я, знаю! Оставь ты лучше эту девушку! Бог с ней, с ее красотой! Другую найдешь! Смотри же, совсем измучился, жеребеночек мой!

— Нет, мама! Лучше мне умереть, не могу так жить! К черту все!..

— Что ты говоришь, сыночек, родной мой! Встань скорей, встань! Пойдем! Сердце кровью обливается. Пойдем, поспи, поспи, мой жеребеночек...

Хайдар грубо выругался, застонал. Алия умолкла, упрашивала его, шептала о чем-то... Наконец сын сдался — шаги затихли.

Домла долго стоял, держась за ручку двери. Покоя на душе опять не было, снова все перемешалось, перепуталось.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

I

Алия с трудом успокоила Хайдара, уговорила — заснул наконец. Теперь лежала с открытыми глазами, сон не шел к ней. Когда последний раз плакал ее сын? Грудным младенцем? Плакал и позднее, мальчиком. Не часто, но бывало такое, расплачется от обиды, от мальчишечьего горя. И вот мужчиной стал — и снова плачет. Сын, который давно уже отмахивается даже от ласки матери. А как тяжело матери смотреть на муки взрослого дитяти, особенно если не знает, отчего они. Конечно, пришел он сегодня навеселе. Толком ничего не рассказывает. Но чует сердце: нависла над головой сына беда. Да и не только сына, над всей семьей маячит недоброе. Ссора на защите, неожиданная смерть бедной старушки, нелады между Хайдаром и будущей невесткой, мелочные, но пугающие душу пересуды о муже. Одно к одному...

Раньше в их семье все было проще. Начнет что беспокоить, Алия тут же поделится с мужем, и муж со вниманием прислушивался к ее словам. Сразу после института она пошла учительницей в школу. Директором там был Атакузы. Самый молодой в районе и самый деловитый директор — такая о нем шла слава.

И как легко всем работалось с ним! Что бы он ни делал: вел ли в классе урок, хлопотал ли вокруг новых школьных построек, расширял ли школьный сад,— за все принимался весело, работал от всей души. Сам таскал кирпич, месил глину, рыл землю, и, конечно, никто не мог уже стоять в стороне — сообща брались за дело. Любили и уважали директора за открытый нрав. И потом, когда избрали председателем, остался таким же. За дело взялся горячо, по неделям, а то и месяцами не показывался дома — пропадал в горах, на пастбищах, ночевал где придется. Домой приезжал обросший, кожа да кости, лицо черное, как чугун. Зато какой ласковый, озорной, веселый: не было человека счастливей, чем он. Играл, дурачился с детьми, сам, как ребенок, смеялся и проказничал. А ночью проснется, бывало, разбудит Алию и до рассвета все рассказывает, рассказывает о своих делах. И никаких тайн, никаких секретов от нее.

А то и так случалось: заявится среди ночи и с порога:

— Поднимайся, Алия! Надо съездить тут к одним.

— В такой поздний час? Кто же это нас ждет не дождется?

— Понимаешь, какое дело... Есть один парень, поливальщиком работает. Обидел я его! Поедем, извинения попросим...

— Вы, значит, обижаете, а извиняться — я?..

— Не ты, я сам повинюсь перед ним. Просто парень недавно женился, посидим вместе семьями, поговорим, смотришь, и отойдет у него от сердца. Что у тебя там есть? Винцо найдется? Ну и прекрасно. Захватывай все и поехали!

В дом обиженного Алия входила первой. Заговаривала с хозяйкой. Но и Атакузы не стоял за углом, не боялся, что унизит себя извинением. А потом такой завязывался искренний да задушевный разговор! Известно ведь — повинную голову меч не сечет. И расставались закадычными друзьями...

Бывало, идут Алия и Атакузы по кишлаку, а старики глаза утирают, говорят им вслед: «Пусть будут здоровы на наше счастье!»

Радость ли, беда у кого в кишлаке, Атакузы всегда там, первый. Не только веселье — умел разделить и горе. Случись где траур — Атакузы опоясывался по-старинному зеленым расшитым кушаком — белбагом, стоял

у ворот покойного вместе с близкими и конечно же помогал всем, чем можно. Сколько раз Алия слышала, как говорили односельчане: «Дай бог, чтобы остался таким, не сглазили бы!» Алия на такие слова улыбалась, а глаза влажнели. Ночами, просыпаясь, целовала усталое, черное лицо мужа. Все-таки что-то таилось в нем незнакомое. Гладила жесткие, рано начавшие седеть волосы, задумывалась, просила у неба: «Пусть сбудутся слова людей, лишь бы не сглазили его!» Да вот не сберегла, сглазили.

Кажется, перемена началась, когда стал раисом укрупненного хозяйства. Первый колхоз поднял и поставил, и к нему тут же присоединили второй — маломощный. Как вспоминает теперь Алия, именно тогда выступили в муже новые черты, которых она не знала раньше. Взгляд сделался орлино-суровым, и походка изменилась: начал ставить ноги твердо, упруго. Года два спустя прибавили еще и третий колхоз. В руках Атакузы оказалось огромное хозяйство. Пять с лишним тысяч человек жило теперь в кишлаке. Помнится, в том же году, осенью было дело, Атакузы пригнал машины с кирпичом и цементом, созвал людей крушить старую крепость. И начал возводить новый кишлак. Не кишлак — город! В газетах замелькали портреты раиса, гуртом нагрянули журналисты, телевизионщики... Да, да, началось, кажется, с этого... Правда, продолжал бывать на свадьбах и поминках. Стоял у ворот покойника, перепоясавшись белбагом. Но теперь не на все приглашения отвечал, ходил только к самым влиятельным в кишлаке людям — к «нужным».

Он по-прежнему не знал, что такое отдых, не давая покоя ни себе, ни Алии. Но не тянулся излить, как бывало, жене свою душу, не спешил поделиться сомнениями. Впрочем, это не пугало Алию. Ведь раис уже возмужал, стал одним из самых опытных, знающих руководителей, его уважали, с ним считались. И только когда однажды он поступил вразрез с указаниями районного руководства и молва о том дошла до ушей Алии, она тихонько намекнула мужу: не надо бы... Атакузы решительно отмахнулся: «Если нужно мое место, пусть забирают! Я и сам не знаю, как отвязаться от этой проклятой работы».

А уж как рос авторитет Атакузы в последние годы, особенно после того, как в позапрошлом году в пустыне

Сарсан-кум начал осваивать целинные земли. Член обкома, депутат облсовета! Прошлой осенью пошли слухи, что метят его в Герои. Но что-то там, в верхах, не заладилось, слухи не оправдались, и Атакузы долго ходил в сильной обиде, одно время даже запил.

Ладно, не стал Героем, и не надо. Была бы голова тверда как камень, а тюбетейка найдется. Другое пугает Алию. Атакузы для кишлака выкладывает себя всего, покоя не знает ни летом, ни зимою, ни днем, ни ночью. Так почему все реже и реже слышит она те добрые слова, которыми награждали, бывало, мужа: «Дай бог ему здоровья на наше счастье!» Что случилось, кого винить? Виноват ли муж, или это просто извечная людская неблагодарность? Двадцать лет жизни, нет, больше двадцати сгорели ради колхоза, ради кишлака, ради людей. Ну, есть у Атакузы, бывают, конечно, капризы и упрям иной раз, все верно. Но ради его больших дел, ради преданности колхозу ужели нельзя простить такую малость?

А тут еще Хайдарджан мучает. И дочка Тахира, такая беда, сошлась с этим... с сыном Фазилат, забеременела до свадьбы. Атакузы пока не знает. Что-то будет, что? Алия скрывает, мучается...

Да, темные призраки, призраки беды маячат вокруг ее семьи. А муж и усом не ведет, живет себе, как раньше.

Успела Алия сомкнуть веки или нет, не знает. Услышала зычный голос мужа, поднялась.

Уже наступило утро. Атакузы разговаривал у колодца с Тахирой, насупленный, мрачнее тучи. Увидел Алию, отстранил дочь, поднялся на айван.

— Что тут у вас происходит? Не успел гостя проводить, и уже новости.

— Дочь, наверно, уже сказала, что тут произошло?

— Сказала, имел удовольствие слышать. А сын что? Не сына, а размазню, тряпку родила мне! Поди позови его сюда!

Алия вспомнила ночные думы, тихо вздохнула.

— Что с вами сделалось?

— Со мной ничего, с вами вот...

— С порога нож обнажаете, а говорите — ничего! Ничего бы и не было, кабы не полезли в кумовья к вашему бывшему замминистра...

— При чем тут замминистра?

— А при том... Из-за него вся затея. Вам, видать, и невдомек, что Фазилатхон с дочерью проплакали до рассвета, пока вы пировали с ним в саду.

— Проплакали до рассвета! — передразнил Атакузы.— О женщины! Когда только научитесь смотреть дальше своего носа?

— Вы вот далеко видите, а считаться с людьми не хотите, не думаете об их чувствах...

— О чьих же это чувствах ты говоришь? Не о Фазилатхон ли речь? — Атакузы криво усмехнулся.— Иди лучше позови сына!

Атакузы сел на диван, привалился к подушке, закрыл глаза. Почувствовал себя вдруг очень усталым, одиноким. Алия никогда так не разговаривала с ним. Что с ней случилось? Что делается в этом доме? Неужели он и правда очерствел, не чувствует боли близких? Что ж, пожалуй, надо поласковее поговорить с сыном.

Так решил Атакузы, но вышло иначе. Хайдар вошел, волоча ноги, взлохмаченный, лицо опухло. Отец снова вскипел:

— Что у тебя за вид? Посмотри хоть на себя в зеркало, кандидат наук!

— Кандидат наук? Смеетесь!

Атакузы топнул ногой изо всей силы.

— Если не стал, так станешь! Нужно будет, сам поеду в этот, как там называется... в твой ВАК. Поеду, сделаю тебе диплом! Ходишь в таком виде, мокрая курица!.. Да ты недостоин этого диплома!

Хайдар сник еще больше.

— Что с тобой делается? — уже мягче заговорил отец.— Почему молчишь? Может, этот заика?.. Почему устроил скандал? Не понимаешь, что позоришь невесту?

— Я понимаю... Но этот юродивый ее с пути сбивает. Еще в Ташкенте прожужжал все уши: талант! Должна остаться в аспирантуре! И тут подбивает: поезжай в район. Лабораторию, видите ли, для нее должны открыть.

На губах Атакузы заиграла улыбка.

— Слыхал, секретарь райкома говорил мне об этой самой лаборатории. Аллах знает, выйдет ли еще что. Но, предположим, она станет работать в той лаборатории, так что? Может, собираешься после свадьбы в клетку запереть?

Хайдар весь вспотел.

— Какая там клетка? Я не хочу, поймите, не хочу, чтобы он вмешивался в мои личные дела.

— Твои личные дела — в твоих руках! Нет девушки без капризов. А как войдет за брачный занавес — конец. Тут уже все будет зависеть от тебя. Ходишь мокрой курицей. Подними, подними голову! Держись джигитом со своей невестой. Скажи ей: две недели даю — и свадьба! И чтобы никаких разговоров!..

2

Алия хлопотала на айване у газовой плиты. Муж прогромыхал мимо.

— Не успели приехать, а уже опять собираетесь из дома?

— Да, думаю к младшей жене заглянуть.

Знакомая шутка. Обычно Алия отвечала тоже шуткой: «Передайте привет моей сопернице!» А сегодня смотрит на мужа чуть прищуренными глазами и не улыбка в них — укор.

— О вас справлялся дядя, несколько раз заходил.

И улыбка на губах Атакузы погасла, густые обожженные солнцем брови сошлись на переносице. Этот дядя! Вчера утром Шукуров показал письмо, что-то вроде жалобы — печалится о судьбе Минг булака. Не там, оказывается, начато строительство. Погибнет «чудо природы» — вечные их доводы. Шукуров тактично прикрыл рукой подписи. Да глаз Атакузы острый, с первого взгляда узнал почерк дяди. Знакомые изящно-чеканные буквы. Увидел, и будто огнем ожгло все внутри.

Атакузы не спасовал. Доказал реальными цифрами, насколько выгодно строительство животноводческого комплекса именно в Минг булаке. Так убежденно говорил, с такой железной логикой доказывал, что Шукуров заколебался. Но не в Шукурове дело. Дядя — вот орешек! Подумать только, мало на Атакузы жалоб, так теперь еще и родной дядя взялся строчить письма...

— Ну, а чего он хочет, мой любезный дядя? — кольнул взглядом жену.

— Не знаю... кажется, насчет дома что-то...

— Да будь проклят этот дом! Сидит уже у меня в

печенках! Передай ему: не желает тут жить, пусть освободит! И все!

Атакузы резко повернулся, зашагал к воротам. Через минуту на улице свирепо взвыла машина. Не стал даже вызывать шофера. Выехал на большак и нажал педаль газа. Не замечал дороги, не видел ничего. Горькие мысли закружили голову, в груди стало горячо от обиды.

Да кто бы мог выдержать? Другой на его месте, пожалуй, завыл бы в голос. Мало крикливой жены этого размазни Наимджана. Так теперь свой прицепился, дважды родной, трижды любимый тагаджан — дядюшка! Всем Атакузы не угодил! И эта видавшая виды кудагай тоже в обиде. Видите ли, не по душе ей, что подружился с Джамалом Бурибаевым!.. Хоть вовек бы не знать ему этого Бурибаева. Но что поделаешь, жизнь есть жизнь. Дела и будущее детей — вот что заботит Атакузы. Плохой ли Бурибаев, хороший ли, но в его руках большое и очень важное в нынешней жизни учреждение. Снабженец — одно слово. Можно ли пройти мимо такого человека? А что касается прошлого — воевал он на фронте? Воевал. Оправдал себя? Оправдал. Иначе не поднялся бы до высоких постов. А потом, разве он теперь тот, прежний Бурибаев? Жизнь и его, видать, поломала, давно уже раскаялся. Третьего дня, слегка захмелев, отозвал в сторону Атакузы и как горько сетовал на свою жизнь, жаловался на молодую жену, на ее детей. Со слезами на глазах говорил. Признался, тянет его к первым детям, к тем, что от Фазилат.

— Сын меня радует, раис,— говорил Бурибаев, то и дело вздыхая.— Мой Кадырджан все понимает. И я ничего не пожалею для него. Сделаю все, что от меня зависит. Знайте, раис, ваша дочь будет моей дочерью, и ваш сын... Надеюсь, ваш сын тоже станет мне родным сыном. Но дочь, родная дочь! Кровь от крови моей... Не хочет понять меня. Если бы поняла, если бы пришла ко мне! Этими вот руками поднял бы ее до неба. Вся надежда моя на вас, раис!

Со стороны поглядеть — такой неприступный, важный, кажется, доволен и собой, и жизнью. А вот Атакузы видел, как слезы душили его. Так страшно качался и всхлипывал, что у Атакузы даже мороз пробежал по коже...

Жена твердит: не считаешься с людьми. А Джамал Бурибаев, что же он — не человек? Тоже не камень и не ком глины. Справедливо ли осуждать его на всю жизнь за одну, пусть и серьезную, ошибку? Вот и под самого Атакузы роют, выискивают какие-то не стоящие выеденного яйца грехи!

Машина взревела, Атакузы очнулся, торопливо убрал ногу с газа.

Кишлак остался позади, «Волга», ненасытно пожирая черный асфальт, нырнула в толпу пепельно-серых барханов.

Яркое белое солнце повисло над вершинами гор. Казалось, небо опрокинуло на землю котел раскаленной лавы, и теперь пустыня тихо докипала под небесным огнем. Мысли Атакузы то текли, перекатывались, точно волны песка, то вдруг начинали бурлить, подогретые внутренним огнем. Что сказал ему вчера утром Шукуров? Больно, обидно и вспомнить.

Он не собирался встречаться с секретарем райкома, но настоял Джамал Бурибаевич:

— Неудобно так уезжать. Надо засвидетельствовать свое уважение. Как-никак Первый — глава района!

Час был ранний, и Бурибаев предложил подождать в райкоме. Но Атакузы решил по-своему: раз уж ехать к Шукурову, то лучше будет встретиться за дастарханом,— и взял курс прямо к нему домой. Прикатили не с пустыми руками — Атакузы припас на такой случай ящик «дамских пальчиков».

Гостей встретили радушно, особенно жена его. Махбубахон была в цветастом шелковом халате, очень он шел к ее полноватой статной фигуре. Она засуетилась, забегала — белые легкие туфельки так и мелькали. Вмиг уставила дастархан под виноградной лозой всем, что только нужно для души.

Двор звенел ее веселым смехом — очень похожа веселостью на отца. За какие-нибудь полчаса, вот так шутя и смеясь, сумела и приготовить, и подать гостям на огромном блюде — лагане сочное, пахучее жаркое. Пока руки хлопотали, уста смеялись, успела высказать свою маленькую обиду:

— Нехорошо, Атакузы-ака! Вы скрываете, а мы узнали ваш секрет. Теперь ждите, приедем на свадьбу, даже если не пригласите.

Атакузы на лету поймал удобное для него слово.

— Да вы будете самой почетной гостьей! Только бы ваш хозяин разрешил сыграть той. Вы уж похлопочите, а за мной дело не станет — осыплю подарками с ног до головы!

— Идет! — засмеялась Махбубахон.

И Шукуров улыбнулся шутливо:

— Не боитесь, ханум? Я с себя снимаю ответственность. За свадьбу в страду отвечать будете вы!

— Согласна! — еще звонче расхохоталась Махбуба.

Словом, первая часть встречи прошла неплохо. Спасибо Махбубехон. Подошло время прощаться. И тут Абрар Шукурович взял под руку Атакузы, отвел в сторону и вконец испортил настроение раису. Показал то несчастное письмо про Минг булак, а потом снова заговорил о жалобе Надирыхон и опять про ее мужа: мол, Атакузы за письма жены про дом наказал мужа — выслал в пустыню.

Атакузы очень разобиделся. Думал, этим жалобам положен конец, а Первый их снова вытащил. Ну Атакузы и вспылил:

— Да неужели вы всерьез принимаете кляузы базарной бабы?

Шукуров как-то странно посмотрел на него и сказал тоном, не терпящим возражения:

— Это не кляуза. Вам было поручено уладить все, и вы должны, если потребуется, даже извиниться перед ней.

— Хорошо,— неожиданно спокойно согласился Атакузы.— У вас все?

— Нет...— Шукуров потер лоб и заговорил о притязаниях Аксакала на газовые трубы.

Атакузы опять же спокойно, но твердо отказался отдавать трубы. Во-первых, деньги уже перечислены. Во-вторых, ведь он припас трубы для детсада и яслей, для детей, не для кого другого, нужны. Если что, к самому Первому поедет, в обком! Шукуров чуть смягчился, попрощался довольно тепло.

А когда выехали с Бурибаевым за город, Учар вдруг остановил машину. Подмигнул хозяину: выйдите, мол, на минуту!

Атакузы вышел. Учар зря не вызовет на разговор с глазу на глаз.

— Секретарь завернул обратно ящик винограда. Тот, который вы велели оставить им.

Атакузы в упор посмотрел на шофера:

— Сам, что ли, вернул?

— Нет, шофер его вынес.

— Ты сказал, что виноград из моего личного сада?

— Да. Но шофер ни в какую. Хозяин его, говорит, приказал вам больше не делать таких...— Учар замялся, украдкой взглянул на сидевшего в машине Бурибаева.

— Подарков, что ли? — досказал Атакузы.— Ну и черт с ним... с виноградом. А ты тоже хорош. Из-за всякого пустяка машину останавливаешь. Поехали!

Атакузы совсем расстроился. Уж если не захотел брать, мог бы сам и сказать, а то через этих языкатых шоферов! Расхотелось ехать в Ташкент, да Бурибаев уговорил — обещал помочь насчет минеральных удобрений и запчастей и сдержал свое слово. Вчера же устроил Атакузы несколько сот тонн удобрений и вполне приличный комплект запчастей. Между прочим, очень даже кстати пришелся ящик отборного винограда, того самого, от которого отказался Шукуров. Вот как бывает в жизни...

Атакузы, конечно же, понимает, что действует незаконно. А что поделаешь? Упрекаете в ловкачестве? Законы нарушаю? Наведите порядок, планируйте разумно, обеспечьте всех как надо, тогда и говорите! Если кого и призывать к порядку, то хозяйственников, снабженцев, а не трудяг-раисов. Пора положить конец бесхозяйственности, а не долбить: нехорошо, незаконно! Еще не родился на свет председатель, который может выдать план без минеральных удобрений. И инженера такого не сыщешь, чтобы без запчастей заставил бесперебойно работать машины. Слушать кляузников слушают, а план, между прочим, не снижают. Ни тонны не сбрасывают с плана! Раньше все же было проще. Прежний секретарь все понимал. А этот не хочет ломать голову над трудностями. Ему и хлопок подавай, и от правил ни в чем не отступись. Сам попробуй!

Тяжелые думы, голова даже разболелась. Атакузы затряс головой, будто отгоняя назойливых мух.

Пепельно-серые барханы расступились, и впереди, у горизонта, среди мертвого моря неожиданно всплыл зеленый островок. Вот он — его город, окруженный зелеными саженцами, его стройка! Вагончики, палатки, камышовые шалаши среди хлопковых полей, а кое-где

поднялись уже и кирпичные стены. Атакузы только взглянул на этот чудо-островок, и все обиды, все горестные мысли улетучились, пропали — мир посветлел.

3

От магистрали отходили дороги к землянкам бригад, и на этих боковых дорогах там и сям чернели холмики. Гудрон! Наконец выгрузили! Рабочие, человек десять, расстилали его лопатами, громадный самоходный каток утрамбовывал.

Атакузы на радостях выскочил из машины.

— Хорманглар! Не уставать вам, молодцы!

— Спасибо! — молодые парни, как по команде, выпрямили черные мускулистые тела, блестящие от пота, с интересом посмотрели на раиса.

— Рад вас видеть на моих землях, дорогие!

— Что поделаешь? — рассмеялся рыжеволосый парень с ясным наивно-голубым взглядом.— Кто силен, тот и отхватил, так ведь? Вот и нас сняли с восьмого совхоза, перебросили к вам.

— Есть еще одна — русская поговорка, дорогой: «Дитя не плачет, мать не разумеет». Уж я ли не плакал!

Рыжеволосый блеснул полоской зубов:

— Что-то вы не очень похожи на тех, кто плачет, раис-ака!

Его товарищи дружно захохотали.

— Умеем и поплакать, и посмеяться. Вот закончите асфальт — сразу устрою сабантуй. Повеселимся, джигиты!

У дверей штаба Атакузы встретил бригадир колхозной строительной бригады. Растянул рот до ушей.

— Чему так разулыбался? Кирпич привезли?

— Привезли — не то слово. Четыре самосвала со вчерашнего дня ездят без передышки! Помните ту красавицу, ее еще на летучке пробирали...

— Начальника облбыта? Ну-ну!

— Сегодня чуть свет примчалась с помощниками. Осмотрела все и дала задание своим...

— Попробовала бы не приехать! Вчера в обкоме я им накрутил хвоста! — приврал на радостях Атакузы и тут же подумал: «А ведь и впрямь надо бы зайти в обком, утрясти с газом».

Вместе с бригадиром обошли городок. Да, сомневаться не приходилось: после летучки работа в степи закипела не только на участках Атакузы. И в соседних совхозах, и на канале гудом гудели механизмы. Намного больше стало машин, кранов, бульдозеров. В степи стоял невообразимый — а какой уж отрадный! — грохот, сновало множество незнакомых людей.

Атакузы расправил плечи, почувствовал себя победителем. Теперь можно было поговорить и с Наимджаном.

Наимджан уже больше месяца работал здесь на месте бывшего бригадира Али-Муйлова. Тот теперь в кишлаке. Тихий Наимджан, безропотный, всегда со всем согласен. Это жена его мутит, не дает покоя.

Солнце жарило вовсю. Подставишь неосторожно щеку или шею — будто пламенем лизнет. Был перерыв. Люди попрятались в землянках. Только повариха у котла возилась под камышовым навесом.

— Наимджан здесь?

— Здесь, раис-ака, в землянке.

Атакузы шагнул в полумрак землянки и как в рай попал — прохладно, хоть дышать можно. В одном углу обедали девушки, подстелили камышовые циновки. В другом углу прямо на земляном полу расположились парни.

— Хорманглар, милые девушки! Бог на помощь, джигиты!

Все поднялись с места.

— Добро пожаловать, раис-ака!

Атакузы с трудом различил в сумраке Наимджана, присел рядом, взял с дастархана кусок лепешки.

— Как поживаешь, бригадир? Как дела, джигиты?

— Сами видите. Живем-поживаем под вашим заботливым крылом, прямо как на курорте!

Атакузы узнал голос — он уже сталкивался с этим парнем. Демобилизовался год назад из армии и прямо сюда. Весной в буран ходил вместе с раисом, осматривали с фонарем в руках поля. Парень не раз жаловался — условия жизни, мол, здесь плохие, в пустыне...

— Значит, опять за старую песню? — Атакузы прилег около Наимджана.

Парень посмотрел на раиса и осклабился:

— Я же говорю — курорт, а вы — старая песня!..

— Брось ехидничать, хватит!

— А вы не больно пугайте, раис-ака! А то, пожалуй, и с трактора слезу.

— Значит, хочешь испугать меня. Думаешь, трактор останется без тракториста. А на что ты рассчитывал, когда ехал сюда? Мечтал с ходу в рай попасть?

Парень со стуком отодвинул миску, привстал.

— Вам тоже не следовало бы ехидничать,— сказал, и голос его дрогнул.— Я-то знал хорошо, что здесь не рай! А вы... Где ваши обещания? Вот уже год, как мы тут... Разве это жизнь? Парней не жалко, так хоть девушек пожалели бы.

В землянке все замерло. Какая тяжелая тишина, слышно только, как бурно дышит бывший солдат. Все головы опущены, никто не хочет смотреть на раиса.

Атакузы не ожидал такого поворота, да и удар оказался неожиданным. Только что был в прекрасном настроении. И будто кетменем хватили по башке. Даже кусок лепешки застрял в горле, еле проглотил. Собрался уже прикрикнуть на парня: «Не мути, брось свои мелкие разговорчики!» — а тут из другого угла землянки, где кучей сбились девушки, послышался тихий всхлип.

Головы повернулись туда. Девушки — не различишь, которая где,— все в просторных платьях, широких шароварах, в громоздких кирзовых сапогах. Невозможно понять, которая из них плачет,— сидят, опустили платки на глаза. Будто плакальщицы собрались на траур.

«По какому праву ты так говоришь с ними? — одернул себя Атакузы.— Разве не их руками вырастили из твоих саженцев тутовую рощу, которой ты так гордишься? Не они спасли хлопчатник, выходили кукурузу? А кто трудится здесь и в дождь, и в пургу, в жару и в холод? Вот и сейчас пекло адское. Их ведь труд, сознайся, принес тебе славу. За их счет срываешь на всяких собраниях аплодисменты. Где твоя совесть? Какое имеешь право обманывать их да еще кричать при этом?»

— Дети мои! — голос Атакузы помимо его воли задрожал.— Не думайте, что я ничего не вижу. Вижу и знаю. Вам тяжело. Но... Кто-нибудь из вас сегодня был в штабе?

Наимджан, сопевший в своем углу, поднял голову.

— Я был...

— Видел, как машины возят кирпич?

— Видел...

— Так вот, ребята, я обещаю вам: в этом году, до наступления зимы, вы — вы все будете жить в настоящих домах!

— Такое слово вы уже давали, еще весной прошлого года. Вспомните, раис-ака!

— Помню, дорогой солдат, все помню. Но не всегда могу. Ты же сам видишь — идет громадная стройка. В этой пустыне нет и клочка земли, где бы не рыли, не строили. Не успевают. Но теперь говорю твердо, в последний раз: разобьюсь, а будет в этом году у вас жилье! Если не умру, если доживу до зимы, сдержу свое слово.

Из кучки девушек послышался тонкий взволнованный голос:

— Да продлится вовеки ваша жизнь, раис-ака!

Что-то перехватило горло Атакузы, он резко поднялся, жестом показал Наимджану: «Иди за мной!» — и стремительно вышел из землянки.

«Что же это я в тот день не всех пригласил на летучку? Пусть бы кто-нибудь из них сказал свое слово. Красавице из облбыта не вредно бы послушать».

Снаружи жгло так, будто всю пустыню охватило пожаром. Атакузы кинулся под навес. Подошел Наимджан, длинный, нескладный, смущенно потирая старой замусоленной тюбетейкой бритую голову. Было заметно, чувствовал себя виноватым: не сумел предотвратить неприятный разговор в землянке.

— Что ж это получается, товарищ бригадир? Хромает у вас пропаганда, очень даже хромает...

Наимджан не знал, куда деть длинные, чуть не до колен, ручищи, виновато улыбнулся:

— Да вот... Молодые очень они, раис-ака, сами видите...

— Молодые должны быть как огонь, а у тебя — мокрые курицы. Как огонь! Понял?!

Что случилось с медно-черным, длинным лицом Наимджана? Незаметная раньше упрямая складка сошлась у бровей.

— Это они, вы говорите, мокрые курицы? Они...

— Да не трогаю я их. Просто хочу сказать: надо поднять у них настроение. Понятно? А теперь...— Атакузы обломил ветку тала, ударил ею по сапогу.— Хотел

вот спросить про жену твою. Когда она кончит со своими кляузами?

— С какими кляузами?

— Овечкой прикидываешься? Хочешь сказать, жена твоя строчит жалобы, а ты сам по себе — ничего не знаешь, не ведаешь?

Грубо вытесанное лицо Наимджана менялось на глазах. Упрямая складка выступила резче. И глаза не опускал, смотрел в лицо раису.

— Я не могу приказывать жене...

— Ты что — мужчина или баба? Тюбетейка на твоей голове или платок?

— Послушайте, раис-ака...— медленно начал Наимджан, но Атакузы прервал его:

— Этот несчастный дом! С твоего согласия я взял или нет?

— Согласен-то я был согласен...

— Глава дома согласен,— значит, аллах согласен, так ведь? Так чего же твоя жена трещит всюду: мужа ее я сослал в пустыню! Мало ей сплетен про дом. Сослал! Разве ты не сам дал согласие поработать здесь?

Наимджан опустил голову и неожиданно прыснул. И этого тоже никогда не разрешил бы себе прежний Наимджан — смирный, безответный.

— Согласие, его ведь тоже получают по-разному...

— Ах, вот оно что. Выходит, жена твоя правду говорит, значит, я выслал тебя в эту степь?

— Не выслали, конечно, я...

— А я-то рассчитывал: молодой, думал, наш Наимджан, в груди еще не остыл жар. Пусть, думаю, поработает здесь год-другой, покажет себя.

— Я и не бегу от работы. Сами видите...

— Спасибо, хоть не бежишь. А я-то, дуралей, мечтал, покажет себя парень, вырастет. Ну, думаю, вознесу его до небес! Героем сделаю! А ты даже со своей болтливой бабой не управишься, пляшешь под ее карнай!

— Мою жену не трогайте, раис-ака! Прошу вас.

Не просьбу, а угрозу услышал Атакузы в голосе механика.

— Вот как! — Атакузы дрожал. Дрожал каждой жилкой своего тела.— Я так понимаю: ты и слова не можешь промолвить поперек своей ненаглядной. А я те-

бя в бригадиры. Нет, не могу размазне доверить бригаду.

Огромная черная ладонь Наимджана сжалась в кулак.

— Не надо насмехаться, раис-ака! Ваша воля, забирайте бригаду, но насмехаться над человеком не имеете... А места много под небом. Не здесь, так еще где найдется.

— Как хочешь! Я-то принимал тебя за своего, думал, скромный парень, тихий. Ну что же, пиши заявление.

Наимджан выпрямился во весь свой длинный рост и прямо в глаза взглянул раису. Уголки толстых, растрескавшихся от жары губ скривила насмешливая улыбка.

— Нет уж, извините. Дураков нет! Писать заявление не буду.

— Тем хуже для тебя, освобожу без заявлений.

— Пожалуйста, как знаете.

— Сегодня же вечером будь в правлении. Получишь приказ.

Вот так тихий, смирный парень! Атакузы не верил своим ушам. Постоял, подождал немного,— может, одумается.

— Ну что ж!..— процедил сквозь зубы, резко повернулся и зашагал к стоящей за арыком «Волге».

4

Хлопнула калитка. Атакузы, шатаясь, словно изможденный болезнью, медленно дошел до навеса из виноградных лоз и бросился в плетеное кресло у колодца. Шитье выпало из рук Алии. Она сбежала с айвана. Под большими лампами, висящими среди виноградных листьев, замкнутое, осунувшееся лицо мужа показалось бледным как полотно. Алия, похолодев, кинулась к нему:

— Что с вами, что случилось?

Атакузы нехотя поднял голову, долго смотрел на жену, будто не узнавал. Встал словно бы через силу, устало подошел к колодцу, опрокинул на голову ведро воды.

Алия подала мужу полотенце — успела принести.

— Похоже, обильное застолье было?

— Да, вдрызг напился сегодня! — Атакузы грустно

улыбнулся, вернул жене полотенце и неожиданно приказал: — А ну, одевайся!

Алия широко раскрыла глаза:

— Что еще придумали на ночь глядя?

— Дело есть! Говорю, одевайся, без шуток.

— Да что стряслось, в самом деле? Скажите наконец!

— Ничего особенного. Надо пойти к этой самой, ну, как ее, к жене Наимджана. Должен ваш раис упасть перед ней на колени, умолять, просить прощения. Приказ сверху!..

— Хорошо,— неуверенно согласилась Алия.—Раз надо, так надо. Но поймет ли она? Я говорю о Надирехон.

— Поймет не поймет — должен пойти к ней, и баста! — Атакузы резко мотнул головой: — Нет! Дело в том... Обидел я мужа ее, Наимджана. Несправедливо поступил, обидел ни за что!

Чудо! К Алии вернулся прежний Атакузы — искренний, горячий. Вот таким нетерпеливым всегда бывал, когда в чем-нибудь раскаивался. Как легко стало Алии! Заторопилась, засуетилась.

— Сейчас, милый, я сейчас. Может, прихватить что с собой?

— Прихвати. Вина возьми, если есть. Еще что-нибудь такое, съедобное. И быстро!

Алия вбежала в комнату. Задыхаясь от неведомо почему нахлынувших слез, то кидалась к холодильнику, то шарила в чемоданах под кроватью. Набила сумку, переоделась.

Атакузы задумчиво прохаживался по двору. Что-то в нем успело измениться за те минуты, что Алия собиралась. Решимость в движениях спала, лицо снова помрачнело. Алия тревожно взглянула на мужа:

— Я готова, захватила все, что надо.

Атакузы не ответил. Молча дошли до ворот, молча сели в машину, молча тронулись с места.

Алия только теперь поняла по-настоящему, как тяжело мужу, как он страдает. Нет, прежний Атакузы не вернулся, и желание искупить вину тоже было не прежним. Он как бы сам себя тащил силком на аркане. Почему так мучается? Зачем так терзает себя? Надирахон и Наимджан тоже люди, должны понять его.

Атакузы словно мысли жены прочитал:

— Да, повинную голову меч не сечет! — и вдруг рез-

ко затормозил машину, глаза его подозрительно заблестели — не слеза ли в них? Задыхаясь от обиды, быстро-быстро заговорил: — Кто перед кем должен гнуть повинную голову? За какие грехи?.. С какой стати должен я ломать колени перед этой ябедницей? За то, что двадцать лет не знаю отдыха, что отдал всю жизнь, здоровье ради этого колхоза?

— Дорогой, милый мой, вы же обидели Наимджана, сами сказали, понапрасну обидели...

— Нет! Он уже не прежний Наимджан! Ты бы послушала, что говорил он мне.— Атакузы со злостью крутанул руль, машина со скрежетом и стоном повернула назад и стремительно помчалась обратно.— Я скажу Халиде, она парторг, пусть сама и поговорит с ним.

— Милый!..

— Нет! Ни за что!.. Пусть снимают с работы, сейчас, сегодня же пусть снимают. Выгонят, устроюсь в школу: хоть завхозом, хоть сторожем!

— Зачем же так...

— Что, не возьмут, думаешь, в сторожа? Ну, если они не возьмут, ты-то хоть согласишься взять в работники! — неожиданно расхохотался Атакузы.

Машина остановилась у ворот. Атакузы выскочил первый и предупредительно открыл заднюю дверцу:

— Прошу вас, моя ханум! А теперь пойдемте, приготовьте своими прекрасными ручками прекраснейший в мире плов! Но смотрите, мой дорогой дядя не должен знать, что я дома. Ни одна живая душа пусть не знает. Все они сидят у меня вот где,— хватил ребром ладони по затылку.— Человек я, в конце концов? Так позвольте мне хоть раз отдохнуть по-человечески!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Рассвет был близок. За окном посерело. Но комната оставалась еще темной. Домла проснулся не сразу, медленно приходил в себя. Вспомнилось вчерашнее, вечером опять заходил доцент Абидов. Он и Прохор приходят бередить и без того ноющую рану.

— Я только что из М-минг булака,— доцент заикался больше обычного.— Никаких перемен к лучшему. Вы же понимаете, уважаемый домла: если строительство не перенесут, погибнет вся арча лесхоза!.. Просто

поразительно, как ваш племянник, прославленный председатель, не разумеет простых вещей. Арча — это чудо природы. Тысячи лет арчовые леса охраняют горы от эрозии, берегут водный запас. Наши родники, реки зависят от арчи!

Нашел кому растолковывать. Кто-кто, а домла знает все это и без нервических подергиваний и монологов Абидова. Он столкнулся с этой проблемой не как биолог — как мелиоратор. Понял ее значение, оттого и взялся за книгу об арче, с головой ушел в историю... Исторические материалы убедительно свидетельствовали о том, что в далекие времена, когда горы и холмы Средней Азии покрывали густые арчовые леса, реки и речушки были полноводнее, а озера и моря переливались через край... Домла и в своем научном труде, связанном с переброской сибирских рек, выделил проблему арчовых лесов в отдельную главу.

Подумал о своей работе, о телеграмме, которую получил вчера. На душе сразу потеплело.

Домла встал с постели, нажал кнопку настольной лампы, надел очки. Такую телеграмму стоит перечитать, хоть и так знает почти наизусть.

«Уважаемый Нормурад Шамурадович тчк Ваша записка Правительство внимательно изучена верхах тчк Первой декаде августа созывается совещание поднятым вами проблемам тчк Просим выступить обстоятельным докладом тчк При необходимости командируем вам научного сотрудника зпт телеграфируйте тчк Уважением Поликарпов тчк».

Очень хорошая телеграмма, а еще лучше, что принес ее Хайдар. Во всяком случае, домла, проводив до угла возбужденного Абидова, в сумерках разглядел Хайдара у своей калитки. Он возился у почтового ящика. Это было неожиданно и странно, Нормурад-ата даже остановился в недоумении:

— Над чем ты тут трудишься?

Хайдар, хмурясь, смущенно пробурчал:

— Телеграмма пришла вам. Хотел опустить в ящик...

— Телеграмма? — Похлопав по карманам и не найдя очков, домла попросил: — А ну прочитай, сынок.

Хайдар нехотя прочитал и, не глядя на домлу, протянул телеграмму. Он собрался уйти, но домла снова очень мягко попросил:

— Подожди, сынок. Давно хочу сказать тебе слово. Не откажи старику. Пойдем, выслушай меня...

В голосе Нормурада-ата была мольба,— может быть, поэтому Хайдар согласился, а может, и другое что толкнуло. Парень нехотя, но пошел за дедом. Они расположились под яблоней на сури, застеленном ковром, и проговорили битый час, а может, и больше. Вернее, говорил один домла. Хайдар больше молчал — слушал, не соглашаясь и не отрицая. Сидел, низко опустив голову. Никак не похож был на парня, учинившего дикий скандал в саду. Должно быть, сам теперь страдал, стыдясь того злосчастного дня. Да и вид у него совсем иной — подтянулся, одет аккуратно.

Наконец-то домла смог высказать внуку все, о чем так часто с тревогой думал в последние месяцы. А главное, получилось, как и мечтал: говорил спокойно, искренне, душевно. Как и положено говорить с родным.

Начал с извинения. Признал, что в день защиты был неправ. Неправ в одном смысле — ему, как ученому и близкому человеку, задолго до защиты следовало заняться Хайдаром. Должен был предотвратить ошибки или хоть настоять, чтобы Хайдар устранил их. А не сделал ни того, ни другого,— значит, не надо было и выступать на защите, тем более так, как он выступил.

— Во всяком случае, я должен был понять,— сказал домла,— что мое выступление может нанести тяжелый удар молодому, еще не окрепшему ученому. А я сгоряча не подумал об этом и поэтому прошу: пожалуйста, прости своего деда...

Домла собрался было заговорить о сути ошибок Хайдара и заодно раскрыть ему, кто такой Вахид Мирабидов, что он представляет собой как ученый. Но вовремя придержал язык. Нет, Хайдар может понять не так. Вместо этого сказал просто, что никогда не сомневался в искренности намерений Хайдара. А заблуждений у кого не бывает.

— У тебя есть способности, ты можешь стать настоящим ученым. Но, мне кажется, ты слишком уверился в силе твоего отца. Подумай, а не мелькала у тебя мысль, какой, мол, он всемогущий, все сделает как надо. Вот ты и не брал глубоко, не напрягал голову. Боюсь, есть в тебе такая уверенность, и незаметно для самого проявляется она, мне кажется, и в твоих отношениях к людям, и вообще во всей твоей жизни.

Хайдар все так же смотрел вниз и молчал. И тогда домла решил чуточку тронуть Атакузы. Родной, единственный племянник, тот, кому надлежит опустить его прах в землю, кто, подпоясавшись белбагом и взяв в руки посох, будет сопровождать гроб дяди на кладбище,— этот вот племянник и тревожит домлу.

— Когда я слышу доброе слово про твоего отца, радости моей не бывает границ, когда же слышу плохое, боль долго не покидает мое сердце. Как говорится, ударишь по рогам, заноет в копыте. Отец твой, не очень зная, что у меня на душе, частенько гневается на мои слова. Бывает, отмахивается, а то и, разобидевшись, месяцами не разговаривает. Я — старик, я не держу обиды, Хайдарджан,— продолжал домла,— знай, сынок, я горжусь твоим отцом. Кто еще мог столько сделать в таком запущенном колхозе, кто еще мог так преобразить мой родной кишлак? Я горжусь, что мой племянник завоевал и здесь, и в районе, и дальше уважение и почет. Но есть одно, и это одно волнует, очень волнует меня. Народная мудрость говорит: уважение приходит золотниками, а уходит фунтами. И я теперь дрожу, боюсь, как бы авторитет и почет, добытые твоим отцом не сразу — многолетним честным трудом,— не пошли растрачиваться фунтами. Беда в том, что твой отец, мой родной племянник, не чувствует опасности. А я — старый волк, я наблюдал не раз в жизни и взлеты и падения. Я отчетливо вижу теперь эту опасность и не могу быть равнодушным.

Словом, домла высказал все, о чем он думал уже давно. Сказал и о Минг булаке, о том, кто и почему протестует против затеянного там строительства. Не утаил и ночную беседу свою с Фазилатхон, ее обиду на будущего зятя...

Хайдар и это выслушал молча. Только раз, когда домла заговорил о Минг булаке, быстро взглянул на деда и снова опустил голову, не очень уверенно попытался защитить отца. Потому он и строит там, что ферма принесет невиданные выгоды колхозу. У отца — точные экономические расчеты.

— А ты в детстве купался в родниках Минг булака? — спросил домла.— Лазил по джиде, собирал ягоды? Ну вот, запомни, сын мой,— торжественно сказал старик,— дети твои и дети детей твоих могут на веки веков лишиться этой радости.

Под конец попросил Хайдара:

— Подумай над тем, что я тебе сказал. Особенно об отце. Вспомни, не заметил ли ты какой-нибудь перемены в нем? Не наблюдал, как относятся к нему теперь в кишлаке? Обдумай все и помоги ему... Давай вместе, общими усилиями попробуем предотвратить беду. Знай,— сказал домла,— если родители ответственны перед своей совестью за судьбу детей, то и дети, когда становятся взрослыми, тоже должны отвечать за судьбу своих родителей...

Была уже глубокая ночь. Хайдар молча встал. У ворот простились, и внук сказал одно лишь единственное слово: «Спасибо». Да и сказал как-то странно: тихо, как бы нехотя. Но одного этого слова хватило, чтобы отогреть душу домлы. Он впервые отчетливо понял, что Хайдар попал в лапы Вахида Мирабидова и по его вине. Правда, отдал мальчишку Мирабидову не он, а Атакузы. Но как повел себя родной дядя? Нет того, чтобы насесть на племянника, отговорить, объяснить. Откуда было знать Атакузы, что за «жрец» науки Мирабидов. А дядя разобиделся: «Как так? Почему племянник подружился с моим давним противником?» Вот и получилось: сердясь на блоху, сжег и одеяло.

Ночью, проводив Хайдара, домла долго сидел, перечитывая свою записку в правительство республики, размышлял. Перелистал и книгу Мирабидова и еще раз убедился, насколько он поверхностен как ученый. Все, что понаписал, легковесно, а то и вредно. Нет, домла ни в коем случае не против переброски на юг части стоков сибирских рек. Да и в своей записке не отрицает эту проблему. Но — аллах! — сколько тут нерешенных или решенных наспех вопросов! Ведь эти воды, если даже правительство сегодня примет решение, придут не раньше чем через пятнадцать — двадцать лет. А за это время республика успеет стать пустыней. Так надо же думать об этом!..

Домла несколько раз отмахивался от назойливо дребезжащего звука. Наконец сообразил: это телефон! Уже наступило утро.

Звонила Халидахон. Домла не сразу вспомнил ее, хоть и назвала свое имя и должность. И только когда сказала, что на сегодня назначена его встреча с читателями,— припомнилась молодая смуглолицая женщина с приятными ямочками на щеках. Ага, это которая при-

села к нему Фазилатхон и девушек — разбирать книги. Халидахон уже тогда говорила: надо организовать его встречу с читателями. В тот раз домла вежливо отказался: он же не знаменитый писатель, ни к чему ему эти встречи. Но Халидахон и слушать не захотела. И вот опять тот же разговор.

Домла сердито бросил трубку. Не прошло и часа, как в дверях появилась Халидахон. Демонстрируя чистейшую белизну зубов и ямочки на смуглых щеках, Халидахон заговорила с порога, опередив возражения домлы:

— Не будьте так скромны, Нормурад Шамурадович! Вы ничуть не меньше любой знаменитости. Так что прошу, собирайтесь. Сейчас за вами придет машина.

Полевой стан оказался под стать всему, что делал Атакузы: двухэтажное здание из белого кирпича в тени могучих старых талов. К дому пристроена веранда — просторный айван. На стане было безлюдно. Только кругленький краснощекий повар копошился у большого котла — помешивал в нем огромным черпаком.

Машина вплотную подкатила к белому двухэтажному дому. На айван вышел, будто на прогулку, Абидов в новой — да еще какой! — пижаме. На спине, груди — повсюду выглядывали из причудливых джунглей львы и леопарды. Абидов радостно заспешил навстречу домле:

— Э-э... милости п-просим, уважаемый домла, каким это ветром вас сюда занесло?

Нормурад Шамурадович с любопытством оглядел модную пижаму, болтающуюся на худых плечах Абидова, его легкие брезентовые сапожки и невольно заулыбался:

— А вы, товарищ Абидов, чувствуете себя здесь как на курорте!

Абидов насмешливо поклонился стоявшему тут же на айване Али-Муйлову:

— Низкий п-поклон благодетелю. Создал нам тут и курорт, и п-прекрасные условия!..

Доцент бесцеремонно отстранил Муйлова и повел гостя на хлопковое поле. По дороге сообщил: отряд биологов готов к «наступлению». Только от «врага» — от хлопковой совки — все еще нет вестей. Абидов очень беспокоился по этому поводу.

Али-Муйлов, идя за ними, испуганно прислушивался. На всякий случай трижды плюнул:

— Тьфу, тьфу, тьфу, домладжан! Да оградит нас всевышний от такой напасти!

Абидов нервно рассмеялся:

— В-вам, бригадир, выходит, наплевать на наши опыты?

— Не думайте, домла. Справку мы вам выдадим. Почему наплевать? Напишем: хорошие опыты. Все как нужно.

— Да, я вижу, вы мастер писать справки.

Усач не ответил, махнул рукой и зашагал обратно к полевому стану. Доцент, глядя ему вслед, задумчиво вздохнул.

— Непостижимые вещи творятся на белом свете!

— Например? — поинтересовался Нормурад.

— Пожалуйста, могу и пример. Хотя бы вас взять. Большой ученый, человек бывалый. Правильно я говорю?

Нормурад-ата остановился.

— Ну и что?

— А вот что. Вы приехали, кажется, на встречу с читателями, так ведь? А подумали о том, есть ли у этих людей время для чтения?

С широкого скуластого лица домлы схлынула кровь, на висках набухли вены.

— То есть вы хотите сказать... Моя беседа здесь о пользе книги — напрасный труд?

— Нет, зачем же. Я всегда за книги. Хочу лишь одно сказать: хлопкоробы наши работают от зари до зари. Когда им читать? Вот о чем я тревожусь, уважаемый профессор!

— Послушайте, доцент! — Лицо домлы побагровело, на выпуклом большом лбу росинками заблестели капли пота.— Человек, если он стремится к знаниям, всегда найдет время почитать. А тот, кто равнодушен...

— Вот как? — тонкие губы Абидова язвительно искривились.— В теории вы, может, и правы. Но попробуйте-ка восемь-девять часов помахать кетменем, да еще в этом пекле, хотелось бы взглянуть — останется у вас охота к чтению или нет?

— Я еще раз повторяю! — загромыхал домла.— У меня достаточный жизненный опыт. Я уверен, кто жаждет знаний...— Нормурад-ата сгоряча споткнулся о небольшой камень и умолк.

Нет, этот Абидов вовсе не таков, каким показался

при первой встрече. Скорее всего, он из тех мелочных правдолюбов, которые везде и во всем только и ищут недостатки. Выискивает кривизну в конском волосе. Можно, пожалуй, понять и Атакузы. Нелегко ему приходится, если вокруг подобные типы.

Абидов между тем повернул назад. Домла возмущенно крикнул:

— Погодите, товарищ Абидов! Разговор не окончен!

Доцент нехотя остановился.

— Я не желаю продолжать такой разговор!

— Почему же?

— А потому...

Возмущение домлы сменилось растерянностью. Он с удивлением смотрел на этого странного человека. А у того вдруг задрожали губы, как у обиженного ребенка.

— Я думал, вы — большой ученый, настоящий человек, открыл душу. А вы?.. Исказили мою мысль, не захотели понять. Накричали. Это я-то враг знанию!..

Домла окончательно растерялся:

— Прошу простить меня. Но ведь вы сами наговорили такое...

— Да что такого я сказал? Беседовали о культуре. Я уже целую неделю, как приехал сюда, только об этом и думаю.

— И что же?

— Низкая у нас культура, очень низкая, особенно культура труда. Вот возьмите здешних хлопководов. В нашей стране столько изобретено машин для них! Есть прекрасные тракторы, сеялки, культиваторы, хлопкоуборочные машины. Они должны помогать дехканину! И в этом хозяйстве техники предостаточно.

— Ну-ну...

— А теперь, к примеру, возьмем Али-Муйлова! Ведь он, по старой привычке, чуть свет гонит людей на работу и, пока не стемнеет, не выпустит их с поля. К чему же тогда вся эта техника, если бригадир предпочитает ей кетмень? Вот он идет, Усач наш! — показал Абидов на приближающегося к ним Али-Муйлова.— Спросите-ка у него — когда люди выходят на работу и когда кончают.

— И что, думаете, он скажет?

— Скажет, и скажет с гордостью: приходят на поле до рассвета и уходят с закатом. А почему?

— Да, в самом деле — почему? — Этот злой на язык и желчный человек заинтересовал домлу.

— Да потому, что бригадир,— Абидов с нажимом произнес «бригадир»,— до сих пор живет представлениями тридцатых годов, считает, что труд должен быть именно таким. Поел, поспал — и снова вкалывай! У него даже в мыслях нет, что не хлебом единым жив человек, что отдых дается не только для обеда, что есть на свете так называемый духовный мир! Но такой вот Али удобен раису. Когда бы ни нагрянул кто из начальников — работа кипит! Но тогда для чего колхозу большая техника?

Нормурад-ата не отвечал. Ощутил во всем теле усталость — это в последнее время с ним случалось нередко. Внезапно ослабли ноги, он осторожно присел на берегу арыка. Абидов устроился рядом и заговорщически прошептал:

— Вот он идет, наш уважаемый М-муйлов. Задайте же, непременно задайте ему вопрос!

Усач преобразился: в новой нейлоновой сорочке усы подкручены, концы их стали острее, подбородок гладко выбрит. Подошел с застенчиво-угодливой улыбкой:

— Зачем же так, домладжан! Отдохнуть вам надо на полевом стане, а вы сидите здесь на жаре. Прошу вас, домла, прошу...

— Спасибо, дорогой. Вопрос тут у нас один возник: когда ваши люди идут на обед?

— Люди...— Али-Муйлов устремил глаза-бусинки в небо, посмотрел на тень от дерева.— Рановато еще, домла. Через часок, пожалуй, пойдут.

— А утром? Когда выходят на работу?

Усач, видно, почувствовал: неспроста спрашивает гость, но не мог понять, куда он клонит. Озадаченно потер новой тюбетейкой гладко выбритую голову.

— Люди... золотые у нас люди, домладжан. Чуть свет — все как один на поле.

— А вечером?

— И вечером тоже. Пока не стемнеет, ни один с поля не уйдет.

Сакиджан Абидов неожиданно вскочил, захохотал, ударил по бедрам, будто петух крыльями. Али-Муйлов растерянно хлопал глазами, улыбался. Не обращая внимания на доцента, домла продолжал:

— Так что же получается, работают от зари до зари? Когда же отдыхают?

Али-Муйлов обрадованно закивал: «Я, мол, вас понял».

— Вот сейчас будет обед, и отдохнут. Мы создали все условия, домладжан.

— Например?

— Например, горячая еда...

— А еще?

— А еще... у нас всегда бывает горячая еда,— повторил Усач. Круглое его лицо, блестевшее, как намазанная маслом лепешка, отразило полное довольство.

Горячая еда! Этим, по его мнению, сказано все. Предел желаний человека! Да, выходит, этот доцент прав. Но что творится с Атакузы? Такую красоту развел в кишлаке, целый город построил, прекрасные полевые станы, проложил дороги. Атакузы, который понимает, чувствует, ловит новое... Зачем он держит этого тупого человека?

Али-Муйлов между тем отошел в сторонку, а потом заковылял к полевому стану. Доцент, глядя ему вслед, снова не удержался:

— Просто не понимаю! Иметь такую мощную технику и во главе бригады поставить тупицу, этого разжиревшего Муйлова! Я сам видел: и тракторы, и хлопкоуборочные машины. Да что говорить. Был бы я здесь бригадиром, обязательно дал бы женщинам по два дня отдыха в неделю. И будьте уверены — выполнили бы план! Правда ведь?

Домла не успел ответить. По тропинке с поля к ним шла молодая женщина. Она, видно, очень спешила: то и дело спотыкалась, поправляла сползавший на затылок цветастый платок.

«Кажется, невестка Уразкула...— Нормурад-ата узнал ее.— Так и есть, это она, Надирахон...»

Надира подошла, приложила к груди большие, натруженные, как у мужчин, руки, склонила голову:

— Салям вам, атаджан!

— Многих лет жизни вам, доченька. Как живет-поживает ваш отец,. Уразкул?

— Отец, он поехал к вам...

— Мда-а...— домла озабоченно потер блестевший от пота лоб.— Вот беда, не удалось мне еще переговорить с Атакузы...

Надира настороженно взглянула на Абидова. Тот понял ее взгляд и незаметно отошел. Поглядев на поникшую голову домлы, Надира вздохнула:

— Пока вы собирались поговорить с племянником, он успел сделать еще одно «доброе» дело: муж мой теперь без работы. Сначала выслал в степь, а теперь и вовсе прогнал. И в степи, оказывается, ему не место.

— Но почему же?

— А вы его спросите — почему? Видать, я виновата, не проглотила обиду, пожаловалась в обком...

«Что он творит? Что с ним происходит?»

— Передайте своему племяннику,— с металлом в голосе сказала Надира.— Скажите ему, я и теперь не отступлюсь. Дойду до самого верха. Возьму за руки детей своих, в центр поеду!

Домла долго не поднимал головы. Вот захрустели камешки под ногами, и шаги затихли. Должно быть, Надира ушла. Домла ухватился за низко висящую ветку молодого тутового дерева, с трудом поднялся и медленно побрел к полевому стану.

Да, нынешний день преподал ему хороший урок. Воображал, что знает жизнь! С детства как будто близок к труду хлопкороба и вот, оказалось, смыслит маловато. Видно, слишком завяз в книгах, потонул в своих проблемах...

К полевому стану кто-то подъехал, у хауза остановилась «Волга», раздался знакомый голос Халидыхон:

— Велели вы людям, чтобы приоделись?

— Велел, велел.

— А здесь почему нет порядка? Посмотрите, что за мусор! Как вам не стыдно? Что скажет домла?

«Суетятся, будто я большой начальник!»

Халидахон уже спешила навстречу ему:

— О, домладжан, на вас лица нет! Напрасно вышли на солнце. Скорее в помещение, отдохните...

— Спасибо, доченька. Если можно, отвезите меня домой.

— Как же так? Ведь сейчас начнется встреча...

— Нет, нет! Отложим до другого раза. Я должен сначала поговорить с одним человеком,— и Нормурадата, не ожидая ответа, пошел к машине.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Давно, давно было пора навестить зятя на его новом месте. При этом, как говорится, приятное совмещалось с полезным. Собираясь в путь, Вахид Мирабидов рассчитывал одним выстрелом поразить несколько точек. Первым делом не вредно поближе познакомиться с районом, где зять теперь стал первым секретарем. Там широко осваивают целинные земли, а ведь это как-никак одна из главных задач дня. Вот и съездит, посмотрит кстати системы водоснабжения, орошения. Такие поездки бывают приятны — полезный деятельный отдых! Визит доктора наук Мирабидова к зятю, конечно же, не останется незамеченным, это он точно знает по своему скромному жизненному опыту. Найдутся люди, готовые носить ученого на руках. Одним из таких людей, само собой разумеется, будет старый друг, отец его ученика, знаменитый Атакузы. Правда, неурядицы с работой Хайдара вызвали легкое похолодание. Но, во-первых, Атакузы же сам видел: виноват был не Вахид Мирабидов — навредил им их же дядя. Во-вторых, Вахид Мирабидов затеял переговоры с нужными людьми, и, конечно, переговоры эти принесут плоды. На этом свете все зависит от добрых отношений! Жизненный путь Вахида Мирабидова не раз подтверждал эту истину, а как-никак прожито уже шестьдесят годков!

Таковы были общие, так сказать, планы. Но у Вахида Мирабидова имелась еще одна весьма деликатная, заветная цель. Его книга — она вышла еще весной — вызвала много разговоров. Обратили на нее внимание не только специалисты, не остались в стороне и широкие, как говорится, читательские массы. В газетах, журналах напечатали несколько положительных рецензий. Друзья и знакомые не раз говорили: этот труд достоин Государственной премии. И в самом деле, почему бы нет? Если и не во всесоюзном масштабе, то, по крайней мере, в республиканском. Правда, положительные рецензии и выступления — все это не без личной инициативы самого автора. Но, как нередко бывает, автор в конце концов полностью уверовал в значительность своего произведения. А уверовав, стал помышлять и о материализации, так сказать, идеи — о премии. Но чтобы двинуть дело, надо дать толчок. Кто-то мог бы

проявить инициативу. И лучшая кандидатура — конечно же, Атакузы! А как же иначе: в книге Вахида Мирабидова, помимо переброски сибирских рек, затрагивались и другие проблемы. Например, освоение целинных земель, строительство дренажей, промывка засоленных почв. Вполне естественно: Атакузы организует встречу своих целинников с автором книги, а там кто-нибудь из передовых механизаторов или ирригаторов предложит выдвинуть книгу на премию. Ничего предосудительного — труду ученого воздается должное.

Правда, в последнее время вмешалось одно небольшое, но все же неприятное обстоятельство. На днях директор института проводил совещание и между прочим сказал, будто в верхах с большим вниманием отнеслись к докладной записке Нормурада Шамурадова. Вахид Мирабидов знал, что его давний, мягко говоря, оппонент утверждал противоположные идеи. Но не так уж это и страшно. Как бы там в верхах ни отнеслись к старому спорщику, все равно записку спустят вниз, к ним в институт. И в этом случае предложение целинников будет весьма и весьма кстати. Выйдет, что книгу поддержали практики, те, кто непосредственно заинтересован в осуществлении ее идей. Попробуй не посчитайся с таким аргументом!

Словом, как только Вахид Мирабидов вышел из машины и поздоровался с дочкой, он тут же распорядился пригласить в гости Атакузы.

Зятя не было дома — уехал в обком. Махбубе удалось лишь к вечеру, часам к семи, дозвониться до мужа. Он только что вернулся из области и у себя в кабинете просматривал бумаги, накопившиеся за время отлучки.

— Ой, где вы пропадаете, товарищ Шукуров? С самого утра ищу — не могу сыскать вас!

Радостно возбужденный голос жены удивил Шукурова.

— Что такое у вас?

— Ничего особенного. Просто гости собрались. Отец с матерью приехали из Ташкента. И Атакузы-ака уже здесь. Приезжайте поскорее. Надеюсь, сегодня вечером у вас нет никаких там собраний-совещаний?

— Хорошо, хорошо, сейчас подъеду.

Шукуров стоя досмотрел бумаги. Он и сам сегодня чувствовал радостный подъем. Побывал с утра в обл-

исполкоме, обкоме, был на приеме у Первого. А главное — разговор с Первым получился на редкость искренним, откровенным. Немолодой уже, роста небольшого, полноватый, лысый человек. Напомнил Шукурову его учителя — старого усталого ученого. Как он внимательно, спокойно слушал, задумчиво поглаживая седые брови. Шукуров начал горячась, но постепенно взял себя в руки и толково, а главное, начистоту выложил все, что накопилось за несколько месяцев работы. Все свои планы, трудности, сомнения — все открыл этому похожему на старого учителя человеку. Довольно резко сказал о неувязках в работе плановых и хозяйственных органов области.

Первый задумчиво кивал, делал пометки в настольном календаре, а когда очередь дошла до просьб, вдруг лукаво сверкнул глазами:

— А вы думаете, только у первого секретаря райкома такие трудности? Считаете, первому секретарю обкома легко? Вам надо, скажем, пять тысяч тонн удобрений или там цемента, а мне требуются все пятьдесят, дорогой мой! — он засмеялся. И все же позвонил по ВЧ в Ташкент, сначала в Госплан, а потом еще двум министрам. С министрами разговаривал по-приятельски.

— Мы с тобой старые стали, ленивые, инициативы уже нет. Пора на пенсию,— так начал с одним из них.— А вот пришел ко мне новый секретарь в район — горячий парень! Грандиозные строит планы. И представь себе, не просит, а требует: район, мол, какой — целинный! Не может получить человек положенное по закону. Как так? Вот и проверь своих! Да, да, проверь и подкинь что-нибудь. Что-что? Ну какой ты министр без резерва? Не прибедняйся.— Положил трубку и подмигнул Шукурову: — Это я своему фронтовому дружку по-свойски.

Сказал, надзор за делом поручит Бекмураду Халмурадовичу. Шукуров очень досадовал, что Халмурадов оказался в отъезде. Хотелось поговорить с ним в присутствии Первого, надо бы разобраться в некоторых делах. Уже прощаясь, Первый вдруг спросил:

— А как там Атакузы Умаров?..

И снова внимательно, не торопя, не прерывая, выслушал все «за» и «против».

— А не слишком ли вы либеральничаете с ним?

Шукуров невольно улыбнулся:

— Может быть. Но ведь и сам обком...

— Что обком?

— В промышленном отделе мне, например, сказали, что обком дал указание ускорить газификацию именно его поселка. А помнится, вы просили, чтобы я не обижал Аксакала...

— Хорошо, я разберусь. Бекмурад Халмурадович говорил мне — Атакузы Умаров построил прекрасные ясли, детсад. Неплохо ведь. Очень даже хорошо. И постановление ЦК было по этому поводу. А многие наши председатели, и притом не из бедных, все еще не хотят утруждать себя. Так что передайте вашему Умарову спасибо от моего имени тоже. Пригласите к нему в колхоз других раисов — пусть перенимают опыт. Но тем не менее, каким бы передовым ни был Умаров, это не значит, что ему дозволено больше других. Законы писаны для всех! Кстати, разберитесь на месте и насчет Минг булака. Но учтите — животноводческий комплекс — дело очень нужное, полезное...

Странное ощущение не покидало Шукурова. Всю обратную дорогу он думал о разговоре с Первым. Как понять это: «разберитесь сами»? Видно, шутка насчет пяти и пятидесяти тонн удобрений — наболевшая, горькая шутка. И он сталкивается с теми же трудностями, что и секретарь райкома. А что касается Атакузы, разобраться, конечно, придется. Хоть, надо сказать, теперь, когда сам чуть не задыхается от навалившихся забот, Шукуров стал больше понимать и Атакузы, и других раисов.

Вот он, секретарь райкома, требует от них хлопка, беспрекословного выполнения плановых заданий... А сам в глаза не может им посмотреть. И как посмотришь, когда требовать требуешь, а дать то, что нужно для того же хлопка, не можешь. Не сами ли мы толкаем раисов на обходные пути с «хандаляшками»?

Однако правда и то, что Атакузы переходит уже все границы. Ведет себя, будто владетельный князь.

...Шукуров собрался уже уходить, но секретарша принесла еще одно письмо. Подписано Халмурадовым. Ответ на запрос о районной биологической лаборатории. Обком считает не очень целесообразным создавать районную лабораторию. Однако, если в районе чрезмерно размножилась хлопковая совка, этот вопрос можно поставить перед Министерством сельского хозяйства.

«Ловко! — усмехнулся Шукуров.— Выходит, или заткнись, или признай: да, недосмотрел, и хлопок гибнет от совки».

Вспомнились неистовый доцент и его подопечная — с большими печальными глазами. «Надо помочь,— решил Шукуров.— Пусть Халмурадов думает, что ему угодно, но лабораторию мы откроем!»

Он захлопнул папку и попрощался с секретаршей.

Через несколько минут был уже около своей калитки, толкнул ее — и не узнал двор. Готовилось какое-то пышное торжество. Собрались женщины, должно быть соседки, пекли лепешки в тандыре, чуть поодаль двое мужчин в белых халатах, подвесив тушу барана — и преогромную! — на суку яблони, разделывали ее, сверкая лезвиями ножей. От летней кухни уже остро и пряно тянуло жареным луком и мясом.

Первой увидела Шукурова Назокат-биби. Полненькая, крепенькая, она засеменила к зятю. Поцеловала в лоб, провела несколько раз белыми пышными руками по его плечам и затараторила:

— О, ненаглядный мой зятек! А вы загорели и, знаете, возмужали!

Вслед за Назокат-биби выпорхнула из дома Махбуба. Стряхнула со лба специально уложенные в «поэтическом беспорядке» локоны, подставила для поцелуя ликующе-радостное лицо.

Шукуров поцеловал сияющую счастьем жену и невольно улыбнулся, хоть был и недоволен приготовлениями к непонятному торжеству.

— Приветствую вас, ханум!

— Спасибо. И я вас! — Махбуба, ласкаясь, взяла мужа под руку, повела в дом.— Пойдемте — переоденьтесь.

Шукуров поймал невзначай взгляд тещи. Глаза Назокат-биби, все ее гладкое, без единой морщинки лицо светилось безграничной гордостью. Это была гордость матери, увидевшей счастье любимого дитяти.

— А вам не кажется, что слишком размахнулись?

— Почему же слишком? — опустила чуть подсиненные веки Махбуба и отвела со лба и бровей легкие пряди.

— Я вижу, целый той готовите!

— Ну и что? Из такой дали приехали родители, а вы...

— Я не против, надо, конечно, хорошо встретить. Но к чему, баран, мясники...

— Баран с базара, можете не бояться.

— Я и не боюсь. Просто неловко как-то, нескромно.

— Почему это нескромно? — всерьез обиделась Махбуба.— Понимаю, были бы голодные годы. Сейчас, кажется, всего предостаточно. Ведь говорят же: если хлеб твой честен, ешь его хоть на улице.

«На самом деле, не чересчур ли я?..» — одернул себя Шукуров.

Он переоделся и вышел к гостям.

Вахид Мирабидов и Атакузы удобно расположились на сури под виноградными лозами, полулежали на пышно настеленных атласных стеганых курпачах. Два низких столика-хантахты перед ними ломились от яств — тут были и жареное мясо с влажно-коричневой корочкой, и горы нежно-румяной самсы — мясных пирогов, и круглые маслянистые лепешки, и белые целиком отваренные куры. Бутылки выстроились в ряд, как солдаты в почетном карауле, играли разноцветным стеклом.

В сторонке, на берегу маленького хауза с фонтаном, за другим столом, сидели жена Атакузы Алия и Назокат-биби. Пылавшая румянцем Махбуба давала указания поварихам.

Атакузы, смеясь, поднялся навстречу Шукурову:

— Впервые вижу такого хозяина, Абрар Шукурович! В доме гости, а вы где-то проводите собрания!

Рот Вахида Мирабидова блеснул ярким солнцем.

— Не будем придирчивы, раис. Недаром говаривали в старину: правителей не судят! Приходится прощать недостатки.

— Ха-ха-а! Слова сами слетают у вас с языка, когда хотите выгородить зятя! — Атакузы хмелел то ли от вина, то ли от своих острот. Смех привыкшего к степным просторам раиса гремел на весь двор.— Так из какой бутылки прикажете вам налить, товарищ хозяин? Из белой или красной?

Шукурову показалось, что Атакузы чем-то взвинчен: смех нарочито громок, движения слишком резки, а сам напряжен.

— Позвольте отдышаться,— попросил Шукуров и потянулся было к чайнику, но Атакузы опередил:

— Нет, уж простите! Раз опоздали, подчиняйтесь

тамаде. Слово тамады — священно, так ведь? Вы большой человек в своем районе, и там мы вам подчиняемся, слушаем вас. Но здесь, за дастарханом, вы должны слушать нас, гостей. Правильно говорю, домладжан?

Шукурову пришел на память разговор об Атакузы в обкоме, но тут же он одернул себя: «Чего ты, в самом деле, взъелся? Встретились два товарища. Они же дружат давно. Ну и позволили себе слегка... Это же — твои гости!».

Он опустился на мягкую, шелковисто-прохладную курпачу, затолкал под мышку белоснежную подушку и неожиданно почувствовал необыкновенную сладостную легкость. Все заботы дня, давившие душу, вмиг улетучились, стало легко, будто скинул камень с плеч.

— Да, тамаде не откажешь. За дорогих гостей! — он опорожнил рюмку.

— Вот это по-нашенски! — торжествовал Атакузы.— Ну-ка, домла, теперь ваш черед, не отстаньте от зятька! — Он по-свойски обнял Мирабидова.— Не беспокойтесь, Вахид-ака. Вашу просьбу мы обязательно проверим. Слово целинников, их поддержка тоже чего-то стоит. Собрание созовем, проведем предложение с аплодисментами. Можете считать, премия у вас в кармане!

— Какая премия? — Шукуров с удивлением посмотрел на тестя.

Атакузы открыл было рот: «Да это насчет книги...» Но тесть со словами: «Скажу потом» — одним махом осушил рюмку, обернулся к хаузу:

— Доченька, подай мне дутар. Да забудутся сегодня треволнения этого бренного мира! Как считаете, тамада?

— Хвала вам, домла!— еще больше развеселился Атакузы и снова наполнил рюмки.

Махбуба вынесла из дома дутар. Вахид Мирабидов вытянул вперед одну, потом другую руку — засучил рукава. Настраивая дутар, подмигнул Назокат-биби.

— А ну-ка, ханум! С чего начнем, с «Лязги» или же хочешь «Тановар»?

— Что вы, домладжан! У нас тут молодые найдутся,— она посмотрела на Махбубу, а сказала:— Вот сидит Алияхон.

Вахид Мирабидов прикрыл глаза. Раскачиваясь всем телом в такт музыке, заиграл знаменитую «Рохат». Назокат-биби, хоть и отказывалась, не выдержа-

ла, чуть изогнув тонкие брови, будто не своей силой поднялась с места.

Вся кругленькая, пухленькая, поводя искусно подкрашенными глазами, щелкая короткими, унизанными золотом пальчиками, Назокат-биби поплыла по кругу. Да так легко и изящно, что Атакузы от восторга крикнул во весь голос:

— Яшанг! Да сбудутся все мечты ваши, Назокат-биби!

Махбуба тоже умилилась — подбежала к матери, звонко чмокнула ее в слегка нарумяненные щеки (нет, Назокат-биби не поддавалась летам!). Алия тоже хотела поддержать общее веселье. Она мягко улыбалась, но улыбка ее была почему-то вымученной, печальной.

Шукуров всегда удивлялся жизнерадостности своих тещи и тестя. Как умели они отдаваться веселью! У него так не получалось, и этот недостаток он в себе знал. Оттого, наверно, и ценил такие качества в других. И сейчас, в эту минуту, он никак не мог приладиться к общему веселью. Одергивал себя, убеждал: он хозяин, они гости, им и веселиться — ничего не помогало. Слишком было заметно — с Атакузы что-то произошло. Что именно — Шукуров не мог понять. А тут еще намек на какую-то премию. Успел, хитрец, с тестем договориться. Неладное что-то во всем этом...

Мирабидов самозабвенно играл теперь легкую, быструю, как бег лани, «Лязги». Махбуба, прервав кружение, с громким смехом подбежала к Алии, потащила танцевать. Но тут из кухни позвали: «Махбуба-апа! Шашлык готов!» — и танец сразу расстроился.

Махбуба пригласила всех к столу у хауза. Над водой загорелись лампочки, струи фонтана вспыхнули разноцветной дугой.

Атакузы, возбуждаясь все более и более, разливал «красавицам» шампанское, «джигитам»— коньяк. Вот он высоко поднял свою рюмку:

— Так давайте поднимем наши бокалы за то, чтобы в этом бренном мире человек мог хоть изредка отвести душу, повеселиться вдоволь! Все заботы — к чертям!

Шукуров незаметно бросил взгляд в сторону кухни. Атакузы что-то уж слишком разошелся. Неужели специально чтобы услышали соседи, которые хлопочут на кухне? Есть такие люди, любят довести до всех ушей: «Вот, посмотрите, какой я свой человек в этом доме!»

Но Атакузы... Ему-то зачем? Шукуров с трудом подавил вспыхнувшее недоверие, заставил себя любезно улыбнуться.

Атакузы не заметил тени, мелькнувшей на лице хозяина. Мгновенно осушив рюмку, собрался было наполнить снова, но Алия быстро прикрыла ее ладонью:

— Не надо, пожалуйста, хватит на сегодня!

— Что? — Атакузы напряженно хохотнул.— Сегодня я как раз имею право пить, сколько хочу! Имею право веселиться и гулять, сколько пожелаю!

Шукуров попытался свести разговор к шутке:

— За какие же заслуги, дорогой раис? Может, выполнили план хлопкозаготовок?

— Нет! Сегодня я выполнил другое, еще более важное задание секретарей обкома и райкома!

— А именно?

— Вы что же, забыли? Приказ ваш выполнил! Выбросил на улицу старого ученого со всеми его книгами. А дом передал той самой ябеднице, которая обивала ваш порог...

— Послушайте, Атакузы-ака! — Шукуров привстал. Теперь он уже не думал о сковывавшем его долге гостеприимства.— Бросьте ваше кривлянье. Мой дом — не сцена, а вы — не артист, и мне не по душе подобные представления.

— При чем здесь представление? — Атакузы отодвинул стул и тоже встал.

Алия выбросила вперед дрожащие руки:

— Атакузы-ака! Дорогой мой!

Наступила долгая давящая тишина. Слышалось лишь тяжелое сопение Атакузы да тихое журчание фонтана. Шукуров опустил глаза.

— Вот что, давайте кончим этот разговор. Я вас считал человеком серьезным...

— Ошиблись, значит!— сказал Атакузы.— Какой я серьезный? Я — самый несерьезный, самый... нечестный, самый бессовестный, самый, самый бессердечный человек! — Он потянулся к коньяку.

Шукуров перехватил бутылку:

— Хватит! Да что, в самом деле, случилось?

Атакузы не ответил. Он тяжело, как-то боком плюхнулся на стул. Уперся лбом в его спинку, закрыл глаза. В памяти сразу всплыла картина сегодняшнего утра. Он застонал от резкой боли в голове.

2

Стычка с дядей произошла неожиданно и самым нелепым образом.

Утром, наскоро позавтракав, собрался уже ехать в степь. И тут у садовой калитки показался Нормурадата.

— Атакузы!

Атакузы нехотя повернул назад. Домла в неизменной полосатой пижаме, повисшей на нем как мешок, в старых шлепанцах на босу ногу, кряхтя, шел ему навстречу. Дядя и племянник сошлись у колодца, молча подали друг другу руки.

— Все-таки повезло мне, поймал тебя!

— А что случилось? — Атакузы вспомнилось письмо о Минг булаке, написанное рукою дяди. На душе стало муторно.

— Есть о чем поговорить!

— Хорошо. Но лучше отложим до другого раза. Сейчас тороплюсь в степь...

— Степь твоя никуда не убежит! — неприязненный холодок в голосе старика стегнул будто плетью Атакузы.

— И ваш разговор, думаю, тоже никуда не сбежит.

— Стой! — приказал вдруг домла.— У меня сейчас сидит Уразкул!

«Ах, вот как — Уразкул! Понятно».

— Дядя! Я знаю, зачем он пришел. Но не сейчас, я...

По голому черепу домлы начала медленно разливаться краснота, будто от пролитых красных чернил.

— Ох, дорогой мой, дорогой! Знаешь, значит. Так зачем же понадобилось тебе втягивать меня в это... дело?

— В какое такое дело?

— Еще спрашивает — какое! Может, это я просил, чтобы ты отобрал у людей дом и отдал мне?

Атакузы так и застыл на месте. Вот она, человеческая неблагодарность! Перевез к себе, думал обласкать на старости лет... И что же! Чем платит за добро родной дядя? Мало Атакузы неприятностей от начальства. Да разве он не знает своего дядю?! Всегда был такой. Одной ногой в могиле, а все бьет себя в грудь: «Вот я какой честный, бескорыстный, благородный!» И пись-

мо про Минг булак то же самое — надо продемонстрировать принципиальность — смотрите, не щажу даже своего племянника! Да знал ли этот человек хоть когда-нибудь, что такое пощада, милосердие?

— Так!.. Вы меня не просили, чтобы я освободил этот дом для вас? Не просили? А почему живете в этом доме? Почему не освободили его?

Большой, похожий на бугристый огурец нос домлы угрожающе уставился на раиса.

— Я и не собираюсь жить в этом доме!

— Не собираетесь? Так поскорее освободите его!

— Освобожу, но я хотел поговорить...

— Сегодня же и выезжайте!— отчеканил Атакузы, не слушая...

Из кухни выбежала Алия. Босиком, на ходу ловя сползший с головы платок, бросилась к мужу:

— Опомнитесь, Атакузы-ака! Опомнитесь!

Багрово-красная голова домлы тряслась. Он с болью сказал:

— Ах, глупец, глупец! Совсем потерял голову, раис.

— Благодарю покорно! Будь проклят тот, кто делает добро! Сегодня же оставьте этот дом, этот кишлак!

В саду градом посыпались яблоки, из-за деревьев выскочил Хайдар — в майке и трусах.

— Отец! — схватил Атакузы за руку.— Одумайтесь, отец!

— Хорошо, я покину...— увидев Хайдара, старик сразу как-то сник.— Дом я покину, но кишлак... Возомнил себя хозяином кишлака, глупец!

— Вот, вот, все глупцы, все невежды, один лишь на свете мудрец — вы!

Хайдар подошел сзади, крепко обнял отца, оттащил от домлы.

— Да опомнитесь же наконец!

Атакузы вырвался из сильных рук сына. Не помня себя, закричал:

— Только вы, вы мудрец!.. — и вдруг замолк, замер с полуоткрытым ртом.

Старик, странно шаркая ногой, спотыкаясь, поплелся к себе — сгорбленный, жалкий. Атакузы опустил голову, сделал было шаг вслед дяде, остановился, махнул рукой и быстро пошел к воротам.

Шофера Атакузы отпустил, сам сел за руль и помчался в степь. У последних домов кишлака повернул

обратно. Вспомнил: надо съездить в трест к газовикам — что-то застопорилось с газопроводом. С полдороги опять повернул назад, сообразил: пожалуй, сгоряча набьет там кувшинов.

В полдень лежал в штабе один, уставившись в потолок. Зазвонил телефон, потянулся, не вставая снял трубку.

— Дядя... дядя переезжает...— услышал взволнованный голос Алии.

— Куда? — спросил устало, безразлично.

— В школу. Комнату ему там будто бы дали.— Алия всхлипнула.

— Ну и прекрасно! — Атакузы бросил трубку на рычаг.

Минуты через три телефон опять задребезжал. Снова Алия!

— Что тебе еще?

— Звонили от Шукурова. У них гости из Ташкента. Домла Мирабидов с супругой. Просят вас приехать!

— Да? — Атакузы вскочил на ноги, захлебываясь, будто получил счастливую весть, сказал: — Тогда и ты готовься! Переоденься! Я сейчас буду. Поедем вместе!..

...Атакузы сидел, грудью навалившись на спинку стула. Но вот он встрепенулся, встал, грузными, твердыми шагами пошел к хаузу, подставил голову под струю фонтана. Обмыл лицо, похлопал мокрыми ладонями по шее. Вытерся — Махбуба подала полотенце. Теперь он был совсем трезв, будто и не пил вовсе.

— Простите, Абрар Шукурович. Обрадовался неожиданной встрече с Вахидом Мирабидовичем и позволил себе лишнее...

— Нет-нет,— заерзал, заюлил Вахид Мирабидов,— все хорошо...

Атакузы оставил без внимания эту суету, смотрел только на мрачного Шукурова.

— Если разрешите, мы поедем, Абрар Шукурович.

Подбежала, покачивая плечами, Махбуба:

— Что вы, Атакузы-ака! Сейчас подам плов!

— Спасибо за все. А ну, ханум!..

— Я готова...— Алия, словно прося извинения, застенчиво улыбнулась.

Абрар Шукурович остановил поднявшегося тестя:

— Не беспокойтесь. Я сам провожу гостей.

У ворот он отвел Атакузы в сторону.

— Куда переехал домла?..

— В школу. Дом, как вы и приказали, вернули этой самой Надирехон. Мужа восстановили на прежней работе. Я извинился перед ним. Надеюсь, сделал все?

— И страдаете от гордости? Самолюбие пострадало?

— Дело не в самолюбии. Я, кажется, устал.— Атакузы стоял, печально опустив голову, непривычно тихий.— Устал, Абрар Шукурович. Хочешь сделать что-то хорошее — мешают, не дают развернуться.

— Это вам-то не дают развернуться?

— Я сделал все, что вы приказали,— уклонился от ответа Атакузы.— Можете проверить...

— Я приеду к вам. Поговорим.

— Понятно,— усмехнулся Атакузы.

Алия хотела бы упросить мужа, чтобы не садился за руль, но знала — бесполезно. В такие минуты Атакузы никогда не отступает от своего. Собственно говоря, Алия вовсе и не боялась, что может произойти несчастье, даже не думала об этом. Всем сердцем чувствовала, как страдает муж.

Алия знала его натуру: сначала обидит человека, а потом сам терзается. Но то, что случилось сегодня!.. Такого не должно было быть. Даже Хайдар, он ведь дуется на деда, и то возмутился. И потом пошел помогать старику, когда услышал, что тот переезжает.

Алия тоже побежала к дяде, плакала, упрашивала: «Подождите, одумайтесь. В гневе, сами знаете, что только не слетит с языка. Потерпите до возвращения Атакузы-ака!» Но Нормурад-ата не захотел ждать, твердо стоял на своем. Все в той же полосатой пижамемешке, в старых шлепанцах таскал вещи, устраивался в машине. Алия боялась, как бы старик в сердцах не прогнал Хайдара. Но нет, обошлось, даже рад был его помощи.

В полдень, когда позвонила мужу, Алия по голосу поняла, как ему тяжело. Но по-настоящему почувствовала всю силу его страданий, когда он вернулся из степи.

Во двор Атакузы вошел пошатываясь — и сразу к колодцу. Припал к ведру. И, будто убегая от неприятных новостей, заспешил обратно на улицу. Только бросил на ходу: «Не возись, побыстрее!» За один день весь

почернел. Стал похож на обуглившееся дерево. До самого районного центра не проронил ни звука. Гнал и гнал машину — страшно было взглянуть на спидометр.

И вот он опять гонит «Волгу», словно нарочно кидает ее в ямы, в колдобины, скачет по ухабам. Сюда мчались хоть днем, посветлее. А теперь, в сумерках, и не разглядишь, как мелькают дорожные знаки. Только подкидывает на рытвинах и буграх. Атакузы не замечал ничего. Встречные машины включали, выключали свет, а он, будто их вовсе не было, гнал, не уступая дороги, вел прямо в лоб и так стремительно, будто только и желал одного — на безумной скорости разбиться!

Алия украдкой глядела на суровое чугунно-черное лицо мужа, на ходившие ходуном желваки, а слезы так и жгли, туманили глаза...

Что за времена пошли!.. Родные дядя и племянник не могут понять друг друга. А другие?.. Неужели никто так и не поймет? Так и не узнают, что творится в душе Атакузы. Но как же он казнит сейчас себя, как казнит!

Алия вовсе не выгораживает мужа. Он слишком занесся, это да. Особенно в последние два года. Она сама замечала. Все чаще бывает крут и несправедлив,— это верно. Но верно и то, что не такой уж он злодей, как думают некоторые. И сейчас за что ни возьмется — все только для людей. Доброе не так бросается в глаза, как дурное. Захвалили его сверх меры — вот что. У тех, кто хвалит, свой расчет, раис ведь тоже может кое-кому оказаться полезным. Но она... Она — жена, и именно она прежде всего виновата. Недоглядела, не спохватилась вовремя, тревогу не забила. Ведь как-никак тоже — учительница, с высшим образованием, и начинала с ним вместе. Поддалась, подстроилась под него...

В уши Алии ударил дикий рев, похожий на зов взбесившегося в пустыне верблюда. Ревело что-то огромное. Ослепляя двумя ярчайшими глазами, надрывно гудя, оно шло прямо на них. Атакузы летел вперед — сейчас будет удар....

Алия отчаянно кинулась на руль. Атакузы очнулся, резко крутанул баранку. «Волга», как неслась на всех своих ста с лишним километрах в час, так и прыгнула на той скорости в темноту. Несколько раз подскочив, словно стреноженный конь, перелетев через ямы и арыки, замерла, скособочившись, на склоне невысокого при-

горка. Атакузы рывком открыл дверцу, вышел из машины.

Алия долго еще сидела. Никак не могла прийти в себя. Незаметно поплевала по сторонам, как самая простая кишлачная женщина, и тоже вышла.

Ревущий «МАЗ» давно проехал. Все кругом потонуло во тьме. Только далеко, там, откуда они ехали, светились огни — словно бусинки, нанизанные на ниточку. Там остался город.

Атакузы курил, навалившись на капот машины. В частых вспышках папиросы возникал короткий треугольник усов и кончик чуть по-орлиному загнутого носа с нервно вздрагивающими ноздрями.

Алия бесшумно подошла к мужу. Атакузы ласково положил руку на ее плечо. Сказал:

— И тебя я замучил, бедняжка.

— Больше всего себя...

Атакузы погладил плечи жены: осторожно, нежно, будто просил прощения.

— Я хотел бы... я готов на колени встать перед стариком. Только знаю — не простит он теперь...

Алия схватила тяжелую мозолистую лапищу мужа. Глотая сбегавшие на губы соленые капли, сказала:

— Простит! Вы не знаете его, простит.

— Сужу по себе, я бы на его месте — ни за что...

— Не знаете его,— повторила Алия.— Он не такой, он не держит обиды!

Атакузы помолчал, потом заговорил задумчиво, будто сам с собой:

— Что-то я и в самом деле загордился. Слава и почет, видно, и впрямь сбили с пути, закружили голову...— Словно обессиленный горем или болезнью, тяжело опустился около машины, растянулся на иссохших кустах полыни. Алия села рядом, положила голову мужа на колени, прижала к груди.

— Милый мой! Бросайте вы эту каторгу! Ведь говорили же сами недавно: и без этого председательства проживем!..

— Бросать? Оставить, не достроив то, что начато? Пустить по ветру четверть века жизни? Нет, не могу, родная, невозможно. Мне одно надо: работать не мешали бы. Не понимают, не хотят понять.

«Опять заладил свое!»

— Я не знаю, как насчет работы... Но с людьми —

нельзя так. С Наимджаном, с его женой как поступили... Родной, так же нельзя! И секретарь — я говорю про Шукурова,— не желает он вам плохого. По глазам вижу — хочет добра вам.

— Ты так думаешь?..— Атакузы замолчал.— Может быть...— Проговорил задумчиво: — Запутался я...

Опять набежали слезы. Алия нагнулась к мужу, стала целовать его в щеки, в висок, в лоб.

Атакузы закрыл глаза. Лежал тихо, чуть слышно дыша, будто даже своим дыханием боялся спугнуть эту минуту. Поддался ласке — большой ребенок — истосковался по любви!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

— Вставай, сынок, тебя отец спрашивает...

Хайдар раскинулся на широком сури в излюбленном своем уголке сада под старой тутой. Он спал мертвым сном.

Солнце уже взошло, но сад все еще оставался в густой тени, лишь верхушки пирамидальных тополей вдоль ограды — садовых стражей — купались в первых розовых лучах.

— Вставай, говорю, отец зовет,— достиг наконец сознания голос матери.

Хайдар нехотя поднялся. Вчера весь день помогал дяде, домой пришел в полночь. Потом долго лежал, смотрел на звезды — все не мог заснуть, тревожили разные думы.

Вообще был странный день. Нелепая ссора отца с дедом. Директор школы без разговора выделил старику комнату из «хозяйственных помещений». Потом, как узнал, что домла собирается подарить школе свою библиотеку, добавил еще одну. А дальше начались совсем уж странные вещи; сбежались и знакомые и незнакомые. Перетаскивали коробки с книгами, вещи, помогали грузить, путались под ногами. Соседи несли чай, разную еду. Словом, получился самый настоящий хашар — каждый хотел помочь, внести свою дань. И Латофат с подругами помогала, укладывала книги. А вечером принесли целое блюдо плова.

Конечно, разве плохо, что люди так заботятся о домле. Оказалось, многие относятся к нему с уважением и любовью. Хайдара беспокоило другое. Он заметил среди тех, кто пришел на незваный хашар, Кудратходжу и еще нескольких человек, из тех, кто любит мутить воду. Шакалы! Им только бросить кость, поднимут вой на весь свет. У Хайдара как бы открылись глаза: неожиданное и всеобщее сочувствие к домле, старания людей поднять его дух — в этом чувствовалось откровенное всеобщее недовольство. Кем?.. Хайдар не сразу решил ответить себе. Тяжело было признать: люди недовольны его отцом, раисом Атакузы! Лежал долго с открытыми глазами, смотрел на звезды и думал, пока не одолел сон. А теперь отец зовет — о чем будет говорить?

Атакузы, заложив руки за спину, медленно вышагивал по коридорчику из виноградных лоз от айвана к летней кухне. У колодца на большом круглом столе стояло глиняное блюдо, на нем гора лепешек. Две касы сметаны были непочаты, нетронут и виноград на подносе. Видно, хозяину было не до еды.

— Садись! — продолжая расхаживать вперед и назад, Атакузы исподтишка взглянул на сына. Глаза раиса ввалились,. черные щеки запали, движения были замедленные, вялые. — Ну что, рад старик переезду?

— Удивительные вещи спрашиваете, отец,— сказал Хайдар.— С чего ему радоваться?

Уголок рта Атакузы насмешливо скривился.

— Вижу, и ты перешел в стан деда?

Хайдар готов был съязвить в ответ, но его остановило незнакомое жалкое выражение ввалившихся глаз отца. Ответил сдержанно:

— Ни в чей стан я не перешел, и дело не в этом...

— А в чем же?

— Если говорить честно, вы были неправы...

Атакузы с удивлением взглянул на сына:

— А дядя? Он, значит, по-твоему, прав? Я делаю для него все, забочусь как о родном отце, принимаю на свою голову все камни, а он... Не будем говорить о благодарности, но подставлять ногу!..— Атакузы закрыл глаза, помолчал. Потом сказал изменившимся голосом: — Ладно, не будем больше об этом. Я позвал тебя

по другому делу. Что я хотел сказать?.. Да! Приехал твой учитель.

— Кто?

— Руководитель твой. Вахид Мирабидов! Гостит сейчас у зятя. Вчера мы виделись. О тебе говорил, о твоей работе. Обнадеживает. Уверяет, что все будет в порядке.

— Да ладно уж!..

— Что-о? — Атакузы остановился перед сыном, испытующе посмотрел в глаза.

— Ничего особенного, я что-то остыл к той работе...

— Остыл или нет, но диплом получить надо,— тон отца не допускал возражений.— В жизни еще пригодится! Словом, мы должны принять его у себя в доме, на высоте.— Атакузы почему-то замялся, почесал за ухом.— Да, вот еще что. Вчера твой учитель просил об одном деле. У него есть, говорит, какая-то книга о сибирских реках.

— Ну?..

— Так вот, значит, такое дело... Он сказал, желательно бы по этой самой книге... провести... совещание, что ли. Среди целинников. Хорошо бы, говорит, чтобы выдвинули ее на соискание премии...

— Какой премии?

— Не знаю. Говорит, есть какая-то премия для ученых. Имени Беруни, так, что ли?

Хайдар не поверил своим ушам, переспросил:

— И он сам сказал вам об этом?

— Да, конечно, сам. Как бы нам это дело провернуть?

Хайдар, наверно впервые в жизни, с удивлением посмотрел на отца: неужели он всерьез? Его отец — умный, все понимающий и говорит такие вещи, берется за дело, которое ему совсем не к лицу, да и не под силу!

— Не представляю, дада. Никогда не сталкивался с подобными вещами.

— Гмм... А дядя, наверно, знает, как все это делается?

Хайдар громко расхохотался:

— Не хватало только вашего дядю просить, чтобы выступил с докладом об этой книге перед целинниками!

Что было на уме у отца — непонятно. Видно, нако-

нец понял, какую чушь городит. Умолк, лишь рукой махнул.

Хайдар в раздумье побрел в конец сада к арыку, зачерпнул в пригоршню ледяной воды, плеснул в лицо — раз, другой. Еще тяжелее, чем ночью, давили думы. Прилег на сури.

Большой сад, засеянный между яблонями клевером, уже прогрелся в лучах солнца. Лишь раскидистое старое дерево туты — громадный шатер — уберегало уголок сада от зноя.

Хайдар лежал в тени этого зеленого шатра и вспоминал. Когда же эти гнетущие думы привязались к нему? В день, когда случился скандал с доцентом? Нет, пожалуй, позже. Они пришли после нежданной-негаданной беседы с дядей.

Встреча и в самом деле получилась неожиданной. Почтальон оставил телеграмму у них, и Хайдар хотел незаметно опустить ее в ящик старика. Да вот наткнулся на него самого. А дальше и не заметил, как подчинился — то ли ясному уму, то ли душе этого человека, его воле — так и не понял. Конечно, телеграмма сделала свое дело — дед попросил прочитать ее вслух. Да и голос старика был неожиданно ласковый, искренний. И конечно же его слова...

Тогда, после беседы со стариком, Хайдар тоже ворочался всю ночь. Слова деда то казались справедливыми, а то вдруг жестокими. Так до рассвета Хайдар и проспорил мысленно с ним. А потом — нелепая стычка отца с дедом... Сам видел вчера, как старик сгорбился от дикого отцова окрика, как пошел, шаркая шлепанцами. Душа так и перевернулась. Но осунулся за ночь и отец, стал непохож на себя.

Особенно тяжко было смотреть, как пытается он глядеть прежним Атакузы, гордым и несгибаемым. Видно, что-то надломилось в нем.

А насчет своей работы Хайдар сказал отцу неспроста. Он действительно к ней остыл. И дело даже не в том скандале, что разгорелся на защите. Нет, не с потолка взята эта идея о повторном использовании сточных вод. Долгие три года провел Хайдар в Каршинских степях, в новых совхозах Мирзачуля, в знойных просторах Язяванских степей. Испытал влияние сточных вод на почву. В его научной работе даны карты тех мест, схемы, приведены результаты опытов и есть

заключения специалистов — все это имеется. Ошибся он лишь в одном — в процентном соотношении минеральных солей. Вот тут-то и сказалась «помощь» Вахида Мирабидова. Он ведь и предложил это самое соотношение.

Впрочем, не к чему Хайдару валить всю вину на руководителя. Он и сам во многом виноват. Старик прав: поторопился Хайдар. А в другом он прав еще более. Уверовал Хайдар в могущество отца, в непогрешимость и силу руководителя. Сел на чужие плечи! А жизнь повернула иначе. Все оказалось куда сложнее, запутаннее.

Хайдар встал, прошелся по саду.

Дома ни души. Младшие братья в горах — в лагере. И Тахира с матерью куда-то ушли, скорее всего по свадебным делам.

Свадебные дела!.. Латофат!..

Так нужно поговорить с ней Хайдару. Решил сходить к деду. Вчера вечером Латофат с подругами до полуночи работала в библиотеке старика. Но поговорить не удалось,— после той стычки она избегает его. Может, и сегодня будет там и все-таки согласится выслушать его?

Не успел выйти за калитку, сзади окликнул взволнованый голос Латофат:

— Хайдар-ака!

Стремительно подъехала на велосипеде, затормозила прямо перед Хайдаром. Видно, очень торопилась. Высокая прическа рассыпалась, волосы разметались по плечам. В лице ни кровинки. В затененных густыми ресницами глазах — отчаяние.

— Отец ваш... Атакузы-ака дома?

— Нет, куда-то уехал. Что случилось?

— А куда? Не знаете?

— Нет. Да что же случилось?

— И в конторе его нет,— Латофат, занятая своим, не отвечала на вопросы Хайдара.— И парторга нет. Что же делать?..

— Да что случилось, наконец?!

— Наш бригадир Али-Муйлов посадил домлу Абидова!

— Посадил? Сакиджана Абидова? Это куда же?

— Домла не давал ему сыпать ядохимикаты! — сплетая и ломая тонкие пальцы с нежно-красными от-

хны ногтями, Латофат оглядывалась по сторонам.— Что же теперь делать? Как нам быть?

Хайдару понадобилась лишь секунда. Решительно скомандовал:

— Ставь свой велосипед во двор! Сейчас выведу машину.

Он побежал в гараж, через минуту выехал на «Москвиче».

— Садись! Говоришь, в конторе отца нет? Сейчас найдем.

Хайдар резко нажал педаль. Машина рванулась вперед.

А случилось вот что.

Вчера утром доцент Абидов со своими помощниками собрался, как всегда, в поле. И вдруг тяжело притопал весь красный, запыхавшийся Али-Муйлов. Обычно висящие подковой усы топырились в стороны. Дико вращая глазами, залопотал, заикаясь пуще Сакиджана Абидова:

— С-совка, домла! Хлопковая с-совка!

К удивлению его, это весть не привела в ужас Абидова. Даже будто обрадовала.

— Превосходно! Превосходно! Где же она, совка? Скорее ведите меня.

Али-Муйлов всполошился не зря. На краю поля, как раз на опытном участке, отведенном группе Абидова, появились верные признаки хлопковой совки. Несколько веток хлопчатника пожелтели. На изрешеченных листьях по краю выеденных дыр приклеились мелкие розово-желтые гусеницы. Эти личинки нисколько не обеспокоили Сакиджана Абидова!

— Не тревожьтесь, Муйлов! — потирал он руки.— Не делайте из мухи слона. Мы тут понаблюдаем, изучим...

— Ч-что-что? — заикаясь, взвыл Усач.— Что вы сказали, д-дорогой мудрец?

— Н-не бойтесь, я вам говорю. Мы посчитаем, сколько совок приходится на квадратный метр, примем меры...

— Сахар вашим устам! Он еще собирается считать хлопковую совку!.. Хотите, чтобы вместо хлопка я сдал государству эти самые личинки?

— Так участок же по договору отведен нам!

— А я по плану должен хлопок сдавать и с твоего участка! — разъяренный Али-Муйлов пригвоздил взглядом Абидова.

Через несколько минут он промчался мимо на отчаянно тарахтевшем мотоцикле.

А Сакиджан Абидов приступил к работе. Открыл колбы, отсыпал в бумажные пакетики по щепотке желтой пыльцы — личинки трихограммы, раздал помощникам. Надо было разложить под кустами пакетики с этой пыльцой — в этом и состояла особенность метода, разработанного Абидовым. Не заметили, как прикатил и Али-Муйлов с колхозным агрономом. Тот посмотрел на пожухлые кусты, и глаза его полезли из орбит. Абидов и его успокаивал, показал договор на проведение опытов, заверил: все меры будут приняты...

Вчера было спокойно. Поэтому вечером Латофат и ушла помогать Нормураду-ата.

А наутро, когда девушки, ни о чем не подозревая, пришли на работу, они даже к полю не смогли подойти: над всей бригадой, и, конечно, над их участком, висел остро пахнущий туман. Трактористы в противогазах ездили по полю, распыляли яд.

Непонятно, то ли Али-Муйлов приказал обработать препаратом без разбора все поля, то ли трактористы по ошибке прихватили и опытный участок,— так или иначе, но над всем бригадным полем растянулось едкое желтовато-серое облако.

— Домла наш где? Где домла?..— Девушки кинулись к полевому стану. Там — никого. Один лишь Усач, заложив руки за спину, удовлетворенно вышагивал вокруг хауза, усы правильной подковкой свисали вниз.

— Скажите, Алиджан-ака, где наш домла?

— Ваш домла... — Муйлов усмехнулся, кивнул на двухэтажный каменный дом: — Он там, в подвале, рассказывает крысам, как совок считать.

Латофат подбежала, наклонилась к маленькому, забранному решеткой окошку подвала.

— Домладжан! — Латофат принялась трясти железные прутья.

Сакиджан Абидов стоял у окна, сложив руки на груди. Увидев Латофат, молча отошел в темный угол подвала.

Девушка просила, требовала, плакала:

— Выпустите домлу! Сейчас же откройте! Я к раису пойду!

— Хоть к самому министру беги! — усмехнулся Муйлов.— Пусть выгонит меня, если им урожай не нужен!

...Машина вылетела из кишлака. Латофат думала, что они едут искать раиса. Но нет, Хайдар свернул на Минг булак. Значит, гонит прямо в бригаду.

«Что он задумал? Разве Али-Муйлов послушает его?»

«Москвич» с грохотом скакал через ухабы, выбоины. В сощуренных глазах Хайдара, в смуглом, осунувшемся лице Латофат почудилось что-то от его отца — твердое, суровое, незнакомое раньше выражение. Вот так — суровый, не сбавляя скорости — он и подлетел к стану, затормозил.

Али-Муйлов все еще прохаживался вокруг хауза — руки за спиной, под усами улыбка. Вдруг увидел: сын Атакузы выходит из машины. Засеменил к нему:

— А, Хайдарджан! А я смотрю, кто это едет...

— Где доцент Абидов? — строго перебил Хайдар и, не дожидаясь ответа, прошел вслед за Латофат к подвалу. Увидел на двери большой замок.— Кто это вам дал право запирать домлу?

— Да нет, Хайдарджан, у нас и мысли такой нет, чтобы запирать. Только, сами подумайте, что было делать? Работать же не давал! Прямо под трактор бросался.

— Не давал вам работать!

Хайдар отступил и изо всей силы ударил ногой в дверь. Разбежался и еще раз ударил. Дверь с грохотом сорвалась с петель, повисла на замке. Нагнувшись, Хайдар спустился в подвал. Сакиджан Абидов сидел в темном углу на пустом ящике.

— Извините, Сакиджан Абидович...

Абидов не проронил ни звука. Молча прошел мимо Хайдара и Латофат, поднялся по ступенькам, направился к хаузу. Али-Муйлов стоял под чинарой, прижав руки к животу. Хайдар не думал, что удастся так просто решить дело. Муйлов славился суровым нравом. Но, видать, суров он был только у себя в бригаде. А здесь — сын самого Атакузы! Выходит, он опасается не только раиса, но даже его детей. Уронил голову, смиренно сложил руки на отвислом животе.

— За такие дела можете и под суд пойти! — сурово бросил ему Хайдар.

— А? Под суд, говорите? — Али-Муйлов растерянно оглянулся на женщин — они собрались у хауза.— За-

чем же под суд? Я ведь не ради себя, ради бригады, ради плана, дорогой Хайдарджан!

«Ради плана»! Что толку спорить с этим недалеким человеком. Хайдар подошел к Абидову. Тот сидел у хауза на корточках, умывался.

— Простите, Сакиджан Абидович. Я сегодня же поговорю с отцом, расскажу обо всем.

Абидов устало вздохнул:

— К чему? Теперь уже бесполезно, дорогой.

Подошла Латофат. В глазах ее все еще стояли слезы. Что они значат? Жалеет домлу Абидова? Или, может, раскаивается в чем-то, кого-то благодарит?..

2

Не напрасно слова «жахл» — гнев и «жохил» — невежество стоят в словаре рядом. Не зря, видно, сказано мудрецами: «Гнев — оружие невежд».

Когда Нормурад-ата переселился в новую комнатку, в эту самую, где сейчас сидит за столом, он ничуть не сомневался в своей правоте. Кипел, шептал все время что-то, костил племянника и так и этак, винил во всем. Сомнения, беспокойство пришли ночью. Гости разошлись, он остался один в своей комнатушке. Тут-то и накинулись на него думы. В ушах, правда, все еще гремел грубый окрик Атакузы. И каждый раз будто что-то обрывалось внутри, как только вспоминал слова, брошенные племянником. И все же волна первых сомнений уже прихлынула, накатилась.

Атакузы загордился выше всякой меры — это правда. Не заметил, как разбух от похвал. Слава — большая, малая ли — кружит слабые головы. Все это так. Но Атакузы единственный родич, тот, кто предаст тело домлы земле, кто посадит деревце на могиле. Можно же было спуститься чуть пониже, поговорить с ним спокойно, по-человечески!

«Ты, Нормурад Шамурадов, должен был выслушать его, а потом спокойно, разумно, как разговаривал с Хайдаром, высказать все, что думаешь. Кто же еще, как не ты, обязан открыть ему глаза, образумить...»

И еще было одно. Это кололо особенно больно. Он знал своего племянника, знал, что тот ходит где-то сейчас и страдает не меньше его самого. Так было и на защите Хайдара. Атакузы тогда разобиделся ужасно,

смотреть не хотел на дядю. И все же, узнав о кончине Гульсары, прилетел — на трех машинах примчался. А как рыдал, как истязал себя! Люди думали — провожает не янгу, жену дяди, а родную мать. И самого дядю к груди прижал, забыл все, хлопоты взвалил на свои плечи — от похорон до последнего траурного дня. Разве не так?

Домла всю ночь — первую ночь на новом месте — просидел у окна. Пропели первые петухи, потом вторые... Показалось, кто-то топчется за дверью. Может, Атакузы? Раскаялся, пришел к дяде, а войти не осмеливается, бродит в тоске по саду?.. Нормурад-ата потихоньку, чтобы не спугнуть, ощупью пробрался наружу, вышел в молодой, посаженный школьниками фруктовый сад.

Безлунная, но полная звезд, светлая ночь... Кишлак спал. Издалека, от Минг булака, доносились ночные звуки: квакали лягушки, стрекотали сверчки. Временами в кишлаке взлаивал обеспокоенный чем-то пес.

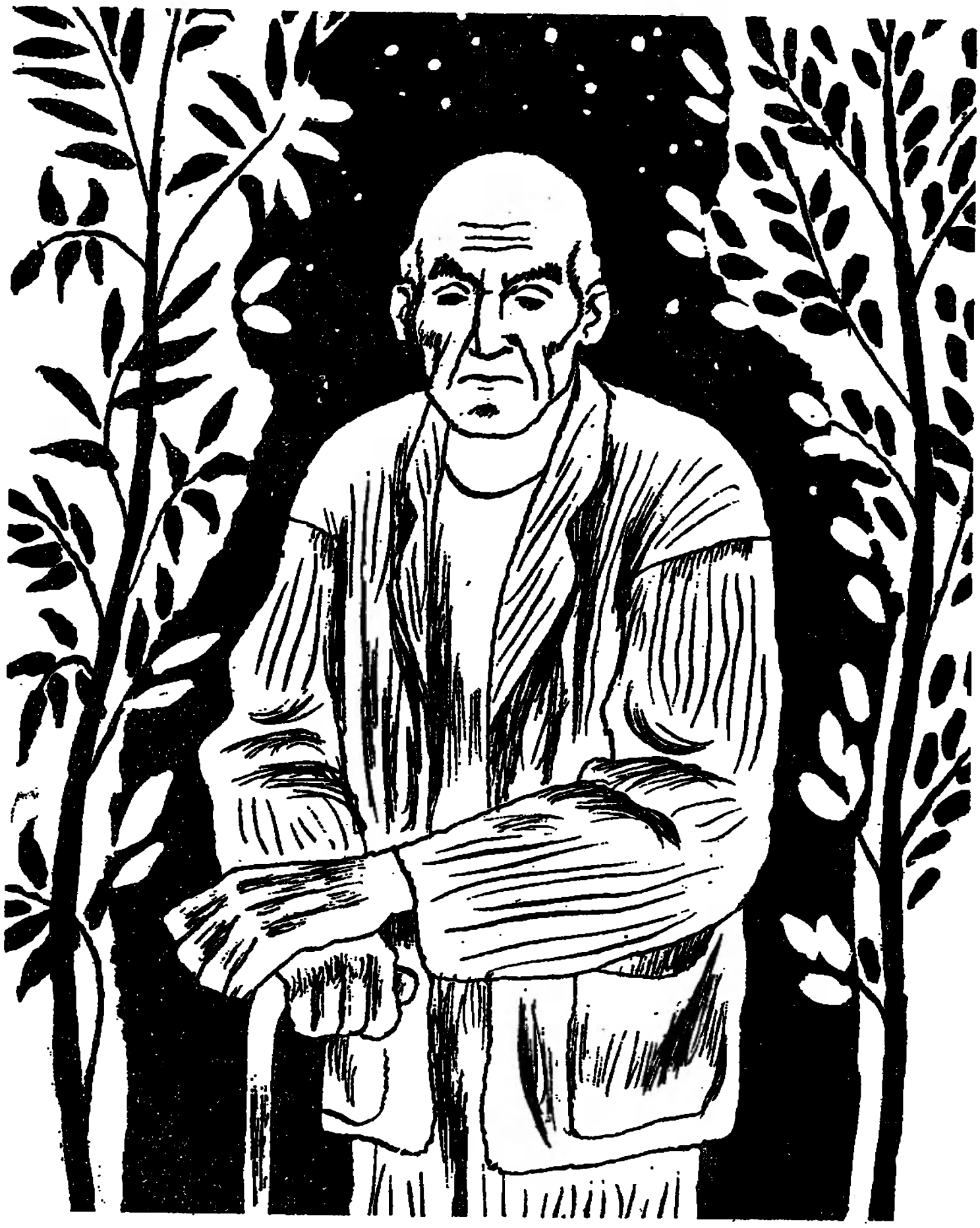
Нормурад-ата долго стоял, жадно тянул в себя прохладный воздух, вдыхал аромат сухого сена и клевера. Всматривался пристально в темный сад. Никого не было видно. Можно было уйти. Но в чуткой тишине то треснет сучок, то упадет яблоко, и домле все еще казалось: за темными стволами чернеет чья-то тень. Не Атакузы ли?..

Несколько ночей провел так — почти без сна. Сегодня еще не взошло солнце, пришла Алия. Принесла молока, кувшин сметаны, миску теплых — только что из тандыра — лепешек.

Робко, не сразу открыла дверь. Боялась — вдруг не понравится дяде, что пришла, встретит окриком или выгонит вон... На бледном взволнованном лице застыла смущенная улыбка, в глазах — виноватость.

— Здравствуйте, дядюшка...

Домла посмотрел в ее грустные глаза — она словно просила прощения. Сердце так и упало, захотелось сказать хоть несколько слов. «Почему же ты не сказал их? Что тебе помешало сделать хоть это?» Нахмурив брови, лишь кивнул слегка — и все! И с Хайдаром вчера обошелся точно так же. А ведь чувствовал, хочется Хайдару поговорить, может, и пришел-то джиен, чтобы



раскрыть душу. А он?.. Сделал вид, будто ничего не заметил. Вот как...

Ушла Алия. Домла разложил на столе свои папки, подобрал нужные книги, бумаги, документы. Решил набросать для начала короткие тезисы доклада — уже немного дней осталось до конференции. Будут обсуждать его записку в министерство. Работа — верное средство — отвлекает от навязчивых дум. Счастье, когда у человека есть такая отдушина. Вот так и сидел, писал. Вдруг в комнату влетел директор школы. Маленький

человек, любитель поговорить. И всегда-то ласково-суетливый, директор сейчас суетился больше обычного.

— Как вы себя чувствуете, домла? Все ли хорошо? Ну и слава аллаху! А к нам в школу приехал секретарь райкома. И вас тоже пожелал навестить. Ну-ка, давайте немного приберемся в комнате.

Азиз-заде не только убрать — договорить не успел. За окном во дворе зашаркали шаги.

Домла посмотрел в окно и сжался: Шукуров шел не один. По одну сторону от него шагал Хайдар, по другую — Вахид Мирабидов.

Кого-кого, а уж Вахида Мирабидова он никак не расположен был принимать у себя. «Не по институтским ли делам приехал?» — мелькнула мысль и тут же пропала. Нет, Поликарпов не прислал бы Вахида Мирабидова.

А тот, наверно, и не рассчитывал на радушный прием, сделал вид, что не приметил холодок во взгляде домлы. Стараясь особо не блистать золотым ртом, напустил на распаренное от жары лицо облачко печали. Сочувственно наклонил голову:

— Да, хорошая была женщина Гульсара-ая. Пусть земля ей будет пухом! Все мы смертны.

Но не растопили лед слова незваного гостя. Домла лишь суровее сдвинул брови, только для приличия кивнул головой. Исподлобья недобро взглянул на Хайдара: «Чего тебя угораздило привести этого человека?»

Вахид Мирабидов кое-как выпил пиалу чая, попросил разрешения уйти.

— Хорошо, идите, я вас догоню.— Говоря это, Шукуров уже двигал свой стул к домле. Совсем иным, мягким голосом спросил: — Как ваше здоровье? Как самочувствие, Нормурад Шамурадович?

— Благодарю, товарищ Шукуров,— сказал домла, как отрезал.

Секретарь райкома не ожидал такого подчеркнуто официального тона. Замолчал, не сразу нашелся, как дальше вести речь. Но дело важнее личных обид.

— Мы занялись сейчас вплотную Минг булаком...

Домла метнул взгляд на секретаря, глубоко запавшие глаза быстро замигали.

— А правы ли мы? Жизнь так стремительно меняется. Нам, старикам, понять ее нелегко...

— Я еду оттуда,— Шукуров будто не расслышал.—

Мы всё изучим, всё взвесим. Но мне лично кажется, вопрос поднят правильно. Жаль, конечно, что работа уже начата. Однако попробуем что-нибудь предпринять, попробуем...

Шукуров вызывает на откровенность. Это ясно, вот и тестя с Хайдаром выпроводил — хочет остаться один на один с домлой. Нормурад-ата все отметил с благодарностью. Но что может сказать он сейчас? Чернить Атакузы?

Домла мучительно раздумывал. Очень хотелось поговорить откровенно.

Молчание затянулось.

— А удобно ли вам здесь? — попробовал разрядить неловкость Шукуров.— Может, сказать раису...

— Нет, нет, не надо! — перебил домла.— Скоро начнутся школьные занятия. Я буду рядом с детворой, с юношеством. Мне достаточно этого... Только знаете... Есть у меня одна просьба.

— Да, да? — встрепенулся Шукуров.

— Не совсем обычная просьба... Помогите Атакузы! — И, словно боясь возражений, сбиваясь и захлебываясь, заторопился: — По-моему, он сам запутался. Я не собираюсь отрицать его недостатки. Должно быть, и вправду зазнался человек. Но ведь кто-то ему в этом немножко... гм, не мешал... Я надеюсь, вы не станете отрицать и его достоинств — он человек дела, труженик. Так помогите ему!

Шукуров сосредоточенно глядел в одну точку. Весной, когда он впервые встретился в Ташкенте с домлой, старик поразил его — лобастой, как у Сократа, головой, своенравным, гордым и прямым характером. Сейчас перед ним сидел тот самый старик, только согнула его нелегкая — бок о бок с племянником — жизнь. Между ними, вероятно, произошло что-то серьезное. Домла, видно, не хочет распространяться об этом. Значит, лучше проститься.

— Насчет Атакузы не беспокойтесь. Он ведь и сам не из тех, кто даст себя в обиду. Но я понял вас. Нет-нет, не вставайте, ата, не провожайте...

И опять домла долго сидел, мучился думами. Опять был недоволен собой: человек, по всему видно, пришел поговорить по душам. Но этот Вахид Мирабидов!.. Замутил душу старый прилипала. Зачем он тут? Приехал разнюхать что-нибудь в связи с предстоящим совеща-

нием? И Хайдар... Суетился вокруг своего учителя. Значит, так и не сделал выводов из их ночной беседы? Ох, Нормурад, Нормурад! Опять валишь вину на других.

— Можно, дедушка?..

Хайдар!.. Домла встрепенулся.

— Как же ты оставил своего учителя? — спросил ревниво.

Хайдар сел на стул у большого кожаного дивана, где только что сидел Шукуров.

— Мне показалось, вам нездоровится, вот я и...

— Нет, нет, все хорошо, сынок, все хорошо.

«Смотри-ка, выходит, все-таки кое-что извлек. А может, просто так пришел, ради приличия?»

— Зачем он пожаловал? Я говорю про твоего учителя.

— Он приехал...— Губы Хайдара дрогнули в усмешке.— Планы моего учителя грандиознее планов Наполеона...

— Как так? — не понял домла.

— О, у него — сверхзадача! Организует себе премию. Государственную премию имени Беруни, не больше и не меньше.

— Это каким же образом? — в усталых глазах Нормурада-ата загорелся знакомый огонек.

— Вы же знаете, у него есть книги о переброске сибирских рек...

— Да, да...

— Так вот, он хочет, чтобы целинники выдвинули ее на премию. Отец говорит...

— Про отца потом,— старик опустил веки, задумчиво поглаживал кустистые брови.— А ты сам читал его книгу? — бросил быстрый взгляд на внука.

— Да.

— И что скажешь?

Хайдар пожал плечами:

— Мне трудно судить. Я же не занимался этой проблемой. А так — читается легко...

— Вот именно — легко! — вскинулся домла, встал было пройтись по привычке из угла в угол — и сразу наткнулся на книжный шкаф. Комната и так тесная, а в ней еще пять шкафов! — Вот что, сынок,— он сел на диван против Хайдара.— Помнишь, мы ночью беседовали с тобой? Хотел я тогда сказать кое-что об этом

человеке, да подумал — не время еще. Боялся, решишь, пожалуй, что соперничаем, что завидую его успехам... Я не касаюсь его научной карьеры. Придет время, надеюсь, ты и без меня все узнаешь, все поймешь. Но книга его... Ты принес тогда телеграмму, сам и прочел мне. Помнишь, что было в ней? А я ночью, в связи с той телеграммой, еще раз проглядел книгу Вахидова и снова убедился, насколько она легковесна, несерьезна с научной точки зрения.— Домла снова встал, рванулся пройтись, но остановился.— Вот один, всего лишь один пример. Есть в книге расчеты... Во сколько станет эта переброска государству. И сроки, в которые она окупится. При этом твой учитель забывает, если можно так сказать, опыт строительства таких каналов-гигантов, как Аму — Бухара, Иртыш — Караганда. Ведь там фактическая стоимость намного выше, чем в проекте. А он, говоря об эффективности, использует те же методы расчета, которые не оправдали себя. Да разве это допустимо? А все для чего? Чтобы снизить проектную стоимость переброски! Но так ведь можно ввести в заблуждение государство! Понимаешь — в заблуждение ввести...

Хайдар глядел на дядю и поражался: как необычен был сейчас его вид, как красив стал вдруг старик — сгорбленные плечи распрямились, лобастая голова откинута назад, глаза горят, как у юноши. Удивительно! Почему раньше Хайдар не замечал в нем эту незаурядную мощь, особую, вдохновенную красоту?

— Ладно! — сказал домла неожиданно.— Бог с ней, с книгой. Допустим, она безупречна с научной точки зрения, даже достойна награды. Но вот беготня автора вокруг этой премии... Как ты сам смотришь на суету твоего учителя?

Хайдар рассмеялся:

— Во всяком случае, это все очень странно.

— Гмм...— Нормурад-ата сел на диван.— Я не решался говорить с тобой об этом человеке. Слава аллаху, вижу, ты сам начинаешь понимать! Но твой отец!.. Вот уже несколько ночей не сплю, все думаю о нем. Страдаю, жалею его. Боюсь, что и он страдает, а может, и стыдится своих поступков. Но почему же по-прежнему гнет свое? Неужели так ничего и не уразумел? Передай отцу... Нет, лучше сам поразмысли, подумай.

3

Как непонятно устроена жизнь! Светлое так часто соединяется в ней с темным. Счастье шагает бок о бок с несчастьем. Атакузы на себе испытал это в последние дни.

Позвонил Шукуров. Сообщил — совещание руководителей колхозов и совхозов района по вопросам благоустройства решено провести в «Ленин юлы». Часа через два и сам прикатил. И не один, с высоким гостем — профессором Вахидом Мирабидовым. Тестя оставил в колхозном саду, а сам даже за дастархан не сел, Атакузы повез его смотреть детсад и ясли. Оттуда проехали по бригадам, раис показал полевые станы. Секретарь шутил, смеялся — похоже, остался доволен. Атакузы уже собирался открыть рот: мол, там, в саду, остывает плов, но гость вдруг предложил поехать на Минг булак. И покой сменился тревогой.

Шукуров молча долго стоял в лощине среди высокой травы, пил пригоршнями холодную воду из родников Минг булака, любовался джидой, плакучими ивами, бродил в зарослях горной арчи. Не спеша, поглядывая вокруг, поднялся на косогор — отсюда видней был котлован, который рыли под здания животноводческого комплекса.

Уже с самого начала, с того момента, как Шукуров спустился в лощину, Атакузы понял, чью сторону примет первый секретарь. Это было заметно по сосредоточенной грусти, с которой обходил он рощи Минг булака, по тому, как задумчиво останавливался у прозрачных, окруженных арчой родников, с каким наслаждением пил воду. Да, он примет сторону жалобщиков. Это ясно. Правда, Шукуров и здесь, на месте, внимательно слушал расчеты и доводы Атакузы в пользу гигантской стройки. Возражать не стал. Но когда покидали лощину, в последний раз окинул задумчивым взглядом сочные зеленые луга, окруженные сплетенными меж собой деревьями, чистые родники, зеркальными осколками блестевшие меж зарослей высокого камыша, и сказал:

— Надо подумать. Пришлите, пожалуйста, проект стройки. Посоветуемся со специалистами. Если что-то можно еще сделать, надо это сделать обязательно!

Больше он ничего не сказал, да и говорил мягко,

как бы и сам еще не уверенный в своей правоте. Но душа уже была растревожена,— слишком многого ждал Атакузы от этого начинания.

После Минг булака тучи несколько развеялись. Шукуров с тестем навестили старика, а потом хорошо посидели в саду у Атакузы. Вахид Мирабидов сначала был несколько мрачноват, но это у него долго не держится. Забыв неприятную встречу с домлой, развеселил застолье, выложив целую дюжину новейших, «девственных», как он выразился, анекдотов. Опрокинул рюмку, другую и вошел окончательно в свою «струю»: с вдохновением читал Омара Хайяма, газели, воспевающие красавиц и вино. Словом, как всегда, украсил беседу. Потом Шукуров с Атакузы ходили в контору. Секретарь райкома пожелал увидеть Наимджана с женой. Атакузы был спокоен: вчера после звонка Шукурова он восстановил Наимджана на работе, успел и поговорить с ним. Шукуров хотел побеседовать с обиженной четой наедине. Когда, основательно потолковав с секретарем, оба ушли и Атакузы опять зашел в контору, Шукуров сказал удовлетворенно:

— Вот это — поступок мужчины, достойно и справедливо!

Так хорошо сказал, что Атакузы даже растрогался. И надо же: в этот самый момент — всегда так бывает в жизни! — будто нарочно, в комнату как снег на голову ввалился ташкентский дервиш — Сакиджан Абидов!

В одной руке раскладушка, в другой набитая чем-то хозяйственная сумка, за плечами вещевой мешок. Волосы растрепаны. Ввалился без спроса, стуча громче чем надо большими кирзовыми сапогами.

За ним вбежала Халидахон:

— Погодите! Послушайте меня! — Халидахон пыталась удержать Абидова. Но такого разве удержишь. С грохотом кинул на пол раскладушку.

— Да не хочу я вас больше слушать, распрекрасная ханум! И вообще, разве нельзя нашему брату попрощаться с высокочтимым раисом? Или не положено? — Абидов, должно быть, только тут заметил стоявшего в стороне Шукурова и пошел паясничать пуще прежнего: — Вот это повезло! И наш высокоуважаемый секретарь, оказывается, здесь! Счастлив видеть ваш светлый лик!

Шукуров с недоумением посмотрел на Халидухон и Абидова и, переменившись в лице, спросил:

— Что это за кривлянье? Не теряйте достоинства, домла, объясните по-человечески, что случилось?

— Об этом у раиса-ака спросите. И у этой вот ханум! — Абидов уселся на вещевой мешок и пятерней еще больше растрепал волосы.— Весь наш труд, на который мы потратили не один год,— все пошло прахом, товарищ Шукуров! А помучились мы основательно, пока размножили этих, как говорит почтенный Али-Муйлов, букашек-мукашек, которых он отправил на тот свет (да пребудет их душа в раю!). И сам ваш покорный слуга чуть не вознесся в сады эдема!

— Простите, домла. До меня плохо доходит ваш эзопов язык. Обработали ядохимикатами ваш участок, так я понял?

— Сейчас все объясню, Абрар Шукурович...— Это Халидахон, чтобы восстановить истину, вышла вперед.— Произошло недоразумение. Наш бригадир допустил ошибку. Атакузы-ака уже принял...

Шукуров, не слушая дальше, обернулся к Атакузы:

— Как же так случилось, раис-ака?

Атакузы смущенно поскреб затылок.

— Правду говорит Халидахон, недоразумение...

— Недоразумение? А может, все было заранее продумано?

Атакузы потом не мог вспомнить, что больше всего обидело его, суровый ли тон Шукурова или несправедливость его слов. Он тоже вдруг переменился в лице и сказал не менее резко:

— Прошу прощения, товарищ секретарь! Но я хочу спросить: осенью райком будет требовать от нас выполнения плана? Или, может, изменилось что?

— Потребует! Но это не значит...

— А если потребует,— невежливо перебил Атакузы,— то хочу вас спросить: представляете вы себе, что такое хлопковая совка?

— Наверно, не представляю!

— Напрасно иронизируете, Абрар Шукурович...

— И вы не менее напрасно иронизируете насчет плана! Я знаю, что такое совка. Но что раис «Ленин юлы» может уйти в кусты, когда жизнь призовет к ответу,— этого я не знал. Домла Абидов работал у вас по договору. Спрашивается, зачем вы этот договор заключи-

ли? К чему понадобилось морочить людям голову? Вы же должны понимать, с какой важной проблемой связана была эта работа, такая нужная для будущего всего хлопководства, для всех нас! — Шукуров сказал все с непонятной для Атакузы обидой и решительно повернулся к Абидову: — Пойдемте, домла!

Сколько ни упрашивал Атакузы, Шукуров не остался. Посадил с собой в машину Абидова и тут же уехал.

Атакузы не понимал первого секретаря. Али-Муйлов поступил неправильно. Атакузы действительно вызывал его перед приездом Шукурова, отхлестал словами, как только он умел, хуже, чем камчой. Но что поделать? Разбитый кувшин не склеишь. Бывают ошибки. И все же почему так взвился Шукуров? Может, и важны опыты этого дервиша, может, труд его и необходим потомкам. Атакузы тоже кой-чему учился в своем институте. Однако, как бы там ни было, сейчас речь идет не о будущем. Хорошо секретарю гневаться. А если Атакузы не выполнит план по хлопку? Этот же самый Шукуров и поставит его по стойке «смирно» на бюро райкома.

Хуже степных колючек такие думы — Атакузы всю ночь ворочался, метался в постели. А утром совещание. И опять: то вверх, то вниз — все запуталось, все переместилось.

Съехались руководители всех колхозов и совхозов района, секретари партийных организаций, работники просвещения, заведующие детскими садами,— словом, более двухсот человек!

Первым делом осмотрели новые двухэтажные здания детсада и яслей. Сто пятьдесят детишек уже играли на площадках под навесами. Сад и ясли Атакузы успел открыть перед самым совещанием. Затем гости поехали в бригады, дивились благоустройству полевых станов. Подготовку к совещанию-смотру Атакузы поручил Халидехон. Она в таких делах дока. Сделала так, что хоть в лупу рассматривай — и пятнышка не найдешь. Особенно дивились гости чистоте и порядку в детсаду и яслях. Девушки-воспитательницы — одна краше другой — в белоснежных халатах, детишки принаряжены, умыты — ну просто куколки! Постели аккуратно заправлены голубым и розовым. Только вздохнули да рты разинули. Двухэтажные полевые станы тоже, конечно, поразили. Комнаты отдыха — с дорогими телевизорами и радиоприемниками, ковры; столовые с зеркально

чистой посудой, отменной едой. Надо сказать, и сам Шукуров повеселел, глядя на то, что натворил в колхозе Атакузы. Подобрел и, когда подводили итоги, сказал в адрес раиса немало теплых слов. Призвал брать с него пример. Лишь под конец чуть-чуть ущипнул, и то получилось, будто выискивал кривизну в конском волосе.

— Только одно хочу заметить,— Шукуров хитро улыбнулся.— Хороши у Атакузы-ака полевые станы! Но похоже, как для парада — гостя дорогого чествовать в этих залах. Обжитости нет, уюта. Полевой стан должен быть вторым домом хлопкороба, просторным — это есть, удобным, уютным — а этого еще нет. Хлопкороб должен чувствовать себя здесь как дома. А признаться, и мне было страшновато ступать по этим роскошным коврам. Боюсь, хлопкороб посмотрит-посмотрит, да и пойдет отдыхать к арыку...

Кончил он речь такими словами:

— Мы восторгались всем тем, что сумел создать Атакузы-ака. Теперь давайте сообща обсудим, как распространить этот опыт. Надо добиться, чтобы и в других хозяйствах руководители уделяли больше внимания быту, культуре, благоустройству.

Зашевелился Аксакал. «Ага, выходит, не простые слова сказал Шукуров, с зацепкой»,— мелькнуло у Атакузы. Давний соперник его до этого, казалось, спокойно дремал в президиуме. Большой, грузный, склонил седую голову на грудь к золотой звездочке Героя. И вдруг будто очнулся, пряча улыбку в пышных усах, попросил слова.

— У меня к вам вопрос, товарищ Шукуров. Вот вы тут хвалили Атакузы. Очень хвалили. А теперь призываете, чтобы мы переняли его опыт. Согласен. Заслуги Атакузы я ни в коем случае умалить не собираюсь Дельный раис, ничего не скажешь. Но... что там ни говори, он у нас на особом положении. Не кажется ли вам, что и другие молодые раисы, по адресу которых вы прошлись, кое-что могли бы сделать, будь у них его льготы?

Атакузы вспыхнул. Сам не заметил, как закричал:

— А какие это льготы, дорогой Аксакал?

— Ну, не будем уточнять, дорогой,— Аксакал подмигнул залу.— Зачем вспоминать про мрамор, про лес, про трубы, которые утащил из-под моего носа. Хороший ты парень. Не хочу я сегодня портить твой праздник. Однако боюсь, что и газ пройдет мимо меня. А ведь путь его лежит сначала через мой кишлак, а потом уже

он должен прийти к тебе. Ой, боюсь, и этот кусок вырвешь из моего рта!..

Что тут началось! Зал взорвался. Люди хохотали, били в ладоши. Их смех наглухо закрыл рот Атакузы. Шукуров ответил на ехидные вопросы старого лиса тоже шутливо: мы, мол, не волки, зачем же вырывать куски друг у друга. С этими повадками надо кончать. Он спускался уже с трибуны, когда в зал вошел Халмурадов.

Его сегодня не ждали. Секретарь обкома любил иной раз нагрянуть неожиданно, без шумихи. Упадет, как камень с неба, и прямо в самое слабое место угодит.

Вот и тут — оказывается, успел уже один, без сопровождения, осмотреть хозяйство Атакузы. Но так как выступил «с ходу», не зная, что говорили перед ним, его речь пришлась несколько вразрез. Взошел на трибуну — молодой, курчавый, в ловко сидящей финской куртке цвета хаки, в ярком модном галстуке, веселый, уверенный в себе.

Начал шутливо: он-де, нарочно не сказавшись, приехал. А то раисы спешат всегда встретить. Ну, думал, выковырнет без хозяина какой-нибудь огрех. Нельзя же все хвалить, иногда и поучить знаменитого раиса тоже не вредно. И что же: искал, искал, да так и не нашел изъяна!

Странно было слушать такое после слов Аксакала и ответа Шукурова. В зале на миг наступила мертвая тишина, а потом — новый взрыв смеха и еще более громкие рукоплескания. Халмурадов уловил, что слова его пришлись, видно, невпопад. Тут же перестроился, подобрался, продолжал уже серьезно:

— Я позволил себе, товарищи, начать с шутки. Но все же скажу: районный комитет поступил правильно, собрав вас всех именно в этом колхозе. Мы всегда говорили и будем говорить: деятельность Атакузы-ака по части строительства и благоустройства колхоза — образец не только для этого района, но и для всей области.

До чего же странное существо человек! Все так же весело и бурно поддержали секретаря обкома. И Аксакал хлопал в ладоши. У Атакузы даже горло перехватило, как во время летучки в степи. Да, что бы ни болтали, а добрые дела, пот, пролитый для блага людей, не пропадают даром.

После совещания Атакузы устроил в своем саду небольшой ужин. Он удался на славу.

Весной этого года речники преподнесли раису редкостную рыбину. Вытащили в реке. Огромная, метра полтора. Уже тогда потянула больше двух пудов. Атакузы пустил ее в большой проточный хауз у себя в саду, откармливал для свадьбы сына. Но Халмурадов взволновал и растрогал его. Вот и решил попотчевать гостей этой чудо-рыбой. Блюдо получилось что надо. Рыба сама таяла на языке, исходила жиром. Гости только хвалили да пальцы облизывали.

Но и тут не обошлось без «ложки дегтя». Торжество было в самом разгаре, люди — один за другим — поднимали бокалы в честь Атакузы. Только Шукурову не сиделось. Встал из-за стола, взял под руку секретаря обкома и увел в глубину сада.

Атакузы сразу почуял — речь у них пойдет о нем. Так хорошо все складывалось. Душа, можно сказать, сияла, раис торжествовал, опять был наверху. И вот — мигом погас праздник. Атакузы не выдержал, тоже встал. Поторчал у колодца, потоптался и отправился вслед за секретарями в сад.

Шукуров и Халмурадов стояли за яблонями, на берегу арыка. Раскидистые ветки скрывали лица, но по голосам было заметно — оба взвинчены до предела.

— Вы что же, только себя считаете умным и справедливым? А мы, выходит, и не разумны, и не гуманны? — Это голос Халмурадова. В нем слышались обида и отчасти — угроза.

— От разговора уклоняетесь,— не менее жесткий голос Шукурова.— Аксакал нам только что преподал хороший урок. Почти те же слова говорил мне и...— Шукуров назвал имя и отчество Первого.

— А я считаю, передовые хозяйства — маяки — нужны! Они призваны служить образцом для всех. Передовые хозяйства были и будут всегда. Что касается Первого, то думаю, вы не совсем объективно доложили ему про здешние дела.

— Точнее...

— Точнее? Возьмите хотя бы Минг булак. Мне кажется, вы упускаете исключительную важность, которую представляет собой данное строительство в развитии животноводства всей области... Прошу не перебивать! Не вы один, мы тоже, представьте себе, любим

нашу природу и хотели бы сохранить Минг булак. Но существует еще и так называемый экономический фактор. Сбрасывать его со счетов мы не вправе. И как раз это хорошо понимает раис, которого вы критикуете. Умейте ценить талантливых руководителей, товарищ Шукуров, не принижайте...

— Никто не принижает его. Но и чрезмерно возвышать... так можно любого сбить с пути. Раис готов был прислушаться, внять критике. А после вашего выступления...

— За свое выступление я и отвечаю!

— Ну что ж...

Атакузы незаметно отступил назад. Когда секретари вернулись к столу, он уже сидел с гостями. Секретари — районный и областной — были явно не в духе: красные, хмурые, глаза опущены. Не смотрят друг на друга. Вскоре Шукуров поднялся — дела у него в Ташкенте. Попросил прощения и уехал. Районный уехал, а областной остался! Такого еще в этих краях не бывало, очень уж получилось неуважительно. Халмурадов тут же попросил разрешения у хозяина и тоже собрался покинуть застолье. Улучив момент, он, как бы прохаживаясь в ожидании машины, взял под руку Атакузы и увлек его в сад.

Чувствительно задел Халмурадова Шукуров. Областной шел, странно подрыгивая ногами, нес высоко свое гладко выбритое, красивое лицо. В глазах — холодная гордость. Таким Атакузы его еще не видел.

— Хотел вас спросить,— начал Халмурадов, приглаживая рукой густые черные кудри.— Что за кошка пробежала между вами?

Атакузы нервно передернул плечами:

— И сам не пойму, товарищ секретарь обкома. Стараемся по мере сил своих и даже больше. Выполняем все государственные задания. Бывают, конечно, ошибки. Слушаем советы старших товарищей — исправляем. Если насчет дома моего механика, я же вернул его хозяину, извинился.

Атакузы начал тихо, даже робко. А потом вспомнил неприятности последних дней и разволновался — выложил все, что накопилось на душе.

Халмурадов стоял и, поигрывая веточкой с бутоном розы — сорвал ее в цветнике, хмурил брови и молчал.

— Вот что,— принял наконец решение, голос сде-

лался ровным, властным, как и приличествует большому руководителю.— Не горячитесь, Атакузы-ака. Этот человек гнет свою линию, хочет удивить Первого новшествами. Пусть удивляет. А вы делайте свое дело, как раньше. То, что дом вернули, это очень хорошо. И насчет Минг булака не слишком упирайтесь, посоветуйтесь с проектировщиками, может, еще не поздно что-то сделать. Ну, истратите лишних пятнадцать-двадцать тысяч, что же делать, придется. Раскиньте мозгами — нельзя ли перенести строительство чуть в сторону от урочища. Не забывайте — Шукуров все же первое лицо в районе. Приходится с ним считаться. Лично я всегда поддерживал вас, буду поддерживать и впредь. Завтра же доложу обо всем Первому. Попытаюсь уговорить, пусть приедет. Посмотрит собственными глазами, а то ведь давно не был у вас, все отсталых навещает. Будьте готовы принять.

— Спасибо! — Атакузы с трудом скрыл дрожь в голосе, крепко обеими руками пожал дружескую руку Халмурадова.

Провожать высокого гостя отправились все, кто пировал у Атакузы. Далеко растянувшейся цепочкой машины торжественно проследовали до границы соседнего района. Возвратился Атакузы с проясненной душой. Казалось, рассеялись наконец тучи, нависшие в последние недели над головой. Да, хорошего, верного друга приобрел он себе. Халмурадов — молодой, энергичный руководитель областного масштаба и, по всему видно, с большим будущим. А что Шукуров?.. Правда, и Шукуров, если по-честному, не так уж плох к нему. Но слова Халмурадова: «Передовые хозяйства — маяки, образец для всех, были и будут всегда!» — крепко засели в голове раиса.

Лесть близка душе человека, а у Атакузы была обыкновенная человеческая душа.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Вот уже четыре дня, как Вахид Мирабидов с Назокат-биби отдыхают в горах в санатории колхоза «Ленин юлы».

Прекрасное место для здравницы. Внизу Минг бу-

лак с его целительными родниками. Вверху снежные горы, справа — миндалевые и арчовые рощи хозяйства, слева — многоводная горная речка.

Санаторий рассчитан на двадцать человек. Но сейчас работа в колхозе еще в разгаре, и, кроме Мирабидова с супругой, никого нет. Просторные домики с айванами на берегу бурной речки — выбирай любой! Яблоневые рощи и виноградники с уже созревшими золотистыми плодами — протяни руку и ешь! Пенистый кумыс от стреноженных в высокой траве кобылиц — все в распоряжении домлы Вахида и Назокат-биби. Для них стараются повара, их покой охраняет сторож санатория. Почему же Вахид Мирабидов ходит сам не свой? Почему так непривычно мрачен?

Не первый раз приезжает он в эти края. Отдыхать здесь случалось и раньше, и довольно часто. Но никогда не был он так одинок. Обычно по одну руку от него неизменно был его шагирд[1] Хайдар, по другую — сам Атакузы. К приезду уважаемого профессора готовились: резали баранов, приглашали музыкантов, танцовщиц. Съезжались руководители района, и пиршества длились нередко до рассвета. Пировали обычно в укромном уголке миндалевой рощи, у прохладного веселого водопада. Главным запевалой, неизменным тамадой бывал, конечно, он—профессор Вахид Мирабидов. И чего бы ни пожелала душа,— все исполнялось, как в сказке. А на этот раз...

В санаторий их привез Хайдар и тут же укатил обратно,— какие-то у него появились дела. И, похоже, глаза прячет. Что с ним случилось? Пытался поговорить по душам — ускользает, скрытничает. А сам Атакузы? Кажется, мог бы улучить время, заглянуть — за четыре-то дня! Нет, пропал, ни разу не наведался. Правда, позвонил, поинтересовался, как живется гостям, попросил извинения — в его колхозе начинается большое совещание. Что же оно — с утра до утра? Нет-нет, что-то изменилось, не тот стал Атакузы. Но больше всего угнетало пренебрежение, которое выказывал зять. Атакузы, как бы ни дружили они, все-таки не родич. С чужого, что там ни говори, спрос невелик. Но что приключилось с зятем — вот ведь вопрос! И дочка не приезжает. Но она хоть разговаривает по телефону с матерью. А вот Абрарджан даже позвонить не изволит...

---

[1] Шагирд — ученик, последователь.

Вахид Мирабидов собирался и отдохнуть здесь, и поработать. Надо было набросать план выступления. Недолго уже осталось до совещания в Ташкенте. Беспокоиться, конечно, причины нет. Будут разные точки зрения, будут споры, ну и что? Посмотрим еще, кто победит! Одно настораживает: в верхах что-то слишком внимательно отнеслись к докладной Шамурадова. И директор института все еще держит с ним связь, считается с его мнением. Казалось бы, старик давно на пенсии, консультантом лишь числится, да и живет теперь этот кишлачный консультант, можно сказать, на краю света. Пора бы махнуть на него рукой. Так нет же, носятся, ставят в планы его научный труд — одному аллаху известно, когда этот труд будет завершен. Разговоры тянутся вот уже десять лет. Понятно, этот древний осел утвердился в своей учености и на совещании упрется, будет стоять на своем, как чурбан. Давно бы пора сделать выводы из жизни, подумал бы — конец ведь уже близок. Куда там — как был твердолобым, так и остался.

А Вахид Мирабидов готов забыть все обиды, протянуть дружескую руку. Пошел же, можно сказать, на поклон, с искренним сочувствием к горю домлы. Вид старика даже расстроил его. И что? Чем ответил Нормурад Шамурадов? Даже в жалком своем положении не смирился. Не пожелал глаз поднять на гостя. А зять? Родной зятек не заметил унижения тестя, остался! Долго проторчал там, шушукались — о чем? Можно догадаться...

Вахид Мирабидов, наблюдая в последнее время за дочерью и зятем, подумал было даже: а не наступило ли между ними охлаждение? Назокат-биби уверяет, что все в порядке. Но, может, Махбуба не делится с ней? Как бы там ни было, Вахид Мирабидов решил: если зять не заглянет сегодня — все! До свиданья! Позвонит Атакузы, попросит машину и — прямо в Ташкент, а к дочери даже не заедет. Пусть обижается. Благодарим! Вахид Мирабидов не из тех, кем можно пренебрегать.

Однако кто-то, похоже, приехал. Сквозь шум речки донесся негромкий говорок мотора. Наконец-то!

Наверху, в санатории, поднялась суматоха, беготня, послышались громкие голоса, какая-то команда. Гадать пришлось недолго. На узкой тропинке показался сам Атакузы.

Успел приобрести курортный вид: в длинном халате из старинного шелковистого банораса, грудь нараспашку. Яркая узорная тюбетейка сдвинута на лоб. На бронзовом скуластом лице — белозубая улыбка. Ухарь-джигит!

— Э-э, домладжан! Я к вам с повинной головой, надеюсь, не отсечете? — широко, как крылья, раскинув руки, Атакузы обнял Вахида Мирабидова, покружил разок и поставил на место.

Лицо Мирабидова посветлело.

— Кстати прибыли! Я вот сидел здесь, посиживал и думал: если раиса и сегодня не будет — уеду.

— Потому я и здесь! Угадал ведь, что у вас в голове, дорогой профессор! — Атакузы захохотал так, что отдалось в горах.— Никаких отъездов, Вахид-ака! Через неделю, в следующую субботу, свадьба вашего шагирда!

— Ах, вон оно как!

— Именно! Вам заготовлено место во главе застолья.

— Благодарю за высокую честь. Но целую неделю...

— Что такое неделя? Пролетит, как миг. Если вашему сиятельству надоел горный воздух, махнем в степь. Очень будет кстати, предстоит ведь встреча с целинниками.

Вахид Мирабидов как будто смутился. Задумчиво потер круглую румяную щеку и заговорил вкрадчиво:

— Я здесь поразмыслил насчет того вопроса... дорогой. Нужно ли вообще что-то предпринимать?

— Очень даже нужно! — отрезал Атакузы и посмотрел на тропинку. Оба умолкли.

От санатория спускался повар, в руках — большой круглый поднос. Вот он подошел, поставил поднос на плоский камень у речки. Чего там только не было: и увесистые кисти золотистого винограда, и бархатные персики, и печеное, и вареное, и бутылки, и рюмки. Повар мигнул Атакузы. Раис прошел с ним несколько шагов обратно по тропинке. Вернулся, загадочно улыбаясь.

— Большая новость, домла! Звонил ваш зять, едет, оказывается, сюда с Махбубойхон. Я тут тоже, между прочим, с женой.

— Большая новость, говорите? Почему так?

— Да так как-то, к слову пришлось. Боюсь, не знает, что и я тут с вами.

Рука Вахида Мирабидова с янтарно-прозрачной виноградиной застыла у рта.

— А что, снова поссорились?

— Как вам сказать... Мы тут с вами посиживаем, а он вот приедет, и, пожалуй, мне попадет: кто вам дал право прохлаждаться в этом санатории для трудящихся? — Снова хохот Атакузы раскатился по горам.— А ну, за ваше здоровье, профессор! — одним махом раис осушил рюмку. Схватил с подноса горсть винограда. Веселые искорки в глазах вдруг потухли, на лоб набежали морщины, в углах рта прорезались горькие складки.— Хочу, дорогой домла, спросить про вашего зятя, давно уже собирался. Что он за человек, Вахид-ака?

Вахид Мирабидов подсел к Атакузы, оторвал от вареной курицы ножку.

— Сказать по правде, я и сам не понимаю его. Странноватый он человек.

— Странноватый? Не то слово. Этот странноватый человек вконец замучил меня, домладжан!

— А чего он требует?

— В том-то и дело — сам не поймет, что ему надо! Вроде как умный человек, все видит, все понимает, а придирается к каждой мелочи. Будто сам не понимает сложности жизни. Только сложности и толкают нас на... на некоторые шаги,— Атакузы вскочил, разгоряченным конем пробежал вокруг камня. Остановился и снова налил рюмку.— Не подумайте, пожалуйста, что специально зазвал вас в горы, чтобы открыть свои болячки. Нет, само собой вышло. Просто ценю и уважаю вас больше, чем родного дядю.

— Благодарю, мой друг! — глаза Вахида Мирабидова ласково засияли. Он выпил вторую рюмку и поближе придвинулся к Атакузы.— Мы сделаем вот как. Провернем с вами это дело...— не решился сказать: «премию»,— ...это дело провернем, ваш семейный той отпразднуем, и тогда я на свободе поговорю с Абрарджаном, идет? Можете быть спокойны, все ему разъясню...

Наверху, там, где сквозь яблоневую рощу белел санаторий, пропел сигнал машины.

— Приехал, кажется! — Атакузы встал было — идти навстречу, но Вахид Мирабидов потянул его за полу халата:

— Сидите, дорогой. Он хоть и старше вас по чину, зато вы старше по возрасту. Дойдет сам.

И правда, вскоре по извилистой тропинке к ним спустился Шукуров.

Он шел и чему-то улыбался. Озирался, поднимал восторженные глаза на снежные горы, любовался склонами, покрытыми арчой. Так с улыбкой и подошел к речке.

— Да-а... не плохо, я вижу, эта пара устроилась здесь, в райском местечке!

Атакузы быстро взглянул на Вахида Мирабидова:

— Ну что, домла, угадал я, что скажет вам зять?

— А может, я прочел ваши мысли. Атакузы-ака?

— Еще как прочли! Попали в самую точку, Абрар Шукурович!

Шукуров сел на камень рядом с тестем, кинул шляпу на траву. Еще раз обвел взглядом горы, леса, ручьи вокруг и рассмеялся, как смеются дети,— просто от радости жизни.

— Правду говоря, и я сейчас не расположен к серьезным разговорам. Но хотите, раис, отгадаю еще одну вашу мысль?

Глаза Атакузы озорно вспыхнули, он остановил протестующий жест Вахида Мирабидова, с интересом подался вперед:

— Ну-ну?

— И чего этот человек прицепился ко мне, как овечья колючка? Так ведь думаете?

— Угадали, так оно и есть! — вновь эхо в горах от хохота Атакузы.— А теперь я — хотите отгадаю, что у вас на душе?

— Пожалуйста! — в глазах Шукурова тоже заиграли огоньки.

— Как мог этот неглупый человек так потерять голову от успехов! Верно?

— А вы, наоборот, считаете, что, несмотря на успехи, остались самым скромным человеком в мире.

— Да бросьте наконец ваши скучные споры! — крикнул Вахид Мирабидов. Но Атакузы уже не остановить. Прихлопнул ладонью сдвинутую на лоб тюбетейку.

— Хотел бы я знать, товарищ Шукуров, в чем состоит моя нескромность?

Шукуров взял с подноса яблоко, разломил пополам и неожиданно попросил:

— А ну-ка, налейте и мне! — Под одобряющий смешок раиса выпил рюмку, неторопливо вытер губы, устало улыбнулся: — До чего же день сегодня тяжелый! Может, отложим?

День и впрямь выдался нелегкий. С утра договорились с Махбубой, что после обеда вместе поедут к старикам (и правда, получилось нехорошо, за целую неделю ни разу не смог выбраться). Но нагрянул начальник главка из Министерства водного хозяйства, а с ним председатель облисполкома. Втроем и поехали в степные совхозы, оттуда — на горные пастбища, а затем еще к Аксакалу. Вернулся только часам к шести.

Махбуба все еще ждала — нарядная, в новом (опять в новом!) золотисто-солнечном атласном платье. Оно выгодно оттеняло белизну лица, шеи, оголенных до локтя рук. Черные, сплетенные из ремешков лакированные туфельки довершали наряд. Утомленная долгим ожиданием, встретила мужа обиженно-холодно, отвернулась, не ответила на ласковое слово.

Шукуров растерялся, но только на миг. Посмотрел на нарядную жену, и вдруг его осенило.

— Махбуба, милая, ты же была такая разумница, неужели не догадалась, за кого выходишь замуж? — он засмеялся.

Махбуба сердито отбросила со лба челку.

— А теперь, считаете, поглупела?

— Наоборот, еще больше поумнела. А похорошела как! — добавил Шукуров.— Но почему-то не понимаешь простых вещей. Не замечаешь, как устал, адски устал твой любимый, извини, некогда любимый супруг!

— Это я некогда! Я! — Махбуба захлебнулась, большие, серые, обведенные нежно-голубой краской глаза налились слезами.

Шукуров сел рядом с женой, тихонько обнял, поправил челку на лбу. Эта ее челка! Он любил, как он любил вот так же поправлять ее в юности. Что-то теплое перехватило вдруг горло.

— Ну, прости, Махбуб! Конечно, я виноват кругом. Ты даже не знаешь, как я благодарен тебе. Что было бы со мной, если бы тогда, в наши молодые годы, ты отвернулась от меня?..

— Глупышка была, потому и пошла за вас.

— Не говори, самой умной была на свете!

Проговорили битый час. Шукуров считал, что у него появилось за последнее время право быть недовольным женой: захотелось ей почестей должностных, жизни послаще. А оказалось, и у жены «наболевших вопросов» не меньше — изменился к семье, забыл детей, погрубел, не хочет понять ее, и вот итог всем обидам — «разлюбил». Как только ни оборонялся: и объяснял, и шутил,— но она все говорила и говорила, пока не выложила все, не выплакала слезы.

— Ну? Можно теперь мне? — он крепче обнял ее.

— Пожалуйста, начинайте свои...

— Нотации, хочешь сказать?

— Не знаю, нотации или другое, но все, что вы скажете, я заранее знаю.

— Телепатия? — засмеялся Шукуров.

— Может быть... Ну ясно... мещанка, обывательница, жажду роскоши, почитаю чины...

Шукуров вскочил с места:

— Вот это правдолюбка! Молодец! А ведь не угадала, что я хотел тебе сказать.— Снова сел рядом, взял ее руки в свои: — Вот что, Махбуба. Я хочу спросить тебя, но сначала обещай ответить честно. И не вилять...

Махбуба достала надушенный платочек, осторожно — как бы не задеть краску — промокнула дрожащие слезинки на ресницах и настороженно уставилась на мужа.

— Скажи, Махбуб, помнишь, как ты пошла за меня? Родители были против. Шла за бывшего детдомовца, студента с неопределенным будущим. Скажи, была ты тогда счастлива? Только честно...

Махбуба опустила голову и вдруг тихо всхлипнула.

— К чему вы? Будто не знаете...

— Пожалуй, побоялся бы спросить, если б не знал! Мы с тобой оба были счастливы. Так вот: наши тщеславные желания быть первыми людьми в районе (он осторожно сказал «наши»), стремление жить на широкую ногу, приобретать то, чего не могут приобрести другие,— все это гроша ломаного не стоит перед нашей с тобой любовью. Любовь нас соединила, и я бы хотел донести ее до конца наших с тобой дней...

Махбуба быстро взглянула на мужа. Глаза засверкали.

— Вы хотели бы... Неправда! Не верю! — Она ку-

лачком забарабанила в его грудь.— Где же вы были все эти дни? — и кинулась на шею ему.

Потом они ехали в машине. Молчали, но обоим было хорошо. «Как много теряют люди от недосказанности, от нежелания выслушать друг друга»,— подумал Шукуров.

Он устал сегодня, но давно не был в таком добром расположении духа. И так не хотелось терять это настроение. Зачем только Атакузы затеял спор?

— Давайте отложим этот разговор,— повторил Шукуров.

— Ладно,— согласился Атакузы.— Но есть у меня к вам одно слово.

— Если только одно,— улыбнулся Шукуров.

— Вот вы, видимо, считаете себя самым правильным, самым честным человеком, Абрар Шукурович...

— По-моему, каждый видит себя таким.

— Ну, я вижу, здесь началось заседание бюро! Пойду лучше на дочь посмотрю,— Вахид Мирабидов махнул рукой и стал подниматься по тропинке к санаторию.

— ...докладываете первому секретарю обкома,— Атакузы продолжал, не обратив внимания на Мирабидова,— докладываете обо мне, о моих делах. Искажаете истину, вводите в заблуждение.

«Успел и с ним потолковать. Ну и человек! — подумал Шукуров о Халмурадове.— Что им движет? Хочет создать свой собственный маяк? Только ли это?»

— Что я могу ответить? Если скажу, что никого не вводил в заблуждение, вы же не поверите.

— А вы докажите! — усмехнулся Атакузы.

— Чем? Может, поддакивать вам во всем?

— Поддакивать мне незачем! Все, что я делал и делаю,— все это только ради колхоза, ради людей...

— Послушайте меня, Атакузы-ака,— перебил Шукуров. Заговорил медленно, сосредоточенно, останавливаясь, чтобы подобрать нужное слово.— Мне пришлось в жизни немало повидать раисов способных, талантливых. Иной хорошо начнет работу, а потом, смотришь, потерял голову. Не думайте, я знаю все трудности, которые вам приходится преодолевать. И хозяйственные, и прочие. Каждый день сам сталкиваюсь с ними. Каждый день. Вы скажете: тем хуже, все знает, а цепляется. А я всего-навсего хочу помочь вам. Вы не можете представить даже, как я был рад, когда вы отважились по-

просить прощения, вернули дом этому механизатору. Я ценю вашу энергию, ваш организаторский талант. Поверьте мне, я хочу сохранить лучшее, что есть в Атакузы Умарове. Именно потому и лезу с неприятными замечаниями, как вы говорите, цепляюсь. Боюсь, очень боюсь, как бы вы не споткнулись. Хотите верьте, хотите нет! Все! Я кончил. И вас лишаю слова! — Шукуров встал, снял пиджак, бросил его, не глядя, в сторону.— Устал, черт побери! — вздохнул, распрямил плечи.— Приехал сюда, думал отойти немного, подышать воздухом, послушать шум реки. Где ваше знаменитое гостеприимство? Или оно не для тех, кто вас критикует?

— Ха! — Атакузы тоже встал, тоже расправил широкие плечи.— Дернул меня шайтан с моими обидами. А ну их...— Он не договорил, вдали на тропинке снова показался повар.

— Раис-ака! К вам еще гости!

Запыхавшись — так спешил — поднялся к санаторию. Его встретила Алия, она укоризненно качала головой:

— Зачем вы это придумали, Атакузы-ака?

— Что такое?

— Пригласили Джамала Бурибаева. Только что от нас звонил. Да еще был бы один, а то и жену привез с собой!

Атакузы и сам понимал, Бурибаев явился некстати. Но что поделаешь? Не выставишь же гостя.

— Иди скажи сыну, пусть везет их сюда. А там что-нибудь придумаем...

2

Хайдар отвез гостей в горы и, не задерживаясь, вернулся в кишлак. Поставив «Москвич» в гараж, вышел во двор. В доме настойчиво звонил телефон. Успел добежать, снял трубку.

— Хайдар-ака! — Это была Латофат.— Где вы пропадаете? Я уже несколько раз звонила вам... Дедушке плохо! Я вызвала врача...

Хайдар помчался в школу. Но врача уже не застал. Огромный кожаный диван был застлан белым. Нормурад-ата лежал на спине. Возле него сидели Латофат и директор школы. Хайдар робко подошел:

— Как чувствуете себя, дедушка?

— Спасибо, сынок.

Директор встал, уступил место Хайдару.

— Не беспокойтесь, атахон,— директор почтительно склонил голову.— Мы примем все меры, этот анашист, пьяница больше не будет беспокоить вас!

Домла сморщил, словно от боли, лицо и закрыл глаза.

День сегодня у домлы начался радостно. Утром почтальон принес письмо в необычно большом и твердом конверте — из Центрального Комитета. Это был ответ на записку в правительство. Раньше прислали телеграмму, а теперь вот и письмо. Подписал его секретарь ЦК. Ответ был очень благоприятный, доброжелательный. Домла в радостном волнении целый час ходил по комнате и вокруг дома. Наконец успокоился, сел за стол, углубился в рукопись. Сколько времени прошло — не заметил. Дверь осторожно приоткрылась, в комнату заглянул Уразкул. Домла встал встретить друга, но Уразкул обернулся назад, позвал:

— Где ты там, ходжа? Заходи, не стесняйся, ты ведь тоже не чужой Нормураду.

Эти слова неприятно задели домлу. Гостей встретил сухо. Зачем Уразкул притащил за собой Кудратходжу? Если не хотел идти один, пригласил бы Прохора или хоть кого другого. Но ходжу... Домла сразу помрачнел. «Что нужно Уразкулу от меня? — думал с раздражением.— Кажется, сделал все, что он требовал. Сын его с семьей опять у себя дома. Чего еще надо?» Уразкул заметил, что домла не в духе. Поскорее заговорил об их молодости. О службе в мардикерах. Думал отвлечь от дурных мыслей, знал — Нормурад любит вспоминать те годы. Но домла продолжал мрачно листать бумагу, думал о чем-то своем. Уразкул завел было свое обычное — о «распрекрасных старушках», но тут Кудратходжа раскрыл беззубый рот — черную нору — и захихикал:

— Ты думаешь, Уразкул, молла Нормурад печалится из-за старухи?

— Конечно, из-за чего же еще?

— Ошибаешься. Нормурад-ишан делал революцию, верой и правдой служил советской власти больше пятидесяти лет, и вот награда — сидит в этой...— Кудратходжа, должно быть, не решился сказать, где сидит домла.

Странное дело, эта ехидная подковырка не уколола, как обычно, Нормурада. Домла неожиданно рассмеялся:

— Ты все тот же, ходжа, все меришь на аршин твоего отца.

— А что, разве неправду говорю? За твою верную пятидесятилетнюю службу наградили этой сырой, хе-хе, кельей!..

Если бы не Уразкул, домла не стал бы продолжать явно никчемный разговор,— жалко времени. Но зачем-то Уразкул ведь привел ходжу, и это неприятно царапнуло. Специально ведь привел. Кудратходжа не унимался:

— Вот видишь — задумался. Правильно, правильно, подумай. Тебе и в келье есть о чем поразмыслить, Нормурад-ишан.

Домла подошел к окну, распахнул обе створки, полной грудью вдохнул свежий утренний воздух и вдруг, посветлев лицом, подозвал Уразкула:

— Подойди сюда, дорогой. А воевали мы с тобой недаром! Хорош кишлак, ничего не скажешь, верно говорю? А школа. Не школа — дворец! Помнишь — мечеть здесь стояла, муллы забивали народу головы, все для кулаков старались и для торговцев, вроде отца Кудратходжи...

— Чего тебе дался мой отец? Честный человек был. Торговец как торговец. Торговцем и назывался. Ты лучше на своего племянника посмотри, интересные дела творит.

— Не тебе, анашисту, критиковать моего племянника. Ты лучше посмотри в окно — не его ли рук дело весь этот поселок, эта новая жизнь!

— А что, неплохо сделано. Умеет, умеет размахнуться твой племянник. Любит показать товар лицом. Кому честь и слава? Ему, конечно, Атакузы. О нем гремят карнаи, ему мед течет в уста. Неплохо, неплохо устроился.

— Вот ты и обрадовался, кулацкий прихвостень. И затявкал. Рад бы укусить, да зубов нет...

— Почему затявкал? Я не тявкаю — говорю, как и ты, профисор, на нашем родном языке. А все же подумай, что-то твой племянник сильно разгулялся: все у него пиры да сабантуи. Гляди-ка, этот самый Атакузы с голым задом по кишлаку бегал, а теперь совсем как бухарский хан! Ты тут в своей келье поразмысли, полезно будет, молла Нормурад.

Ходжа долбил в самое больное место. Нормурад-ата прохрипел:

— Вон отсюда, шкура кулацкая!

Он был страшен: весь почернел, задыхался, лицо сделалось белым, как листы книги, в которую вцепились его руки. Домла занес тяжелый том, стукнул по столу. Ходжа попятился, хихикнул и выскочил из комнаты.

Уразкул укоризненно качал головой:

— Ты что, Нормурад, не видишь, что он анаши наглотался?

— Ладно, дорогой, оставь меня в покое.— Домла прилег на диван, опустил тяжелые веки.— Оставь, оставь меня в покое, дорогой,— устало повторил он.

Уразкул не знал, что и предпринять. Торчал посреди комнаты, теребил куцую бородку. Посматривал на друга — что с ним? Наконец, тяжело вздохнув, вышел. Домла не двинул даже бровью. Сквозь слабость, сквозь шум в ушах где-то далеко брезжило: «Пожалуй, опять обидел старого друга. Единственный ведь оставшийся в живых товарищ детских и юношеских лет». Но остановить Уразкула, поговорить с ним по душам не было уже сил.

«Ладно, пусть идет! Даже он не знает, что сейчас творится в душе Нормурада. Что они все, в самом деле! Нормурад тоже ведь человек. Не бесчувственный ком глины. Но где понять этому ходже, отравленному ненавистью и анашой, что не в личном довольстве высшее счастье».

Сегодня утром Нормурад был счастлив. Не тем, что, признав правильной именно его идею, авторитетный орган поставил домлу Нормурада Шамурадова над домлой Вахидом Мирабидовым. Нет, Нормурад-ата рад, что своей работой окажет пусть небольшую, но все же услугу родной земле. Вместе с Уразкулом, с Прохором и с другими друзьями, которых уже нет в живых, он боролся за счастье своего народа. И теперь, если увидит вдруг, что кто-то хочет оседлать завоеванное, подчинить своему личному интересу, он готов броситься опять на борьбу. Не укусы Кудратходжи — молчание Уразкула, укор в глазах друга детства так растревожили сердце домлы. Он понимал: Уразкул порицает его за Атакузы... «Атакузы все выше голову дерет, бог знает во что превращается, а ты сидишь, пальцем боишься

шевельнуть!» — вот что прочел в глазах старого друга домла. Но не знает Уразкул одного: и без его укора Атакузы — главная боль Нормурада Шамурадова.

Домла собрался было сесть за стол и вдруг увидел в окне Кудратходжу. Качая маленькой, с кулачок, иссохшей головой, тот пытался заглянуть в комнату, подсмотреть. Нелепость, пустяк? Но и пустяк может быть последней каплей. Домла не заметил, как вскочил на ноги. Не слышал, как крикнул:

— Вон, вон отсюда!

Прижал к груди руку и медленно опустился на диван. Какая боль! Будто игла вошла в сердце!..

Домла лежал на застеленном белым диване. В комнате дежурили Хайдар и Латофат. «Врач сказал, особенно страшного ничего нет, пройдет,— услышал шепот Латофат.— Разволновался сильно, от нервов все». «Да, да, от нервов, от нервов»,— согласился Нормурад-ата и открыл глаза.

Хайдар и Латофат сидели у окна и тихо разговаривали.

«Мирно беседуют,— значит, в согласии, это хорошо,— подумал домла.— Хорошо. Хайдар будто другой стал! Такой задумчивый, тихий. Осунулся, бедняга, смотри, как почернел. И исхудал сильно. Но ничего, зато мальчишкой быть перестал, получится стоящий человек».

Домла шевельнул бровью, поморщился.

«Да, необузданный ты старик, Нормурад. Одним неосторожным словом поломал крылья молодому ученому, а ведь он только-только собирался в полет. Надо было иначе. А он вот сидит здесь. У твоего изголовья. Кто говорит, что в людях не осталось совести, сострадания? Вот сидит около больного старика, беспокоится о нем. А много ли он слышал ласковых слов от этого деда. Не говоря уже о заботах».

Латофат торопливо подошла к дивану:

— Опять болит, дедушка?

— Нет, нет, я просто... с Хайдаром хотел поговорить. И ты сиди, доченька, ты нам не помешаешь.

Хайдар придвинул стул, нагнулся к домле:

— Я слушаю вас, дедушка...

Домла тяжело, с шумом вздохнул.

— Лежу вот и думаю — нехорошо поступил с тобой.

— Зачем вы, дедушка? Не волнуйтесь, все прошло. Я и сам теперь иначе смотрю на всю ту историю.

— Ладно, не буду. Собирался вот поехать с тобой в степь...

Хайдар грустно улыбнулся:

— Не на встречу ли моего учителя с целинниками?

— Аллах с ним, с Мирабидовым. Есть более важные дела. Хотел вместе с тобой проехать по полям, там строятся коллекторы и дренажи... Поездили бы, понаблюдали, как поливают сточными водами и что из этого получается... Хотелось проехать вместе и поговорить, обсудить с тобой твою работу. Да вот не знаю, удастся ли еще это сделать...

— Удастся, дедушка, конечно, удастся. Все будет хорошо.

— Ладно,— согласился домла.— А теперь вот что. Там на столе две рукописи о горной арче. Как влияет арча на климат, на водный баланс наших земель. «Древом жизни» я назвал ее. Эта работа уже готова. Вторая связана с переброской сибирских рек. Ее я не дописал еще. И не знаю: закончу ли...

— Закончите, обязательно закончите...

— Погоди, не перебивай. Я бы очень хотел, чтобы ты взял обе эти рукописи и прочитал внимательно, понял? А теперь возьми вон ту зеленую папку. Открой ее.

Хайдар взял папку, развязал тесемки.

— Так. Видишь письмо? Ну-ка, читай.

Хайдар достал письмо на бланке со штампом: «Центральный Комитет Коммунистической партии Узбекистана»,— быстро взглянул на старика.

— Прочти, прочти,— повторил домла и, видимо утомившись, опустил веки.

Хайдар быстро пробежал бумагу. Там говорилось:

«Уважаемый Нормурад Шамурадович!

По поручению ЦК ученые и специалисты внимательно изучили Вашу докладную в правительство республики и пришли к следующему заключению:

Большинство Ваших предложений, особенно о необходимости комплексного решения проблемы переброски и одновременном осуществлении широких мероприятий по обновлению всей оросительной системы, о техническом оснащении ее, что само по себе даст огромную экономию воды, вполне обоснованно. Обоснова-

ны и Ваши предложения о том, чтобы направить накопившиеся в коллекторах и впадинах, таких, как Арнасай и Сарыкамыш, вешние и сточные воды в Аральское море через обводные каналы. Проблема переброски сибирских рек в Среднюю Азию—это сколь важная, столь и сложная проблема. И наше государство понимает, что это именно тот случай, когда надлежит семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Поэтому при решении проблемы будут учтены мнения всех сторон, особенно мнения таких опытных ученых, как Вы. Мною даны указания о дальнейшем детальном изучении Вашей записки во всех заинтересованных в проблеме министерствах, проектных и научных учреждениях.

С уважением

Секретарь ЦК...»

У Хайдара заблестели глаза, он посмотрел на домлу.

— Дедушка, да что же вы молчите? В руках у вас такое письмо, а вы ни слова!

Нормурад-ата насупил брови:

— А что же, по-твоему, я должен кричать на весь мир — какое, мол, письмо получил! И тебе показываю вовсе не для того, чтобы погордиться. Хочу, чтобы ты понял всю важность этой проблемы и принципиальность наших споров с Мирабидовым. Вот для чего и письмо дал тебе почитать. Ты понял, сынок? Ну, а если понял, то можете идти.

Латофат, пока Хайдар читал, стояла, прислонившись к стене. Теперь потихоньку, боясь скрипнуть половицей, подошла к дивану:

— Дедушка! Мы еще побудем...

— Нет-нет, уже стемнело, идите, доченька, идите...

Латофат вышла первая. Хайдар на минуту задержался, потушил свет, поправил простыню на диване, посмотрел еще раз на деда и тоже вышел.

Кишлак погрузился в сон. Прямо над головой, в провале темного густозвездного неба, блестел отточенный серп трехдневной луны.

Тихая ночь. Голубоватый туманный свет звезд и луны. Тонкая фигура девушки у ворот. Латофат показалась Хайдару одинокой, печальной. Теплая, незнакомая нежность перехватила дыхание.

— Латиф!..

Латофат взглянула на Хайдара — в глазах были слезы — и уткнулась лицом в его грудь...

— Латиф! Что с тобой, Латиф? — Хайдар задыхался от нахлынувшей нежности, привлек девушку к себе и стал целовать в соленые щеки и губы, в глаза. Латофат что-то говорила, очень тихо, неразборчиво, казалось, просила о чем-то.

И как эта девушка была непохожа на ту Латофат, что в последнее время обдавала холодом. Вернулась прежняя Латофат — открытая, любящая, какой была она в раннюю пору их дружбы. Та же нежность, те же щемящие душу глаза, та же доверчивая ласка!

Странная вещь жизнь! Почему Хайдар только сейчас разгадал, что нужно и ей и ему для их любви? Не дорожил доверием и сам не доверял ей. Зачем, поддавшись чувству странной какой-то гордости, мучил и ее и себя? Оказывается, достаточно одного ласкового слова, простого искреннего слова — и холод пропал.

Хайдар осторожно прижал девушку к себе. Так, обнявшись, медленно пошли вниз. Латофат шла притихшая, успокоенная.

Они подходили к дому Хайдара. Полутемную улицу вдруг рассек свет фар. К воротам подлетела и со скрипом затормозила «Волга».

— Отец ваш! — Латофат испуганно отпрянула.

— Это ты, Хайдар? Пойдем! Разговор есть...

— Хорошо, ата, я сейчас...

Хайдар довел Латофат до калитки. На улице, перед домом Фазилат, стоял «газик». Латофат шепнула: «Кажется, и брат здесь», торопливо подставила губы, скользнула во двор. Хайдар повернул обратно. Темный «газик» вдруг взвыл и стремительно, с грохотом пролетел мимо. Хайдар уже подходил к дому. Его догнали легкие, быстрые шаги.

— Братик!

— Тахира?

Сестра беззвучно прильнула к нему.

— Я рада, братик. Рада за вас! Так рада!..— Она дрожала, плакала.

— Что с тобой, Тахира?

— Ничего... Я рада за вас, за Латофат!..

— Да что с тобой? В машине был Кадырджан?

— Да, он поехал в горы.— Тахира всхлипнула.— О,

братик, он не любит меня! Не любит! — Маленькая фигурка в темном платьице прильнула к нему.

Сердце недобро екнуло. Хайдар обнял дрожащие плечи сестры, пригладил растрепанные волосы:

— Не волнуйся, все обойдется, сестричка...

— Нет, нет, он не любит, я знаю, братик, знаю!

— Ну и черт с ним, если не любит! — рассердился Хайдар. А Тахира уже не всхлипывала — она громко и горько рыдала.

— Вы не знаете, братик!.. Если б вы знали!..

Хайдар до боли сжал зубы. Он догадывался... Но что мог он сказать этому хрупкому, любимому с детства существу?

За дувалом послышался глухой кашель.

— Отец ждет. Не плачь, Тахира, все обойдется, мы еще поговорим.

Атакузы нервно прохаживался у колодца. Сосредоточенный, мрачный, с крепко сжатыми губами. Увидел: сын и дочь идут вместе, молча прошел в дом. Направился прямо к холодильнику, достал бутылку минеральной воды, ударом о край стола открыл, пил прямо из горлышка большими глотками.

— Еду в обком...— сказал, как только Хайдар подошел.

— Что-нибудь случилось, отец?

— Этот подонок! — Атакузы сердито швырнул в темный проем окна пустую бутылку.— Этот любитель легкой жизни! Я говорю про Бурибаева. Не зря, оказывается, прикатил. Весной выделил нам тонн триста удобрений и запчасти, не так уж и много. А теперь приехал обрадовать: какой-то там шум поднялся.

По спине Хайдара будто холодный уж прополз.

— И серьезно все это?

— Не знаю. Думаю, голову не снимут. Не на свой же огород я сыпал те удобрения! Но, видно, что-то случилось, раз этот тип не смог сам уладить, ко мне прилетел. На всякий случай хочу поставить в известность Халмурадова. Не забудь, разговор этот — не для чужих ушей.

— А может, не стоит ехать, отец? — сказал Хайдар.— Он ведь отпускал, пусть сам и отвечает. И вообще — напрасно вы...

— Напрасно или нет — об этом не время! А ехать

надо. Другого выхода нет, придется улаживать самому. Словом — еду. Гостей не привози. Пусть до моего приезда побудут там.

3

Фазилат вышла за ворота — проводить соседок. Они теперь каждый день приходят помогать ей. И надо же так получиться, в это самое время, как нарочно, у ворот остановился знакомый «Москвич». Из машины выпрыгнула Латофат и сразу смутилась, увидев соседок,— она была в белом свадебном платье. И Хайдар — он сидел за рулем — поспешил поддать газу, стремительно тронулся с места. Латофат пробежала в калитку, женщины задумчиво смотрели ей вслед, должно быть вспоминали молодость.

— Дай бог им счастья!

— Очень подходят друг другу!

— Да вознаградит их счастьем аллах!

Сладко матери слышать такие слова, хорошо, что люди увидели дочь вместе с будущим зятем, в его машине. Так получилось хорошо! Теперь соседки закроют рот сплетницам, а такие есть, завидуют счастью дочери.

Вот уже неделя прошла в свадебных хлопотах. И как дружны стали между собой дочь и Хайдар, словно подменил их кто. Фазилат не знает, что случилось, в чем причина такой перемены. Да и зачем ей знать? Смотрит на жениха и невесту и не может нарадоваться. Три последних дня Латофат с Хайдаром каждый день ездят в районный центр. Там, говорят, открывается лаборатория. Хайдар отвозит Латофат и сам же привозит обратно. Удивительно, даже к доценту Абидову переменился. Нередко и Абидов приезжает с ними на машине. Бывает, втроем засиживаются допоздна за беседой. А Фазилат... У нее голова кружится от нежданного счастья. Ей приходилось бывать на тоях, на празднествах у соседей, но сама ни разу не созывала гостей. Своей судьбы стыдилась. И как же радуется теперь — наконец настал день и она может отплатить людям за радушие. Атакузы по непонятной ей причине отказался от прежних планов, не хочет пышной свадьбы. Однако на расходы не поскупился. И на одежду, и на еду — на все дал. Фрукты, мясо, вино, рис — все, что нужно, для свадьбы есть. И теперь на дворе у Фазилат

с утра до вечера люди: соседки стегают одеяла для приданого, джигиты в саду готовят дрова, ладят тандыры — много ведь придется напечь лепешек. А вечерами собираются подруги дочкины — шьют платья, веселятся, танцуют, песни поют, как в старину пели перед свадьбой.

Правда, пробежало недавно маленькое облачко, сын Кадырджан, дай бог ему здоровья, приехал в отпуск на днях и привез с собой отца и мачеху. Фазилат две ночи проворочалась до рассвета, будто на колючках лежала. Но вчера Латофат сообщила новость: Джамал Бурибаев на свадьбу не останется. Отдохнет денька два в горах и назад. А Хайдар сказал, будто Атакузы перестал уважать Бурибаева.

А вот и Латофат — переоделась, вышла из дома. Включила свет под виноградными лозами, расстилает скатерть на сури. Сейчас должны прийти подружки-помощницы.

Радуется Латофат, но неясная тревога с самого утра нет-нет да и засосет. Откуда она? Подошла мать. Только хотела расспросить, как там в городе с лабораторией, и в этот момент у ворот угрожающе завизжали шины... С шумом распахнулась калитка, во двор влетел Кадырджан.

Он бежал, будто спасаясь от страшной беды. В растерзанной рубахе, лохматый, глаза дико блуждают. Фазилат даже не узнала собственного сына, попятилась назад. Но тут же бросилась к нему:

— Что с тобой? Сыночек мой!

Кадырджан прислонился к двери, рывком разорвал ворот рубахи, обнажил черный поджарый живот, провел пятерней по лицу.

— Кончено! — прохрипел то ли смеясь, то ли плача.— Все погорело...

— Да говори же, что случилось?

— Человека сшиб! Насмерть, кажется. Все! И свадьба, и праздник, и счастье наше — все к шайтану!

Фазилат взглянула на застывшую под виноградным навесом дочь, глазами молила о помощи и вдруг бессильно опустилась на землю. Латофат, будто стряхнув страшный сон, кинулась к матери, схватив на ходу медный кувшин у арыка.

Кадырджан, пьяно пошатываясь, подошел к водопроводу, подставил голову под струю. Одним резким

движением освободил худое жилистое тело от рубашки, сел прямо на землю, заговорил. Несвязные слова с хрипом вылетали из глотки. Будто умом тронулся, разговаривает сам с собой:

— Гости... возил на охоту. Да... Подстрелили архара. И тут, как его... корноухий сторож лесхоза... Прохор, что ли, зовут. Увидел, погнался на мотоцикле. Я уже оторвался... И тут у Минг булака налетел на того, будь он проклят! На Кудратходжу. Анашист, пьянь проклятая! Что ему нужно в Минг булаке? Сидел бы дома...

Фазилат попыталась встать, но не смогла. Опираясь на руки, поползла к сыну:

— Какой Кудратходжа? Что ты говоришь?

— Тот самый. Кулацкий прихвостень! Из-за него, из-за подонка меня... Нет! Не хочу! Почему я, жизни еще не повидав, должен погибать из-за этого раскулаченного. Он же враг, враг! Нет, Атакузы-ака поймет. Может уладить, замять все! Анашист проклятый! Сам был пьяный как свинья! Мама! — Кадырджан вскочил на ноги, тряхнул, будто конь, лохматой гривой.— Мама! Бегите к Атакузы-ака! Сейчас же бегите. Объясните все! Не даст он засудить меня, не оставит Тахиру на всю жизнь несчастной.

Фазилат приподнялась, упала на грудь дочери, запричитала:

— Ой, сыночек, да что ты наделал! Что натворил, сыночек ты мой!

— Сыночек, сыночек! — передразнил Кадырджан. По-бычьи нагнув голову, со сжатыми кулаками пошел на мать, на полдороге опомнился, перевел безумные глаза на сестру: — Латиф! Сестрица! Иди позови Тахиру. Пусть сама поговорит с отцом. Беги! Я ей все сам скажу.

4

Джамал Бурибаев и Вахид Мирабидов, запыхавшись, ворвались во двор. Через несколько минут Атакузы уже знал все. Кудратходжу привез в кишлачную больницу егерь лесного хозяйства Прохор Поликарпов. Однако было уже поздно. Еще по дороге в больницу ходжа отдал богу душу. Атакузы тут же связался по телефону с главврачом.

— Где Прохор? У вас еще?

— Нет, он ушел.

— Куда?

— Не знаю. Сказал, если понадобится, найдем его у домлы Шамурадова.

«Понятно, Прохор поехал докладывать своему приятелю. Нашлась у старого хрыча новая тема для разговора!»

— Что будем делать, раис-ака? — спросил главврач.— Полагается немедленно сообщить в милицию.

— Вот что,— Атакузы овладел собой.— Кудратходжа, я слыхал, был вдрызг пьян. Вы сделали экспертизу?

— Нет...

— Сделайте! Исследуйте как надо и запротоколируйте!

— Если был пьян, то конечно...

— Я же говорю вам — он в стельку был! Ясно?

— Да, но... насчет милиции как? А вот и сам участковый. Дать ему трубку, раис-ака?

— Нет-нет! Скажите ему сами, пускай не спешит. Не к чему шумиху устраивать. И вы тоже не очень... Не паникуйте. Я еще позвоню.

— Простите, не совсем понял вас, раис-ака. Вы сообщите в район?..

Атакузы не ответил, бросил трубку на рычаг.

Пока на айване шел телефонный разговор, Бурибаев, заложив руки за спину, нервно прохаживался вокруг колодца. Вахид Мирабидов как упал в плетеное кресло, так и сидел, обхватив голову подрагивающими пальцами. Когда трубка стукнула о рычаг, Бурибаев замер на полпути. Вахид Мирабидов поднял голову. В глазах у обоих вспыхнули искорки надежды.

— Ну что нового, раис? Говорите! — Бурибаев, слабея, ухватился за сруб колодца.

Атакузы с яростью смотрел на его жалко увядшее лицо. Ведь вот как сник, обмяк. Трус несчастный!

— Новость отличная!— отрубил беспощадно.— Сшибли насмерть старого человека и бросили на дороге. Не оказали даже помощи!

Вахид Мирабидов слезно промычал что-то и снова обхватил голову руками. Бурибаев пошатнулся, будто его ударили в грудь.

— О, молодежь, молодежь! Я предупреждал Кадырджана...

— Кадырджан мальчишка. А вы, где вы были? Какого черта вас туда понесло? Разве время сейчас охотиться на архара?

— Виноваты! Виноваты! — стонал Джамал Бурибаев.— Но, раис! Вы должны что-нибудь придумать! Найдите выход! Вы можете утрясти дело. Вам все под силу! Подумайте, если мы попадем под следствие... Нет, нет, что-нибудь придумайте, дорогой!

Джамал Бурибаев шагнул из-под темного лиственного навеса. Что за вид! Голову покорно склонил, просительно смотрит на Атакузы. Куда осанка девалась! Где гордо-холодная мина на лице, от которой робели и тряслись посетители,— ничего не осталось. Старик, суетливый старикашка! Дутый пузырь, нытик!

А он, Атакузы, совсем ослеп, дядю своего не щадил, столько боли причинил старому человеку. Из-за кого! Ну, натворил дел, нарушил закон — так тебе же не шестнадцать, хоть держись достойно. Да и не впервой творить грех. Однако, видать, фронт тебя не очистил, нет, не очистил... И второй дрожит, как пойманный заяц. Домла! Ученый муж!

Атакузы брезгливо поморщился.

— Хотите, чтобы я придумал что-нибудь? Вы творили беду, а я расхлебывай! — Атакузы задыхался.— А что же вы третьего дня ничего не придумали, когда надо было помочь мне? Не только не придумали, а, наоборот, постарались свалить со своей головы на мою. Весной, когда распорядились выдать удобрения и запчасти, держались так, будто вынули из собственного кармана. Не беспокойся, мол, Атакузы, бери, даю из особого фонда! Это в глаза. А за глаза — взяли и записали на счет района. Из-за вас я вчера краснел в обкоме, не сегодня завтра придется краснеть и на бюро райкома...

— Дорогой мой! — кинулся к нему Бурибаев, попытался схватить за руку.— С удобрением утрясем как-нибудь, все устроим, дорогой. Только этот вопрос уладьте. Вы же умный человек, понимаете: если попадет в милицию, плохо будет и вам, и нам. Вы тут хозяин, у вас авторитет. И товарищ Шукуров вас ценит...

«Товарищ Шукуров»! Вахид Мирабидов будто проснулся — поднял голову:

— Да, да. Конечно, Шукуров. Я тоже поговорю с Абрарджаном. Машину мне! Сейчас же поеду...

Кто-то с треском распахнул ворота, громко протопал

по двору, хлопнула дверь кухни. В окнах зажегся свет, кто-то отчаянно зарыдал. Ну денек!

Атакузы проглотил душившие его слова, кинулся в дом.

— Что еще стряслось? Кто там вопит?

— Дочь ваша...— Алия заступила дорогу.

И без того взвинченный Атакузы взорвался:

— Чего она так убивается, твоя дочь? Не найдет себе мужа? Цепляется за подонка. Ничтожный сын ничтожного отца!

Алия отвела взгляд от страшных, налитых кровью глаз мужа.

— Вы не знаете, ничего не знаете...

— Что там еще?

— Дочь ваша... дочь...

— Да не тяни ты резину!

— Беременна она...

— Подлец! — Атакузы прижался лбом к косяку двери.— Где он, сам поговорю с ним. Не он ли пробежал сейчас по двору? — Атакузы сверкнул глазами, сжал зубы.— Где этот мерзавец? Я хочу...

Он не кончил. Дверь робко отворилась, вошла Тахира.

Густые черные волосы, обычно падавшие на плечи, были растрепаны, глаза опухли от слез. Тахира тихо, беззвучно подошла к отцу, опустилась на колени и мокрым от слез лицом прижалась к его сапогам.

— Дададжан, папочка мой милый, любимый....

5

Потом, когда все кончилось, Атакузы не раз вспоминал последний свой разговор с дядей. Но почему-то путь до школы начисто стерся из памяти. Не помнил, как вышел из своего дома, как очутился у дяди... Одно лишь каждый раз вставало в глазах — дочь, Тахира. Тихо, беззвучно приближается к нему, молча опускается на колени, прижимает лицо к его сапогам...

У Нормурада-ата он застал Прохора и Хайдара. Домла сидел за большим письменным столом, подперев руками тяжелую голову. Прохор ходил взад-вперед по узкому проходу между книжными шкафами. Он был в больших кирзовых сапогах, в старой потертой гимнастерке, с потускневшей бурой каской мотоциклиста на

голове. У окна, прислонившись к стене, стоял Хайдар.

Все трое, как по команде, повернулись к Атакузы, едва тот вошел. Нормурад-ата настороженно поднял на него глубоко ввалившиеся глаза.

Атакузы набрал полную грудь воздуха.

— Дядя! Я виноват перед вами...

Домла все глядел на него усталыми глазами. Хайдар опустил голову, Прохор стал одергивать гимнастерку, расправив складки под широким кожаным ремнем.

— Я сильно виноват перед вами! — повторил Атакузы и, стараясь унять волнение, глухо кашлянул.— Но сейчас я пришел не для того, чтобы просить прощения. За этим я еще приду. На коленях буду просить...

Домла вдруг заморгал глазами.

— Не надо, не надо...

— А сейчас я пришел, чтобы...— он опять набрал полную грудь воздуха,— чтобы просить совета у вас, у двух уважаемых аксакалов!

Атакузы медленно обвел глазами всех троих. Ни поддержки, ни сочувствия — ничего не встретил в ответных взглядах, только настороженность. Голос Атакузы дрогнул:

— Я знаю, случилось ужасное! Такое, что трудно простить.— И жестче: — Но и сам этот анашист, я говорю про Кудратходжу, и сам он был в дымину пьян! Дня ведь не проходило, чтобы не пил, да еще и анашой обкуривался. А разговоры его? Сами слышали. сбивал молодежь с пути...

— Все! — прервал Прохор.— Понятно! Он пьяница, он наркоман. Он кулацкий элемент. Значит, не стоит и огород городить! Все шито-крыто.— Прохор насмешливо блеснул синевой глаз, оглянулся на Нормурада-ата и Хайдара. Те сидели, уставившись в пол.

Атакузы весь подобрался, готовый кинуться на этого кривоногого мотоциклиста, будто коршун на осмелевшего петушка.

— А что, по-вашему, не был он кулаком?

— Если и был, то не мы с тобой, Атакузы, а советская власть и наказала его. Советская же власть и помиловала.

— Словом, по-вашему, из-за этого навозного жука, из-за вражьего отребья, подстрекателя будем губить жизнь двух молодых людей?

— Ого! — Прохор замигал синими чистыми, как у ребенка, глазами.— Раз он пьяница, так замнем преступление? Ваши дружки убили человека. Попирая законы, подстрелили архара. А вы, значит, их — под свое крыло!

— Что же, по-вашему, архар дороже людей?

— Ого! — повторил Прохор.— Одним запрещено, а другим — можно! Да существуют ли для вас, в конце концов, законы и правила? Или, думаете, законы писаны для других? А вы можете творить, что вам вздумается? — Весь побледнев, по-петушиному вытянув шею, посмотрел на Нормурада. Но тот молчал. Большая медно-красная голова была по-прежнему опущена, только вены сильнее набухли у висков да темные большие руки, лежавшие на коленях, начали мелко-мелко дрожать.

— Хорошо! — сказал Атакузы.— Раз так, разговор кончен. Но я скажу вам, кто вы!..

— Отец! — крикнул Хайдар.

Нормурад-ата встал, тяжело опираясь о стол. В широком, скуластом лице не осталось ни кровинки.

— Ох ты, дорогой, дорогой мой племянник! — сказал, тяжело ворочая языком.— А я сижу, радуюсь: уразумел мой Атакузы кое-что. Все последнее время камни так и падали вокруг тебя. Надо бы извлечь урок, да представляешь ли хоть себе, о чем говоришь с нами? Ты начисто, Атакузы, забыл об одном: есть на свете совесть, есть честность!

Дядя трясся, как в приступе падучей. Атакузы крепче сжал зубы. Выйти бы хоть молча! Чувствовал — откроет рот, проклянет дядю. Закрыл глаза. И снова увидел Тахиру. Дочка, любимая дочка, снова беззвучно упала перед ним на колени. Боль вырвалась наружу.

— Совесть! — выкрикнул.— Ладно уж, дядя! Чужая боль не ранит тела. Пусть я кажусь вам самым бессовестным человеком на свете. Пусть! Но говорил вам и еще повторю: чужой, сочувствующий беде, лучше бессердечного родича!

Хайдар, побледнев, шагнул к отцу:

— Остановитесь, отец! Есть же границы...

— Отойди, размазня!.. Спасибо, дядюшка! Есть такая поговорка: беркут, состарившись, становится коршуном. Коршуном клюете родню свою! Спасибо! — Атакузы отшвырнул в сторону сына, пинком распахнул дверь и исчез во тьме.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

I

Кудратходжу собирались хоронить на следующий же день. Но, непонятно почему, тело увезли вдруг в район, на экспертизу. Продержали два дня. Лишь на третий разрешили предать земле. На похороны собралось человек двадцать пять, все больше старики. Пришли и Прохор с Уразкулом. Был и Хайдар. Он не хотел идти, но дядя настойчиво просил:

— Сходи. Издавна говорили: на покойников обиды не держат. Я бы и сам пошел, да, видишь, занемог.

Всю дорогу с кладбища домой Хайдара не оставляла тревога. Вызывали в район Кадырджана — на допрос. Сегодня и отца вызывали то ли в милицию, то ли в райком. В доме неспокойно. Тахира не перестает плакать, мать места себе не находит.

Хайдар вошел во двор и невольно остановился. Тихо, безлюдно, словно брошенный очаг. И еще сильнее подступила тревога. Прошел в конец сада, к арыку. Солнце уже спряталось за горизонтом, но жара все еще не спадала, воздух оставался горячим, а в саду даже было душнее, чем днем.

Хайдар поплескался в арыке, чуть освежился. Поднялся было, чтобы уйти, и невольно вздрогнул. Высокие, в рост человека, камыши по ту сторону арыка раздвинулись, и в них показалась растрепанная лохматая голова с лихорадочно горящими глазами. Кадырджан в распахнутой до пупа серой рубашке, в потертых джинсах мрачно глядел на Хайдара.

— Я жду Тахиру. Ты мне тоже нужен!

Кадырджан, легко подпрыгнув, ухватился за ветку тала и, перелетев арык, очутился рядом с Хайдаром.

— Что уставился на меня? Не узнаешь?

— Трудно узнать... Что тут делаешь?

— Я же сказал, жду Тахиру.

— Тахира не выйдет.

— Ты так думаешь? — усмехнулся Кадырджан.— Пока не свалилась беда на мою голову, я был нужен! В зятьки торопились записать. А попал в беду, так вы в кусты, дорогие родичи? А?

Хайдар чуть отступил назад.

— Послушай, Кадырджан, чего ты от меня хочешь?

— От тебя лично — ничего. Я отца твоего прошу, Атакузы-ака! Мог бы замять дело. Мог бы!..— Последние слова Кадырджан выкрикнул высоким плачущим голосом.

Хайдар брезгливо посмотрел на него:

— Плетешь, Кадырджан, не знаю что. Насмерть ведь сшиб человека. А теперь просишь отца, чтобы собой прикрыл тебя. На что толкаешь его! Он и без того страдает — из-за тебя, из-за отца твоего. Сегодня вызывали в район...

— Подумаешь — вызывали! Если захочет, все уладит.

— Вижу, тебе не Тахира нужна, а тесть. Да ты хоть любил ее?

— А какая теперь разница: любил я ее или нет? — Зеленые кошачьи глаза Кадырджана сузились, кончик длинного носа странно шевельнулся.— Не пойму вашу семью. Неужели вам, тебе и отцу, безразлична судьба Тахиры? Подумали бы, что станет с ней без меня. Ведь она уже... Дошло до тебя?

— На этом выехать хочешь? — Хайдар двинулся на него. Он был страшен в эту минуту. Высокий, гораздо выше Кадырджана, лицо налилось темной кровью.— Да, дошло до меня. Дошло: ты — сволочь последняя! Раньше я еще сомневался. Спасибо, открыл глаза. Мерзость, а не человек! — Он сгреб в кулак ворот рубашки Кадырджана. Затрещала ткань.

Оставив в руках Хайдара большой лоскут, Кадырджан отскочил. Снова ухватился за ветку тала, перемахнул через арык.

— Хорошо, ладно, я мерзость,— грозился, стоя по ту сторону арыка,— но запомни, дорогой сородич, запомни, если меня засудят, не видать тебе Латофат! Как своих ушей!

Хайдар молча повернулся, зашагал к дому. Подальше от этих кошачьих глаз. Они так и манили — броситься через арык и наотмашь, наотмашь, справа и слева по этой шакальей физиономии...

Бедная Латофат! Вчера ночью они опять вместе шли от дяди. Оба молчали. Думали об одном и том же. Но что сказать, чем успокоить ее? Подошли к дому, Латофат прижалась к Хайдару — искала защиты.

— Я знаю, брат все переживет, еще молод,— заговорила с тоской.— Но мать... Что будет с матерью? Я боюсь...

Хайдар молча отвел с ее лица легкую прядь, осторожно поцеловал лоб, губы. И сейчас видит, как уходила она: тихая, поникшая...

На айване шла непонятная возня. Мать крепко держала Тахиру, а та куда-то рвалась. Алия увидела Хайдара, отпустила дочь.

— Спроси, спроси ее, куда она бежит! — сказала, вытирая слезы.

Тахира сухими глазами затравленно смотрела на брата.

— Пойду, мне надо поговорить.

Хайдар загородил дорогу:

— Я уже говорил с ним. Можешь не ходить. Я скажу, чего он от тебя хочет. Он хочет, чтобы любимая дочка поднажала на отца. Ему надо, чтобы Атакузы прикрыл преступление. Чувствуешь, куда он нас толкает?

Тахира, закрыв руками лицо, склонилась на курпачу, волосы упали черным занавесом.

— Доченька, ну что ты?..— уговаривала Алия. Но сын глазами показал: «Оставьте нас вдвоем». Опустился на курпачу рядом с сестрой. Осторожно обнял за плечи.

— Тахира, сестричка, ты же сама говорила... Он же не любит тебя. Может, боишься — что скажут люди? Выкинь это из головы. Мы все — с тобой. Ты же взрослый человек...

— Нет, нет! Я не могу, не могу без него! — затряслась Тахира.

Руки Хайдара медленно сползли с дрожащих плеч сестры. Он смотрел на нее с удивлением и неприязнью.

— Такого полюбить! Он же думает только о себе!

— Пусть! — Тахира откинула волосы с лица, с яростью взглянула на брата.— Ну и пусть! И пусть плохой!..

— А ты... Нет у тебя ни достоинства, ни гордости. Родного отца толкать на преступление! Да ты сама такая же эгоистка! — крикнул Хайдар и вдруг увидел отца. Атакузы молча стоял у колодца под пологом из виноградных лоз.

Тахира тоже увидела, вскочила на ноги, с рыданием кинулась к нему.

— Ну, ну, не надо, успокойся, доченька, успокойся.— Атакузы погладил ее плечо и прошел мимо Хайдара в дом.— Пойдем, разговор есть, сынок.

Подошел к окну, широко распахнул створки и долго стоял — глядел в сад, на красные в закатном солнце деревья. Лицо было сурово. Как он осунулся, какие горькие складки пролегли по обе стороны орлиного носа!

— Зачем вас вызывали, отец?

Атакузы тяжело вздохнул:

— У дочери беда. Плачет, убивается, а я ничем не могу помочь. Почти четверть века жизни своей отдал делу, лучшие годы жизни — и вот, не могу помочь ни ей, ни себе...

Хайдар смотрел с недоумением. Он не понимал отца. Так уже было однажды — когда отец заговорил с ним о премии для Мирабидова.

— Ваши четверть века, отданные делу, и беда Тахиры... Какая тут связь? — спросил осторожно, боясь причинить боль.

— Да? Ты так думаешь? — Атакузы не глядел на сына, он по-прежнему смотрел в сад.

— Избаловали мы ее. Никого и ничего не хочет признавать, считается только с собой.

— Вот как? — Атакузы повернулся спиной к окну, с ног до головы измерил сына долгим, мрачным взглядом.— Ты заговорил языком товарища Шукурова,— усмехнулся.— Откуда это у тебя? К деду все бегаешь?

Хайдар опустил голову. И опять осторожно, чтоб не слишком задеть больное место, сказал:

— Зачем вы так? Ведь если он и говорил что-то не совсем приятное, то ведь добра желал... Помиритесь с ним!

Атакузы отвернулся.

— Помириться, говоришь? Ну что же, помирюсь. Вот не сегодня завтра снимут с работы. Тогда и пойду помирюсь...

Тяжело сел на диван, опустил голову на руки. Вчера опять был разговор с Шукуровым, трудный и длинный, и сейчас этот разговор в мельчайших подробностях всплыл в памяти.

2

«Эх, Атакузы-ака, Атакузы-ака! Весной мы были с вами в доме вашего дяди Нормурада Шамурадова в Ташкенте. Помните? Вы повели меня в его библиотеку и там рассказывали кое-что о Бурибаеве. Должен признаться, я тогда уж подумал: зачем Атакузы-ака ищет дружбы с этим человеком? Не зря же говорят: кто к казану притронется — измажется непременно. Зачем же вам было обнимать этот черный казан? Как могли вы, Атакузы, давать ему взятки?»

«Какие там взятки, Абрар Шукурович, фрукты-мрукты, мелочь, так сказать...»

«Да если бы даже даром он давал вам запчасти и удобрения, как могли вы идти на это? Запускали руку в карманы своих друзей!»

«Вы не знаете, товарищ Шукуров. Он уверял меня, говорил — из другого источника. Если б я только знал, что все это он отнесет за счет района...»

«Будто и не знали! У него что — собственные заводы удобрений и запчастей? Как тут ни крутись, а облагодетельствовать вас он мог только за счет других».

«Да, теперь я вижу. Поступил нехорошо. Но не для себя старался, товарищ Шукуров, ради своего колхоза».

«Странная у вас логика. Подумайте, что получится, если каждый будет стараться только для своего колхоза».

«Спасибо, товарищ Шукуров. Вы всегда изрекаете одни лишь истины. Вас послушать — в жизни вы ни разу не оступились, очень правильный вы человек. Но хочу вас спросить, товарищ Шукуров: чем вы оцениваете нашу работу, работу раисов?»

«Да, мы оцениваем вашу работу по выполнению плана. «Хлопок — наша гордость» — не просто фраза. Все, чем живем мы в республике, что выкладываем на дастархан,— все зависит от хлопка. Но это вовсе не означает, что надо делать план всеми, в том числе и недозволенными средствами!»

«Простите, но вы требуете плана, не подкрепив это требование материально. Может, вы думаете, у раисов есть собственные заводы удобрений и запчастей? Жесткое требование и толкает нас на те недозволенные средства».

«Есть еще трудности, да, есть... Снабжение хромает.

Я не отрицаю. Но при чем здесь лично вы? Только ли о плане думали, пускаясь в обходные пути? Может, все-таки славы хотелось? Может, это подталкивало? Вот и не заметили, и до личных выгод дело дошло. Ну и, соответственно, до недозволенных средств. Не заметили, как...»

«Закружилась голова — это вы хотите сказать?»

«Напрасно усмехаетесь. Между прочим, именно так оно и есть. Не будем трогать ваши прежние срывы. Возьмем самое последнее. Близкие вам люди совершили преступление. Как вы поступаете? Жмете на врачей, принуждаете дать ложное заключение о смерти. Уничтожаете акты сотрудников ГАИ. Запугиваете егеря лесхоза Поликарпова. Прикрываете браконьеров. Словом, попираете все законы! Так что иронизировать насчет заводов не время. Скажите сами, только честно: что мне остается делать при наличии всех этих фактов?»

«Этого я сказать не могу. Моя судьба в ваших руках. И не только моя. Ко мне вы можете быть безразличны, однако подумайте о своем тесте. Ведь и он в числе браконьеров!»

«Что же, законы писаны для всех».

«Вот как?.. Вы, товарищ Шукуров, хотите во всем быть прямым, как палка. Однако и палку можно согнуть. Жизнь — не бетонное шоссе. Встречаются ведь и ухабы, и очень крутые иной раз повороты. Не такие, куда более крупные промахи люди поправляют без шумихи!»

«Интересно вы говорите. Но это не для меня!»

«Да, вижу, не для вас. Креслом дорожите».

«Опять кресло. Кому что, а старухе мерещатся только ее калоши! Обижаться, конечно, легче. Не хотите думать, все бегаете к товарищу Халмурадову. Вы простите меня, Атакузы-ака, но скажу откровенно: ваш закадычный друг очень помог вам прийти к сегодняшнему дню. Река портит берег, а излишняя похвала — человека! Слыхали такое? Это самое я сказал и вашему другу Бекмураду Халмурадовичу!»

«Благодарю за откровенность!»

«Могу вас порадовать — своих позиций он не сдал. Все еще защищает, считает вас незаменимым!».

«А вы, конечно, ответили — незаменимых не бывает».

«Нет, на этот раз ошиблись. Оставить вас раисом невозможно. Но кого поставим на это место? Не знаю.

Секретаря парткома? Но ведь она просто кукла, танцует под ваш бубен...»

«А у других? У других не танцуют».

«Подумайте сначала о себе».

«Ну что ж, так издавна ведется: того, кто упал, все топчут».

«Хватит ныть! Батыр, даже пораженный стрелой, остается на поле брани. Признать свои ошибки может только человек мужественный, благородный. Я знаю и ваши хорошие стороны. По-человечески сочувствую вам, но обманывать не хочу. Завтра состоится бюро, и нет никакой надежды, что вы останетесь на месте...»

«Неужели никакой? Правда, я сейчас упрямился. Не знаю почему, но трудно так сразу все признать. Но поверьте — за эти дни я передумал, пересмотрел многое. Если оставят меня, искуплю все грехи. Трудом бы я смог оправдать себя».

«Нет, Атакузы-ака, теперь это невозможно. Вы перешли все границы. Люди не поймут нас, если все это останется без наказания. Могу посоветовать лишь одно: выше голову, Атакузы-ака! Лихому джигиту — лихая жизнь!..»

3

Шукуров открыл глаза — ему послышался голос Махбубы — и удивился: он сидел на диване, привалясь к подушкам. Как сидел ночью, так и заснул — даже не раздевался.

В комнате было уже светло. Со двора доносились приглушенные голоса. По-видимому, тесть и теща готовились к отъезду.

Шукуров вспомнил о ночной стычке, на душе стало опять нехорошо. Махбуба... Приходила и она — еще до тестя. Села рядом, робко спросила, пряча глаза:

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Ничего,— ответил он и отвел глаза от ее просящего взгляда.— Может, кто другой и сделал бы, а вот я не могу.

— Он уже старый. Пятно ведь на всю жизнь...

— Пусть особенно не волнуется. Ну оштрафуют, ну узнают в институте. Что ж делать? А обходить закон — новое преступление. Так, по крайней мере, честнее.

Жена незаметно вздохнула. Он взял ее руку в свои:

— Махбуб, ты должна понять: дело не в том, что я боюсь, не решаюсь предпринять что-либо. Но это тот случай, когда вступают в силу законы морали.

Махбуба ничего не ответила, вышла молча. Он надеялся, жена объяснит все родителям. Может, не сумела убедить? Так или иначе, неприятный разговор с ними состоялся. Точнее сказать — с тещей. Подключив в дело ее, тесть как-то стушевался. А уж Назокат-биби «выдала» на полную мощность.

Начала издалека: в этом мире не дождешься, чтобы платили за добро добром. Закончила сетованиями на зятя: отдали ему любимое дитя, доверили. Откуда такое отношение к ним? Чем они его заслужили? И наконец рыдания и угрозы: увезет дочь, заберет внучек...

...Дверь осторожно открылась, вошла Махбуба. В припухших глазах следы бессонницы, лицо побледнело, осунулось — тоже нелегко.

— Родители собрались уезжать. Отец хочет вам что-то сказать, можно ему войти? — Махбуба подавила всхлип, не стала ждать ответа. Не успела закрыться за нею дверь, явился Вахид Мирабидов.

— Можно, сынок? — вид напроказившего мальчишки, глаза жалобно моргают, руки покорно сложены на животе. Редкие пепельно-серые волосы, обычно так благопристойно обрамлявшие лик, сплелись и взлохматились. Встал перед зятем, сиротливо склонил голову. У Шукурова невольно сердце сжалось.

— Прошу вас, отец, садитесь.

— Благодарю, сынок. Пришел вот попрощаться и... извините уж старика, снова я об этом надоевшем вопросе. Надеюсь, мой возраст...

— Я слушаю вас...

— Я, собственно, о... о вашей милиции. Оставят они меня, старика, в покое, учтут мою седину или будут еще вызывать, трепать нервы? — Вахид Мирабидов как-то даже воровато взглянул на зятя и сразу отвел глаза.

Шукуров молча посмотрел в окно. Опять за свое! Снова старый халат да старый кушак! Когда только, по какой причине родилась в нем и пустила корни уверенность, что секретарю райкома все под силу? Ведь вот как сказал — «ваша милиция»! Думает, что так и должно быть в жизни. И не темный же, безграмотный про-

стак — ученый, солидный человек! То-то и есть — ученый ли?.. Шукурову припомнился ташкентский разговор с домлой Шамурадовым. Как он тогда говорил: с позволения сказать, ученый. Это ведь о Мирабидове. Шукуров теперь точно знает. А как хотелось бы Шукурову видеть своего тестя таким же чистым и великодушным, как домла Шамурадов. За шестьдесят тестю перевалило, а все норовит свернуть на кривую дорожку.

Шукуров с трудом подавил тяжелые мысли.

Вахид Мирабидов по-прежнему стоял у порога — руки на животе, глаза просительные, терпеливо, с робкой надеждой ждал. Вразумлять этого человека — напрасный труд. Но обидные слова все же сорвались с языка:

— Удивляюсь я вам, отец!

— То есть?

— Вы же ученый, а мыслите... Считаете, можно обойти любой закон...

Слова зятя отняли последние силы. Вахид Мирабидов беспомощно опустился в кресло у дверей.

— Прошу вас, сынок... Не будем касаться юридического аспекта...

— Да я и не собираюсь. Просто удивительно: когда в вас завелось все это, все эти взгляды? — воскликнул Шукуров. И вдруг вырвалось: — Может, когда писали свои статьи против домлы Шамурадова?

Глаза Вахида Мирабидова округлились.

— Нормурад Шамурадов! — застонал он.— О аллах! И вам, мой сын, уже донесли. Не спешите судить. Вы же знаете, что это были за годы. Да и сколько я уже перенес за ту свою ошибку. Как я сам казнил себя, как терзал! Неужели еще мало?

Из глаз Вахида Мирабидова закапали слезы. Шукуров сжал губы, удерживая готовые вырваться слова. Перевел дыхание.

— Простите, может, я не прав... Но мне хочется видеть вас прямым и честным, отец. Теперь, когда вы уже не молоды, должны же, наконец, подумать, как говорится, и о душе.

— Хорошо, сынок, хорошо. А теперь разрешите откланяться...— Вахид Мирабидов торопливо попятился к двери, словно бежал от беспощадных слов зятя.

«Кажется, я перегнул палку,— подумал Шукуров. И сам же отвел эту мысль.— Каждый жнет то, что сеет». Шумно вздохнув, будто освободился от тяжести, вышел

вслед за тестем. Что бы там ни было, а гостей полагается проводить. Этого требовали и долг хозяина, и простое приличие.

4

Домла Шамурадов почувствовал, что летит в бездонную пропасть, и очнулся.

В комнате было полутемно. В углу, под зеленым абажуром, Латофат читала книгу, как школьница, подперев подбородок руками. Уловив беспокойное движение домлы, она обернулась:

— Вам что-нибудь подать, дедушка?

— Нет, спасибо. Где Хайдар?

— Его вызвали в город. Задерживается что-то...

«Почему эта девушка здесь? Каждый день приходит, дежурит до полуночи. Наверно, Хайдар попросил. Одна с больным стариком. Напрасно он так делает».

Нормурад-ата почувствовал себя плохо в ночь после бурного разговора с Атакузы. «Предынфарктное состояние»,— определил врач и приказал: лежать и не двигаться. А он-то рассчитывал поработать...

— Может, чаю подать?

— Нет-нет...

— Вы просили почитать Герцена...

— Да, да почитать,— сказал домла.— Почитаешь попозже...

Омар Хайям и Навои — их стихи лежали на столике у дивана. Но и раньше, и теперь — всего ближе был домле Герцен, особенно «Былое и думы». Эта книга в последнее время стала его постоянным собеседником. Книга рассказывала о тяжких днях человека, о страдании, и все — с мудрой, грустной улыбкой. Это как раз и нужно было домле. Книга лечила его собственную грусть, уводила от горьких воспоминаний. Но сейчас и она...

Странно, вот домла снова закрыл глаза и сразу опять начал опускаться все в ту же бездонную черную пропасть. Там, на дне пропасти, он увидел Гульсару-биби, она подняла на него печальные насурьмленные глаза. Что это — бред? Нервы шалят — так сказал врач из города, его приглашали осмотреть домлу. Прав врач, расстроились нервы от горьких дум. А думы все о том же, об Атакузы!..

Нормурад-ата знает, что племянника вызывали и к

следователю, и в райком, что в колхозе началась ревизия. Черные тучи над головой Атакузы уже сгустились, вот-вот грянет гроза. Одна и та же мысль не дает покоя: он, Нормурад, не сумел отвести беду! Сколько раз начинал говорить с Атакузы и всегда срывался. Конечно, Атакузы сгубило тщеславие. Когда только подцепил он эту хворь?.. Э, брось, старик! А сам ты не был ли заражен той же болезнью? Тебя возмущала даже мысль, что могут перечить тебе — известному человеку, ученому! Вот откуда все, вот почему и орал, гремел! Тоже— громовержец! Неужели так все и кончится? Поговорить бы с ним, с родным человеком, по душам!.. Теперь он сумел бы это сделать. Откроет племяннику самые заветные мысли. А если не успеет? Что тогда? Нести все с собой в могилу? Все, все может случиться. Недаром, наверно, мерещится ему Гульсара, все зовет и зовет к себе.

Опять, опять подступает знакомая боль в груди. Домла крепко сжал зубы, терпел. Вот начало затихать. Позвал Латофат.

— Дитя мое, возьми из ящика стола бумагу... и ручку... Сядь вот здесь, мне надо кое-что продиктовать...

Латофат поставила на столик у дивана зеленую лампу, приготовилась писать. Какие тревожные, настороженные у нее глаза. Надо отпустить домой...

Он зажмурился — обдумывал. Вот уже больше недели мысленно разговаривает то с Атакузы, то с Шукуровым. Сейчас, когда подозвал Латофат, казалось, слова собрались на самом кончике языка. Странно, куда они вдруг исчезли?!

Латофат, обеспокоенная молчанием, нагнулась:

— Дедушка! Может, подать лекарство?

— Нет.— Нормурад-ата открыл глаза, посмотрел на Латофат и, будто вдруг схватив нужную мысль, заторопил: — Пиши! «Дорогой Абрарджан!» Нет, лучше так: «Первому секретарю районного комитета партии товарищу Шукурову»..

Нормурад Шамурадов на миг замолчал, перевел дыхание и, уставившись в одну точку, начал медленно, спокойно диктовать, обдумывая каждое слово:

— «Уважаемый Абрар Шукурович!

Вы, я знаю, в курсе моих дел, и потому обращаюсь именно к Вам. За свою жизнь я собрал довольно основательную библиотеку. Подбирал с расчетом на моло-

дого человека. В ней есть книги по науке и технике, философские труды. Особенно много художественных произведений и книг по искусству. Эту библиотеку более чем в десять тысяч томов я подарил, Вы знаете, средней школе колхоза «Ленин юлы». Очень прошу Вас — проследите, чтобы книги не попали в руки случайного человека. Надо подыскать такого, кто ценит и любит книгу. Лишь тот, кто сам стремится к знаниям, может помочь молодому поколению кишлака воспользоваться этой, скажу без скромности, редкой и ценнейшей коллекцией... Это моя первая к Вам просьба. А теперь о второй...»

Нормурад-ата перевел дыхание, подождал.

— «Как мне стало известно, на днях бюро райкома будет обсуждать персональное дело моего племянника, председателя колхоза «Ленин юлы» Атакузы Умарова.— Тут домла закашлялся, заговорил глухо.—Вы знаете, как я, будучи коммунистом, отношусь к его ошибкам, критически. Я никоим образом не собираюсь, да и не имею ни морального, ни иного права оказывать какое-либо влияние на решение райкома.

Мне, старику, приходилось сталкиваться с опасным явлением: обсуждая ошибки человека и при том решая его судьбу, иной раз начисто отбрасывают его прежние заслуги. Раньше такое бывало нередко. Оттого и взял на себя смелость заговорить здесь об объективности. И еще у меня просьба лично к Вам, товарищ Шукуров: какое бы решение ни вынесло бюро, как бы строго коммунисты ни осудили Атакузы, прошу — не отвернитесь от него, не махните на него рукой.

К несчастью, жизнь так сложилась, что между дядей и племянником не вышло близости. Мне, как человеку, умудренному жизнью, полагалось быть более терпимым. Нет, не к его ошибкам,— я должен был бы внимательно выслушать его и, главное, понять, что толкало на неправильные поступки. Тогда, может, я и успел бы предпринять что-нибудь. Но, как говорится, горбатого могила исправит. Мое упрямство подвело и меня, и племянника. Очень прошу Вас теперь, когда Атакузы окажется на перепутье, помогите ему. И то, чего не сделал я по ослиному своему упрямству... (Слова: «по ослиному» зачеркни-ка, доченька!), сделайте Вы. Прошу Вас, станьте его советником и наставником. Если бы Вы исполнили мою просьбу, я мог бы умереть спокойно.

Не знаю почему, но с первого раза, как Вас увидел, меня потянуло к Вам. И знаете, показалось, будто повидал своего сына Джаббара. Человек я необщительный, порою и резкий, немало обидел людей. Боюсь, не сказал ли и Вам резкого слова — простите старика, если что было, товарищ Шукуров. (Слова «товарищ Шукуров» зачеркни.) Прошу простить меня, сынок. С глубоким уважением профессор Нормурад Шамурадов»... Слово «профессор» убери...

— Дедушка! — Латофат бросила ручку на стол и, кусая дрожащие губы, наклонилась к Нормураду-ата. Недовольный взгляд остановил ее.

— Садись, доченька. Мне надо еще кое-что сказать. Возьми другой листок.

Латофат не узнала Нормурада-ата. Глаза пылали, на острых скулах зажглись два темных пятна, иссохшие губы шептали о чем-то. Комната, наполненная зеленоватым светом, погрузилась в тишину, слышалось только тяжелое, прерывистое дыхание старика.

— Пиши! «Моему племяннику»... Нет, не то. Начинай так:

«Родной мой Атакузы!

Всю жизнь я не любил тех, кто сначала обидит человека, а потом кается. И вот приходится самому. Такая у меня судьба. Но поверь, мои слова идут от души. Мы оба с тобой иной раз не щадили друг друга. Знай, дорогой, в моем сердце нет к тебе ни капли обиды. Только благодарность. Ты в дни нашей с Гульсарой старости и одиночества поддерживал нас и согревал наши души.

В последнее время я постоянно думал о тебе. Свои думы, беспокойство о твоем будущем я изложил в письме к Шукурову. Хочу надеяться, вы с ним найдете общий язык.

У тебя очень хорошая жена, дорогая моя невестка Алия, да пребудет такою во веки веков. Я всегда видел от нее только одно хорошее. Ничто не остается без ответа в этом мире: ни добро, ни зло — все возвращается с лихвой. Да обернется вам в тысячу раз умноженной ее ласка и доброта».

Нормурад-ата замолчал. Стараясь победить дрожь в голосе, продолжил:

— «Я благодарен Хайдарджану. Он имел полное право обижаться на меня, а вот сумел подавить в себе

обиду, утешил в дни тяжелой болезни. Страшно подумать, как было бы мне одиноко без него. Так пусть он будет счастлив в жизни! Да станут счастливыми дни его с нареченной. Во веки веков!

Теперь о деле: на книжке у меня хранится около трех тысяч рублей. Две тысячи отдай школе. Хочу, чтобы купили новые полки для книг. Останется тысяча — ее истрать на похороны.

Мой дом в Ташкенте завещаю Хайдарджану, пусть живет там вместе с молодой женой. Пусть Хайдар там продолжит свою научную работу. Он теперь на верном пути. Мои рукописи, законченные и незаконченные, отдаю в полное его распоряжение...»

Домла начал было говорить о своем предстоящем докладе, но что-то забулькало в горле, он поперхнулся, замолк.

Латофат отбросила ручку, припала к груди старика.

— Зачем вы себя надрываете, дедушка? Еще успеете, вы будете жить! Жить! И на нашей свадьбе будете, будете!

Нормурад-ата с усилием приподнялся, уперся локтем в подушку, провел рукой по лбу девушки, по ее распустившимся волосам.

— Да, да, буду. Это я просто так, письмо пусть лежит, детка.

Какая милая девушка. Ведь вот как убивается по старику. И что у нее за глаза! Недаром говорится: глаза — душа человека. Очень искренние. Сейчас в них любовь и мольба. И все это к нему обращено, Нормураду-ата, его просят, умоляют — живи! Домла еще раз погладил волосы Латофат.

От волнистых, мягких волос так хорошо пахло. Нет, не базиликом — другими цветами. Но все равно Нормурад-ата вспомнил Гульсару, и вдруг снова пришла уже посещавшая мысль: «Такое же чистое нежное создание могло бы родиться и у Джаббара...»

Домла снова ласково провел рукой по волосам Латофат.

— Дитя мое, у меня был сын, звали его Джаббар...

Латофат улыбнулась сквозь слезы, закивала головой:

— Знаю, дедушка, знаю. Ваш сын был настоящим героем, замечательный человек...

— Когда я в первый раз увидел тебя, посетовал на судьбу: почему не у моего сына родилась эта славная

девушка... А ты так заботишься обо мне, столько вижу от тебя любви, наверно больше, чем если бы была моей внучкой. Ну, что плачешь? Все станет на место... Иди отдохни, детка, отдохни...

Латофат подняла мокрое от слез лицо, попросила:

— Не прогоняйте, пусть сначала Хайдар-ака придет, а потом...

— Нет, нет, пусть и Хайдар отдохнет. Ничего не случится. Мне уже лучше, даже очень хорошо. Выключи свет и иди. Я немного отдохну...

В самом деле, после писем стало вдруг легко и светло на душе. Домла ласково кивнул Латофат и закрыл глаза.

5

Колхоз «Ленин юлы» от райцентра отделяло тридцать километров. Помнится, в военные годы, когда Атакузы работал в колхозе арбакешем, тратил, чтобы доехать до города, чуть ли не целый день. Сейчас «Волга» за полчаса домчит его до места. Но и этот срок часто казался томительно долгим, и он обычно подгонял Учара — быстрее, быстрее! Сегодня впервые за последние двадцать лет ему не хочется быстроты. Не по душе даже широкая, прямая как стрела, асфальтированная дорога. Оказаться бы сейчас на пыльном, ухабистом проселке, как в детстве. Пусть бы «Волга» превратилась в старую, запряженную волами арбу. Атакузы потихоньку, не спеша доскрипел бы к вечеру до города. А там волов предоставил бы самим себе — так делал всегда, когда работал арбакешем,— и развалился бы на мешках зерна. Можно было бы не спеша обдумать все. Глядишь в безмятежное — ни облачка! — небо и спокойно, не торопясь думаешь. Только так и нужно оглядываться на почти полувековой путь.

Сегодня в двенадцать часов бюро райкома. Атакузы нарочно выехал всего за полчаса — до этого успел заглянуть в Минг булак. Незачем ему встречать сожалеющие взгляды людей — тех, кто прежде готов был кланяться даже его тени. Не хочет видеть тонких улыбок соперников. И для утешающих слов друзей уши свои закрыл. К чему? Знает уже наверняка — судьба его решена. Бесконечные проверки и ревизии не оставляли на-

дежды — всё стали валить на него: и незаконно приобретенные удобрения, запчасти, трубы для газопровода, и то, что дал колхозный газик будущему своему зятю, на котором тот задавил человека. Словом, обвинили во всех грехах, какие только есть на белом свете. Все эти проверяющие еще вчера стояли перед ним, смиренно сложив руки на животе, сквозь пальцы смотрели на всякие мелочи. Вот по их изменившейся позе, по их рвению, когда копаются во всякой чепухе, Атакузы и знает — все уже решено. Иначе разве позволили бы себе эти люди такой тон в разговоре с ним. Да раньше Атакузы и с места бы не встал — разговаривал бы, развалясь на диване!

Что же делать? Ничего не поправишь! Пусть! Эта тяжелая ноша надоела Атакузы. Он и сам уже не раз просил, чтобы его освободили от проклятой должности. Но, оказывается, одно дело — просить самому, зная наперед, что тебя не только не освободят, а, наоборот, еще будут уговаривать, чтобы остался: «Нет, нет, если вы уйдете, что станет с хозяйством? Небо опрокинется на землю!» И ты, все еще упираясь: «Я не могу», диктуешь свои условия. Совсем иное дело, когда, не спрашивая твоего согласия, те же люди сами снимают тебя с работы. Бросив в лицо твои ошибки, унизив, сбрасывают с достигнутой долголетним трудом высоты. Нет, дело даже не в этом. Самое печальное, что Атакузы лишь теперь, после того как «кувшин разбился», понял не только весь горький смысл своих ошибок, но — и это главное! — понял, на что он способен. Как много доброго мог еще сделать в жизни!

Только бы не сняли, только бы оставили! Он вытерпит все: все обвинения, суровый нагоняй, выговор. Сам признает свои ошибки. Атакузы доказал бы всем, таких бы дел наворотил — весь мир бы ахнул.

Он понимал — нет никакой надежды, сознавал всю безысходность своего положения, и все-таки где-то в уголке души еще теплилось — а вдруг! Ведь почти четверть века отдал этому колхозу, не зачеркнут же всех его добрых дел.

Машина мчалась. По обе стороны дороги тянулись бесконечные хлопковые поля. Сады приветствовали его веселым шумом, темно-зеленой краской. Проплывали клеверные поля, виноградники. Но Атакузы не видел ничего.

6

Нормурад-ата удивленно озирался вокруг. Где он? Неужели это его комната такая светлая, веселая? Казалось, очутился в другом мире.

Да, вот лампочка на столе, чайники и пиалы в шкафу, и зеркальце, как полагается, висит на стене. Но эти знакомые вещи, и комната, и сам он, наверно,— все озарено необыкновенно ярким, ликующим светом. И на душе так хорошо, легко. Кажется, чья-то добрая рука сняла тяжелый камень, тот самый, что уже больше недели давил на грудь.

Домла, сам не веря себе, приподнялся на диване, посидел немного. Что же это за чудо случилось с ним за ночь? Вчера он продиктовал свои письма и тогда же, вечером, почувствовал внезапное облегчение. Сегодня впервые за неделю спал спокойно и проснулся легко. Кстати, где эти письма-завещания? Пусть их пока никто не видит.

Письма были спрятаны в выдвижной ящик, а на столе под абажуром лежала записка:

«Дедушка! Мы приходили. Вы так хорошо спали, не захотелось будить. В холодильнике — сметана, молоко, в термосе — чай. Мы поехали в район, к отцу. Вернемся вечером.

Хайдар, Латофат».

От этой маленькой записочки еще светлее стало на душе.

Долго же он спал. Солнце вон как высоко стоит. Домла умылся, достал из холодильника сметану, взял лепешку, налил чаю из термоса и впервые за последнюю неделю с аппетитом позавтракал. Вдруг его внимание привлекла строчка из записки: «Мы поехали в район, к отцу» — и сразу вернулась тревога.

«Может, уже сняли с работы? Сняли и исключили... Нет, этого не может быть! Снять, конечно, могут. Ошибки серьезные. Но чтобы исключить из партии — нет, такого быть не может!»

И тут во дворе резко, раня слух, затрещал мотоцикл. Через минуту, стуча сапогами, вошел Прохор.

Знакомая старая каска, неизменная гимнастерка и большие кирзовые сапоги — вот он весь тут, стоит посреди комнаты, моргая невинными синими глазами.

— Что я вижу, товарищ профессор? Вы сидите — ну совсем молодой беркут! Поздравляю, дорогой, поздравляю!

Прохор подошел, обнял домлу, отстранился и еще раз осмотрел друга с ног до головы.

— Молодец, старина. Вот теперь можно поверить, действительно ты был сотником и мардикером! Крепок, крепок. Есть порох в пороховнице...

— А ты как?

— Я тоже не жалуюсь, здоровье — слава богу! — Прохор присел рядом с домлой. Принимая пиалу из рук Нормурада-ата, весело подмигнул: — Да-а... заскучает там Гульсара-биби, дожидаясь такого...

— Не в моей Гульсаре, в тебе все дело! — грустно пошутил домла.— Совсем собрался уже отдать душу аллаху, да подумал: надо сначала дописать заказанную Прохором книгу, а то ведь и на том свете найдет, не даст покоя! — Нормурад-ата взял со стола толстую папку, на которой было выведено четкими буквами: «Древо жизни», положил перед Прохором.— Вот, кончил наконец! Можешь прочитать, дорогой, тут все про твою любимую арчу,— удовлетворенно и не без гордости посмотрел на друга.

— Ладно уж, зачем...— Прохор поставил пиалу с чаем на стол.— Что толку теперь от этой твоей книги...

Вот уж не ожидал домла таких слов. Снова кольнуло в самое сердце.

— Это почему же ты так считаешь? — деревянным голосом произнес, пытаясь скрыть обиду.

— Причина простая. С Минг булаком опоздал, там все по-прежнему. Так и останется, пока твой племянник сидит на своем месте. Теперь хоть десяток таких книг напиши — толку не будет.— И встал, нервно теребя рваное ухо.

Опять Атакузы! О, дорогой мой Прохор! Попадаешь в самое больное место. Домла вынужден был замолчать — ждал, пока немного утихнет частый перестук в груди. Тихим голосом, будто берег что-то внутри себя, проговорил:

— Племянник мой уже не будет раисом, можешь быть спокоен. Не знаю, изменится ли дело с приходом другого...

— Не волнуйся, раиса твоего не так легко ссадить. Я час назад видел — катается на своей «Волге» по Минг

булаку и...— Прохор не успел договорить, замер. Побелевший Нормурад-ата, пошатываясь, встал со стула.

— Поехали!

— Послушай, Нормурад...

— Поехали, я тебе говорю! — рявкнул вдруг домла. И совсем тихо: — Сам, своими глазами посмотрю. И если только Атакузы там, при тебе скажу ему...

Не слушая, вышел из комнаты, не дожидаясь хозяина, полез в люльку мотоцикла.

«Поторопился ты, старик. Опять пошел на поводу у своего гнева. Видно, так и останешься неразумным до конца своих дней. Доедешь ли ты еще до Минг булака?»

Мотоцикл трясся, подскакивал на неровностях, и каждый раз в груди больно кололо. Но вот, кажется, и Минг булак. В лицо подуло свежим ветерком. Знакомые запахи — скошенное сено и арча, вдохнул, и будто чуть полегчало.

Чудо, чудо земное — Минг булак! Места, где прошли далекие, но так запавшие в память годы детства! Вот они — луга, где он бегал босиком, весь мокрый от росы. Такими видел их и месяц назад — не изменился вечно свежий, благоуханный Минг булак. Луга все так же ярко зеленели, их не тронул и зной, будто выкупались в здешних прозрачно-чистых родниках...

Домла смотрел и не мог насмотреться на чудо, знакомое и любимое с детства. Не мог надышаться ароматом арчового леса и скошенных трав...

Не было видно ни людей, ни машин. Но вот свернули с дороги и выскочили на поляну. Ее пересекал гравийный тракт. Здесь стояли несколько самосвалов. Краны отвешивали над ними усердные поклоны. Было непонятно, то ли грузят огромные, в обхват человека, трубы, то ли складывают на машины сваленные у дороги деревья. Однако работа шла — над поляной стоял пчелиноровный гул моторов, звенели голоса рабочих. У первого крана, в стороне от тракта, заметно выделялся среди других краснолицый великан. Он то прикладывал руки к усам-подкове, то передвигал на голове старую измочаленную тюбетейку и что-то говорил рабочим. Али-Муйлов — узнал домла. В грязной рубашке, в разбитых сапогах, но лицо круглое, красное, как спелое яблоко.

«Выходит, после скандала с Абидовым с бригадирства сняли. Перебросили сюда!» Нормурад-ата подал знак Прохору.

Мотоцикл подкатил к самому крану. Увидев стариков, сходящих с мотоцикла, рабочие приостановили работу, в ожидании уставились на них. Али-Муйлов вдруг засуетился, видно, узнал домлу, заулыбался, приложил руки к груди:

— Э-э... почтенный домла, какими молитвами в наших краях?

Нормурад-ата сделал шаг, и вдруг земля под ногами качнулась. Пришлось схватиться за руль мотоцикла.

— Где Атакузы?

— Атакузы-ака? Они уехали в город, на райком. Только сейчас и уехали...

— А вы что тут делаете?

— Мы? — переспросил Али-Муйлов и еще больше расплылся в улыбке.— Работаем, почтенный домла.

— Работаете! — Нормурад-ата затрясся, двинулся на Али-Муйлова.

— Нормурад! — Прохор попытался остановить его, но домла вырвал руку и закричал, трясясь и багровея:

— Когда только наша земля избавится от таких тупиц, как ты! Прекрати! Сейчас же прекрати безобразие! — хотел что-то еще сказать и не смог. Земля, небо, деревья, люди — все заходило, закружилось, и он, хватая руками воздух, всей тяжестью тела рухнул на подбежавшего Прохора. Последнее, что услышал,— писклявый голос Али-Муйлова, он доносился словно издалека:

— Мы переезжаем, переезжаем, домла... Из Минг булака переезжаем. Атакузы-ака велел...

7

Редкий случай — члены бюро были все налицо. Обычно едва натягивали до кворума, а тут, похоже, сто процентов. Атакузы отметил это сразу, с одного взгляда, как только вошел в кабинет первого секретаря. Молча, никого не приветствуя, пробрался на заднее место.

Оживленный говор и смешки — он слышал их, еще подходя к двери,— как по команде, смолкли. Наступила тишина.

Шукуров встал. Окинул взглядом членов бюро, посмотрел на Атакузы и не выдержал, отвел глаза. Больно было видеть, как за короткий срок скрутило этого сильного человека. Глаза в глубоких темных впадинах, скулы обтянуты, худое лицо еще больше почернело.

— Товарищи! — начал Шукуров, и в этот момент засипел телефон. Шукуров раздраженно поднял трубку, хотел уже оборвать: бюро идет, не мешайте! Внезапно лицо его побелело.— Не может быть... Когда?

Осторожно опустил трубку. Постоял с опущенной головой.

— Товарищи! — сказал тихо.— Скончался один из первых и активнейших организаторов колхоза «Ленин юлы», большой ученый, профессор Нормурад Шамурадов... Бюро откладывается. Прошу минутой молчания почтить его память...

8

Кто-то тронул плечо. Атакузы поднял голову. Над ним стоял Хайдар.

— Пойдемте, отец. Пойдемте! Люди уже пошли к нам на фатиху...

Атакузы, не видя, смотрел на сына красными воспаленными глазами. Фатиха? Люди? Он оглянулся по сторонам. Народ, только что заполнявший и кладбище, и весь караул-тепе [1], хлынул вниз. В кровавом отблеске вечерней зари длинная вереница людей — кто пешком, кто в машине, а кто и на лошади — двигалась, как отступающее войско.

— Ладно, ты иди, иди, сынок. Я приеду попозже...

— Как же так...

— Иди!..

Полные слез глаза отца и весь его горестный вид заставили Хайдара отойти.

Атакузы еще раз оглядел опустевшее громадное кладбище, багровое зарево над караул-тепе, опустил голову, призакрыл глаза. Опять, будто издалека, послышался чуть приглушенный, взволнованный голос Шукурова: «Бывают люди, жизнь которых, их деяния, пройденный ими путь навсегда остаются для нас высоким образцом. Таким человеком был большой ученый, старый коммунист, наш дорогой атахон Нормурад Шамурадов. Он прожил большую честную жизнь, полную борьбы и благородных свершений во имя счастья людей...»

Голос Шукурова затих, его заглушил другой — громкий, отчаянный: «И в мардикерах, и в боях за советскую

---

[1] Караул-тепе — сторожевой холм.

власть, и в радости, и в беде мы были вместе,— это над могилой рыдал Прохор.— Я надеялся, что и из жизни мы уйдем тоже вместе. Почему так несправедливо обошелся со мной? Почему оставил меня одного в тоске и печали, дорогой мой Нормурад? Привык принимать все удары на себя, и смерть тоже ты принял первым. Зачем, зачем только я повез тебя в Минг булак? Прости, прости ради нашей шестидесятилетней дружбы, прости, незабвенный мой товарищ!»

Много добрых слов было сказано. Уразкул вспомнил прошлое домлы Нормурада. Слова благодарности сказал директор школы. Говорил и представитель института — приехал за докладом домлы и вот попал — на похороны...

Добрые речи словно повернули что-то в голове Атакузы. Вспомнилось письмо дяди, и он плотно сжал зубы, застонал.

Еще когда читал письмо-завещание, чувствовал, будто что-то оборвалось внутри. Главное, что мучило,— не успел покаяться, попросить прощения. Дядя хоть в письме излил душу. Сказал свое последнее прости! А вот он, Атакузы,— кому он выскажет все, что так и осталось в нем? Пусть были между ними обиды, но он же любил старика, как родного отца любил! Надеялся — в душе всегда надеялся — когда-нибудь склонит перед ним колени, выскажет все, что накопилось за последние нелегкие месяцы. Кому теперь он откроет свою боль? Этой холодной могиле, безмолвному камню на ней? Или будет носить — до конца своих дней — этот тяжелый груз?

Раскаялся, говоришь? Любил? Разве не тобой нанесенные обиды омрачили его последние дни? Разве не ты из мелкого самолюбия, дрожа за свой несчастный авторитет, оттолкнул его добрые слова? И даже сейчас, когда уже грохнулся лбом об стену,— и сейчас не торопишься усмирить свою гордость! Не к нему — к себе любовь твоя. Хоть теперь, над этой свежей могилой, отважься, скажи себе правду и сам оцени свои дела. Есть на свете честность и совесть, Атакузы. Только ими и жил твой дядя.

Да, это так! От человека остаются лишь его добрые дела. А все остальное — пустой прах, приходит и уходит бесследно. Вот что понял Атакузы. Поздно, но понял. И горько,— не сможет сказать об этом дяде, опоздал...

Думы перебил шум мотора.

Кругом уже стояла тьма. Небо играло звездами. У дороги остановилась машина. Хлопнула дверца, тишину нарушили чьи-то шаги. Кто-то подбежал.

— Отец! Поедем!..

— Атакузы-ака! — позвал от машины глухой голос.— Пойдемте, нельзя же так!

«Шукуров!»

Атакузы уперся руками в землю, тяжело встал.

Он еще раз склонил голову перед свежим могильным холмом у ног, посмотрел на уходящий в темноту, будто в бесконечность, ряд могил и устало зашагал к дороге.

Теперь осталось лишь одно — нести в жизнь то, что сегодня здесь, на кладбище, понял. Нелегкое это будет дело. Но таков его долг. Люди и совесть требовали этого.

Ташкент
1974—1978

ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ — ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ

Он был Тимуридом. Внуком Железного Хромца, Потрясателя Вселенной. Он мог, следуя наставлениям деда, внезапно обрушиться на врагов и покарать их. Жестоко, безжалостно. Мог. Но душа его тянулась не к мечу, не к захвату и грабежу чужих земель, не к завоевательным походам, а к знанию.

Его слава — это поражавшая современников эрудиция: «В геометрии он был подобен Евклиду, а в астрономии — Птолемею».

Его слава — это блестящая плеяда талантов, работавших рядом с ним, под его покровительством: Кази-заде Руми, Али Кушчи, Мухаммед Хорезми, Гиясуддин Джемшид.

Его слава — это точнейшие астрономические таблицы, составлению которых он отдал десятилетия жизни.

Его слава — это изысканная архитектура медресе, возведенных им в Бухаре и Самарканде; это его обсерватория — лучшая в тогдашнем мире, подлинное чудо инженерного и астрономического расчета.

Они и сейчас величественны, развалины некогда грандиозного сооружения. Глубокая траншея, прорезавшая холм, проложенные по ее дну дуги гигантского секстанта. Вырывающаяся из-под земли, набирающая разгон траектория каменных лент словно бы символизирует дерзость разума, его порыв в небо. Но траектория насильственно оборвана. И это тоже символ. Зловещее напоминание о ярости невежд, о слепом фанатизме, о ненависти к Улугбеку, повелевшему начертать на дверях бухарского медресе гордые слова: «Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки».

И нетрудно понять мотивы, которые побудили Адыла Якубова обратиться в романе «Сокровища Улугбека» к этой трагической судьбе и к этой трагической эпохе.

Исторический жанр в узбекской советской прозе сравнительно молод. Но, несмотря на молодость, достижения его значительны. Всесоюзную известность обрел опубликованный еще в 1944 году роман Айбека «Навои». Тогда, в годы войны, писатель обратился к прошлому, чтобы укрепить священное чувство патриотической гордости за свою землю, за свой народ и его культуру. Чувство, ставшее мощным оружием в борьбе с фашистским варварством.

Новая приливная волна исторической романистики относится к шестидесятым—семидесятым годам. Причем поднялась она не только в Узбекистане, но и во всех соседних республиках. Достаточно сослаться на книги А. Алимжанова, И. Есенберлина, Т. Касымбекова, А. Кекильбаева, С. Санбаева, С. Улуг-заде, Р. Хадизаде и других. И вот что хотелось бы сразу же подчеркнуть: тематическое богатство, необычайную стилевую многоцветность прозы.

Тут и разработки легендарных, притчевых сюжетов, и пространные хроники, и биографические повествования. Причины этого жанрового расцвета разнообразны: стремление понять истоки трудовой, народной этики, стереть «белые пятна» с карты истории, осмыслить вклад своей нации в мировую культуру. «Я знаю,— писал в одной из статей О. Сулейменов,— что отношения моего народа с другими складывались не только в плане грубых действий, но и в культурном, гуманистическом плане. Эти знания крайне нужны нам, сегодняшним, когда мы не мыслим своей жизни без такого плодотворного сотрудничества, взаимодействия со всеми людьми, населяющими эту землю».

Вот и узбекская историческая проза семидесятых годов активно осваивала этот «культурный, гуманистический план» минувшего, те духовные ценности, в которых воплотился творческий гений народа. Таковы романы «Звездные ночи» П. Кадырова, «Сокровища Улугбека» А. Якубова, «Зодчий» Мирмухсина. Их герои — поэт и полководец Бабур, ученый и правитель Улугбек, создатель бессмертных шедевров архитектуры.

Поэт и полководец, ученый и правитель... В самом сочетании этих слов скрыта некая двойственность, дисгармоничность. Двойственность, предостерегающая от упрощений, от идеализации, взывающая к точности, объективности анализа. И примером такого исследовательского мастерства было для узбекских романистов искусство Сергея Бородина, выдающегося русского прозаика, связавшего свою судьбу со Средней Азией. Его трилогия «Звезды над Самаркандом» воскресила для читателей кровавые времена Тимура, времена разбойничьих захватов и неисчислимых народных бедствий.

Как истинный эпик, С. Бородин запечатлел здесь мучительные родовые схватки самой истории. Крушение одних империй и образование других, энергия экспансии и сила отпора. Взгляд писателя охватывал поистине безбрежные пространства: Москва и Каир, Иерусалим и Самарканд, Дамаск и Константинополь, горы Армении и долины Испании. И все это — во взаимосцеплении, в сплетении и сшибке государственных, племенных, религиозных интересов. И все это — в десятках характеров, воль, форм поведения. От хроники событий художник шел к их закономерностям, настойчиво постигал психологию своих героев, особенности их представлений, этики, идеалов. Покоряя чужие земли, Тимур не обременял себя соображениями морали, не беспокоился об оправданиях: «Воинства же его, завоевывая вселенную, не делили ничего на добро и зло: добро — это были они, зло — все, что им противостояло».

Для внука Тимура Улугбека категории добра и зла, истины и заблуждения уже не были призрачными химерами. В одном из эпизодов романа А. Якубова Улугбек размышляет о сентенциях Абхари: «Что есть истина?» — спросили однажды мудреца Абубакира Тахира Абхари, и он ответил: «Наука». «А что есть наука?»— снова спросили его. И он ответил: «Истина»... А я бы добавил еще: «И добро...»

Хронологически книга Адыла Якубова как бы продолжает трилогию Бородина. От Тимура к его внукам и правнукам. Но продолжает по-своему: иная манера, иной круг тем, иная действительность.

В «Сокровищах Улугбека» нет столь характерной для «Звезд над Самаркандом» глобальности действия, сопряжения судеб стран

и народов. Нет и детальной реконструкции биографии главного героя.

Перед нами — последние дни Улугбека. Смутные, скорбные дни назревающего переворота. Событийная фабула произведения динамична. Участившиеся мятежи. Измены вельмож, которые еще вчера клялись в своей преданности. Колебания Улугбека между соблазном выставить городское ополчение Самарканда и недоверием к простолюдинам. Ведь вооружить, «поднять чернь — значит еще больше поколебать верность эмиров». И, наконец, капитуляция перед взбунтовавшимся сыном, глумление Абдул-Латифа над поверженным отцом, над священным чувством родства.

Тимур остается в трилогии С. Бородина непобежденным. Он простер свою длань аж до Средиземного моря, сокрушил всех, до кого успел дотянуться, опустошил, сровнял с землей вражеские крепости и города. И все же на склоне лет завоевателя обуревает то ли тревога, то ли недоумение. Ибо время подтачивает фундамент империи, ибо нет веры в потомков, «нет никого, кто взял бы из его черной, истертой поводьями ладони в свою крепкую молодую ладонь этот повод, направляющий коня от победы к победе. Никого нет». А коли так, то что были его дела? Суета сует.

Такой же гнев на непокорное, неукрощенное время испытывает и Великий Повелитель из романа казахского прозаика А. Кекильбаева «Конец легенды». Утопивший в крови половину вселенной, заставивший цепенеть от ужаса народы, он одинок на вершине своего могущества. И в этом одиночестве — признак бренности усилий, предвестие заката: «Безраздельная власть, слава и честь так же призрачны, мимолетны и обманчивы, как и румянец на лице смазливой и похотливой бабенки...»

И Тимур, и Великий Повелитель — разрушители, а не созидатели. Это люди без будущего, люди, обреченные на проклятия потомков.

Улугбек же видит в грядущем своего союзника, воспреемника своих мыслей. Умирая, он с благодарностью думает об учениках: «Коль есть такие ученики, жизнь, право, не прожита напрасно и не пропадут, нет, не пропадут ни сорокалетний труд собирания духовных сокровищ, ни собственные творения».

В противоположность своему венценосному предку герой книги А. Якубова уходит из жизни не победителем, а побежденным. Четыре десятилетия трудился султан Улугбек для блага Мавераннахра, «тратил наследство деда не для захвата земель.., а благоустраивал города и дороги, возводил медресе и ханаки». Он старался быть милостивым, великодушным даже к своим противникам. Но вместо благодарности — ропот придворных, злоба духовенства, междоусобицы, смуты.

Однако Улугбек в концепции произведения не только обвинитель, но и обвиняемый. Писатель подходит к этой выдающейся личности с позиций историзма, не сглаживая, не затушевывая ее противоречий. Отсюда сложный нравственно-психологический рисунок образа.

Как неоднозначны итоги царствования султана Мавераннахра, так неоднозначна и сама его фигура. И на страницах повествования не смолкает полемика об Улугбеке, перемежаются голоса одобрения и хулы. А. Якубов пробивается к объективной истине через разнобой субъективных оценок. К его персонажу устремлены взоры

признательных учеников и разгневанных святош, самаркандских ремесленников и зарящегося на трон будущего отцеубийцы Абдул-Латифа.

Да, Улугбек навлек на себя ярость невежественных улемов. Однако кузнец Тимур Самарканди тоже упрекает его: «Умный человек, ученый, мудрец, наверное, все звезды пересчитал, говорят, будто все их тайны узнал... А зачем в последние годы войны затеял? Что не поделил, с кем? Войны да поборы истерзали дехкан...»

Эта полемика вокруг Улугбека переплетается в романе с его собственной исповедью. Отстраненный от власти, он придирчиво анализирует минувшее, перебирает в памяти четки лет. И суд над собой столь же строг, сколь и мучителен. Увы, далеко не все свои деяния может оправдать опальный султан: «Так уж безгрешен, так уж человеколюбив был всюду и всегда? А завоевание Хорасана, а гератские несправедливости..?» Разве не от его имени брошенные на усмирение бунта воины грабили кишлаки вокруг Герата? Разве не по его указу облагались непомерными поборами дехкане? И до сих пор печет стыд за случившееся на строительстве обсерватории. Не кто-нибудь, а он сам на глазах у почтенного Кази-заде Руми избил тогда каменщика, возроптавшего на скверную пищу.

Закатные дни Улугбека становятся в концепции романа днями катарсиса. Возвышения души над суетным, ее самоочищения. И не страхом окрашены прощальные раздумья, а мудростью сострадания, пусть запоздалым, но признанием вины перед обездоленными: «Неужели, только став сирым и гонимым, человек может понять сирых и гонимых, сострадать им?»

Конечно, Улугбек был сыном своего времени, воспитанным как на скрижалях Тимура, так и на сокровищах культуры восточного ренессанса. Конечно, его гуманизм был ограничен сословными предрассудками, самими обязанностями самодержца. Писатель постоянно учитывает двойственность натуры героя, расхождение интересов правителя и ученого. И «не перед султаном Улугбеком преклонялся» самый верный его последователь Али Кушчи, нет, не перед султаном. Он преклонялся перед просветителем, обогнавшим свою эпоху, перед дерзостью гения, посягнувшего на непререкаемость догм Корана, не убоявшегося обвинений в ереси и богохульстве. Гения, отважно заявившего, что религия рассеивается, как туман, царства разрушаются, но труды ученых остаются на все времена.

Для деспотов типа Тимура смысл жизни отождествлялся с безграничной властью, с безраздельным господством над подданными.

Для Мирзы Улугбека трон уже не был фетишем. И не утраты привилегий опасалась душа — расставания с обсерваторией. Единственная просьба к захватившему престол сыну — об этом: пусть сохранит секстант, «пусть позволит заниматься отцу наукой, только наукой».

Побежденный как государь, Улугбек побеждает в книге как мыслитель. Приговоренный к смерти, он восходит к бессмертию.

Собственно говоря, мы видим великого ученого только в первой части романа. Вторая же часть озарена памятью о нем. Той самой памятью, которая, сокрушая запреты и клевету, пробивает дорогу в будущее.

Эпическое повествование А. Якубова охватывает массу событий, персонажей, сюжетных линий. Это и расследование тайн заго-

вора, и перипетии спасения библиотеки, и превратности любви дервиша Каландара Карнаки к Хуршиде-бану. Столь же разнообразны здесь интерьеры действия: дворцовые покои и мрачные подземелья тюрьмы, чертоги вельмож и темные улочки окраин. Чередование планов поочередно приближает к нам астронома Али Кушчи и отступника Мухиддина, шах-заде Абдул-Латифа и шейха Низамиддина Хомуша, Каландара Карнаки и кузнеца Тимура. Такая композиция создает многоцветную картину Самарканда, мозаику быта, нравов, обычаев, страстей.

Правда, писателю не всегда удается свести разветвленные сюжетные ходы к общему философскому знаменателю; выдержать тональность, заданную присутствием мирзы Улугбека. И тогда возникают досадные подмены: напряжение интеллектуального, нравственного анализа уступает место напряжению занимательной интриги, проникновение во внутренний мир личности — информационному описанию. Явно бесплотна, например, фигура кузнеца Тимура, призванного олицетворять глас народа. Черты романтической идеализации заметны в образе Каландара Карнаки, этого благородного рыцаря справедливости и страдающего влюбленного. Да и само изображение любви Каландара и Хуршиды-бану — дань классической легенде о Лейли и Меджнуне.

Подлинный же успех сопутствует художнику там, где он верен своей исследовательской миссии, где он бережно чуток к реальности исторической хроники, к специфике тогдашнего противоборства света и тьмы.

Самарканд без Улугбека, а точнее, после Улугбека, — это царство слежки, доносов, террора. Повседневностью столицы Мавераннахра стали погромные бесчинства, травля людей науки, охота на еретические сочинения. И еще — беспрерывные раздоры, грызня из-за богатства, из-за близости к престолу. Замешенный на корыстных амбициях, переворот теми же амбициями и разъедался. Быстрое возвышение мятежников обернулось столь же быстрыми взаимными обидами, неотвратимой духовной деградацией.

Во второй книге «Сокровищ Улугбека» доминирует мотив испытаний. Самых различных. Испытание властью, вседозволенностью, невзгодами, испытание стойкости, верности. Здесь проходят проверку мечты и намерения, развеиваются иллюзии, рушатся репутации. Перо писателя нацелено на критические, кризисные ситуации выбора. Выбора между славой и позором, честью и предательством.

Психологически точно прослеживает романист процесс крушения честолюбивых замыслов молодого правителя. Лишь на мгновение ощутил Абдул-Латиф вкус торжества. Лишь в тот момент, когда, услышав о казни Улугбека, «в радостном изнеможении упал в золотое кресло прадеда своего, эмира Тимура». А дальше? Дальше лихорадочные попытки избавиться от клейма отцеубийцы, замести следы, уничтожить свидетелей трагедии, каждого, кто мог знать о ней. Так камень, сорвавшийся со склона, вызывает неудержимую лавину: убийство палача Саида Аббаса, расправа над братом Абдул-Азизом, заключение в тюрьму конкурентов-родичей. Однако и эти кровавые акции не приносили успокоения. Напротив, разжигали маниакальную подозрительность, ревность к соперникам, потребность заглушить страх пьяными оргиями. Отсюда затворничество во дворце, добровольная самоизоляция, одиночество.

Терзания Абдул-Латифа далеки от мук совести. Они рождены

не раскаянием, а угрозой расплаты. Герой романа пренебрег всем ради власти. Но именно эта власть и ускользала теперь из рук. Возведенный на трон черными улемами, сын Улугбека и стал их пленником, послушным орудием их воли.

Это превращение деспота в марионетку, гонителя в гонимого, охваченного паникой безумца написано романистом с беспощадной психологической достоверностью. Его Абдул-Латиф словно задыхается в порочном круге лжи и преступлений. Он уже мертв духовно. И мятеж, поднятый эмиром Джандаром, лишь покончил с затянувшейся агонией.

Произведение А. Якубова сцементировано изнутри то открытым, то заочным спором учеников Улугбека Али Кушчи и Мухиддина — спором их взглядов, поступков, чувств. При этом единство фона делает более рельефным несходство характеров. Сталкиваясь с одинаковыми угрозами, испытаниями и соблазнами, персонажи избирают противоположные линии поведения.

Заточенный в зиндан Мухиддин кается, заискивает, оплакивает свою участь. Его товарищ по несчастью и здесь, в темнице, сосредоточен на будущей книге, на начатых еще в обсерватории вычислениях.

Мухиддин угодничает перед молодым правителем, охаивает Улугбека и его сподвижников, выдает тайну исчезновения книг из библиотеки.

Али Кушчи отвергает любые сделки, даже те, от которых зависит спасение. Будь то уговоры стать придворным астрологом или летописцем.

Это сравнение поступков скрывает в себе более глубокий философский подтекст. Речь идет не только о цене жизни, но и о ценностях жизни. О нравственных уроках, которые имеют непреходящее значение, которые актуальны и сегодня.

Отрекшись от Мирзы Улугбека, Мухиддин отрекся от своего призвания, а стало быть, и от самого себя. Стремление уцелеть повлекло за собой цепочку унизительных капитуляций. От соучастия в разорении книгохранилища до постыдного торга собственной дочерью Хуршидой, приглянувшейся сластолюбивому шах-заде. А в результате — полное разрушение личности. Презираемый самим собой, презираемый вчерашними единомышленниками, презираемый даже Абдул-Латифом («мешок какой-то валяется у ног, тряпичка, чтоб ноги вытирать об нее»), Мухиддин надрывается под гнетом содеянного зла и сходит с ума.

Али Кушчи вышел из темницы несломленным. Изощренной жестокости палачей он мог противопоставить только одно — верность убеждениям, верность истине. И эта верность помогла ему сохранить как достоинство человека, так и достоинство ученого.

Все оставшиеся годы Али, как мог, поддерживал «горение свечи Улугбека». И он не дал ей погаснуть во мраке объявшей Мавераннахр реакции. Его стойкости, его подвигу — и это исторический факт — мы обязаны сохранением сокровищ Улугбека, тех трудов, тех астрономических таблиц, которые ускорили прогресс мировой цивилизации.

Книга А. Якубова приблизила к нам далекую и грозную эпоху Тимуридов, обозначила нерасторжимые связи между прошлым и настоящим, преемственность гуманистических традиций. В узбекской исторической прозе это социально-аналитическое полотно по праву

занимает место рядом с таким выдающимся творением, как роман Айбека «Навои».

Между тем обращение писателя к «преданьям старины глубокой» было в общем-то неожиданным. Слишком уж прочно его имя ассоциировалось с проблемами современности. На протяжении двух десятков лет.

Первая повесть Адыла Якубова «Ровесники» увидела свет в 1951 году. Тогда ее автору исполнилось только двадцать пять лет. Однако короткая биография вместила в себя многое.

Позади было трудное детство. Особенно трудное после того, как отцу, видному партийному работнику, пришлось испытать несправедливые обвинения.

Позади были годы работы в колхозе, где подростки заменили призванных на фронт мужчин.

Позади были добровольный уход в армию, участие в боях с японцами, пять долгих лет службы близ Порт-Артура.

Там, на Дальнем Востоке, А. Якубов и начал свою повесть. Он писал, воскрешая в памяти пейзажи узбекской земли, голоса друзей. И память смягчала горечь разлуки с домом, с родными и близкими.

А после демобилизации — университет, созданные еще в студенческие годы рассказы для детей, жадная, каждодневная учеба у мастеров. Но позволю себе процитировать несколько строк из письма А. Якубова: «Из писателей, более всего повлиявших на меня своим творчеством, хочу назвать А. Кадыри и Айбека. Очень увлекался прозой Г. Гуляма, а потом уже оценил и А. Каххара. Я уж не говорю о русской классике. Ее я целиком перечитал в армии (была у нас в доме офицеров корпуса, где я служил, разумеется, рядовым, очень хорошая библиотека, и я все свободное время проводил там)».

И еще одно обстоятельство, определившее формирование таланта. Это — журналистика. Став собственным корреспондентом «Литературной газеты», писатель много ездил по республике, бывал на заводах, на стройках, в колхозах. И встреча с реальной жизнью, с реальными проблемами воспитывала принципиальность, неприязнь к упрощениям, лакировке.

Вот и в своих произведениях — вспомним повести «Мукаддас», «Смятение» — А. Якубов стремился к острой конфликтности, к изображению борьбы характеров, к трезвому анализу послевоенного сельского бытия.

А пережитое в детстве и отрочестве особенно полно отозвалось в романе «Трудно быть мужчиной» (1966). Вплоть до прямых параллелей между автором и главным героем, до совпадения анкетных данных.

Повествование А. Якубова ориентировано на суровую правду военного быта: похоронки, отчаяние вдов, самоотверженность женщин, взваливших на свои плечи непривычную мужскую ношу, бескорыстная готовность поделиться последним с ленинградцами, эвакуированными из осажденного города. Как и Михаил Пряслин из романа Ф. Абрамова «Братья и сестры», Машраб становится опорой колхоза. Он и работник, и кормилец, и заступник.

Узбекский писатель если и не всегда, то очень часто смотрит на происходящее глазами своих молодых персонажей. Их мироощущение привносит в книгу поэтические, романтические тона (недаром же Машраб — начинающий поэт, восторженный почитатель лирики

Уйгуна и Зульфии). Оно усиливает атмосферу нравственного максимализма, эмоционально бескомпромиссной реакции на лицемерие, приспособленчество, стяжательство. Наконец, оно по-своему обусловливает даже энергичный темп сюжетного развития. Такие коллизии, как разоблачение карьериста Эртаева и его прихвостней, окутаны дымкой интригующих тайн и приключений. Вместе со своими приятелями Машраб выслеживает преступников, раскрывает их махинации с зерном. Причем столкновения, начавшиеся с мальчишеских выходок и демаршей, быстро перерастают в подлинное моральное противоборство. Противоборство, которое строго, по-взрослому экзаменует подростков, учит их ответственности за идеалы.

Роман «Трудно быть мужчиной» примечателен еще и тем, что в нем кристаллизовались особенности писательской манеры. Это пристрастие к многоплановому, многолинейному повествованию, позволяющему создать галерею характеров; это увлечение динамикой действия, резкими поворотами и осложнениями фабулы; это сочетание психологического и социального, нравственного исследования.

Словами: «Будем взрослыми!» — завершается и следующая работа писателя — повесть «Птица жива крыльями» (1970).

Да, новая повесть А. Якубова тоже о молодых. И тоже о повзрослении. Только молодежь эта — другая, конца шестидесятых годов. И круг ее забот совсем иной. Не кусок хлеба, а творческая самоотдача, полнота самореализации.

Вся повесть А. Якубова настроена на волну диспута, диалога. Она от начала и до конца пестрит вопросами. Соприкасаясь с новыми явлениями, писатель и его герои пробуют разобраться в них, найти критерии оценки. А явления эти на каждом шагу ставят под сомнение привычное, то, что прежде казалось незыблемым.

На вечеринке в молодежном кафе поэт Убай рассказывает притчу о двух сестрах, вышедших замуж за грубых, заносчивых парней. Младшая безропотно сносила оскорбления и побои, старшая же повела себя иначе. Вскоре после развода она уехала в город и поступила в институт. Первую, как водится, хвалили за терпение, за верность семейному очагу, вторую — столь же безоговорочно порицали

Но спустя несколько лет деревенская молва сделала крутой поворот. Старшая сестра закончила институт, стала гордостью кишлака. А младшая так и зачахла на побегушках у мужа. «Вот я и хочу спросить... — закончил свою притчу Убай, — кто из этих девушек более достоин уважения? Старшая, что отстояла свое человеческое достоинство, или младшая, которая, боясь сплетен и пересудов, покорилась невежественному мужу и стала его рабыней?»

И председатель колхоза Тураб, тот тоже подбрасывает свою вязанку хвороста в костер обсуждений: «У нас существуют старые обычаи, традиции, которые вошли в нашу плоть и кровь с молоком матери. Как быть с ними? Отбросить и смеяться над ними или поддерживать их?»

Внешне писательская манера не слишком-то изменилась в повести «Птица жива крыльями». Все то же чередование ракурсов, проблем, характеров (сцены городские и сельские, производственные и семейные, будни архитекторов, киноработников, дехкан). Все та же изобретательность в разработке интриги (жена Акрама Саяра, снимаясь в фильме, не столько играет роль, сколько проигрывает мысленно возможный вариант своей жизни: «Многое в сценарии напо-

минало Саяре ее собственную судьбу»). И тем не менее трансформация художественного почерка очевидна. Только не внешняя, а внутренняя, глубинная.

Роман «Трудно быть мужчиной» тяготел к жесткости, категоричности выводов. Его опорным словом была бескомпромиссность. Никакой уклончивости, никаких потачек Эртаеву. Добро против зла, правда против лжи, самоотверженность против шкурничества. В повести «Птица жива крыльями» эта четкая графика противостояния размыта. Логика императивов уступила место логике парадоксов, провозглашение непререкаемых истин — выяснению истинности. И ключевое понятие текста уже не бескомпромиссность, а сложность.

А сложны в этой повести и обступающие персонажей производственные проблемы: как строить, как соединить индустриальные методы с красотой, как, преодолев архаику, сохранить, сберечь национальную самобытность зодчества.

Сложны здесь и проблемы нравственные: аскетизм и потребительство, требования к себе и требования для себя. Младший брат архитектора, колхозник Нартаджи, всецело убежден, что Акрам избаловал свою жену, что ее взвинченность — от блажи, от городских соблазнов, от забвения традиций. Что ж, в поведении Саяры и впрямь сквозит вызов: это ее бегство от мужа, этот ее приезд в кишлак с компанией киношников, эта бравада раскованностью... Но так ли уж мудры, так ли уж благотворны заповеди Нартаджи? И Акрам не без оснований возражает ему: «Чем читать мне мораль, лучше подумай о своей семье. Посмотри, в кого ты превратил жену! Даже рабыня не бывает до такой степени измучена и бесправна!»

Но главное — сложны в произведении сами герои. Каждый — со своей программой, своей мечтой о счастье, со своей неудовлетворенностью. Саяра страшится инерционного ритма бытия, адаптации к обыденности, жалкого прозябания, не сулящего ни взлета, ни разнообразия впечатлений. Акрама гнетет творческий кризис, недовольство собой, холодной тяжеловесностью своих архитектурных решений. Хамида бунтует против патриархальных догм, предписывающих послушание мужу, безропотность, против повадок колхозного председателя Тураба, который «всех держит в кулаке». Однако и Тураб отнюдь не злой человек, не самодур. Он толковый хозяйственник, патриот своего кишлака, пекущийся о его процветании. Правда, пекущийся на свой лад, стараясь уладить любые конфликты по-домашнему, не вынося сор из избы, ориентируясь на ту же деревенскую молву, на обычаи.

Писатель относится к порывам и запросам своих персонажей без предубеждений. Ему важно выслушать каждого, сравнить всевозможные резоны, проникнуть с поверхности фактов в их глубину. Возмущаясь ветреностью Саяры, Акрам саркастически одергивает себя: «Если тебе Саяра не по нраву, то почему в свое время не женился на той, которую тебе сватала мать? Она бы исправно готовила тебе обед, нянчила детей, охраняла бы твой покой и уют». По всей повести А. Якубова разлита ирония над готовыми рецептами, над спасительными панацеями. Не всякая традиция плоха, не всякая новация — благо? Тогда чего же проще — «хорошее надо взять, а плохое отбросить». Но, как замечает Тураб, «это просто сказать, а в жизни все получается иначе».

Ах уж эти альтернативы: сельское — городское, архаичное — современное! Ах эти категорические или — или! Они сплошь и рядом не приводят к истине, но затуманивают ее. А истина для А. Якубова

слита с человечностью, с гармонией индивидуального и общего, с уважением к личности. И подлинны только такие нравственные ценности и решения, которые раскрепощают и возвеличивают душу, высвобождают созидательную, творческую энергию. К этим ценностям, к этим решениям идут и Саяра, и Хамида. Первая преодолевает искушения мнимой свободы от обязанностей, вторая порывает путы, которые лишали ее самостоятельности, обрекали на разлад с совестью.

Повесть «Птица жива крыльями», казалось, свидетельствовала о постоянстве интересов автора. Она закрепляла его репутацию исследователя современности, разведчика новых конфликтов. Как ни парадоксально, к историческому роману писателя тоже привела злоба дня. Дело в том, что на стыке шестидесятых—семидесятых годов развернулась дискуссия о судьбе книгохранилища Улугбека. По этому поводу в печати высказывались самые разноречивые толки. И, захваченный ими, А. Якубов намеревался создать чуть ли не приключенческую повесть об исчезнувших фолиантах, предложив свою версию событий. Однако в процессе работы титаническая фигура Улугбека оттеснила первоначальный замысел на второй план. Впрочем, отход от нынешней действительности был недолгим.

Опубликованный в 1977 году роман «Совесть» сохраняет в себе устойчивые генетические признаки прозы А. Якубова.

Как и прежде, художник создает прихотливую композиционную структуру, где у каждого персонажа есть своя сольная партия, где каждый поочередно попадает в фокус лучей.

Как и прежде, он равно внимателен и к событийной, и к психологической канве.

Как и прежде, увлечен расследованием случившегося.

Столь же очевидно пристрастие автора к определенному типу характеров. Подобно Муяссар из романа «Трудно быть мужчиной», Латофат жила книжными идеалами, романтизированными представлениями о людях. Черты другого героя книги, Эртаева, просвечивают в портрете преуспевающего дельца Джамала Бурибаева. Та же склонность к демагогии, та же обходительность, скрывающая волчью хватку. Есть свой «прототип» и у председателя колхоза Атакузы Умарова. Это Тураб из повести «Птица жива крыльями». Своенравный, властный, лукавый Тураб, который противоречивостью своих поступков озадачивал окружающих.

Однако, говоря о преемственности, я имею в виду не повторы, а углубление.

Роман «Трудно быть мужчиной» завершался поражением Эртаева. Провожая на фронт новобранцев, майор Клыч торжественно обещал: «Они будут добивать на фронте врага. Но и мы, их отцы, не будем сидеть здесь без дела. К их возвращению мы должны очистить наш воздух от карьеристов, стяжателей, которые присосались к советской власти, к партии... И мы это сделаем, обещаем это вам, сыновья!..»

Увы, собрат Эртаева Джамал благополучно вынырнул сухим из воды. Даже побывал в кресле замминистра. Да и теперь весьма влиятельная персона. Как-никак начальник республиканского управления «Сельхозтехники».

Концепция действительности в новом романе обрела многомерность, стала более трезвой и конфликтной.

Вспомним «Трудно быть мужчиной». Там картины военных лет лишь изредка перебивались отступлениями в прошлое персонажей. Причем самое близкое — в первые годы колхоза.

Хронологическое пространство «Совести» объемнее, вместительнее. Корни нынешних столкновений уходят в толщу лет. В скованности, подавленности Фазилат — отзвук потрясений войны. Ведь это тогда циничный Джамал Бурибаев обманом разлучил ее с любимым, растоптал веру в людей, в чистоту и добро. А профессор Нормурад Шамурадов? Еще в тридцатые годы он испытал предательские удары, нанесенные бывшим учеником Вахидом Мирабидовым. Она до сих пор памятна, эта крикливая статья под хлестким заголовком «Невежество или злой умысел?».

Отшумевшие, канувшие в небытие страсти? Однако Вахид Мирабидов по-прежнему процветает, по-прежнему выдает конъюнктурные поделки за фундаментальные научные открытия. Хотя и стал осторожнее, обрел респектабельность, академический лоск.

И не сегодня, не вчера началось противоборство Нормурада и Кудратходжи. Его исток — годы революции, когда сын бедняка и сын богатого торговца стали по разные стороны баррикады, его разгар — классовые битвы дней коллективизации. И теперь, обводя глазами скромную комнату профессора, состарившийся, спившийся, но ничего не забывший Кудратходжа насмешливо замечает: «Нормурад-ишан делал революцию, верой и правдой служил советской власти больше пятидесяти лет, и вот награда... За твою верную пятидесятилетнюю службу наградили этой сырой, хе-хе, кельей!..»

Кудратходжа оценивает смысл прожитого величиной материальных приобретений и утрат.

Нормурад — величиной и величием совершенного.

Герои узбекского писателя словно бы включаются в ту страстную полемику о предназначении человека, о целях самоосуществления, которую ведут в романе эстонца П. Куусберга «Капли дождя» Андреас Яллак и Эдуард Тынупярт, а в романе литовца М. Слуцкиса «На исходе дня»— Наримантас и Казюкенас. И так же, как там, точкой отсчета, критерием истины служат идеалы Октября.

Настоящее в «Совести» — это итог и рубеж. На его территории проблемы, унаследованные от минувшего, встречаются с нынешними, преломляются в них. Так повествование о современности насыщается чувством истории, выливается в разговор о движении народной судьбы.

В шквальные дни разносов и проработок, вызванных статьей Мирабидова, профессор Шамурадов узнает о существовании тогда еще малоизвестного ленинского документа — декрета об освоении Голодной степи: «Вот эта-то птица счастья, неожиданно прилетевшая от самого Ленина, и спасла его».

Стечение обстоятельств, конечно, случайное. Но сам эпизод из числа ключевых. Писатель неустанно поверяет мысли, побуждения, поступки персонажей ленинскими нормами, ленинскими принципами.

С отчетливой установкой на синтез связана в романе и масштабность изображения. А. Якубов стремится рассмотреть современность целостно, в нерасторжимости мировоззренческих, этических, трудовых и семейно-бытовых коллизий. Сюжетные тропы прочно соединяют город и село, столичный научно-исследовательский институт и колхоз, райком партии и полевой стан хлопкоробов. И все же основа повествования — будни узбекского кишлака, его обитателей.

Все действующие лица романа Якубова — партийные работники, хозяйственники, ученые, механизаторы — так или иначе сгруппированы вокруг председателя Атакузы, образуют его, так сказать, естественную ауру. Куда бы ни заходил секретарь райкома Шукуров в столице или областном центре, он всюду замечал протянувшиеся «незримо нити... связей» Умарова. Нити, скрученные из родственных отношений, приятельства, услуг. Колебание любого волокна этой густой сети взаимозависимости вызывает неизбежный волновой эффект.

Для аспиранта Хайдара Атакузы не просто отец, но еще и могущественный покровитель. Человек, для которого не существует невыполнимого: «Несколько лет назад отец сказал: «Кончишь институт, устрою в аспирантуру». И устроил. И еще сказал: «Руководителем твоим будет самый авторитетный ученый». И добился своего! И вот теперь Атакузы вместе с Вахидом Мирабидовым разрабатывает стратегию предстоящей защиты, программу банкета. Такое сотрудничество обоюдовыгодно. И ответное одолжение тоже весомо: колхоз должен выдвинуть книгу Вахида на республиканскую премию.

А отношения Нормурада с Атакузы? Они порой на грани разрыва. Из-за худосочной диссертации Хайдара, из-за урочища Минг булак. Однако даже истончившаяся грань непреодолима. Ведь Атакузы — единственный племянник, единственный родственник профессора, его опора в одинокой старости.

На мой взгляд, писатель иногда перебарщивает по части сюжетных хитросплетений. В самом деле: сын Атакузы Хайдар влюбляется в дочь Джамала Бурибаева, а сын Бурибаева сватается к дочери Атакузы. Жена секретаря райкома Шукурова оказывается дочерью Вахида Мирабидова. Переселившись из Ташкента в родной кишлак, Нормурад Шамурадов застает там и давнего друга юности, соратника по борьбе Прохора Поликарпова и столь же давнего антагониста Кудратходжу,

Думается, что такая концентрация случайностей — а я перечислил далеко не все — изрядно превышает допустимую. А. Якубов словно не доверяет возможностям магистрального конфликта и потому стремится обрамить его занимательными интригами, затейливой вязью неожиданностей.

Между тем история взлета и падения знаменитого колхозного председателя выразительна и без подобных архитектурных излишеств.

Мы знакомимся с Атакузы Умаровым накануне его юбилея. Пятьдесят лет — это и пора зрелости, и пора итогов. Что ж, у раиса нет оснований сетовать на пролетевшие годы: «Начал руководителем небольшого колхоза, потом постепенно, один за другим, присоединил несколько соседних. И, пожалуйста, вот он уже во главе гигантского хозяйства. Одни только хлопковые поля — больше трех тысяч гектаров! А какой поселок построил! Не уступит иному городу, прославил имя Атакузы на всю страну. Чего еще не хватает?.. Разве только одного — Золотой Звезды».

Так-то оно так. Только прежде замыслы раиса и сбывались легче, и принимались с благодарностью. Теперь же осечка за осечкой. Председатели соседних колхозов считают себя обойденными и обделенными, односельчане ропщут на его крутой нрав, на самоуправство. На защите диссертации Хайдара не кто другой, а родной дядя нанес удар в спину, выступил с возражениями.

С этих недоумений, обид начинается в «Совести» самоанализ Атакузы Умарова. И параллельно возникает нарастающий встречный иск к герою, развертывается, говоря словами Нормурада, выяснение того, что «происходит с Атакузы?.. Когда, где растерял он простые человеческие чувства? Когда успел стать таким черствым, бессердечным?»

Словом, излюбленная А. Якубовым ситуация разбирательства, дознания. Учет различных точек зрения: Нормурада, лесника Прохора Поликарпова, механизатора Наимджана... И все это без спешки, без предвзятости, с готовностью выслушать и упреки, и оправдания. Ибо далеко не прост Атакузы. Как говорит секретарь райкома Шукуров, «голову с ним можно сломать. То эгоист, способный убрать с дороги любого, то, посмотришь, одинокий путник, уставший от тягот нелегкой дороги...»

Одни догадки лежат на поверхности: зазнайство, вера в свою непогрешимость, наивное упование на то, что победителей не судят.

Другие — глубже. В текучке повседневности произошло незаметное отождествление понятий добра и пользы, дружбы и выгодных знакомств.

Во время войны юный Атакузы возмущался хищничеством, нечистоплотностью Джамала Бурибаева. Теперь он не прочь породниться с ним. Ведь от начальника «Сельхозтехники» столько зависит. И с Вахидом Мирабидовым, оклеветавшим дядю, Атакузы на дружеской ноге. Сам выбрал его в наставники сыну, прельстившись положением, титулом, хваткой этого дельца.

В прежние годы председатель колхоза умел разделить чужое горе, быть рядом с теми, у кого беда. Ныне же он «ходил только к самым влиятельным в кишлаке людям — к «нужным».

Писатель точен и в этих сопоставлениях, и в постановке диагноза. Да, прагматизм, да, неразборчивость в средствах. Где в согласии с законами, а где и вопреки им герой романа добивался рекордов, получал средства, чтобы благоустраивать поселок, сооружать школы, ясли, дворец культуры. И если что-то мешало, мог пренебречь справедливостью, прижать недовольных, отхватить кусок у соседей.

Возведенный на пьедестал принцип успеха чреват неизбежным смещением нравственных критериев. Обхаживая Вахида Мирабидова, Атакузы искренне хотел помочь сыну. Но помощь эта обернулась для Хайдара бедой: утратой самостоятельности, иждивенчеством. Намереваясь строить комплекс в Минг булаке, председатель опять-таки планировал выгоды: дополнительные тонны мяса, статьи в газетах, слава передовика. Но то — на одной чаше весов, а на другой — неучтенные, неподсчитанные убытки: уничтожение горных лесов, сотен родников, гибель красоты, «чуда, созданного самой природой».

Казалось бы, приговор автоматически запрограммирован. Типовая, чуть ли не банальная история. Секретарь райкома Шукуров «не раз встречал раисов, которые на первых порах работали с размахом, поднимали отсталое хозяйство. А потом похвалы, поощрения, «пример для других», и потерял человек голову, занесся... Конец зазнавшихся раисов бывал обычно печальным. Их непоколебимая вера в силу власти и денег терпела крах. Не всякого можно подкупить, и далеко не всегда можно даже с помощью денег обойти закон».

Но это — по схеме, по трафарету. А в случае с Атакузы шаб-

лонная логика если и срабатывает, то как-то натужно, с перебоями, одышкой, оговорками. Недаром старый Нормурад, несмотря на нескончаемые стычки с племянником, все же защищает его в предсмертном обращении к райкому партии.

В повести «Птица жива крыльями» поэт Убай, приехавший расследовать жалобы на председателя, пасует перед подобным же казусом: «Я привык белое называть белым, а черное — черным. А тут все как-то боком».

Такое же недоумение прорывается и в «Совести»: «Как непонятно устроена жизнь! Светлое так часто соединяется в ней с темным».

Есть в романе А. Якубова весьма примечательный эпизод. Встреча раиса с бригадой, работающей на степной целине. Сколько раз отражала эта бригада натиск песчаных бурь, расчищала засыпанные поля, пересевала их! Сколько раз звучали в ее честь похвалы и аплодисменты! А герои газетных очерков как ютились, так и ютятся в землянках. Без электричества, без водопровода. С утра и до вечера под палящим солнцем. То подвели снабженцы, то обманули строители. И Атакузы, сдерживая подступающую ярость на разгильдяйство, заверяет: «Но теперь говорю твердо, в последний раз: разобьюсь, а будет в этом году у вас жилье! Если не умру, если доживу до зимы, сдержу свое слово».

И уж можно не сомневаться — сдержит. Правдами или неправдами, подношениями или угрозами, не мытьем, так катаньем, но добьется своего. А правила, инструкции? Так не каяться же потом перед бригадой: мол, фондов нет, лимиты исчерпаны, поставщики подкачали. Кроме почтения к инструкции, есть еще и стыд перед людьми, перед девушками, которые возвращаются с поля в землянки, есть еще и совесть, боль души. Вспоминая предупреждения Шукурова, Атакузы мысленно протестует: «Упрекаете в ловкачестве? Законы нарушаю? Наведите порядок, планируйте разумно, обеспечьте всех как надо, тогда и говорите!.. Еще не родился на свет председатель, который может выдать план без минеральных удобрений. И инженера такого не сыщешь, чтобы без запчастей заставил бесперебойно работать машины. Слушать кляузников слушают, а план, между прочим, не снижают. Ни одной тонны не сбрасывают с плана!»

Образ секретаря райкома написан с некоторой скованностью, недоговоренностью. Иными словами, без той художнической свободы, которая воплотилась в характере председателя.

Атакузы весь на виду. Вот он — со своим внутренним миром, со своей хитростью и со своей наивностью, своей проницательностью и беспринципностью. Шукуров более замкнут, сдержан, осторожен. И показан он скорее в сфере рассуждений, нежели поступков и чувств.

Такая скованность пера хоть и отчасти, но объяснима. Шукуров — новый человек в районе. А в этом положении есть и свои преимущества, и свои минусы. Конечно, свежий глаз еще не притерпелся к рутине. Со стороны, как известно, виднее непорядки, упущения, махинации. Но долгий ли срок отпущен секретарю, чтобы наблюдать со стороны?.. К сожалению, у героя А. Якубова еще мало собственного опыта, и прежде всего опыта действия, преодоления. Отсюда уязвимость благородного максималистского пафоса. Увещевая Атакузы, Шукуров сплошь и рядом не может предложить конструктивного решения. И тогда сквозь морализаторство

прорастают сомнения. После поездок по колхозам «Шукуров стал больше понимать и Атакузы, и других раисов. Вот он, секретарь райкома, требует от них хлопка, беспрекословного выполнения плановых заданий... А сам в глаза не может им посмотреть. И как посмотришь, когда требовать требуешь, а дать то, что нужно для того же хлопка, не можешь. Не сами ли мы толкаем раисов на обходные пути?..»

В этом столкновении аргументов жизни формируется отношение к персонажу, рождается объективная нравственная оценка. Писатель не амнистирует эгоистических замашек председателя, прагматического небрежения этикой. Но он отграничивает вину от беды, распознает за противоречиями личности питающие их противоречия действительности. Как ни горек для Атакузы людской суд, боль, причиненная им, целительна. Она разбивает душевную очерствелость, инерцию растворения в конъюнктуре, заставляет прислушиваться к мнению окружающих, соизмерять сиюминутные расчеты с логикой правды и совести.

Современная действительность, изображенная в романе, изменчива, подвижна. Ее течение то и дело вскипает на коварных порогах, созданных карьеризмом, потребительством, приспособленчеством, экономическими неурядицами, неразумным вмешательством в природу... Но та же действительность властно утверждает высокие нравственные нормы, гуманистические идеалы и ценности. И потому дает осечку практика Атакузы. И потому оказываются несостоятельными принципы Вахида Мирабидова. За свою капитуляцию перед Джамалом Бурибаевым Фазилат заплатила годами страданий и унижений. «Неужели у дочки жизнь будет такой же горькой, как и у матери?» — со страхом думает она. Однако Латофат уже чужда вынесенная из прошлого психология покорности, повиновения судьбе. И в независимости ее характера, в гордом осознании достоинства личности тоже сказывается время, его поступь.

Роман А. Якубова чуток к сложности бытия, сложности внутреннего мира личности. Его пафос — в познании реальных конфликтов, реальных проблем и противоречий, свойственных нашему сегодня. И, может быть, поэтому так заметна искусственность развязок. Писатель словно бы торопится перевоспитать одних и покарать других, «неподдающихся». Преступление, совершенное Кадырджаном — его машина сбила человека,— как бы передает нить расследования из авторских рук в руки органов правосудия. Но происшествие, в котором наряду с Кадырджаном замешаны Мирабидов и Бурибаев,— случайность. Ее могло и не быть. Неотвратим же и подлинно действенен тот нравственный суд, который ведется в произведении от имени и с позиций совести, гражданского мужества.

Ну, что ж, они есть у Адыла Якубова, эти «накладные расходы», эти срывы в добродетельную назидательность. Но перед нами не врожденные пороки манеры, а болезни быстрого творческого роста.

Последние работы писателя вызвали прочный интерес как в своей республике, так и за ее пределами. Они ощутимо подняли в узбекской прозе тонус социальности, конфликтности, психологизма, обогатили ее новыми характерами, новыми художественными решениями, усилили ее резонанс и авторитет во всесоюзном литературном процессе.

Л. ТЕРАКОПЯН

СОДЕРЖАНИЕ

СОКРОВИЩА УЛУГБЕКА. Перевод Ю. Суровцева и автора 5

СОВЕСТЬ. Перевод В. Дудинцева 331

ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ — ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ. *Послесловие* Л. Теракопяна 625

Адыл ЯКУБОВ

СОВЕСТЬ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1982, 640 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **И. Юшкова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Т. Авдеева**

А 06126. Сдано в набор 14. 12. 81. Подписано в печать 20. 05. 82. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Гарнитура «Латинская». Печ. л. 20,00. Усл. печ. л. 33,60. Уч.-изд. л. 36,08. Зак. 05792. Тираж 240.000 экз.

Цена 2 руб. 40 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна».
Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94.

Отпечатано на полиграфкомбинате ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». 252119, Киев-119, ул. Пархоменко, 38—42. Зак. 3683.